

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Литература русского зарубежья

Восточная ветвь

ХРЕСТОМАТИЯ

•

Том первый. Проза

•

Часть 3 (Р-Я)

Благовещенск
Издательство АмГУ
2020

ББК 83.3 (2 Рос=2 Рус)
Л 64

*Рекомендовано
учебно-методическим советом Амурского государственного университета*

Рецензенты:

*Ли Иннань, профессор Университета Иностранных языков (г. Пекин, КНР);
Агеносов В.В., заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН,
докт. филол. наук, проф. кафедры журналистики и литературы ИМПЭ (г. Москва).*

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 3 (Р-Я) / Сост., общ. ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой; вступ. ст. А.А. Забияко; библиограф. ст. Г.В. Эфендиевой; подгот. текстов И.А. Дябкина, А.А. Забияко, К.А. Землянской, Р.В. Поливан, Г.В. Эфендиевой, А.А. Юрьевой. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2020. Изд-е 2-е, перераб., дополн. – 452 с.

ISBN 978-5-93493-182-8

В первом томе хрестоматии «Литература русского зарубежья. Восточная ветвь» собраны прозаические сочинения 40 писателей русского Китая. Все подборки сопровождаются биографическими справками и фотографиями авторов.

Издание предназначено в качестве учебного пособия студентам и аспирантам, обучающимся по направлению подготовки 45.03.01, 45.04.01 «Филология», 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» высших учебных заведений, а также преподавателям и специалистам, занимающимся изучением истории литературы и культуры русского зарубежья.

© А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева, составление, 2013; 2020

© А.А. Забияко, предисловие, 2013; 2020

© Амурский государственный университет, 2020

**Елизавета Николаевна
РАЧИНСКАЯ**
(1905? – 1993)



Поэтесса, прозаик, мемуарист Елизавета Рачинская (в замужестве Гусельникова) родилась 23 февраля (ст. ст.) 1905 г. (по другим сведениям – 8 июля 1904 г.) в местечке Тюсьбю в Финляндии в дворянской семье. В детстве жила в Гельсингфорсе (Хельсинки), где отец, полковник артиллерии, находился на военной службе. Затем жила в Двинске, Москве, Казани. Училась в Московском Екатерининском институте и в Казанском Родионовском институте. В 1918 г. прибыла с родителями в Харбин. Окончила частную гимназию Оксаковской и Харбинский Юридический факультет (1926). Работала в коммерческом агентстве ЮМЖД,

в харбинском отделении швейцарской торговой фирмы «Бринер и К°». Печаталась в журналах «Рубеж» (Харбин), «Студенческие годы» (Прага), «Вольная Сибирь» (Прага,) «Иллюстрированная Россия» (Париж); коллективных сборниках. Автор поэтической книги «Ключи» (1926), сборника рассказов «Джебель-Кебир» (Харбин, 1937) и др. В 1941 и 1942 г. участвовала в альманахе «Прибой», в 1945 г. – в сборнике «Лира». С 1956 г. жила в Австралии (Сидней), затем в Англии. Окончила Кембриджский университет. С 1964 г. работала на станции ВВС в Лондоне. Выпустила две книги мемуаров: «Перелетные птицы» (Сан-Франциско, 1982), «Калейдоскоп жизни: Воспоминания» (Париж, 1990). Умерла 23 января 1993 г. в Лондоне.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 457.

Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 690-691.

Сентянина Е. Харбинские писатели и поэты // Рубеж. 1940. № 24. С. 8.

Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.

Хисамудинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 254.

ОБНАЖЕННАЯ

Две молодых женщины сидели, разговаривая, в послеобеденные часы с сигаретами в одной из квартир Нового Города.

– Ты не представляешь себе, Ната, какое для меня счастье – твой приезд! – сказала одна из собеседниц. – Этот ужас лежал у меня на сердце, как камень. Ты понимаешь, что говорить об этом я не могла ни с кем, и мне очень тяжело было это молчание.

– Но как же все это случилось, Ольга?.. Когда, с чего началось?.. Я ничего не понимаю! – воскликнула Ната.

– Ах, началось это давно, еще до замужества, – ответила Ольга. – Не понимаю, как другие ничего не видели... Смеловский начал за ней ухаживать за два года до ее свадьбы. Я, как сейчас, помню и их знакомство, и все, что было потом. Ты как раз тогда уехала... Это было на моих именинах, в июле.

Незадолго до того Смеловский начал бывать в нашем кружке, и я пригласила в этот день и его. Теперь он далеко не так интересен, и

физически, и умственно, как был тогда. Сейчас он как-то опустился, обрюзг, а тогда он был и очень красив, и оживлен, и бесконечно остроумен. Пришел с большим букетом чайных роз, элегантный, оживленный, настоящий «сероглазый король».

Муся тогда была в одном из счастливых дней, когда она очаровывала и увлекала всех. А ведь собственно красивого-то в ней почти ничего и не было, – вспомни-ка! Ну, молодость, стройность, свежесть, а еще что? Руки, правда, у нее были прелестные, – узенькие, нежные, с розовыми ладонями. «Руки на розовой подкладке», – смеялась она...

Глаза еще были у нее хороши, но хороши своим огнем, своей живостью, а цвет («желтый топаз»), пожалуй, нельзя считать классически-красивым. Были, правда, в этом топазе какие-то искры, которые заставляли его гореть и переливаться как настоящий драгоценный камень.

Вот этот-то огонь, освещавший все существо Муси, напряженность горения, какая-то устремленность всего ее существа, устремленность дрожащей на натянутой тетиве стрелы, – вот в чем заключались ее главная прелесть и секрет ее обаяния.

А потом – ее «сильные ощущения», которые ее, в конце концов, и сгубили. Конечно, многие считали, – дурит девчонка, – вот все; но для меня, например, была какая-то неизъяснимая прелесть в этой ее черте, – последний штрих, дававший законченность ее образу.

В вечер моих именин тоже не обошлось без этого... Ночь была чудная, теплая, лунная, ласковая. Молодежь не хотела расходиться: пели, танцевали, спорили и, наконец, решили ехать на лодках. Сейчас же заказали машины, взяли с собой виктролу и отправились. Муся объявила, что будет купаться и переплывать реку.

– Сегодня у меня столько сил, что, кажется, море переплыву! – сказала она, как всегда, смеясь, и я невольно обратила внимание на загоревшиеся глаза Смеловского.

Время провели чудесно!.. Когда зазвучали любимые арии и романсы на речном дремотном просторе, все притихли, задумались. Потом, вдруг, слышим плеск – это Муся бросилась с шаланды. Кроме шаланды, у нас были еще две лодки, и я распорядилась, чтобы они были невдалеке.

Муся все дурачилась, кричала: «Тону, лодку!», – но когда проплыла уже больше половины, я вдруг услышала ее сдавленное, полное ужаса: «Лодку!..». Публика не обратила на это внимания, кое-кто засмеялся, – думали, что она по-прежнему шутит.

– Вы с ума сошли! – закричала я. – Она тонет!.. Скорее!

И, действительно, еще минута, и было бы поздно...

Но Муся осталась верна себе и, немного отдышавшись, еще бледная, объявила со смехом, что к ее коллекции «сильных ощущений» прибавилось еще одно.

Этот эпизод как-то сорвал настроение, и все заторопились домой.

После этого вечера я мало видела и Смеловского, и Мусю. Муся уезжала на дачу, и мне говорили, что Смеловский ездил туда постоянно. Когда она вернулась, их всюду видели вместе.

У меня Смеловский бывал редко; Муся же забегала, но всегда куда-то спешила, и вид у нее был, хотя и оживленный, но как будто озабоченный.

Так продолжалось несколько месяцев, а потом вдруг все это сразу оборвалось, – как обрезало... Сперва я думала, что это была временная размолвка; говорили, что Муся отказала ему, что выплыла на сцену какая-то его старая связь; но потом, из встреч с Мусей, из ее беглых замечаний, выражения ее лица мне стало ясно, что дело было в Смеловском: просто он испугался, не захотел себя связывать, – а дело, видно, к этому шло. Так мне, по крайней мере, казалось. Я видела, что Муся оскорблена, задета. Ее веселье и как будто прежняя жизнерадостность не могли меня обмануть. Нет, притворяться она не умела, хотя и называла себя актрисой.

– Мы еще скрестим со Смеловским шпаги! – уронила она как-то фразу, и фраза эта показалась мне многозначительной.

– Что ж, – сказала я ей, – ты так любишь игру, любишь ходить по жердочке... Игра кончается разное...

И вот, вспоминая эти свои слова, думаю, что ей словно напророчила.

Как только Смеловский отошел от Муси, Андрей Николаевич возобновил свою «тихую сапу», которую он давно и неуклонно повел против нее.

Замечала ты, Ната, как характерно бывает иногда какое-нибудь одно движение, один жест человека?.. Сидели мы как-то с Андреем Николаевичем в гостях у Званцевых. Званцева только что приехала из Японии, привезла фрукты и угощала нас. Андрей Николаевич как всегда спокойный, как будто даже несколько флегматичный слушал нашу болтовню, пил чай и не спешил насладиться фруктами, которыми мы восхищались. Потом неторопливо подвинул к себе вазу, несколько минут обозревал ее и, наконец, медленно извлек из ее глубины роскошную желто-прозрачную грушу... Званцева расхохоталась:

– Ну и глаз же у вас, Андрей Николаевич!.. Безошибочный! Я самую лучшую грушу положила на дно, – загадала, кому она достанется, но вас не проведешь!..

Так Андрей Николаевич высмотрел и Мусю – не спешил, отходил, когда нужно было, в сторону, но неуклонно и твердо суживал свои круги.

Ах, Наточка, как мне теперь ясны эти люди, как все происходящее осветилось настоящим светом, выявило их подлинное лицо!.. Вот, например, Андрей Николаевич... Рыцарь и поклонник женщины и ее чистоты. Он и Мусю то взял преклонением и фимиамом.

А на самом деле – эпикуреец, влюбленный в свою плоть и в наслаждения этой плоти, язычник. Вкус у него утонченнее, чем у

большинства, а потому только девственность, чистота удовлетворяют его чувственность. Понимаешь, он бережет и охраняет эту чистоту для себя, а вовсе не потому, что это самодовлеющая ценность...

А возьми Смеловского... Одаренный, талантливый, блестящего ума, идейный человек, а душонка... Да, впрочем, не хочу продолжать... Суди лучше сама, – я все расскажу тебе так, как слышала от самой Муси.

Выйдя замуж за Андрея Николаевича, она была очень счастлива. Муж ее боготворил, был нежен, баловал ее, ходил за ней как нянька. Средства у него были хорошие, и у Муси было все, что она любила и чего была раньше лишена, – книги, возможность посещать театры, общество, музыка, наряды... Жизнь стала для нее праздником, которому она и отдавалась со всем жаром своих двадцати трех лет и своего необузданного характера. Любовь Андрея Николаевича захватила, закружила ее.

Сначала изредка, а потом все чаще стал у них бывать и Смеловский. Он сразу взял тон доброго старого приятеля, тон подтрунивания, легкой остроумной пикировки, которую так любила Муся.

Но меня этот тон не мог обмануть, и я, встречаясь с ним часто у Муси и наблюдая его, видела, что он влюблен в нее сильнее прежнего. Да это так и должно было быть: ему в высшей степени была присуща чисто женская черта – какой-то мелкой зависти, ревности к чужому счастью.

– Я на вашем месте не допускала бы так близко Смеловского к своему семейному очагу, – сказала я раз Андрею Николаевичу. – Смеловский – человек опасный, злостный сплетник...

– Нам с Мусенькой это не страшно!.. Еще подумает, что я ревную его. Правда, Мусик? – ответил Андрей Николаевич.

Понемногу поддразнивания и шутки Смеловского становились язвительнее, настойчивее. То он подтрунивал, что Муся стала буржуйкой, неисправимо добродетельной супругой, причем с комическим ужасом, закатывая глаза, восклицал: «И это Муся! Поэтичная, изящная Муся, мечта поэта!..» То старался выставить Андрея Николаевича в смешном и непривлекательном виде, – безгранично пошлого и узкого человека. Когда же ему случилось раз остаться с Мусей вдвоем, он вдруг бросил свои шутки и дурачества и искренним, горячим тоном заговорил о том, как больно, когда человек, подойти к которому считаешь себя недостойным, вдруг разменивается на мелкую монету житейских благ и грошового счастья...

Муся не оставалась к его словам равнодушной. Постепенно она начинала все больше и больше сердиться и возмущаться. Как-то раз вдруг вспомнила пикник, Мусины «сильные ощущения» и как она тогда чуть не утонула.

– Ну а теперь как? Пожалуй, на сильные ощущения наложит свое вето Андрей Николаевич? – спросил кто-то из присутствующих.

– Какие там сильные ощущения! – расхохотался Смеловский. –

Теперь недовольство супруга из-за какого-нибудь пережаренного бифштекса перетянет все мировые вопросы! Не так ли, Мария Александровна? – обратился он к Мусе с какой-то вызывающей, наглой усмешкой.

Муся вспыхнула.

– Да вы-то что за герой! – воскликнула она. – Вы сами – буржуй «our sang», как говорит наш добрый знакомый. Вашему сердцу вопросы гастрономии говорят гораздо больше, чем моему... Ну, хотите пари, вот сейчас при всех? Я сделаю вам испытание на сильные ощущения, а вы – мне... И посмотрим, кто из нас струсит, кто спасует, – вы или я. Идет?.. Давайте руку!

И пари состоялось.

Условились, что Муся первая придумает испытание Смеловскому и, если он с честью из него выйдет, то, в свою очередь, Муся должна будет подвергнуться тому же.

Между прочим Андрея Николаевича во время этого разговора не было – он уезжал на охоту. Будь он дома, я думаю, он отговорил бы Мусю от этого сумасбродного пари.

Через несколько дней Муся позвонила Смеловскому и, назначив день и час, просила его зайти для выяснения пари.

Она встретила его в пижаме, которая так шла к ее стройной мальчишеской фигуре и задорному, оживленному лицу.

– Нет, пройдемте ко мне, – сказала она, когда Смеловский со своей иронической улыбкой, удобно расположившись в гостиной, приготовился ее слушать.

Она повела изумленного Смеловского в свою спальню...

– Садитесь, и поболтаем, – она указала ему на маленький, низенький диванчик и сама, закурив сигаретку, села рядом с ним.

Интимность этой комнаты, ее свободный домашний костюм, полные лукавого задора и вызова глаза, этот искрящийся желтый топаз, – все это заставило Смеловского потерять голову. Он забыл про пари.

– Как вам идет эта пижама!.. Вы похожи на мальчика. Я прямо-таки зашатался! – пытаюсь шутить, но срывающимся голосом начал он.

– Как?! Compliments от вас! – воскликнула Муся. – От вас, от которого я привыкла до сих пор слышать только иронию и насмешки... Это надо ценить!

Муся посмотрела на часы. Было ровно пять, а с пятичасовым поездом должен был приезжать Андрей Николаевич...

– За наши комплименты вот вам моя рука... Я сейчас расскажу вам, в чем заключается наше пари.

С кокетливой улыбкой она протянула ему руку, и взволнованный Смеловский прижался к ней горячими губами. Потом рука его незаметно

потянулась дальше к ее талии, глаза его загорелись... Минута – и он готов был впиться поцелуем в ее шею, но в это время затрещал звонок... За дверью слышались шаги.

Муся, по ее словам, хотела непременно довести Смеловского до признания и посмотреть на него, когда она скажет, что приехал Андрей Николаевич.

– Мой муж! – воскликнула она, вскакивая, когда раздался звонок. – Уходите!

Но противоположная дверь, на которую она ему указала, совершенно неожиданно для нее самой, оказалась запертой с другой стороны... Что было делать?

Шаги приближались к дверям... Смеловский побледнел. Муся сама смутилась, почувствовав, что переиграла. Возможность того, что Андрей Николаевич может и не поверить пари, промелькнула в ее уме.

На кровати лежало принесенное от портнихи бальное платье и ветка прелестных палевых роз...

– Скорей ложитесь на кровать! – шепнула она.

Минута – и Смеловский лежал на кровати. Она накинула на него простыню, а сверху положила, расправив пышные воланы и оборки, платье. Там, где была его голова, она бросила гирлянду роз и, как будто рассматривая, наклонилась над ними.

Дверь раскрылась. Андрей Николаевич в полной охотничьей амуниции с ружьем на ремне стоял на пороге.

– Прости, Мусик, – сказал он, – так хотелось тебя поцеловать, что не стал раздеваться... Дай-ка мне свою щечку, и я пойду приводить себя в порядок.

В эту минуту, по словам Муси, ей стало вдруг так стыдно перед мужем, ею овладела такая злость против Смеловского, что она непременно захотела его наказать.

– Андрюша, – попросила она, – исполни, пожалуйста, мою фантазию... Выстрели, вон, видишь ли в эти цветы... Мне хочется посмотреть, что от них останется.

– Ну, что за глупости, моя радость, – возразил Андрей Николаевич.

– Я испорчу тебе постель и цветы, всполошу весь дом... К чему это?

– К тому, что я хочу, чтобы ты исполнил мою прихоть. Я прошу тебя, слышишь, Андрюша, прошу!

– Ни в чем-то я не могу тебе отказать, моя дорогая фантазерка!.. Ну, изволь, – куда стрелять?

– Вот в эти розы... Я буду считать. Ты выстрелишь, когда я скажу «три». Ну, слушай: раз... два... – считала Муся. – Знаешь, мне расхотелось, не надо, – сказала она, когда должно было прозвучать «три». – Иди мыться, обедать и отдыхать. Сегодня ведь Новый год, ты не забыл?

Когда затихли шаги, Муся сняла со Смеловского платье и простыню и

вывела его в коридор. Он был, по словам Муси, бел, как бумага, но, с улыбкой поклонившись, произнес:

– Теперь очередь за вами... – и какое-то жуткое, неприятное чувство овладело Мусей в эту минуту. Ее слегка мучила совесть.

На встрече Нового года, на которой Муся казалась такой счастливой и веселой, Смеловский был тоже, но с другой компанией. Когда пробило двенадцать и начались поздравления, он подошел к ней с бокалом в руке и со своей вызывающей улыбкой спросил:

– Ну, как, вы бьете отбой?.. Я жду исполнения пари. Интересно, как вы держите свое слово, – потом, переходя на искренний, дружеский тон. – Я, конечно, не сомневаюсь, что мою маленькую просьбу вы выполните. Да и пари мое такое скромное, такое пустяковое.

Во время танца он сказал ей, что давно ему хочется, чтобы Муся побывала у него, и теперь он просит, чтобы она пришла к нему выпить чаю между шестью и семью часами вечера на другой день.

– Согласитесь, что это – пустяки, сравнительно с тем, что придумали вы, – добавил он с добродушным смехом. – Я прямо восхищен вашей изобретательностью!

И на уверенность Муси, что дверь оказалась запертой совершенно неожиданно для нее, он только рассмеялся.

На другой день Муся провела несколько мучительных часов. Какая-то тревога, какое-то темное предчувствие говорили ей, что идти не следует, но, в то же время, мысль, что Смеловский посмеется над ней, что она не сдержит данного слова, заставляла ее краснеть, и решение было вскоре принято.

Второго января в четверть седьмого она звонила у дверей Смеловского. Он сам открыл ей, был любезен, почтителен и корректен. Угощал ее чаем, показывал интересные снимки, старинные, редкие книги, любителем которых был... Муся думала уже с облегчением, что скоро она сможет уйти домой, когда раздался звонок.

– Как неудачно!.. – воскликнул Смеловский. – Вам придется на минуту пройти в соседнюю комнату...

Он провел Мусю в свою спальню, причем туда же перенес ее пальто и шляпу, а дверь запер на ключ.

Муся слышала мужские голоса...

Через несколько минут – новый звонок, потом – еще, и вскоре не оставалось сомнений в том, что у Смеловского собралась большая мужская компания.

Когда Муся к своему ужасу узнала среди говора голос мужа, она поняла, – но слишком поздно, – что это была месть Смеловского... Все пришедшие были приглашены заранее на холостую пирушку. Она

слышала, как накрывали стол, как гремели тарелки, хлопали пробки. Шум и оживление возрастали.

Вдруг среди внезапно наступившей тишины она услышала голос Смеловского:

– Господа, – говорил он, – я предлагаю тост за прелестнейшую женщину, какую я когда-либо знал... Я пью за здоровье женщины, которая одарила меня своей любовью... За женщину, достойную резца величайшего в мире художника... А для того, чтобы вы не сомневались в моих словах, я угощу вас зрелищем, достойным самого Цезаря... Я покажу вам божественное тело этой женщины!..

Муся слушала, холодея от смутной догадки, мелькнувшей в ее уме...

Щелкнул ключ в дверях – Смеловский был перед нею.

– Раздевайтесь, – тихо произнес он, – я приготовил для вас сильные ощущения... Не бойтесь, никто вас не узнает: я закутаю вам голову платком... Если же через пять минут вы не будете готовы, я приведу сюда вашего мужа... Итак, выбирайте...

Выхода у Муси не было. Она почти лишалась сознания.

Но минуты, когда нагая, потрясаемая дрожью, она стояла среди мертвой тишины комнаты с головой, плотно закутанной шалью, – эти минуты врезались в ее сознание каленым железом. Она чувствовала все сильнее сжимавшийся вокруг нее, излучавший пламя огненный круг; она ощущала, ощущала физически, как прикосновения, десятки устремленных на нее жадных, похотливых мужских глаз. Они ползали у нее по телу, как какие-то отвратительные, липкие насекомые.

И вдруг, как пощечина, как удар хлыста, ее ожгли слова, произнесенные задыхающимся от восторга голосом, слова циничные, грязные (она не смогла их повторить). И эти слова... эти слова произнес ее муж...

Она очнулась на кушетке. Смеловский стоял на коленях, мочил ей голову, давал нюхать нашатырный спирт. Руки ее тряслись.

Глаза их встретились. Муся долго смотрела на него. Он казался ей бесконечно далеким, далеким и маленьким, как будто она смотрела на него в бинокль. Стояла тишина.

– Муся! – простонал Смеловский. – Прости меня!.. Прости за все! Ведь, я люблю... Всегда, всегда любил тебя! Пойми – я схожу с ума! Ты победила меня... но я знаю, знаю, – ты тоже любишь меня! Муся, Муся, – лепетал он в бреду. Он был вне себя. Целовал ее руки, ноги...

– Уйдите, я оденусь, – сказала Муся.

Голова у нее кружилась, ее шатало, но, выпив воды, она смогла одеться и выйти в соседнюю комнату. Сдвинутые стулья, беспорядок на столе, опорожненные бутылки, окурки, заставили ее на миг содрогнуться, но потом каменное спокойствие овладело ею.

– Отвезите меня домой... Поговорим потом... – сказала она Смеловскому тем же мертвенным тоном. У нее была одна мысль: остаться одной, одной.

По дороге он снова молил ее, почти плакал. Она не слушала его, все повторяя:

– Завтра, завтра... – только, чтобы он оставил ее.

Дома она взяла ванну – ей казалось, что на ней какая-то липкая грязь, – и велела сказать мужу, которого еще не было, что нездорова и просит ее не будить. Потом она с наслаждением растянулась на кровати и, как в смерть, погрузилась в тяжелый сон.

Проснулась она на другой день около двенадцати и сейчас же позвонила мне.

Когда я пришла, она поразила меня своим странным спокойствием и с какой-то отрешенностью, словно не о себе, рассказала мне все.

– Ольга, – сказала она, кончив, – что сделала бы ты на моем месте?..

Признаюсь, Наточка, я не знала, что ей сказать.

– Самое лучшее, Муся, – сказала я, – рассказать все мужу. Он так тебя любит... он сумеет тебя успокоить, поймет тебя и... простит.

– Простит? – повторила она, усмехнувшись. – Но я не смогу его увидеть, Ольга... Нет, нет!..

Потом она долго молчала.

– Как я люблю жизнь, Ольга! – сказала она вдруг с каким-то горячим, внезапным порывом. – Солнышко люблю, весенние набухающие почки, всю эту невыразимую несказанную красоту... А жить, жить мне нельзя... – и, на мое протестующее восклицание: – Да нет же, я пустяки говорю... Не обращай внимания... Знаешь, мне нездоровится. Я лучше лягу, а ты приходи завтра, непременно, – слышишь? А теперь иди, прости, что оторвала тебя, – и она как-то торопливо попрощалась со мной.

– Неужели же ты ушла?.. Неужели оставила ее в такую минуту, Ольга?.. Это ужасно!

– Пойми, что я была ошеломлена, что я растерялась. Я и сама не могу себе этого простить...

На пороге меня точно ударило что... Я повернулась и бегом направилась обратно.

Когда я входила в прихожую, грянул выстрел, слившийся с диким криком прислуги.

Маленький браунинг был еще зажат в ее руке, когда я вошла. Она боком лежала на кушетке. Глаза были полузакрыты, лицо спокойно, и только расплывшееся на левой стороне груди пятно, – как будто распускался какой-то чудовищный алый цветок, – говорило о том, что произошло. Она не промахнулась...

Ната сидела, закрыв лицо руками, и худенькие плечи ее

вздрагивали от потрясавших ее рыданий.

Ольга, молча, подошла к окну. Две продольные черточки около ее рта, почти незаметные обыкновенно, обозначились теперь резче, придавая жесткое, почти жестокое выражение ее молодому и красивому лицу.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1933. №12. С. 1-2, 4, 6, 8, 10.

ЖЕРТВА

Борьба была закончена. Энергия, настойчивость, невероятное душевное напряжение, поддерживавшие Анну в эти ужасные дни, надежда, отчаяние, – все это осталось позади. И единственной болью горело в душе воспоминание, которое, казалось, одно впитало в себя всю горечь совершившегося. На маленьком столике возле постели знакомые дорогие вещицы – часы с монограммой, портсигар, простенький, из карельской березы, ее подарок в одну из счастливейших минут их жизни, зажигалка и в узеньком бокальчике последний привет жизни, тепла, счастья, чайная роза, осыпающая прохладные свои лепестки. Смятая постель; откиннутое одеяло лежит концом на полу; на подушках отпечаток дорогой головы, куда она хотела и не посмела зарыть свое лицо – последний живой, осязаемый знак того, что он был здесь, вот сейчас, недавно, еще живой, еще свой, земной и близкий... Последние следы судорожной борьбы, последний вздох отлетевшей жизни.

Что было дальше... Важно ли это? Что-то слепое, беспросветное, полное холода и отчаяния. В эти страшные дни одна мысль владела ею: уйти, остаться одной, чтобы понять, осознать до конца свою потерю, свое одиночество.

И вот этот час настал – она одна. Пустая квартира молчит, притаилась. Вещи такие одухотворенные раньше, такие любимые, теперь насторожились неприязненно, стали чужими, враждебными. Их душа отлетела вместе с той, любимой; они превратились в куски дерева, тканей, стекла, ничем не объединенные, ничем не связанные мертвые куски мертвого, неодухотворенного вещества. А ведь все это было когда-то ее миром, трепетным, радостным, живым... Она смотрела и не узнавала своей уютной квартиры: все стало иным, ненужным, непонятным.

Она подошла к окну, открыла его прямо в весенний неяркий вечер, медленно облетающий нежными красками далекого заката, в прохладу уже начавшего темнеть сада. Откуда-то донеслась музыка, далекие аккорды, звучащие призывом, обещанием, возможностью чего-то. Полузабытая мелодия... Она силилась вспомнить. Что-то росло в сердце, какая-то вставала волна воспоминаний, смутной нежности, тоски... Не тот ли это

вальс Шопена, который звучал в тот день, в тот вечер?..

Она вздрогнула и закрыла окно.

Машинально зажгла лампу у его стола, опустилась в его кресло. Как больно, как больно! Как страшно это одиночество!

Слез не было. Сухие глаза горели, смертельная тоска терзала Анну.

Она опустила голову, закрыла глаза. Слабость, переходящая в изнеможение души и тела, овладела ею. Незаметно она задремала, легко и тревожно.

Что это – сон или явь? Всплески реки... Бежит, струится прозрачное серебро. Яркий свет весеннего утра. Она идет по берегу, раздвигая влажные кусты. Какая легкость, прозрачность воздуха! Как легко, как странно невесомо ее тело! Оно, кажется, струится и течет, подобно этому тонкому, душистому воздуху ранней весны.

Внезапно еще ярче стал свет солнца, светлее заиграли струи реки. Не взглянув, не обернувшись, она почувствовала его присутствие. Он здесь, рядом. Его рука легла на ее плечо. От нее исходят тепло, покой. Какая полнота счастья – ни слова, ни вдоха!.. Вот так идти, струиться с весенним сладким воздухом вдоль счастливой, спокойной реки. Не в этом ли бессмертное блаженство, не здесь ли вечная радость безгрешных душ?

Свет краснеет, наливается теплом. Кругом надвигается, как бы окутывает нежно и властно мягким бархатом, ласковая темнота. Слегка потрескивают дрова. Жаром пышет алая пасть камина...

Анна видит себя сидящей в низком кресле. Счастливая усталость на лице, рука бессильно брошена вдоль тела. Она пьет это тепло камина, как густое красное вино, дарящее смутное, тревожное опьянение. Предчувствие счастья или воспоминание о нем? Но оно здесь, оно касается ее своим пушистым крылом, оно разлито в воздухе, оно дышит и струится вместе с жаром камина. Стоит протянуть руку... Протянешь – и она погрузится в мягкий шелк волос, одно прикосновение к которым – счастье.

И вдруг ей стало тревожно, тяжело. Невыносимая тоска охватила ее. Застонав, она открыла глаза.

На столе рядом – затемненный абажуром бессонный глаз зеленой лампы. Кругом – тишина, покой. Но это не тот покой полноты счастья, блаженный и истомный, – это покой конца, смерти, уничтожения. Сколько времени она спала? Час, два? Стрелка часов показывала восемь, без четверти восемь. Это положение стрелок заключало в себе угрозу, она ощутила его как предостережение, как смутный окрик: «Берегись!», – и в ту же минуту резкий звонок спугнул тишину притаившейся квартиры.

Звонок?.. В этот час, в этот день? Неужели она не может остаться одна? Ведь она просила не тревожить ее. И все же машинально, повинаясь привычке, она встала, и скорбной тенью мелькнув по коридору и как бы подчеркивая своей бесшумностью всю нелепую резкость звонка, открыла дверь.

Сначала ей показалось, что там никого не было: так глубоок был мрак, так, казалось, нерушима была тишина приникшего к крыльцу весеннего вечера. Потом она разглядела смутную тень. Она как бы колебалась во влажном воздухе, не решаясь принять осязаемую человеческую форму. Потом ступила вперед и в нерешительности остановилась перед Анной.

– Вы? – прошептала она. – Зачем вы... Войдите.

Человек – это был мужчина с приятным открытым лицом – шагнул за ней в темноту неосвященной прихожей. Молча, прошли они к тому единственному уголку этой квартиры, где еще теплилась жизнь, – к зеленому огоньку бессонной лампы на его письменном столе.

– Садитесь, – сказала она беззвучно. – Я не ждала вас...

Она бледно улыбнулась.

– Как могли вы придти после этого... после того, что случилось? При жизни Андрея вам нельзя было приходить сюда, а после, после... – она задыхнулась и не кончила: сил не хватило произнести это страшное слово.

– Простите меня, Анна, – он говорил мягко, осторожно. – Я пришел к вам по желанию Андрея... Вы не знаете – я должен вам сказать. Незадолго до конца я был у него, – он сам вызвал меня, – и мы помирились.

Он взял ее руку в свои, и бессильно она отдалась его сдержанной ласке. Он помолчал.

– В тот вечер он чувствовал себя лучше. Но он знал, что умирает... Мы говорили долго и откровенно как в старые, давние дни. И он просил меня, просил меня... передать вам это. Понимаете, последнее письмо, которым он хотел загладить ошибку, боль... Прочтите сами – сказать трудно... Лучше вы сами возьмите...

Он путался в словах. Они падали, не взлетев, как подстреленные птицы. Что-то мучительное было в этом беспомощном трепыхании слов, бессильных передать что-то... Что-то страшное – она мгновенно почувствовала это.

– Какая ошибка? Какая боль?.. Вы говорите что-то странное, Николай. Дайте сюда, я сама...

Она протянула руку. Ее пальцы ощутили прохладное прикосновение толстой английской бумаги. Знакомое прикосновение – это была любимая бумага Андрея. Неужели?..

Оцепенение, апатия оставили ее. С лихорадочной поспешностью она раскрыла, почти разорвала конверт, развернула тугие листы толстой, негнущейся бумаги. Они были исписаны своеобразным причудливым почерком ее покойного мужа. Он посылал ей загробную весть; мертвый – еще хотел говорить с нею. Да, это он еще раз беседовал с ней голосом жизни, любви, страдания...

Подчиняясь внезапной слабости, она откинулась в кресле; рука с письмом бессильно опустилась на колени.

Прошло несколько минут молчания, тягостного как вечность.

Наконец, она нашла в себе силы стряхнуть оцепенение. Она встала, подошла к столу. Но по мере того, как ее глаза бежали по строчкам, спускаясь все ниже, потом поднимаясь вновь, – ее и без того бледное лицо становилось все бледнее: окаменелое, безжизненное лицо опустошенной души.

Вот что стояло в письме:

«Дорогая, по привычке произношу это слово, хотя уже давно потерял на него право. Сегодня ко мне неожиданно и, наверное, не надолго вернулись силы, и я решил выполнить долг чести, – вернее, простой честности, – который давно мучит меня. Когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет с тобой. Между нами ляжет то непонятное и бессмысленное, что зовут смертью. Для меня все исчезнет, все уничтожится, но ты... ты так молода еще, так полна жизни, что ты будешь жить без меня. Но пока ты любишь меня, мертвого, новая жизнь закрыта для тебя. Ты должна вычеркнуть меня из своей души, и я хочу помочь тебе в этом.

Я знаю – ты любишь меня, как только может любить нежная и верная душа. И я знаю, что, когда я уйду, мир для тебя потухнет, замолкнет, умрет. Ты заставишь мою тень идти с тобой по путям твоей жизни до последнего дня, ты воскресишь меня силой своей любви и мертвому мне будешь верна, как была верна живому.

Этого не должно быть, слышишь? Если при жизни я крал твою любовь из слабости, из лени, после смерти я должен, должен освободить тебя.

Ты должна это знать... Умирая, я не люблю тебя. Умирая, я тоскую не по тебе, я хочу, чтобы другие руки закрыли мне глаза, другие губы коснулись последним поцелуем моих губ.

Забудь меня – я недостоин тебя. Вычеркни меня из своей жизни, забудь меня. Дай мне счастье знать, что ты опять будешь счастлива, что ты будешь любить, жить...

Ты узнаешь сейчас... Первые годы, проведенные с тобой, были годами упоительного, необычайного счастья. Они навсегда останутся между нами. Не омрачай памяти о них злобой или горечью. Но потом... потом груз твоей любви, твоей преданности стал тяготить меня. Я – художник, моя жизнь вся была вспыхивающей, переливающейся гаммой настроений. И я никогда не мог пройти мимо красоты, не подчинившись хотя бы на миг ее власти.

Она была рыжей, изменчивой и опасной как пламя. Что-то вакхическое было в движениях ее прекрасного тела. Она была из тех женщин, которые не забывают, которые берут навсегда и целиком. Ее звали Магда Ольсен – норвежская художница. Я хочу, чтобы ты знала ее имя: быть может, когда-нибудь, где-нибудь, вам суждено встретиться...

Ты помнишь душный вечер, весь насыщенный предгрозовым томлением? Молнии, шум встревоженных деревьев?.. Ты не могла спать и ночью вышла в сад. У фонтана мы столкнулись, и моя бледность поразила тебя. «Сегодня гроза, – сказал я. – Мне жутко от моей любви к тебе, Аня. Она – как гроза: гибельная и прекрасная». Так знай: в тот день я впервые изменил тебе. Я думал о Магде, я томился, я звал ее. Мне было тяжело, что ее нет рядом со мной, что я не могу целовать ее рыжих волос. Я сходил с ума от тоски по ней...

А ты помнишь другой вечер, когда мы слушали с тобой вдохновенную музыку Крейсlera? Ты повернула ко мне лицо, полное экстаза, и я ответил тебе взглядом, в котором ты прочла любовь. Ты потом говорила, что это была одна из священных минут твоей жизни... Ты должна знать: в тот миг моя душа была с другой. Я трепетал от предчувствия близкого свидания, я молился ей, я звал ее и любил ее, только ее, ее одну.

Перед лицом смерти я не могу молчать. Мои последние годы были наполнены Магдой, ее любовью, ее ласками. А ты? Прости меня... Я давно уже не люблю тебя...

Что же еще? Довольно, я думаю, – все сказано. И все это неповторимо и невозвратно. Забудь меня. Убей образ мой, вытрави память обо мне, отрави самый источник воспоминаний и начни жизнь сначала».

Последние строчки были чуть видны – силы больного, видимо, быстро слабели. С трудом можно было прочесть подпись и слово «прости».

Молчание росло, давило, становилось невыносимым. Николай шевельнулся в кресле, кашлянул. Анна взглянула на него невидящими глазами, вздрогнула. Лицо исказила страшная гримаса. Она засмеялась.

– Конец одной любви, – проговорила она, наконец, задыхаясь. – Не правда ли, оригинально?.. Вечная, святая, чистая любовь, родство душ, общие интересы! А на деле?.. Какая ложь, какая низость!..

Смех перешел в рыдания. Она комкала, рвала на части письмо, она топтала ногами ключья бумаги. И когда, наконец, обессиленная упала в кресло, Николай взял ее руки в свои и долго и нежно говорил с ней как с несчастным, больным, страдающим ребенком и, когда она затихла, взял ее на свои сильные руки, перенес на постель и всю ночь, при бледном свете ночника, просидел у ее изголовья.

После этой страшной ночи Анной овладела какая-то лихорадка, какое-то веселое отчаяние. Ведь сам Андрей хотел, требовал, чтобы она жила и наслаждалась жизнью. И Анна с головой окунулась в водоворот чувств, лживых и бесплодных, закружилась в вихре страстей, обманчивых, тревожных и призрачных.

Любовь Николая не нашла в ней ответа. Она сошлась с ним из скуки, из презрения к жизни, из холодного равнодушия к своей судьбе. Она знала цену любви, она ничему больше не верила. Но что-то в чувстве Николая

шевелинуло в ней былую нежность. О, нет, это была не любовь – навсегда изгнала она это чувство из своей жизни. Но какая-то частица того стремительного, женственного и нежного существа, каким была Анна в той, другой своей жизни, сказала ей, что дольше мучить его нельзя, что она должна отпустить его, что жестоко губить вместе с собой и этого преданного, боготворящего ее человека.

Их последний вечер, когда она сказала ему, что оставляет его, был мучителен для обоих. Ресторан сверкал и шумел. С эстрады неслись звуки джаза. В их неистовом томлении, казалось, вскипала и переливалась через край вся тоска этого дымного вечера, освещенного бесстыдными ночными огнями.

Анна медленно тянула ликер, следя равнодушными глазами за проходившими мимо них танцующими парами. Она знала, что была очень хороша в тот вечер. Глаза мужчин, за минуту рассеянные и небрежные, встретив ее взгляд, вдруг вспыхивали, становились внимательными, загадочными, что-то обещающими. И женщины смотрели на нее ревниво и тревожно. Но все это было ей глубоко безразлично. Она уже не считала себя живым членом этого кипящего, смеющегося мира: за его беспечной улыбкой виделся ей страшный оскал смерти, обмана, лжи.

Она взглянула на Николая. Все-таки это – единственное существо на земле, которое еще что-то значило для нее. Но любовь? О, нет, с нее довольно. Такие уроки не проходят бесследно... Она сказала:

– Николай, я много думала над нашими отношениями, и я решила, что мы должны расстаться... Я не люблю тебя, да и никого не люблю и не смогу полюбить. Но с тобой у меня связаны воспоминания юности, всего, что было у меня самого дорогого... – она остановилась.

– Анна, – сказал Николай, – ты не понимаешь. Я ничего не жду от тебя. Я только хочу сделать тебя немного спокойней, счастливей. Примирить тебя с жизнью... – его голос оборвался.

– Ах, к чему все это! – голос Анны звучал нетерпением, тоской. – Я – мертвый человек. Я еще гожусь для минутной забавы, но связать навсегда свою жизнь с тобой... Нет, нет! Ты сам скоро поймешь, что это – ошибка, что ты губишь свою жизнь, а я... прости меня, мне даже легче будет одной.

– Анна, позволь мне быть с тобой! Ты знаешь – я всегда любил тебя. Позволь мне ухаживать за тобой, быть с тобой рядом!..

– Нет, – сказала она, – это конец... Я не хочу ничего, что напоминало бы мне о прошлом. Прости меня, забудь меня. А я уж как-нибудь дотащу свою жизнь до конца.

Он с тревогой посмотрел на нее.

– Но ты обещаешь мне, что ты... что ты... ничего над собой не сделаешь?

Она холодно засмеялась. Смех, не отразившись в глазах, ни на минуту не смягчил их жесткого взгляда.

– Это я тебе обещаю – будь спокоен! Прости меня... Я хотела бы подарить тебе что-нибудь на прощанье. Но даже нежности простой я не могу тебе дать. Отойди от меня: я теперь «табу» для всего живого...

Она попыталась улыбнуться. Тонкие руки сжались в тоске. С невыразимой печалью смотрел на нее Николай.

– Твоя воля для меня закон, – сказал он, наконец. – О себе я не говорю: как-нибудь проживу. Но я всегда буду любить тебя, Анна. И ты должна обещать мне, что, если тебе нужен будет человек, просто человек, чтобы помочь тебе, быть с тобой, – ты напишешь мне, позовешь меня. Обещай мне это!.. Я буду ждать. Помни – моя жизнь принадлежит тебе.

Анна не могла говорить. Молча кивнула она головой. Они вышли на улицу. Автомобиль довез их до квартиры.

– Прощай, Николай, прости меня, – сказала Анна и, наклонившись, поцеловала его в губы. Он обнял ее с последней нежностью. Минута прошла в молчании.

– Помни, что обещала! – произнес он неверным голосом.

После разрыва с Николаем Анна уехала за границу и прожила там несколько лет, праздных, шумных и безразличных. У нее были романы. Говорили даже, что она искала их, хотя никто не посмел прилепить к ней кличку искательницы приключений: слишком уж не вязалась она с этим бледным, холодным лицом, носившим на себе печать обреченности.

Но, не зная счастья, она никому в свою очередь не могла подарить его. Ее странная, больная красота привлекала к ней мужские сердца, но счастья она не дала никому. Говорили, что она погубила своей любовью одного русского: подарив ему несколько дней счастья, она бросила его легко и небрежно, вышвырнула из своей жизни как вещь... Говорили, что из-за нее отравилась жена видного дипломата, атташе итальянского посольства при английском дворе... Говорили... да, впрочем, вряд ли нужно повторять все это.

Достаточно сказать, что на четвертом году своей безумно несущейся жизни Анна бросила все: поклонников, свет, успехи, – и зарылась в глушь нормандской деревушки, где среди бедных, простых людей спокойно и скучно текла ее одинокая жизнь.

Близился вечер. Холодные волны набегали на низкий песчаный берег. В последний раз взглянув на море, такое пасмурное в этот предвечерний час, Анна направилась домой.

У домика ее хозяина стояло несколько человек, о чем-то озабоченно переговариваясь.

– Мадам, – сказал один из них Анне, – моей жилище очень плохо. Не пойдете ли вы посмотреть?.. Не дай Бог, умрет еще – хлопот не оберешься.

– Ваша жилища? – повторила Анна. – Разве здесь есть еще кто-нибудь из города, кроме меня?

– Художница одна... Она здесь всего несколько дней. Рисовать приехала... Да вот простыла что ли где: уж очень плохо ей, – совсем помирает...

– Где она? Покажите мне ее, – сказала Анна. – Хотя я совершенно не знаю, чем могу помочь...

Они вошли в низенькую комнату бедного жилища. На кровати лежала женщина. Худое лицо, на щеках румянец лихорадки. Глаза закрыты. Рыжие волосы разметались по подушке как неистовая пламенная грива. Тонкие руки раскинуты. Вся она, как фарфоровый светильник, в котором горит, угасая, пламя.

Анна взяла руку женщины, считая пульс. Да, домашними средствами здесь не обойтись, – пульс был бешеный, прерывистый и тревожный. Что было делать?.. Анна решила послать за доктором в город, а сама осталась до его приезда у постели больной.

Она смотрела на ее нежное, тонкое лицо, на ее огненные разметавшиеся кудри, на нежные руки, прозрачные и бессильные. О, да, это была женщина, созданная для любви! И та... та тоже была такой прекрасной, – рыжей, изменчивой и опасной как пламя. Ах, нет, это нужно забыть, забыть...

Усилием воли она подавила мучительное воспоминание.

Больная застонала. Слабо пошевелились бледные губы. Открыла глаза, что-то пробормотала: видимо, начинался бред. Невольно Анна прислушивалась.

– Не оставляй меня, дай мне свою любовь... – шептала больная. – Ты, мой единственный, пожалей!.. Оставь ее, забудь!.. – потом следовал бессвязный лепет, похожий на мольбу. И снова: – Андрэ, Андрэ, полюби меня! Она не узнает... О, не мучь, пожалей!.. О, как ужасно, как больно!..

Потом слова слились в мучительное бормотанье. Несчастную терзали бредовые видения. Она заметалась в постели, видимо, жар усилился.

При первых звуках знакомого имени Анна вздрогнула. Неужели судьба свела ее с этой женщиной?.. Но разве так говорят счастливые любовницы? Разве это голос торжествующей, разделенной любви? Нет, не может быть, это – ошибка... простое совпадение. И все-таки, и все-таки...

Она оглянулась, как бы ища доказательств. На столе стояла чья-то карточка. Перед ней – пучок увядших цветов...

С картона на нее смотрели глаза Андрея. Поперек карточки шла надпись: «Магде Ольсен, товарищу по искусству».

Больная бредила, молила, плакала. Анна в оцепенении сидела рядом. Освещалось все темное и непонятное, что было в ее прошлой жизни, многое становилось ясным, отчетливым. Но поверить окончательно, разрушить долголетний обман она еще не могла.

Приехал доктор. Анна уступила ему свое место около больной.

Ночью она почти не спала. Сожаление, стыд, печаль мучили ее. Утром она послала телеграмму, а когда через несколько дней знакомая фигура с чемоданом в руке подошла к ее дому, – не выдержав, она разрыдалась впервые после многих лет и почти упала на руки Николая.

– ...Это была верная и нежная душа, – говорил Николай, – и он любил тебя, Анна, до последнего вздоха. Но мысль, что после его смерти ты останешься одинокой, что и для тебя кончится жизнь, мучила его.

«Она так молода! – говорил он. – Ее, быть может, ждет еще столько прекрасного... Но я знаю, что она никогда не забудет меня для другого. Мне больно думать об этом, Николай. И вот я решил... Ты давно ее любишь. Вы еще можете быть счастливы. Но для этого я должен дать ей право забыть меня. Я напишу ей, ты передашь ей письмо после моей смерти. Я скажу, что я не люблю ее, что я изменял ей». Тут же при мне он потребовал бумагу и написал тебе... если бы ты знала, Анна, – было страданием смотреть на него в ту минуту... Когда он кончил, он несколько минут лежал молча, как будто собирался с силами для последней жертвы. «Ведь это похоже на самоубийство, – сказал он потом, – да и на убийство одновременно. Я предаю самое дорогое для меня, самое сокровенное: наше прошлое...», – он говорил как в бреду. – «О, как это мучительно умирать и знать, что ничего, ничего от тебя не останется, – даже тени, даже дуновения нежности в сердце любимой!.. Но я должен сделать это, должен! Клянись мне, Николай, что ты никогда не скажешь ей, не намекнешь. Я знаю – первые дни будут ужасны, но потом, потом... жизнь возьмет свое...», – он закрыл лицо руками и зарыдал, как ребенок.

Николай замолчал. Анна сидела с мокрым от слез лицом.

– Какая ошибка! – прошептала она. – Какая жертва, безумная, бесцельная! О, если бы ты знал, Андрей, если бы ты мог слышать меня!..

Они замолчали. Шумело море, и в волнах прибоя слышались им голоса любви, голоса вечности и безмерной людской печали.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1933. №45. С. 1-2, 4, 6, 8-9.

КАТЯ

Медленные раздумья... Бесконечные ночи, сжигаемые лихорадкой. Редкие письма от Кати... Потом еще глубже, полнее – тишина одиночества. И не то, чтобы тоска: нет, этого не было, он был еще слишком молод, чтобы знать ее ядовитое очарование; – а скорее какое-то состояние неразрешимости, вопроса: что ж, и это жизнь?.. жизнь?.. А дальше?.. И – ненахождение ответа.

Такова была Федина жизнь.

А на другом конце вселенной, за пределами досягаемости, жила Катя. Жизнью пестрой и беспокойной, отдельные брызги которой долетали и до него, преодолевая враждебное расстояние. Во всем, во всем, она была так отлична от Федей и так мучительна для него своей непонятностью, тревогой, движеньем...

С детства и до настоящего дня Катя была как-то неразрывно связана, сплетена с его жизнью. Ребенком, просыпаясь в залитой солнцем детской, он думал: «Катя!», – и все вокруг наливалось для него тайным смыслом, тайной радостью.

Найти для Кати маленькую черепаху и видеть, как Катины глаза округляются от ужаса и восторга... Сквозь заросший бурьяном пустырь, обжигаясь крапивой, провести ее в ему одному знакомое местечко, где быстрый ручей образует в песчаном углублении прозрачный водоем, куда так приятно погрузить разгоряченное летним жаром и волнением лицо. И слышать, как Катя тихонько повизгивает от удовольствия, брызжа себе в лицо ледяными струями. И еще: взяв Катю за руку, провести ее вечером, когда в доме такая тишина, по лунной дорожке, лежащей через высокие окна по паркету зала, и шепотом с бьющимся сердцем говорить, что она ведет туда, в голубую темноту, в мир счастья и сказки, куда он возьмет Катю с собой навсегда, когда они будут большими... И еще, и еще – забившись в угол за диваном в гостиной, плакать первыми мужскими – в десять лет – слезами от первой измены, от первой боли, когда Катя – Катя! – убежала катать серсо со своим великолепным столичным кузенком.

Катя – всегда и везде, изменчивая, неуловимая, несравненная Катя. На первом гимназическом балу в желтом платье стремительная, как весенний ручей, вся в отблесках, в игре, в огне какого-то неведомого пожара... «Катя, последней вальс со мной!» – «Но, я уже обещала...» – «Но Катя, Катя...». – «Нет, нет, и не проси, не могу, не могу...»

А потом на сонной улице по дороге домой Катя тихая, другая, с потемневшими глазами... «Федя, милый, прости!..» И поцелуй нежных полудетских губ, еще не знавших страсти.

Москва... Катя – курсистка... И снова кружатся дни и несутся вдаль под властью непреодолимого очарования.

На концерте вдвоем... Как он счастлив! Сколько ему нужно сказать ей!.. Такого важного, решающего. И вдруг какое-то неуловимое движение... краска радости... на нежных щеках... Блеск в глазах.

– Федя, ты меня сегодня не провожай. Хорошо? Я все, все потом тебе расскажу. Милый, милый Федя!

Он все помнит: и слезы, и счастье, измены и разочарование в целой жизни. Все пережито, все знакомо. И боль... и редкая, такая редкая, радость...

И разве он может когда-нибудь забыть солнечный, весь в веселых зайчиках день, и Катю, Катю... Она поцеловала его в губы, она сказала:

«Федя, милый... Мне кажется, кажется... Я скоро тебе что-то скажу... что-то хорошее, хорошее... Ты будешь рад, ты даже, может быть, будешь счастлив. Очень! Подожди еще крошку, еще самую капельку...»

Правда, он ждал напрасно, – она, вероятно, просто забыла, а он не хотел, не мог напомнить.

Но разве радость может длиться? Разве бывает полное счастье? И разве это нужно? Боль и радость – самый острый напиток для жадных человеческих уст.

И чем дальше, тем больше неудовлетворенности, тем скупер, а потому острее вспышки радости.

Спокойный, слегка застенчивый (такой привычный, свой), он не был победителем, а для женщины с воображением и темпераментом, в какую вырастала – и выросла – Катя, он не мог превратиться в героя. Друг – да, нежный, преданный и очень по-своему нужный. В какие-то периоды затишья, отдыха от погони за жизнью, она искала его общества с почти чувственной нежностью. Она позволяла ему целовать себя, она даже мечтала вслух, что когда-нибудь, – быть может, совсем скоро, – они поселятся вместе в глуши на берегу светлого ручья... О, как он помнит долгие часы, проведенные наедине в его студенческой комнате! Бесконечные прогулки по вечерним, пустеющим бульварам... Катя, то и дело отводя с лица своей маленькой рукой прядь непослушных волос, говорит, смеется:

– Федя, Федя, у тебя бывает?.. Да нет, ты не знаешь... тебе не понять... когда сердце вдруг обрывается, замирает от счастья... Восторг, тишина и – полет... Ах, знаешь, знаешь, вот умереть в такую бы минуту! Что лучшего может дать судьба? Ведь счастливой жизни не бывает – так пусть будет хоть счастливая смерть в момент полноты, совершения... Федя, Федя, какой ты мальчик!.. Ты ничего не знаешь. Смотри, я младше тебя, а мне все, все понятно... И я знаю, что жизнь бывает страшна и прекрасна...

Да, Федя – мальчик, Федя не понимает... Но вечером поздно, проводив Катю домой, он плачет в своей комнате, прижимая ладони к лицу, вдыхая аромат, оставленный в них прикосновением Катиной руки. О, эти слезы, эти слезы!.. Их боль, их радость... Из камнем ставшего тридцатилетнего сердца никакое чудо не исторгнет больше этих слез, этих слез, которыми причащается любви неискушенная юность.

Годы идут... и опять, и везде Катя, одна только Катя. Ах, он не знает, – («И что в ней красивого? – говорят, пожимая плечами, дамы. – Самая ординарная наружность») – он не знает, чего ищет он в ее изменчивых глазах, в ее улыбке, то грустной, то насмешливой, в быстрых, угловатых движениях ее мальчишеской фигуры. Он не знает, да разве и нужно – и можно – знать, когда печаль, когда счастье почти невыносимы, и радостно принимают руки тяжелую ношу неразделенной любви?

Но он знает Катю и другой, совсем другой... Он помнит сумерки и

тишину зимнего дня... Диван, пестрые подушки. И Катю в слезах, сжимающую тонкие руки.

– Федя, Федя, пойми... Мы никогда не увидимся больше, никогда! У меня не осталось ни гордости, ничего. Даже боль от него дает мне радость. Но не видеть, не видеть никогда... Какое слово! Вся жизнь впереди... – никогда.

– Катя, дорогая!.. – но губы дрожат, слова не слушаются, да и нет таких слов. И остается одно: долго, безнадежно целовать эти бессильные руки, бормотать бессвязно:

– Он вернется, поверь, потерпи...

– Нет, Федя, ты не понимаешь... Ты не такой. Это страдание почти непереносимо... От него сходят с ума, топятся, стреляются... Ты не понимаешь...

Не понимает Федя, Федя?..

О, эта жизнь, жизнь, зачарованная, застывшая. Разве меняется сердце? Пусть мелькают дни, пусть Федя сменил гимназическую куртку на студенческий мундир, и студенческий мундир на безличный эмигрантский пиджак; пусть уже не так упрямо завивается пшеничный хохолок легких волос над высоким лбом, несколько напряженнее стал взгляд чуть близоруких глаз, да еще легкие тени легли на все еще юношески сухощавое его лицо, – между ним, теперешним Феодором Ивановичем, сжимающим в тонких руках голубые листки, и тем безусым Федей, Катиным пажом и кавалером, всего лишь пятнадцать лет, невесомых, почти незамеченных, и так легко, подняв, связать оборванную нить неудавшейся жизни.

Голубые листки, знакомый почерк... И призыв, которого он ждал, бессознательно, столько лет, столько лет...

«Федя, милый Федя!.. Только теперь, когда мне скоро тридцать, я поняла, как я устала... и как я одинока... И как я люблю тебя, Федя! Да, люблю. Я смею сказать это слово сердцем, тоскою моей по тебе. О, Боже! Сколько сил погибло, растрчено, в погоне за миражом в пьяной чувственности, в страстном угаре. Оборачиваясь назад, я вижу шалую девчонку с горящими глазами, с жадностью в сердце, которая, задыхаясь от торопливости, хватала на лету жизнь. Но она страдала, она тоже страдала, Федя. Она знала эти смертельные укусы ревности, неутолимую боль раздавленного самолюбия, тоску обмана и одиночества... О, Федя, Федя! Но ведь ты, ты был всегда со мной рядом. О, как мне больно, как мне стыдно сейчас! Как я мучила тебя и как, несмотря ни на что, все время любила. И как слепая, как слепая, не находила дороги... Нужна ли я тебе еще? Любишь ли ты меня? Любишь ли...»

«Люблю, люблю, люблю... Приезжай, приезжай, приезжай...», – выстукивает телеграф и вместе с ним Федино сердце.

Они не видались пять лет. И еще не увидятся двадцать три дня...

Двадцать три! И с каждый часом все ближе и ближе свиданье. Вот уже получены и отправлены последние телеграммы, вот уже пора укладывать чемодан и ехать на вокзал. И вот уже поезд мчит его к тому приморскому городку, где должна произойти встреча. Навсегда. На жизнь...

В купе вагона Федя невидящими глазами смотрит на пустые поля, одинокие деревья, бегущие мимо. Он думает о Кате. Какой стала она теперь?..

Но разве он может ее не узнать? Разве могли измениться ее живой взгляд, легкие, как бы летящие назад со лба, светлые волосы... звенящий смех, тонкие руки... Весь образ ее, полный вечно женственного, неотразимо для него пленительного. Он знает – она все та же, та же...

В шум вокзала он сошел не торопясь, спокойно. Он знал: <...>, – пусть длится, длится волшебное мгновение ожидания счастья. Не в нем ли высший возможный предел?

Он шел по улице, сняв шляпу, подставив лоб веселому ветру.

– Какое лицо, посмотри! – сказал один прохожий другому.

Но он не слышал, не обернулся.

Какая-то дама, остановившись, долго смотрела ему вслед. Теснило грудь, и тяжело было дышать. Это – от счастья: он не привык к нему.

У ближайшего гаража он взял машину. О предстоящей ему двадцативерстной поездке по гладкому, как пол, шоссе к тому дачному местечку, где должна была ждать его Катя, он думал с наслаждением: путь к счастью. Не надо, не надо торопиться! Оно пришло, оно пришло к нему, наконец! Навсегда, навсегда! Но разве счастье бывает навсегда?.. Бедный Федя! Он не знает, что такое счастье, да и кто знает, кто скажет...

Шофера он усадил сзади, чтобы быть одному. Привычным движением нажал стартер, перевел рычаги... Сначала плавный бег по асфальту темноватых улиц города. Потом внезапный поворот, ослепительный всплеск моря, как радостный цветовой аккорд. И – сладкий ветер, опавший на лицо. И даль... И в дали – Катя, Катя... и жизнь.

Федя нажимает акселератор. Машина мчится вперед, скорей, все скорее... О, эта синева, это упоительное движение! Какой простор, какой восторг! От него тесно усталому сердцу, и тяжело дышать.

Катя, Катя!

– Эй, послушайте, такая скорость запрещена. Послушайте, мистер...

На заднем сиденье волнуется шофер. Какой странный, пассажир!.. Он не отвечает. Он привстал на своем сиденье. Выпустил руль. Широко раскинув руки, он, казалось, обнимал этот прекрасный мир, идущий ему навстречу. О, восторг, восторг!

Потеряв управление, автомобиль слепо мчался вперед. На повороте, каким-то чудом не перевернувшись, скатился с высокой насыпи шоссе, и по золотому песку пляжа въехал в море и – остановился...

Склонившись на рулевое колесо, заливаясь кровью, Федя умирал. И с

неостывшим восторгом в потухающих глазах еще шептал:

– Катя, Катя!..

Сияло море. Легкий ветерок принес откуда-то дыхание неведомых ароматов – и замер.

В светлой комнате маленькой приморской дачки плакала Катя, зарывшись головой в подушки. А по полу разлетались легкие, голубоватые листки недописанного письма:

«Федя, прости, опять... в который раз? Мы никогда...»

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1937. № 27. С. 1-2, 4, 6.



**Наталья Семеновна
РЕЗНИКОВА**
(1912? – 1990-е?)

Поэтесса, прозаик и критик Наталья Резникова (в первом замужестве Тарби, во втором – Дерюжинская) родилась 7 июля 1912 г. (по другим сведениям – в 1908 г., в 1911 г.) в городе Иркутске в семье присяжного поверенного. В 1921 г. вместе с родителями эмигрировала в Харбин. Окончила русскую гимназию и Юридический факультет в Харбине (1932). Участница литературного объединения «Молодая Чураевка». Печаталась в журнале «Рубеж», где также вела отдел библиографии. Участница коллективных сборников «Лестница в облака» (1929), «Семеро» (1930), «Багульник» (1931), «Излучины» (1935). Автор романов «Измена» (Харбин, 1935), «Побежденная» (Харбин, 1937); сборника рассказов «Раба Афродиты» (Харбин, 1936); поэтических сборников «Песни земли» (Харбин, 1938), «Ты» (Харбин, 1942) и др. книг. В начале 1940-х гг. переехала в Шанхай. Работала в газете «Шанхайская заря». В 1948-1951 гг. жила в Копенгагене и Лондоне. В 1951 г. переехала в Нью-Йорк, где скончалась в 1990-х гг. в приюте для слепых.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 457-458.

Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 691-692.

Сентянина Е. Харбинские писатели и поэты // Рубеж. 1940. № 25. С. 10.

Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.

Хисамудинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 254-255.

Забяйко А.А. Ментальность дальневосточного фронта: культура и литература русского Харбина. Новосибирск, 2016. 447 с.

ПОЛУКРОВКА

Жанно привезли в госпиталь «Святой Терезы» утром, а вечером положили на операционный стол. Операция пересадки кожи прошла удачно.

Это мне рассказала сестра Анжела, забежавшая как обычно перед ужином в мою палату. Она пришла прямо из операционной; рукава ее просторной монашеской одежды остались засученными, полные отвисшие щеки, подвязанные белой косынкой, горели. Пухлой рукой, покрытой темными пятнами веснушек, поправила она сползавшие на кончик утинового лоснящегося носа очки в железной оправе, вздохнула и села на край стула. Я видела, что она возбуждена, утомлена и хочет как можно скорее поделиться со мной историей нового пациента. Сестра Анжела всей душой была предана больным, вникала во все подробности их жизни и не особенно печалилась тем, что мирская суета занимает ее все время и мысли, уверенная, что стоит лишь помолиться, и «Бог простит».

Я узнала от нее, что новому пациенту только девять лет, что он – сын фабриканта Чжан-фу и француженки (последнее обстоятельство особенно волновало старую монахиню), что живут они в провинции вблизи Шанхая и прислали мальчика одного на операцию, так как ожог у него на груди

покрылся диким мясом и не заживал...

– Они католики, – сообщила сестра Анжела, – и очень доверяют нашей монастырской больнице и доктору Клермон. К тому же мадам ждет младенца, а г-н Чжан-фу слишком занят и не может оставить фабрику.

– Но сам мальчик? Он очень плакал?..

– Жанно? Это настоящий чертенок, гордый и упрямый! Ни одного стона, ни одного вопроса. Зубы сжал, кулаки сжал и молчит. Доктору лишь сказал: «Пожалуйста, скорее!..».

– Он говорит по-французски?

– Как француз!.. Никакого смирения... – покачала она головой и поправила спадавшую на плечи косынку. – Он лежит в палате № 7. Если хотите, навестите его, – предложила сестра Анжела, бросила взгляд на часы, ахнула, вскочила и буквально выкатилась из комнаты.

Я вышла за ней в коридор и направилась по направлению к названной палате. Дверь была полуоткрыта, и до меня ясно донесся стон. Я остановилась, прислушалась. Видимо, мои шаги были услышаны: детский голос позвал:

– Ама!..

Я вошла.

Жанно лежал на спине, одеяло покрывало только ноги, вся же верхняя половина тела была забинтована и открыта. Его широко раскрытые черные глаза лихорадочно блестели.

– Пить... – произнесли сухие губы по-французски.

Я взяла стеклянный чайник с ночного стола и дала ему несколько капель воды. Он чуть улыбнулся и закрыл глаза. Прямые, как щетки, длинные ресницы бросили темную тень на бледные с желтизной щеки.

– Тебе больно? – спросила я и погладила кругло подстриженные, закрывающие лоб волосы мальчика.

– Мне сделали укол, – объяснил он коротко и снова закрыл глаза.

Я безмолвно опустилась на стул, стоявший рядом с его постелью, и стала тихонько поглаживать его жесткие, как конский хвост, прямые волосы и горячую нежную щечку. В его правильном, еще детски округлом личике не было ничего типично китайского, разве что иссиня черные, смело раскинутые брови и кожа той идеальной глянцевитой гладкости и янтарной чистоты, что свойственна лишь китайцам.

– Маман... – прошептал он, словно во сне. – Вы – как маман...

Я ничего не ответила, я сидела возле него до тех пор, пока он не уснул.

На следующий день в полдень я пошла навестить Жанно.

Его палата была вся залита солнцем, но он лежал также неподвижно, как накануне, и почему-то напомнил мне попавшую в клетку пичугу.

Круглые черные глаза его, в которых совсем неразличим был зрачок, встретили меня равнодушно.

– Добрый день, Жанно! Ты меня помнишь? – спросила я, подходя к постели.

– Конечно, – ответил он спокойно, но выражение его лица не изменилось.

– Я принесла тебе шоколадку. Хочешь?

– Нет, – отвернул он от меня голову. – Я хочу есть. Про меня забыли! – прибавил он оскорбленно.

– Не может быть. Почему ты не позвонишь и не попросишь сестру Анжелу?

– Звонок отрезали, – ответил мальчик, все так же отвернувшись и не глядя на меня. – Сестра Анжела сама ножницами его отрезала...

Я взглянула на стену. Действительно, возле кровати болтался перерезанный провод; кнопки звонка не было.

– Ты, наверное, шалил?

– Нет... – Он поколебался. – Я звонил долго, нажал и держал...

Никто не шел, а я все держал кнопку. Потом прибежала ама, рассердилась и пожаловалась. Сестра Анжела сказала: «Теперь жди, когда о тебе вспомнят! А будешь шуметь, – так вообще к тебе никто не придет!».

– Это она так, чтоб тебя напугать, – успокоила я. – И потом, ведь тут поблизости я.

– Вы тоже не шли, – сказал он с упреком и посмотрел на меня.

Я взяла его руку. Рука была шершавая, мальчишески крепкая, с черной грязной каймой под ногтями.

– Не уходите! – попросил он вдруг испуганно. – Вы – как мама, – повторил он. – Вы тоже француженка?..

– Нет, но я жила во Франции. Я – русская.

– Я тоже хочу во Францию... Я люблю маму и Францию!

В эту минуту в комнату с подносом в руках вошла Денис. Сухонькая, скуластая китаянка с точно такими же, как у Жанно, жесткими прямыми, коротко подстриженными волосами. Она выглядела необычайно угрюмой.

– Вот видишь! А ты говорил, что о тебе забыли, – упрекнула я и тут же заметила, как изменилось выражение лица Жанно: оно стало надменным и злым.

Денис поставила поднос с завтраком на столик и подошла к мальчику с чашкой бульона.

– Я не хочу, чтобы ты меня кормила, – сказал аме Жанно на своем безукоризненном французском.

Она быстро и сердито ответила ему что-то по-китайски и поднесла ложку с бульоном к сжатым губам ребенка. Он отвернул голову, и бульон пролился на бинты.

Денис, окончательно выйдя из себя, что-то крикнула ему еще, но

Жанно словно не понимал, что ему говорят.

Я решила вмешаться.

– Я покормлю его сама.

– Очень плохой мальчик! – сказала мне Денис на своем ломанном французском и вышла. Мы остались одни.

– Грязная китаянка! – проворчал Жанно и стал жадно есть. Я молча кормила его, но он, видимо, игнорировал мое недоумение и, скушав все, что ему полагалось, устало вздохнул: – Не уходите!..

– Ты плохо себя ведешь, – покачала я головой. – Вот, наверное, потому тебя и обварили, потому что ты был дерзким и непослушным.

– Нет, – возразил он, – просто я бежал по коридору и столкнулся с нашей амой; она несла миску с бульоном, – ну и бульон весь на меня вылился. Сюда, – показал он на грудь.

– Очень было больно?

– Я не помню.

Мы опять замолчали; он не по-детски задумался, а я вдруг ясно представила себе большой, китайского стиля, дом за высокой оградой, окруженный садом, где задумчиво зеленеют пихты, бьют в камнях искусственные ключи, где разбиты красные беседки, напоминающие причудливостью своих крыш знаменитые пекинские храмы, которые мы все видели на картинах. Перед моими глазами встал угрюмый дом с темными длинными коридорами, внутренними лестницами, парадными комнатами, обставленными черной резной мебелью, где на стенах висят красные атласные плакаты с иероглифами, шелковые панно, по которым тушью ажурно и тонко вырисованы озера, пагоды, лотосы... Курительные приборы из нефрита и тяжелые вазы ручной работы не делают уютнее этих комнат, где паутина не снята ленивой прислугой, где сладковато и душно пахнет опиумом, пробивающимся из щелей нижних комнат, в которых живут старики, где бесцельно и устало бродит хрупкая светловолосая француженка, отяжелевшая от беременности с беспомощно опущенными нежными руками. Я ясно увидела, как неповоротливая ама на маленьких забинтованных ножках в ватных штанах и атласной курме несла особо приготовленный на парú золотистый куриный бульон, от которого шел пар, потому что в доме было холодно, и бульон только что кипел. Мне казалось, я слышу ее возглас в ту минуту, когда маленький чертенок попал ей под ноги, и из рук ее вылетела и разбилась миска. Я слышала даже, как всплеснула руками женщина с большим животом и упала в обморок вместо того, чтобы оказать сыну нужную помощь. Вероятно, ей было очень тяжело отпускать сына одного в госпиталь...

– Я обещал маме, – вдруг сказал Жанно, словно подслушав мои мысли, – что здесь я не буду плакать. Мама говорит, что мужчины не плачут. Я ни разу не заплакал!

– Я знаю, Жанно, – улыбнулась я. – Надо написать маме.

– Да, но карандаша нет...

– Я дам, когда тебе можно будет писать, – потерпи немножко. Но разве ты умеешь писать по-французски?

– Да, мама меня учит.

– А по-китайски?

Он посмотрел на меня уголком глаза, зрачки у него были совершенно голубые.

– Да... Мама говорит, что надо все знать. Ко мне учитель ходит... Когда я вырасту, – добавил он задумчиво, – я возьму маму и увезу ее во Францию.

– А папа?

– Он останется в Китае, – ответил мальчик и смолк.

Он явно избегал говорить об отце, он не хотел признавать себя китайцем. Или мне это показалось?

Я хорошо помню то весеннее утро, когда он в первый раз встал с постели и прибежал ко мне, еще не крепкий на ногах, еще с забинтованной грудью, но уже совершенно одетый. Он оказался крупнее, крепче, чем я думала, и совсем не походил на полукровку, – самый обыкновенный европейский мальчик, только несколько старше своих лет и несколько дикий: дикость чувствовалась во взгляде чуть исподлбья, в злом отблеске белоснежных, острых зубов, в горячем румянце, вдруг вспыхивающем на смуглых щеках.

В тот день он очень надоел беготней и шалостями всему больничному персоналу. Он бы так счастлив, что может двигаться, что не мог умерить стука своих маленьких ног, резкости мальчишески звонкого голоса. Во избежание неминуемой для него неприятности я решила взять Жанно с собой, чтобы купить марки и отправить письма.

Он очень обрадовался. Закусив губу, преодолевая боль, он кое-как натянул пальто, застегнул его и, крепко вцепившись в мою руку, вышел со мной из госпиталя.

День был солнечный, ласковый. Мы прошли через госпитальный сад и вышли за ворота. Госпиталь был расположен за городом среди бедного китайского поселка. Из десятка жалких фанз вылезли погреться на солнышке все старики и дети. Усевшись у края пыльной дороги, старая китаянка с забранными на макушке остатками жидких седых волос искала на себе насекомых. Вокруг прыгали ребята всех возрастов, одетые в тряпье, босые, с обнаженными, в парше, головами. Гуляли взад и вперед китаянки помоложе; у некоторых на руках были годовалые дети с накрашенными, как яблоко, щечками.

Мы прошли мимо них, мимо фанз и плетней, на которых сушилось белье и рваная одежда. Мы шли молча к единственной лавке, имевшейся в этих краях. Продавец в засаленном халате стоял, спрятав руки в рукава своей одежды, и с восточным безразличием слушал мои объяснения, даже не стараясь их понять. Только тогда, когда я вытащила письмо и показала пальцами, сколько марок и какой стоимости мне нужно, – он кивнул и неторопливо стал доставать просимое.

Я обратила внимание на то, что Жанно, продолжавший крепко держать меня за руку, и не думал помочь мне своим китайским языком.

Между тем пока я наклеивала на конверты марки, вокруг нас образовалась целая толпа, состоявшая из китаянок и детей. Они рассматривали меня и Жанно, перебрасывались между собой замечаниями, видимо, на наш счет и даже пересмеивались. Мы бросили письма в стоявшую поблизости почтовую тумбу и неторопливо пошли назад к госпиталю. Толпа поселянок последовали за нами.

– Чего они хотят от нас – ты не знаешь? – спросила я Жанно по-французски.

– Это всегда так, – ответил он загадочно.

– Что вам надо? – спросила я по-английски и остановилась.

Они тоже все остановились, но ничего не ответили. Я повторила вопрос на французском. Раздался смех. Я нахмурилась. Тогда одна из китаянок, молодая и, видимо, самая бойкая, спросила меня на ломаном французском:

– Мадам, сынка?..

Я не успела ответить, как услышала ответ Жанно:

– Да.

Новый взрыв хохота женщин и детей заставил меня вздрогнуть. Я увидела, как одна из китаянок, в рваной кофте, из которой вылезали ключья ваты, протянула руку и коснулась темными, скрюченными от работы пальцами волос мальчика.

– Китаец, – сказала она по-китайски тоном эксперта.

– Китаец! – повторил десяток голосов, и опять раздался взрыв смеха.

Я не успела осознать случившегося, как Жанно выпустил мою руку и бегом побежал к видневшимся вдали воротам госпиталя. Я побежала за ним. Эта дико гоготавшая над нами обоими толпа вселяла и в меня животный ужас.

Когда задохнувшаяся и взволнованная я оказалась за защитой стен нашего сада, Жанно там уже не было. Напрасно я искала и звала его – до самого вечера он избегал меня, а когда я пришла пожелать ему спокойной ночи, я ни слова не сказала ему о происшедшем.

Наступил апрель. Приближалось наше прощанье с Жанно: за ним должны были приехать вечером. Я нашла его в саду на скамейке. Он сидел один, как нахохленная птичка, а солнце сияло, распускались розы. Я погладила его жесткие черные волосы.

– Рад, что возвращаешься домой?

– Нет... Опять братья будут меня дразнить, а мама будет плакать.

– Разве у тебя есть братья? Почему ты о них никогда мне не рассказывал?

– Это папины дети... Они злые... Пойдем гулять, – потянул он меня за руку.

Вероятно, Жанно подразумевал детей отца от первого брака с китаянкой. Но он выглядел таким печальным, что у меня сердце сжималось, и хотелось его развлечь.

– Ты ни разу не видал морских свинок и белых мышей? – спросила я. – Пойдем, я их тебе покажу.

Моментально забыв обо всем, Жанно запрыгал вокруг меня, и мы направились вглубь сада, в строго охраняемое от всех царство сестры Клементины, наблюдавшей за зверьками для опытов, а главным образом за оранжереей и садом.

Сестра Клементина, китаянка, уже сорок лет как приняла пострижение и стала католической монахиней, но и в монастыре осталась она предана земле, которая взрастила ее и на которую так была похожа она сама. Такая же как земля, буровато-коричневая, с лицом в глубоких бороздах морщин, невозмутимая и покорная, смотрела она щелочками раскосых глаз, в которых светилась извечная земная мудрость. Было ей около семидесяти, но она целые дни пеклась на солнце, подрезая розы, вскапывая землю, поливая и бороздя. Она говорила на прекрасном французском, на котором говорили все сестры монастыря, часами молилась в часовне перед статуей Мадонны, но сохранила в себе что-то неподдающееся учету, таинственное и глубоко чуждое европейскому мироощущению, что свойственно только Китаю.

Возле клеток со зверьями сестры Клементины не было, и мы с Жанно на свободе долго и пристально рассматривали белых крыс, уцепившихся розовыми коготками за стенки клетки и мирно дремавших, показывая нам голые, розовые брюшки; любовались пушистыми кроликами со страдальческими глазами и длинными ушками бархатных игрушек; удивлялись сонной лени тупых морских свинок, забившихся в сено...

Сестра Клементина подошла к нам неожиданно, неслышно, в своих войлочных туфлях. В руке у нее были большие ножницы, и я заметила, что оживление на лице Жанно потухло.

– Чей это мальчик? – спросила она меня после того, как мы

поздоровались.

– Это Жанно, – ответила я, чуть подталкивая мальчика вперед.

– Пойдем обратно, – прошептал он тихонько и по-детски дернул меня за рукав. Но я не обратила на это внимания.

– Он хоть и дикарь, – продолжала я, – но он молодец: он здесь три недели прожил совсем один...

Сестра Клементина слушала, Жанно упрямо смотрел в землю на носки своих пыльных ботинок.

Подняв его головку рукой, монахиня сказала ему что-то по-китайски. Жанно поднял глаза. Я увидела, как глаза сестры Клементины и глаза ребенка встретились, и во взгляде их я прочла вражду.

– Я не разговариваю по-китайски, – сказал Жанно, отчетливо артикулируя каждое слово по-французски.

Она первая отвела глаза, убрала руку и сказала мне бесстрастным тусклым голосом:

– Я хорошо знаю Чжан-фу, его отца: наши земли находятся рядом; я помню его мальчиком. Но я не понимаю, – продолжала она, обращаясь уже у Жанно, – почему ты не хочешь признавать себя китайцем.

Лицо Жанно покрылось румянцем, на глазах выступили слезы. Высоко подняв голову, он сказал очень громко, очень твердо:

– Я не китаец. Я – как мама. Я – француз!

И, сказав это, он круто повернулся и побежал от нас.

Я побежала за ним. Наконец, я догнала его, схватила за плечи, обняла. Но он оттолкнул меня, – он был весь в слезах. В первый раз я видела его плачущим.

– Уйдите! – крикнул он с отчаянием. – Вы тоже меня презираете, потому что я – полукровка.

Кто мог помочь его горю?.. Вылечить можно тело, но как вылечить душу?

*Впервые опубликовано и печатается по:
Рубеж. 1941. № 13. С. 1-2, 6, 8.*

РАБА АФРОДИТЫ

М. А.

1

В этот вечер собрание Религиозно-Философского Общества, как всегда происходившее в доме Морозовой, было особенно многолюдным. Входивший в Москве в моду Андрей Белый читал доклад «Достоевский в трагедии творчества». В просторном зале Морозовского особняка стоял сдержанный гул голосов. Атмосфера была оживленная.

Александр Блок, прямо с поезда попавший в московское кипение, болезненно морщился. После Шахматовского уединения большое количество чуждых лиц и спиртного угнетало. Чуть склонив свою прекрасную большую голову, он пробирался вперед, к Андрею Белому, яростно наскакивавшему на Трубецкого.

– Да ведь это – Блок! – воскликнула Морозова и, покинув Надежду Львову, с которой разговаривала, пошла догонять поэта, шелестя нарядным платьем, сверкая синими глазами.

Львова скользнула взглядом по светлому удаляющемуся затылку Блока и тотчас же отвернулась. Для нее во всем мире существовал только один поэт, только один человек, – остальные не шли в счет, были лишь марионетками.

«Почему он не идет?», – думала она тоскливо, уже теряя надежду его встретить и тут же находя его глазами. Сердце стремительно упало. Охватила знакомая сладкая лихорадка.

Брюсов стоял неподалеку от двери, очень прямой, в наглухо застегнутом черном сюртуке, за борт которого он по привычке заложил правую руку.

«Неужели не подойдет, не видит?», – спрашивала она себя в страстном нетерпении, никогда не зная, что от него ждать, но он уже заметил ее. Его впалые, ушедшие глубоко в орбиты глаза, в которых поминутно загорались огоньки, обожгли ее, и под его острым, почти злым взглядом она вдруг показалась себе такой некрасивой, такой недостойной его, что захотелось убежать, спрятаться, спастись, пока еще не поздно...

Легкая, полупрезрительная улыбка, игравшая на губах Брюсова, особенно ярких в обрамлении очень черных усов и бороды, стала вдруг ободряющей. И ей уже не в первый раз пришло в голову, что он читает все ее мысли, что он и вправду «за мороженый маг», как его называл кто-то, кажется, – Белый.

Но он уже подошел к ней и склонился к ее руке, целуя ее с привычной любезностью, или нежностью?

И как всегда, когда она была с ним, она потеряла себя, почувствовала себя немного безумной, забывшей обо всех окружающих...

– Валерий Яковлевич, – начала она, по своей привычке глотая букву «к», – я...

Рачинский, председатель собрания, отчаянно звонил, призывая к порядку.

– После окончания я вас провожу, – пообещал Брюсов и, картинно закинув голову, прошел к зеленому столу, за которым уже сидели все участники заседания.

Надежда как в тумане видела, как Брюсов сел рядом со Струве, как с места встал Андрей Белый, с пылающими голубыми глазами и золотым пухом волос на голове. Она старалась вслушаться в его речь, но все ее

отвлекало.

Белый говорил страстно, размахивал руками. Подвижное лицо его поминутно менялось, он хмурил брови, скашивал глаза, гримасничал и вдруг становился почти красивым. Голос его то поднимался до дисканта, то переходил в низкий бас.

Нет, сосредоточиться, следить за докладом не удавалось. Водоворот чувств, в котором она жила, совершенно подавлял мысль, убивал всякий интерес к отвлеченному. В сущности, ей хотелось лишь одного – чтоб поскорее закончилось собрание, и она осталась с Брюсовым одна...

Совершенно потеряв нить, она бросила слушать и стала смотреть на Валерия Яковлевича. Глядела и старалась внушить ему, чтоб он на нее взглянул, но взгляда ее он не чувствовал. Она видела его вполоборота – этот поворот головы был мало знаком ей. Лицо его показалось ей совсем чужим, и увеличилось сходство с портретом Врубеля, на который она обратила внимание еще до их знакомства и на котором художник, может быть, уже тогда стоявший на грани безумия, изобразил поэта демоном, затянутым в классический наглухо застегнутый сюртук.

«Какой он суровый, темный», – подумала она печально, и ей стало нехорошо и страшно, хотя непреодолимо влекло именно темное о нем.

Погруженная в свои мысли, Надежда не заметила, как Белый кончил. Зал загудел, дружно захлопал. Белый вытирал высокий лоб белоснежным платком, по-детски поднимал капризные брови. К нему склонился Брюсов. Но все уже шумно встали и заслонили зеленый стол и лица над ним.

Надежда тоже встала. Она чувствовала себя одинокой в мало знакомой толпе и от этого еще сильнее горбилась и бледнела. Поэтому подошедшему студенту, давнему знакомому, почти обрадовалась. Улыбнулась ему рассеянно. Но он сразу заметил, что отвечает она ему невпопад, еле слушает и смотрит куда-то вперед до жути пустыми, расширенными глазами. «Поэтесса», – подумал он с оттенком презрительного снисхождения и решил от нее отойти, потому что стало с ней скучно и как-то трудно.

Прощаясь, он не удержался от замечания:

– Надежда Григорьевна, вас точно подменили с тех пор, как вы стихи писать стали.

– Правда? – оживилась она и тут же замкнувшись, возразила: – Нет, это только так кажется.

Перерыв кончился. Снова все сели. Начались прения. Говорил Струве, но Надежда опять не слушала, как не слушала потом ни Булгакова, ни Трубецкого... Очнулась лишь тогда, когда заговорил Брюсов. Но от волнения, гордости и огромной страстной нежности, заливавшей ее при звуке его глуховатого голоса, профессорского ровного тона, она и его слова уловила по-своему, не совсем отдавая себе в них отчет, просто наслаждаясь

их округлостью и торжественностью.

2

Когда они, наконец, нашли шубы и вышли, их обуял теплый, совсем не зимний ветер. Было мокро от густого тумана, который заволок город. Фонари горели тускло, словно затянутые серой вуалью, со звоном проносились освещенные, наполненные людьми конки.

Львова вся подалась вперед, подставляя лицо ветру, и что-то пьяное, цыганское почудилось Брюсову в ее смуглом, страстном лице. И контраст ее лица и походки со строгой элегантностью колючего скунса, обрамлявшего овал лица, был так велик, что Брюсов загляделся на нее, и в нем шевельнулась тревога, может быть, тревога экспериментатора, наблюдателя в жизни?..

Надежда говорила что-то бестолково, смущаясь. Это ему мешало.

– Помолчите, – остановил он. – Посмотрите на эти электрические луны... Разве не красиво?

Но она посмотрела не на фонари, а ему в глаза. Они были почти одного роста, и в блеске ее глаз, показавшихся ему траурными от густых темных ресниц, он опять нашел что-то цыганское и в то же время покорное. Плечо ее и рука доверчиво и горячо приникли к нему, и, повернув голову, он снова взглянул на нее, прямо на ее чуть дрожащий, словно ожидающий поцелуя рот.

– О чем вы думаете? – спросила она низким, взволнованным голосом.

– О вас, – ответил он, усмехаясь, – о том, что глаза ваши выдают вас. Вам бы не мешанский уют, а страсть! Вам бы жрицей любви быть!

– Жрицей?! – повторила она с той же волнующей нотой в голосе.

– Может быть, в прошлом существовании вы ею и были. Поклонялись Любви и Огню. Или были той, которую нашли под пеплом погибшей Помпеи в объятиях возлюбленного?

– Я знаю эти стихи о «страсти, перешедшей за предел...». Если бы надо было умереть, да, я выбрала бы эту смерть... Но откуда вы знаете, что я так... люблю любовь?

Брюсов усмехнулся.

– Все мы – рабы Афродиты, эта прекрасная богиня связывает нас с античным миром, когда умели наслаждаться и ценить красоту. Жаль, что люди подавляют свои страсти и живут не полно, вяло... Впрочем, обыкновенным смертным так и следует поступать, и только поэт должен творить не только свои книги, но и свою жизнь.

– Вы творите?..

– Творю, – ответил он и как-то театрально привлек ее к себе и, почти не склоняясь, поцеловал в ожидающий нежный рот.

Брюсов чеканил стихи в тишине своего кабинета: «поэзия – ремесло не хуже всякого другого», и так много планов и замыслов перед ним, что для того, чтоб все выполнить, жизни не хватит, и надо торопиться. Ведь такое гигантское честолюбие в нем, такая жажда бессмертия... А люди, женщины, сама жизнь – лишь только средство «для ярко певучих стихов», и только иногда хочется позабыть себя в страсти, на минуту перестать быть рабом искусства, отдохнуть... А что творится в душе той женщины, которая на мгновение дает забвение, не все ли равно, в конечном счете, лишь бы она не мешала его влечению к таинственному, к лабиринтам, не дисгармонировала с эстетической декорацией, в рамках которой он разыгрывал любовный дуэт...

Надежда Львова его волновала. Стихи ее он не ставил ни во что, как и вообще все женское творчество. Давно решил, что равного себе по таланту мужчины, – не то, что женщины, – никогда не встретит и встретить не хотел. Однако вспоминал о ней со смесью покровительственной нежности, чувственности и легкого презрения. «Влюбленная девчонка», – думал он сначала с оттенком самодовольства, но так как она была серьезно захвачена и не хотела скрывать своей страсти, он, не умеющий никого любить, попал в орбиту чужой любви и начал светиться ее отраженным светом. Чужая любовь всегда была для него чем-то самодовлеющим, была даром, которым он никогда не пренебрегал, особенно если она заполняла пустоту его высушенной искусством души.

Была еще тайная, едва осознанная причина, которая толкала его на сближение с Надеждой... Ведь еще пятнадцатилетним мальчиком Брюсов, кричавший на всех углах, что он гений, упорно и напряженно мечтал о том, чтобы обольстить девушку, чтобы стать героем романа...

Романов было много, но он, он был жаден к жизни, к чувствам, к впечатлениям... И вот опять девушка стояла на его пути – смятенная, юная и влюбленная. Своим острым аналитическим умом, своим зрелым опытом он догадывался о том, что с ней происходит... И не торопился. Вел свою, только ему понятную игру, в которой все было учтено железной логикой шахматиста. Игра эта раздувала ее чувство, усиливала нетерпение, а он, искушенный на путях любви, загорался медленно и тянул, предвкушая победу. Львова же, заключенная в ловушку его стихов, его слов, недомолвок и намеков, хотела только одного – быть сломленной, погубленной, покоренной... Не принадлежа ему, она уже была его, потому что все помыслы ее были с ним, потому что без него, вне его она не мыслила ни себя, ни жизни. Каждая строчка, им написанная, все восторженные и глумливые речи о нем, все мимолетные встречи лишь теснее связывали ее с ним, и она уже противопоставляла ему и себе весь мир, она была уже его сообщницей всегда и во всем.

И окружающая жизнь внезапно стала безысходно противна. Нужно было одно: прославиться для него, писать хорошие стихи для него, чтоб стать свободной и пренебречь всем и всеми...

И она писала, писала, потому что звенели строчки в душе, как звенели еще в детстве, писала, потому что жаждала славы, чтоб стать достойной его – учителя, поэта, единственно дорогого человека на свете.

Внизу целый день разыгрывали гаммы; дом жил простой, обиденной жизнью. За столом вела разговоры о прислуге, о соседях. Чинно, лениво, а ей внезапно посреди разговора хотелось расшвырять все, закричать, выбежать, чтоб никогда не вернуться! И, сжав губы, до боли стиснув руки, она думала о том, что с радостью послала бы к черту все условности, поддалась бы порыву, переступила все законы, пренебрегла бы тем, что женат Брюсов, тем, что скажут родные... Просто бы обо всех забыла, потому что в этом – правда и красота, а в остальном – ложь!.. И едва сдерживая рыдания, она говорила себе, что люди достойны только презрения, люди, которые подавляют свою натуру и лицемерят, вечно лицемерят!..

Накинув на плечи пальто, с потемневшим лицом, не сказав никому не слова, она уходила из дома и пропадала долго... Могла целый день и ночь бродить по улицам, сидеть в глухих аллеях парка, читая про себя или вслух, глядя на стаи галок, на небо, о чем-то мечтая, сочиняя невероятно длинные фантастические экспромты, которые забывались незаписанные. Без еды, без сна, как одержимая, она отдыхала от повседневности...

Вернувшись домой, бывала почти прежней – замкнутой, застенчивой, очень молчаливой. Жила своей жизнью и в нее никого не впускала... И хотя встречи с Брюсовым были очень редки – непрерывные мысли о нем подготавливали лучше всяких объяснений. Нетерпение и страсть росли, и нужен был только случай для того, чтоб поддаться, забыть проклятые, ненавистные условности, показать свою преданность, смелость, безрассудную, всепожирающую любовь.

А весна наступила мягкая. По талому снегу, черневшему у корней кленов, весело топорщились воробушки, горланя, бегали мальчишки в потертых кошачьих, небрежно сдвинутых шапках, чинно гуляли с няньками девочки в блестящих мелких галошах, и опьяняюще ново звучали уличные звуки, которые зимой поглощает пелена снега.

Брюсов, чуть щурясь от солнца, очень прямой и строгий, с легкой палкой в руках, шел своей любимой дорогой – мимо Тургеневской Библиотеки к Цветному Бульвару на Никитский Бульвар. Бледное лицо его, окруженное черной бородой, было непроницаемо, словно заморожено весной.

У спуска к Цветному Бульвару, возле самого цирка, его встречала Львова. В высоких ее ботинках, в простоте синего костюма, в маленькой

шляпе была изысканность, не выдававшая ее серпуховского происхождения. Глаза ее светились ровным, теплым светом, смуглая кожа едва заметно румянилась. В чуть склоненной голове, в легкой сутулости высоких плеч была счастливая покорность. Дальше они шли вместе, и в ритме их шагов уже чувствовались общая тайна, сообщничество, близость.

4

– И все же, счастье мое безрадостное... И любовь моя тебе не нужна. Может быть, вначале была нужна, но не теперь...

Надежда говорила тихо, слова уносил ветер – рысак мчал лихо. Однако Брюсов угадал смысл ее слов по движению болезненно изогнутого рта.

– Помолчи! – попросил он, морщась, гримасой ее упрекая.

Она взглянула на него с тревогой и нежностью и вдруг почувствовала противоположное только что сказанному, почувствовала такое острое счастье, что на минуту захватило дыхание. Он увидел преображенное ее лицо, наклонился и шепнул:

– Как дивно ты преображаешься!.. Твое лицо сама жизнь: то бесцветное, то прекрасное, всегда покоряющее своей новизной.

Она благодарно улыбнулась и, забыв о том, что улица полна людей, что они не одни, закинула руки за его шею и прижалась к нему вся, не зная, как иначе выразить накотившуюся благодарную нежность за одно то, что он есть на свете, за одно то, что он, пусть мало, пусть скупно, но любит ее...

– Безумная! – мягко освобождаясь, сказал Брюсов, и в тоне его был оттенок любопытства и восхищения.

Рысак остановился перед низким, старинным зданием гостиницы Лоскутной. Надежда вышла первая. Не глядя по сторонам, прошла прямо в ресторан, к тому знакомому столику в углу, за которым так часто сидела с Брюсовым. Когда они входили, звенело, пронзая душу и поднимая со дна ее удаль и страсть, скрипичное попури из «Кармен». И хотя Надежда слышала его уже десятки раз, она с обычным наслаждением отдалась вибрирующим звукам, ничем несравнимому колдовству взлетающих и приникающих к струнам смычков.

Брюсов заказал бутылку коньяку и, молча подняв рюмку, глядел поверх нее. На кого?.. Надежда насторожилась. Тревога, в ней жившая, сразу нашла исход. В почти пустом зале, за столиком напротив, сидела светловолосая незнакомка в большой шляпе с перьями. Она смотрела на Брюсова. Ее синие подведенные глаза сверкали насмешливо. Брюсов глядел на нее, рассеянно сжимая полную рюмку в руку.

Надежда больше не слышала музыки... В ушах ровным шумом пела кровь, глаза застил туман... Если бы можно было убить эту женщину!..

Валю!.. Себя!.. Разбить что-нибудь!.. Закричать!..

Брюсов поставил рюмку на стол и взглянул на нее:

– Почему ты так побледнела? – спросил он холодно, явно издеваясь.

Надежда молчала. Она потеряла дар речи, но от того, что он опять глядел на нее, ком, стоявший поперек горла, стал спускаться и теперь только болезненно сдавил сердце.

– Выпьем, – глядя на нее с многозначительной нежностью, предложил Брюсов, – за путь в Дамаск!

– Прочти! – попросила она, с трудом разжимая губы и стуча зубами о стекло бокала.

Брюсов протянул руку, захватил ею ее длинные, нервные пальцы и под говор скрипок тихо, но выразительно прочел, не отрывая своего взгляда от ее повлажневших темных глаз:

– Губы мои приближаются

К твоим губам,

Таинство снова свершается,

И мир как храм.

Мы, как священнослужители,

Творим обряд.

Строго в великой обители

Слова звучат...

От стихов, от звука его голоса, от выражения его глаз – глаз сообщника и возлюбленного, от растекающегося по жилам опьянения – таяла горечь ревности, и росло все окрыляющее, восторженное безразличие: пусть будет так, как будет, но эта минута, этот час – мой!

– Водоворотом мы схвачены

Последних ласк.

Вот он, от века назначенный

Наш путь в Дамаск...

Брюсов отпустил ее руку, откинулся на спинку стула, прикрыл глаза веками.

– Ты знаешь, – вырвалось у Надежды неожиданно, почти против воли, – когда ты смотришь так на других женщин, я... я могу убить!

Брюсов лениво выпрямился, повернул голову и, поглядывая в сторону золотоволосой незнакомки, стал шарить в кармане.

– На! – сказал он с насмешливой небрежностью, протягивая маленький браунинг. – Убивай!

Надежда взяла браунинг и тут же с отвращением отбросила:

– Этим не шутят...

Он ничего не ответил. Умел молчать, и молчание его говорило больше слов. Надежда потупилась. Браунинг на белой скатерти притягивал и соблазнял. Скрипки играли под сурдинку шопеновскую

мазурку. Голова чуть кружилась, во всем теле была страшная пустота; казалось, неосторожное движение – и все разобьется.

«Разобьется... порвется... унесется...», – бессвязно стучало в голове.

Стараясь стряхнуть оцепенение, Надежда подняла глаза и увидела, что за столиком Брюсова нет, он внезапно исчез. Оглянувшись, она протянула неуверенную руку, зажала в ней браунинг и торопливо сунула его в сумку. Ноги дрожали, сильно колотилось сердце. На секунду она почти потеряла сознание.

– Пойдем! – повелительно позвал Брюсов, возвратившийся так же неожиданно, как вышел.

Она поднялась, подчиняясь автоматически, едва сознавая окружающее от полноты нахлынувших на нее трагических ощущений, точно загипнотизированная внезапно обступившими ее предчувствиями.

С обычной властностью Брюсов взял ее под руку и, не сказав ничего о том, что заметил исчезновение браунинга, скрылся с ней за внутренней дверью зала.

5

Был август, и лил дождь упорно и монотонно. Надежда стояла у окна своей дачи и глядела вперед с тупым отчаянием.

Этот дождь нарушил все ее планы: после пятидневного непрерывного дождя дороги были размыты, и вырваться в город было немислимо.

– Валя!.. – шептала она. – Валерий!

Видеть Брюсова постоянно давно уже стало насущной потребностью. Видеть его, быть с ним... Она в сотый раз передумывала то, о чем думала в бессонные ночи, в свои пустые свободные дни без него...

Брюсов ее не любит! Может быть, он любит другую!? Но кого?..

Она закрывала глаза, и привычная галлюцинация преследовала ее: она видела женщин, разных женщин, склонившихся к нему. Всех, кого он любил прежде, всех, кому он посвящал стихи, всех тех, которые отнимали его у нее, имели над ним власть, – власть прошлого. Да, ей оставались лишь отзвуки прежних чувств, вся вера, вся молодость, вся любовь отдана другим, другим, а не ей!..

– О, не думать, не думать! – остановила она себя и отошла от окна, сдавливая ладонями висками, на которых бились набухшие, беспокойные жилки.

Легла вверх лицом на постель, закрыла глаза. Внезапно вспомнила голубую комнату с позолоченными креслами ампир, в которой они встречались... Как много она забыла из того, что было сказано тогда. А ведь думалось, что ничего не позволит украсть у себя память...

Может быть, кроме чувственности, страшной темной чувственности,

ничего у него и не было к ней?

Жгучий стыд огнем пробежал по телу... Она вскочила. Нет, об этом нельзя думать, и она гнала прочь пугающие, безобразные видения. Даже себе нельзя было признаться. Нельзя!

Она стала быстро ходить по комнате. Хотелось что-нибудь бросить на пол, сломать или кататься по полу и рыдать от сознания своей беспомощности, от невозможности ничего изменить, понять и быть понятой.

И все же невозможно было, прикоснувшись к такой любви, жить без нее... Это то же, что отнять у изнемогающего от жажды воду, дав испить лишь один глоток.

«Но ведь всегда можно умереть!», – неслышно подкралась мысль. Надежда остановилась посреди комнаты. Замерла. – «Да, умереть всегда можно». – Вспомнила браунинг, лицо Брюсова, непроницаемое, насмешливое.

– Если он потерян – умру! – сказала она вслух, застывая. И сразу на смену напряжению пришла усталость. Она села к письменному столу, опустила голову на руки. Казалось, что прожила бесконечно длинную, трудную жизнь.

«Как у меня все странно... мучительно», – на глазах выступили слезы и потекли – горячие, расслабляющие. Она не вытирала их, отдаваясь с упоением их стихийности. Потом слезы сами собой остановились. В окно плыли сумерки, шелестел дождь, кто-то играл на рояле знакомую пьесу. «Что это? Откуда?», – силилась вспомнить Надежда, но вспомнить не могла. Мелодия баюкала ее, окутывала ласкающей пеленой, уводила куда-то в полусон, в полуявь, поднимала со дна души большое, светлое, что наполняло до краев, заставляло забывать действительность.

Рука машинально коснулась томика Верлена в темном сафьяне – подарок Брюсова. Еще одно воспоминание о нем!.. Она раскрыла его, улыбнулась и снова закрыла. Не стала читать, прислушиваясь к себе. Замедленный фортепьянный ритм рождал знакомый творческий ритм, от которого все внутри напряглось и запело.

Надежда поспешно взяла карандаш и лежавший тут же блокнот. Сами собой на бумагу, словно скандированные кем-то, откуда-то посланные, легли фразы, и боль сама собой превратилась в сладкую радость, выливаясь в строки:

Я плачу одна над стихами Верлена...

О том, что забыли вы светлую дачу,

О том, что ушли вы из нежного плена, –

Я плачу.

Но все же, небрежным письмом вам назначу

Свиданье. Не вечно же длится измена.

Пасьянс мне пророчит любовь и удачу.
В изогнутой вазочке вянет вербена...
Ах, все увядает!.. Раскрыв наудачу,
В дни счастья прочитанный томик Верлена,
Я плачу.

Дописав, задумалась. Боялась, что неловкое движение, слово может нарушить умиротворенность и полноту, только что испытанную.

Когда она стряхнула с себя задумчивость, в комнате было почти совсем темно, из открытого окна тянуло сыростью.

Не зажигая света, с трудом, почти наизусть Надежда перечитала написанное. Сначала почувствовала острую влюбленность, удивление. Вот она, боль, заключенная в форму! Как это непонятно — творчество? «Богом данное вдохновение...» — подумала она и тут же остановила себя: «Нет, это наивно!» «Я плачу одна над стихами Верлена» — продекламировала она вслух. — Конечно, не то! Фальшь! Ведь то, что она переживала, было стихийным, неистовым, трагическим, а это? — Безделушка... Почти фривольность, почти кокетство...

«Видно, я не поэт!» — подумала она беспощадно и, бросив блокнот, накинув на плечи теплый платок, пошла на веранду.

Захотелось услышать человеческие голоса, прикоснуться к иному, простому, милому миру. Каблуки гулко стучали по коридору. Скорей к людям!.. Туда, где горит свет, шумит самовар, и никто не подозревает, чем живет она, от чего мучается. Хоть на минуту сбросить с себя гнет тоски, неудовлетворенности, стать скромной барышни из патриархальной семьи, вышивающей крестиком и заученно гладко разыгрывающей по воскресеньям на рояле вальсы.

6

Осенью 1913 г. Надежда опять жила в Москве, опять посещала курсы. Писала лихорадочно много, выступала со своими стихами в различных литературных кружках. Слава, которую она жаждала ради любви, как будто начинала приближаться; молодежь горячо принимала ее стихи, барышни смотрели на нее с восторженным любопытством, в журналах охотно печатали.

Но, несмотря на это, Надежда становилась все печальнее: Брюсов был жесток с нею, жесток даже в хорошие минуты, когда казалось, что счастье первых дней возвращается, вместе с золотыми осенними днями, отголосками прошлого лета. Охотнее всего и больше всего он теперь говорил с ней о стихах, и это ее мучило.

— Даже Андрей Белый и Гумилев еще не созрели в своем творчестве. Ты же не знаешь имманентных законов стиха, — говорил он на Воробьевых горах, как бы не замечая темной бронзы опавших листьев, не слушая отдаленных звуков города, таинственно и глухо сюда доносившихся.

Надежда молчала. Ей хотелось плакать. Она ненавидела эти разговоры о стихах, о разнообразных размерах, эту математическую сухость Брюсова и все не решалась сказать ему — мэтру, что все, что он говорит — математика — не поэзия, что есть что-то другое в творчестве, не рациональное, опьяняющее...

— Мои стихи, например, чрезвычайно строфичны... — продолжал он своим суховатым поучительным тоном. Но, так как она молчала и шла вперед, опустив голову — беспомощная, бледная, он смолк.

— Ты огорчаешься? — спросил он несколько минут спустя с оттенком покровительства в голосе.

— Нет... Но когда ты говоришь так — ты от меня за сотни верст... Я не понимаю этого, так же как не понимаю твоей страсти к геометрии и логарифмам.

— Не можешь решить ни одной алгебраической и геометрической задачи, да, маленькая девочка? — засмеялся Брюсов. — А это напрасно! Поверь мне, математика — сама поэзия — и она делает стихи метрически богатыми.

Надежда повернула к нему похуевшее лицо.

— Только подумай, что я могла прожить всю жизнь и не встретить тебя!.. — сказала она, словно не слыша его и отвечая каким-то своим мыслям.

Брюсов глядел себе под ноги и слушал ее рассеянно. Надежда продолжала горячо:

— Еще тогда, когда я не знала, что значит любовь, я читала твои стихи. Мне ничто так много не говорило, как они. Ты славил в них страсть в безднах лет и учил меня языку страсти и уже тогда безнадежно опалил мою душу... Потому теперь я не хочу, не могу слышать о том, как надо писать стихи! Их рождение — чудо для меня, а не техника!..

Он вскинул на нее глаза, но ничего не ответил.

— В золотой книге судьбы было написано, что мы должны встретиться... Там написано и то, как мы расстанемся, — закончила она печально сразу упавшим голосом.

Солнце садилось. Доносился тяжелый звон благовеста. Брюсов притянул ее к себе, близко нагнулся к ее лицу.

— Я хотела бы умереть так — с тобой, в твоих объятиях... И в то же время именно тогда, когда я с тобой, особенно жгуче, особенно безудержно хочу жить.

Он ответил ей глубоким поцелуем, но она чувствовала, что душа его крепче, чем всегда, замкнулась от нее.

Когда они возвращались, было темно, и тоска камнем лежала на ее сердце.

— Дай мне твои стихи — я их издам... — предложил Валерий Яковлевич неожиданно.

- Издашь?..
- Да, я уже придумал для них название... Ты довольна?
- Конечно!

Но вместо радости в душе закипела тревога, казалось, что этим жестом он хотел снять с себя какую-то вину. И, вдруг, появилась твердая уверенность, что поступком этим он подтверждает, что все ее догадки об его охлаждении, измене, равнодушии – правильны, неопровержимы.

7

Было больше восьми часов вечера, когда Надежда позвонила у дверей брюсовской квартиры на Первой Мещанской, 32 (адрес знакомый потому, что не раз адресовала на него письма).

На звонок долго не шли, и она устало прислонилась к косяку двери. Больше часу она ездила на извозчике, разыскивая Брюсова и, не найдя его, решила на последнее средство – прийти прямо к нему домой. Это было безрассудно, но она ни о чем не думала, доведенная до невменяемости странным поведением Валерия: с того дня, как она отдала ему переписанную тетрадь своих стихов, он не показывался, не приходил, не отвечал на письма, даже не подходил к телефону. Измученная догадками, скверными предчувствиями и тоской, она решила, наконец, все выяснить...

Дверь, в конце концов, отворили. В сухой настороженной женщине Надежда сразу узнала жену поэта – Иоанну Матвеевну.

– Что угодно? – спросила она с той безучастной вежливостью, которая вырабатывается привычкой находиться среди посторонних.

– Мне нужен по делу Валерий Яковлевич, – стараясь придать голосу твердость, объяснила Надежда.

– К сожалению, его нет дома.

– У меня срочное дело. Я подожду... – и не ожидая ответа, Львова решительно перешагнула порог квартиры.

Отступая назад, хозяйка в пуховом сером платке безразлично спросила:

– По какому делу, позвольте?

– По поводу моих стихов. Я... – Надежда Львова.

– А... слыхала! – растянула лягушачий холодный рот Иоанна Матвеевна. – Слыхала о вас и стихи ваши читала. Так как же быть-то?

– Я подожду, – ненавидя ее до слез, но не желая уступить, презирая себя и стыдясь, сказала Надежда.

– Тогда в кабинет пройдите. Я провожу вас.

Брюсова прошла вперед, шаркая туфлями, Надежда за ней. Пересекая столовую, не подумала о том, что тут бывал В. Соловьев, собирались по средам все знаменитости. Не глядя, увидела цветы, кружевные салфеточки, уют совсем мещанский.

Наконец они вошли в темный кабинет. Щелкнул выключатель.

– Садитесь. Тут журналы, книги... Почитайте.

– Спасибо.

Она опустилась в низкое кресло; хозяйка бесшумно исчезла. Только теперь Надежда вспомнила, что забыла снять шубу: обе они, стараясь скрыть растерянность, этого не заметили. Впрочем, сидя в теплой комнате в шубе, она дрожала. Вдруг поняла, что ко всей накопленной горечи прибавилась еще одна капля: трудно было простить Брюсову такую жену, такой мещанский уют.

Она так устала, так измучилась, что этот кабинет, обличавший книжника и ученого, восприняла не сразу. Все, что было в Брюсове от европейца, сказывалось в обстановке этой комнаты; атмосфера в ней была совершенно иная, чем во всем доме, который, не видя, но остро чувствуя, только что прошла Львова.

Глаза ее упали на металлическую спичечницу – она была привязана на веревочке, и это ее покорило. Скинув шубу и оставив ее лежать распластанной с вывернутыми рукавами, Надежда стала ходить по кабинету, заставленному книжным шкафом. На свободной стене висела картина Шестеркина. По ассоциации вспомнились смелые иллюстрации Альберта Мартини к рассказам «Земная Ось». Этими рисунками был так доволен Брюсов, но ей они сразу стали неприятны, так же, как и сами рассказы. Она вспомнила, как Валерий Яковлевич рассердился на ее критику: «Таких маленьких девочек, как ты, не спрашивают... Их учат и им приказывают!», – обрезал он тогда, но от книги все же остался смутный и тягостный.

Теперь опять эта декадентская картина и эта спутница жизни! Все такое противоположное, совершенно не вяжущееся между собой.

Она опять с ужасом подумала, что не понимает его и почти ничего о нем не знает.

С полок на нее смотрели темные корешки книг. Она остановилась перед ними. Брюсов не раз с любовью рассказывал ей о своей библиотеке. Она знала, что тут собраны лишь его любимые авторы, что у него есть редчайшие книги на латинском, итальянском, французском и немецком языках, что тут можно найти все новые произведения современников с интереснейшими автографами. Может быть, именно здесь хранился ключ к постижению его души, его тайн, истинной его природы?..

Но сейчас ей далек был язык книг, они были ей враждебны и чужды. Застывшие памятники!.. Они тоже отнимали его у нее! А она хотела знать лишь одно – причину его небрежности, тягостного исчезновения, хотела знать, любит ли он ее или нет. И тогда...

Но она не будет думать сейчас!.. Надо быть спокойной, надо набраться силы для последней борьбы.

Отойдя от шкафов, она подошла к письменному столу. Он был почти

пуст. На нем в идеальном порядке лежали чистые листы бумаги, перья, хорошо отточенные карандаши, сбоку был небрежно брошен недавно вышедший томик «Зеркало теней». В нем все было известно, все вплоть до стихотворения, которое он посвятил ей, и в котором она уловила холодность напутствия и грусть прощания. Опустившись в кресло, она взяла сборник и открыла, загадав, – любила гадать по стихам.

ПОЭТ – МУЗЕ

Я изменял и многому, и многим,
 Я покидал в час битвы знамена,
 Но день за днем твоим веленьям строгим
 Душа была в е р н а .
 Заслышав зов ласкательный и властный,
 Я труд бросал, вставал с одра больной,
 Я отрывал уста от ласки страстной,
 Чтоб снова быть с тобой.

.....
 Во тьме желаний, в муке сладострастья,
 Вверяя жизнь безумью и судьбе,
 Я помнил, помнил, что вдыхаю счастье,
 Чтоб рассказать тебе.

Надежда перестала читать, захлопнула книгу, отбросила ее с гневом. Да, недаром открылось именно на этом стихотворении: все для него лишь материал для стихов и, может быть, она сама тоже...

Нет, надо, наконец, разрубить узел!

Порвать, наказать его, сделать ему больно и высказать, высказать все до конца, все, что накипело в душе!.. И, разжигая свой гнев, она ждала.

В соседней столовой били часы. Доносились приглушенные разговоры... Раза два в дверь заглянула Иоанна Матвеевна, но Надежда на нее не посмотрела, и она ушла, неслышно ступая, похожая на тень.

Наконец зазвенел продолжительный звонок. В квартире началась суета. Раздался громкий голос Валерия Яковлевича, его жены, потом голоса понизились. Надежда поняла, что говорили о ней, но ей было все равно, надо было лишь поскорее разрядить невыносимое нетерпение. От волнения она плохо сознавала окружающее, была как во сне...

Брюсов вошел не сразу, и, когда Надежда его увидела, она по лицу его поняла, что он не доволен ее приходом. Однако он заговорил с ледяной любезностью, лишь переходя на официальное «вы».

– Зачем вы здесь? Что случилось?

– Я ждала. Я терпела... Но больше я не могла. Я искала тебя повсюду и вот пришла сюда... Что произошло? Ты сердисься на меня?.. Почему ты

ушел?

Несмотря на внутреннюю дрожь, Надежда говорила довольно твердо и, хотя чувствовала, что сейчас все рухнет, упорно стремилась к гибели.

— Я прихожу, когда хочу. Если я не приходил, значит, я не мог. Ведь я не давал никаких клятв. Право, в своих чувствах вы так же зелены, как в стихах.

— Зелена? – повторила она тихо, задумчиво. – Теперь я поняла... Для тебя не существует любви. Ты любишь в любви только наслаждение. Во всем всегда одна техника! И я знаю, тебе все равно, кого ласкать, все женщины для тебя одинаковы... Все они только материал для стихов! Но я не позволю!.. Я...

Брюсов морщился. Он ненавидел эти высказывания, эту ничем неприкрытую правду. Женщины этого не понимали. В сущности, они, действительно, все были одинаковы, а ему хотелось чего-то таинственного – не красок, а полутонов, не слов, а намеков... Надежда, казалось, могла дать ему что-то новое, свежее, но теперь это прошло. Она стала такой же, как все, это было скучно, раздражало. Ведь он и раньше знал, что нет ничего хуже талантливых умных женщин; они не доросли до него, но не доросли и до того, чтобы быть бессловесными, покорными хранительницами его огня, какой была и умела быть только его жена. И вот теперь эта сумасшедшая девушка своим вторжением, своими сценами хочет нарушить его мирный домашний покой, омрачить келью для работы, которую создавала ему Эда, подлинно умевшая любить, терпеть и молчать.

Удобно откинувшись в кресле за письменным столом, он небрежно играл костяным ножом.

— Я хочу знать, – продолжала Надежда, вдохнув воздух и вставая с кресла, – у тебя есть любовница?

— Я не побоялся бы сознаться в самых темных сторонах своей жизни, – ответил Брюсов неторопливо, с легким пафосом, подобно Ливию Друзу, – я согласился бы жить в стеклянном доме, но многие лица, близкие мне, были бы опечалены, и поэтому я принужден молчать.

Надежда понимала, что он издевается, что она напрасно бьется о стену его бездушия. О, она еще не знала, до какой степени он может быть бездушным!

— Я хочу знать правду, – прошептала она с отчаянием. – Любишь ты меня или нет?

— Нет, не люблю! Раз ты настаиваешь на правде, не люблю! – отчеканил он, с наслаждением отдаваясь раздражению и в свою очередь вставая.

Он видел, как она вся сжалась, свернулась, словно прожженный морозом лист. Цепляясь о край стола, чтобы не упасть, сгорбившись, она

сказала:

– Ложь для моей любви была бы оскорблением.

Голос у нее прервался.

Брюсов криво усмехнулся. Ответ ее еще больше озлил его. Он физически ощущал тяжесть его присутствия. Почему она не уходит? Что ей нужно? Или она мечтает его убить?.. Одержимая!

– За правду некоторые убивали. Может быть, предложить вам кинжал?.. – процедил он иронически, протягивая костяной нож для разрезания книг.

– Кинжал? – повторила она беззвучно, и это проглоченное «к», этот маленький недостаток речи, который прежде казался трогательным, вдруг показался таким смешным, жалким, что она стала совсем невыносима, и он не хотел, просто не мог больше ее видеть.

Она все стояла как истукан. Может быть, она не поняла насмешки?.. Или оскорбилась? У нее положительно не было никого вкуса, и творить жизнь она не умела!

Подумав, он открыл ящик письменного стола и достал тетрадь со стихами.

– Позвольте вам возратить ваши стихи.

– Стихи?.. – она не сразу его поняла.

– Да. Я перечитал их и нашел слишком слабыми для печати.

Она не двинулась с места, словно застыла. Глаза стали совсем пустыми, только рот дергался.

– Ведь вы просили правды? – повторил он, не в силах вынести ее молчания, и нервная злобная улыбка гримасой пробежала по губам и сверкнула в глазах.

«Как он меня ненавидит!.. За что?», – подумала она с ужасом и сразу протрезвела. Очнулась. Не глядя на него, машинально взяла пальто, надела и так же молча, не оглядываясь, вышла. Прошла темную, освещенную только лампадой столовую, узкую переднюю и очутилась на улице.

Ночь была безлунной: пронизывающий ноябрьский ветер рычал, гоня по безлюдной улице выпавший утром снег. Ноги скользили по обледенелой мостовой. В вое ветра ей слышались оскорбительные слова. Внутри нее все было выжжено.

Полный мрак. Не осталось ничего. Уничтожил сначала женщину, потом поэта.

Вдруг безудержно потекли слезы. Ветер их высушил, и щеки щемило, но она не замечала боли.

Отнял последний исход... Последнее утешение... Сделал нищей...

Она шла, не видя перед собой дороги, и удивилась, очутившись у дверей своей квартиры. Было странно иметь дом, жить как все после только что пережитого.

– Даже и не поэт!.. – прошептала она вслух, и тяжелая дверь с шумом за ней захлопнулась.

8

В кабинете на столе Брюсова настойчиво и тревожно звенел телефон. Нагнувшись над письменным столом, Валерий Яковлевич острым причудливым почерком набрасывал новую статью для журнала. Перо было хорошее, бумага глянцевитая, мысли бежали ровно, отчетливо, он работал с наслаждением.

Телефонный звонок оторвал его. Он неохотно снял трубку.

– Слушаю!

– Валерий... Это я.

– Позвони через час, мне некогда...

Он повесил трубку. Жалобно звякнул отбой.

Раздражение от вчерашней сцены еще не улеглось, а она опять мешала ему работать, разбивала настроение. Он закурил и, посидев несколько минут, бесцельно чертя орнамент на бумаге, стал писать. Пробили часы и опять затикали монотонно, уютно: дом словно замер, охраняя его покой.

И вдруг снова раздался звонок... Он вздрогнул...

«Опять она!».

Телефон звонил все настойчивее, все громче; он наполнил всю комнату тревожным дробным звоном. Брюсов не двигался с места, только брови его сдвинулись, и упрямо блестели глаза.

Телефон, будто в последнем усилии, закатился еще раз и смолк. Наступившая тишина показалась угнетающей. Брюсов больше не мог писать, сидел сгорбившись и чего-то ждал.

Может быть, лучше было бы, если бы она опять позвонила?..

Что-то похожее на сожаление царапнуло сознание. Эти вечные трагедии с женщинами отравляли жизнь! Закурив, он встал, подошел к окну.

«Поехать к Надежде?», – подумал он и, постояв с минуту, уставившись на зажженный посреди улицы фонарь, прошел в переднюю. Медленно надевал кашне, шубу, меховую шапку...

Вышел не застегиваясь. Сразу прохватил морозный ночной ветер. На душе было тревожно, смутно. Остро, колюче светили звезды.

На крыльце дома он опять остановился, раздумывая; наконец, громко крикнул извозчика и, приняв окончательное решение, назвал ресторан, в который приказал себя везти.

9

Утром Брюсов встал мрачный – ночью снились неприятные сны. Пришел он поздно, не выспался. Когда вышел в столовую, самовар уже

остыл. В это утро Эда показалась ему особенно серой и скучной. Стараясь не глядеть на жену, он, зевая, потянулся за газетой, но Эда ее от него отодвинула:

– После прочтешь.

Недовольно нахмурившись, он взглядом спросил, в чем дело, и она ответила тихо, растерявшись, не смея противоречить:

– Тут извещение о смерти... – она сделала паузу, – Надежды Львовой.

Руки его, разворачивавшие газету, задрожали. Объявление в толстой черной рамке запрыгало перед глазами.

Застрелилась?! Ночью?.. Может быть, сразу же после того, как звонила?..

Иоанна Матвеевна внимательно следила за мужем. Ее тонкие губы стали еще тоньше, и вся она как-то выпрямилась, расправилась, глаза засветились твердым, решительным светом.

Девчонок, которые бросались на шею ее Вали, было много, но она была одна – его жена, его друг, призванный оберегать его и щадить.

«Валя не должен был страдать!», – было первой ее мыслью после того, как она прочла о смерти Львовой. Но, когда она увидела почерневшее лицо Брюсова, когда он, смяв газету, стремительно бросился к себе в кабинет и заперся там, она поняла, что надо действовать: искренность его отчаяния ее напугала!

– Валя! – кинулась она в кабинет мужа. – Открой мне, открой, родной!

И он впустил ее. Он был испуган и жалок, а она была сильна и тверда.

Он сидел в кресле, в том самом, в котором совсем недавно сидела Надежда, и смотрел в одну точку. Папироса в его руке потухла, и на сюртук падал пепел; пальцы, узловатые и сильные, по-стариковски дрожали.

Не пришел, когда звала... Посмертному зову не поверил!.. Почему не пошел?

А Иоанна Матвеевна что-то говорила, уговаривала, и, наконец, он понял. Надо ехать в Петербург, потому что в Петербурге Верхарн, потому что там он рассеется, успокоится, потому что теперь здесь делать нечего.

И, как всегда бывало в серьезных случаях жизни или в болезни, Брюсов подчинился решению жены: ехать согласился немедленно.

А Иоанна Матвеевна, упокоив мужа, стала сразу звонить друзьям, чтобы они повлияли на газеты «Русские Ведомости» и «Русское Слово», чтобы там не писали ничего лишнего в связи с самоубийством Львовой.

К полудню квартира Брюсова наполнилась литераторами. У всех был

взволнованный и таинственный вид. И каждый рассказывал по-своему и со своими комментариями о том, как покончила с собой Надежда Львова.

Говорили, что застрелилась она ночью, а поздним вечером в смертельной тоске звонила по очереди Ходасевичу, которого не застала дома, литератору Ш., которого звала пойти в кинематограф, но тот пойти не мог, наконец, Петрову, который больше всех каялся, пощипывая золотую бородку, словно мог он предотвратить то страшное, что висело над ней, что было ее судьбой.

Какая-то светловолосая женщина, с голубыми, немного сумасшедшими глазами, чья-то жена или любовница, некстати, ломающимся от слез голосом, прочитала строчки из стихов Львовой:

— ...ты придешь покорный,
Прильнешь к синеющим губам...
Но не отбросить креп узорный,
Но не рассеять сон мой черный
Твоим томящимся рукам.

Что мне до ласки поцелуя,
Что мне до запоздалых слов.

Взгляни, взгляни, как тихо сплю я...

На нее зашикали, и она оборвала чтение, прошептав глухо:

— Сама себе смерть предсказала!

А Брюсов побледнел и совершенно реально представил себе Надежду в гробу, окутанную кадилльным дымом, в подвенечном платье, флердоранжевом венке над крутым, упрямым лбом.

Нахмурившись, он ушел к себе, а в столовой все зашептались о том, что браунинг, из которого застрелилась Львова, был подарен ей Брюсовым, но что, конечно, ради репутации кружка, и главное, самого Брюсова, надо об этом молчать. И в этой заботе как-то совсем забыли о самой Львовой, словно не было молодой жизни, словно осталось все по-старому.

На другой день Надежду хоронили, а Брюсов в синем экспрессе мчался в Петербург. Колеса гулко, ритмично выстукивали свою песню. Покачивало. Поезд мчался стремительно, а вслед глухо и грозно гудела встревоженная сплетней и клеветой Москва.

*Впервые опубликовано: Рубеж. 1935. №№ 39, 40;
также см.: Резникова Н. Раба Афродиты: Сборник рассказов. Харбин, 1936.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
в 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 107–128.*

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ

Дым от моей сигареты заволакивает от меня действительность, и из душистого голубого тумана появляются два женских лица: одно – круглое, как яичко – детское, другое, тонкое и надменное...

Неужели это все, что осталось от моей молодости?.. Да, если начать вспоминать, то от всех пережитых лет, дней, часов, осталось лишь несколько сцен, несколько отрывков.

Как коротка, значит, жизнь, раз пережитым можно наполнить всего два, три дня. И разве, в сущности, все наше существование не является только подготовкой, только ожиданием этих ярких, интенсивных моментов, которые умирают в нашей памяти лишь вместе с нами.

2

Земля влажная и черная. Я с наслаждением глубоко втыкаю в нее заостренный конец палки и с трудом вытаскиваю его обратно. Остро пахнет после дождя клейкая, молодая листва. Весь забор сада оснежен розовато-белым цветом яблони, которая свешивается к нам из соседнего сада. Недавний дождь смыл белые звездочки осыпавшейся черемухи, которой так много в нашем саду. В душе у меня какая-то смутная тревога, но я не отдаю себе в ней отчета.

На слинявших от солнца и дождя перилах круглой беседки спиной ко мне сидит Ната. Я вижу ее круглый затылок, разделенный не совсем ровной полоской пробора, две туго заплетенные светлые косы, упрямый, чуть презрительный наклон головы. Сквозь поломанные бока беседки я вижу ее длинные ноги в коричневых чулках и порыжелых туфлях. По своей привычке, за которую ей всегда попадает, она болтает то правой, то левой ногой, очень ритмично и очень солидно.

Я знаю, что она изображает из себя взрослую и в свои одиннадцать лет тщательно скрывает от меня, что играет в куклы.

Но я знаю, что она прячет их в шкаф, как только я прихожу.

До сих пор помню ту глубокую нежность, которую испытывал к ней тогда, ту радость покровительствовать, учить, восхищаться и распорядиться, лепить собственными руками душу другого существа, которым я был опьянен, вероятно, сам не отдавая себе в этом отчета. Я приносил ей все мои любимые книги, начиная от Густава Эмара, кончая Пушкиным и Лермонтовым; я делился с ней своими мечтами, и она была героиней моих романтических, мальчишеских снов.

– Ну как, – спрашиваю я, – прочитала «Герой нашего времени»?

– Да! – отвечает Ната, продолжая болтать ногами.

По тону ее я вижу, что она многого не поняла, но предпочтет умереть, чем мне в этом признаться. Догадываюсь, что она подавлена и поражена той мучительной любовью, с которой она столкнулась впервые.

– Неужели тебе не нравится? – настаиваю я, втайне досадуя на себя

за то, что с ней, девчонкой, говорю о Лермонтове, которого, конечно, она постичь не может. Поддаваясь раздражению, я замечаю, стремясь ее унижить: – И что за манера – сидеть спиной и болтать ногами!

По тому, как она выпрямилась, я понимаю, что задел ее, но она не сдается.

– Отстань! – цедит она сквозь зубы и не оборачивается.

Ясно, что на нее накатился припадок упрямства.

– Совсем деревенская девчонка, хотя и строишь из себя принцессу! – выпаливаю я резко.

– Не знала, – отвечает она иронически.

Мне хочется сделать ей еще больнее, отомстить за Лермонтова, за то, что у нее есть какое-то преимущество передо мной, четырнадцатилетним мужчиной.

– Принцесса, – продолжаю я, – главный рыцарь которой Ленька сморкается в руку и ворует для нее в соседнем саду цветы.

О, я попал в цель! Она ведь не выносит ничего вульгарного. У нее почти болезненное стремление к красивому. Она вся сжимается от моих слов, вероятно, кривится, и я знаю, что мой красивый черноглазый враг навсегда опозорен.

– И все же он лучше тебя! – восклицает она негодуя, вовсе не желая сдавать позиции. – И ты все это выдумал про него сейчас. Лучше вспомни свою хохлушку...

Последние слова заставляют меня торжествовать. Я слышу в них нотку скрытой ревности.

Мне ужасно хочется взглянуть на Нату. Я бросаю свою палку и одним прыжком вспрыгиваю на перила беседки и сажусь рядом с ней.

У нее смешной профиль – коротенький вздернутый нос, полные, чуть оттопыренные губы, овальное, как яичко, личико и страшно длинные ресницы, придающие ее лицу что-то пленительно женственное.

Мы молчим, и я знаю, что она дует.

– Ната, – примирительно начинаю я, не выдержав молчания, – неужели тебе не нравится Печорин? Я тебе не верю... Ведь он – настоящий герой!

– Совершенно не нравится! – вырывается у нее горячо, и я внезапно догадываюсь, что она возмущена и влюблена в того, от кого так страстно отрецивается. – Я презираю его... Я ненавижу его!

Скосившись, я вижу, как поднялись светлые брови и наморщился слишком высокий белый лоб. Хотя я прекрасно знаю, что поднимать брови она выучила давно и считает, что это лучше всего выражает презрение и независимость, я невольно проникаюсь ее серьезностью и спрашиваю уже не насмешливо:

– Почему?

– Он не герой, он... Не знаю... Но как мог он тогда, когда... ну,

помнишь, когда ехал с Мэри верхом... – она захлебывается, не находит слов и, задохнувшись от смущения, кончает решительно: – Как мог он поцеловать ее, раз любил другую!

Напрасно она отворачивается от меня – я вижу, как мучительно, до слез, она покраснела, настолько, что порозовела даже длинная худенькая шейка, выглядывающая из отложного пикейного воротничка ее платья.

– Печорин – настоящий мужчина! – возражаю я убежденно. – И я буду таким же.

– Я так и думала! – вырывается у нее почти с отчаянием.

Она легко соскакивает на землю и, не взглянув на меня, уходит.

Я иду за нею, и в душе накапливают теплота, нежность, беспричинный восторг. Почему-то в глазах начинает пощипывать, и мне так хочется сказать ей, что глупо ломаться, что для нее никогда я не буду Печориным, что таким я буду с другими, но не с нею...

Не оборачиваясь, она идет в самую глубь сада, в наш любимый уголок – запущенную, заросшую по краям вербой, полянку. Зелеными кустиками пробивается острая, тоненькая трава. Земля здесь бурая, глинистая, летом растут лопух, крапива, полынь, одуванчики и куриная слепота. В самой глубине кем-то посажен жалкий куст сирени.

– Расцвела! – кричит Ната восторженно и бросается к лиловой полураспустившейся ветке, почти затерянной в зелени листьев.

Жужжат пчелы, пристают зеленые тяжелые мухи, солнце невыносимо печет открытую голову. На солнце растрепавшиеся волосы Наты напоминают легкие серебряные паутинки, которые носятся в воздухе осенью, в наклоне ее тонкой шейки что-то до боли трогательное и милое.

Я наклоняюсь и губами касаюсь ее затылка.

– О-ох!.. – слышу я и пугаюсь сверкающих гневом, посветлевших, острых как гвоздики, глаз Наты.

Я долго стою, понурившись, у куста сирени, не обращая внимания на приставание мух, на то, что голову все сильнее припекает. Мне очень обидно и грустно. Я впервые испытываю боль – быть непонятым женщиной.

Когда, распаренный солнцем, взлохмаченный и мрачный, я возвращаюсь домой, мучимый голодом и тоской, Ната, суровая, почему-то особенно важная, сидит рядом с моей матерью на крыльчке и сосредоточенно чистит миндаль.

– Почему ты такой потный? – с тревогой спрашивает мама, оглядывая меня своими карими, пронизательными глазами и игнорируя мое желание казаться невозмутимым.

– Вероятно, он изображал Печорина и за неимением чистокровной лошади скакал на палочке верхом, – поясняет Ната, бросая на меня из-под ресниц презрительно холодный взгляд и обращаясь только к маме.

Тут, оскорбленный сам, я понимаю, как больно ее обидел: «Ведь если я – Печорин, то она – Мэри, и, значит, я поцеловал ее, не любя».

Этот мучительный день тянется особенно долго. Я хожу как потерянный, меня грызет раскаянье и тяготит невыносимая нудная тоска. Меня преследует голос Наты, какой-то особенно звонкий, особенно властный. Ее присутствием наполнен весь дом, и хотя мы не разговариваем, я исподтишка слежу за ней. Намеренно долго я играю упражнения, потом разучиваю Мендельсона. Я знаю, что она сидит в кресле с книгой в руках, но уверен, что она прислушивается к моей игре, которой всегда восхищается. Вдруг ощущение спокойствия и умиротворенности, которое вызвано музыкой, проходит – я чувствую, что ее нет больше в комнате. Мной опять овладевает тревога. Я оборачиваюсь. На розовом атласе кресла лежит раскрытый Лермонтов, на полу – выскользнувшая из косы лента. Куда она убежала? Крадучись, я выхожу из гостиной, заглядываю в детскую Наты, в столовую, в квартире пусто и тихо. Стремительно выскакиваю в сад.

У зеленой беседки – две тени. Ната стоит ко мне спиной; черноглазый высокий Ленка – рядом с ней ко мне лицом. Я ясно вижу веселые глаза, нахальную улыбку красивого рта. Я ненавижу его!

Я хочу знать, о чем они говорят. Я едва владею собой от беспричинного гнева, от внезапно нахлынувшей ревности, но гордость заставляет меня сдержаться. Я поворачиваюсь и бегу обратно в гостиную, к роялю. Сердце бешено колотится, руки дрожат, но я продолжаю играть пьесу с прерванного на середине такта. Я колочу по клавишам злобно, с ненавистью, заглушая сердцебиение.

– Не колоти! – взывает из соседней комнаты мама. – Разве можно так играть Мендельсона!

– Он всегда колотит! – злорадно подхватывает Ната.

Я поворачиваюсь на вертящейся табуретке. Ната стоит в дверях и насмешливо улыбается.

– Где ты была? – спрашиваю я, вставая и подходя к ней.

– В детской, – говорит она, опуская ресницы.

– Ты лжешь! – шепчу я угрожающе.

– Ничуть не лгу!.. С чего это ты вообразил? – отвечает она невозмутимо, смотря мне прямо в глаза своим прозрачным чистым взглядом.

Этой наглости мне не вынести. Красные круги плывут перед глазами, я вне себя от бешенства...

– Ты лжешь! Я видел, как ты стояла у беседки с Ленкой... Посмей-ка отрицать!..

Я хватаю ее за плечи, впиваюсь пальцами в ее косточки и беспощадно трясу ее. На минуту она застывает от неожиданности, потом ее лицо

перекашивает на глазах, и она кричит, отчаянно, звонко, на весь дом.

– Анна Михайловна, Сережа дерется!

Я выпускаю ее, пристыженный и дрожащий от гнева, она пронзительно визжит, падает, и в комнату вбегает мама.

На этом воспоминания обрываются, и образ девочки, которую я любил и из-за которой страдал, исчезает.

Милая девочка, как незабываемо прелестно ее подвижное неправильное личико, острые локти, слишком длинные руки и ноги, чисто женское коварство. И как странно, что все женщины, которых я когда-то любил, о которых я когда-то мечтал, всегда чем-то напоминали эту девочку, которая для меня так никогда и не стала взрослой...

3

У моей жены было очень много общего с Натой. Было в ней что-то беспомощно-детское – вероятно, в худобе ее нежного тела, в стройности длинных ног, в чистоте светлых глаз, затененных длинными черными ресницами. И она так же, как Ната, вопросительно поднимала выщипанные брови, и от этой скверной привычки у нее на лбу уже появились три глубокие морщинки. У нее были очень светлые, доходящие до плеч, вьющиеся волосы. Я называл ее – Мэри. Я мучительно любил ее. Мне всегда казалось, что она ускользает от меня, что каждую минуту я могу ее потерять. Я боялся болезней, людей, случайностей. Я старался оберегать ее. Приписывая свои ощущения болезненной мнительности, я гнал от себя мысль, что это может быть предчувствием.

Из трех лет нашей совместной жизни в памяти ярко сохранился только один день – момент крушения моего счастья. Моя память с поразительной отчетливостью воскрешает прошлое.

В то утро я проснулся с тяжестью в сердце, которая знакома мне с ранней юности и которая всегда предупреждает меня о надвигающейся опасности. Но я не хотел слушать голоса сердца. Я повернулся на правый бок и, увидев бледный овал щеки и растрепавшиеся локоны Мэри, позабыл о своей тревоге.

Мэри была со мной навсегда, на всю жизнь, до самой старости! Я живо представил себе ее старушкой, морщинистой, худенькой и порадовался тому, что настанет время, когда моей неумной тревоге придет конец, когда я буду обладать ею, без опасений потерять ее, до самой смерти.

Она не спала, но я видел, что она не хочет разговаривать. Я давно заметил, что моя восторженная любовь кажется ей сентиментальной, и ее холодная насмешливая улыбка, которой она отвечала на мои признания возлюбленного мужа, часто заставляла меня сжиматься от обиды и боли.

И все же я не мог сказать, что она не любит меня. Разве она не была

заботлива, не отвечала на мои поцелуи горячими объятиями, не выбрала меня, не вышла за меня замуж по любви.

И все же она мучила меня... Может быть, бессознательно... Терзала своим кокетством с другими, своей замкнутостью, своим нежеланием говорить о себе, своих чувствах, воспоминаниях, ощущениях.

– Ты – мот, – говорила она, смеясь, показывая мелкие, острые зубы хищницы, – ты растрачиваешь свою душу в словах, как расточитель растрачивает капитал.

Зато она, о, она умела молчать!

– Мэри, – сказал я, водя бритвой по намыленной щеке, когда заметил, что она проснулась, – сегодня мы идем в оперу. Я забыл тебе сказать, что вчера уже купил билеты.

– Я не пойду, – ответила она низким после сна голосом, отворачиваясь от меня и натягивая на плечи сползшее одеяло. – Я плохо себя чувствую, у меня, наверное, жар.

Встревоженный, я подошел к ней, коснулся рукой ее гладкого лба, нежной порозовевшей щеки.

– После сна ты всегда горячая, – напомнил я, – но на всякий случай измерь температуру.

– Нет, не хочу! – ответила она тоном, не терпящим возражений, – я и без термометра знаю, что у меня не меньше, чем тридцать семь и пять, у меня с вечера болит горло и голова. Я лучше полежу...

– Тогда позовем доктора!..

– Ах, отстань, пожалуйста, не устраивай панику! У меня простая инфлюэнца. Дай мне спать.

Она свернулась в клубочек, закрыла глаза, и я знал, что не добьюсь от нее больше ни слова.

С постели она встала только к вечеру. Вернувшись со службы, я нашел ее в халате, с синяками под глазами, вялую и раздражительную. Она сказала мне, что приняла аспирин, что температура упала, но что у нее слабость и она никуда не пойдет.

– Конечно, мое солнышко, – согласился я, – мы с тобой чудесно проведем вечер. Хочешь, мы почитаем, или я поиграю тебе?

Эта мысль искренно меня обрадовала: мы так редко проводили вечера вдвоем. Почти каждый день к нам собирались друзья моей жены, шумная компания девушек и мужчин, в равной степени занимавших Мэри и действующих мне на нервы.

– Нет, милый, – возразила она, подходя ко мне и садясь на ручку кресла, на котором я сидел, – ты непременно должен пойти и все рассказать мне. Прошу тебя, родной, походи, ведь сегодня парадный спектакль и твоя любимая опера... Смешно отказываться.

– Но мне в тысячу раз приятнее остаться с тобой, – запротестовал я,

обнимая ее.

– Не будь сентиментальным, – оборвала она, презрительно сморщив носик, – тебе полезно развлечься, а мне – побыть одной. Знаешь, иногда это действует освежающе.

Я притянул ее к себе, халат слегка распахнулся, сверкнула белая полоска плеча.

– «Твои высокие плечи – безумие мое», – сказал я, цитируя Блока и поцеловав ее улыбающийся рот. До сих пор помню прикосновение к стиснутым, холодным зубам, которых она не разжала.

– Пусти! – оттолкнула она меня и выбежала из комнаты.

– Иди сюда, – услышал я вскоре ее веселый зов из спальни. – Я приготовила тебе крахмальную рубашку и чистый воротник. Я хочу, чтобы ты был лучше всех!

О, она умела заставлять делать так, как она того желает.

Поддавшись ее оживлению, я весело одевался и беззаботно отправился в театр. У меня даже появилось какое-то мимолетное, но радостное ощущение своей свободы и независимости. Садясь в машину, я с удовольствием ощущал гладкость свежевывбритых щек, запах духов, которыми жена обрызгала мой платок и кашне, острую прохладу весенней сырой ночи.

Но это ощущение довольства и самовлюбленности испарилось, лишь только я вошел в переполненный толпой зрительный зал, откинул сиденье кресла второго ряда и увидел пустое место слева от себя, место, которое должно было быть занято Мэри. Я представил себе ее в строгом черном платье, чуть надменную и бесконечно прелестную. Вечная жажда быть с ней, прижать ее к себе охватила меня.

Вечер был отравлен... Тревога, с которой я проснулся утром, с новой силой овладела мной. Увертюра «Евгения Онегина» только разжигала мою тоску. Мне казалось, что мое сердце стало огромным, полным крови и очень тяжелым. Оно давило мне грудь, как камень.

«Слыхали ль вы, слыхали ль вы за рощей глас любви?..».

Этот дуэт всегда особенно меня трогал, но в этот раз я едва слушал, перед моими глазами словно висела какая-то завеса. Едва занавес упал и наступил антракт, я выбежал из зрительного зала и, движимый не волей, а инстинктом, бросился к выходу. Я знал ясно только одно – этой тревоги мне не вынести. Мне казалось, что Мэри в опасности, что она задыхается, что ей плохо...

«Как можно было оставить ее одну, больную!», – упрекал я себя.

Когда, наконец, я подъехал к нашему дому, я увидел, что окна нашей квартиры темны.

«Спит!», – вздохнул я с облегчением, и все пережитые страхи показались мне диким кошмаром, подсказанным разыгравшимся

воображением. Расплатившись с шофером, я осторожно, чтобы не разбудить Мэри, открыл американским ключом дверь, ошупью нашел выключатель, но локтем задел зонтик, стоявший у вешалки. Он с грохотом повалился, нарушив настороженную тишину дома. Я замер, ожидая испуганного крика Мэри, но страшная тишина наступила снова. Моя тревога росла с каждой секундой. Произошло что-то катастрофическое... Теперь я уже был в этом совершенно уверен.

— Мэри! Мэри! – позвал я, не помня себя.

Никто не отозвался. В доме была мертвая тишина.

Нельзя передать словами тот ужас, который я пережил, пока, роняя за собой вещи и зажигая повсюду свет, я добежал до ее спальни. Но он – ничто перед тем отчаянием и оскорблением, которые я испытал, когда воочию убедился, что в спальне Мэри нет. Да, я предпочел бы увидеть ее мертвой, нежели убедиться в ее отсутствии, в ее обмане.

Постеленая на ночь кровать была не тронута. На козетке лежал ее халат с вывернутыми рукавами; шкаф был раскрыт, и было видно разбросанное, перерытое нетерпеливой рукой белье на полках; у кровати валялись красненькие туфельки без задников, которые она всегда носила дома.

Не желая верить очевидному, я бросился на поиски. Я заглянул в нашу крохотную кухню, в белоснежную ванную, в столовую, в кабинет, но надежды были напрасны: Мэри не было.

— Она ушла, ушла... – шептал я, внезапно отупев.

Я опять вошел в кабинет и остановился посреди комнаты. Мыслей не было... Случайно мой взгляд упал на черный лакированный столик, стоявший между двумя креслами. На зеленой малахитовой пепельнице лежала недокуренная сигарета. Она еще дымилась.

— Здесь был м-р Стэн... – проговорил я громко и сам испугался звука своего голоса.

Да, это был он, память подсказала мне, что только он курил эти толстые сигареты с золотым ободком... Мэри ушла с ним.

Я внезапно увидел м-ра Стэна так ясно, точно он сидел в кресле передо мной, как всегда чуть небрежно развалясь, закинув ногу на ногу, не выпуская изо рта сигареты. Я увидел шапку серебристо-серых волос над смуглым высоким лбом, тонкие, иронические губы и горькие складки, идущие от носа к углам рта. Он должен был нравиться женщинам, и я не раз замечал, с каким любопытством смотрела на него Мэри, и как уверенно и чуть насмешливо он говорил с ней, касаясь, словно нечаянно, плечом ее плеча, которое, казалось, только и ждало этого прикосновения. Не раз я ловил себя на припадках ненависти к этому немолодому американизированному человеку.

Что было общего между ним и Мэри? О чем они могли говорить и почему так часто жестоко дерзили друг другу? Это было для меня

загадкой. Я ревновал, боясь признаться себе в этом, желая только одного – верить Мэри.

О, как легко умела она сметать все мои подозрения – одним взглядом, одним поцелуем. Я хотел верить ей, и я верил.

Внутренняя дрожь потрясла меня с ног до головы. Значит, все это было ложью... Значит, и сегодня с утра она играла комедию, лгала мне для того, чтобы вечером освободиться от меня и увидаться с ним... Чудовищно! Невероятно!

Я все-таки не хотел верить. Я старался найти для нее оправдание. Может быть, сигарета была не м-ра Стэна? Может быть, Мэри вызвала мать?

Ну да, конечно! Как это раньше не пришло мне в голову? Ее матери стало плохо, за Мэри послали, и она поехала к ней.

Я выбежал на улицу и, забыв о том, что есть извозчики и автомобили, почти бегом направился к матери моей жены.

Теща жила далеко, но я радовался, что идти надо будет долго, постепенно я стал замедлять шаги. Бессознательно я отдалял от себя минуту, когда узнаю, что Мэри у матери нет, когда передо мной откроется бездна, в которую полетит все наше счастье, вся наша любовь.

Несмотря на внутреннюю уверенность в самом худшем, я малодушно оттягивал страшную минуту крушения всех иллюзий.

И тут случилось самое страшное... Прямо мне навстречу, касаясь плечом друг друга, шли двое. Я не хотел верить своим глазам даже тогда, когда они растерянно остановились, увидев меня. Свет от фонаря упал на золотую прядь волос, выбившуюся из-под шляпы.

– Ты? – спросила белокурая дама, которая вдруг стала мне совершенно чужой, и которую я едва видел от внезапной черноты перед глазами. – Почему ты не в театре?

Высокий господин, ее спутник, снял шляпу и держал ее в руках; его волосы казались посыпанными снегом. Я на минуту потерял дар слова.

«Только без сцен, – сказал я себе, сжимая в карманах кулаки, – только не быть смешным перед этим самодовольным животным».

– От духоты у меня разболелась голова, – ответил я глухо, – и я вернулся домой. Не застав тебя, направился к твоей матери...

– Я только что от нее, – ухватилась за поданную мной соломинку Мэри, – маме стало нехорошо, и она за мной послала.

Я видел, как румянец, вспыхнувший на ее щеках, потухал – она успокаивалась.

– К моему удовольствию, я встретил вашу супругу и пошел ее проводить, – с достоинством объяснил м-р Стэн и вынул портсигар.

Сигарета, которую он закурил, была с золотым ободком.

Кровь кинулась мне в голову. Сомнений больше не было...

– Много было народу? – спросила Мэри, стараясь овладеть собой.

Я не ответил. Во мне бушевала буря. В то время, как я беспокоился о ней, представлял себе ее больной, несчастной, одинокой, в это время она... О, как я ненавидел ее, презирал свою любовь и любил сильнее, чем всегда.

– Разрешите попроситься с вами, Мария Владимировна! – донесся до меня голос м-ра Стэна, – я заверну в клуб.

Он имел настолько такта, что не протянул руки ни мне, ни жене.

Конечно, все это не ново, об этом писал еще Толстой в «Крейцеровой сонате», но для каждого свое переживание неповторимо, и нет у меня таких слов, которые могли бы выразить гамму сжигавших меня в ту минуту чувств.

Я не знаю, что думала Мэри (я никогда вполне не понимал ее), но я убежден, что ей было тяжело и страшно. Я видел, что она испугана, – по сероватой бледности ее лица, по наклону головы, по сгорбившимся плечам. Я даже со злорадством подумал, что она вовсе не красива и что опущенные уголки ее рта говорят о недоверчивости и злобе.

Я шел быстро, хотя видел, что она задыхается, едва поспевая за мной.

– Ты должен выслушать меня, а потом судить, – заговорила она первая, не выдержав моего молчания. – Я ни в чем не виновата перед тобой, ни в чем... – повторила она твердо и убедительно.

Но я больше не верил ей.

– Почему ты не продолжаешь лгать? – насмешливо спросил я. – Ведь все выходит как по писанному: ты была у больной матери и на каждом углу можно при желании встретить доброго знакомого, – нервный смех душил меня.

– Я не хочу обманывать тебя... я хочу только объяснить, – возразила она грустно.

Конечно, она была умна, но ум не всегда помогает, нет!

– Я давно говорил тебе, – перебил я, едва сдерживая спазмы, которые перехватывали горло, – что никогда не прощу лжи. Мне все равно, была измена или нет. Если ее еще не было, она будет... Главное то, что я не верю тебе и не буду верить больше никогда.

– Но ты пойми... выслушай меня прежде, а потом суди... Попробуй же понять...

Но я не мог ее слушать, со всей силой любви я ненавидел ее теперь.

– Больше ты для меня не существуешь, – говорил я безжалостно, – я никогда не пойму, никогда не прощу, слова бесполезны. Ты для меня теперь не больше, чем первая встреча, с которой я случайно сошелся и которую забыл. Все погибло. Прошлое вычеркнуто из моей памяти. Для меня ничего не существует, кроме этого дня, кроме этой лжи!..

Кажется, я говорил очень спокойно, поэтому меня так поразила внезапная экзальтация Мэри.

– Значит, ты нисколько не любишь меня! – воскликнула она страстно. – Если бы ты любил меня, ты не мог бы говорить так спокойно, ты, который из-за каждого пустяка устраивал мне сцены, который готов был плакать из-за малейшего моего нездоровья. Ты не любишь меня больше, вот и все!

Я помню, как горько я засмеялся ей в лицо. Мог ли я объяснить ей, что именно сильно любя, я не мог простить?

Открыв своим ключом дверь нашей квартиры, я впустил ее, а сам остался на улице. Я не мог войти в дом, который осквернила ложь, и в котором лежала недокуренная сигарета м-ра Стэна.

4

Неужели это все, что осталось от моей молодости? Только непонятая любовь ребенка и оскорбленное доверие? Неужели больше не было счастливых минут, горьких часов, любимых женщин? Неужели, наконец, не было работы, удовлетворенного самолюбия, прекрасных книг?

Было все, конечно, но только эти два дня моей жизни почему-то врезались в памяти глубже всего, ранили всего острее.

18.II.34

*Впервые опубликовано: Рубеж. 1934. № 41;
также см.: Резникова Н. Раба Афродиты: Сборник рассказов. Харбин, 1936.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
в 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 141–153.*

ПАН ТЕОДОР

Вы пришли ко мне сумрачный. Угрюмо опустились в кресло. На фоне окна вырисовался ваш острый профиль... Я не хотела нарушать вашего настроения. Вы долго молчали. Я ждала. Наконец вас словно прорвало:

– Ненавижу современных писателей! – кинули вы гневно. – Едва дочитал свеженькую книжечку новой «знаменитости»... Черт знает, как стали писать!.. Вот и вы. О чем вы пишете? Зачем?.. Если бы вы, действительно, могли, как мог Толстой, воплотить в книге жизнь, снова вернуть бытие ушедшим моментам, людям... Да, именно, если бы вы умели вернуть реальность ушедшему... Ведь столько уходит из жизни сильных, неизживших себя людей. Их бы показать! Их бы вновь воскресить, передать обаяние личности, трагедию существования... Снова повторить слова, давно отзвучавшие! – вы нетерпеливо чиркнули спичкой и зажгли сигарету.

Растерявшись от вашего натиска, я молчала.

— Бывают такие люди, – уже спокойнее продолжали вы, – встреча с которыми оставляет неизгладимое впечатление на всю жизнь. Их воля поработает вас. Вы поддаетесь необъяснимой, – я бы сказал, магнетической, – их власти, подчиняетесь их желаниям... Да, есть люди, один взгляд которых поработает. Таким был пан Теодор, мой погибший друг... Если хотите, послушайте о нем... Только не записывайте, не надо...

Простите ли вы меня за то, что я не исполнила вашей просьбы. Но я заболела вашим рассказом и не могла не передать его на бумаге... Не литературно, нет, а так, как было вами рассказано, – без фабулы, отрывочно, многое упуская, для того, чтоб «повторить» прошлое давно умершего человека.

И еще в свое оправдание: когда я писала, мне все время казалось, что душа пана Теодора, преждевременно оторванная от жизни, бродит по земле, тоскует, напоминает о себе своим друзьям, водит моим пером и подсказывает нужные слова. Что-то неотвязное есть для меня в этом образе; он требует, чтобы его вернули к жизни, хотя бы только на бумаге.

Огромную магнетическую силу прекрасных голубых глаз пана Теодора испытывали на себе все, кто его знал. В этих глазах было сверкание, подчинявшее людей, делавшее его всегда, во всех случаях жизни, господином. Он был высок ростом, – ноги у него были длинные, как у Дон-Кихота Ламанчского, – и он носил шелковистые золотые усы. Таких длинных я не видал больше ни у кого, но они ему шли. У него был характерный, почему-то меня ужасающий, но, в то же время, восхищающий жест: подвыпив, он непременно накручивал длиннющий свой ус на кончик носа. Делал он это методично, задумчиво, и только по движению этому мы знали, что он нетрезв. Был он человек крепкий, выносливый и выпить умел.

Поляк, он вырос в России и всегда жил среди русских... Впрочем, о детстве его я ничего не знаю. Впервые столкнулись мы с ним на практике у границы Персии, куда были посланы на землеустроительные работы. Учился он в то время в Петербурге, в Лесном институте.

Встречались мы тогда редко, почти исключительно в кутящей компании, но запомнил я его хорошо. Один случай сильно подействовал на мое воображение и подтвердил мое первое впечатление о нем: силе его светлых глаз трудно было противостоять.

Была поздняя осень. Почти все студенты разъехались, торопясь в столицу; задержались, не помню почему, только я и пан Теодор. Случилось так, что мы уезжали одним поездом. Станция была маленькая, скучная. Почему-то дольше обыкновенного не прицепляли паровоза. Я забрался в купе и из окна глядел на пустынный перрон, по которому взад и вперед разгуливал пан Теодор.

Вдруг со стороны леса выбежал коренастый, молодой татарин... Я узнал в нем того самого рабочего, которого пан Теодор недавно больно избил за какую-то прогрешность.

Пан Теодор, видимо, тоже его заметил – он прекратил свое хождение и встал у вагона. Шагах в двадцати от него татарин остановился, что-то крикнул и поднял револьвер. Я застыл у окна. Пан Теодор скрестил руки на груди и стоял под наведенным дулом, не шевелясь. Казалось, татарин никогда не выстрелит, но выстрел грянул.

Пан Теодор не дрогнул, не двинулся с места. Пуля со звоном ударилась в обитый железом вагон.

Татарин с опущенным револьвером в руках растерянно озирался.

– Ну, – спокойно и громко сказал пан Теодор, – я стоял, а теперь ты постой.

Он, не торопясь, вытащил из кармана старый Смит и Вессон и, глядя на татарина в упор, стал поднимать его... Татарин не выдержал, повернулся к нему спиной и бросился в лес.

В напряженной тишине оглушительно прозвенел последний звонок. Поезд отходил. Вложив револьвер в карман, пан Теодор на ходу вскочил на ступеньки вагона и приветливо поднял шляпу в знак прощания, словно ничего и не произошло.

Второй раз мы встретились через много лет, во Владивостоке. Он был лесничим городских лесов. Жил в просторной усадьбе, окруженной густым лесом. Тут я узнал его ближе. Внешне он почти изменился, не постарел, не пополнил несколько, хотя пить стал еще больше. Всегда при себе носил металлическую фляжку с водкой и, когда выпивал, непременно накручивал на правильный нос белокурый ус. Накрутит и сосредоточенно так старается, чтоб самый кончик уса пришелся на середине носа, и на кончик его смотрит.

Хороший был товарищ. Гостеприимный. Бывало, как пригласит он к себе в гости, начнет угощать – от стола не встанешь... Любили к нему охотники приезжать поохотиться. Кажется, кому как не лесничему знать, где зверь водится. А он нарочно накормит всех до отвалу, напоит, а потом на охоту отправляет и, конечно, норовит так вести, чтоб никакого зверя не затравили. Охоту не признавал. Зверя больше человека любил. Помню, сидим у него, закусываем, а объезжий Семен не утерпит, похващает:

– Так что вот там, ваше высокоблагородие, медведя обложили...

А пан Теодор так поморщится, словно ему больно сделали, и ужасно боится, чтобы кто не услышал и на медведя не пошел... Но о Семене надо особо рассказать...

Придумал пан Теодор городской заповедник для оленей устроить. Говорил, что если не позаботиться, – совсем уничтожат несчастных животных, которых беспощадно истребляли ради пантов.

Соблазн велик: за молодые рога хорошо платят.

Сказано – сделано. Устроив заповедник, предупредил пан Теодор охотников всей округи, чтобы оленей в его заповеднике не стреляли, не то...

Взгляда его было достаточно: знали все – не любит пан Теодор шутки шутить...

Каждый день посещал пан Теодор заповедник. Как влюбленный, радовался, когда удавалось увидеть пробегающего оленя, взглянуть во влажные, теплые оленины глаза, полюбоваться пятнами на его шкуре, грацией движений... Но однажды, когда по обыкновению ранним утром пришел он в заповедник, на земле увидел следы крови и скоро наткнулся на распростертого молодого оленя; у него была прострелена шея и отрезаны рога.

Помрачнел пан Теодор, потемнел, как туча, и долго стоял и глядел на затаившиеся пленкой темные глаза, на розоватые, мягкие ноздри мертвого оленя. Вернувшись домой, собрал своих людей и приказал во что бы то ни стало найти ослушавшегося его приказания.

Лес – не город; по следам, которые вели от заповедника, пан Теодор скоро сам нашел виновного.

Была ранняя весна, тропинки были сыры и скользки, пахло смолой. Пан Теодор на закате обходил лес. Сквозь стволы просвечивало пунцовое солнце, навстречу шел охотник-хищник Семен, приземистый, рябой, потомок Тохтамышша, с узенькими, бегающими черными глазами, тот самый, которого заподозрил пан Теодор в убийстве оленя.

Остановившись, он взглянул на него и сказал глухо:

– Ну, Семен, теперь мы с тобой в ссоре! – повернулся и ушел, и тот еще долго стоял в раздумьи и мял в руках изорванную шапку.

А глубокой ночью пана Телдора разбудили. Заспанный объездчик доложил, что в лесничестве случилось несчастье: Семен распорол себе живот, умирает и хочет перед смертью поговорить с паном Теодором... Тот мгновенно оделся и верхом поскакал к несчастному, поняв, что Семен зарезался со страху.

Его ждала страшная картина. Семен уже впал в беспамятство. Сквозь зиявшую на животе страшную рану видны были внутренности... Пан Теодор сам, как умел, перевязал его и тотчас же еле живого повез в город, в больницу. В больнице Семена отходили, но болел он долго. Пан Теодор навещал его, выслушал его признание и простил. Так они помирились, а когда Семен выписался из больницы, он явился в лесничество, сказал, что отказывается от прежней хищнической работы, и чуть не со слезами умолял взять его на службу, заявив, что хочет «служить его высокоблагородию до самой смерти»... Пан Теодор сделал его своим объездчиком, и мне часто казалось, что преданность, сверкающая в маленьких черных глазках Семена, его подчас смущала...

Счастлив, по-моему, пан Теодор никогда не был. Иначе зачем бы он пил?.. Неудовлетворенность жила в нем, правда глубоко была она спрятана. К женщинам он относился исключительно вежливо, но в вежливости этой не было ли презрения?

Мне кажется, он не любил ни одну. Помню, жила с ним худая, тихая женщина. Называл он ее «сожительница», возраста она была неопределенного, – ей могло быть и двадцать пять и тридцать пять – настолько она была незначительна, незаметна, обыденна. Вероятно, с ней ему было очень скучно. Помню, она почему-то часто плакала в уголке. И в таких случаях пан Теодор говорил мне:

– Пойдем в лес – опять она в квартире сырость разводит.

Как-то, сильно выпив, он мне признался, что всю жизнь мечтал о прекрасной праздничной женщине с точеными плечами, грудью, подобной алебастровым чашам, закутанной в зеленовато-серебряные одежды, о женщине, которая умеет пить наслаждение жадными полными глотками, ничего не требуя, кроме страсти, и отдаваясь ей всецело... Может быть, такими были гурии с влажными черными глазами газелей и длинными шелковыми, ночи подобными, волосами.

И какая насмешка, что этот красивый человек никогда не встретил на своем пути подсказанный мечтой образ... Никогда не узнал праздника любви и был принужден видеть в любви будничную повседневность. Но об этом довольно...

Пришла революция... Пан Теодор принял ее мрачно. Больше обыкновенного пил и все накручивал свой ус на нос. А однажды созвал всех своих подчиненных и сказал им твердо:

– Больше я вам не господин лесничий... Теперь господ упразднили, одни товарищи остались...

Слова его приняли молчаливо, и только один Семен воскликнул страстно:

– Ваше высокоблагородие! Вы уж как прикажете, но для меня вы всегда благородием будете...

И с тех пор остался он у пана Теодора при доме, исполняя хозяйственные обязанности, выменивал вещи на муку и картошку, мыл посуду, ходил за паном Теодором по пятам.

А когда кто-нибудь бывал груб с паном Теодором, Семен подходил к нему, оглядываясь по сторонам и шепотом спрашивал:

– Дозвольте пришить, ваше благородие?

Пан Теодор просил «не пришивать», и инцидент кончался мирно.

Время было беспокойное. Затаился пан Теодор в своей глуши, избегал выходить из усадьбы, хотел, чтоб о нем забыли, но однажды в сумерки к его дому подошла разношерстная толпа и угрюмо остановилась у дверей.

Пан Теодор вышел на крыльцо, как был, – в белой рубашке, только на

плечи накиннул неизменную зеленую тужурку.

Его встретили недружелюбным молчанием. Он заметил, что многие были вооружены, но не растерялся. Вынув трубку изо рта, спросил спокойно:

– Что нужно, товарищи? Зачем пришли?

Его небрежная, свободная поза немного обескуражила пришедших.

Все же из толпы раздались выкрики:

– Оружие давай!..

– Где оружие прячешь?..

– Оружия у меня нет, его уже два месяца как реквизировали...

Больше ничего?..

Пан Теодор невозмутимо закурил свою трубку, собираясь уходить...

– Стой! Ты куда?

– Во Владивосток его, ребята!

– Арестовать его! Долой приспешников буржуазии!

Голоса становились все громче, лица – злее.

– Без разговоров! – выдвинулся из толпы высокий, смуглый мужик в поддевке. – Арестовать его, товарищи, от имени рабоче-крестьянской власти!

Толпа подступила к самому крыльцу и окружила пана Теодора, угрожая гудя и взмахивая оружием. Пан Теодор выпрямился и медленно обвел всех своими сверкающими, синими глазами.

– Что! Арестовать?.. Меня?!

Под его магнетическим смелым взглядом наступавшие невольно подались назад.

– Отправляйтесь по домам, товарищи... Нет у меня никакого оружия. Идите с миром.

Постепенно толпа стал редеть, незаметно, по одному, расходились... Раздалось еще несколько неуверенных выкриков. Но пан Теодор все еще стоял в дверях и не ушел до тех пор, пока смущенная, укрощенная толпа не разошлась.

Да, необычайный человек был пан Теодор! Силу такую огромную над людьми имел, а ею редко пользовался; мне кажется, даже страшился ее. Может быть, потому и зверя больше человека любил.

А события нарастали. В опалевшем Владивостоке стало трудно и страшно жить. Большевики укрепились. Я потерял из вида пана Теодора и только перед самым своим бегством из Владивостока услышал о его судьбе.

Оказалось, что очень скоро после прихода большевиков пан Теодор был арестован и, как специалист, послан на таксацию куда-то в Якутскую область.

Тяжело ему было уезжать. Жаль было привычной жизни, Семена, знакомого леса, оленей. «Сожительница» – «разводила сырость». Наконец,

он освободился от кольца ее худых цепких рук.

Поселили его в глуши, среди леса в темной избе, и рядом с ним, стена к стене, жила женщина, под надзор которой он попадал, – комиссар, негласный член ГПУ, – Гудкова.

Говорили, что она из финок. Такая ширококостная, высокая, плоскогрудая. Волосы скобкой остриженные, очень светлые, скулы сильно выдающиеся, глаза небольшие серые и только рот красивый, совсем молодой, жадный, с острыми, мелкими зубами. Ходила она в кожаной куртке, в сапогах и всегда с наганом. Пану Теодору она сразу не понравилась. Ведь я говорил вам о грезе его, о женщине податливой, шелковистой и грациозной. Как олень.

Раздражал его и наган ее, ежеминутно напоминавший, что револьвера ему больше не иметь. И когда он смотрел на нее, желваки на его скулах начинали ходить, и он темнел в лице.

А она глаз от него оторвать не могла, все ходила за ним по пятам и сверлила его гвоздиками своих зрачков. Он в лес, и она в лес, он на съемки, и она за ним... А он гордый был, твердый, как сталь. Даже глаз на нее не поднимал, мимо смотрел.

Все бабье в ней, слабое, загнанное внутрь, отвечало его мужественности, его непреклонности, видело в нем господина и трепетало. И, не смея ни на что надеяться, не смея бороться, это бабье терпеливо ждало... Но он жил сам по себе, занятый своими мыслями, своими заботами. Почти всегда он был мрачен. Пить было нечего. В плоской заветной фляжке давно не осталось ни капли спирта, и душно было жить под надзором. Ночами не спал и думал, как уйти... Но серые влюбленные глаза неотступно следили за ним, неотвязно его преследовали. Уйти в лес к зверям от этих глаз, от этого ада... Уйти – но как? Наступила зима, каждый шаг явственно отпечатывался на снегу. Надо было ждать весны, а весной, может быть... кто знает. И он ходил по лесу и мысленно намечал план бегства, разыскивал дорогу, по которой легче будет уйти.

Гудкова ходила за ним и все время говорила. Она нарушала торжественную тишину леса, чары лесных шумов, заглушая своим голосом скрип снега, треск под ногами промерзших ломающихся веток, еле слышное чириканье птиц.

Он всегда шел впереди, а она – за ним. Она не попевала за широким шагом его длинных ног, но никогда не жаловалась на усталость. Она была вынослива, эта женщина, даже зимой ходившая с непокрытой головой.

О чем она говорила? Вряд ли он знал – никогда не слушал. Звук ее голоса раздражал его больше, чем любые слезы. И иногда, потеряв терпение, он оборачивался и молча глядел на нее, и тогда она замолкала...

Может быть, именно в одну из таких прогулок она, задыхаясь от быстрой ходьбы, исступленно прокричала ему о своей любви, о том, что он

не может не считаться с ее любовью, с ее мукой... Безумные слова срывались с потрескавшихся от ледяного ветра губ облачками пара.

Пан Теодор всегда был вежлив с женщинами, но эта – женщиной ему не казалась. Все же ему было неловко и досадно от того, что она ставила его в глупое положение... Неумолимый, он не оборачивался, не отвечал. Тогда, не выдержав его молчания, она круто повернулась и убежала назад. Пан Теодор приостановился, удивленный тем, что не слышит ее голоса, скрипа снега под ее высокими меховыми сапогами, но упрямо не оглянулся, пошел дальше. Долго еще шел вперед и когда, наконец, обернулся, то окончательно убедился в том, что ее нет. Впервые оставила она его наедине с лесом, наедине с самим собой. Он долго стоял неподвижно, глядя себе под ноги, потом поднял глаза. Перед ним стройная и высокая стояла молодая сосна. Он подошел к ней, любовно обхватил руками в толстых кожаных перчатках ствол ее в розовых чешуйках коры и встряхнул. Сверху, с ветвей на него посыпался снег... Да, сил было еще много... «Уйду!..», – проговорил он вполголоса, хлопнув перчатками, чтоб стряхнуть с них снег. Потом, высвободив правую руку, задумчиво накрутил ус на кончик носа, пьянея от одной мысли о свободе...

Он еще долго бродил по лесу, насвистывал, разглядывал заячьи следы и только тогда, когда ноги совсем окоченели, и от заката остался только розовато-оранжевый отсвет, а верхушки деревьев потерялись в небе, на котором уже изогнулся острым лезвием бледный месяц, он вернулся в поселок.

Гудкова сидела в проходной комнате, служившей столовой, за столом, покрытым клеенкой, и встретила его острым пытливым взглядом... Может быть, она втайне надеялась на то, что он не вернется?..

Он не знал, что ей сказать. Прошел прямо к себе и заперся, а она в это время перечитывала только что полученное секретное предписание относительно пана Теодора о немедленной отсылке его во Владивосток. Она знала, что это ему грозило, и еще она знала – предписания этого выполнить она не в силах... Между светлых дуг ее бровей залегла складка. Она курила папиросу за папиросой и ходила взад и вперед по комнате.

Твердо ступали тяжелые сапоги по деревянному полу, и пан Теодор как не старался, не мог забыть о ней, не слышать ее присутствия и, ворочаясь по твердой скамье, заменявшей ему постель, напрасно старался заснуть.

А на следующий день ранним морозным утром отправился он на съемки. Гудкова за ним не пошла. Не было ее и за скудным разогретым обедом. Только к вечеру, когда он направился в лес, ее сухая фигура выросла у его плеча.

– Я с вами, товарищ.

– Прошу вас, – ответил он сумрачно, даже не посмотрев на нее, не

увидев пергаментной желтизны скул, гримасой искривленных обветренных губ.

Молча шли по свежему снегу, покрывшему все тропинки. Лёгкий и белый был недавно выпавший снег, а колючие мохнатые ели на фоне этой белизны особенно зелены в уборе снежинок. И только иногда между стволов мелькал пламенный, кровавый закат, похожий на отблеск пожара.

– Завтра будет ветер, – сказал пан Теодор вслух.

«Только тебя не будет...», – подумала Гудкова и ощутила вместо сердца ледяной ком.

И все же иначе быть не могло. Послать его на расстрел? – нет. Это было выше ее сил. Если он должен умереть – пусть умрет от ее руки. Она спасет его от унижений, от предсмертного ужаса, она дарует ему свободу... Так она решила прошлую бессонную ночь. И знала – рука не дрогнет: «То, что любим, мы убиваем...».

Было до боли холодно и трудно было преодолеть лихорадку, которая была ее сухое, мускулистое тело.

А он шел вперед и не знал, что каждая минута жизни ему подарена...

«Вот когда дойдет до той старой ели...», – сказала она себе, стараясь стряхнуть охватившее ее оцепенение.

И обратилась к нему, в последний раз, называя его прежним именем:

– Пан Теодор, что там чернеет за старой елью?

– Посмотрю, – ответил он односложно и ускорил шаги.

Поспешно стала она вытаскивать наган из кобуры. Надо было торопиться, – ведь он мог оглянуться, – и все же она медлила. Жадно и пристально глядела, стараясь навсегда запомнить высокий силуэт, длинные ноги, весь его неповторимый, любимый облик.

Пальцы застыли на металлическом спуске нагана. Наконец, она его нажала...

Он упал навзничь. Несколько капель крови рябинами легли на непримятый снег.

Может быть, было совсем не так. Может быть, она убила его не на закате, ведь вы мне сообщили только самый факт: «Не решаясь послать его на расстрел, влюбленная чекистка сама пустила ему пулю в затылок, а через две недели была расстреляна за невыполнение партийного приказа...». Но я уже говорила вам, что кто-то рисует перед моими глазами картины и образы прошлого, и я знаю, знаю сердцем, что было именно так, что у Гудковой были бледные скулы, что впервые в жизни она полюбила и что в тот вечер солнце пылало кроваво, отражая в небе кровь, проливаемую на земле.

И мне кажется, что я была в том лесу и сама видела, как мгновенно пробивала она расстояние, только что преодоленное пулей, нагнулась над ним, с огромной нежностью взяла за плечи и перевернула на спину. Шапка

упала с его головы, рассыпались по снегу золотые волосы, а лицо казалось живым, еще полным мысли, и глаза глядели вперед, вдаль, открытые, неподвижные, ярко-голубые...

16.XI.35.

*Впервые опубликовано: Рубеж. 1936. № 1;
также см.: Резникова Н. Раба Афродиты: Сборник рассказов. Харбин, 1936.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
в 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 221–256.*

ОТЕЦ И МАТЬ

Отрывок из романа «Александр Блок»

Крошка Ася Бекетова жила с ранней юности в атмосфере любовного тумана, в мечтах о любви.

Она начала влюбляться ребенком, не страдая: «Чтоб было, о ком мечтать», – и ежедневно с нетерпением ждала вечера, чтоб в уютной темноте детской, где в углу теплилась лампада и похрапывала Маня, рассказывать себе самой сказки из жизни: истории любовные. Так она мечтала о высоком светловолосом англичанине, которого как-то издали увидела, о юнкере, что бывал у старшей сестры, о молодом теноре, певшем в опере.

Подростком она писала бессвязные стихи и уже любила далекое, мучилась беспричинной тоской... Не понимая себя и своих чувств, беспричинно плакала или бурно веселилась.

В 13 лет мир представлялся Асе хаосом. Она не могла разобраться в противоречиях: безобразное и прекрасное одинаково ранило и волновало ее. Она то благодарила Бога за то, что «так счастлива!», то отворачивалась от Него, сталкиваясь с чужим горем, нищетой... Птица со сломанным крылом, взвизгивающая, побитая собака, голодная кошка были предметами вечной муки Крошки. Она жалела несчастных до слез. Она ничего не понимала.

Ася пугала своими выходками мать: беспричинным гневом, неожиданным кокетством, припадками религиозности. В университетской церкви у иконы Иоанна Крестителя она могла молиться часами. Но выйдя из церкви, вернувшись в гостиную, где кто-то играл на рояле, где всегда толпилась молодежь, – она вдруг загоралась, и глаза ее сверкали навстречу мужским взглядам.

Ей было едва пятнадцать, но студент-естественник был в нее влюблен.

Это было чудесно! Она считала себя его невестой. Потом это надоело...

Однажды, вырвав из гимназической тетради листок бумаги, она написала ему неверным, детским почерком отказ. Любовная игра ее забавляла, но еще она не знала, что значит страдать от любви.

Она не знала, что жаждала любви, жажда выговорить себя в любви жила в ней и была причиной припадков печали, меланхолии, стихов, что писала она и что скрывала от всех, кроме Мани.

Но недаром предчувствия сжимали иногда ее сердце, недаром испытывала она подчас трепет перед неотвратимостью рока – в жизни ей суждено было заставлять страдать и расплачиваться за это, суждено было радоваться и тосковать.

У своей соученицы по гимназии и соседки, Саши Озеровской Ася встретила в первый раз Александра Львовича Блока.

Что-то демоническое почудилось ей в тонком правильном профиле молодого человека, и невольно она залюбовалась его лицом.

Играла музыка. Танцевали мазурку. Ася любила танцевать. Ася не заметила, как темный взгляд Александра Львовича скользнул по ее игрушечно-маленькой фигурке, остановился на нежно-розовом, ослепительно чистом лице и задержался на лбу, над которым победно и радостно прыгали легкие светлые завитки.

Все солнечное, все теплое и светлое, что дрожало в улыбке, сверкало в глазах Аси, поразило, пленило его с первого взгляда.

Вскоре они встретились снова. Они сидели рядом за перилами бархатом обитой ложи. Шел «Демон».

Ася была взволнована. Музыка всегда ее волновала. Иногда она украдкой глядела на Александра Львовича. Его профиль четко вырисовывался на бархате портьеры. Почему-то тревожно кольнуло в груди, но ведь это случалось часто после скарлатины, осложнившейся пороком сердца...

Они долго не виделись...

Потом Бекетовы переехали в ректорский дом. В огромной гостиной, выходящей окнами на Неву, по субботам собирались профессора, студенты, дамы, барышни. Появился и Александр Львович Блок.

Ася заметила, что мать его выделила.

Елизавета Григорьевна действительно заинтересовалась парадоксальным и оригинальным умом молодого юриста. В гостиной под аккомпанемент гула голосов они говорили о музыке, о литературе.

Как будто бы ничего не видя, Елизавета Григорьевна замечала, что Блок интересуется шестнадцатилетней Асей.

Ее умные глаза улыбались, она делала вид, что не слышит, как Александр Львович говорил Асе многозначительные комплименты:

– Я смотрел на вас вчера, – говорил он, слегка заикаясь, – в окно университетского коридора и видел, как вы сидите за вашей прялкой.

Загнутые золотые ресницы Крошки дрожали. Она понимала его, ей

нравилось, что он сравнивает ее с Гретхен, но что-то отталкивало ее от него.

Она угадывала педантичное, требовательное и скуповатое в его натуре. А ей хотелось беззаботности, веселья, широты... Он был весь в рамках: суховатый, сдержанный, застенчивый, медленно, с трудом произносящий фразы.

Однако музыка их сближала, заставляла Асю забыть обо всем том, что инстинктивно было ей чуждо и неприятно в нем.

Музыка всегда была для Аси чем-то огромным.

— Музыка что-то знает, она многое объясняет, она идет дальше стихов, – говорила Ася, и ее короткие, еще детские брови сходились на снежно-белом лбу, прикрытом светлой челкой.

Ей нравилось петь под чуткий аккомпанемент Александра Львовича, а он восхищался ее небольшим, звонким голосом, улавливая в нем недетскую страстность и глубину.

Но иногда он играл сам, и тогда музыка своими невидимыми руками охватывала сердце Аси и то бросала его в бездну, то поднимала не небеса.

Лицо Александра Львовича преображалось, черным огнем наливались глаза: все неосознанные, смутные желания, словно сорвавшиеся с цепи демоны, начинали свою бешеную пляску по клавишам, по которым бегали нервные длинные пальцы Блока... Но за этими дерзкими, бурными звуками шли чистые, высокие как молитва... И Асе казалось, что она поднимается на невидимых крыльях и летит, как летаешь во сне, летит над весенними полями, над темно-зелеными и мохнатыми елями, не касаясь ветвей, под самыми облаками, и слышит шелест крыл невидимой рати ангелов...

Так импровизировал Блок.

И Ася понимала: музыка была его настоящим языком. Музыкой он выговаривал все темное и светлое, что было в его душе, вмещавшей в себе и демоническое и высокое. Клавишами пользовался он искуснее, чем словами, недаром в разговоре заикался и терялся, недаром, кончив играть, смущался. Красные пятна загорались на его щеках. Иногда казалось даже, что он сердится на тех, кто слушал и подслушал его сокровенное.

И когда он неловко отходил от рояля, понимая, что выдал себя, и спеша скорее надеть свой обычный мундир суховатой корректности, Ася чувствовала, что власть его прошла. Мгновенно наступало отрезвление. Нити, их связывающие, вдруг рвались.

Ранней весной, когда от подтаявшего грязноватого снега еще веет зимним холодком, но в дерзком ветре тревога и запах весны, Александр Львович, заикаясь, не глядя Асе в глаза, попросил ее стать его женой.

— Что вы! Никогда! – воскликнула Ася, не задумываясь, как всегда

поддаваясь первому импульсу.

Блок поклонился. Блок вышел. Бесшумно закрылась за ним дверь. Он перестал бывать у Бекетовых.

Ася не сразу сказала матери. Нет, она не жалела о необдуманном отказе, но все же как-то смутно было на душе и почему-то щемило сердце.

А когда сказала и Елизавета Григорьевна ее упрекнула за кокетство, за легкомыслие, за то, что есть люди, которыми не бросаются, Ася разрыдалась и сквозь слезы закричала гневно:

– Замуж не хочу! И, вообще, никогда не выйду!..

А весна каждый день отвоевывала позиции. Крыши украсила ледяная бахрома, по водосточным трубам сбегала, журча, вода, щебетали воробушки, стучали подковы рысаков...

Был март 1877 г. Наступило Асино рождение: ей исполнилось 17 лет. Были цветы, были гости, и Александр Львович Блок прислал Асе 17 романсов.

– Не забыл!

Подарок взволновал Асю. Усевшись за рояль, одним пальцем разбирая присланные романсы, она вдруг затосковала о нем, об его музыке. Может быть, мама и была права? Может быть?..

В деревне, куда они уехали вскоре, цвели яблони, доводившие Асю до экстаза. Ночами щелкали соловьи, пахло влажной землей, травами, цветами... Светила луна... Были темные, длинные ночи, крупные звезды... Небо в белых облаках.

Ася не спала, смотрела в открытое окно вглубь сада. Слезы текли по щекам. И вставало перед глазами лицо Блока, его тонкий, демонический профиль, и в ушах звенели его импровизации. Потом вспоминалось другое, что-то беспомощное, чуть жалкое, что было в нем: короткий сконфуженный смешок, легкое заиканье. Красные пятна смущения на щеках. Странно, но воспоминания о его слабостях делали его не страшным, а трогательным, и становилось его жаль. Она знала – ему больно, она знала – он страдает из-за нее, из-за ее кокетства, жестокости...

Чтобы отогнать раскаяние и тоску, Ася громко молилась и просила у Иоанна Крестителя, к которому обращалась с раннего детства, чтобы он помог ей загладить нанесенную обиду, помог сделать другого счастливым...

И молитва была услышана. Клятва, данная самой себе в летние ночи, была сдержана. Судьба их опять столкнула.

Глубокий снег лежал на земле. Александр Львович Блок вошел в ректорский дом. Он нес на подпись Андрею Николаевичу Бекетову

университетские бумаги. Он шел очень медленно. Лицо его было очень печально. Воспоминания были сильнее его. Бело-розовое личико Аси, ее золотые локоны, ее жестокость! Он даже не поднял глаз на то окно, за которым прежде мелькала милая девичья головка. Но Ася случайно стояла у окна, и Ася его увидела.

Решение было принято моментально. Сердце билось. Сейчас никто не мог бы остановить ее. Бегом сбежала она по внутренней лестнице навстречу Блоку, который шел в кабинет отца.

Когда он столкнулся с ней у дверей Андрея Николаевича, он растерялся.

Как долго он ее не видел! По-прежнему светлые локоны спадали на ее плечи, и по-прежнему золотились завитки на лбу, подхваченные атласной лентой. Он стоял и молчал.

– Александр Львович, пойдете, – сказала Ася тихо и, взяв его за руку, ввела в белую залу, где стоял рояль и топился камин. Зала была пуста. Они были одни. Синий яркий свет лился навстречу Блоку из расширенных глаз девушки. И в этих глазах он без слов прочел, что душа, трепетавшая в этом синем огне, предалась ему вся без остатка.

Как в забытьи, слушала его Ася и не слышала его слов: до головокружения страшно было глядеть в темные глаза Блока... Какая-то сила толкала ее к нему, пьянила неведомой еще тревогой: может быть, этот страх и восторг и смертная тоска и есть любовь?

В 1878 г. в домово́й университетской церкви они повенчались. Венчание прошло торжественно. Но Ася не видела ни множества седовласых старцев в орденах и лентах, ни декольтированных пышных дам... Она была как в забытьи, и все лица, все окружающее скрывались за дымкой тумана. По одну сторону все, по другую она и Блок. Рука ее, держащая свечу, дрожала, и опять украдкой, уголком глаза, глядела она на лицо жениха. Он был бледен, темная бровь чуть дергалась от нетерпения, а может быть, от того же волнения, что владело и ею. Жизнь показалась ей вдруг загадочной, Блок – чужим, и стало страшно, что надо расстаться с матерью, с сестрами, с домом...

Но минуты бежали. Вот их уже поздравили, вот выпито шампанское, и гусеницей расплзшийся поезд ждет их, чтоб увезти в Варшаву.

В Варшаве Александра Львовича ожидала кафедра государственного права, Крошку – новая жизнь, от которой летом так отговаривал ее брат Блока, – Иван Львович.

В Варшаве она поняла, что Иван Львович имел основания предупредить ее.

Блок не только энергично принялся читать свои лекции в университете, он взялся также за перевоспитание восемнадцатилетней своей жены. Он находил характер Аси невыносимым: она была слишком своевольна, капризна, несдержанна. Он готов был сломить ее, но

переделать.

Ежедневно вспыхивали ссоры. Он не желал мириться с ребяческой изменчивостью ее настроений, с безалаберностью и рассеянностью.

Когда она с пальцами, испачканными чернилами, переписывала его диссертацию и делала ошибку, он бранил ее. Руки ее дрожали, припухший детский рот жалобно кривился, ему хотелось раздавить ее в своих объятиях, целовать ее ноги, и чем сильнее было это желание, тем яростнее был его гнев, под власть которого он сам попадал.

Он говорил, что небрежность переписки, – доказательство равнодушия Аси к его труду, к нему самому. Он находил в этих ошибках подтверждение его подозрений: равнодушие Аси к труду, стремление кокетничать, покорять, играть любовью...

Постепенно он начинал верить своим словам, беспредметная ревность принимала реальные очертания, и он неистовствовал: Ася его не любит! Ася готова ему изменить с первым встречным!

Едва услышав его крик, испуганная кухарка, накинув на голову платок, убежала из дому. Ася слышала, как хлопала кухонная дверь. Ее охватывал ужас. Она готова была тоже убежать из дому, забиться в угол, не видеть, не слышать. Она закрывала лицо руками, затыкала уши, она рыдала, но рыдания не усмиряли его гнев.

– Я не верю, что это ты, мой муж! – крикнула она сквозь слезы однажды. – Я не узнаю тебя!

Он потерял голову. Лицо его перекосила судорога. И тогда в первый раз он ее ударил.

Ася лишилась сознания. После этого она родила мертвого ребенка. Горе ее было неопишимо. Она оплакивала это недоношенное существо как живого человека. Ей казалось, что ребенок изменил бы Александра Львовича, успокоил бы его дикие порывы, ревность ко всем и всему, что она любила или могла любить больше, чем его.

Любовь помогала ей прощать все, хотя ей, избалованной Крошке – «Буй-перебую», как звала ее в детстве нянька за своеволие, – было с Блоком тяжело.

С наслаждением садиста, несмотря на ее протесты, он с беспощадным упорством стремился рассеять воздушные замки, выстроенные ею, и он не щадил ее иллюзий, он наглядно доказывал всю тщетность грез, он – сам, в сущности, мечтатель. С радостью низводил он ее до нуля, чтобы потом поднять невероятно высоко. Он оскорблял и боготворил ее.

Вся жизнь их состояла из контрастов: темные дни сменялись светлыми, вражда – нежностью, страсть – отчуждением. Бывали недели, даже месяцы – счастья, правда, счастье это было хождением по лезвию ножа.

В дни покоя, вернувшись с лекции, Александр Львович часами читал Асе вслух Достоевского, слушал ее любимые стихи или импровизировал. И играя, опьянял ее, сметая будни, горе, заставляя забывать унижение и боль своей демонической музыкой, порывами своей страсти...

И когда, пьянея от звуков, бешеных ритмов и диссонансов, он брал ее, она могла простить ему не только оскорбление, побои, скупость, но даже и преступление. Музыка и любовь сливались тогда в одно, давали могучее ощущение самозабвения...

В одну из таких мартовских темных ночей, когда музыка, весенний ветер и страсть слились в колдовской напиток, был зачат их второй ребенок.

Ася ждала появления на свет сына нетерпеливо, тревожно. Она знала – будет сын, она хотела сына. Каждое утро, просыпаясь на заре, она обращалась к нему, живущему в ней, рассказывала ему свои фантастические сны-мечты. Дни проводила в чтении стихов, в созерцании картин. «Он» должен был родиться прекрасным – как Иоанн Креститель. Он должен быть ангельски-светлым рыцарем Прекрасной Дамы, рыцарем, которого ей не суждено было встретить самой, но которому она сама даст жизнь.

Александр Львович, поддавшись мистической тишине и созерцательному настроению жены, стал мягче, спокойнее. Целыми вечерами он ей играл, а она слушала, застыв в кресле, уронив худые руки на располневшее, неловкое тело.

Звуки лились, ширились, наполняли ее существо. Она не чувствовала сырого холода их плохо отопленной квартиры, не видела голых стен комнаты, она растворялась в звуках. Ей казалось, что «он» тоже слушает. «Он» переставал шевелиться, «он» замирал под сердцем, замороженный потоком звуков...

Музыка раскрывала им свои объятия и, сладостная как любовь, сливалась с ритмом ровно и дружно бьющихся сердец: матери и сына.

«Он» родился в Петербурге, в ректорском доме, в воскресенье 16 ноября ранним утром. Его назвали Сашей, и никто не знал, кроме Аси, что «он» будет поэтом.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1941. № 33. С. 6, 8, 10-11, 14.

ПУШКИН И СОБАНЬСКАЯ (В сокращении)

Кишинев он уезжал удрученный. Внезапно стало жаль расставаться с генералом Инзовым, столько раз сажавшим его под арест, оставлявшим без сапог за то, что бил он молдавских бояр и за всевозможные другие шалости и проступки. Этот Инзов сам же приходил его навещать и отечески беседовал с ним о гишпанской революции, о мистике Якова Беме и Сведенборга. Жаль было даже маленькой комнаты, где жил, где легко дышалось, где хорошо писались стихи, и где весь потолок был в пятнах от хлебного мякиша, которым любил он стрелять. Сознавал, что так, как было, больше уже никогда не будет.

Ему было только 24 года, но он вполне заслужил свое прозвище «Беса-Арабского», дрался на пистолетах, кутил, написал кучу «прелестей» и, несмотря на все это, томился от скуки и безденежья.

Теперь, порвав со всем и отправляясь в неизвестность, печалился.

В Одессе ждал его новый начальник – граф Воронцов. Друзья предупреждали, что ему вряд ли будет так легко с ним ладить как со старым «Инзушкой». Но преддверие Европы его манило. Горячее сердце жаждало нового. И потом хотелось стряхнуть с себя груз содеянного, жить более чистой достойной жизнью. Он сознавал, как мало было им сделано, как много потрачено времени и сил на пустые интрижки, попойки, карты. Воспоминание об оставленном в Кишиневе карточном долге угнетало.

Он не думал о счастье, нет: давно решил, что счастье не для него, – но страстно мечтал о подлинной любви.

Образ Каролины Собаньской, с которой он познакомился еще в 1821 г. (почти 2 года назад) в свое первое посещение Одессы, неотступно преследовал его. Ее темные очи смотрели так равнодушно, как смотрит сама красота, и нежный, изящного рисунка рот улыбался чуть насмешливо. Все в ней – от надменно посаженной головы до пленительного, богатого оттенками голоса, обличало натуру необычайную и страстную.

Романтичной и страстной была ее судьба. Он чувствовал в ней роковое, и это воспламеняло его воображение. По рождению графиня Ржевусская, не побоявшаяся бросить мужа и дочь ради любви, открыто живущая с начальником военных поселений графом Витт и даже в своем двусмысленном положении наложницы высоко, как королева, державшая свою гордую голову, – она была несравненна. Рядом с нею все женщины, которыми увлекался он прежде, меркли и казались ничтожными. Во всем облике ее, в высоком стройном стане, во взгляде, глубоком и пламенном, было что-то непередаваемо-властное, влекущее.

Каролина Собаньская... Чего бы ни сделал он, чтоб завладеть ее воображением! Он мечтал прославиться ради нее, умереть за нее. Всем существом стремился он к ней. Нетерпеливо ждал встречи. При одной мысли о ней сердце билось учащенно. Он готовился к борьбе, но мечтал о

победе, – недаром с юности изучил он «науку страсти нежной», где важен каждый нюанс, губителен малейший промах и необходимы самообладание и холодность.

2

В Одессе он поселился сначала в «Отель дю Норд», но вскоре переехал к «Рено». По утрам, еще не одевшись, писал «Онегина», и, когда строфа удавалась, прыгал, восклицая:

– Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!

Обедал у Отона, вечером отправлялся в театр.

Граф Воронцов принял его благосклонно. Пушкин оказался в штате и без определенных занятий.

На первых порах он предался с воодушевлением светской жизни. Любовь владела воображением его, сулила встречи и то повергала в уныние, то наполняла энтузиазмом.

В Одессе оказалось много хорошеньких женщин, и, хотя мечты его принадлежали Собаньской, он все же восхищался другими, менее суровыми красавицами.

Нынче, после очередного кутежа, он проснулся поздно. Голова трещала. Он огляделся вокруг мутным взглядом. Комната показалась ему особенно неприглядной. На стуле висели подтяжки, на другом валялся костюм, на столе стояла пепельница с неубранными со вчерашнего дня окурками... Он поморщился, зевнул, потянулся и спустил ноги на пол. Туфли пропали... С трудом он нашел их.

– Умываться! – крикнул он нетерпеливо.

Растрепанный коридорный с испуганными глазами принес кувшин. Вода была холодна. Он плеснул ею в лицо, поежился и не стал мыться.

В окно глядел мутный, ветреный день. «Песочница», как он прозвал летом Одессу, посыпала желтой пылью улицы и дома.

Он вспомнил, что сегодня в пять он условился поехать с Собаньской к морю...

Каролина! Какую власть имела она над ним! Насмешливость ее лишала его смелости, и в ее присутствии он терялся, не находил нужных слов...

Теперь он бывал не только на ее вечерних и дневных приемах, куда съезжались все видные мужчины города, но и тогда, когда она не принимала никого, когда бывала одна. Впрочем, это ничего не меняло.

Он подошел к зеркалу и стал внимательно себя разглядывать. На него смотрело большое пожелтевшее лиц с толстыми губами, с мутными глазами, растрепанными завитками светлых волос...

«Арап!», – подумал он, выпятив нижнюю губу, и тут же приказал собиравшемуся незаметно ускользнуть коридорному:

– Бритву!.. И чисти скорее штаны!

«Почему вчера, – спрашивал он себя, намыливая щеки и осторожно проводя по ним бритвой, – ты опять вел себя с Собаньской, как мальчишка, как последний дурак?.. Бледнел, молчал... Разве так надо вести себя с женщиной?..».

Он вспомнил, как Собаньская играла на рояле... Лишь полька может играть так изысканно, так изящно. Только в игре она открывала свою душу, мятежную, полную порывов и противоречий. И как хороши были глаза ее, когда она, кончив играть, подняла их на него, опустив усталые нежные руки на темный бархат, обтягивавший ее колени. Эти руки, такие беспомощные, такие прекрасные... Как хотел он тогда прикоснуться к ним!

Его бросило в жар. Глупец, почему в тот же самый день позднее он дерзко касался рук красавицы Ризнич и за вистом говорил двусмысленный вздор, так действующий на воображение женщин? Да, он знал, что каждая дерзость, каждое прикосновение приближают час обладания Амалией Ризнич. Но Собаньская... Нет! Боязнь и восхищение, которые испытываешь только в присутствии существа высшего, способного сделать тебя несчастным, благодаря той власти, которую оно имеет над тобой, парализовали сообразительность, смелость, ум...

«С нею я глуп и нем, – подумал он с досадой, бросая бритву и принимаясь расчесывать взъерошенные кудри. – Но я должен, должен завоевать ее во что бы то ни стало!..».

Он припомнил, как она сказала, показывая ему коллекцию редких автографов, где были автографы Шатобриана, Лафатера, Мадам де Сталь, Пита и Веллингтона:

– Когда-нибудь я буду гордиться и вашим автографом.

– Но для этого мне надо стать рядом с Шатобрианом.

– Вы его перерастете – я убеждена в этом.

Он помнил: ее голос звучал искренно.

– Что, арап, – будешь выше Шатобриана? – спросил он свое отражение и весело рассмеялся, увидев растерянное выражение лица коридорного, подававшего ему костюм.

– Будешь! – добавил он и стал одеваться.

3

Собаньская действительно его отличала.

«У меня часто бывает Пушкин, лучший современный русский поэт, – писала она сестре, Еве Ганской, тянувшей долгий роман с Бальзаком, и перед которой она не прочь была похвастаться победой над поэтом. – Я убеждена, что это – Российский Шатобриан и даже рангом выше».

Однако Пушкин ей в любви не изъяснялся. Был он обидчив, строптив и страстен. Его непокорность ей нравилась, восхищал его ум, но так

напряженна была ее личная жизнь и так горяча любовь, что ей было не до поэта.

4

Иван Осипович Витт заставлял страдать... Но, может быть, именно за ту боль, что он причинял ей, она и полюбила его так страстно.

Только при виде его сердце ее захлестывала огромная радость; только его шаги узнавала она издалека; только его, несмотря на близорукость, видела в толпе; только близость его давала ей силу жить. <...>

Она знала мнение о нем, слышала, как называли его «каналъей», «интриганом», «предателем». Может быть, это было и так. Но разве это имело отношение к ее любви – к их любви?

Предающий других – не мог ли он предать и ее?.. Нет, в ней жила глубокая уверенность, что, чем бы он ни был, – с нею он другой и не может не быть другим. Она знала, что он эгоистичен и требователен. Он не ценил жертвы, которую она принесла ему, пожертвовав своим положением в свете, бросив вызов всем, рискнув своим добрым именем. Он не баловал ее комплиментами, он принимал ее любовь как должное.

И все же она чувствовала, что была ему необходима; попав в орбиту его существования, она стала одним из винтиков сложного механизма его бытия, помощницей и хранительницей тайн, подругой, вызывающей у окружающих зависть и восхищение.

Витт совершенно открыто проводил в ее роскошном доме дни и ночи, почти не бывая в своей квартире. Каждый день по утрам она писала под его диктовку донесения. Он не обладал ни ясностью ее ума, ни ее блестящим образованием, ни способностью излагать мысли кратко и грамотно...<...>

Он молча ласкал ее, и его горячее лицо, прижавшееся к ее щеке, опаляло.

Вдруг он оттолкнул ее и сказал деловым, будничным тоном, оскорбительным в этот момент, заставившим опять усомниться в его чувстве:

– Я забыл сказать, что следует последить за Пушкиным...

Он прищурился, посмотрел на нее и прибавил:

– Похоже, что он влюблен в вас... Вы сумеете сделать это незаметно и расскажете мне все, что вам удастся узнать.

– Следить за Пушкиным?.. Не лучше ли беречь его? – спросила она с грустной иронией. – Мне было бы неприятно это делать.

– Но разве мы следим за ним не ради того, чтобы сберечь его талант на пользу родины?.. Этот сумасшедший повеса требует узды – иначе натворит кучу глупостей. Я думаю, он совершенно безобиден; но он беспечен, неосторожен и слишком смел на язык.

Еще раз посмотрев на нее и встретившись с ее суровым темным

взглядом, он прибавил:

– Вам хочется покровительствовать поэзии, вам хочется вдохновлять – я понимаю вас. Но поверьте, одно другому не мешает, наоборот, идет рука об руку с нашими планами.

– И все же мне это претит!

– Предрассудки! Разве не доказали вы однажды, что ни во что не ставите мнения света?.. И что такое свет? Как будто и без света не светло нам...

Он опять приблизился к ней и обнял ее.

– Может быть... Я попробую, – ответила она, отстраняясь.

5

Опять нерадостно складывалась жизнь Пушкина: не хватало денег, скучал, хотя карты, соперничество и выезды наполняли дни.

Роман с Ризнич, шедший параллельно с его безнадежной, безмолвной любовью к Собаньской, хотя и давал полноту чувственных ощущений, но был отравлен ревностью: прекрасная негоциантка была кокетлива и вряд ли верна.

Он увлекался покупкой книг, много писал. Третья глава «Онегина» была уже написана. Он писал его с упоением.

Утешало море... Часто уезжал он один за город, бродил при лунном свете по морскому побережью, читал вслух стихи. Они наполняли все его существо высоким певучим вдохновением. В такие минуты он был убежден, что жизнь прекрасна.

Занимали и люди – забавны были Липранди, Туманский, Вигель, но всех больше нравился ему Раевский: холодный, циничный ум его так часто охлаждал мальчишеские порывы и поэтические фантазии Пушкина.

Он сам не отдавал себе отчета, почему так импонировал ему цинизм Александра Раевского. Но с ним бывало интересно. Была порочная радость выслушивать речи, полные отрицания, безверия и пресыщенности.

Вместе они насмехались над мужьями, за женами которых волочились, болтали о женщинах почти нецензурно, спорили и читали. Иногда, потушив свечи, чтобы легче было говорить о сокровенном, они проводили долгие ночные часы в беседах на всевозможные темы.

Однажды в темноте Пушкин прочел ему только что написанный «Бахчисарайский фонтан». Раевский слушал внимательно. Он понимал стихи, он любил поэзию.

– Бесподобно! – воскликнул он восторженно, когда Пушкин кончил читать. – Но, знаете, – добавил он, подумав, – не достает плана.

– Ей Богу, не моя вина! Я благоговейно перекладывал в стихи рассказ одной молодой женщины, которая удивительно поэтично рассказала мне о фонтане слез.

– Уж не Собаньская ли?

– Не все ли равно?.. Та, в которую я был долго и очень глупо влюблен.

– Были?

– Да, но роль Петрарки мне не по нутру.

– А как же метод Мефистофеля?.. Или вы забыли, что с женщиной труден только первый шаг, а потом она сама предупреждает ваши желания и идет им навстречу?

– Да, женщине, узнавшей страсть, все кажется бледным и скучным, но надо ее в ней разбудить.

– Тут, кажется, успел Витт, – цинично заметил Раевский. – А она хороша, действительно, так хороша, что достойна стихов и поэм.

– Неужто и вы у ее ног?

– Отчасти.

– Всегда соперники!

– В несчастьи...

Пушкин засмеялся.

– Пуншу! – крикнул он. – Выпьем за блистательную Каролину.

– За фонтан слез, – предложил Раевский, – за Ризнич и за Воронцову.

– А знаете, я почти влюблен в графиню. Стоит, хотя бы для того, чтоб сделать рогоносцем мужа.

– Вы думаете, он не рогат?

– Тогда пусть рога будут у него ветвистей.<...>

7

Был ноябрь. С моря дул свежий ветер, близились сумерки. Острым лезвием взошла луна, опаловая на бледном небе. Пушкин суеверно показал ей золотой, как показывал каждое новолуние.

Собаньская шла рядом, и от этого сумрак, их окружавший, наполнен был певучей прелестью. Она была выше его, но, чуть подняв голову, он видел ее несколько тяжелый, правильный профиль, темную волну волос, обрамлявших щеку с крохотной ямочкой, страстный рисунок резко очерченного рта...

Днем они читали «Адольфа» Бенжамена Констана и, читая, невольно, каждый про себя, сопоставляли судьбу Эленоры с судьбой Каролины. Конечно, героиня жизненного романа не меньше, чем героиня вымышленного, страдала от своего двусмысленного положения в свете, так не соответствовавшего ее натуре и рождению. Но Собаньская была далека от откровенности. Каждый хранил свои мысли в тайне.

Вот и сейчас она слегка насмеялась над ним, над его кишиневскими и одесскими романами, но, видимо, и она поддалась очарованию этого часа и неожиданно смолкла, оборвав, не без горечи, свои насмешки:

– Все на моем пути встречаются Дон-Жуаны: первый – мой муж, в пятьдесят лет женившийся на девчонке, потом Витт... вы, наконец...

– А что, если, – возразил Пушкин после долгой паузы, – все увлечения, измены – все одна любовь: любовь к любви?

– Значит тогда, вы не женщину любите, а только те ощущения, то забвение, вдохновение, которое она вам дает.

– Нет, нет, совсем не то, но я должен признаться, что *plus on moin, j'ai ètè amoureux de toutes les jolies femmes, que j'ai connues*¹.

Они свернули в тихую улицу, там был католический монастырь, часто посещаемый Собаньской.

– От любви к женщине обратимся к любви к Богу. Пора нам с вами думать о спасении души, Пушкин, – чуть шутливо сказала она и добавила, – Зайдемте. Сейчас – *l'heur du Benedictions*².

Пушкин снял шляпу и, склонив голову, последовал за Собаньской.

Служба уже началась. Францисканки в белых одеждах стояли на коленях. Собаньская, безмолвно указав Пушкину на скамью, последовала их примеру. Вынув молитвенник, она погрузилась в чтение. <...>

Пушкин смотрел на Каролину. Никогда не видел он на ее лице выражения такой покорной печали, никогда еще лицо ее не казалось ему прекраснее. Сейчас он мог бы писать стихи, хотя слов не было, а была лишь внутренняя музыка, – та же, что он уже слышал сегодня, идя рядом с Каролиной, только теперь она стала явственной. Сейчас он любил ее светлой, огромной любовью и через свое чувство к ней и тот восторг, что теснил грудь, – и весь мир. <...>

8

Было 31 декабря... Наступал новый, 1824 г.

Для Пушкина с ранней его юности канун Нового года был кануном надежд и раскаяния. Он подводил итоги прошедшим месяцам, содрогался и мучился угрызениями совести. Что делал он все это время?.. Трубил о своих успехах, хвастался своим молодечеством, вел себя как повеса, наслаждался, не любя, все это было достойно только старых обезьян... А ведь он мог любить, хотел любить.

Каролина!.. Как мучает она его! Как недостижимо она прекрасна!

Какие-то мрачные предчувствия терзали его.

Неохотно отправлялся он на «*Rèveillon*»³, устраиваемый графом Воронцовым. Не нравилась ему почему-то затея Елизаветы Ксаверьевны устроить у себя «маскерат» – маскарады ему порядком надоели.

Он приехал довольно поздно, в темном домино и маске. Войдя долго стоял у колонны, рассматривая пеструю толпу костюмированных. <...>

¹ Более или менее, я был влюблен во всех прекрасных женщин, которых знал.

² Час благословения.

³ Канун.

– Скучно, мочи нет! – произнес он вслух и зевнул, закрыв рот рукой в белой перчатке.

Кто-то подошел к нему сзади и положил руку на плечо. Он вздрогнул.

– С каких пор ты стал пугливым?.. – мелодично рассмеялась маска.

– Я боюсь женщин, подкрадывающихся тихо.

– Ты должен бояться только одну женщину...

– Тебя, маска?

Она опять мелодично рассмеялась.

– Нет, ту, в которую ты влюблен.

– Но я влюблен во всех хорошеньких женщин... Лучше скажи мне – кто ты? У тебя прелестный смех... Видно, я тебя не знаю, твоего смеха я не мог бы забыть.

– Спасибо! Ты меня не знаешь и не узнаешь.

– Ты хочешь меня завлечь?

– Нет, я хочу предупредить тебя.

– Откуда ты знаешь – кто я?

– Ты – Пушкин.

– Пойдем, выпьем шампанского, ты снимешь маску – и никакие предупреждения не будут нужны.

– Будут... Будь осторожен с красавицей-полячкой.

– Красавиц много...

– Но она одна. Не забывай, что счастливый обладатель ее и известный Дон-Жуан нашего времени славен еще и другим своим амплуа.

– Ты говоришь загадками, а я не люблю отгадывать.

– Смотри, как бы твои слова и эпиграммы не попали через нее и ее возлюбленного в Петербург. Неужто не надоели тебе ссылка и немилость?

Пушкин поморщился.

– Ты злословишь. Из уст женщины приятно слышать только милый вздор. Прощай и, если хочешь иметь на «маскерате» успех, придумай интригу интересней.

Ничего не ответив, незнакомка скрылась. <...>

9

Все же от слышанного на маскараде у Воронцовых остался осадок. Он напряженно вспоминал свои разговоры с Собаньской, проверял, сопоставлял... Нет, если Витт и тайный агент, – она тут не при чем. Однако ходить к ней избегал.

Встретились они в опере. Шел «Отелло» Россини, и, хотя он себя уверял, что страсть его к ней сильно уменьшилась, при виде Каролины он почувствовал подъем и волнение. <...>

– Вот, наконец, и Пушкин, – очаровательно улыбнулась она. – Давно я вас не видела. Впрочем, догадываюсь о причине столь долгого отсутствия:

вновь влюблены...

– Кто вам докладывал?

– Ваш друг Раевский.

– Мой злобный гений, – пошутил Пушкин, – он болтает. Но он не знает предмета моей любви.

– Неужели... Кто говорит, что это Ризнич, а кто про Воронцову. А вы – опасный повеса: вы ради меткого словца никого не пощадите. Того и гляди, что влюбитесь и станете болтать всякий вздор.

– Так вы не хотели бы, чтоб я был в вас влюблен? – наклонившись, прошептал Пушкин.

– А разве есть надежда?

– Коварная кокетка!

– Коварный Дон-Жуан! Рассказывали мне, как обещаетесь вы рисовать графиню в восьми позах Аретина. Не дошло бы только это до графа и до Яго.

– Кто же этот Яго?

– Ваш приятель.

– Опять Раевский?!

– Нет, право, Пушкин, советую вам быть поосторожней и не играть на нервах англomана и друга дома.

– И вы злословите сегодня?

– Я оберечь вас хочу.

Она взглянула на него темным, блестящим взглядом, и ему на мгновение показалось, что она ревнует, что в глазах ее светится нежность.

Голова его закружилась от счастья. Ему хотелось сказать ей что-нибудь безумное, решающее, что связало бы их, но в ложу вошел граф Витт.

Пушкин обменялся с ним несколькими светскими фразами и отошел.
<...>

11

В мае большинство полей в окрестностях Одессы было уничтожено саранчой, и Пушкин с несколькими другими чиновниками получил приказание отправиться в Херсонский, Елизаветградский и Александрийский уезды и написать доклад о бедствиях, причиненных саранчой, и средствах борьбы с нею.

– «Доклад о саранче»? Это было обидно. Это нельзя было стерпеть. «Граф начал мстить... Ну, что же, черт возьми, узнает он, как пишут поэты доклады о саранче!».

Но, подчиняясь приказанию, Пушкин в командировку поехал и, по возвращении, написал рапорт... Он был короток – всего несколько фраз:

Саранча летела, летела

И села.

Сидела, сидела, все съела

И – вновь улетела.

Не прошло и дня с возвращения Пушкина из командировки, как эти четыре строчки облетели Одессу. Над ними смеялись, смеялись над графом и опять сплетничали без остановки.

Подогретый общим сочувствием, кипя неостывшим гневом, Пушкин написал Воронцову дерзкое письмо и несколько эпиграмм на него. <...>

Катастрофа разразилась с неожиданной быстротой... Граф Воронцов вызвал Пушкина к себе и невозмутимо объявил ему предписание правительства о высылке его под надзор родителей в их имение Михайловское. <...>

Пушкин впал в отчаяние. Он знал, что верить нельзя никому. Друзей нет. Презрение и боль наполняли его душу.

Неожиданно вспомнил он о предупреждении Собаньской... Теперь он понимал: недаром назвала она Раевского – Яго. Повсюду было предательство. <...>

Как все важное в его жизни, изгнание кончилось совершенно неожиданно, и опять началась путаная новая жизнь, на которую Император благословил поэта милостивым обещанием быть его самоличным цензором и покровителем его таланта. <...>

В Москве на балу встретил он Наталию Гончарову. Ей было шестнадцать лет. В фигуре ее, в наклоне прелестной головки было трогательное очарование. Перед образом этой чистоты зрелая красота Каролины Собаньской впервые померкла и отступила вдаль. Голова у него опять закружилась.

В Гончаровой было спасение от горькой опустошающей любви. Она, только она, этот светлый ангел, очистит его и сделает счастливым. <...>

15

Был конец декабря 1829 г., и опять он был в Петербурге и – не женат. Не только Наталия Ивановна Гончарова, но и Натали встретили его по приезде из Арзрума больше чем холодно. Он был несчастлив, зол на весь свет и поклялся, уезжая в Петербург, что встреч с Собаньской искать не будет.

И все же они столкнулись...

Он шел по Невскому, разглядывал прохожих и скучал. Высокая дама в собольей шубке шла ему навстречу. Что-то в посадке ее головы, в том, как держала она пышную муфту, показалось удивительно знакомым. Походка ее была грациозна и легка.

– Собаньская!..

Дама вынула из муфты руку и, протягивая ее ему, воскликнула:

– Пушкин!.. Давно ли?

Только она одна умела произносить самые простые слова так, точно это было любовное признание.

– Недавно... А вы – все та же. Даже еще блистательней, пожалуй!

Рот ее чуть презрительно покривился.

– Что с вами? Где вы теперь служите?

– Я?.. Я числюсь по России. Но как же вы живете?

– Живу, – ответила она уклончиво. – Спешу в костел.

Он поднял голову и долго пристально, восторженно смотрел ей прямо в глаза. Нет, он не мог понять, какие мысли и чувства таились за этим высоким, чистым лбом.

– Все тот же образ кокетки богомольной! – сказал он с задумчивой грустью.

– Приходите, Пушкин, – прощаясь, пригласила она. – Я живу там же и по тем же дням одна.

– В четверг? Как будто послезавтра... Я буду в пять.

Он поклонился очень низко, очень почтительно, и они разошлись.

На руке остался еле уловимый запах тонких, горьковатых духов.

16

Был четверг, а Пушкин не шел. <...>

Она хотела видеть его поскорее. Его живые глаза, полные восторга, его пламенная речь... Ей было холодно, она была так одинока, так несчастна! Ей нужно было отогреться возле горячего сердца.

Пушкин... Давно уже она никого не ждала так напряженно и нетерпеливо. Опять любовь?.. Нет, отзвук ее. И поддаваться нельзя. Надо пресечь все сразу. Она была спутана по рукам и ногам. Разве она принадлежит себе?..

Выхода не было. Теперь, когда она следила за каждым поляком, начиная с Мицкевича, чей каждый шаг она знала, теперь, когда ее запутали до конца, – отступить, порвать было невозможно.

Встречаться с Пушкиным – значит доносить на него... Нет, она еще не так низко пала. Еще осталось что-то святое, неприкосновенное в ее душе.

Вошедший дворецкий прервал ее горькое раздумье:

– Александр Сергеевич Пушкин, – доложил он.

– Просите.

Она слышала легкие его шаги и ждала не шевелясь. Он прошел темный зал, гостиную и остановился в дверях диванной.

– Входите, – позвала она тихо.

– Ваше приказание исполнено, – сказал Пушкин, целуя ее руку, – прошу принять мои стихи.

Она посмотрела на него теплым, томным взором.

– Я прочту их сейчас же, – сказала она и прочла вслух, останавливаясь на каждой строфе, вдумчиво и тихо:

В АЛЬБОМ

Что в имени тебе моем?..
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его, тоскуя,
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.

– Неужели вы когда-то перечувствовали то, что написали, Пушкин?..

– Да... Знаете ли вы, сколько мучительных часов провел я в напрасной скуке, ожидая встречи с вами?.. Знаете ли, сколько раз хотел я упасть пред вами на колени и сказать вам, что счастье мое в том, чтобы поминутно видеть вас?.. Всегда, всегда сознать ваше совершенство и не сметь ничего сказать, немея от любви!..

– Пушкин, – сказала она совсем новым, изменившимся голосом, и тут только увидел он, как необычайно она бледна, как глубоко темные тени под ее глазами, горящими совсем лихорадочно. – А помните вы Одессу? Костел?..

– Помню ли? Мне кажется, до сих пор чувствую я холодное, влажное прикосновение ваших пальцев к моему лбу... А ведь с тех пор прошло уже девять лет.

– Девять лет... А счастье было так близко! Знаете ли вы, Пушкин, что тогда я была ваша, совсем ваша?.. Но вы были слишком заняты, вы не заметили.

– Но ведь я любил только вас!

– И все же...

– Но я люблю вас и теперь!

– Теперь поздно...

– Зачем вы мучаете меня?.. Я знаю – счастье не создано для меня, и

потому я не увидел его, когда оно было передо мною. Но тот день, когда я увидел вас, решил мою судьбу. И, чем больше я думаю, тем яснее вижу, что моя жизнь неотделима от вашей. Я рожден, чтобы вас любить и следовать за вами. Всякая иная забота с моей стороны – ошибка, безумие. Одно лишь ваше присутствие может меня воодушевить. Вас встречать, вас видеть, быть с вами – счастье!..

– Теперь поздно, – возразила она с жестокостью. – Но я должна вам все рассказать, должна. Это меня немного очистит... Знаете ли вы, какую роль я играю при Витте? Знаете ли, что я – не только его тайная жена, но верная помощница в политическом сыске? Знаете ли вы, что Витт организовал за вами сыск в Михайловском, летом 1826 г., и что я об этом знала?.. Можете ли вы после этого любить меня?.. Признаюсь, я не сразу поборолла отвращение, но все мои интересы связаны с Виттом, только он один остался у меня в жизни. Я не хочу оправдывать себя, но я хочу, чтобы вы не обвиняли меня несправедливо, хотя это несчастье со мной слишком часто случается. Тогда в Одессе девять лет назад была минута, когда в вас я видела спасение. В сущности, все мое горе в том, что все мои пути и к гибели, и к спасению идут через любовь. В Одессе был момент, когда я почувствовала враждебность к Витту, когда духовно я совершенно отвернулась от него и потянулась к вам. Мне казалось, что в ваших глазах горит понимание, я думала, что вы поможете мне вырваться из омута, меня засасывающего. Вы могли спасти меня, но вы не видели и не понимали, что делалось со мной. Вы были слишком молоды, слишком беспечны.

– Но Боже, Боже, – зачем столько жестокости! – опять перебил Пушкин. – Разве нельзя зачеркнуть прошлое? То, что вы мне сказали, то, во что я старался не верить в продолжение семи лет, – разве это повлияет на мою любовь к вам?.. За что вы мстите мне?..

– Нет, возврата к прошлому нет. Теперь поздно. Я приняла свое решение. Я – уже зрелая женщина, видит Бог, я пережила очень много. А вы, я знаю, вы еще полюбите и будете счастливы.

– Каролина, почему, почему теперь, как и тогда, я не в силах выразить то, что чувствую? Мне легче написать вам... вы лишаете меня бодрости, надежды!

– Не надо, Пушкин, – попросила она просто, – что прошло, то прошло.

Он смотрел на нее, ожидая. Она встала.

– Прощайте, друг мой. Будьте счастливы!

Медленно, тяжело передвигая ноги, он уходил от нее через гостиную в зал...

Когда шаги его замерли, она вернулась к камину.

– «Есть в мире сердце, где живу я», – сказала она вслух и смахнула

слезу.

17

Он ушел потрясенный. Морально разбитый. Как жестоко заставляла она страдать!.. Ему казалось, что сегодня он услышал сокровенную, глубокую мелодию ее души. Он нашел ее, нашел... Чтоб потерять навсегда.

Всю ночь он не спал. Бегал по комнате, терзаемый напрасными угрызениями совести. Представлял себе ее судьбу, ее думы, ее отчаяние, жалел ее... Почему, почему не хотела она кинуть все и поверить, что у нее есть один друг, одна душа, верная и понимающая?!..

Тьма теряла свою густоту – медленно светало. Вместе с зарей пришли к нему умиротворенность, тишина. Он почувствовал с удивлением, что страсть его перегорела, приняла другой оттенок.

Он все еще слышал в ушах своих музыку – теперь она начала складываться в строки.

Он подошел к столу и на обрывке бумаги огрызком карандаша написал:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Когда он кончил, наступило зимнее утро.

Сердце его колотилось, он был взволнован светлой высокой взволнованностью, что дарит вдохновение.

Вынув конверт и бумагу, он, поддаваясь порыву, переписал стихи, запечатал и крикнул коридорного.

– Собаньскую знаешь? – спросил он, когда тот вошел.

Коридорный кивнул.

– Доставь!

*Впервые опубликовано: Резникова Н. Пушкин и Собаньская:
Историческая повесть. Шанхай, 1941.*

Печатается по: Резникова Н. Пушкин и Собаньская:



**Константин Савельевич
САБУРОВ**
(1889 – 1946)

Журналист и беллетрист Константин Сабуров родился 4 января (по ст. ст.) 1889 г. (по другим данным – в 1886 г.) в селе Чергачаке Томской губернии в купеческой семье. Вырос на Алтае. Окончил гимназию в Бийске. Учился в Томском университете. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Начал печататься с 1918 г. В Харбине работал репортером, непродолжительное время был редактором журнала «Рубеж». Печатался в харбинских газетах «Гун-Бао», «Заря», «Рупор» и др. Сотрудничал с журналом «Вольная Сибирь» (Прага). Автор романа «Зеленый фронт» (Харбин, 1937), сборников рассказов «Фоб Дайрен» (Харбин, 1926), «Старый дом»

(Харбин, 1940).

Ист. и лит.:

Булгаков В. Словарь русских зарубежных писателей. Нью-Йорк, 1993. С. 126.

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 470-471.

Таскина Е. Константин Сабуров: К 50-летию со дня смерти писателя // На сопках Маньчжурии. 1996. № 37. С. 5.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 263-264.

ФОБ-ДАЙРЕН

Историческая встреча Оли Райт с мистером Элиас Хэн произошла во вторник в вестибюле отеля, особенно облюбованного наезжими иностранцами-представителями бесчисленных меркантил-компаний азиатского востока. Молодая женщина жила здесь два с лишком года, Элиас Хэн – только неделю.

Судьба, как думала Оля Райт, бумажка в пять иен, как вполне основательно полагал мистер Хэн, всунутая им в руку швейцара после предварительного, таинственного разговора, – помогли сближению молодых людей.

Неловкость швейцара в этот вечер была удивительна.

Чудесный норковый палантин был подан Оле Райт так неумело, что почти совсем сполз на пол, если бы не подоспевший вовремя мистер Хэн.

Встреча была мимолетна и, по-видимому, случайна, как сотни таких встреч, но на обратном пути от портнихи она вспомнилась Оле Райт снова. Она успела заметить, что молодой американец гибок и подвижен, прекрасно, даже изысканно одет, что у него красивые, серые ласкающие глаза и что, наконец, несмотря на подчеркнутую резкость линии лица, он, в общем, интересен.

Неизвестно, что думал о молодой женщине Элиас Хэн, но при следующей встрече на улице он раскланялся с ней на правах старого знакомого.

Пристанский Харбин не был никогда особенно томным и чопорным

в отношении знакомств и, может быть, поэтому три дня спустя Оля Райт и мистер Хэн шли в предвечерние часы по Новгородней, толкуя о всевозможных хороших вещах.

- Как вам нравится Харбин? Вы ведь здесь в первый раз? – спросила она безжалостно, с чисто женской непоследовательностью расставаясь с предыдущей темой разговора.

Элиас Хэн сильно пыхнул своей трубкой.

- Города как женщины, – сентенциозно сказал он. – Они сохраняют свое очарование до тех пор, пока их не узнаешь близко...

Оля Райт вздохнула.

- Вы, отчасти, правы. Кстати, вы прекрасно говорите по-русски. Можно подумать, что родились и выросли у нас.

- Я довольно долго жил в России, на донецких заводах. Мой отец занимал там должность инженера... Кроме того, я объездил чуть ли не все Поволжье и Сибирь, побывал в десятках городов и могу сказать, что хорошо знаю их быт.

- Да? Какое же впечатление произвели на вас наши русские города? – спросила она, провожая взглядом промчавшийся авто, из которого раскланялся с ней знакомый инженер.

Элиас Хэн оживился.

- Как вам сказать... Города ведь кажутся интересными, если в них недолго живешь... Много, например, очарования слезть тихим летним утром с поезда в маленьком, незнакомом городке, проехать на плохоньком извозчике в какой-нибудь Ливорно, или Гранд-отель и сразу же пойти бродить по улицам. Бродить так просто, без всякой цели... Рассеянный взор скользит по вывескам: булочная, петербургский портной, салон мод О-бон-марше мадам Полины, универсальный магазин Элегант...

- Вы наблюдательны...

- О, да... Потом пройти с «главной» улицы в гору, где в зеленом окружении берез тихо спит древнее, с каменной стеной кладбище... Здешние тишина и покой – мудрый конец земных странствий всех этих коллежских советников и кавалеров – просто незабываемы...

- Продолжайте, пожалуйста...

- Вид одинокой женской фигуры, склонившейся над чьей-нибудь могильной плитой, возрождает вновь воспоминания о собственных надеждах и будит терпкую тоску о невозвратимом прошлом...

Они повернули назад и шли к берегу Сунгари. Вечерело. Довольно ворчал, покончив с дневными шумами, пыльный, интернациональный город. Как же это похоже на Россию! Слова Элиаса Хэн пробуждали в молодой женщине смутные прежде воспоминания, дремотно покоившиеся в глубине души.

- Вы рассказываете так картинно, что я как будто переживаю все это снова. Милая Россия!.. Но говорите, говорите...

- Не надо заживаться здесь. Иначе, на завтра же узнаешь, что владелец универсального магазина купец Сидоров – большой кутила и скандалист, мадам Полина вдовеет после акцизного надзирателя четвертый год, а у отца протопопа дочка выходит на днях замуж.. Приходишь в свой номер вечером немного усталый, с хорошим аппетитом и велишь разбудить себя к утреннему поезду... Тот же архаический извозчик повезет меня завтра на крошечный вокзал. В последний раз оглядываешь пряничную колокольню собора, пожарную каланчу. Паровоз ревет отрывисто и задорно, буфера начинают звонко и бодро перестукиваться между собой. Прощай, город!..

- Мистер Хэн! Замолчите... Иначе, я заплачу! – чуть слышно сказала Оля, неподвижным взглядом смотря в серую засунгарийскую даль.

Круглится вдаль за степью мутный, проваливающийся в полосу тумана, медный солнечный диск. Кажущиеся отсюда игрушечными заречные домики кутались в темную кисею сумерек. Потянуло холодом.

- Пойдемте назад, – сказала вдруг она, зябко кутаясь в меха.

Ночь накидывала уже на переулки черное газовое покрывало. Огненно рождались и отмирали буквы световых реклам Китайской. Вдали багрово тлели пятна кино.

- Зайдемте посмотреть программу, – предложил Элиас Хэн.

Пока он расплачивался у кассы, Оля Райт еще раз проверила свои впечатления от нового знакомства. И результат был в пользу Элиаса Хэн.

Цвела своей чарующей улыбкой на фоне калифорнийской лакированной листвы Мэри Пикфорд, рождалось в белесой марле лондонских туманов, как монах на молитве, Уэстминистерское аббатство, неслышно громыхали, сталкиваясь в голубых водах голубые айсберги, вставало лениво больное арктическое солнце.

Текли по интервалам партера серебряные ручейки музыки, сотни людей сидели молча, схваченные гипнозом экрана, дышал, жил, впитывал в себя серость людских буден и отдавал яркое, лучезарное белый полотняный четырехугольник.

- Кино сближает, – сказал ей тихо Элиас Хэн, когда вспыхнувший свет отграничил сказку от яви зала. – Я сижу около вас полчаса, а будто знаком с вами тысячу лет...

- Вы любите сильные сравнения, – хотела сказать сухо, а вышло, почему-то, непривычно ласково, и неожиданно многообещающе был взгляд больших синих глаз Оли Райт.

А когда зал снова провалился во тьму, и впереди забежали светлые точки буквы, она почувствовала около своего локтя легкое пожатие его руки

Может быть, это была просто случайность...

Оля Райт была взволнована...

Можно, пожалуй, сказать, что настоящее имя – Степанида Ивановна – больше шло к ней. Американизацию она претерпела здесь, в Харбине, в веселых недрах претендующего на фешенебельность подвальчика.

Мило-картавое «оля-райт», рассеяно кинутое Степанидой Ивановной во время одного пьяного ужина на вопрос – как ее имя – вызвало взрыв неопишуемого восхищения случайного гостя – подержанного американского гражданина с туго набитым бумажником.

В результате были – пестрая гирлянда платьев от Антуанет, известность и прочно приклеившаяся имя-кличка.

Почтенный родитель Степаниды Ивановны, наградивший ее столь прозаическим именем, многомиллионный купец-саратовец, ушел тихо и покорно в потусторонний мир после октябрьской, семнадцатого года раздережки вслед за своей вечно испуганной, мадонноподобной женой.

Через учредилловский фронт, тыловые базы, поезда особого назначения, беженские дымные теплушки, Омский ресторан-шато, уютные спальные вагоны чешского командования пеннистая беженская волна выплеснула саратовскую поросль за чингизханов вал, в загадочную, малопонятную маньчжурскую явь, в раздираемый опереточно-военной междоусобицей Харбин, в затхлые, с кухонно-капустным запахом мебелирашки на Аптекарской.

Бесконечно долог и исполнен многих неприятностей был дальнейший трехлетний путь Степаниды Ивановны.

Американизированное, волею случая, имя дало ей прочно установившейся круг солидных друзей, научило безошибочно, с одного взгляда, определять толщину бумажника искателей ночных гротескных приключений.

Крупитчатая, но и не тяжеловесная, вздoblенная купеческим бытом красота Оли Райт была для них своеобразна, неповторяемая...

Между стаканом бледно-палевого сотерна и очередным куском индейки а-ля Чжаланьтунь – железнодорожный эстет, имя которого чуть не ежедневно повторялось в газетах, успел как то раз сравнить плечи Оли Райт с божественным их праксителевым воплощением, ее улыбку – с капризом Винчи – неразгаданной улыбкой Джоконды, чудесный малиновый цветок губ – дорого оплачиваемый секрет парфюмера с улицы Онорэ-де-Бальзак – с прошедшими в славе в веках губами Аспазии, о великом очаровании которых мог бы кое-что сказать рыжекудрый, упрямый, бешено-самолюбивый Перикл.

И это, пожалуй, было справедливо.

С таким преферансом вступила Оля Райт в двадцать пятую весну своей бурно плещущей жизни.

Сердце ее, горячее женское сердце, было надежно прикрыто панцирем в виде небольшого, в четыре цифры, текущего счета в Интернейшен-банке, а прозаический расход на житейские потребности красивой молодой женщины был с готовностью принят на себя не так давно господином Брук, имевшим дом на Китайской и еще ряд дополнительных предприятий.

Сегодняшний приход господина Брук в ее номер, часовой визит толстого, с тыквообразной головой человека, пахнувшего сигарой и плохо переваренным ужином – маленький досадный факт, нарушивший распорядок дня – вовсе не был причиной того, что Оля Райт была взволнована.

Это было даже не волнение, а род смутного беспокойства, нечто вроде того, какое испытывает человек, читавший перед обедом меню и внезапно обнаруживший, что ни одно из блюд его не удовлетворяет.

Господин Брук уже уехал, но синяя пленка сигарного дыма все еще колебалась в столбе веселых солнечных лучей, бьющих золотым водопадом из окон.

Сегодня солнце, много-много солнца. Оно, прямое, ласковое, напоило теплом каменные ребра домов. В приотворенное окно щерилась, шуршала, всплескивала бестолковая харбинская весна.

Но не захватывала как прежде кипучая жизнь улицы. Вновь и вновь почему-то возвращались мысли молодой женщины к Эллису Хэн.

Он совсем не походил, как она заметила, на тех американцев, с которыми ей приходилось встречаться.

Там – штамп Чикаго, Нью-Йорка, Мильвоки – прямо стесанный к шее затылок, резина-жвачка, узаконенный пробор на голове, роговые очки-колеса, башмаки с подошвами-монстр, трубка с въедливым кэмпстенном, установленный и раз и навсегда таксированный разврат-флирт, машинизированный сухой ум, отчетливый, как линотип.

Правда, трубка и башмаки, и отрывистость определений Элиаса Хэн были типичны, но чувствовалось в нем больше живости, даже нечто расово-родственное. Может быть, просто потому, что человек долго жил в России.

Сколько ему лет? Тридцать, не больше. Он говорил, что за океаном живет его папаша, экспортер. Элиас Хэн по делам фирмы. Вот и все. Но есть еще что-то недосказанное. И это слегка нервировало.

Тосковало молодое, женское тело по горячим, крепким мужским ласкам и хотело отдать само ласки некупленные, искренние.

Элиас Хэн, сам не зная, быть может, того, дотронулся своей рукой до

скрытых клавиш души Оли Райт.

Ресторан. Яркое освещенный, знакомый Оле до мелочей. Были – в углу кутящая компания моржеподобных железнодорожников, за сода-виски – шулера с открытыми, честными лицами, сутенеры с профилями героев из греческой мифологии. Старый, надоевший до тошноты и, вместе с тем, завлекательный, как водоворот, мир.

Господин Брук сообщил утром по телефону, что уезжает сегодня на неделю во Владивосток. Эта новость принесла Оле неожиданно большое облегчение.

Элиас Хэн выбрал отдаленный столик в углу.

– Я не хочу, чтобы нас слушали, мисс Райт. У меня есть сообщить вам нечто важное.

Она ощутила вдруг прилив странного волнения.

– Я мало знаю вас, – сказал он, когда их бокалы с шампанским тонко и согласно прозвенели в коротком прикосновении. – Но вы для меня как друг. Нет, больше друга! Я хочу вам довериться...

Оля кивнула в знак согласия. Ее губы резко покраснели на прозрачной ровности хрусталя.

– Мое настоящее имя Джим Грант, – сказал он. – Элиас Хэн – выдумка, миф. Простите, что я не мог сказать вам этого раньше, но иначе было нельзя...

– Объяснитесь... – только и могла сказать она, трепетно вскинув кверху брови и застыв в томительном ожидании.

– Я буду краток. В Дайрене есть экспортная контора нашей фирмы – Грант и компания. Управляющий конторой – ваш покорнейший слуга... В прошлом году в Дайрен приехала ко мне из Америки сестра. Случилось так, что вскоре она познакомилась с одним молодым человеком, и дело чуть не дошло до брака. Неожиданно выяснилось, что молодой человек имеет за собой нехорошую славу... Больше того, он был шулером-профессионалом. Знакомство, конечно, было прервано. Но не в том дело...

Он помолчал с минуту.

– Написанное незадолго перед этим ему сестрой письмо попало в недостойные руки, и меня стали шантажировать. Речь идет о такой крупной сумме, что я решил приехать сюда и попытаться лично переговорить с обладателем компрометирующего нашу семью документа. Срок, назначенный этим господином, истекает через неделю. Обладатель письма грозит, иначе напечатать его в газетах...

– Значит, письмо здесь?

– Да... Оно находится в руках хозяина этого отеля, – нагнувшись к ней, тихо сказал Грант.

Оля Райт была потрясена.

- Неизвестно, как оно попало к нему, - продолжал Грант, отпивая неторопливыми глотками шампанское, - но вы понимаете, что опубликование письма будет для нашей семьи большим ударом. Через месяц, не больше, должно состояться обручение сестры с мистером Невермор - сыном «лесного короля» Кентукки. Все пойдет прахом, если это проклятое письмо не будет в моих руках...

- Чем я могла бы помочь вам в этом деле? - робко спросила она, наблюдая за выражением его лица, сделавшимся теперь еще более серьезным, даже жестоким.

Он пытливо и упорно заглянул в ее лучистые глаза. Их ответный взгляд был так обещающе доверчив, что слова стали излишни.

- Я зайду к вам, если вы позволите, завтра, - сказал он, прощаясь...

В эту ночь долго не могла уснуть Оля Райт.

Да, это настоящий мужчина, смелый, решительный, благородный. Из тех, которые держат в своих руках штурвал жизни.

Джим Грант!.. Было что-то металлическое в самых звуках этих слова. Словно бодрый крик с высоты грянувшегося оземь железа...

- Джим Грант... Милый Джим! - шептала она, уже засыпая и прижимаясь пылающей щекой к прохладной мягкости подушек.

Утро было ясное. Солнечное. Пылали радостным пожаром кровли домов и луковки церквей. В этот день понятно и настойчиво заиграли весенние скрипки для Оли Райт первую мелодию любви. Мир облекся для нее в блистающие одежды.

Джим Грант не приходил - он исчез куда-то, словно дух. Но сначала Оля не беспокоилась.

Дни неслись один за другим - солнечные, рыжие кони. И с каждым днем нарастала тоска молодой женщины. Куда ушел Джим, сделавший теперь ее жизнь такой значительной, многообещающей?

Был вечер. Он пришел томный, бледный, как после лихорадки. Оля Райт в неопишемом волнении кинулась навстречу.

- Пока еще ничего нет, - ответил он на ее вопросительный взгляд. - Впрочем, оставим это пока... Вы сегодня такая солнечная, радостная, что способны заставить смеяться самого черного из мизантропов.

- Я рада, что вы, наконец, пришли, несносный человек...

- Да? Знаете, мне хочется сказать вам сейчас, - он взял ее за руку, - два слова, два хороших слова...

- Скажите...

- Фоб-Дайрен... Не понимаете? Это специальный экспортный термин: с погрузкой на пароход в Дайрене... Мое определение к моменту,

правда, довольно грубо, но я не мог придумать сейчас другого. Одним словом, хотите ли вы, мисс Райт, сесть со мной на пароход в Дайрен и уехать в Сиэтл?

- Мистер Грант!

Он придвинулся к ней, настойчивый, властный.

- Там я представляю вас моим родным как друга и ... жену... Вы позволите мне сделать это, дорогая?

- Вы это серьезно, Джим?

- Серьезно, Оля. Больше, чем серьезно! Мне хотелось сказать вам об этом уже давно...

Первый раз в жизни пришла к Оле большая, светлая радость. И у нее не было сил противиться ей.

Но, отдав свое первый искренний и единственный поцелуй, молодая женщина быстро освободилась из объятий Джима Гранта: она хотела быть честной до конца.

- Я не все сказала вам, Джим... Господин Брук...

- Знаю, дорогая... Господин Брук может отправиться ко всем чертям. Все позади. А теперь - да здравствует жизнь!

Он почти насильно увлек ее на балкон.

- Посмотрите, Оля, как хороша ночь! Отсюда, из каменного мешка небо и звезды кажутся такими далекими и потому желанными.

Долго сдерживаемое, не давшее покоя, непроизвольно вырвалось у него, когда они вернулись в комнаты:

- Я не могу больше ждать, дорогая... Письмо должно быть в моих руках сегодня же. Я испробовал все, что было можно, но нашел опасным доверяться кому-нибудь...

Оля Райт поняла быстрым чутьем любящей.

- Это опасно, Джим!

- Пустяки. Найти письмо будет не так трудно: оно где-нибудь в ящичке стола. Этот господин сейчас, я узнал, уехал на симфонию в Желсоб. Более благоприятно случая дожидаться невозможно. Ведь ваш балкон, кажется, общий?

- Да, вторая дверь ведет в его кабинет.

- Чудесно! - обрадовался он. - Дверь можно будет открыть простой отмычкой. На этот случай я уже запасся ими. Письмо я уничтожу сразу. Пусть негодяй лопается от злости! Он бессилён будет что-нибудь сделать.

- Но могут быть неприятности...

- Он не знает моего настоящего имени. Если он даже придет ко мне с обыском - я надаю ему пощечин... Мы уедем с вами прямо и открыто не позже как через два дня...

- Я боюсь все-таки Джим!

- Не делайте меня трусом, Оля!.. Я схожу в свой номер и сейчас же

вернусь...

Он привлек к себе молодую женщину и властно заглянул в ее синие, казавшиеся теперь темными, глаза.

- Фоб-Дайрен, дорогая?

- Фоб-Дайрен, Джим! - счастливо засмеялась она.

Следующие два часа были огромным испытанием для Оли Райт.

Джим Грант появился снова, переодетый в темный костюм. В руках у него небольшой баул.

- Потушите свет и ложитесь в постель... Здесь, - пояснил он, кивнув на баул, - у меня отмычки и фонарь...

Оля увидела затем, как смутная тень мелькнула в стеклах балконной двери и исчезла. Минуты шли. Ожидание делалось невыносимыми. Нарастала тягостная, как камень, тревога. Прошли, казалось, века, когда, наконец, с тихим скрипом отворилась дверь с балкона.

- Все в порядке, - весело сказал он, пробираясь в темноте среди мебели. - До утра, дорогая... До нашего радостного утра!

В сыскном, куда вызвали утром Олю Райт, письмоводитель, настоящее дитя фокстрота, в выутюженном насвежо костюме улыбнулся лучезарно и широко отворил перед ней дверь кабинета.

Знакомая фигура начальника, сидевшего под большим портретом президента республики, показалось ей огромной.

- Простите за беспокойство, божественная, - сказал он, поднимаясь и целуя ей руку, - но по долгу службы обязан был вас пригласить. Прошу!

Он широко жестом указал на кресло около стола.

- Дело вот в чем. Вас видели несколько раз вместе с одним господином, который сидит сейчас у нас. Этот молодчик ухитрился взломать несгораемый шкаф хозяина вашего отеля... Мы следили за этим типом все время, как он только появился в Харбине...

Он позвонил и потребовал чаю.

- Дайте мне, пожалуйста, воды! - прошептала Оля, чувствуя, что ее покидает последний остаток сил.

- Прошло? - спросил он с участием человека, привыкшему ко всему.

- Ну, ничего, не волнуйтесь! Конечно, неприятно узнать, что господин, с которым вы имели некоторое знакомство, оказался не совсем, так сказать, джентльменом... Но от случайностей никто не застрахован. Вы - выше подозрений... А ваш квартирохозяин может гордиться визитом шанхайской знаменитости, первого на востоке спеца по взлому банковских касс...

Начальник схватился за телефон.

- Это кто? Сидорчик? Приведите ко мне номер четыре!

Он повернулся к Оле Райт.

- Нечто вроде очной ставки... Но вы не беспокойтесь, я не буду вас задерживать. Маленькая формальность, пустяки...

Дверь отворилась, и в кабинет вошел в сопровождении двух агентов Джим Грант в измятом костюме без воротничка.

Он скользнул чужим, безразличным взглядом по лицу Оли Райт и остановился в свободной позе человека, которому некуда торопиться.

- Вы знаете этого господина? - спросил начальник молодую женщину, грудь которой теснил сейчас поток самых разнородных чувств.

- Это... Мистер Хэн... - сказала она, запинаясь.

- Мистер Хэн, - улыбнулся начальник, - такой же американец, как я туземец Огненной Земли... Этот молодчик ведь наш русак, да еще из вятских! Настоящее имя - Илья Курицын...

Все могла перенести закаменевшая в своем героическом порыве - простить ложь человеку, открывшему перед ней на миг завесу в храм счастья она, но только не это.

- Илья Курицын!..

Президент неожиданно усмехнулся со стены криво и злорадно, выхватились откуда-то и поплыли в голубые провалы окон голубые айсберги, переломился надвое черный массив Уэстминстерского аббатства, погребая под своими обломками склонившуюся в глубоком обмороке на руки подбежавшего агента Олю Райт.

Впервые опубликовано: Сабуров К. Фоб-Дайрен: Рассказы. Харбин, 1926.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т.

Пекин, 2005. Т. 4. С. 391-402.

ПОЛЫНЬ

Фишман изящно развернул свои три карты веером и небрежно бросил через стол ласковое и круглое:

- Девять!

Квадрат Борисович внезапно побледнел, правая нога забилась в мелкой, неравной дрожи, и он в изнеможении откинулся на спинку стула.

Кучка десяти- и пятииенок, прикрытая сверху роскошным сиреневым одеялом сотенной бумажки скрылась невозвратно под жирной рукой плотного человека, сверкнувшего в улыбке рядом ровных золотых зубов.

Все начали вставать.

- Ну вот... говорил тебе. Очень нужно было идти по всей!

- Господа! Прошу откусать чаю... - прозвенел из дверей голос

хозяйки.

Согласный грохот стульев засидевшихся картежников был радостным ответом на зов Софьи Львовны.

– По маленькой, господа! – суетился Фишман, скрашивал уныние обыгранных гостей теплым радушием хозяина.

– Случайно, спрошу вас нечаянно, почему пить чай отчаянно и, паче чаяния, впадать в отчаяние? – балагурил гибкий, стройный Гриневич, выпивая вторую и ловко поддевая на вилку круглый, скользкий грибок, млевший доселе в густых глубинах сметаны.

Хазов пришел в себя после оглушительного комбинированного удара банкомета из двойки, валета и семерки только в городском сквере против Гостиного двора.

Было ясным, как зигзаг электрического, грозового разряда, схваченный светочувствительной пластинкой, – проигранных пятисот иен не вернешь. Жирная пятерня Фишмана увлекла враз итоги двухлетней работы Хазова в Хайларе в роли агента пушной формы под звездным флагом, покончившей на днях свое существование. Автобус, который должен был перейти в собственность Квадрата Борисовича, голубой красавец линии Модягоу-Пристань, предмет зависти кудрявых харбинских шоферов, – отодвинулся теперь на такое же, казалось, расстояние, как вояж скандинавов в Америку задолго до старичка Колумба, или начертанный борозду в истории мира марш Александра к берегам великой индийской реки.

Черт бы побрал этого Гриневича! Даром, что анненский темляк имеет и всегда при встрече по животу похлопывает, а оказался жуликом. Ясно, что у них с Фишманом уговорчик был. А он, старый филин, попался, как полуторамесячный фокс под телегу развозчика сельтерской!..

Откуда-то пахнуло холодом – близилось утро. Хазов встал с отсыревшей скамейки и побрел бесцельно по Новгородней. Розовел, наливался мало-помалу теплом край неба за Фудзяняном. По улице засновали синие фигуры зеленщиков, сгибавшихся над коромыслами, на которых тяготели корзины с огненными помидорами.

Бесцельно, опять добрел до реки, отливавшей сталью и чуть курившейся бледным парком. Здесь Хазов огляделся, втянул ноздрями свежесть реки, фыркнул, развеселился, крикнув:

– Иваныч!

Знакомый лодочник выглянул из-под палатки и помахал рукой.

– Ну, ну, – сказал он одобрительно. – Пойдем, стало быть? Что так рано?

Отодвинулся привычно серый, в крупных булыжниках берег. Деловито защелкали весла в уключинах. Солнце раскалилось, метало искры и стрелы, силилось заплеснуть огонь на дно реки и рябчато расплывалось по морщившейся шкуре Сунгари.

Хазов почувствовал опять себя маленьким, жалким. Сунув лодочнику деньги, он выскочил на берег и сосредоточенно стал продираться сквозь тальниковые заросли.

За протокой было пустынно. Медом и полынью пахли поблекшие травы. Почти осязаемо чувствовалось – уходил к югу надменный Август, и на смену ему ковылял в тишине чистых утр мудрый и задумчивый Сентябрь. Хорошо человеку поразмыслить в сентябре в поле над своей прошедшей жизнью.

Квадрат Борисович понял это только здесь и только сейчас. Припав лицом к кустику сиреневых с желтым диких астр, он рыдал бурно, по-детски всхлипывал от нахлынувших нежданно воспоминаний, запаха трав, вечной красоты золотого утра и жалости к себе.

Вспомнилось то полузабытое, отодвинувшееся на полет двух десятков лет: золотое кружево церковной ограды в мягкой густоте осеннего вечера, тихое, задушевное, цепляющееся за сердце пение, что лилось из раскрытых окон, белое-белое платье, мелькнувшее среди церковных березок, припомнил он и горячее девичье:

– Вадик, ты мой замечательный!

Ах, когда это было? Где? В каком царстве-государстве? Из провалов прошлого выхватился кусок жизни – самоцвет, где центром мира был букет белых астр, рядом – Мэри и то незабываемое, что было после робкого сказанного ею «да», равноценного всем сокровищам из сказок Шахерезады.

Плавную, как рассказ странника, возвратившегося к родному порогу, жизнь отсекла сорвавшаяся с цепи война. Стекали книзу розовые щеки Мэри – Марьи Ильиничны – жены камер-юнкера Хазова, нависли потом железные складки – тяжелые годы были.

На земле взвихривались события. Девятьсот семнадцатый, как паровоз в железном беге, сокрушал склерозные социальные перегородки, тихий уют насиженных мест. Дальше было жутко, холодно, голодно. Вихри разметали всех, оставив крестик чахлый над Мэри на бережке Ануя, воспоминание о веселой Нине, дочке милой, потонувшей в гулких кварталах Шанхая, весточку короткую о любезном сыне, последнем из рода Хазовых сообщил недавно выбравшийся «оттуда» гвардии полковник Трик, что служит Петр в оренбургском совнархозе. Эх, жизнь! Прошла она, прокатилась. Не на что теперь надеяться. Впереди – ничего. Одна видимость, как любил говорить весельчак и душа офицерства кавалерийского полка ротмистр Бобров.

Да, прошла жизнь. Сгинули молодость и радость, облетели лепестки белых астр. Осталась одна горькая полынь воспоминаний.

Логически созрела и оформилась сейчас такая простая и хорошая мысль: пора уйти. Как уходили чистокровные дворяне Хазовы в несчастьи.

Большой букет нарванных тут же диких цветов тяготили левую руку Квадрата Борисовича, источал милый нежный запах Мэри, путал

представления и числа, развертывалась сама по себе пестрая дорожка былого. Хазов пристроился поудобнее под кустиком, закрыл глаза и отдался мыслям, поплыл по сверкающей реке воспоминаний.

Очнулся только от голоса, ласково-гнусявого, пропевшего над самым ухом «яблоко-груша-семянка!». Открыл глаза и сконфуженно проводил взглядом хлопотливого китайца, колыхавшегося под тяжестью своей походной лавочки. Оглядел небо и изумился – солнце склонялось к закату.

– Вот так заснул!

Хазов потянулся, хрястнул суставами и медленно, разминая ноги, пошел напрямиком к пляжу, откуда плыл дробно ропотный гул людских толп.

Толкалось по берегу пестрое месиво полуобнаженных тел. Прошел мимо плотный, черный как кузнец, Воинов, оперный артист. Все кругом изнывало в радости бытия, торопилось оторвать от плаща быстро уходящего лета яркий лоскуток жизни.

Художник-вечер истратил сегодня всю палитру, разбросав по небу комья красок. Была невозмутимо ясна речная ширь.

Хазов толкнулся было к яхт-клубовской будочке, раздумал и, заторопившись, сел на катер, тотчас же отваливший от пристани. С берега замахал рукой и крикнул что-то вдогонку, ослабившись, знакомый агент общества ежемесячной лотереи. Квадрат Борисович не слышал ничего из-за шума мотора и дружески помахал в ответ шляпой.

За кормой весело стлалась серебристо-муаровая водяная дорога. Тихо дымили вдали трубы фудзядянских фабрик. Отчетливые висели в синеве восемь железных стежков сунгарийского моста.

С берега спускались, толпились у подошедшего катера новые и новые толпы. Хазов тихо побрел по Китайской, застенчиво прижимая к груди букет цветов. Зашел по пути в пустынный сквер и долго сидел на лавочке, пока голоса проходящей парочки не возвратили его из завлекательных, пестрых ущелий мечты.

Вечер тяжело спускался на улицы. Кое-где уже вспыхивало электричество. Как раскрытые пионы пламенели губы проходящих женщин.

Дома у себя, на Пекарной, увидел Хазов знакомый, неприхотливый уют маленькой комнатки, холостую свою постель, портрет унтер-офицера, покойного мужа одной из хозяек дома на стене. Поставил букет заботливо в кувшин с водой и пошел на хозяйскую половину, отдаленную тоненькой перегородкой.

Хозяйки – обе вдовы, обе в меру толстые в одинаковых широких серых платьях, две мыши-хлопотуши – накрывали на стол.

– Чай пить с нами, – сказала младшая.

Квадрат Борисович привычно и неторопливо пил чай, говорил со старшей о ценах на продукты. Размешивая ложечкой сахар, он тихо

переживал внутри задуманное там, за рекой, методически распределял, отводил вещам их место во времени и пространстве.

С привычной вежливостью он пожелал хозяйкам спокойной ночи, прошел к себе в комнату и зажег свет. Достал из-под кровати чемодан, старый и обшарпанный тысячеверстными беженскими дорогами, раскрыл его и вынул снизу из угла флакончик.

Сквозь зеленое окно оттуда ощерилась смерть – синильная кислота. Долго возился с собой и берег на всякий случай Хазов зеленый флакончик. Вот он и пришел, этот случай.

Квадрат Борисович понюхал цветы, вспомнил самое главное и, строго посмотрев на унтер-офицера, достал бумагу и чернила. Пожевал губами, обмакнул перо и стал неторопливо писать.

Сверху крупно поставил «Завещание моему сыну». Пониже поплыли строчки мелкой вязи:

«Теперь, когда чаша гнева Господня исполнилась и наша родина обрела спокойствие и истинное правительство, приказываю тебе озаботиться восстановлением прав и памяти рода Хазовых. В вотчине нашей, Ключах, под фамильным склепом, который ты знаешь, есть подземное хранилище, куда в тысяча девятьсот семнадцатом году в день апостолов Петра и Павла схоронил я фамильные наши ценности, а именно: 14 писанных масляными красками портретов предков наших, жалованные грамотами Их Императорских Величеств роду нашему, и 18000 рублей кредитными билетами Государственного банка. Завещаю тебе как законному наследнику обратить все это себе на пользу и роду потомственных дворян Хазовых на укрепление».

Квадрат Борисович расписался с сильным росчерком, поставил дату, заклеил лист в большой, плотный конверт, на котором надписал:

«Вскрыть в 1930 году моему сыну Петру Хазову».

За стеной разговаривали громко, хлопоча с чем-то хозяйки. Квадрат Борисович заканчивал последнее: написал записочку на имя властей с просьбой не винить никого в своей смерти. Другую – с точным адресом сына. Закончив, пожевал по привычке губами, понюхал еще раз цветы и вылил содержимое флакончика в стакан. За стеной слышалось:

– Чего бы вы поели сегодня, Афимья Созонтовна?

– Рыбки бы... Люблю соленую рыбку. Соленая рыба – смерть моя!

Квадрат Борисович заторопился, побледнел внезапно – как бы не помешали – взял стакан и залпом выпил жидкость.

Потом лег на кровать и отвернулся к стене...

Вот восстали из темных голубых провалов купола невиданных золотых храмов и дворцов. Необъятные арки венчали их сияющие кровли. И скованы были арки из рубиновых колец, багряных и ярких, как кровь.

И вдруг распахнулись невидимые меж ними двери, и оттуда хлынул

поток ослепительного сияния. Он рванулся в экстазе навстречу прекрасному видению, еще успев уловить последним сознанием громко сказанные оттуда слова:

- Квадрат Борисович! Вставайте!..

Хорошо налаженный механизм в положенное время отчетливо заработал. Исполнители служебного долга, аккуратные, как мозеровские часы, неторопливо и методически составляли полицейский акт о смерти внеподданного Квадрата Хазова 50-ти лет.

Фельдшер кареты скорой помощи, нашедший свое пребывание здесь бесцельным, поднял тяжелый ящик с лекарствами и направился к выходу. В дверях он столкнулся с юрким маленьким человеком в синем костюме.

- Дома господин Хазов? - неуверенно спросил серый, осмыслив мгновенно некоторую несвойственность обстановки.

- Да... Только он того...

- А вы, что, родственник ему будете? - загорелся служебным любопытством один из людей с погонами.

- Нет... Я пришел поздравить его с выигрышем. Я, видите ли, агент... Сегодня мы получили сообщение, что на его билет выпало двенадцать тысяч.

*Опубликовано: Сабуров К. Фоб-Дайрен: Рассказы. Харбин, 1926.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин,
2005. Т. 4. С. 432-438.*

СУНДУК МАГАРАДЖИ

Их было четверо.

Второй вечер подряд при свете тусклой лампочки в затерянной на задворках Шанхая фанзе Чжан Ли-юна плелась пестрая нитка сложной игры на чудовищную по своей стоимости добычу.

Старый Чжан снова объяснил обстановку:

- На яхте людей немного. Хороший человек Ли довезет вас ночью сегодня. Все будет хорошо. Надо только смелого человека.

И помолчав, добавил:

- Такого, вот как мистер Крафт...

Широкоплечий Крафт усмехнулся, пустив сквозь левый густой ус стремительную струю сигаретного дыма.

Витольский оглянулся на сестру, молчаливо сидевшую в тени в широком покойном кресле. И беспокойно завозился на месте.

- Колоссальнейшее богатство! - заговорил он, постукивая в волнении костяшками пальцев по столу. - С вашей железной силой...

- Причем тут сила, пане капитане? - живо перебил Крафт.

- Ну... - замялся поляк. - Взломать этот самый сундук, допустим...

- Тут нужна не сила, а техника, дорогой мой. А потом, в сундуке, может быть, ничего и нет.

- Этого не может быть! - воскликнул Витольский. - Чжан узнал все...

- Чжан глупый человек... Он не видел, что есть в сундуке. И никто не видел. Но если в сундуке ничего нет, то зачем магараджа так его охраняет? - с достоинством сказал китаец. - Только вот что. Чжан не хочет обманывать: все, кто ни пробовал узнать это, никто не вернулся назад.

- Крафт! Подите сюда... - раздался из угла голос Адели. - Ну, идите же, несносный верзила!

Она увлекла его в глубины комнаты.

- Михаил! Простите, но вы дурак... Отказываться от такого случая, который определит нашу жизнь навсегда...

Она прижалась слегка к нему, быстро отстранилась и горячо заговорила:

- Вот ты, такой чертовски здоровый человек, бывший белый офицер, воевавший все время с большевиками до конца, до Дитерихса, скажите, - не надоело все это вам?

- Надоело, - спокойно согласился он, переминаясь и косясь на Витольского, тихо говорившего что-то на ухо китайцу. - Но ведь...

- Молчите, Крафт! - быстро перебила она. - Вот и я была такой, - продолжала она как будто в печальном раздумье, - но теперь я другая. С большевиками можно работать. Они ценят это... И потом, неужели вы ничего не чувствуете? Взгляните мне в глаза, Михаил!

Темные зеленые глаза Адели влекли к себе, притягивали.

- Вы, я знаю, не шкурник, честный человек. И я утверждаю, что вы будете нашим, войдете в партию, увлечетесь работой, - голос Адели внезапно зазвенел, - которая приведет нас в золотой век, о котором мы раньше только мечтали...

- Партия? - хмуро сказал он. - Каждая из партий желает народу добра, но не делает ему добра...

- Вы только любите спорить!

- Пани Адель!

- Ну, что! Ну, пани Адель! - почти выкрикнула она, дернув его за руку. - А где ваше слово офицера? Что вы мне говорили вчера? А теперь начинаете вилять? Вы - мужчина!

Она походила сейчас на пылающую гневом Диану, устремившуюся за коварным и опасным зверем.

Крафт примиряюще сжал ей руку.

- Не сердитесь... Вы знаете мои чувства к вам, Адель. Хорошо, я поеду!

- Деньги пойдут на общее большое дело... Вы это знаете, Михаил. Мы

возьмем себе только необходимое, – резко сказала она и вдруг, прижавшись к нему, прошептала, – Милый! Я дам тебе ночь, которой ты никогда не забудешь!

В смутном небе тяжело переваливались грузные, точно налитые свинцом, облака. Просачивающийся меж ними бледный свет луны делал небо похожим на шкуру леопарда. Густела с каждой минутой ночь. Отсветы огней набережной ложились на воде дрожащими масляными пятнами. Дальше были – темь и пустота.

Старый пират Вузунга, Ли греб уверенно и беззвучно. Минуты капали в былое, чуть бороздя сознание.

Крафт сидел на корме шампуньки, насупившись. Пальцы нервно перебирали прямую рукоятку браунинга. Чтобы черт побрал эту въедливую, как купорос, девчонку! Он, так любивший авантюры, всегда уверенный в своих силах, здесь он не находил логически себе места. Для чего, спрашивается, полез он сюда, бывший белый офицер, художник и мечтатель? Вовсе не было в этом надобности. Можно любить природу, борьбу с ней, искать в любой борьбе смысла, но чтобы идти на такую крайность ради пробудившейся в нем влечения красивой польки – это уж чересчур!

Крафт вспомнил почему-то вдруг свою недавнюю жизнь во Владивостоке. Недурно было на Русском острове! Море источало, казалось, бальзам для усталых душ. Голубел успокаивающе бескрайний купол неба. А ты сиди и слушай, как шлепает море о камушки. Хорошо!

Крафт очнулся на минуту, вернувшись к действительности, необычной, как сказка.

Пару дней назад болтливое радио брызнуло с газетных листов по Шанхаю новостью – едет сюда магараджа Рахампура. Газеты-всезнайки исчисляли богатства раджи в умопомрачительно-астрономических цифрах. Попутно излагалась волнующе обывательские сердца романтическая история о последней жене раджи – ослепительной красавице-шведке, умершей неожиданным и странным образом после полугодичного пребывания в роли супруги повелителя одной шестой части Индии.

В честь красавицы назвал неутешный властелин свою яхту – последнее слово техники, обставленную со всей роскошью восточной фантазии.

«Рита» бороздила волны морей неустанно, как Летучий голландец, на ней возил всюду свою крепко замкнутую тоску обезумевший от горя магараджа.

Сбоку газетной информации плелся слух о таинственном, огромном сундуке, с которым ни на минуту не расставался магараджа, где бы он ни был, – на яхте или в удобных комнатах отелей – он, неутешный муж и любовник, безраздельно царивший над полуторными миллионами

смуглых людей.

Крафт видел тогда, в ясное, розово-пламенеющее утро, как «Рита» летела к пристани, взрезая мутную воду Вампу. Она казалась почти одухотворенной, когда сделав грациозный полуоборот, рьяно вспенила в последний раз носом волну и остановилась, чуть двигаясь по инерции, умеряемой осторожным обратным ходом винта. Якорные цепи пророкотали в клюзах, и яхта встала, как горячий конь, стиснутый уздой в железной руке всадника.

Легкая, как перышко, одновременно почти коснулась воды шлюпка, к ней упала складчатая, крытая ковром лестница, и магараджа Рахампура сошел оттуда во всем своем восточном ослепительном великолепии. Смуглые люди в тюрбанах, сгибаясь, несли за ним на руках большой длинный ящик, накрытый бархатным, затканым золотом, покрывалом...

«Черт его знает, что он там возит!», – еще тогда подумал Крафт...

– Тише... – предостерегающе зашептал Ли. – Яхта близко...

Лодка скользнула в густую, как чернила, темь около борта «Риты» и остановилась. Ли зашептал на ухо Крафту последние наставления, прислушался, повозился минуту на дне лодки и осторожно поднял на длинном шесте веревочную лестницу. Еще два-три усилия, и крючья лестницы поймались за железные прутья перил. Смутной мерезжкой наметилась выпрямившаяся лестница. Крафт пощупал ногой ее устойчивость и полез кверху.

Осторожно высунув голову поверх палубы, он обшарил ее проворно глазами – никого не было – и оглянулся.

Над Бандом взметывались и притухали зарева электрических солнц. На мгновение Крафту показалось, что кто-то идет, мягко постукивая обувью, но сейчас же понял: стучало беспокойно сердце, сжимаемое волнением.

Он перекинул ногу через поручень и неслышно спрыгнул на палубу. Мгновенно наметил большое окно, прикрытое занавеской, и скачком тигра устремился туда.

В каюте было темно. Крафт попробовал раму – она тихо подалась в пазах. Благословляя ротозейство нерадивого слуги, он вынул из кармана фонарик.

Тонкий луч раздвинул тесный мрак: в широкой, затянутой голубым шелком комнате никого не было. У стенок громоздились сложенные друг на друга причудливой формы ларцы, тяжелые, окованные медью ящики, пухлые баулы. На невысоком помосте за тяжелыми складками бархатного балдахина стоял длинный, широкий, знакомый Крафту сундук.

Крафт не мог припомнить потом – как он очутился в каюте. Крадучись воровски, он и подошел к притягивающему своей таинственностью сундуку.

Крышка бесшумно поднялась под его нетерпеливыми пальцами –

могучая пружина откинула ее кверху, заставив его в страхе отступить. А дальше – Крафт в стихийном ужасе отбросился назад.

В сундуке лежала женщина.

Ее тело – без сомнения, она была мертва – куталось в легких прозрачных одеждах. В белопенном водомете складок теплели нежные, розоватые руки. На шее искрилось и излучало цветовой огонь ожерелье с чудовищным рубином посередине, застывшим, как сгусток крови на груди красавицы.

Она была и жива и мертва вместе, закаменевшая в непринужденной позе женщины, только что собравшейся отдохнуть. Буйный огненный поток волос низвергался книзу, перегибаясь через белое обнаженное плечо, и тонкими золотыми струйками растекался по высокой, вот-вот готовой дрогнуть, казалось, от дыхания груди. Глаза были полузакрыты, и не мог понять Крафт – спит она или грезит. Но всего острее упал в сознание манящий цветок губ, застывших в немом вопросе. Как будто она сейчас, вот сейчас, спросит о непередаваемо важном, решающем, что бывает в жизни раз, не больше. В стремительном взлете полных, напрягшихся губ чуялись готовые слететь с них слова. Это было тягостно и мучительно, заставляло чувствовать себя в чем-то виноватым.

Не было для Крафта прекраснее и одухотвореннее лица, сколько он не видел их за всю жизнь, воскресавшего смутные понятия о скандинавских сагах, упоительных сечах и желанных дорогах в светлую Валгаллу, о древних мифах, войнах за право государства называть своей дочь Зевса и Леды, как у этой, недвижно лежащей перед ним женщины.

Восторженно почувствовал вдруг Крафт, что это – вот оно достигнутое, что в смутных грезах волновало и заставляло томительно сжиматься сердце, за что не жалко отдать жизнь.

Это была она, воплотившаяся мечта Петрарки, Данте и сгоревшего в огне творчества семнадцатилетнего Праксителя, пытавшегося на заре юности украсть огонь у богов Олимпа.

Промелькнул бледный образ Адели и потух. Жалкая курица, влюбленная в книжку с окаменевшими формулами!

Сердце Крафта сжимала хлынувшая неведомо откуда волна счастья. Было нечем дышать. Стены каюты источали, казалось, одуряющие, прихотливые ароматы, влекущие тело в искрометный, хохочущий поток радости, растекающийся перламутровым светом озаренный, безбрежный океан небытия.

Крафт почувствовал, что у него нет ни силы, ни воли противиться могучему призыву. Он благоговейно расстегнул миниатюрную пряжку ожерелья и бережно снял его с груди спящей. На мгновение ему почудилось, что она вздохнула облегченно. В молитвенном восторге он перегнулся через край сундука и мимолетно, все еще пугаясь, прикоснулся губами к пылающему цветку губ молодой женщины.

И стремительно старый, тысячевековый инстинкт зверя, не умирающий в человеке, заставил Крафта бешено отпрянуть назад.

Может быть, в одну сотую секунды, он отметил перед глазами сноп искр и одновременно почти, с грохотом упала тяжелая крышка сундука.

Полуоглушенный, Крафт понял только одно – спастись, как можно скорее – и стремглав выскочил в окно.

На борту никого не было.

Любопытство старого бродяги, выдавшего многое, было все же сильнее – тяжело дыша, он повернулся назад, отогнул край занавески, но сейчас же отогнулся в испуге.

Мгновенно вспыхнувший сильный свет, брызнувший с потолка комнаты, половинка широкого панно, изображавшая двух переплетшихся в дикой схватке фантастических чудовищ, медленно отошла, и в темном четырехугольнике появилась высокая фигура магараджи.

Он был красив со своей бородой ассирийца и жгучими, яркими глазами. Скрестив на груди руки, он медленно подошел и склонился над невысоким треножником около сундука. Жертвенник вспыхнул лилово-розовым огнем, ноздри Крафта защекотал приятный, пряный аромат каких-то трав. Лицо раджи внезапно просветлело, когда он взялся за крышку сундука, мгновенно подскочившего кверху.

Раджа склонился на колени и тихо заговорил по-английски, лаская рукой прядь волос красавицы. Крафт следил, окаменев, за этой удивительной сценой.

– Почему ты ничего не хочешь мне сказать сегодня, о, Рита! Почему не лежит пред тобой тело нового безумца, пораженного красотой? Или мне послышалось?.. Погляди же на меня как всегда, драгоценнейшая из жемчужин... То, что было, забыто мной.

Он помолчал минуту и заговорил снова. Голос его ласкал, как музыка.

– Радость сердца моего, о, несравненная повелительница всех! Открой же свои голубые, как озера Сиккима, глаза... Молю тебя. Открой!

С оскаленными в испуге зубами Крафт ждал чуда. Могучее тело бродяги, не знавшего еще страха, сотрясилось в нервном ознобе.

Раджа молчал с минуту, впившись глазами в лицо женщины. Он заговорил снова, и голос его вдруг окреп, в него вплелись твердые металлические ноты:

– Рита! Дыхание мое?.. Что с тобой? У тебя появилось новое выражение на лице... Скажите, откуда это?

Легкий порыв бродячего ветра шевельнул слегка занавеску в окне напротив, складки вздрогнули и замерли опять в покорной дремоте.

– Никогда!

Кто произнес это жестокое, категорическое слово? Крафт оглянулся, тревожно втянув голову в плечи. Нет, кругом никого. Он повернулся к окну и сжался, словно ожидая удара.

Как тигр, вскочил вдруг, увидев отсутствие ожерелья, магараджа. Борода его взъерошилась от гнева. От резкого движения с грохотом повалился треножник, рассыпая угли.

Легче птицы кинулся к борту Крафт и перемахнул через перила.

Вынырнув из объятий двухсаженной глубины Вузунга, он услышал над собой тихий зов китайца:

- Лезьте скорее в лодку, мистер Крафт!

Крафт тосковал. Крафт-циник и поэт не находил себе места.

Газеты сходили с ума, описывая гибель магараджи на охваченной жадным огнем яхте. Крафт пытался вспомнить все дальнейшее, мучаясь в догадках. Кинувшись в каюту, сквозь дым капитан яхты увидел раджу, приникшего в последнем, безумном поцелуе к губам уже потерявшей от жара форму восковой фигуры, лежавшей на полу. Раджа был мертв: дьявольский стилет, скрытый в механизме сундука, нанес страшную рану в шею. В каюте бушевал огонь, выметываясь длинными языками в окна.

На ближайшем сторожевом стационаре, надрывно звякнув, завопил медный колокол:

- Ла-ла-ла-ла-ла...

Вампу переплелся стремительными, прямыми, спотыкавшимися лучами прожекторов. Перепугано завывла где-то сирена. К яхте неслись, стрекоча, дежурные катера со стоящими у руля во весь рост офицерами. На спардеке истушленно орал на очумелых матросов капитан Смит:

- К помпам! Качай, семь тысяч дьяволов вам в живот, дурачьё!

В руке его блеснул, сияя своей технической определенностью, грузный никелированный кольт.

Молодой матрос-индус с побелевшим в испуге лицом схватился за поручень, выворотив шею и дико глядя на капитана.

Кольт пролаял коротко и зло. Матрос осел всем телом на сверток канатов, смешно дрыгнул ногами и успокоено лег, раскинув руки крестом...

Но уже было ясно - «Рита» стала обреченным судном. Языки пламени плясали фанданго, вскидываясь все выше и выше. В нутре яхты гудело, как в потревоженном улье.

К утру яхты-птицы уже не стало. Первые лучи солнца осветили кашу плавающих, дымящихся обломков.

Для Крафта с гибелью яхты умерла ослепительная сказка. Он ходил по берегу набережной осунувшийся, потерянный.

Адель бесновалась. Она не девочка, чтобы поверить в сказочку Крафта! Довольно колбасы! Если Крафт спрятал все, что нашел на яхте, то тем хуже, - рука справедливости сумеет всегда найти наказать виновного. Пусть же он не дурит и скажет, куда запрятал драгоценности магараджи!

-Да ты веришь или нет, что я там ничем не успел воспользоваться! - кричал в исступлении Крафт.

Чисто женским чутьем она угадывала, что он не говорил ей всего. И это была правда: под грубой известковой кучей в китайской каменоломне покоилось неоцененное ожерелье последней жены магараджи. Для Крафта это была святыня.

Немного позже Крафт узнал, что Адель не сестра, а любовница Витольского, но это ничуть его не огорчило. Деталь! И теперь когда-то зажигающий лозунг Адели - все позволено, лишь бы на земле утвердилось светлое царство социализма, - казался ему пресным. Не в этом дело!

Эх, жизнь! Прекрасная и пошлая, сияющая, как редкий красивый камень, грозная и жестокая! Подумать только - было же время, когда человек начал восставать против слепого закона природы. Может быть, тогда жилось лучше, и люди не терзались сомнениями?

Крафт почувствовал себя снова тем, прежним, когда где-нибудь в лесу, или в горах природа начинала декоративно выявлять свое могущество. В облачно-грозовых взрывах чуялась насмешка. Подмигивала молния, и хохотал гром. Крафт сердился тогда и, задирая голову кверху, кричал:

- Отваливай!

Отдых, блаженный отдых путника, прошедшего тысячи верст в стремлении обрести снова свою родину, мыслился теперь Крафту. Неудержимо потянуло на север.

Там, в тихих полях багряно царственно совершает сейчас свой путь кроткая и величавая осень в шелесте падающих бледных листьев. В серебристой речной струе, в капле смолы, стекающей с кедровой хвои, читать великую родословную земли - разве это не высшая радость? И впереди - осмысленный, радостный труд, простой, умиротворяющий...

И в одно утро Крафт исчез. Адель рвала и метала. Витольский задумчиво грыз свой длинный ус.

Газетная хроника - маленькой зеркальце, отражающее кусочки харбинской повседневности, преломило однажды в своих тусклых глубинах контуры таящего в себе загадочность факта:

- Вечером шестого октября около Нахаловки бросился под маневровый паровоз неизвестный русский в белых ботинках. Личность его установить не удалось...

В эту ночь в одном из отдельных глинобитных домишек Нахаловки в трепетном ожидании томилась молодая черноволосая женщина. Когда в окно нетерпеливо постучали, она сорвалась с места и стремительно отворила дверь, пропустив высокого человека с длинными висячими

усами.

– Ну? – крикнула она вопросительно, впиваясь глазами в его лицо.

Крик восхищения сорвался с ее губ, когда вислоусый вытащил из кармана длинную нитку жемчугов с громадным рубином посередине, брызнувшую при свете электричества огнями радуги.

– Вот! – сказал он хвастливо. – Получи, Аделька!

Она хищно оскалила зубы, засмеялась, перебирая в руках крупные искрящиеся камни и не утерпев, набросила нитку себе на шею.

– Ведь это стоит не меньше миллиона, Владек, правда?.. Но какой же он дурак!..

Ей, конечно, не понять было, что жизнь серую и будничную не мог перенести Михаил Крафт, бродяга-офицер, фантаст и мечтатель, веривший в золотой век и изверившийся, ужаленный под конец неотвечной любовью и потерявший последнее, что напоминало ему о той, нездешней.

Впервые опубликовано: Сабуров К. Фоб-Дайрен: Рассказы. Харбин, 1926.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т.

Пекин, 2005. Т. 4. С. 450–459.



**Павел Александрович
СЕВЕРНЫЙ**
(1900–1981)

Беллетрист и драматург Павел Северный (настоящая фамилия Ольбрих) родился 27 сентября (ст. ст.) 1900 г. в Верхнем Уфалее в семье смотрителя. Окончил гимназию в Перми. После 1917 г. эмигрировал в Маньчжурию. С 1933 г. жил в Шанхае. Участник содружества русских работников искусства «Понедельник». Автор романов «Тургеневская сказка» (Шанхай, 1937), «Женщины у Полярных звезд» (Шанхай, 1937), «Леди» (Шанхай, 1938), «Ветер с Урала» (Шанхай, 1939), «Золото на грязи» (Шанхай, 1941–1942) и др.; сборников рассказов «Озеро голубой цапли» (Шанхай, 1938), «Черные лебеди» (Таньцзинь, 1941). В 1954 г. с женой и сыном репатриировался в СССР. Жил в Оренбурге, затем (более 20 лет) в подмосковном Подольске. Тяжело заболел туберкулезом и умер 12 декабря 1981 г.

Ист. и лит.:

Булгаков В. Словарь русских зарубежных писателей. Нью-Йорк, 1993. С. 130.

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 478.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 272.

Черникова Л. Павел Северный: жизнь, творчество, судьба [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.russianshanghai.com/author/pavel-severny/>

Аюпов С. «Мила нам добра весть о нашей стороне»: «Тургеневская сказка» Павла Северного // Бельские просторы. 2013. №10. С. 129.

Дябкин И.А., Левченко А.А. Русские эмигранты в Китае: о жизни П. Северного (стенограмма беседы с А.П. Северным) // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Исторический опыт взаимодействия двух культур. Вып. 11. Сборник материалов международной научно-практической конференции / Под ред. А.П. Забияко, А.А. Забияко. Благовещенск, 2015. С. 354–365.

Дябкин И.А. Пушкиниана дальневосточной эмиграции: Литературный контекст создания романа П.А. Северного «Косая Мадонна» // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 7. Культура и литература дальневосточной эмиграции в архивах, письмах, воспоминаниях. Сборник научных работ / под ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой. Благовещенск, 2017. С. 100–111.

ОЗЕРО ГОЛУБОЙ ЦАПЛИ
(Отрывок из повести)

Бородину
Владимиру Александровичу
посвящаяю

1

В легендах говорилось, что озеро священо.

В преданиях народных упоминалось, что напившийся из него воды познает в жизни истинную радость и счастье.

Легендам верили.

Предания не опровергали...

Водяное зеркало озера блестело в горной долине в оправе лесистых

гор.

Горы с париками лесов, низко надвинутыми на лбы скал и обрывов, вплотную подступили к нему со всех сторон.

Жившие в прошедшие века называли его «Озеро голубой цапли»...

Озеро в стране древних легенд, и в некоторых из них о нем рассказано много таинственных небылиц.

Но каждый, кто хотя бы раз видел его живописность на морщинистом лице китайской земли, тот охотно верил любой легенде, соглашался с каждой небылицей.

Особенно красиво оно осенью, когда сентябрь не скупится на краски природы, украшая берега переливчатыми тканями осенней парчи.

В осеннюю пору озеро похоже на старинный гобелен...

На одном из берегов, там, где скалы близко подступают к воде отвесной кручей, стоят пагоды буддийского монастыря – «Лестница млечного пути».

Окружают их высокие со стальным отливом кипарисы, стволы которых от старости обросли зеленовато-седыми бородками мха.

Окружают их утесы, раскрашенные синяками лишаяев.

Дикие суровые утесы с глубокими трещинами, а по ним горные родники торопятся влить в озеро чистую, холодную воду.

Ведет к пагодам, выходя из воды, широкая лестница, выдолбленная в обрыве берега, более чем в сто ступеней, как знать, может быть, она начинается из тайной подводной сокровищницы.

Когда поднимаешься по лестнице на берег, то попадаешь в пещеру, продолбленную в скале, за ней – в узкий коридор между скал, дальше – в аллею каменных идолов и, пройдя несколько круглых ворот в стенах, выйдешь на площадь, на ней в кипарисовых рощах стоят павильоны монастырей, и на их фасадах удастся прочесть, кому прежде были посвящены их алтари.

Монастырь теперь почти развалины, свидетельствующие о том, что когда-то здесь была крепость религии, крепость великолепия, которым фанатики прошлого окружали свои религиозные культы.

Полуразрушенные пагоды, путанные лабиринты колонн, поддерживающих тяжелые черепичные крыши, изваяния богов – все это до сих пор таит в себе волнующую мистическую недосказанность и тайну.

Столетия прошли.

Прошли века и для потомства оставили о себе следы: звучные легенды в памяти народа об озере и реальные развалины монастыря на его крутом берегу.

Тесными кольцами кое-где порванных цепей охватили озеро

лесистые горы и стерегут развалины монастыря от зубчатых челюстей беспощадного времени.

Теперь монастырь почти забыт и не покинут только немногими монахами.

Дряхлые ученые монахи, оставшись в его стенах, трогательно оберегают свою веру в святость места, молятся уцелевшим идолам, хранят от разрушения редкие изваяния божеств – творения мертвых и забытых мастеров.

Монастырь сильно разграблен.

Все, что можно было украсть, украдено и продано в иностранные музеи и антикварные лавки больших городов.

И если настанет то время, когда в монастыре не останется ни одной живой души, пагоды, постепенно разрушаясь, простоят еще долгие годы, и их крыши всегда будут казаться распростертыми крыльями гигантских птиц, гордо парящих над озером.

На самом краю обрыва стоит каменная статуя Будды.

Изваяние, обросшее разноцветными мхами, с величавой улыбкой спокойствия смотрит вдаль на цепи горных хребтов, до мельчайших подробностей отражаясь в воде.

Будда, созерцающий солнце, облака и звезды.

На каменных плитах пьедестала статуи, проросшего травой и завитого кустарником роз, у ног Будды в жертвеннике всегда дымятся душистые курения. А высоко над головой идола ветер колышет зонты ореховых деревьев, как бы стараясь спасти лицо Будды от лучей сентябрьского солнца.

Солнце слишком ярко.

Под его лучами статуя, забрызганная красками с осенней палитры, кажется закутанной в причудливое одеяние и как будто ждет несбыточной феерии былого поклонения своему величию...

Напротив развалин монастыря, там, где прибрежные скалы не так высоки и обрывисты, над водой величественно возвышается холмистый остров, соединенный с берегом искусственным молотом.

На острове на горбах холмов стоят обнесенные стенами строения поместья рода Шунов – древнего и памятного в истории Китая.

Рощи спрятали их от любопытных посторонних глаз, и только глубоко ночью, когда с деревьев опадут листья, некоторые из них будут видны с озера издалека.

Три стены опоясывают поместье.

И за каждой из них медленно проходит различная жизнь людей.

За глубоким, сырым, дурно пахнущим рвом, за первой стеной живут трудолюбивые крестьяне. Живут среди пыли, грязи, удушающей

испарины собственного пота вместе с собаками, свиньями и осликами. Все они поколениями трудятся на полях рода Шунов; плодятся, умирают от эпидемий, досыта поят кровью насекомых, работают день и ночь ради пищи для начинки желудка. За первой стеной всегда пахнет чесноком, кричат ослы и плачут дети...

За второй стеной с бойницами, более высокой, чем первая, в садах разбиты цветники и аллеи, а под шатрами высоких деревьев, скрытыми уютными гнездами, хоронятся дворцы поместья. Здесь из-за шелеста деревьев не слышен шум живущих за первой стеной, ветер сюда никогда не приносит запах чеснока. Здесь царство тишины, в котором живет мистика древности.

За третьей стеной, опоясавшей самый высокий, главенствующий над островом холм, окруженный шестью башнями, стоит храм Будды.

Громады пагод гордо смотрят на горизонты и на развалины монастыря напротив из-под нависших бровей крыш, тяжело опираясь на толстые колонны. Только пение их гонгов и звоны колоколов нарушают тишину в садах поместья, а рокот барабанов в глухие часы ночей уносится ветром через пространство озера и, как отдаленный гром грозы, слышен всеми, кто живет по его далеким берегам.

Стоят пагоды буддийского храма и кажутся издали воздушными, как будто образовались из пробегающих по небу тяжелых серых туч, кажется, что достаточно только подняться урагану, и пагоды-призраки на холме острова рассеются и исчезнут.

Но пагоды стоят, не боясь никаких ураганов, опершись на плечи холмов, и терпеливо, устало и безразлично считают проходящие годы нового века и призрачными кажутся только тем, кто смотрит на них из окон поезда, мчащегося вглубь Китая.

Около острова озеро поросло лотосами и камышами, и в их зарослях важно разгуливают стройные дымчато-голубые цапли в изящно сшитых черных фраках. Низко перелетая с места на место, они всегда о чем-то сокрушенно и тоскливо кричат, как будто рассказывают друг другу бесконечную историю птичьей жизни.

Иногда, по только для них понятным причинам, цапли тысячами стаями поднимаются в просторы небес, часами кружатся над водой и островом, и свистящий шелест их крыльев заглушает тогда шумы земной жизни, как будто в воздухе кто-то невидимый бесконечно разрывает полосы шелка.

По спокойной поверхности озера плыли шаланды с расправленными крыльями парусов с цветными заплатами. На многих из них звучали унылые песни – песни уставшего кули, взгрустнувшего о неизведанной им в жизни ласке и любви, песни, разбуженные очарованием природы в душе раба изнурительного труда.

Но краски заката потухали быстро.

С берегов к воде кралась сумерки.

Налетел ветер, исшершавил эмаль зеркальной воды, зашевелил осенние деревья, и листья закружились, падая на воду, запорхали легкой, многомиллионной стаей желтых бабочек.

Над озером запуржила вечерняя метель сентября.

Из глубины горных лесов эхо доносило рев горных коз. На берегах то тут, то там вспыхивали огни костров, манящие к своему трепетному теплу.

Ночь наступала.

Перед ее приходом смолкали шумы дневной жизни, и только цапли перекликались, как бдительные часовые.

Оживали над водой густые туманы и прозрачными лианами тянулись к берегам острова, чтобы дышать сыростью в садах древнего поместья...

Скрипя ржавыми петлями, закрылись ворота в первой стене и отрезали жизнь поместья от внешнего мира.

Ночь наступила черная.

За стеной, пугаясь темноты, орали ослы.

Бум! Бум! Бум!

Гудели барабаны на сторожевых башнях храма, возвещая, что наступили часы, когда всем разрешается отдыхать от трудового дня.

Особенно темно было в садах поместья...

Вдруг на башне, прилепившейся, как гнездо ласточки, на отвесном обрыве холма, вспыхнул огонь.

Это лампы зажгли костер, встречающий восход луны. Все сильнее и сильнее разгорался зловещий факел, желая прежде луны найти и осветить зрачки ночи.

Глухо и угрожающе гудели барабаны.

Воды озера не видно: она стала черной и слилась с берегами.

Нет озера...

Но вот в одной стороне за хребтами гор, за кружевами лесов горизонт пожелтел, и, как бы крадучись, неуверенно выглянул пурпуровый шар луны, как зажженный бумажный фонарь. Он не осветил, а только подкрасил поверхность озера – тревожным светом очертил на берегах острова силуэты садов, небритую щетину камышей, бородавки лотосов и

все еще плавающие шаланды.

Собаки, спущенные с цепей в ров для охраны поместья, встретили появление луны оглушительным лаем, заставивши ослов прекратить свой дикий концерт.

Луна, поднимаясь все выше и выше, медленно серебрилась, постепенно разгоняла темноту, отыскивала все, что было в ней спрятано на земле...

Ламы, зажегшие костер, внимательно слезливыми старческими глазами рассматривали еще видимые на луне темные пятна и старались отыскать в их формах откровения для своих будущих предсказаний.

Ночь стала голубоватой.

Озеро отражало в себе силуэты берегов.

Потом оно как будто треснуло пополам, и трещина заблестела полосой расплавленного металла...

Луна заботливо обозначила все морщины и опухоли на лице китайской земли.

Бум!

Последний раз прогудели барабаны, и эхо повторило их гул в далеких горах.

На башнях догорал встречавший луну костер, подул ветер и погнал его смолистый дым со скал холма к воде, постелив сизым саваном на поверхности озера.

Ветер, видимо, испугался, что луна разбудит в озере тайны его царства и они, отражаясь в изумрудной воде, покажутся людям.

Удлиненные, густые, неподвижные тени легли на землю от дворцов, кумирен и фанз.

Но тени около деревьев зашевелились и заползали.

В сыром рву перед стеной поместья, поджав хвосты, собаки взывали от тоски, задирая морды к небу...

3

На острове одна аллея кипарисов, выложенная каменными плитами, вела к ущелью между угрюмых скал.

В узком коридоре, переходящем в природный тоннель, тяжелые, окованные медью ворота преграждали путь в маленькую лощину – самое скрытое место поместья.

В лощине среди запущенного парка окруженные серебристыми водопадами горных ручейков стояли пять дворцов поместья, и в самом большом из них жил старший потомок рода – престарелый маршал Шунчен-чанг.

Во дворце был зал из белого мрамора, и среди его роскоши проходила жизнь маршала.

Зал, помнивший улыбки четырех веков.

В его стенах раздавались шаги и голоса многих замечательных людей Китая.

Белые колонны с красными, как будто кровавыми, жилками обвиты гибкими чешуйчатыми бронзовыми драконами. С потолка на длинных золоченых цепях низко спускаются тридцать фиолетовых фонарей.

На стенах развешаны бесценные уникамы редчайших панно. Среди них, конечно, есть панно с любимым персонажем древней мифологии, добродушным стареньким мудрецом Шу-Лао с неизменным оленем и двумя летучими мышами, символизирующими вечную жизнь. Многие из них выполнены на красном сукне, что является теперь особенно ценным, ибо в далекие годы создания панно шерстяная материя ценилась выше шелка, и почти все они вытканы кропотливым ручным способом (ко-су). Есть среди них также вышитые на шелку классического красного дворцового цвета, который от древности принимает желтовато-оранжевый оттенок. Пол устлан коврами и шкурами зверей, среди которых больше всего тигровых.

Стоят вазы из старинного бледно-розового фарфора. На одной из стен висит портрет Ли-хун-чанга, мастерски исполненный шелком, портрет с почти фотографической точностью воспроизводит облик выдающейся личности. Под иглой в руках одаренного вышивальщика на портрете ожила вся могучая сила временщика, сумевшего так ярко занести свое имя в бессмертные страницы истории.

Посередине зала в раме позолоченного экрана портрет замечательной женщины Китая – вдовствующей императрицы Цзи-си. На портрете она, на красочном панно, изображена полной стареющей женщиной с лицом овальным, некрасивым, но выразительным.

Кроме двух больших портретов, в зале множество других, и не только своих соотечественников, но также выдающихся людей Запада, с которыми маршалу пришлось столкнуться на протяжении своей восьмидесятилетней жизни.

В этот поздний вечер, когда луна озаряла озеро, в зале из тридцати фонарей зажжены были только одиннадцать.

Ровный фиолетовый свет залил зал, загнав темноту в дальние углы.

Маршал лежал на подушках из желтого императорского шелка. Он только недавно проснулся и, прищурившись, следил, как слуга кипятил в фарфоровом чайнике воду горного источника, чтобы заварить любимый им душистый, терпкий, бледно-зеленый чай.

Плавали по залу волокна сероватого опийного дыма.

Привстал маршал, сел, поджав под себя ноги.

Среднего роста, в черном шелковом халате, сухой, сторбившийся. Желтая кожа лица прозрачна, как воск, на висках землистые пятна. Лицо похоже на маску, удлиненную седой реденькой бородкой; усы – несколько волос в углах рта, опущенные вниз; губы бурого цвета, нижняя брезгливо отвисла, обнажая ряд желтых здоровых зубов. Глаза в узких щелках морщинистых век, блестящие, прищуренные и властные, они пыгливо смотрят на каждого, кого видят перед собой.

Маршал похож на старого орла. Старость заставила его покинуть облачные высоты, спуститься на землю, бродить по которой для него так непривычно и унижительно.

На голове маршала шапочка с шишкой из гладкого красного коралла.

Около него, на низком резном столике, на подносе с перламутровой инкрустацией, лампа для разогревания опиума, трубки из черной черепахи и из орлиного дерева «Ки-нат», иголки, чубуки нефритовые и фарфоровые.

На подушках в чашках зеленого и белого нефрита душистые персики...

Уединенно живет теперь маршал.

Его не волнует, не захватывает больше то, что творится вокруг. Уйдя от внешней жизни раз и навсегда, он, глубоко разочарованный во многом, удалился на покой в свое родовое гнездо и посвятил свой досуг чтению старинной классической мудрости и курению опиума.

Он пережил многих друзей и соратников ушедшего императорского периода. Они один за другим ушли в вечный покой, а он продолжал бродить по анфиладам своего дворца.

Не стало хитрого и коварного честолюбца Ли-хун-чанга. Не живет больше дерзновенный Юан-ши-кай. Умер Сун-ят-сен, мечтательный и пламенный пророк нового Китая. Страну ведут к свету незнакомые ему вожди. Но он не интересуется их подвигами, ибо уверен, что подвиги людей умерли в тот день, когда в стране перестал править Богдыхан.

Всеми забытый и всех забывший, сам он в поместье своих предков терпеливо ждет запоздавшую смерть.

У маршала есть утешение для старости.

Два сына.

Старший Шен – конфуцианский философ и первосвященник.

Младший Чен – известный дипломат современного Китая.

Оба сына уже нашли свои горные тропы жизни, и старик спокоен от сознания, что они сумеют достойно почтить его смерть.

В каждом из них частицы его характера и ума; каждый по-своему мечтает о величии родины.

Чен – любимец старика. Будучи дипломатическим представителем правительства в Европе, четыре года тому назад он женился в Париже на

русской, покинул политическую работу и совсем недавно вернулся на родину. Его неожиданный приезд и уход в отставку напугали старика и вызвали долго не смолкавшие толки в печати, но сам Чен на все вопросы об уходе от политической работы отвечал желанием посвятить себя заботам о здоровье жены и воспитании ребенка.

Женитьба Чена на европейке потрясла маршала, он был оскорблен тем, что кровь его славного рода смешалась с кровью белой расы.

После приезда сына в поместье он вначале не хотел его видеть, требовал расторжения брака, но после, выслушав доводы сына и не желая понимать и мириться с его непонятными взглядами на жизнь, в конце концов, разрешил ему посещать себя, отказавшись видеть когда-либо его жену и внука.

Глубоко вздыхая, погруженный в раздумье, маршал пил пахучий чай.

В глубине дворца мелодично зазвенел гонг, извещая, что кто-то осмелился нарушить покой маршала. В зал, низко кланяясь, вошел слуга и передал, что сын Чен просит принять его без промедления.

На лице старика ожила улыбка – он закивал головой, слуга вышел, и скоро в дверях появился Чен, склонившись в поклоне.

Высокий, худой, довольно красивый китаец.

Поцеловав плечо отца, он обратился к нему на изысканном наречии, которое с гибелью дворцовой жизни сохранилось только в очень немногих семьях.

– Дорогой отец, хозяин моей ничтожной жизни, луна своим холодным для меня светом указала моим глазам путь к дворцу, в стенах которого бьется твое великое и гуманное сердце.

Я, твой сын, осмелился переступить порог твоего чертога и дерзнуть еще раз напомнить тебе о своей давнишней, почтительной просьбе.

Моя жена глубоко обижена твоим незаслуженным к ней суровым отношением. Я снова прошу тебя, любимый отец, перебраться в памяти твои мысли о ней и принять ее с моим сыном, твоим почтительным внуком, сказать им несколько ласковых мудрых отцовских слов.

Прежде я никогда не смел просьбами пугать покой твоей старости, но сейчас должен это сделать, и если твое мудрое, но жестокое решение останется неизменным, то завтра, когда взойдет солнце, я буду вынужден вместе с моей семьей покинуть навсегда твой негостеприимный дом, даже в том случае, если заслужу этим твою вечную немилость...

Услышав спокойную и решительную речь сына, маршал встал, выпрямился, большими шагами заходил по залу, долго о чем-то думая, стоял перед портретом Ли-хун-чанга.

Подошел к сыну вплотную, прищурившись, смотрел на него,

положил руки на его плечи, склонив голову, дрогнувшими губами прошептал:

— Чен, твой старый отец любит своего упрямого сына и хочет, чтобы он привел к нему свою семью.

Когда обрадованный Чен покинул зал, маршал несколько раз ударил в гонг, и тотчас вошли слуги. Он приказал им открыть окна и выгнать паутину опиумного дыма и зажечь все фонари.

Слуги плавными движениями бесшумных опахал из орлиных перьев рассеяли завесу дыма, зажгли все тридцать фонарей, и в зале, освещенном фиолетовым светом, ожила восточная сказка.

Посредине зала поставили кресло из черного дерева, покрытое шкурой барса, к нему от дверей постелили красный ковер.

Маршал, переодетый в голубой халат, сел в кресло...

В глубине дворца снова зазвенел гонг, кто-то невидимый раздвинул парчовый занавес дверей, и в них показался Чен, держа на руках мальчика, а рядом с ним стояла европейская женщина.

Медленными шагами Чен подошел к отцу и отдал ему ребенка. Мальчик удивленно рассматривал взявшего его на руки незнакомому старика. Дрожащей рукой маршал погладил ребенка по головке. Вздрогнул... Волосы ребенка были мягкими, шелковистыми, но зато глаза были глазами китайца. Крик радости вырвался из груди старика, нежно прижав к себе ребенка, он встал и пошел к женщине, неподвижно и сконфуженно стоявшей около одной из колонн.

Маршал остановился около нее, протянул руку и, когда бледная тонкая рука женщины легла на ладонь маршала, он неожиданно для себя растерянно поцеловал ее сухими губами.

Слезы волнения и радости заблестели в его глазах...

Он что-то шептал, но женщина не понимала этого шепота...

Тридцать фонарей освещали зал фиолетовым светом.

В зале, помнящем улыбки четырех веков, белая женщина дышала его воздухом первый раз.

4

Сегодня набежавшие с вечера облака не позволили луне перекрашивать сажу ночи в бирюзовый цвет...

В полумиле от острова поднимался из воды маленький скалистый островок, заросший рощей бамбуков.

Теперь уже никто не помнит, когда, отломившись от острова, упала в воду глыба его гранита, никто не знает и не может понять, как она могла так далеко упасть.

Но рыбаки и крестьяне с берегов озера часто рассказывают о том, что

островок – это вовсе не упавшая в воду скала, а оброненная небом погасшая звезда, и в подтверждение правдивости своих рассказов ссылаются на древнее предание, правда, никем не записанное.

На острове из постоянно волнующейся бамбуковой рощи поднимается крыша ажурного павильона. В нем живет теперь молодая конкубинка маршала, так как старость еще не совсем усыпила в нем власть страсти, иногда требующей женской ласки...

В ночной бамбуковой роще на террасах павильона дремали в темноте цапли, стадами собираясь на ночлег, оглашая тишину ленивыми перекличками.

Давным-давно этот павильон был построен для брата маршала – горбатого поэта, писавшего трогательные стихи о жизни голубых цапель на берегах священного озера. Рассказывают до сих пор, что он первый прикормил пугливых птиц, заставил их полюбить свою жизнь, для них он часто распевал в ночной тиши стихи о вольной птичьей душе.

Говорят, что с тех пор цапли выбрали островок для своего ночлега и не ушли с него и после того, как конкубинка по приказу маршала была вынуждена переселиться из дворца в павильон среди бамбуков.

Цапли также очень скоро привыкли к жизни одинокой женщины...

Вода, причмокивая, плещется о каменистые берега.

Как шелк, шелестит от порывов ветра листва бамбуков.

Вслушиваются в этот шелест чутко дремлющие цапли, по-своему понимая то, о чем ночью шелестят бамбуки.

В маленьком зале павильона со многими овальными зеркалами, отражающими каждый уголок и предмет, проходит жизнь наказанной маршалом легкомысленной женщины, посмевшей его ласки предпочесть краденым ласкам другого.

Медленно падают в вечность прожитые ею дни, как капли с деревьев по утрам после ночной росы...

Огонь толстой свечи, пробиваясь сквозь шелковые стенки фонаря, едва желтил густой мрак зала.

Под фонарем – широкий диван, покрытый парчой. Около дивана на низеньком маленьком столике, около серебряной коробки, мигая голубоватым огоньком, горела горная хрустальная лампочка, а рядом с ней лежала длинная роговая трубка, инкрустированная золотом и перламутром.

Столик с ядом опиума.

Над беспомощным огоньком лампочки еще вился дымок недавно выкуренной трубки.

Среди разбросанных по полу шелковых подушек ходила по залу молодая китаянка, сопровождаемая едва заметной тенью, отражаясь в

зеркала.

А за дверью зала дремала старая ама, приставленная маршалом охранять верность и покой узницы маленького острова.

Е-ин звали китаянку.

«Лунная тень» означало ее нежное имя.

Молодостью гибкого тела она действительно напоминала лунную тень, упавшую на воду от стройного стебля цветущего лотоса. Это имя ей дали в шумном Кантоне, где она еще не так давно сводила с ума мужчин, распевая песни любви. Знаменитая девушка ночного Кантона с голосом соловья. Идол южного Китая, рожденная на сампанке бедного рыбака и тотчас после появления на свет проданная родителями в рабство.

Ненасытная страсть к богатству и честолюбие привели Е-ин на берег озера, когда она стала конкубинкой старого маршала Шуна.

Три года назад слух о ее песнях привлек внимание маршала, и он, приказав заплатить огромные деньги, выкупил ее из рабства для сладостного покоя последних лет жизни.

Год ее жизнь шла во дворцах поместья. Звучали в них звонкие то радостные, то грустные песни; ее ласки пробуждали жизнь крови в старом теле маршала, и, благодарный, он боготворил свою возлюбленную, исполняя малейшие желания и честолюбивые капризы. Но юность Е-ин – потребность едва проснувшегося тела женщины – звала к неиспытанному греху, и она нашла путь к исполнению своих желаний, вздрагивая в объятиях молодого ламы из буддийских храмов за третьей стеной острова, утомляя себя его первобытными ласками.

Краденые ночи страсти тянулись месяцами и кончились внезапно, когда их свидание в парке увидел маршал, страдавший от бессонницы в роковую для них ночь.

Монах был изгнан с острова, и скоро Е-ин узнала, что молодой любовник был найден в горах, задушенный тонким шелковым шнуром. А она по приказу рассерженного и обманутого маршала поселилась в павильоне на островке.

Месяц после опалы Е-ин провела в полном одиночестве, но постепенно память о ее песнях, о нежных ласках молодости победила гнев стрика, и он вновь призывал ее во дворец, чтобы коротать длинные бессонные ночи, слушая ласковый шепот ее губ. Но старческая ревность, боязнь нового коварного обмана не позволяли маршалу доверять ей, и он по-прежнему не разрешал Е-ин покинуть одинокий павильон.

И только совсем недавно, в ночь после встречи с внуком, растроганный старик обещал после смерти щедро наградить ее и вернуть полную свободу.

Продолжая тайно страдать о задушенном монахе и чтобы забыться от нудной тоски, Е-ин курила опиум и в сладком дурмане наркоза находила временный покой, переставала грустить, не так тяготилась своим

вынужденным одиночеством.

И часто во время ночных свиданий, играя маршалу на домре или свирели, она курила вместе с ним опиум и, отуманенная белым дымом, принимала старческие ласки за ласки задушенного буддийского ламы. После таких ночей, разбитая, возвращалась в павильон, спала, мучимая бредовыми кошмарными снами. Не зная, как скоротать дневные часы, бесцельно бродила по бамбуковой роще среди птиц и кормила их из розовых узких рук, и все время думала только об одном мучительном желании: о смерти маршала и наступлении дня своей полной свободы. Перед глазами тогда оживали заманчивые миражи будущей жизни, ветер приносил с собой шум людской жизни с дальних берегов и с проплывавших мимо шаланд, этот шум напоминал ей слышанный и незабытый шум огромных городов, по ночам залитых ярким светом. В шелесте бамбуков в такие минуты звучала для нее музыка дикого веселья, и глаза дымчато-голубых цапель напоминали глаза мужчин, затуманенные от желания ласк ее молодого прекрасного тела...

А одинокими вечерами, когда маршал не звал ее к себе, она курила опиум и слушала музыку, доносившуюся с берега острова, и знала, что эту музыку принесла с собой в своей душе белая жена Чена. Звуки музыки пробуждали в ней особенно дерзкие помыслы о свободе. Бывали минуты, когда в мыслях оживал страшный план об ускорении смерти маршала от искусно отравленного чая, поднесенного рукой подкупленного слуги. В такие моменты Е-ин металась по залу и, сознавая свое бессилие, оглашала темноту громкими рыданиями...

А ночь тянулась медленно. Е-ин ходила, вслушиваясь в ее шорохи, все еще ждала шагов посланца из дворца, чтобы вместе с ним, переплыв озеро, уйти от одиночества, утешая старика, страдающего мучительной бессонницей.

Но шагов сегодня не слышно, не слышно музыки белой женщины, и только переключки цапель нарушали безмолвие сентябрьской ночи...

*Впервые опубликовано: Северный П. Озеро голубой цапли: Роман. Шанхай, 1938.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 5. С. 97-141.*

СЛЕЗИНКА

1

Август. Нестерпимо душная ночь.

Воздух неподвижен.

Каменный Шанхай, накаленный солнцем, влажной испариной душил все живое, мечтавшее только свободно дышать.

Полуголые тела китайцев устилали пыльные, заплыванные панели, и все это осмысленное человеческое мясо выползло из конур своих жилищ с единой мыслью найти прохладу и иметь возможность заснуть, чтобы с рассветом продолжать купание в изнуряющем поту.

В такие ночи миллионы рассудков, забывая о буднях и радостях жизни, как о несбыточном счастье, мечтали о движении воздуха от сильных порывов ветра...

На Банде, на башне таможни, часы прозвонили один раз.

В кривой щели узкой улицы вблизи пристаней, в баре с низким потолком веселилась пестрая толпа иностранных матросов.

Под потолком, когда-то выкрашенным в голубой цвет, но грязным теперь от копоти, вертелись, шурша, лопасти фенев. На потолке наклеены золотые бумажные звезды, некоторые из них покоробились от сырости, другие наполовину отклеились и трепетно шевелились от искусственного движения воздуха.

На эстраде рядом со стойкой бара играл оркестр из трех музыкантов, и под звуки модных мотивов джаза сплошным потным месивом до изнеможения танцевали пары, одуревшие от выпитого вина и виски. Потные, покрасневшиеся лица мужчин прижимались к лицам женщин со следами смывтой потом дешевой косметики.

Шуршали фены, рыдала скрипка.

Сидевшие за столиками выкрикивали плоские остроты, смех смешивался с бранью горячих споров, с визгами женщин от объятий и щипков особенно пьяных кавалеров.

Дурманил тяжелый запах из смеси дешевых духов, табачного дыма и алкоголя, дурманил и возбуждал, толкая мысли на поиски иллюзий страсти и ласки.

Приманкой бара для его успеха были молодые, красивые партнерши для танцев всех национальностей, но самыми красивыми среди них, по общему признанию, были русские и полукровки.

Для Нади Суховой эта ночь была особенно удачной в смысле заработка. С самого открытия бара она танцевала, непрерывно приглашаемая матросами, не пропустив ни одного танца. Среди женщин бара она по праву была самой изящной и свежей. Ее обаятельная улыбка, умение себя держать во время танца, жесты и походка останавливали на себе пристальное внимание мужчин, и каждый из них стремился, танцуя с ней, как можно более нежно держать в руках ее хрупкое тело.

Когда на Банде часы пробили час, ее пригласил на танец сидевший до того в одиночестве американский матрос. Перед началом танца со смущенной улыбкой на тонком лице он передал ей пачку билетов и, протанцевав с ней только один танец, предложил отдохнуть, сесть с ним за

столик и выпить чего-нибудь по ее желанию. Весело улыбаясь, он сказал ей, что сегодня день рождения его матери, и он бы был счастлив выпить за ее здоровье в обществе Нади и, не танцуя, посидеть и поболтать.

Уставшая, обрадованная его предложением, Надя выбрала самый укромный столик и заказала подошедшему бою белого вина.

Вначале сидели молча. Матрос, видимо, не зная с чего начать разговор, рассматривал Надю, и улыбка виноватого смущения не покидала его лица.

Надя курила и, прислонившись головой к стене, мысленно подсчитывала цифру заработка. Принесли вино. Она, поздравив его, выпила.

Веселье отупевшей толпы в баре продолжалось. На эстраде под аккомпанемент оркестра хриплым голосом пела гавайскую мелодию молодая китаянка, виляя бедрами, подражая движениям танца хула-хула. Заглушая ее пение, кричал пьяный английский матрос и бил о стол пустые бутылки, а при минутной тишине, прекратив его крики, прозвучали две звонких пощечины. Клубок нескольких тел сцепился в драке и выкатился на улицу, неистово продолжая вопить. А в баре, где это так обычно, продолжались танцы под хрипкое пение китаянки и шуршание фенов под потолком...

Из отрывистых фраз между Надей и матросом завязался разговор; он рассказал ей так тепло и просто о своей любви к матери и о том, что у нее он единственный сын, что она живет в Калифорнии и что для нее в Шанхае он накопил много подарков. Он ничего не спросил у Нади о ее жизни, не жалел ее судьбу, не целовал рук, не уверял, что она самая для него дорогая женщина. Он не сказал ничего того банального, пошлого, что обыкновенно ей приходилось выслушивать от посетителей бара. Закончив рассказ о матери, матрос смолк и глубоко задумался. Удивленная его задумчивостью и молчанием, Надя настороженно ждала наступления полицейского часа, когда нужно будет уходить, и, может быть, тогда ее странный партнер в виде компенсации за неиспользованные билеты, за вино, за рассказ о матери будет целовать ее в темном углу бара и предложит провести с ним остаток ночи.

Она знала, что, служа в баре, зарабатывая деньги на жизнь, исполняла просьбы случайных клиентов, так как на этом была построена шаткая избушка благополучия жизни.

Но когда серый рассвет сменил душную ночь, когда с эстрады ушли музыканты, когда опустел бар от уходивших с криками посетителей, матрос молча взял лежащую на столике сумку Нади и положил туда американскую кредитку. Удивленная Надя крепко пожалала его руку. Матрос предложил проводить ее домой. Не спуская глаз с лица матроса, Надя ответила согласием, легким кивком головы, они вышли из бара и в

ближайшем гараже взяли автомобиль, и поехали по пробуждавшимся улицам города по направлению к французской концессии...

2

Простившись с проводившим матросом, Надя, сняв шляпу, шла по улочке своей террасы. Когда открыла дверь квартиры, то из темного коридора на нее дохнуло затхлостью плесени и сырости. Держась за перила лестницы, не торопясь, Надя поднималась на третий этаж по ступенькам, покрытым пыльной травяной дорожкой с дырами на сгибах. Думала о встрече со странным матросом, и мелькала мысль о том, как хорошо с ним будет той женщине, если он ее полюбит. Осталось несколько ступеней до ее этажа, и, улыбаясь, вспомнила, что последняя из них под ее шагами обязательно визгливо скрипнет. Но в эту минуту услышала торопливые, шлепающие шаги босых ног, и из серой мглы коридора навстречу вынырнула растрепанная, заспанная ама и визгливо прокричала:

— Миси, миси вери бед, сик ол найт, ол найт край, ю люкси.

От неожиданности, от испуга Надя похолодела, разом умерли тихие мысли, оттолкнула аму, побежала в свою комнату, кинулась к кровати, где под москитником билось голое тельце стонавшей маленькой дочери. Откинув москитник, Надя склонилась к ребенку. Тело девочки было мокро и липко от пота, золотые волосики смокли и занятными кольчиками прилипли ко лбу. Рука Нади только едва дотронулась до лба, пылавшего жаром, и материнским чутьем она поняла, что ребенок болен серьезно.

3

В двух маленьких комнатках, соединенных аркой, Надя спрятала мирок своей жизни с малюткой. В комнатках на стенах светлые с голубыми цветочками обои. Перед образом блестел огонек в малиновом стаканчике лампы. На столике, заставленном лекарствами, на колпачок лампы, чтобы еще больше затемнить свет, наброшен синий лоскут шелка от когда-то сшитого платья. Все просто в комнатках, все чисто и опрятно. Для жизни девочки создали уют руки матери. Надя любила в редкие свободные ночи, усыпив дочь, посидеть в кресле за страницами интересной, трогательной книги или просто думать о жизни, уверять себя, что жизнь даже самого несчастного человека – алмаз с красивыми гранями, способный вспыхивать яркими огоньками радости и счастья, что только от самого себя зависит найти свет для жизни, чтобы ярко вспыхнули ее грани.

Пятилетняя дочь Нади – свет, дробящийся чудесными вспышками в гранях алмаза ее жизни. И теперь судьба пытается погасить этот свет.

Душные часы ночи Надя секунду за секундой отсчитывала шагами по комнаткам. Четвертые сутки, час за часом, смерть боролась с жизнью за право остановить стук маленького сердца. И эту борьбу наблюдала юная

мать, сжавшаяся от страха, металась возле кровати больного ребенка, теряя разум и мысли... Вечером девочке было особенно плохо; уходя, доктор сказал, что ночью нужно ждать кризиса, но что, конечно, есть надежда на благополучный исход болезни.

Ходила Надя, смотрела, не отрывая глаз, на кровать. Мрачные мысли о судьбе ребенка не покидали мать, невольно с ними пробуждалась в памяти своя жизнь. Девочка, подарок жизни за искреннюю любовь, ребенок – радость первой страсти женщины, отданной тому, кто разбудил в ней всю полноту ласки... Отец ребенка... Он исчез из ее жизни так же неожиданно, как и появился. Надя очень мало знала о нем, знала только, что полюбила его с первой встречи...

Громкие стоны девочки прервали шаги матери; наклонилась к больной, видела, как та шевелила губами, слышала ее шепот, прислушивалась к нему, но не могла понять слов и, не помня себя, не сознавая ничего от усталости, повысила голос, крикнула на девочку, крикнула от растерянности, потому что не могла понять детского шепота.

– Скажи громче. Мама не слышит. Что тебе надо? Не мучь маму.

Испуганными, большими глазками, голубыми, как осеннее небо, девочка смотрела на мать, продолжая невнятно шептать.

– Господи, скажи же хорошенько. Что тебе нужно? Милая, Люсичка, ты хочешь пить? Да? Пить?

Зачерпнула ложкой из стакана воду, поднесла ее к шевелящимся губам ребенка, приподняв голову, влила ее в рот; ребенок, захлебнувшись, закашлялся, вода вылилась на подушку. Слезы заволокли глазенки.

– Вот видишь. Не хочешь сказать маме, что тебе надо. Не хочешь быть хорошей девочкой.

Девочка продолжала шевелить губами и ничего внятного не сказала матери, а когда та вновь ходила по комнате, голубые глаза ребенка следили за ее шагами...

Скоро шепот ребенка стих. Надя, прислушиваясь к хриплому дыханию, уверяла себя, что хрипение уменьшилось. Мать вновь склонилась к ее лицу, заметила, как дрожали веки, обрадовалась, знала, что во сне у нее всегда дрожали веки, облегченно вздохнув, села в кресло возле кровати, вспомнила, что доктор говорил о бреде, после которого должен наступить крепкий сон. И тогда конец кризиса. Девочка спала. Дышала ровно, без хрипоты. Мать верила, что сон принесет ребенку спасение...

Ночь тянулась. Надя слушала монотонное тиканье часов. Слышала, как все тише и тише становилось дыхание ребенка. Откинув голову к спинке кресла, Надя почувствовала усталость, как будто проваливается куда-то вниз, и нет конца этому приятному полету...

Дикие крики рикши, избиваемого пьяным седоком в улочке террасы,

разбудили Надю, вскочив, она не могла сразу понять, что с ней, подошла к окну, закрыла его, чтобы крики не разбудили ребенка.

Утро проникло в комнатки. Посмотрела на часы. Шестой час. Подошла к кровати, наклонилась к ребенку, заметила его синеватую бледность, головка девочки неудобно закинулась назад, в ямочке правого глаза крупная капля слезинки. Притронулась к голове ребенка, хотела поправить подушки, но голова склонилась беспомощно набок, и слезинка скатилась на руку матери.

Вскрикнула мать дико от холодной слезинки, схватила дрожавшими руками тело девочки и вместе с ним рухнула на кровать, поняв, что в нем нет жизни. Поняла, что жизнь девочки уходила в те минуты, когда шептали губы, когда она, повысив на нее голос, не могла понять шепота. Поняла, что, умирая, девочка хотела что-то сказать ей, последний раз почувствовать материнскую ласку.

— Люся!.. – смогла крикнуть Надя и, выпустив остывшее тело девочки из рук, сползла с постели и, упав на пол, потеряла сознание...

Лучи яркого солнца нового душного дня заглянули в комнатки, но его свет был в них не нужен, потому что не сможет согреть от холода смерти маленькое тело голубоглазой, белокурой девочки...

Впервые опубликовано: Северный П. Черные лебеди. Тяньцзинь, 1941.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:

В 10 т. Пекин, 2005. Т. 5. С. 45-50.

КРУЖЕВА ЖИЗНИ

1

Прошло сто лет, как студеные руки смерти оборвали тонкие и пестрые по расцветке нитки, из коих надменная судьба вязала кружева жизни великого Пушкина.

Но нитки крепки, столетие не испепелило и не обесцветило их, а потому по замысловатым рисункам кружева можно восстановить и изучить извилистую тропу рано оборванной жизни поэта.

В кружевах дивными рисунками вывязаны имена трех женщин, и нужно только, затаив дыхание, наклониться над ними и, внимательно всмотревшись, прочесть имена, ставшие бессмертными вместе с именем поэта.

Три имени.

Надежда, Арина и Наталия.

Мать, няня и жена.

2

Кружева жизни Пушкина судьба начала вязать голубыми нитками, и в старинный рисунок синим цветом ввязано имя его матери.

Надежда Осиповна.

Окруженная с малолетства угодливостью родителей, потворством и лестью, взрослой превратилась в женщину капризную, вспыльчивую и властолюбивую.

В дни молодости была необыкновенно хороша собой, а потому все причуды ее как мужем, так и обществом охотно прощались или же совсем не замечались, ибо все прекрасно сознавали, что обаятельная женщина, прозванная «прекрасной креолкой», иной быть не хотела и просто не могла...

В Москве ее второй раз посетило счастье матери, когда разрешилась от бремени долгожданным сыном. И с самых ранних лет сын только и знал, что приносил матери огорчения. Первое огорчение матери была некрасивость сына, все тонкие материнские черты в лице властно заменили черты рода Ганнибалов, и даже вновь выплыла наружу смуглость кожи. Любящая, жизнерадостная мать старательно искала в сыне черты своего характера и не могла их разглядеть из-за ленивой неповоротливости и замкнутости ребенка.

Она несла ему свои ласки, а он сторонился и избегал их, а нежная назойливость матери возбуждала в нем только недовольство. Взаимное непонимание между ними встало крепкой стеной.

Юный Пушкин мать только уважал, боялся и недолюбливал, в детстве за частые наказания, позднее за резкую критику его жизни. С каждым годом все дальше и дальше отходили друг от друга. Мать так и не могла найти ключа к тайнику души своего странного сына... Вся дальнейшая жизнь сына после женитьбы была для матери сплошным испытанием из-за постоянного страха за его судьбу и судьбу его семьи. Но смерть не позволила матери видеть его гибель...

Они любили друг друга каждый по-своему, но никогда не сумели просто сказать об этой любви, чтобы, поняв, почувствовав ее в душах, разом стереть грани отчужденности.

Кто из них виноват в этом?

Гордая мать, не нашедшая ласковых слов о своей любви?

Или не менее гордый сын, не захотевший искать этих слов для матери?

Но они промолчали, не обвиняя друг друга, потому что знали, что в каждом из них жила тайная привязанность и своеобразная любовь друг к другу. А мы теперь знаем, что примирение матери и сына состоялось, примирила смерть, стерла вражду, смерть в могилу уложила их под один камень.

После смерти они стали более близкими, чем при жизни...

Уже в самом начале кружев жизни в голубизну вплетаются две нитки, серебряная и золотая, а из них постепенно связано имя Арина.

Арина Родионовна.

Это ее имя, имя няни Пушкина, крепостной крестьянки, руки которой с молитвенной нежностью приняли на себя заботы о нем с первых дней от рождения.

Матерью называл ее поэт, считал матерью ту, вынянчившую, а не ту, родившую.

Няня Пушкина обессмертила своей жизнью имя русской няни. Только ей суждено было оживить спящую душу поэта; ласка, забота, любовь крестьянки сделали то, чего не могли сделать ласка и любовь матери. Она первая заметила в душе своего питомца искру радости, научила его глаза гордо, смело и непримиримо смотреть в глаза своей судьбы.

Это она вытирала слезы первых детских обид Пушкина.

Это она горячо молилась о его спасении от напастей, когда прослышала о его первой ссылке.

Это она успокаивала страшные мысли его одиночества в Михайловском, когда поэт рвался из ссылки на волю.

Это она помогла ему постичь могущество подлинного русского языка и создать «Бориса Годунова».

Она, старушка седенькая, рассказала ему в долгие, вьюжные ночи старинные сказки, рассказанные впоследствии гением всей России.

Это для него собиралась жить долго-долго, чтобы оберегать единственного Сашеньку, от всего оберегать в жизни, но позабыла старушка впопыхах, что не вечна ее жизнь, и не заметила, как подошла смерть, закрыла веки ее ясных глаз, не позволила ей уберечь его от пули Дантеса.

Но она сделала все, что могла для его покоя, а потому судьба в кружевах его жизни вывязала ее скромное имя древнеславянскими буквами золотыми и серебряными нитками...

Но что это? Ошибка глаз?

Нет, это правда.

В кружевах гамму самых ярких красок прорезала вдруг черная, траурная нитка, и в местах, где краски по своей яркости радостны, связано екатерининской вязью четкое имя Наталия.

Жена поэта.

Наталия Николаевна, московская красавица, и в ее руки всеильный рок отдал любовь и душу бессмертного Пушкина, соединяя их души, венчал их любовь на всю жизнь.

Единственная из всех женщин России, любимая поэтом до самозабвения, любимая до жертвенности, и за нее он не испугался

поставить под дуло пистолета свою жизнь.

Жену Пушкин любил больше жизни, больше стихов, больше всего, что у него было лучшего и светлого.

Она любила в нем только мужа, постоянно ревновавшего и бранившего ее за пустое кокетство. Пушкина-поэта, запиравшегося со своим вдохновением в кабинете, она боялась, боялась, ибо не могла постичь красоту его поэзии, не могла понять, что в стихах и в ней смысл его жизни.

Ей нравилось блистать, нравилось быть женой знаменитого поэта, нравился шум балов; ее угнетала тишина дома, ее никто не научил любить тишину семьи, думать только о покое мужа.

Просто Рок обманул доверчивую молодую красавицу, не помог ей разгадать сложной души мужа, не шепнул ей, что Пушкин не похож на окружающих мужей. Она не успела одуматься, как порог ее дома перешагнула трагедия, одумалась от угара легкомыслия только тогда, когда раненого мужа на дуэли старый слуга, как ребенка, внес в дом на руках...

Смерть не услышала ее криков и мольбы о пощаде его жизни. И после того, как его не стало, когда его тело зарыли в земле в далеком Святогорском монастыре, Рок, торжествуя над ее страданием, надел на ее голову терновый венок виновницы трагедии.

Недавние друзья, льстившие ей на каждом шагу, постарались отпрянуть в сторону, как от страшной преступницы, обливая клеветой, стараясь на ее хрупкие плечи взвалить преступления своих подлых, трусливых душ. И только вздрогнув вначале, она ни одним словом не пыталась снять с себя эти обвинения, гордо шагнула в жизнь вдовы, так же гордо, как вошла в храм в своем подвенечном уборе невесты, шла гордо, потому что знала, что не только она виновата в его гибели, знала, что мертвый снял с нее тяжесть вины, мертвый ни в чем не упрекнул, а понял все, понял и простил.

Вот почему на кружевах судьба, угождая клевете, довязывая ее имя, вплела в конце в черную нитку красную, яркую, как кровь мужа, пролитая на сугроб. Вот почему последняя буква «Я» связана красной ниткой...

Прошло сто лет, мы успели узнать много правды, в нас нет к ней злобы, мы смогли разобраться в жестокой правде жизни и смерти поэта, мы узнали многое о его жене.

Мы знаем многое из того, чего не знали или не хотели знать те, кто положил на ее хрупкие плечи тяжелое бремя страшного обвинения в чужой вине.

Теперь мы не смеем осквернять память ее имени обвинением в его гибели.

Кто смеет через сто лет, обвинить в чем-нибудь женщину, любимую Пушкиным, кто бросит камень в мать его детей, когда он сам,

единственный, кто смел обвинять, верил ей больше, чем себе, и, защищая ее честь от клеветы трусливых анонимов, подставил свою грудь под выстрел Дантеса в сумерки своей последней январской ночи.

Мы помним, мы хорошо знаем, что поэт пролил кровь, чтобы доказать всем, что честь его жены чиста, как снег...

Кружева жизни Пушкина – неповторимые по красоте своего рисунка. Какое счастье, что судьба связала их крепкими нитками, и столетие не смогло испепелить их и оставило нам возможность с замиранием души проследить тропу его жизненных тревог и счастья.

Только при одной мысли холод студит сознание, при мысли, что подосланная Роком смерть так рано, так нелепо обрезала тонкие цветистые нитки недовязанных кружев...

*Впервые опубликовано: Северный П. Черные лебеди. Тяньцзинь, 1941.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 5. С. 64-68.*

ЛЮДИ И БРОНЗА

Декабрьской ночью дождевой тайфун смывал человеческую грязь с каменного панциря Шанхая.

Тайфун выл, как миллионы тоскующих собак, перебирал разноголосую клавиатуру крыш и вывесок.

Мокрый, озябший камень Шанхая слушал саксофонный чарльстон тайфуна, под синкопы которого в пляске бесились облака.

Декабрьской ночью на иностранной концессии в особняке среди сада общипанных платанов было тускло освещено только одно готическое окно. Его свет сонно подмигивал тайфуну...

За стеклами окна была жизнь. Частная жизнь хозяина особняка.

Комната. И в ней сразу чувствуется, что хозяин любит холодную роскошь вещей. Серые тяньцзинские ковры. Столбики иглистых кактусов. Кожаная мебель. На стенах ни одной картины. На выступе горящего камина в канделябре горят свечи. Тепло каминного огня заставляет пламя свечей вздрагивать, и от этой дрожи они плачут стеариновыми слезами. На полированном столе, отражающем в себе все предметы, стоит большой бронзовый бюст Данте. Свет камина играет отблесками металла, и кажется порой, что у Данте шевелятся брови и губы.

Бронзовый Данте думает о Беатриче... В комнате встреча мужчины и женщины.

Женщина молода, ее лицо нельзя назвать красивым, в гладкой прическе стриженных волос – куржа седины. Она в строгом черном платье сидит в кресле и курит.

Мужчина стоит на одной ноге, опершись на костыли, на фоне окна, заливаемого дождем. Похож на спящего в болоте журавля. Его лицо строго, одухотворено уверенностью, в глазах покой сознания своего «я».

Часто в тишину комнаты врываются отрывки саксофонных мелодий тайфуна, и лица трех – два живых и одно бронзовое – по-разному к ним прислушиваются.

Женщина говорит спокойно:

– Итак, мы встретились, наконец, чтобы посмотреть друг на друга и расстаться. Эта встреча опять неповторима. Первая встреча после двенадцати лет. Мы на разных тропах. Ты – эмигрант. Я – жена коммуниста. Ты известный хирург. Новый триумф русского в эмиграции... Для встречи с тобой у меня час времени, и за этот час я хочу рассказать тебе о себе с той осенней ночи, когда ты от меня ушел. Тогда ты ушел во имя идеи о Белом Китеже, во имя ее ты отказался остаться со мной. Я осталась одна в России и слушала хороводы революционного Октября, затерялась среди торжества страны, влюбленной в кровь. И в то время, когда ты шел по снегам, теряя веру в победу, я, голодая, приучала себя к новому быту.

Жуткий вьюжный Октябрь улыбнулся мне неожиданно накануне часов, когда я была готова прервать свою жизнь от тупой усталости.

Пришел человек с давно небритым, обветрившимся лицом в шинели солдата. Пришел промыть гнойную рану в руке. Крестьянин – командир полка красной армии. Перетерпел боль перевязки и, благодарный, крепко пожав мою руку, ушел. Я его почти не запомнила после этой встречи...

Рухнул ваш Китеж, стихла война, ваши страдания занесены снегом.

Теперь я жена того, заходившего перевязать рану. Ты первый, он второй.

Твоя красивая сказка любви растворилась в суровой быти. Ты создал из себя хирурга. Я создала из него дипломата, отшлифовав самородок его изумительного ума. Долгие годы я помогала ему вырасти в человека, заставила его стать выше тех, кто сманил его, уставшую от вшей и смерти, душу солдата на тропы революции.

Он понял, что со мной ему легко, и он мне предан. Он умеет ценить меня. В нем есть благородство. Он знает о нашем свидании, знает, кто ты для меня.

Все это я создала из своей жизни без тебя. Но ты мне дорог. Тебя и только тебя я люблю. Люблю настолько, что научила его ходить твоей походкой, говорить с твоими интонациями, гореть, мыслить и всего достигать смело и дерзко.

Я научила его жить мужской смелостью, помогшей тебе, заставившей безногого офицера превратиться в известного хирурга.

Когда я узнала, что встречу тебя в Шанхае, я решила покинуть его и

остаться с тобой. Но не смогла этого сделать, когда поняла, что в его жизни я режиссер, он только талантливый актер. Постановку его жизни видного партийца веду я и по своим мизансценам... Я поняла также, что мой приход к тебе – ломка твоей одинокой, суровой жизни.

Многое, что ты пережил, сделало из тебя одиночку, только горящего, не согревающего, идущего вперед, пусть даже к гибели.

Итак, я режиссер, он актер, ты зритель. Но оба вы в моих руках...

Наша встреча сегодня – короткий антракт. Пьеса продолжается... И, как знать, может быть, пятый акт мы будем доигрывать с тобой вдвоем. Понимаешь? Одни без него, без всех. Тихо и хорошо нам будет тогда. Так же тепло, как двенадцать лет тому назад в моем доме... И будущую тишину я назову тогда одним старым словом – любовь.

Вдруг оба услышали с улицы зовущие гудки автомобиля.

Женщина встала. Стройная, гибкая.

– Это за мной.

Подошла к мужчине, провела рукой по его голове.

– Антракт кончен. Поцелуй меня. Ты меня любишь? Ты не забыл и не забудешь меня?

Мужчина ответил не сразу и почти шепотом:

– Мария, я тебя никогда не забуду. Мы скоро снова увидимся, и тогда ты не уйдешь в дождливую ночь...

Женщина ушла. Мужчина пошел провожать. Скоро вернулся. Плотно закрыл за собой дверь, наглухо задернул шторы на окне. Подошел к столу, наклонился к бронзовому Данте и громко спросил:

– Ты видел, Данте, мою Беатриче? Ты, конечно, все слышал, что она говорила?

Декабрьской ночью человек и бронза слушали тайфун, пронесившийся над Шанхаем.

Впервые опубликовано: Северный П. Черные лебеди. Тяньцзинь, 1941.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:

В 10 т. Пекин, 2005. Т. 5. С. 51-53.

**Сергей Федорович
СЕРГИН
(1910-1934)**

Поэт Сергей Сергин (настоящая фамилия Петров) родился в 1910 г. предположительно в городе Петербурге. В 1919 г. вместе с родителями эмигрировал в Харбин. Окончил гимназию с золотой медалью и Харбинский политехнический институт (1932), получив специальность инженера железнодорожного транспорта. Участник литературного объединения «Молодая Чураевка». Печатался в газете «Чураевка», в журналах «Рубеж», «Парус». Покончил с собой 6 декабря 1934 г. в харбинском отеле «Нанкин» вместе со своим другом Георгием Граниным. Похоронен на Новом кладбище Харбина. Посмертно его стихи были напечатаны в коллективном сборнике «Излучины» (1935).

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 483-484.

Перелешин В. Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 46-47.

Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 694.

Хисалутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 277.

**ЯД
Миниатюра**

На склянке было написано – «Стрихникум нитрикум 3,5 гр.», сбоку на наклейке с другой надписью – на незнакомом языке – виднелись какие-то белые фигуры, похожие на пятна.

Вера решила, что это ангелы.

Эта вещица ее больше не пугала – она к ней привыкла, когда нужно было достать что-нибудь из комода, то склянка всегда попадалась под руку.

Приготовления были закончены – на столе стоял стакан с водой и лежало яблоко. Собственно, можно было обойтись без него – но какие-то неясные воспоминания заставили Веру купить яблоко на последние деньги.

В какой это сказке злая мачеха приносит девушке отравленное яблоко? – Не вспомнить, когда надо, никогда не вспомнить.

Неуверенно высыпала половину всего в воду – так ли надо это делать, не лучше ли проглотить в сухом виде, а потом запить?

Села на кушетку и взялась за яблоко.

За дверью простучали каблуки – хозяйка приближалась к комнате.

Вера метнулась к незакрытой двери и закрыла вход в комнату.

– Вера, мне тяжело вас беспокоить, но сегодня двадцатое число, скоро конец месяца, а вы...

Вера улыбнулась бледной улыбкой:

– Подождите два дня, авось достану.

– Все авось да авось, а денег нет. Чтобы девушка в двадцать лет денег достать не могла – это мне совсем непонятно.

Ушла, злобно стуча каблуками.

После этого визита последние колебания рассеялись сами с собой – защелкнула дверь, взяла стакан.

Вот он – конец.

Но стало страшно, до боли страшно – выплеснула все на пол через плечо и, повозившись с замком у двери, не оглядываясь, выбежала из комнаты.

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1932. №4. С. 1.

ДЕТСТВО

Мика впервые услышал о смерти, когда ему было пять лет. Дедушка его, живший в мезонине двухэтажного дома на екатерининском канале, захворал.

По воскресеньям няня обдергивала на Мике костюмчик, приглаживала щеткой длинные волосы и шла с ним по скрипучей лестнице наверх. Дедушка лежал на кровати, белая его борода, такая мягкая наощупь, ласкала Микино лицо, дедушка улыбался, но няня поспешно подхватывала Мику на руки, приговаривая: «Что ты расшалился сегодня!», – и уносила. Однажды вечером, когда нужно было ложиться спать, няня повела Мику не в детскую, а во флигелек во дворе и уложила на диване в пыльной, давно не проветривавшейся комнате. На другой день мама с заплаканными глазами сказала: «Дедушки больше нет, дедушка умер», – и действительно, Мика его больше не видал. От этой смерти остался в памяти отъезд в другой город, в котором дедушка родился и где его должны были похоронить.

Мика запомнил солнечный день, в который уезжали, дам, говоривших маме: «Милая, крепитесь, – он свое прожил, вспомните о детях», – мама при этом начинала плакать, дамы принимались искать флакон с солью и поспешно уходили из купэ, оставив цветы или коробку конфет. Мика запомнил, как мимо вагона проносили длинный, блестящий, суживающийся к концу ящик, за которым шли папа, Микины братья и знакомые дамы, поддерживающие маму.

Лучи солнца разбивались об этот ящик, становилось нестерпимо светло, Мика жмурился и принимался за конфеты. Было весело, солнечно, легко – пришла няня, конфеты отобрала, опустила шторы, в купэ стало темно.

«Няня закрыла солнце», – подумал Мика. Это была первая смерть, прошедшая около него. Вскоре няню сменила бонна. Мика выросал из костюмчиков, бонну сменила гувернантка, из кубиков складывались

буквы, цифры в книжках со знакомыми картинками, появились французские слова, выписывались столбики неправильных глаголов, решались задачи на все четыре действия. Микины волосы остригли, из детской унесли маленькую кровать.

Наступила революция. Этим именем папа назвал то непонятное, что творилось тогда на улицах. Раздавались выстрелы, мимо окон проходили толпы народа с флагами, проезжали грузовики с матросами и девушками в красных бантах. Мама запрещала Мике подходить к окнам, говорила: «Кто их знает, а вдруг бросят камень или гранату какую-нибудь!», – и начинала взволнованно говорить со старшими братьями по-французски о том, что у горничной сегодня ночевал какой-то солдат, потом, вспомнив, что Мика понимает, переходила на немецкий язык и, заметив, что и тут Мика не спускает с нее внимательных глаз, махнув рукой, выходила из комнаты. Папа вскоре уехал в Сибирь, условившись встретиться с мамой в Иркутске через полгода – за это время Мика должен был сдать экзамены во второй класс гимназии, а мама продать обстановку и библиотеку. Братья уехали на фронт, письма от них приходили все реже и, наконец, прекратились. Обстановку и библиотеку никто не покупал. «Вы с ума сошли, как можно покупать сейчас что-нибудь!», – говорили маме. Деньги таяли, сообщение с Сибирью прервалось, в дом гимназии вселили приют для детей-сирот мировой войны. Мама куда-то ходила, о чем-то хлопотала. «Что же делать, гражданка, – говорили ей, – мы живем в эпоху великих преобразований». Придя домой в опустевшую, гулкую, ставшую вдруг нежилой квартиру, мама восклицала: «Подумать только – гражданка!», – и долго вздыхала на кухне, разбивая табуретку на щепки для самовара. Стекла окон звенели от выстрелов и вспыхивали отблеском пожара.

Два следующих года были самым фантастическим временем в отрочестве Мики. Именно в эти годы в нем родилось то чувство, которое его потом никогда не покидало – чувство бренности жизни, странным образом связанное с другим – повторяемости, превращения. Казалось, что все это было уже однажды – и маленький приуральский город, куда в поисках сытой жизни переехала мама с Микой, и житье в коммунальной квартире с общей для всех столовой, и ученье в школе первой ступени, где по утрам руки стыли от холода, а к полудню становилось нестерпимо жарко от накалившейся до красна железной печки, и прогулки с Катей весной на рассвете за подснежниками, а потом за ландышами, которых было много в оврагах за городом.

Катя быстро перебегала с одного места на другое, охалка ландышей все увеличивалась у нее на руках; наконец, устав, она прижимала ландыши к лицу, капли росы, дрожавшие на широких листьях, повисали у нее на ресницах, темные волосы падали на лоб, она смеялась, отбрасывала их

назад, и белые цветы выскользнули из рук, зацеплялись за платье, и бесшумно падали на землю. Мика поднимал разбросанные цветы, Катя смеялась и, вдруг замолчав, доставала зеркальце и поправляла прическу.

После этого она, напевая, принималась составлять из ландышей букеты, перевязывая их широкими цветными лентами. Весело переговариваясь, они отдыхали некоторое время. С высокого склона был виден город – крыши, островки в листве, одинокая башня-каланча. За городом поблескивала полоса реки, за ней синели леса – а неподалеку, правее, на том же склоне, где сидели Катя с Микой, выступало еврейское кладбище. Возвращаться в город надо было по дороге, которая, огибая кладбище, круто опускалась вниз. Зимой отсюда скатывались на санках, веселый говор многих голосов звучал здесь целый день, весной же было пустынно и тихо. Отдохнув, Катя вставала и говорила: «Мика, кто первый добежит вон до того дерева!», – и тотчас, схватив ландыши, бросалась вниз по дороге. Со смехом обгоняя друг друга, они бежали книзу. Дерево оставалось позади. Старик с еврейского кладбища, попыхивая махоркой у ворот, смотрел, как высокая девушка в розовом платье и худенький мальчик в косоворотке неслись по дороге, рассыпая цветы и наполняя ласковую, насторожившуюся тишину шумом и смехом. Так они бежали вниз, где останавливались перевести дыхание.

Этой остановкой Катя пользовалась, чтобы поправить растрепавшиеся волосы, поймать улетающее платье, и с чинной степенностью, сквозь которую изредка прорывались взрывы смеха, перебивающие друг друга слова, они вступали на улицы города. Кате было девятнадцать лет. Она жила с замужней сестрой в той же квартире, что и Мика, по утрам ходила на службу, по вечерам читала, гуляла с Микой и танцевала – но, конечно, уже не с ним. Мама охотно отпускала Мику с Катей, так как сама была всегда занята – утром на службе, вечером на дополнительных занятиях или на заседаниях. Мика утром ходил в школу. Занятия шли неровно, нерегулярно, учебников не было, вспыхивали эпидемии, и учеников распускали, потом собирали, но уже не всех – трудно было учиться в те годы. Бывало, учитель объясняет урок по географии, стучит мелом по доске, ученики перешептываются между собой, а Мика слушает, запоминает. «Итак, – говорит учитель, – параллельные прямые никогда не встречаются, сколько бы мы их не продолжали». «А как узнали, что они не встречаются никогда?» – спрашивает Мика, для которого все линии, треугольники, все математические символы были полны значения, жили своей особой, понятной жизнью. Учитель оборачивается, вздрагивает, мел в его руке ломается, а в Микином дневнике мама прочитывает в субботу: «Неуд. по поведению за дерзость в классе».

Дома Мика много читал, выбирая наудачу книги из шкафа.

Случалось, что его окликала Катя и заставляла читать вслух – так он прочел с ней «Неточку Незванову», «Первую любовь». Тайна мужчины и женщины была ему еще неясна, но какое-то смутное представление возникало у него в голове от этих книг, от случайно услышанных разговоров Катиной сестры с мужем. Катина сестра много плакала – муж ее всегда возвращался поздно с бегающими глазами, и она пальцами, исколотыми от штопки, шарила у него по карманам, рылась в столе, рвала какие-то записки. За Катей стал часто заходить по вечерам ее новый сослуживец – Семен Лазаревич, горбоносый коммунист, ни с кем не разговаривавший, никого не замечавший, – казалось, у него были глаза только для одной Кати. Они куда-то уходили. Однажды Мика играл на балконе, идущем вокруг дома, – он ловил зеркалом солнечные лучи и направлял их в комнаты, выходящие на балкон. Пробегая мимо окон, он заглянул в Катино окно – вздрогнул, пошатнулся, зеркало упало и разбилось. Катя сидела на коленях у Семена Лазаревича, и он медленно, настойчиво, молчаливо целовал ее обнаженные руки, поднимаясь все выше и выше и, наконец, приник, впился в ее тонкую, загорелую шею. Катя услышала шум и подбежала к окну. Мика собирал осколки.

– Доигрался! – раздраженно, со злорадством сказала Катя, закрывая шею руками.

– Не говорите маме про зеркало, – сказал Мика.

– А ты ничего не говори сестре, – шепнула Катя и покраснела.

С этого дня что-то изменилось в Микином отношении к Кате. Он стал посматривать не нее внимательней, не так, как прежде, – как если бы он смутно ожидал, что все поцелуи, все прикосновения должны были оставить на ее теле какой-то след. С этого дня Катя перестала гулять с Микой, забросила чтение, возвращалась поздно.

С этого дня Катя всегда завешивала окно. Просыпаясь на рассвете, Мика часто слышал на улице под окном ее низкий сильный голос, ее смех – это она, возвращаясь откуда-то, прощалась с Семеном Лазаревичем. После одного такого возвращения Катина сестра, которая теперь поджидала по ночам и Катю, и мужа, встретила ее с упреками в столовой за чаем. «Что вы со мной делаете! – плакала она, – раньше он, а теперь и ты... Девчонка с мужчиной по ночам». – «Довольно, – оборвала ее Катя. – Я ухожу к нему, я выхожу за него замуж». – «Как, за Семена Лазаревича? Да побойся Бога – он здесь только на три месяца, он старше тебя на десять лет, он...». – «Хорошо, что не моложе на десять», – плоско сострила Катя и сразу же рассердилась за это на себя и на сестру. «До каких глупостей с тобой можно договориться, – сказала Катя, проливая кипяток на стол мимо стакана. – Не путайся не в свое дело», – и вышла из комнаты, задев по дороге стул.

В этот же вечер к дому подъехал Семен Лазаревич на извозчике, вынес из Катиной комнаты чемодан с вещами – за остальными Катя хотела

приехать завтра сама – и, слегка согнувшись, как бы пряча лицо, прошел мимо Катинной сестры. Катя вышла, ни с кем не попрощавшись, и только уже с извозчика взглянув на дом, улыбнулась Мике, высунувшемуся из окна. Мика заглянул в Катину комнату – над вывернутыми, наполовину пустыми ящиками комода стояла Катина сестра со странно блестящими, сухими глазами. Она стояла совершенно неподвижно, и трудно было сказать, сколько времени она простояла уже на этом месте.

От нее веяло холодом спокойствия, особым холодом, который сковывает людей, когда все слезы выплаканы, когда совершившееся непоправимо, на ее ладони блестел тоненький золотой крест на серебряной цепочке. Когда Мика вошел, она не вздрогнула, не шевельнулась, она говорила, словно продолжая начатый разговор с этим крестом, с этой тишиной: «Катя, эх, Катя!... А ведь я ее крестила...». Мике стало неловко – на цыпочках, стараясь не шуметь, он выскользнул из комнаты.

Вечером мама вернулась со службы особенно усталой, и Мика лег спать раньше обыкновенного. Ночью он проснулся – из глубины квартиры доносились какие-то голоса, то громкие, то стихающие до шепота, кого-то провели по коридору, где-то близко упал стул. Из столовой в щель под дверь пробивалась полоска света. Мама зашевелилась на своей кровати, что-то сквозь сон пробормотала, и снова раздалось ее ровное дыханье. Голоса смолкли.

Кто-то прошел в столовую, донеслось бульканье воды, наливаемой из графина, потом удаляющийся скрип шагов. Полоска света под дверь исчезла. «Что-то случилось», – лениво подумал Мика, засыпая.

Проснулся он рано от громкого разговора в столовой. Мамина кровать была пуста. «В час она уже была дома», – говорила Катина сестра каким-то необычным, окрепшим голосом. «Не сказала ли она вам, почему она ушла от него ночью? Это все-таки странно...», – неуверенно спрашивал незнакомый мужской голос. «В первом часу я услышала слабый стук, подошла к двери, открыла. Она вошла и тут же упала ко мне на руки. Я протасила ее до кровати, потом сходила за водой. Когда она пришла в себя, я спросила о том, что случилось. Она ответила: «Не спрашивай, молчи». Только эти слова я от нее и слышала. Лучше вы мне скажите, когда ЭТО случилось?»

«Соседи говорят, что это было в третьем часу ночи. Они прибежали на выстрел, пока ломали дверь, бегали за врачом, в милицию – время шло. Смерть наступила мгновенно». – «Это ужасно, – сказала Катина сестра. – Похороны завтра?». – «Нет, сегодня в три часа дня. Дни теперь летние, теплые. Лда не успели достать, а голова сильно...»

Дверь из столовой открылась, разговор перебился, вошла мама, совершенно одетая, через руку было переброшено мокрое, свернутое в

виде компресса полотенце. «Мика, – сказала она, – Катя вернулась, ей нездоровится, ты к ней сегодня не ходи. Чай выпьешь здесь, в столовую пока нельзя». Когда мама ушла на службу, Мика взглянул в столовую – там уже никого не было, на столе стояли неубранные чашки. С кухни не доносилось обычного грохота кастрюль и перемываемой посуды – казалось, что в доме все вымерли.

Мика потихоньку подошел к Катиной двери, она была неплотно притворена, и он заглянул в комнату. Катя лежала на кровати лицом к стенке. Поверх одеяла было накинуто летнее рыженькое пальто. Услышав шаги, она, не оборачиваясь, сказала: «Пить». Мика взглянул на стол – там стоял стакан с чаем, он взял его и подошел к кровати. Катя повернулась, одеяло скатилось с ее плеч. Лицо ее было страшно-серое, похудевшее, оно казалось увядшим. Волосы падали неживыми прядями, побелевшие, сухие губы были сжаты. Казалось, что она приходила в себя после тяжелой болезни, после бреда. Неподвижные глаза взглянули на того, кто ей подавал стакан, – она вздрогнула, оттолкнула Микину руку и быстро сказала: «Уходи, уходи».

В третьем часу Мика пошел к месту Катиной службы, поднялся вверх по лестнице. В большой комнате, в красном уголке, под портретом Ленина, в красном гробу среди цветов лежало тело покойника. На нем был серый костюм, в котором Мика видел его вчера; на груди горбом топорщилась крахмальная рубашка. Мика никогда не видал его в рубашке с крахмальной грудью – в нем было что-то торжественное, необычное. Верхняя часть лица была закрыта полотном, виднелись черные усы, гладко выбритый подбородок. Мика, не отдавая себе отчета, почему он это делает, ткнул пальцем в крахмальную рубашку – горб опустился, осел, словно покойный выпустил, наконец, долго задерживаемый воздух. Мике стало неловко – он быстро оглянулся, в комнате, кроме него, были еще две женщины, они стояли в стороне, разговаривая, и на Мику не обращали никакого внимания. Он в последний раз взглянул на человека в гробу – ничего страшного в нем не было, была только какая-то тайна, которая прояснилась бы, вероятно, если бы можно было снять эту белую повязку, заглянуть в глаза. Глаз не было, лба не было – была белая повязка и под ней темная, последняя тайна.

Женщины, переговариваясь, подходили к гробу. В одной из них Мика узнал сторожиху этого дома – она как-то приносила Кате на дом бумаги.

– На столе было вино хорошее, довоенное; он ей ни в чем не отказывал, в комнате был беспорядок, а кровать-то была несмята, – говорила сторожиха. – Что же, ее, поди, затаскают теперь? – сочувственно качнула головой другая женщина.

– Ничего ей не будет – он записку оставил, что никого не винит. И по всей-то комнате цветы стояли.

– Уж мы их сюда потом таскали, таскали...

– Дела-то какие, – вздохнула женщина, взглянув на гроб, – такие молодые. И с чего бы это?

– А кто их знает? – с неудовольствием сказала сторожиха, строго посмотрела на другую женщину и ушла.

Комната быстро наполнялась. Тут было много сослуживцев покойного, которых Мика знал, встречая иногда у Кати, были и просто любопытные.

К гробу подходили женщины, клали цветы, венки позванивали своими металлическими листьями. Когда комната была набита до отказа, худощавый молодой человек, распорядившийся похоронами, деловито выкрикнул где-то за дверями:

– Расступитесь, граждане, дорогу, дорогу!

С ропотом неудовольствия толпа подалась насколько возможно. Мика, стоявший недалеко от гроба, вытянул шею – по образовавшейся дорожке походкой автомата к гробу приближалась Катя.

На ней было ее рыженькое пальто, черная шапочка была надвинута на самые брови. Задохнувшись от изумления, Мика вглядывается в нее – такой он ее никогда не видал. «Как ее отпустили одну?», – подумал он и тотчас почувствовал, что эту Катю нельзя было не пустить. К гробу подходила Катя. Внешне она выглядела по-старому, – только щеки ее и губы были подкрашены – что-то неуловимо новое чувствовалось в ее походке, в ее устремленности. В том, как она, ни на кого не глядя, встала в ногах гроба. Дух захватывал при взгляде на нее, но чувствовалось, что надо смотреть только на нее, что нельзя не смотреть в эти то вспыхивающие, то потухающие глаза. По комнате пробежал шепот удивления. Женщины зашушукались, закачали головами. Глаза Кати скользили по красному гробу, по человеку в сером костюме и остановились, наконец, на белой повязке. Мика не спускал немигающих глаз с ее лица. Вдруг он увидел, как в ее глазах промелькнуло что-то невыразимо страшное, и стал протискиваться ближе к гробу – он подумал, что она сейчас упадет, закричит или сбросит цветы с груди мертвеца. Но ничего не случилось – Катя провела рукой по лицу, как бы стирая то страшное, ей одной известное, и отошла от гроба.

Когда гроб вынесли, и толпа хлынула за ним, Катя обернулась, увидела Мику и поманила его к себе. Держа его крепко за руку, Катя присоединилась к процессии. По знакомой дороге они шли за гробом под звуки марша на еврейское кладбище. Солнце стояло высоко, было тепло и тихо. Когда гроб был опущен в могилу, когда были выслушаны речи, в который отмечались заслуги покойного и порицался «этот досадный срыв», наступила неловкая тишина. Все чувствовали, что расходиться сейчас, ничего больше не добавив, не приобщив Катю к совершенному,

нельзя и в то же время не знали, что надо сделать.

Женщины мялись из-за той неопределенности, которая связывалась с Катей, мужчины боялись вызвать недовольство своих жен, подойдя к «этой девчонке». Одна Катя, казалось, ничего не сознавала или, быть может, сознавала все ярче всех. Она сидела на скамейке недалеко от могилы и всматривалась в надпись на чьем-то памятнике.

В это время из толпы решительно отделилась одна женщина – полная, немолодая, начальница того отдела, где работала Катя. Машинально поправляя пенсне, она подошла к Кате. «Товарищ, я должна засвидетельствовать...», – начала она, не глядя Кате в лицо, но вдруг взглянула, смешалась, умолкла, пожалала Катину руку и отошла. Положение определилось, тон был задан. С сочувственными улыбками к Кате подходили, вздыхали, пожимали руку, а она молча благодарила всех наклоном головы, взмахом ресниц.

Катя с Микой уходили с кладбища последними. Сторож, не ждавший в этот день больше никого, запер за ними кладбищенские двери на ключ. Они разом почувствовали, что кладбище и та могила – позади, за стеной, за дверями, в которых тихо позвякивали болтающиеся ключи. Далеко внизу виднелся город, но они смотрели не на него, а на те лужайки, те поляны... «Ландыши», – скорее почувствовал, чем услышал Мика. Катя крепко сжимала его руку.

Они медленно пошли вниз по дороге. Вдруг Мика услышал, что Катя дышит часто, неровно. Он взглянул на нее – ее губы чуть-чуть дрожали.

– Я его слишком мало любила, – сказала она. – Я его не умела любить...

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1934. Октябрь. С. 2-4.



**Ольга Алексеевна
СКОПИЧЕНКО**
(1908-1997)

Поэтесса и писательница Ольга Скопиченко (в замужестве Сухатина, затем Коновалова) родилась 25 мая 1908 г. в г. Сызрани Симбирской губернии в семье офицера, участника Первой мировой и Гражданской войн. Стихи начала писать в возрасте 7 лет. В годы Гражданской войны некоторое время жила в Троицке. В Харбин приехала с отступающими военными частями в 1920 г. Училась в харбинской русской гимназии, затем на Юридическом факультете. Печататься начала с 1925 г. В 1926 г. выпустила свой первый сборник стихов «Родные порывы». В 1928 г. переехала в Тяньцзинь, где вышел ее второй сборник «Будущему вождю». С 1929 г. жила в Шанхае, работала на табачной фабрике. В 1932 г. выпустила сборник «Путь изгнанника». В разные годы сотрудничала в газетах «Русское слово», «Шанхайская Заря», «Слово», «Время», в журналах «Рубеж», «Парус», «Прожектор». В 1948 г. эвакуирована на о. Тубабао на юге Филиппин, где прожила 2 года в лагере русских беженцев. С 1950 г. жила в Сан-Франциско, занималась литературной и общественной деятельностью, являлась сотрудником газеты «Русская Жизнь», участвовала в кружке поэтов и писателей «Литературные встречи». Изредка печаталась в изданиях «Грани», «Возрождение», «У Золотых Ворот». Выпустила сборники стихов «Неугасимое» (1953), «Памятка» (1982). В 1990 г. потеряла зрение. В 1994 г. вышла ее итоговая книга «Рассказы и стихи», включившая 43 рассказа и стихотворения разных лет. Скончалась 12 мая 1997 г. в г. Сан-Франциско.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 486-487.

Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 695-696.

Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.

Хисамудинов А.А. Российская эмиграция в Китае, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 283-284.

ШЕСТЬ КОЛОМБИН

Из жизни Харбина прошлых дней

— Голубчик, Иван Петрович, по совести вам скажу: Лидочка моя – прелестная девушка, но не пара она вам... Ну, какая Лидочка жена? У нее ветер в голове, ей еще в куклы играть в пору. Прямо не верится порой, что ей двадцатый год пошел. Может, потом – через годик, другой остепенится, в разум войдет.

— Так значит, вы мне отказываете?

— Не отказываю я, а по-стариковски советую, голубчик. Я бы душой рад видеть вас своим зятем. Вы – человек солидный, с положением, а Лидочка – стрекоза, ветерок...

— А я уверен, что замужество переделает Лидию Михайловну. И, несмотря на ваши слова, милейший Михаил Иванович, я еще раз прошу у вас руки вашей дочери.

— Ну, что же, ну, что же... Я, видит Бог, рад. А Лидочка-то согласна?

– С Лидией Михайловной я еще не говорил, но имею смелость думать, что я ей не безразличен... – и Иван Петрович приподнялся с кресла. – С вашего разрешения, я сию минуту пойду к Лидии Михайловне.

– Давай Бог, давай Бог! А я душой, душой рад.

Героиня этого разговора, Лидия Михайловна, хорошенькая худенькая брюнетка, сидела у себя в комнате и сосредоточенно рисовала что-то, не удававшееся ей, о чем свидетельствовали груды скомканной, испорченной бумаги на полу.

На решительный стук в дверь, она даже головы не повернула, а бросила звонко:

– Войдите! – И, не отвечая на приветствие вошедшего, сразу забросала его вопросами:

– Иван Петрович, что лучше мне пойдет – костюм цветочницы или пьеретты?.. Я думала – желтое с голубым будет оригинально, а на рисунке выходит грубо... Ну, что вы на меня уставились? Я еще ни на одном святочном маскараде не была, а завтра студенческий бал-маскарад. Нужен костюм, и поскорее...

– Лидия Михайловна, я к вам по делу... И по очень важному – и для вас, и для меня.

– По делу? Любопытно! А мне казалось, что у инженеров ни с кем важных дел не бывает, кроме как с подрядчиками да с конторами... Ну, я вас слушаю.

Звягинцев внимательно посмотрел на девушку, как бы изучая ее лицо, и начал решительным и спокойным тоном:

– Лидия Михайловна, я пришел просить вас оказать мне честь согласиться быть моей женой. Насколько я знаю, я вам не безразличен... Батюшка ваш уже дал согласие на наш брак. Мое материальное положение дает мне право рассчитывать на хорошую, вполне обеспеченную, спокойную жизнь... От ваших слов зависит дальнейшее ваше и мое счастье.

В удивленных глазах Лидочки попеременно засветились растерянность, гнев и задор, она откинулась на спинку стула и вдруг расхохоталась весело и звонко и, не давая опомниться, заговорила быстро и горячо:

– Да помилуй Бог, Иван Петрович, – кто ж так предложение делает, – точно протокол какой-то! И откуда вы взяли, что небезразличны мне? Постойте, постойте, не обижайтесь! Уж если кто и должен обижаться, так это я: зачем вы с папой говорили? Что это, папа замуж выходит, что ли? Как это у вас все просто и обдуманно: и материальное положение, и небезразличен... А впрочем...

Видимо, какая-то шаловливая мысль мелькнула в ее кудрявой головке, и она еще раз весело рассмеялась.

– А впрочем... Предложение ваше я принимаю... Подождите, подождите, рук не целуйте, рано еще... Принимаю, но с одним условием: вы должны меня угадать...

– Как угадать? – опешил Иван Петрович.

– Очень просто... Завтра на маскараде нас будет шесть коломбин... Угадаете меня – отвечу согласием, хоть на другой день свадьба. Нет, ни за что не выйду за вас замуж...

– Но помилуйте, Лидия Михайловна, мы же не в средние века живем, чтобы устраивать какие-то таинственности с переодеванием. Может быть, еще похитить вас прикажете?..

– Ну, на похищение у вас и фантазии не хватит, хотя это было бы оригинальнее вашего трактата о браке. А относительно средних веков вы совершенно правы, Иван Петрович: у нас не средние века, а я – не теремная боярышня, чтобы свататься и просить моей руки у папы... Я даже вам скажу, кто будут остальные коломбины: Танечка, конечно, раз; Зина – два, Леля Зверкова и Соня Медведева – четыре, а шестая... шестая... Ну, шестую придумаю, еще интереснее будет. Угадаете – ваше счастье, нет – ни папа, ни тетя не помогут... А теперь уходите, – мне надо сговориться с подругами, костюмы-то еще мастерить надо! – и Лидочка почти вытолкала из своей комнаты обескураженного жениха.

Иван Петрович шагал домой совершенно недоумевающий. Что угодно ожидал он получить в ответ, но угадывание на маскараде никак не могло придти к нему в голову.

«Воображаю, каким дураком буду я слоняться завтра по залам, заглядывая под маски... Черт знает, какую ахинею придумала моя будущая жена! Характерец у нее, действительно, не из приятных... Ну да ничего, под моим влиянием из нее выработается примерная жена и хозяйка», – и, успокоившись на этих мыслях, Иван Петрович бодро засвистал что-то очень веселое.

Комната была завалена лентами, газом, шелками... Востроносенькая портниха Паша, придворная Лидочкина швея, ползала по полу, подкальывая, кроя, сшивая. Звякали ножницы, молодо и весело звучали голоса. Все Лидочкины подружки живо откликнулись на веселую идею «шести коломбин», тем более что Лидочка заявила им, что от этого вечера зависит ее, Лидочкино счастье.

Заинтересованные приятельницы строили ряд самых любопытных предположений, и все сходились на одном: здесь не без Сережи Вильина.

Ленты. Иголки. Запах горячего утюга. Тонкий аромат духов. Взрывы хохота... Михаил Иванович несколько раз стучал в дверь комнаты, видимо,

пытаясь что-то спросить у дочери, но Лидочка только махала руками и встряхивала курчавой головкой:

– Потом, потом, папка!

Ровно в 9 двери торжественно распахнулись, и перед взором изумленного Михаила Ивановича появились шесть черных коломбин – все, как одна, одинаковые черные маски, желтые жабо, низко надвинутые на брови черные колпачки...

– Ну, и затейницы! Да шесть-то вас откуда? Ну, Лида, Таня – две, Зина, Соня – четыре, Лелечка пять, а шестая-то кто?

– А это уж, папочка, наш секрет. И ужинать в масках будем, чтобы даже ты не узнал.

– Ты, Лидочек, голос перемени, – по голосу тебя кто угодно узнает.

– А я буду басом говорить, отлично выйдет!

Уже в коридоре, укутывая дочь в шубку, Михаил Иванович не утерпел и шепнул на ухо:

– Лидочка, так как ты с Иваном Петровичем, а?

– Завтра, папочка, завтра! – уже за дверью прозвенел веселый голосок.

Михаил Иванович вздохнул и прошаркал в кабинет почитать да подремать у камина.

Конечно, Иван Петрович не маскировался, Иван Петрович на маскарады не ездил, – это не входило в программу его хорошо продуманной жизни.

– В первый и в последний раз!.. – ворчал он, прислонившись к колонне и ища глазами коломбин в этой разноцветной прыгающей, смеющейся толпе.

Молодежь встретила шесть одинаковых – черных с желтым – фигурок овациями и аплодисментами. Завертели в танце. Засыпали конфетти. Закружили в пестром хороводе.

В этом хороводе закружился и Иван Петрович. Коломбины мелькали одна за другой, буквально не давая ему ни минуты, чтобы взглядеться, узнать знакомые черты лица под шелком маски.

«Вот эта?..» Но золотистая прядь, выбившаяся из-под колпачка, снова зачаровала Ивана Петровича.

Сколько раз ему казалось, что в разрезе маски блеснул лукавый огонь Лидиных глаз, но другие коломбины увлекали его в хоровод, и снова несчастный жених терялся и не мог решить, – которая?..

К 12 часам он отчаялся окончательно... И вдруг вспомнил Лидино любимое кольцо, камео, которую она, не снимая, носит на руке... Какая прекрасная примета!

Он снова стал поочередно приглашать на танец черных коломбин, стараясь незаметно дотронуться до руки в черных перчатках.

Одна... вторая... третья... Теперь он узнавал их. Это – Леля Зверкова. Это... это Софья Владимировна.

Маски закружились в бешеном хороводе игры, и нечаянно Иван Петрович очутился посередине круга с одной из коломбин. Две-три фразы – и ему показалось, что несмотря на измененный голос, он узнал Лидочку... Конечно, это она!

Ее хрупкая фигурка, Знакомый наклон головы. Полудетские руки...

Сжал тоненькие пальчики и сразу почувствовал твердый камень кольца. Губы сами собой сложились в самодовольную улыбку:

– Лидия Михайловна, я узнал вас!

– Вы думаете?

– Не меняйте голоса, – у вас он выходит таким неестественным...

Коломбина засмеялась.

Весь вечер она отвечала односложными фразами, не отвечая на нежные слова торжествующего Ивана Петровича. Потом вдруг заторопилась домой, жалуясь на головную боль.

«Умница: хочет снять маску в автомобиле...», – решил Иван Петрович. Закутал в шубку, притушил свет в автомобиле и, крикнув шоферу:

– По шоссе, прямо! – обнял молчавшую девушку.

– Лидия Михайловна... Лидочка, когда же свадьба?.. Ведь я узнал вас?

Девушка молчала.

– Лидочка, снимите эту маску!

Быстрым движением отдернул кружево маски, и... совершенно чужое некрасивое личико глянуло на него.

– Лид... Кто вы? – крикнул Звягинцев.

Девушка вздрогнула и, глотая слезы, испуганно забормотала:

– Простите, барин, это барышня приказали мне костюм надеть и на бал ехать... И что говорить научили...

– Да кто ты?

– Я Паша, портниха ихняя. Барышня...

Он выскочил из автомобиля:

– Семен, отвезите эту девушку домой на извозчике. Править буду сам.

Автомобиль дернул и бешено помчался назад, к клубу.

Бегом вбежал Звягинцев по лестнице уже пустеющего здания... За большим столом в буфете мелькали студенческие тужурки и желтые жабо. Без маски, очаровательная, смеющаяся, с бокалом в руке, стояла Лидочка рядом с рослым, красивым студентом.

Звягинцев бросился к ней.

– Лидия Михайловна, что все это значит?..

Лидочка повернула растрепанную, всю в конфетти, головку.

– А, Иван Петрович! А где же ваша дама?.. Ведь вы весь вечер ухаживали за одной из коломбин.

И, протягивая ему бокал, прибавила:

– А вы, кстати, поздравьте меня: Сережа Вильин сегодня сделал мне предложение... мне, а не папе! И я согласилась. Бокал вина за мое счастье!

Шанхай.

*Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 47-52.*

СМЕРТНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Из подслушанных былей

Пронзительный, резкий ветер покрывал землю лохмотьями желтой листвы. Зима предстояла морозная, снежная, ветреная.

Маленькое облезлое здание вокзала как бы жалось неприятно к группе обглоданных осенью деревьев. На перроне, зябко кутаясь в служебные шинели, стояло несколько человек. Тоненько брякнул звонок, и из темноты и взлохмаченного мрака вынырнуло одноглазое чудовище. С бряцанием и пытением пассажирский поезд застыл для пятиминутного отдыха. Сквозь огромные окна приветливо виднелся вагон-ресторан, купе первого класса выглядывало бархатной обивкой диванов. Высокая женщина в черном прильнула к окну и, улыбаясь, вглядывалась в темноту. Может быть, эта маленькая станция напомнила ей что-то светлое, промелькнувшее в жизни, а может быть, улыбка, озарившая ее лицо, только показалась Сергею Александровичу Тополеву, который, сам не зная почему, вышел встречать поздний поезд. Ветер крепчал. Три коротких промерзших звонка оторвали нарядный состав. И вагоны поплыли к зеленому блеску семафора, унося с собой и комфорт вагонов, и силуэт незнакомки в черном, и какую-то неопределенную тоску оставшихся.

Сергей Александрович хотел идти домой, но одиночество своей квартиры была невыносимой сегодня, и он медленно направился в буфет первого класса. Здесь все было надоедливо знакомо и запущено. Тот же ряд запыленных бутылок с вином, застывших в ожидании богатых пассажиров, те же мутные, невымытые окна, и та же фигура безнадежно прогоравшего, но веселого и добродушного толстяка буфетчика.

На скамейке для ожидающих сидела старуха, одетая бедно, но чистенько, с потертым чемоданом в руках. Она не шевелилась и ее мутный

старческий взгляд был устремлен, неотрывно устремлен в одну точку. Сергей Александрович невольно вгляделся в ее лицо.

Сморщенное, почерневшее, оно напоминало картину древних мастеров. Тонкие губы беззвучно шевелились, нарушая сходство с неподвижностью мумии. Буфетчик подошел к Сергею Александровичу и шепотом проговорил:

— Вы не знаете, к кому это? Да вот, старушенция эта. С пассажирским приехала, вошла, ни слова не сказала, так вот и сидит. Я ее спрашивал. Молчит. Надо буфет запереть, а она не уходит.

— Скажите дежурному, — посоветовал Тополев и только собирался выйти, как странный надтреснутый стон болезненно пронесся по комнате. Стонала старуха. Теперь ее глаза потеряли свое бессмысленное выражение, наоборот, в расширенных зрачках ее светилась страшная нечеловеческая боль. Тополев подошел ближе и ласково спросил:

— К кому вы приехали, матушка, что с вами?

Вблизи ее лицо было жутко. Губы потрескались и почернели, не то тени, не то пятна выступали под морщинами, редкие седые волосы выбились из-под платка и прилипли к влажному лбу. Пальцы, сжимающие чемодан, скрючились.

— Да она больна! — испуганно вскрикнул буфетчик. — Сергей Александрович, голубчик, сбегайте, позовите дежурного!

Только через полчаса Тополев вместе с дежурным и станционным врачом снова вошел в буфет. Старуха уже не сидела на скамье, а как-то, неловко скрючившись, лежала на полу: подмятое платье обнажало маленькую подвернутую ногу в стоптанном ботинке... Было что-то жуткое в ее неподвижности. Потертый чемодан раскрылся, очевидно, от падения, и из его дряхлой пасти высыпались тряпки и свертки. Буфетчик, растерянно размахивая руками, подбежал к вошедшим:

— Сперва так вот сидела, а потом закричала в голос и на пол покатила. Я бросился поднимать ее, думал обморок, а она не дышит. Господи, на глазах умерла.

Доктор, маленький, кругленький господин, уверенно подошел к умершей, наклонился, чтобы выслушать сердце. На лице его вдруг разом отразились недоумение и ужас и, не прикасаясь к трупу, он быстро поднялся и, принизив голос до шепота, сдавленно сказал:

— Не подходите и не прикасайтесь, а лучше всего, вон отсюда. Эта женщина умерла от чумы.

Страшная болезнь пришла в образе незаметной сторбленной старухи, дряхлыми шагами прошлепала по перрону и прочно воцарилась на маленькой станции.

Прошла неделя. Неделя бесконечных снежных ураганов и вьюг. Поселок словно заснул в снежных сугробах. Самый крайний, пустовавший

до сих пор дом, ожил. Но оживление это было от дыхания смерти. Здесь поместился чумной барак. Сюда на простых розвальнях привозили подобранных больных рослые добровольные санитары. В просмоленных халатах, с длинными баграми в руках они казались чертями, везущими грешников в ад.

Кто-то черной краской нарисовал на дверях дома крест. Общий крест на могиле попавших в лапы черной смерти.

По-прежнему приходили и уходили поезда. Дребезжали звонки. Только в буфете за стойкой стоял высокий и худой новый человек. Смешливого Василия Васильевича, буфетчика, свезли просмоленные халаты в промерзлую яму общей могилы.

Тополев помрачнел и осунулся. На вокзал приходил редко. Так и мерещилась скрюченная старушечья фигура, скользящая в здание вокзала. Мучительно не хватало Василия Васильевича. Раньше он почти не замечал буфетчика, изредка перекидывался с ним несколькими фразами. А тут ясно ощущалась какая-то пустота. И не тянуло в буфет, где из-за ряда пыльных бутылок уже не улыбалось знакомое, добродушное лицо.

Тополев весь ушел в работу, стараясь забыть впечатления жуткого вечера. Еще внимательнее следил за постройками, порученными ему. Работа затянулась, и он торопил китайца Чин-Вана, или Ванюшу, как окрестили его русские. Впереди был желанный отпуск, рождественские праздники. Чин-Ван был особенный китаец. Рослый, крупный северянин, жизнерадостный и веселый, он прекрасно говорил по-русски, очень умело жульничал и со всеми был в приятельских отношениях. Рабочие его слушались, а Сергей Александрович частенько зазывал к себе, поил водкой и заводил бесконечные разговоры о России, где Чин-Ван побывал еще мальчонкой. Из Москвы он вывез знание русского языка и любовь к русским. Узенькие глаза его щурились в щелочки, когда он, прищелкивая языком, рассказывал о богатстве и красоте русского города.

Сегодня утром Чин-Ван повздорил с кем-то по службе и ходил мрачный и сердитый, потом попросил у Сергея Александровича разрешения придти к нему вечером, посоветоваться относительно новой сметы:

- Я сам немножка не понимаю.
- Конечно, приходи после работы, потолкуем.

С работы Тополев ушел раньше обычного, заглянул в бакалейную лавку, купил водки, закуски и нагруженный покупками зашагал домой. По дороге попался кругленький доктор, спешивший куда-то.

– Ну, как у вас на работе, все здоровы? А мы сегодня противочумную вакцину получили. Тоже порядочки. Через неделю удосужились прислать. Вы бы, милейший, прививочку-то сделали бы.

Тополев равнодушно ответил:

– Э, Семен Иванович, от судьбы не уйдешь.

– Судьба то судьбой, а чума шутка пренеприятная. Гляди-ка как нашего целовальника скрутила, в два часа в могилевскую губернию укатил. Торопитесь? Ну, ну, не задерживаю. Рабочих ваших завтра подкалывать будем.

Хорошее настроение уплыло вместе с исчезнувшей фигурой доктора, стало совершенно безразлична и успешность постройки, и сама служба, которую Тополев так ценил. Дома достал пачку газет, присланных с пассажирским, и углубился в чтение. Но ни политика, ни события железнодорожного мира не трогали и не занимали. Лениво пробежал фельетон. Какую ерунду стали писать. Разве это важно? В памяти почему-то промелькнуло лицо Василия Васильевича, испуганное, растерянное, каким видел он его перед смертью. Стрелка часов близилась к шести. В ожидании Чин-Вана Тополев расставил тарелки, разложил закуску и откупорил четверть с водкой. Чертово настроение! Тяпнуть что ли?

«Нет, подожду Ванюшку, прекомичный китаец, этот самый Чин-Ван. Да вот и он».

Рослая фигура китайца сразу заполнила комнату. Разобрали счета, сделали нужную выкладку. Выпили, закусили. Чин-Ван как-то сразу опьянел и стал болтать всякий вздор, мешая русскую речь с китайской. «Чего это с ним, от третьей рюмки пьян», – подумал Тополев. Сам он не чувствовал ни малейшего опьянения и молча глотал рюмку за рюмкой, слушая болтовню Чин-Вана. На улице по-зимнему быстро темнело.

– Время, фанза, айда, – решительно заявил Чин-Ван и, застегивая пуговицы ватного халата, протянул руку Сергею Александровичу. – Твоя больно хороший. Чин-Ван тебе всегда первый друг, – заплетающимся языком пробормотал он и скрылся за дверью.

Остался один. Выпил еще пару рюмок, мозги заволокло легким туманом опьянения, подошел к окну и, опираясь на подоконник, загляделся в снежную даль. Поселок словно вымер. На фоне белого снега кое-где мерцали огоньки домов. Заскрипели полозья, и по дороге быстро проехали сани, покрытые брезентом.

«Чумные», – неприятно отозвалось в голове.

Стало тошно не только думать, даже понимать чувствовать, видеть. Бесцельной и ненужной показалась вся жизнь, заброшенная в глушь чужой страны. Мысли ленивой черепахой переползали с предмета на предмет. На белом снегу отчетливо вырисовывалась чья-то фигура в длинном полушубке, человек подбежал к окну и, что-то крича, застучал в стекло. Сергей Александрович слышал обрывки слов, но мозг воспринимал их туго, не понимая смысла. При свете луны он узнал рабочего Смирнова, открыл форточку и, с жадностью глотая морозный воздух, спросил:

– Что тебе, Смирнов?

- Ванюшка помер.
- Что? Какой Ванюшка?
- Чин-Ван, то ись подрядчик наш.
- Чего ты чушь порешь, я его только что видел.

Голос Тополева дрогнул.

– Вот вам крест, Сергей Ляксандрыч. Шел по дорожке и скovyрнулся. Санитары приехали, а он мертвехонький.

- Какие санитары, когда?
- Черные, чумные. От чумы, значит, подрядчик помер.

Весь хмель мигом соскочил с Тополева, кто-то холодом сжал сердце, сдавило дыхание.

А Смирнов, уже отходя, закричал:

– Я предупредить вас прибежал. Потому завтрава без подрядчика работать станем.

Тяжело дыша, всматривался Тополев в снежную муть, потом захлопнул форточку и сел. Мысль заработала с беспощадной ясностью. Чин-Ван умер от чумы. Заразиться он мог днем. Здесь со мной он сидел уже зараженный, уже чумной. Зараза чумой молниеносна. Значит, я тоже заражен. Сейчас вот сижу и рассуждаю, а через час, через два мой труп стащут в общую яму, баграми стащут.

Мороз пробежал по спине. Жуткое, нечеловеческое отчаяние пригнуло его голову вниз, заставило сжать руки и завьгть глухо, протяжно. Смертное ожидание охватило все его существо, и только мысль работала точно и ясно. Конец. От него не уйдешь, не скроешься. Провести несколько часов с чумным, дышать его дыханием и не заразиться – это невозможно, это абсурд. «И я так же, как та старуха, как Василий Васильевич буду почерневшим, окоченелым трупом, уйду в ничто».

Тополев бросился к окну и прижался к холоду стекол. Лицо перестало гореть, и пересохшие губы повлажнели от морозящего окна. У старухи тогда губы потрескались и пятна черные пошли по лицу. «Может, и я уже чернею?». Бросился к чемодану, лихорадочно разбрасывая вещи, нашел ручное зеркало и пристально вглядывался в отражающее стекло. На него глянули воспаленные глаза и бледное осунувшееся лицо. Пятен не было. Но они будут, будут, должны быть!

И вот странное отупение заползло в голову и что-то шептало настойчиво и угрожающе: все равно не уйти, от смерти никто не убежал, никогда. А от этой, от черной... О, проклятье! Впереди смерть. Жуткая смерть чумного! Так пусть лучше умру, не сознавая, умру пьяным. И, повинувась быстрому решению, он наливал стакан за стаканом и залпом, обжигая губы и гортань,пил пьяную влагу. Опьянения не было. Как в калейдоскопе, в голове проходила вся жизнь, вспоминались мелочи давно забытые, ненужные. Злой усмешкой мелькнула мысль о женщине, может, о

той незнакомке в вагоне поезда, еще неведомой, но желанной как никогда, в эту смертную ночь.

«При заболевании чумой пульс начинает работать неровно», – кто-то чужой сказал эту фразу, не он, не Тополев, может быть, доктор, кругленький доктор.

Сергей Александрович щупал свой пульс, стараясь уловить биение сердца.

Удары били в ушах, как молоты. И трудно было понять, стук ли это сердца, или биение последней обжигающей мысли. Еще водки. Дымкой заволокло голову. И, как в тумане, выплыли два лица, старухи и буфетчика. Одно сморщенное, черное, другое смеющееся, подмигивающее. И чернело лицо буфетчика, и подмигивали и растягивались в подлый смешок старухины морщины.

Звоном станционного звонка стучало в ушах: ЖИТЬ. ЖИТЬ, ЖИТЬ...

Руки не повиновались. Тогда, навалившись всем телом на стол, он поймал губами горлышко четверти Что-то обожгло все тело, захлестнуло сознание. Лицо старухи, синее, расплылось во всю комнату вплотную глянуло в его глаза. Четверть звонко грохнулась о пол и рассыпалась тонкими стеклянными брызгами. Человек поднялся во весь рост и тяжело рухнул на стол, давя и стаканы, и тарелки. Где-то далеко прозвучало дребезгом посуды... жить... и замерло в страшной пустоте.

Утро было яркое, солнечное. Около постройки собрались рабочие, обсуждая смерть Чин-Вана. Тополева не было. Ждали час, два, Смирнов говорил, что он видел старшего вчера ночью, когда Ванюшка помер.

– Не в себе будто был он, – повторял Смирнов. – Как сказал я ему, что подрядчик скочеврыжился, старшой закричал, а сам белый, ровно снег.

– А может, братцы, он и сам того, заболел. Чин-Ван у него вечером был, я сам видел.

Толпа напряженно притихла. Кто-то робко заметил:

– Дохтуру бы сказать.

– И то правда, вали к дохтуру, ребята!

Домик Тополева был на отлете от поселка. Толпа, оживленно крича и споря, мяла занесший дорогу пушистый снег. Впереди шел, широко шагая, Смирнов и семенил, едва поспевая за ним, толстяк доктор.

– В окно поглядим, Семен Иванович, в окно чума не проскочит, – советовал Смирнов.

Окно заиндевело за ночь, покрылось прихотливым, изломанным узором. Был виден только тусклый свет зажженной лампы.

– Огонь-то не гасил. И впрямь, не заболел ли? – заметил молодой парень и остановился в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу.

Застучали в дверь, закричали. Ни звука не доносилось из домика. Толкнули дверь. Повизгивая на петлях, она широко распахнулась. Запах винного перегара хлынул в лица людей. Поперек стола, тяжело свесив руки, лежал Тополев. Осколки битой посуды покрывали пол.

– Помер, – произнес кто-то тихо, и толпа схлынула назад, пугаясь страшного призрака черной болезни.

– Сергей Александрович! – громко позвал доктор.

Лежащий вздрогнул, поднял голову и бессмысленным, пьяным взглядом посмотрел на дверь. Солнечный свет, струя морозного воздуха всколыхнули, разбудили опьянение, и резко вспомнилось все вчерашнее. Смерть Чин-Вана. Чума. Смертное ожидание ночи.

Всклокоченный, с изрезанным осколками лицом, с разорванной рубахой человек бросился навстречу толпе и, расталкивая ее, отступившую, разбежавшуюся, диким криком: «Жив!» – огласил воздух. Бросился бегом, хохоча и плача по снежной дороге к вокзалу.

Доктор и рабочие, едва поспевая, бежали за ним. Ветер дул в лицо. Расплывалось, исчезало похмелье в этом сумасшедшем радостном беге к жизни. Спотыкаясь о шпалы, он бежал по железнодорожным путям, подставляя раскрытую грудь морозному воздуху. Опухшее пьяное лицо его было почти прекрасно странным, безумным выражением, навстречу, тяжело гремя, шел товарный поезд.

Тополев видел его, черный, шипящий паровоз, слышал отчаянные крики людей, но не замедлял бега. Черной старухой мерещился ему приближающийся поезд, и ей в лицо, ей – не осилившей, не победившей – кричал он громкое: «Жить!»

Споткнулся о рельсы и упал с откоса в пушистый, податливый сугроб. Что-то загрохотало, зашумело над головой, и товарный пролетел по рельсам, обдавая его искрами. Радость захлестнула, обессилила.

Только через месяц поправился Тополев от жесточайшей нервной горячки. Вечером, пассажирским, проводила его маленькая станция в город, на поправку, в такой желанный отпуск. Молодость и здоровье победили призрак страшной черной старухи, присевшей на край его постели. Болезнь прошла, но призрак болезни не исчез в прошлом.

И самым жутким воспоминанием в жизни осталось для него смертное ожидание той ночи.

1990 г.

Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 25-33.

НЕОЖИДАННЫЙ ЗАВТРАК

Всякие эпизоды бывают в нашей жизни, особенно при эмигрантском существовании.

...Вспоминается юность, годы университета, заработки, полуголодная жизнь, ибо, денег никогда не хватало.

Одно время жили мы в очень небольшой бедной каморке, даже не каморке, а в сторожке. Это жильё для сторожа располагалось во дворе одного дома. В сторожке у нас была печь, стояли две кровати и два письменных стола.

Была еще одна пишущая машинка, на которой мы перепечатывали свои стихи и затем относили их в редакцию. Работали мы обе в журнале «Рубеж». Жила я в сторожке с поэтессой Марианной Колосовой.

В то время я уже начала печататься. Писала стихи, коротенькие рассказы, в общем, начинала свою литературную жизнь. Жизнь была трудная. Часто, часто нам не хватало денег даже на хлеб, мы голодали... Из тех далеких дней мне вспомнился один очень забавный эпизод, некий «Случайный завтрак». Было это так.

В то время я служила на табачной фабрике. Марианна давала уроки, и, конечно же, день получки на фабрике – раз в неделю – был для нас огромным событием, ибо мы могли пообедать, купить себе что-то на завтрак, и вообще, у нас появлялась возможность вести «роскошную жизнь».

В это утро я, как обычно, вышла на службу, оставив Марианну спящей дома. В этот день, кроме всего прочего, у нас заночевала одна наша большая приятельница. Обе эти девушки, мои подруги, с нетерпением ждали моего возвращения с деньгами.

Шла я на службу очень торопливо, часов у нас никаких не было, вставали «по солнцу». Дошла я до Китайской улицы. Все харбинцы хорошо знают эту улицу. На этой улице я могла сесть в автобус, или... идти до фабрики пешком, это минут тридцать. На фабрике обычаи были очень строгие: в семь утра закрывались ворота, и опоздавшие рабочие теряли рабочий день.

Я вышла на Китайскую и подошла к аптеке, где висели огромные часы, посмотрела и невольно вздохнула – было без десяти семь. Я никак не могла успеть на службу. Значит, день будет потерян, получки не будет. От всего этого я просто пришла в отчаяние. Постояла около часов, повздыхала и пошла по Китайской. Я не пошла домой, ибо знала, какое разочарование я принесу своим подругам.

Стали открываться продуктовые магазины, из булочной доносился аромат свежеевпеченного хлеба. Рядом была вкусно благоухающая колбасная, я смогла уловить даже очаровательный запах сосисок, которые я в то время так любила. Мой голодный желудок занял протяжно. Я

старалась не смотреть на витрины. Медленно я пошла к дому. И вдруг я услышала за собой быстрые и твердые шаги. Я оглянулась. Меня догонял какой-то господин. Он был прекрасно одет, в руке его покачивался огромный деловой портфель. Господин явно догонял меня. Поравнявшись со мной, он сказал мне: «Доброе утро!» – так, словно мы были старыми знакомыми.

Я, немного замявшись, вежливо поклонилась ему и тоже ответила:

– Доброе утро.

Тогда он воскликнул:

– Куда вы так торопитесь?

Ну и глупо же это прозвучало, ведь я шла еле-еле, то, что называется «нога за ногу». Я ответила:

– Я никуда не тороплюсь. Я опоздала на службу, фабрика уже закрыла ворота. Я иду домой.

Тогда он улыбнулся и радостно сказал:

– Ну, тогда пойдете пить кофе. Кофейни уже открыты.

Я замялась:

– Слушайте, ну кто же ходит пить кофе в семь часов утра? Уж больно рано. Спасибо.

Я пошла дальше. Не долго думая, он произнес:

– Ну, тогда пойдете пить кофе к вам домой. Мы прекрасно проведем время. Подождите меня здесь, я сейчас вернусь.

Господин стал удаляться. Я решила, что он просто «отвязался» от меня. Я понимала, что незнакомый мужчина на улице просто «приставал» ко мне. Я продолжала свой путь. Но шла медленно, останавливалась перед витринами, не спешила домой с пустыми руками. Минут через пятнадцать я вновь услышала торопливые шаги за своей спиной. Все тот же господин догнал меня и радостно воскликнул:

– Ну вот, все в порядке. Видите, я сделал необходимые покупки, и мы сейчас великолепно выпьем у вас дома кофе.

Я растерялась. Я уже и не знала, каким образом мне отделаться от этого назойливого господина. Но сверток в его руках излучал такие аппетитные запахи... Как бы мне избавиться от этого человека, но... сверток... сверток полностью захватил мое внимание. И я... разговорилась с господином. Я говорила о прекрасном утре, о том, как замечательно греет солнышко, как оживают в его лучах улицы... Он поддерживал разговор, о чем-то спрашивал меня. Я все думала, куда бы мне удрать от него, в какой спрятаться подъезд.

– Да, кстати, – наивно пролепетала я, – давайте я понесу этот сверток, а то у вас в руках сверток и тяжелый портфель... Давайте я вам помогу.

Господин охотно протянул свою заманчивую покупку. Я предложила повернуть на Аптекарскую улицу. Мы идем, а я все думаю о том, как бы мне избавиться от попутчика. И вдруг меня осенило. Я остановилась у одного подъезда, немного помедлила и очень смущенно сказала:

— Знаете, вам придется немножко подождать, потому что мы живем вместе с мамой, а сейчас такой ранний час, мне надо ее разбудить.

Мой спутник растерянно посмотрел на меня. Стало совершенно ясно, что мама его совершенно не устраивает. Наконец, он заговорил:

— Знаете, я забыл... – он посмотрел на свои ручные часы и начал быстро-быстро говорить:

— Я совсем забыл, что у меня очень крупное дело, как раз перед работой. Давайте я встречу вас сегодня вечером. Мы пойдем в кино, потом где-нибудь поужинаем... Я буду ждать вас около этого подъезда. Я радостно согласилась с этим предложением:

— Хорошо. Я вас буду ждать здесь примерно в семь часов вечера.

Он поклонился мне и быстрыми шагами пошел от меня. Я осталась у ворот. Даже шагнула в подъезд, чтобы скрыться с его глаз. Сверток-то был у меня в руках. Когда этот господин скрылся за поворотом улицы, я выскочила из своего прикрытие и побежала в другом направлении, домой, к своей улице. Я прижимала сверток к себе и бежала. Я даже и не понимала – то ли я радовалась тому, что избавилась от навязчивого человека, то ли радовалась этому свертку и его манящим ароматам.

Наконец, я подбежала к дому, забарабанила в дверь. Одновременно два сонных голоса спросили:

— Кто там?

— Открывайте скорее. Это – я.

— Ты? Ты!.. что, опоздала на службу? – в голосах спрашивающих звучало отчаяние. Еще бы. Понятно.

Открыли дверь. Я влетела в комнату, бросила сверток на стол и сказала:

— Сейчас будем пить кофе. Сейчас будем пить кофе и есть очень вкусные вещи.

Меня даже не спросили, откуда у меня сверток. Девочки стали быстро разворачивать сверток и вынимать из него содержимое. Там было все: кофе, гущенное молоко, пакетик сахара... Он предусмотрительно купил все, понимал, что у такой девчонки в доме нет ничего. В свертке была колбаса, какие-то аппетитные булочки, вкусный калач и сыр.

Какой мы в этот день имели завтрак! Мы были очень голодны. А кофе мы не пили давным-давно. Сыр для нас был невероятным угощением. Булочки, колбаса... Все это было так вкусно, так исключительно хорошо.

Выпив кофе, я стала рассказы подругам историю этого свертка. Тут посыпались шутки, смех. Мои приятельницы похвалили меня за сообразительность. И они совсем не хотели думать об этом господине, о том, встречу я с ним или нет. Это, мол, пустяки. Главное – этот замечательный завтрак и... моя находчивость.

Я никогда больше не встретила этого человека. Он исчез из моей жизни так же неожиданно, как и появился на Китайской улице. Но мои приятельницы, особенно Марианна, очень хорошо запомнили этот эпизод. И когда у нас наступал очередной «кризис», когда у нас в доме не было ни копейки, ни куска хлеба в доме, тогда Марианна говорила:

– Ольга, иди на улицу на заработки.

Так эта шутка и жила среди нас, воспоминание о столь нужном нам тогда «Неожиданном завтраке».

1 ноября 1991 г.

*Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 16-20.*

ПЕРЕПУТАННЫЕ СТРОКИ

Из шанхайских былей – из далекого прошлого

Оглушительно стучат пишущие машинки. Из соседних комнат доносится мерный и, для привычного слуха, надоедливый стук печатных машин. В репортерской гул голосов. Из кабинета редактора слышится повышенный и раздраженный басок: это редактор ставит на вид репортеру недостаточно верную заметку местной корреспонденции. Где-то в городе был пожар, и репортер перепутал фамилии пострадавших. Голос редактора то понижается до многозначительного шепота, то раздраженно срывается на высоких нотах. Репортера не слышно, он предпочитает отмалчиваться, угрюмо думая: «И какого черта ему надо! Большое дело – фамилию перепутали. Остальное все верно. И что пожар был не пожар, а так, пустяковина: сало на плите вспыхнуло и кухонный шкаф сгорел. И что придирается...»

А унылая мысль грызет: «Вот, хотел сегодня аванс попросить. Не даст, ни за что не даст, черт паршивый...»

Газета большая, выходит на восьми листах, по воскресеньям иногда и на десяти. Репортерам, сотрудникам и прочим платят гроши, но требования работы очень большие.

В конторе звучат оживленные голоса машинисток, их смех вызван веселыми шутками агента по сбору объявлений, общего любимца Н.Н. Он хорошо зарабатывает, достает шутя лучшие рекламы города, всегда весел и рекламное дело свое по-настоящему и знает, и любит.

– Понимаете, я уже почти год бьюсь, чтобы получить это объявление. Сколько шницелей в этом ресторане съел – и не пересчитать. Никак не давал. «Мне, – говорит, – газета не к чему». И реклама-то пустяковая. Но задело меня за живое. Как это так? Большие магазины легко беру. А тут какой-то ресторашка. Ну не мог уговорить. И вот сегодня доканал его. Вот она, реклама, – и Н.Н. торжественно помахал листком бумаги и сунул его прямо под нос заведующему конторой.

Тот улыбнулся:

– Ну поздравляю, Николай Николаевич, недаром вы у нас считаетесь королем рекламы.

– Только, пожалуйста, с текстом поосторожнее. Текст он сам составлял. Сколько я не уговаривал, что я это лучше изображу, уперся: нет, мол, за свои деньги сам напишу.

Заведующий прочел рекламу и поморщился:

– Гм. Нельзя сказать, чтобы очень грамотно. Ну, да сойдет.

– И поставьте на хорошее место. И бордюрчик, рамочку такую пофигуристей, чтобы выделялась. В глаза бросалось.

В контору понуро вошел тот самый репортер, которого только что распекал редактор.

– Ты что, Сережа, такой унылый. Опять наврал что-нибудь?

Репортер безнадежно махнул рукой:

– Да, по пожарному делу. Понимаешь, вместо пострадавшей соседкино имя ввернул. Ну, а она – соседка – звонит прямо Петру Петровичу и с истерикой: «Я и не горела совсем, это Марья рядом, а у меня на кухне аккуратность и чистота, у меня сало на плите вспыхнуть не может...». Ну и так далее, развела такую историю. Петр Петрович и озверел.

– А ты бы все-таки поосторожнее, – глубокомысленно пробурчал заведующий. – Не в первый раз ведь. Свадьбу в прошлом году помнишь? Кого ты повенчал? А кого? Мамашу молодой с дядей жениха. Тоже фамилии перепутал.

Репортер обозлился:

– Не всякое лыко в строку. Будто вы со своими объявлениями не ошибаетесь. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

– Смотри, какими изречениями сыпет. А насчет объявлений ты врешь. У нас ошибок не бывает. Слава Богу, за каждой строчкой следим.

Сережа мрачно махнул рукой:

– Главное, в кармане ни копейки. Хотел аванс просить. Да теперь после этой пожарной истории где же...

Николай Николаевич сочувственно вздохнул:

– Если пятерку, могу занять. Пойдем-ка, пожарник ты неудачный, я тебя обедом приветствую. Так, пожалуйста, с этим объявлением

поосторожнее. Ничего в тексте не менять. И покрупнее, и в рамочке, обязательно в рамочке. Адье.

И он, веселый, смеющийся, потащил за собой к дверям унылого репортера.

– Верочка, перепечатайте объявление и выделите самое главное, и обязательно мне на проверку.

Хорошенькая блондиночка взяла лист с крупными каракулями и застучала на машинке, вслух повторяя каждую строчку:

Ресторан «Дядя Миша».

415 Деламур авеню.

Прекрасные обеды и ужины.

По субботам пельмени.

Малороссийская колбаса собственного изготовления.

3 приличные закуски 75 цент.

С почтением к своим клиентам.

Дядя Миша.

Заведующий подчеркнул черным карандашом несколько строчек и написал сбоку: «Рамка узорная № 5. Пожирней. Внутри текста».

– А у бедного Сережи вечно неудачи, – со вздохом проговорила черненькая Наташа.

– Это все от того, что у него все срыву, смаху. Запишет пару строк и бежит сдавать заметку. Ветер у него в голове. А все потому, что ваш брат машинистки уж очень его жалеете.

– Да, если он такой милый!

– Подумаешь, милый. Ишь, Алеша Попович какой выискался. Репортер должен быть посерьезнее. А у него один флирт на уме. Ну вот и врет в своих заметках.

И заведующий прервал сам себя строгим замечанием:

– Ну, хватит болтать, мелкие объявления на завтра еще не готовы, а до срока всего полчаса. Ну-ка, поскорее. Нажмите.

Дружно застучали машинки. Часовые стрелки двигались к шести. В дверях уже показалась сутулая фигура ночного корректора. Газетная жизнь шла обычным быстрым темпом.

На следующее утро в контору газеты влетел совершенно сияющий репортер Сережа, видно было, что ему не терпится поделиться своими новостями с машинистками.

– Читали? Вот удача мне подвалила. Такую заметку преподнес. Сам Петр Петрович мне благодарность выскажет. Вот увидите. Сегодня ночью в загородном кафе «Бимбо» сцепились, кто бы вы ни думали, сам Савелий Иванович со своим секретарем. Да как, почти до драки дошло. И я на счастье был там и сам собственными глазами все видел...

Заведующий конторой бросил на репортера строгий взгляд:

– Смотри, Сергей, это тебе не пожар. Наврешь, перышком из газеты вылетишь.

– Ну, что вы... собственными глазами. Я заметку ночью сдал в отдел местных сенсаций. Дай-ка газетку посмотрю, как они набрали, – Сережа почти выхватил газету из рук заведующего и развернул лист.

– Ты, так все правильно. Гм-м... имен не дали – это ночной редактор осторожничает. Ну, да и без имен ясно кто...

И, перевернув лист, с интересом стал проглатывать газету и вдруг разразился громким хохотом.

Заведующий удивленно поднял голову от письменного стола, машинистки перестали стучать.

– Ты что?

– Ох, не могу. Непогрешимый отдел объявлений. Ой, уморили. Ну и настряпали! Вот это объявление! Верочка, Наташа, слушайте, я вам вслух прочту. Ну, доложу, насмешили.

И Сергей, встав в комическую позу и раскланявшись, громко прочел вслух, скандируя каждое слово:

Ресторан «Дядя Миша».

415 Деламур авеню.

Прекрасные обеды и ужины.

Собственные пельмени.

По субботам изготовления

3 российская колбаса.

Мало приличная закуска 75 цент.

С почтением к своим клиентам.

Дядя Миша.

Дружный хохот раздался в конторе.

– Врешь, – крикнул заведующий и вырвал у Сережи газету. – Зарезали, – завопил он, прочтя объявление. – Что Николай скажет? Да еще шрифт крупнее, чем я сказал. Прямо в глаза бросается. А? По субботам изготовления? А? Малоприличная закуска!!! Скотина метранпаж строчки перепутал. Зарезали!

В контору влетел разъяренный король реклам, он размахивал газетным номером и вопил:

– Вы что же это! Год объявления добивался. Услужили! Да как я ему на глаза теперь покажусь. Ведь просил... Обратить особое внимание. Нечего сказать – «обратили».

Сережа снова заговорил, на это раз с мудрованием в голосе:

– Это наш отдел объявлений, они ошибок никогда не допускают. Это я, Сережка, все вру и путаю. А они непогрешимы. Да ты не волнуйся, Николай, тебе с клиентом объясняться не придется. Этот самый дядя Миша сам сюда явится. Уж помяни мое слово.

На хохот, крики и шум из редакционной стали заглядывать репортеры и появилась фигура самого редактора.

– Что у вас здесь?..

Но закончить фразы ему не удалось. Входная дверь с шумом распахнулась, и в конторе появился не «дядя Миша», а тетя Миша, внушительных размеров дама в пестром платье с газетой в руках. Она на минуту застыла на пороге красочным монументом и потом двинулась в атаку:

– Это что такое? А? Опозорили! С нас вся Деламура смеется. Мало приличная закуска!.. А малоприличная... С грязью смешали. Говорила своему дураку – гнать этого газетчика в шею.

Сереза быстро протиснулся между монументом и растерявшимся заведующим и с чисто репортерским натиском заговорил:

– Мадам, не волнуйтесь. Все будет в порядке. Во-первых, мы сообщили, что это опечатка. А во-вторых, вы знаете, что в Америке клиент был бы даже рад, потому что такое объявление привлечет общее внимание. Поверьте, у вас отбоя не будет от посетителей. В Америке...

– Ты мне Америкой в нос не тычь. Сами понимаем какой тут профит. Опозорили. Оплевали. А теперь с опечаткой лезут. Да мне теперь на улицу-то выйти стыдно. Да из соседней лавки в меня пальцами тычут – малоприличная, мол. Знаем, мол, теперь, чем вы людей потчуете. А?!

И монумент угрожающе двинулся к заведующему, оттолкнув могучей ручищей репортера Серезу.

Машинистки уткнулись носами в машинки, сдерживая неудержимый смех. Заведующий выглядел мокрой курицей. У дверей репортерской столпился теперь весь штат газеты.

И над всем этим возвышался монумент тети Миши и звучал почти басовыми нотами ее уничтожающий голос:

– С нас весь Деламура смеется...

Вдали мерно и монотонно стучали печатные машины.

*Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 82-87.*

УСТРИЦЫ

Очерк? Рассказ? Нет, просто маленький эпизод из прошлого.

День в Харбине был осенний и довольно хмурый. Даже дождик чуть-чуть накрапывал.

Шла я домой в мрачном настроении. Деньги за урок обещали заплатить только к понедельнику. А дома у нас с Марианной было хоть шаром покати, и никаких перспектив. Вчера доели остатки щей и хлеб.

Сегодня я утром направилась на работу, выпив стакан пустого чая. Решила, что на лекции вечером не пойду, не очень-то лезли в голову Институту Римского права на голодный желудок.

За дверью нашей комнаты была хибара, выстроенная для караульного китайца, и мы ее снимали за несколько долларов в месяц. Хибара была поместительная, с русской плитой в углу. Две кушетки, большой письменный стол – подарок одного из поклонников наших поэтических талантов, – два стула да корзинка в уголке для нашего общего друга, собачонки Турандот, – и вот вся наша обстановка. И, конечно, книги и рукописи, наваленные и на столе, и прямо на полу.

– Ну что, получила? – был первый вопрос Марианны.

– Да нет. Обещали в понедельник. Муж Веры Павловны уехал на рыбалку за Сунгари, а у нее не было денег.

– Гм-м. Плохо, значит, ты голодная...

– Ну да и ты тоже.

– Нет. Мне повезло. Зашла к Семеновым – надо было книгу вернуть – и попала на обед. Такими пельменями угостили. Очень мне хотелось попросить для тебя, да я постеснялась.

– Ну что ты, не хватало, чтобы мы попрошайничали.

– Турке косточек послали, видишь, наслаждается.

Турка с увлечением возилась в своем углу, причмокивая и посапывая. Марианна задумалась:

– Знаешь, думаю, Арсений зайдет сегодня, перехватим у него доллара два до следующей недели.

– Дождешься его... – пробурчала я. – Он последнее время все вечера проводит с Всеволодом Ивановым. Такая дружба, водой не разольешь.

Марианна снова стала стучать на машинке. А я, порывшись на плите за кастрюлями, нашла сухую корочку и села с книгой на кушетку. Часов около девяти вечера послышались быстрые шаги по двору и Марианна весело сказала:

– Вот Арсений, а ты говорила, не придет.

Еще минута, и Арсений Иванович Несмелов, наш самый талантливый поэт Зарубежья, наш общий друг и приятель, с шутливым смехом:

– Вот хорошо, что вы обе дома, – уселся на краешек кушетки. – Вот что, собирайтесь только поскорее.

– Куда?

– Всеволод приглашает нас вчетвером поужинать. Только скорее, он на извозчике ждет.

Марианна поморщилась, она терпеть не могла прерывать начатую работу, но, видимо вспомнив, что я голодная, быстро согласилась.

– Что это с Савоськой случилось, что он нас вспомнил. Только вот что, Арсений, выматывай. Нам же надо попримечнее одеться, выезжая с такой знаменитостью.

Арсений быстро скрылся за дверью. Сборы были недолгие. Марианна переоделась в свое единственное нарядное шелковое платье, я – в костюмчик, ходивший у меня за выходной.

Всеволода Никаноровича Иванова или Савоську, как мы его звали за глаза, автора знаменитого труда «Мы» и не менее знаменитой «Поэмы еды», мы знали сравнительно мало. Сталкивались в редакции газеты, один раз были у него на дому, в его кабинете, где висела огромная копия кустодиевской «Купчихи за самоваром», на нее он всегда указывал посетителям: «Моя муза», – на что я довольно резко спросила: «Купчиха или то, что на столе?»

Толстяк Всеволод был известен своим гурманством.

Минут через десять мы вышли на улицу уже в полном параде. Всеволод Никанорович слез с извозчика и пошел нам навстречу, говоря какие-то любезности. Уселись.

– В «Фантазию», – распорядился Иванов.

Мы запротестовали:

– Да помилуйте, Всеволод Никанорович, мы не одеты для такого шикарного места. Поедем куда-нибудь поскромнее.

Спорить было трудно.

– Ерунда! Сядем не в общем зале, а на балконе, в ложу. Там некому будет Ваши наряды критиковать.

«Фантазия» – шикарное кабаре в Харбине с прекрасным залом и великолепной эстрадной программой. Марианна о чем-то переговаривалась с Арсением. Я молчала, предвкушая вкусный, необычный ужин.

Зал «Фантазии», за ранним временем еще полупустой, сиял огнями. Уютная ложа балкона, освещенная разноцветными фонариками, серебро и хрусталь стола, тихая музыка откуда-то издалека.

Я невольно покосилась на художественно расписанное меню, но Всеволод пошептался с лакеем и, отстранив карту вин, коротко заказал:

– Устрицы и шампанское.

Завязался веселый разговор. Говорили о новых темах, о новых стихах. Арсений, лукаво прищурившись, спрашивал нас, какая лучше рифма на слово «оранжевый»... И так как ни я, ни Марианна ничего не ответили, тут же нараспев протянул:

– ...оранжевый.

Ах и дрянь же вы...

Он был великий мастер на рифмы и ассонансы. А я сокрушенно думала: «Ну вот, и никакого ужина... ни цыплят, ни даже простого бифштекса... а я такая голодная. Да еще устрицы, а как их едят?»

За свою короткую, шестнадцатилетнюю беженскую жизнь я только и слышала об устрицах, что они пищат, когда их глотаешь.

Шампанское было искристое и очень вкусное. Именно шампанское помогло мне на голодный желудок глотать этих скользких слизняков, которые были поданы в раковинах с изящными вилочками и ножичками. Глотала, внимательно наблюдая, как расправляется с устрицами Иванов. Боялась показать свое полное невежество в обращении с таким изысканным блюдом. Голова кружилась от шампанского, от стихов Арсения, от добродушных шуточек Иванова, и я старалась не замечать сочувственных взглядов, которые на меня кидала Марианна.

В полночь нас тем же порядком на извозчике доставили домой.

Всеволод попрощался с нами на улице, Арсений пошел провожать до дверей нашей хибары.

И тут Марианна на него накинулась:

– Тоже, гурманы! Тоже хороший тон! Дамам даже не предложили выбрать, что они хотят заказать. Устрицы... шампанское...

Арсений оправдывался:

– Но ведь, это действительно шикарно, и для «Фантазии» самое подходящее.

– Подходящее... Ольга два дня ничего, кроме корочки хлеба, не ела. В доме пусто. А вы...

Арсений растерялся:

– Так почему вы не сказали, что вы голодные? Я бы заказал цыплят.

– Да так вот и сказать, что мы хотим что-нибудь существенное. Так вот перед Савоськой и сознаться, что мы голодающие поэтессы. Ты сам должен был догадаться.

Я молчала. У меня проходил угар шампанского, и я чувствовала, что устрицы стоят в горле комом.

– Я завтра утром забегу, – и Арсений немного смущенный пошел к калитке.

– Только смотри, ни слова Всеволоду, не позорь нас, – крикнула ему вслед Марианна.

Утром часов в десять Арсений был уже у нас, принес с собой сайку хлеба, лук и две коробки сардин – все, что мог достать в маленькой лавочке, где ему еще не было отказано в кредите. Видимо сам тоже был «на мели» в эти дни.

Потом мы часто вспоминали этот светский ужин в роскошной «Фантазии». Особенно хорошо было вспоминать за чашкой горячего чая с чайной колбасой, нарезанной толстыми ломтиками, и с аппетитными

ломтиками поджаренного хлеба – наше обычное пиршество, когда мы были при деньгах.

А устрицы долгие годы вызывали у меня отвращение.

26 октября 1982 г.

*Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 88-92.*

У ВРАТ СТАРОГО ХРАМА

Город проснулся, как всегда, ровно в пять от взрыва бомбы, сброшенной японским аэропланом. Вот уже в течение двух месяцев утро начиналось этим взрывом ровно в пять утра. Улицы, узенькие, грязные, типичные улицы китайского города, стали наполняться народом

Открывались маленькие лавчонки, в которых еще торговали здесь, в этом районе, куда не доползли бои, где сравнительно было спокойно. Появились уличные продавцы китайских сладостей, фруктов. Кое-где, крикливо расхваливая свой товар, дребезжа посудой, проходил владелец переносной кухни, предлагая чашку горячего риса или зеленого чая.

Лин, зевая и потягиваясь, вытащил со двора повозку и медленно пошел по улице, направляясь к иностранным районам города.

Заработки резко упали за месяц событий. Чтобы заработать доллар или два, надо было бежать в далекие иностранные районы – мало кто хотел нанять рикшу в родном городке. Конечно, можно было проехать в тот, другой китайский город, который так беспощадно бомбили с воздуха, там можно было заработать, вывозя население побогаче за границу международного сеттльмента. Но звуки разрывов, разрушенные дома, горящие здания – все это вызывало в старом Лине какую-то отвратительную, мелкую внутреннюю дрожь, и он предпочитал работать здесь, в своем родном городе, еще не тронутым заревом событий.

Он рано вышел на работу сегодня, дома не было ни одного медяка, а шустрые ребята с утра просили есть, и жена Лина напрасно старалась успокоить голодную ораву, предлагая им горячую воду вместо вкусного, хорошо пахнувшего риса. Было еще очень рано, лучи восходящего солнца ласково блестели на стеклах домов и лавок, раздражающе пахло бобовым маслом уличной кухни, хотелось есть, и было немного зябко от утренней прохлады и от ощущения голода. Пробежал мимо знакомого с детства храма, двери в огромный круглый двор были открыты, и кое-кто из обитателей городка проходил туда внутрь поставить тонкую ароматную свечу, чтобы умиловить знакомое божество на грядущий день.

Лин остановился и пошарил в деревянном ящичке для денег. Напрасно – шустрые ребята еще с вечера вытащили все медяки в поисках более крупных монет. Мысленно прошептав слова молитвы, оберегающей от забот и несчастий, Лин Фун хотел было уже свернуть на главную улицу города, как вдруг из-за угла, словно от стен храма, вышел высокий, хорошо одетый китаец и повелительным жестом остановил рикшу. Не торгуясь, не говоря, куда надо ехать, молчаливый седок сел и движением руки показал на дорогу перед собой. Лин облегченно вздохнул. Хорошее предзнаменование. Богатый седок в первые же часы работы. Богатый. Кто же, кроме богачей, носит такие красивые шелковые халаты? Он ускорил бег и удивился немного, так как на подъеме к мосту через канал не почувствовал привычной тяжести.

Уж не соскочил ли пассажир? Но, оглянувшись, он убедился, что молчаливый и спокойный седок был здесь.

Мелькали улицы знакомого городка, приблизилась граница с иностранными районами, еще спящими; чистые, нарядные улицы были тихи и спокойны, редко-редко проезжал автомобиль, и тишину города нарушали только отдаленные глухие взрывы аэропланов да четкое цоканье ответных зенитных орудий. Все ближе и ближе были слышны страшные разрывы, замелькали предместья иностранных районов – они приближались к страшной границе района смерти и разрушения.

Все чаще и чаще попадались группы беженцев, уносящих свой несложный скарб и жалкие жизни от горящих родных домов. Кое-где семья, уместившись на узком тротуаре, готовила свой скудный завтрак, и дети громко плакали на руках у измученных и уставших женщин. В эти дни тысячи китайцев искали пристанища и спасения у границ международного селтльмента.

Лин робко оглянулся на своего седока. Куда же теперь? Впереди смерть и разрушение. Какой странный этот господин с бесстрастным спокойным лицом. Куда едет он, зачем он заставил бедного рикшу бежать по этим страшным районам? Все чаще и чаще мелькали разрушенные, кое-где еще дымящиеся недавним пожаром обломки зданий, все громче и громче слышалась уже ружейная стрельба. Изредка попадались китайские солдаты, пробиравшиеся среди развалин домов. Отчетливо громко грохотали зенитные батареи.

Строгий господин ни слова не сказал на вопросительный, полный ужаса взгляд бедного рикши, только повелительный жест тонкой руки указывал вперед. Еле живой от страха, проклиная в душе непонятного седока, Лин вбежал на небольшой холм, заканчивающий полуразрушенные улицы. Легкий стук ноги об подножку коляски заставил его оглянуться. По наклону головы, по тому же повелительному жесту он понял и опустил оглобли рикши.

Медленно и спокойно сошел высокий господин и поднялся еще выше на холм. Совсем недалеко, среди разрушенных улиц и обломков домов, были видны цепи китайских солдат; то там, то тут вспыхивали разрывы гранат, и ружейная стрельба звучала оглушительно близко.

Лин Фун сел на подножку своей коляски, потому что вдруг почувствовал, что ноги стали мягкими и безвольными, хотелось, мучительно хотелось схватить свою тележку и бежать назад, в спокойствие иностранных районов. Но что-то странное во всей фигуре непонятого пассажира не позволяло ему двинуться с места. Низко, совсем над головами, зашумел мотор аэроплана, так низко, что отчетливо были видны знаки восходящего солнца на крыльях. Что-то, как струйка дыма, оторвалось от бомбовоза и... Лин весь съежился, в голове промелькнуло изумленное лицо жены, встревоженные, заплаканные рожицы детей... «Конец», – отдалось где-то, где-то внутри... Страшный взрыв оглушил на минуту, Лин упал, задев рикшу, легкая коляска свалилась на бок. Долго, несколько минут не мог он поднять головы. Когда рассеялся дым и пыль от близкого разрыва, Лин Фун увидел, что седок его по-прежнему спокойно стоит на холме и смотрит вдаль.

Еще больший ужас охватил сознание. Что он, этот странный господин? Зачем он здесь? Что нужно ему? Зачем смотрит он вот уже скоро час, а может, и больше, на разрушение и смерть. Время тянулось мучительно медленно. Лин видел все. Он видел, как узкая цепочка китайских солдат побежала и скрылась за развалинами домов. Он слышал, как оттуда послышались непрерывные выстрелы. Он видел, как несколько скрюченных фигур поползли оттуда по земле и замерли в пугающей неподвижности смерти. Он видел, как от одного из взрывов вспыхнул ярким заревом большой трехэтажный дом, каким-то чудом устоявший за эти два месяца непрерывных боев.

Наконец, медленно-медленно высокий господин стал спускаться с холма и подошел к полумертвому от испуга рикше. Так же спокойно, без единого слова, он сел в коляску и тем же повелительным жестом показал на дорогу обратно. Казалось, какая-то новая живительная сила влилась во все существо рикши, он не почувствовал усталости долгого пути, он не бежал, он точно летел назад по узким разрушенным улицам. Мелькали мимо толпы беженцев, полуразрушенные хибары, а потом светлые и сияющие на солнце окна магазинов и особняков иностранных районов. Вот и переулки родного города, вот и высокие стены с детства знакомого храма вдали.

Вот и ворота храма, они закрыты: видно, монахи ушли на свой полуденный завтрак. Снова легкий стук по деревянной дощечке подножки – знак остановиться. Лин Фун опустил оглобли. Также спокойно, не глядя на него, высокий господин сошел с рикши и направился к воротам храма. Бесшумно открылись ворота и пропустили высокую фигуру в сером. Лин облегченно сел на подножку коляски и стал ждать. Очевидно, важный

господин пошел поставить свечу Великому Богу, помолиться о благополучном исходе страшной поездки. Надо ждать. Важные господа часто уходят в дом и только потом высылают деньги. Что ж, он подождет. Это ничего, что очень хочется есть, что там, напротив, в маленьком открытом ресторане заманчиво стучат чашки и палочки и пахнет рисом и бобами.

Это ничего, что дома ребята, наверное, надорвались от плача, и жена нетерпеливо смотрит на дверь, ожидая его с грудой медяков. Он подождет. Прошел час. У ворот храма собралась толпа, ожидая, когда распахнутся широкие двери и можно будет войти внутрь. Лин Фун первый бросился в широкий двор храма. Дверь в самый храм была закрыта на широкий засов, высокого господина не было нигде. Лин Фун закричал. Его обманули, его бесовестно обманули. Высокий, важный господин оказался простым обманщиком, не постыдившимся обмануть бедного, несчастного рикшу. Он бил себя в грудь кулаком и кричал так громко, что люди с улицы вбегали во двор храма и окружали его плотной толпой.

Этот важный господин в таком дорогом сером халате – просто обманщик и вор. Десять часов, десять долгих часов с самого рассвета, он, Лин Фун, возил этого обманщика по всем городам. Они были там, где ничего нет, кроме солдат и обломков домов. Они проехали мимо пожаров. Они видели войну так близко, что он, Лин Фун, и сейчас чувствует, как пахнут дымом пожарищ его платье и руки. И, вот он, этот обманщик, эта подлая черепаха, этот мерзавец, ушел, скрылся в воротах храма и не заплатил ни одного медяка.

А у него, Лина Фуна, дома жена и пятеро голодных детей. И их нечем будет накормить сегодня. И пропал длинный день. Пусть важный господин никогда не увидит своих детей, пусть родится он снова презренной свиньей. Он, который так обманул бедного старого рикшу.

Лин кричал, размазывая пот, слезы и грязь по лицу, бил себя в грудь кулаками. Откуда-то сбоку, из внутренних коридоров храма, вышел монах. Он подошел к кричавшему рикше и строго спросил, кто он и почему нарушает тишину и покой храма великого божества. И снова Лин, плача и задыхаясь, начал кричать о важном господине в сером, который так обманул бедного старого рикшу.

– Он там, он внутри храма. Пусть храм закрыт, он прошел туда через внутренние двери.

Монах медленно, не торопясь, отодвинул тяжелый засов, пахнуло сумраком и тишиной. Бесчисленные свечи дымились в песке у подножия божества. Толпа хлынула и застыла: у ног статуи великого божества лежали небрежно сброшенный блестящий серый халат и грудa серебра. Молчала толпа.

И бесстрастно и спокойно заговорил старый монах:

– Ты счастлив. Это тебя избрало великое божество, чтобы в образе человека проехать по нашему несчастному городу. Бог ездил сам посмотреть войну. Ты счастлив. Пройдут дни, года, десятилетия (для великого божества сотни лет – одно мгновение), и победит старый, вечный Китай. Ты счастлив. Возьми это серебро – это оставлено тебе великим божеством храма. Ты – счастлив.

Молчала толпа. Не сводя глаз с брошенного серого халата, стоял старый Лин. Лучи заходящего солнца проникали в храм и бросали косые лучи на безмолвную статую бога, на мягкие складки блестящего серого шелка на брошенном халате и на серебряные монеты, лежащие у подножья божества. И только где-то вдали глухо, мертво звучали взрывы смерти и разрушения, нарушая вечный покой и тишину старого храма.

1978 г.

*Опубликовано и печатается по:
Скопиченко О. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1994. С. 67-72.*



**Лидия Юлиановна
ХАИНДРОВА**
(1910-1986)

Поэтесса и журналистка Лидия Хаиндрова (настоящая фамилия Хаиндрава; в замужестве Сереброва) родилась 14 июня 1910 г. в городе Харбине. Окончила гимназию М.А. Оксаковской. Участница литературного объединения «Молодая Чураевка». В 1937 г. переехала в Дайрен, где работала представителем и корреспондентом газеты «Заря». В 1943 г. переехала в Шанхай. Печаталась в газетах «Чураевка», «Русское слово»; в журналах «Рубеж», «Понедельник», «Парус», «Феникс»; коллективных сборниках «Излучины», «Семеро», «Врата», «Багульник», «Остров». Автор поэтических книг «Ступени» (Харбин, 1939), «Крылья» (Харбин, 1941), «На распутье» (Шанхай, 1943). В 1947 г. репатрировалась в СССР. Жила в Казани, позднее обосновалась в Краснодаре, где вышел ее поэтический сборник «Даты, даты...» (1976). Скончалась 19 июня 1986 г. от инсульта.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 541.

Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 698.

Сентянина Е. Харбинские писатели и поэты // Рубеж. 1940. № 25. С. 10.

Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 323-324.

ОТРЫВОК

«Как будто на небо повесили плотные занавески», – думала Александра Павловна. По-старушечьи поджимала губы, силясь что-то разгадать.

Подходила к запотевшему окну и шарила в памяти, стараясь понять то, что с некоторых пор стало для нее непонятным.

Отчетливо вспомнила сына. Его внезапно потемневшее лицо со злыми, убегающими глазами. И мягко, просительно прозвучавший ее голос:

– Коля, что с тобой? Куда опять?..

Злые искорки потухли, захлебнулся от сдерживаемого стоны... А ее рука, поднятая для крестного знамения, бессильно упала.

После ухода сына передвигала с места на место вещи. Делала все то, что делала каждый день, но знала, что все это ее не интересует, что это не главное, а главное в чем-то другом. Да, главное... Это потемневшее лицо. Злые искорки...

Медленно, медленно проходили часы, какой-то заблудившийся лучик заглянул в комнату, испугался тишины и широко открытых удивленных глаз, заметался и спрятался за портрет курчавого мальчугана.

Поздно во сне к ней приходил Коля таким, каким он был в детстве, простым, понятным, визжал, носился по комнате, а при наступлении

темноты пугливо спрятался в ее коленях.

Встрепенулась... Никого... Луна то пряталась, то выплывала, и темные тучи висели над нею, как грязные лохмотья. Беспокойные пальцы поминутно сжимались и разжимались, а разбуженная память вдруг выплеснула со дна такой же заплаканный день, высокую детскую и вытянувшуюся фигурку сына на полу с маленьким платочком на лице. И на ее испуганный вопрос он, смеясь, ответил:

– Мы играем в разбойников... Меня убили...

И вдруг тишина, молчавшая до сих пор, заговорила:

– Мы играем в разбойников... Меня убили...

Глаза были сухими, а в горле что-то набухало и не могло найти выхода.

Твердо знала, что горе уже наступило, но где искать его? Откуда оно – не могла осилить...

Снова наступил день. Закряхтел фабричными трубами, расплакался дымом. Почерневшие воробьи сидели, нахохлившись, на заиндеветых проводах.

Приходили какие-то люди, виновато смотрели на нее и уходили. А ей хотелось крикнуть, что она их не винит, что они должны сказать ей правду. И в такт ее мыслям нелепо качалась ставшая чужой голова.

В полутемном подвале лежали странные люди, как мышки с руками и ногами. Здесь не мог быть ее сын. Хотелось уйти на воздух, посмотреть на занавешенное небо, вдохнуть в себя силу и мужество, а ноги помимо ее воли, как деревянные обрубки, гулко стучали по холодным плитам, зашаркали на одном месте и словно росли в пол. А воспаленным, сухим глазам кинулось что-то белое, покрывавшее лицо мертвеца... Как детский платочек...

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка. 1934. №5. С. 2.

ДВЕ СЕСТРЫ

Сегодня вечером должен был прийти Борис просить ее руки у Деда Ивана Михайловича. «Только бы Анна ушла скорей, – мучительно думала Зоя. – Долго не уходит, все колет иголками глаз. Ведь не плохая и хорошенькая, а вот иногда найдет что-то и не остановишь... А потом мучается... Господи, скоро она уйдет?» Вспоминает детство... Зоя и Анна – близнецы, остались без родителей; их заменили Бабушка и Дед. Старики не делали различия между девочками, если куклу дарили Зое, точно такую же получала Анна. Бывало, долго Анна сидит и рассматривает оба подарка, понемногу глаза делаются иголками, и вскоре Зоина кукла оказывается со сломанным носом. Анна успокаивалась и начинала

ласкаться к сестре. Смеркалось, тени поползли по полу, как будто разломали пополам туалетное зеркало... Зашипела и погасла лампада... В доме была особенная настороженная тишина. Зое стало нехорошо. Скрипнула всегда беззвучно отворявшаяся дверь, и проколола подозрительными глазами Анна. «Почему нет огня?». Зоя не ответила. Сидела, сжав брови. Глядя внутрь себя. Ничего не сказали сестры, но Зоя почувствовала, что Анна решила не уходить. Росло всегда сдерживаемое раздражение против нее. Хотелось вцепиться в нежную шею. Даже пальцам стало больно. Прозвучал в передней звонок. Анна радостно задвигалась, начала поправляться. «Борис!» Зоя не двигалась. Вспомнилась кукла в голубом платице со сломанным носиком, и начали заполнять комнатку предметы, испорченные Анной, обиды, нанесенные ей.

Слышала, как Анна приветствовала Бориса: «А я Вас ждала». Почувствовала глухое недовольство Бабушки и растерянность Бориса, не отрывающего взгляда от дверей ее комнаты. Звучный голос Деда заполнил комнату. Глаза внимательно остановились на оживленной и нарядной Анне, на сконфуженном Борисе. «Так, так..., – одобрительно покашлил Дед. – Слышал... Слышал...» Подумал: «Не вышло бы что-нибудь опять с этой стрекозой Анной, что-то очень оживлена». Сердито блеснул в ее сторону глазами: «А где Зоя?». Не заметил радости Бориса. Услышал Анино удивление: «Зачем?». В эту минуту в дверях показалась Зоя. Приняла радостный взгляд Бориса, но не ответила тем же.

– Так пожениться решили? – не обращаясь ни к кому в особенности, сказал Дед. Взгляд Бориса покоился на Зое.

– Кого ты собираешься женить-то? – из своего угла строго спросила Бабушка.

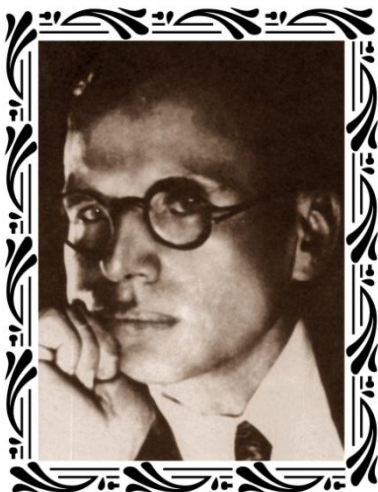
– Кого же? – протянул Дед раздумчиво. – Анну и Бориса...

Борис кинулся в сторону Зои, но властная рука Анны удержала его около себя.

Сжалось от горя сердце Зои. Страдая, не заметила тягостной тревоги Бориса. Вышла из комнаты. Стукнула входная дверь. Осталась одна со своим горем. Но знала, что, сильная, переживет и эту неудачу.

Тихая сидела Бабушка, все пожевывала губами. Казалось, ничего не видит, не слышит, а слыла мудрой. Все смотрела на Бориса запавшими глазами, потом медленно проходя мимо Анны, бросила ей: «Нет моего благословенья... Не твое это счастье...» Скрылась за портьерой. Долго вздыхала и клала поклоны. Только под утро успокоилась...

Впервые опубликовано и печатается по: Чураевка.1934. №6. С. 2.



**Альфред Петрович
ХЕЙДОК**
(1892-1990)

Писатель и теософ Альфред Хейдок родился 19 октября 1892 г. на хуторе Долес (Латвия) в семье латышского кузнеца-лютеранина. Участник Первой мировой и Гражданской войн. С 1917 г. по 1920 г. жил на Дальнем Востоке, был начальником уездной милиции Амурской области. В 1920 г. через Амур бежал в Китай. Жил в Харбине. Публиковал рассказы в журнале «Рубеж» и других периодических изданиях. Автор сборника «Звезды Маньчжурии» (Нью-Йорк?, 1934). Участник теософского содружества, организованного в Харбине Н.К. Рерихом. Осенью 1940 г. переселился в Шанхай. Участвовал в создании Шанхайского общества журналистов и беллетристов при обществе советских граждан. В 1947 г. вместе с женой и младшим сыном репатриировался в СССР (г. Североуральск), работал пожарником, учителем английского языка. В 1950 г. был арестован и осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. В 1956 г., после освобождения и полной реабилитации, поселился в городе Балхаше (Казахстан), работал библиотекарем, затем переводчиком. В 1981 г. переехал в г. Змеиногорск (Алтайский край), где и скончался 20 июня 1990 г.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 542.

Лобычев А. Очарованные странники Альфреда Хейдока // Хейдок А.П. Звезды Маньчжурии: Рассказы. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2011. С. 3-28.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 325.

Забияко А.А. Ментальность дальневосточного фронта: культура и литература русского Харбина. Новосибирск, 2016. 447 с.

ПРИЗРАК АЛЕКСЕЯ БЕЛЬСКОГО

1

Алеша Бельский еще раз погрузил деревянный лоток в яму мутной воды; пополоскав немного, он осторожно тонкой струйкой слил воду и проговорил:

— Не меньше двух золотников с лотка! Слышишь, Вадим!

За кучей набросанного золотиносного песка зашуршало, а потом оттуда выставилась грязная, невероятно обросшая щетиной физиономия. Если бы в горной щели, где происходил разговор, стало чуточку светлее, можно было бы разглядеть, как эта физиономия расплылась в улыбке.

— Вылезай! – продолжал Бельский, – Обедать надо! У меня такое ощущение, будто мне в спину вогнали осиновый кол. Шутка ли! С самого утра не разгибался.

Оба компаньона добывали золото в маньчжурских сопках или, попросту говоря, хищничали. Прежде чем попасть сюда, они солдатскими сапогами месили галицийские поля на великой войне; потом вернулись к отцовским очагам и не нашли ни очагов, ни отцов, а узнали, что сами они

буржуи и враги народа. Тогда два друга двинулись на Восток, где долгое время об их благополучии, хотя скверно, но все-таки заботилось интендантство Колчаковской армии. Тут они заработали офицерские погоны, так как оба были не прочь заглядывать в беззубый рот старушки-смерти. Таким образом, все шло хорошо до тех пор, пока не стало ни армии, ни интендантства. После этого они попали в Маньчжурию, но здесь им сказали, что они ничего не умеют делать.

Сейчас им улыбнулось счастье, но это счастье было, пожалуй, самым непрочным в мире, так как им одинаково страшен был и представитель китайских властей по охране недр, и поселянин, и хозяин сопок хунхуз. Но – велик Бог русского эмигранта! – в балагане из коры лежал мешочек намытого золотого песка. Его вес возрастал с каждым днем, и это вселяло дикую энергию и отвагу в сердце хозяина.

Сам же источник этой удачи находился под обрывом, в сырой, мрачной щели между двух сопок. Здесь протекал ручей. Несмотря на май, вода в нем была холодна, как лед, и обжигала, как огонь. Но двум приятелям, которым грезилось волшебное будущее, все было нипочем.

Друзья выбрались из сумрачной щели и долго щурились, пока глаза не привыкли к яркому свету; так и заливало солнышко лощину с нехитрым балаганом.

Алеша быстро развел огонь и замесил в котелке варево «за все»; оно служило и хлебом, и первым, и всеми дальнейшими блюдами. Обед был стоговлен чрезвычайно быстро и еще быстрее съеден со звериным аппетитом. После – оба ничком уткнулись в траву. Разморило.

– Ты как думаешь, – спросил Вадим, – долго еще нам придется питаться бурдой?

– Долго – не дадут. Того и гляди, кто-нибудь нагрнет, и смазывает пятки!

– А потом?

– Потом... – глаза Бельского будто туманом подернулись, – потом начинается жизнь... Ведь мы с тобой еще не жили! Каждую ночь мне снятся женщины, надушенные, страстные... Они порхают около меня, шепчут мне в уши бесстыдные слова, ласкают... Ты знаешь: здесь тайга; весной от целины сила идет, так она пронизывает меня, бунтует кровь...

Вадим молчал. Ему тоже снилась женщина, но только одна – ласковая, нежная... Зажмурит Вадим глаза – так и видит всю ее перед собой. Все мысли – к ней. Сидит, поди, она в городе, в мастерской, и целый день крутит швейную машину, а кругом еще десятки таких же машин стучат. Без конца течет материя из-под пальчиков ее... Вот к этой женщине он придет из тайги прямо в мастерскую, возьмет за руку и навсегда выведет ее оттуда. А потом настанет точно такой день, какой он видел на экране, когда жил в городе: сыплются под дуновением белые цветы, пара выходит

из церкви, а в весеннем воздухе гремит марш Мендельсона: тра-ра-ра... Да, да, обязательно этот марш!

Кончился короткий отдых. Опять два человека, не замечая боли в пояснице, не чувствуя холодной воды, лихорадочно работают; один выбрасывает песок из ямы, другой – промывает. У обоих одна мысль: «Как бы кто не помешал! Еще бы недельку, месяц поработать бы!»

Катится с горы мал камешек. Столкнула его чья-то нога на вершине, а катится сюда, к работающим! Эх! Упадет – чьи-то мечты разобьет.

Вадим увидел камешек и крикнул Бельскому. Оба прыгнули в кусты и усталились на вершину сопки. Вот мелькнула в кустарнике синяя курма – китаец проходит. А, может быть, поселянин? Тогда еще не так страшно... Нет! Повернул рябое лицо к ним – хунхуз! Тот же самый, который зимою приходил, когда оба товарища работали на концессии! Вот быстро удаляется: высмотрел – чего ему больше! Теперь скоро вся банда сюда нагрянет.

Прятели вылезли из кустов и направились к балагану. Каждый по-своему реагировал на события. Вадим угрюмо молчал, а Бельский с самым равнодушным видом насвистывал песенку. Терять ему было в привычку. Разве он не потерял всего раньше, там, в России? А сколько раз он терял и на чужбине.

Сборы были чрезвычайно короткие. Все было упаковано в рогули. Русские охотники и приискатели переняли их употребление от ороченов и китайцев. Рогули водрузились за плечами, и два человека решительно зашагали, чтобы в двое суток достичь железной дороги.

2

Под самый вечер ливень пронесся над тайгой; он налетел бурей и в мгновение ока накрыл сопки мутною сеткою косо падающей воды. Пока бушевал ливень, день погас, и kloкочущий раскатами грома мрак черною шапкою покрыл все. Вспышки молний выхватывали из темени стволы деревьев с черными сучьями, подобными костлявым, пощады просящим рукам. Потом ветер присмирел, и дождь стих, и ночная тайга заговорила разными голосами: бурлили невидимые глазу ручьи, пищали какие-то зверьки, и трещали ветви под крадущимися в стороне шагами.

Сыро, неприветливо и страшно в такую ночь в тайге; черными платками проносятся над головою бесшумные совы, а кусты, кажется, шепчут: «Не ходи... не ходи...».

Ноги путников хлюпали в грязи, и они вымокли до последней нитки. Вадим почувствовал озноб; после беспощадного дождя его начало лихорадить.

– Леша, я больше не могу – давай устраиваться на ночлег!

– Потерпи, брат! Дотянем до перевала – там, в стороне от дороги старая кумирня есть.

Еще грязь, кочки, крутой подъем, каскады воды с кустов и – перед ними зачернела похожая на громадный гриб кумирня. Она дохнула в лицо запахом тайги и намокшей земли. Когда Вольский натаскал хвороста и развел огонь на полу, то бурундук с писком шмыгнул с древнего изображения Будды, а под крышей зашуршало по всем направлениям.

Едкий дым потянулся от костра к трещинам в крыше. Вадим в изнеможении растянулся на полу. Лежал с полчаса и чувствовал лихорадочный жар внутри, а вместе с жаром стал ощущать тревожную напряженность и необъяснимое обострение чувств.

– Все ли спокойно в тайге? – глухо заговорил молчавший до тех пор Бельский. – Не идут ли за нами? Схожу, посмотрю.

Посмотрел Вадим на друга и испугался того, что увидел. Печать смерти лежала на лице друга...

Есть страшный дар у некоторых людей: они могут заранее узнать обреченных. Еще на германском фронте Вадим знал пьяницу-прапорщика, который накануне сражения долго всматривался в чье-нибудь лицо и крутил головою. Это был признак, что завтра того человека убьют. Ни разу не ошибся. Этот дар обнаружил у себя и Вадим.

Вадим вскочил, раскрыл рот, хотел крикнуть: «Не ходи!», – но Бельский уже выскользнул в дверь.

Вадим бессильно опустился на пол. Эх! Разве можно остановить судьбу? Все равно нельзя! А, может быть, он ошибся? Дай Бог!..

Тихо. Костер перестал потрескивать. Догорая, уголья тлеют синими огоньками, и не может слабый свет одолеть мрака. Тишина такая, что звенит в ушах. Что-то долго нет товарища! Однако надо идти за ним! Чего это он сразу не догадался, надо бы вместе!.. Встал, повернулся Вадим, а перед ним уже Бельский стоит – вернулся! Только напряженный он такой до чрезвычайности, и тихо-тихо говорит, так тихо, что, кажется, будто и звука нет, но ясна для Вадима его речь:

– Сейчас беги отсюда! Хунхузы уже здесь! Они уже убили меня!

Сказал это старый товарищ и будто туманом подернулся, смутен стал, расплылся и растаял в воздухе.

Сперва страх ощутил Вадим, потом дрожь прошла по телу, и он почувствовал, как вместе с лихорадочным жаром красное безумие поднимается и пронизывает мозг. Страх моментально исчез, и дикая отвага заменила его. Мигом он укрепил рогули за плечами, схватил в руки топор и зычно крикнул в темноту:

– Спасибо тебе, Леша! Не забыл меня и после смерти! И я тебя не забуду, слышишь!

В два прыжка он выскочил на двор и прямо грудью столкнулся с рослым детиною. Отскочил, взмахнул топором – что-то хрустнуло. Над самым ухом хлопнул выстрел и обжег щеку. Чьи-то цепкие руки обхватили его ноги из темноты. Вадим еще раз взмахнул топором, и руки разжались. Потом прыгнул во тьму и покатился с крутого откоса, цепляясь за кустарники и задерживаясь на неровностях...

Два дня спустя на вокзале одной из станций К.-В. железной дороги появился невероятно оборванный человек с бледным, усталым лицом. Он купил билет до Харбина, а потом прямо прошел в буфет первого класса. Служитель хотел выпроводить бродягу, считая его недостойным «чистой половины», но вовремя остановился, услышав, что пришедший требует шампанского.

– Самого лучшего, – прибавил он.

Шампанского не оказалось. Тогда незнакомец потребовал две сигареты и бутылку коньяка, причем опять прибавил: «Самого лучшего».

За все он сейчас же расплатился щедро и велел подать на столик две рюмки.

Он налил обе рюмки, но пил только из одной и непременно чокался с нетронутой.

Все время он смотрел в окно на видневшиеся вдали сопки, а когда пришел поезд, уехал.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1929. № 24.

Печатается по: Хейдок А. Огонь у порога. Магнитогорск, 1994. С. 42-49.

ДЭРБИ

I

Вы, наверное, видели, как голодная собака смотрит на кусок мяса. Но вы не имеете понятия, как это проделывает голодный волк, – он спружинивает мускулы, и в его глазах загораются зеленые огоньки; обладателю куска тогда становится не по себе...

Вот точно так Вагантов посмотрел на женщину, которая сидела в автомобиле Кандаурова, богача, гремевшего когда-то на всю примонгольскую окраину.

А на женщину стоило посмотреть!

Соболиные брови и очи с поволокой! И казалось Ваганову, что первый раз после долгих лет, проведенных в аду европейской и Гражданской войн, он видит женщину, столько сулящую мужчине...

Посмотри Ваганов так на нее в городе – Кандауров, как обладатель

столь редкого экземпляра, может быть, только самодовольно улыбнулся бы.

Но здесь, в дикой монгольской степи, он почувствовал страх, и рука невольно нащупала браунинг в кармане, пока машина медленно проползла мимо пешехода.

– Волк, настоящий волк, волком и смотрит! – пробурчал он в бороду.

Ваганов теперь действительно был волк. Волком его сделали годы войны и Ледяной поход. Он и его товарищи давно уже стали удивляться, если их за весь день никто не обстрелял, и не приходилось без боя брать ночлег в деревне.

Выработался даже свой жаргон. «Плюнь на него!» значило «Убей его!».

Они так привыкли к переходам, что Камчатка, Северный полюс и Гималаи, – все было – рукой подать.

Сейчас Ваганов пересекал Монголию, пробираясь в Китай. Все уже было потеряно, а в душе что-то говорило, что есть и другая жизнь, – без выстрелов и крови.

И эта женщина, которая только что пронеслась мимо него с жирным штатским, показала ему олицетворением той, другой жизни, жизни полной удовольствий и дурманящих ночей...

Кандауров также пересекал Монголию, пробираясь с деньгами и женою в безопасный Китай.

Он сам управлял машиной и избрал этот необыкновенный маршрут, чтобы подальше быть от всяких отрядов.

Вечером того же дня Ваганов нагнал хмурого, как туча, Кандаурова. Автомобиль стоял на холмике у русла, через которое раньше переезжали без всякой помехи, а теперь нечего было и думать о переправе: мутные струи наполняли русло и, кружась, несли белую пену и стволы деревьев, занесенных Бог знает откуда. Видимо, на верховьях выпали сильные ливни.

– Куда путь держите, молодой человек?

– На восток.

– А сами откуда?

– С запада.

Кандауров замолк и решил не смыкать глаз ночью: зарежет прохожий. Завтра, наверное, вода на убыль пойдет...

Ваганов отошел в сторону, погрыз сушеной баранины и лег, завернувшись в шинель.

Утро принесло путникам сюрприз – они оказались на острове. За ночь прибывающая вода где-то прорвала берег и широким, бурлящим рукавом отрезала им отступление.

Поторопился, видно, Кандауров; слишком уж понадеялся на скорость переезда к знакомым юртам и не прихватил провизии.

В следующий полдень Ваганов убедился, что его спутникам нечего есть.

Первый раз он подошел к ним и предложил остатки сушеной баранины, которая тут же и была съедена.

Женщина нашла, что Ваганов недурен, только немного дик.

Кандауров очень хорошо понимал взгляды, которые бросал на нее Ваганов, и между обоими мужчинами сразу установилась скрытая ненависть.

Прошли еще день и ночь, а вода и не думала убывать. Голод царствовал на холмике, и каждый по-своему относился к нему... Привыкший к изысканным блюдам, Кандауров пожелтел, как дыня осенью, и чувствовал невероятную злобу. Глаза женщины стали глубже и, казалось, горели на ставшем мраморном лице.

Только Ваганов как будто не чувствовал голода. Привыкший к голоду и холоду организм бережно расходовал энергию, которой много было в сухих мускулах юноши. Он был спокоен, ибо смутно чувствовал, что небеса дают ему в руки карты в той игре, где ставкой служила женщина, к которой тянулось все его изголодавшееся по ласкам существо.

Он стал весел на четвертый день, когда оказалось, что новый вал наводнения прокатился по реке.

Теперь он знал, что началось «дэрби» его жизни – состязание в выносливости с этим старым мешком жира. Кто выживет, тому... «Ты пожил, а я – нет; уступи ее мне!», – хотелось ему крикнуть, но молча и со стиснутыми зубами, ждал он событий...

Вдруг новая мысль обожгла его – она могла умереть прежде!..

И тогда началась работа. Он вырвал клоч своих волос и смастерил из них небольшую петлю. Эту петлю укрепил на конце своей дорожной палки. С нетерпением дикаря он целый день стоял по колено в воде: не подвернется ли пескарь или червеобразный вьюн.

Безумными глазами Кандауров следил за ним, но ничего не попадалось. Тогда Кандауров впадал в забытье рядом с женщиной, и в кошмарных снах видел дымящиеся блюда и хлебы... хлебы...

Когда наступила ночь, женщина открыла глаза, – Ваганов тихо дергал ее за руку. Приложив палец к губам в знак молчания, он протянул ей горсть крошечных рыбешек – сырых, но предварительно посыпанных солью. Жадно она проглотила их, и на руку Ваганова упала горячая слеза.

Ваганов был честен, ни одной рыбки он сам не проглотил. Правила состязания были соблюдены, и, стало быть, игра была честная – а ведь судороги сжимали его внутренности при виде пищи.

Так продолжалось еще два дня. Затем Кандауров вспомнил о

браунинге. Раздался сухой треск, и с пробитым виском он рухнул на землю – нервы не выдержали!

Это были кошмарные дни.

Но небеса, видимо, жалели дикаря, не видевшего радостей жизни, и в петле Ваганова затрепетала трехфунтовая щука.

А потом спала и вода, и в одном монгольском стойбище поднялся переполох: во весь опор прискакал пастух и рассказал, что в степи он видел мчащуюся телегу без лошадей, а этой телегой управляла сама смерть, потому что это не мог быть человек, – он был весь кости и кожа, только в глазных впадинах горели глаза...

Это был Ваганов, который выигрывал свое «дэрби».

Он подходил к старту, за которым начинались та, другая жизнь и дурманящие ночи...

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. №9. С. 6-7.

ИГРА С РОКОМ

I

Не нужен... Абсолютно никому не нужен!..

В этот момент Рогов действительно твердо был убежден, что он не нужен ни-ко-му.

Если бы были деньги... Ну тогда – совсем другое дело! Но денег не было, не было и работы, а вдобавок – он с утра еще не ел.

Владивосток времен доживавшего свои дни Меркуловского правительства шумел и волновался. Но шум и суета проносились мимо Рогова, совершенно не задевая его: он был лишним в этом городе.

Странно все-таки: он, человек с образованием, здоровый, молодой, и вдруг – без гроша в чужом городе! Абсурд какой-то!

А ведь – все живут, все что-то делают...

Возвращаться на шумные улицы Рогову не хотелось. Было мучительно проходить мимо витрин гастрономических магазинов: раздражающе действовали и выходящие оттуда покупатели со свертками в руках, и запах.

Нет, это положительно – приключение, хотя и неприятное! Нужно пережить его как мужчине: голову выше!.. смотри в оба! Где тут шествует Его Величество случай!?

Ждать случая?.. Но ведь можно сдохнуть под забором от голода: завтра сил у него будет еще меньше... Уж не пойти ли самому навстречу случаю?

Рогов решительно зашагал по направлению к вокзалу. Он обошел его

стороной, перелез через забор и очутился между рядами товарных вагонов. Там он выбрал для себя место и терпеливо стал ждать.

Ждать пришлось чертовски долго, пока, наконец, в наступивших сумерках летней ночи на вокзале прозвучал третий звонок, и чудовище со сверкающими огненными глазами стало быстро приближаться к нему.

Колеса стучат, гремят... Струя воздуха и сухой пыли в лицо... Изо всех сил Рогов бежит несколько шагов рядом с поездом... Прыжок!.. – и он уже висит на поручнях. Оттуда – быстро на крышу вагона. Сидит и чувствует себя победителем: все-таки, он едет, и это ничего не стоит!

Куда?.. А не все ли равно?!

Небо заволокло тучами. Поезд грохочет в мрачной темени, несясь по прочерченному сталью пути. Где-то далеко-далеко в стороне светится одинокий огонек.

Глядя на него, Рогов вспоминает, как в дни своего благополучия он наблюдал такие огоньки сквозь зеркальное стекло вагона: они казались ему таинственными, манящими... Волнующей тайной звали к себе... Бывали моменты, когда безумно тянуло выскочить из поезда и двинуться к этим огням...

Конечно, всегда сдерживался.

Но что же удерживает теперь? Почему не сумасбродничать, когда терять нечего и благоразумие ничего не дает?

Для судьбы, для рока, это будет совершенно непредвиденным ходом в игре!

Этот рок почему-то представлялся Рогову в виде усталого длиннобородого старика, который бесстрастно, автоматически, все одними и теми же ходами, двигает человеческие пешки по доске жизни.

– Старик будет озадачен! – проговорил Рогов вслух и почувствовал при этом прилив энергии. Словно где-то внутри раскрылись какие-то таинственные ее хранилища.

На крутом повороте поезд замедлил ход. Рогов спустился на подножку и оттолкнулся ногами вперед.

Полет... Удар об откос... Несколько невольных кувыркков в воздухе... Поезд с оглушительным шумом проносится над ним и исчезает...

Тишина. Легкая, свежая струя воздуха и шелест высокой травы. Стеною стоит трава; виднеются неясные очертания кустов, а над ними, вдали, – огонек.

Человек, вздумавший озадачить рок, неожиданно быстро и решительно двинулся на эту стену, и она сомкнулась за ним...

II

Путешествие в темноте по траве и кочкам уссурийской равнины оказалось долгим и трудным. Вдобавок, в ночной темени угрожающе стали

вспыхивать голубые молнии, и глухо загремело. Стал накрапывать дождь.

Весь уже мокрый от дождя, Рогов обходил какие-то бугры, исцарапался, пролезая сквозь кусты, и вдруг уже совсем близко увидел длинное, низкое, ярко освещенное здание.

Подходя к нему, Рогов в первый раз за этот день почувствовал смутный страх. Страх еще усилился, когда, заглянув в освещенные окна, он не увидел внутри дома ни одной живой души.

Молчаливый дом стоял загадкой, и страшно было решиться нарушить его зловещую тишину. Но все же. Надо было что-то предпринимать.

Минуту он колебался...

– Эх, будь что будет!

С опаской он подошел к окну и постучал... – никакого ответа!

Тогда Рогов принялся стучать во все окна по очереди, но с тем же результатом.

Тогда шагнул к двери и решительно толкнул ее – она открылась без всяких усилий.

Рогов быстрыми шагами прошел темную кухню и толкнул другую дверь, но тут же отшатнулся назад: на грубо сколоченном столе лежал громадный мужчина с черною всколоченною бородой и такую же копную волос. Он был покрыт простыней и, несомненно, – мертв.

Прошло несколько секунд, прежде чем Рогов сумел овладеть собою, но совершенно освободиться от чувства страха не смог. Мертвец был жуток... Особенно страшен был оскал крепких белых зубов и подобие злой улыбки на потемневших губах.

В это время Рогов услышал глухой шум в задней комнате, – будто кто-то баррикадировал дверь, – бросился туда и очутился перед дверцею небольшого чуланчика.

Шум стих... Рогов толкнул дверцу, послышался грохот упавшей скамьи, еще чего-то, и все это покрыл полный дикого ужаса крик...

Рогов увидел женщину... Она стояла в самом углу чулана, закрыв лицо руками, и продолжала кричать.

Рогов не мог слышать этого нечеловеческого непрерывного крика. Он сказал:

– Что вы кричите? Я же не вор, не разбойник!

Крик внезапно оборвался. Она, задыхаясь и дрожа, отняла руки от лица и пытливо и долго всматривалась в лицо Рогова. Тот спокойно выжидал.

– Откуда вы?

– Из города.

– Слава Богу! Вы приехали, чтобы помочь мне? Значит, тетя Аня так быстро получила мое письмо! Ну, слава Богу, – сказала она взволнованным голосом и перекрестилась.

Рогову вдруг стало неудобно: его явно принимали за кого-то другого. Он тут же решил, что не испортит ночного приключения бесчестным поступком. Он не станет обманывать это дрожащее существо с такими большими, доверчивыми глазами.

Он выпрямился. Он даже стал галантен:

– Я не хочу вас обманывать, сударыня! Никакой тети Ани я не знаю и о письме мне ничего неизвестно!

– Так кто же вы? – она опять испуганно, с отчаянием, смотрела на него.

– Во всяком случае – честный человек, который вам не намерен причинить ни малейшего зла и притом... голодный! – закончил Рогов со смущенной улыбкой.

Кажется, эта улыбка пересилила недоверие женщины. Она помолчала, подумала, и слабое отражение такой же улыбки промелькнуло у нее на губах.

Она предложила ему пройти за нею в кухню, там достала ужин и, вернувшись в столовую, накрыла на стол.

Рогова от себя она не отпускала ни на шаг, пока ходила в кухню и обратно.

Он понял, что мучительный страх преследовал женщину повсюду.

Ужиная, он успел вкратце рассказать о себе, о главных этапах жизни, приведшей его случайно в ее дом.

Она слушала внимательно, изредка бросая боязливые взгляды на дверь, ведущую в комнату с мертвецом, как вдруг оглушительный удар грома потряс дом, зазвенели осколки рассыпавшегося оконного стекла, и невероятный гул катился и катился не смолкая с края на край небосвода.

Дико вскрикнув, с безумием в глазах женщина бросилась к Рогову, обхватила его руками, прижалась и, всхлипывая, кричала:

– Он!.. Он!.. Спаси!.. Спаси!..

– Кто «он»? От кого спасать? – прошептал растерявшийся Рогов, придерживая ее руками.

– От него! От мужа... Я сейчас видела его лицо в окне... Два года. Два года поедом ел он мою жизнь... Держал взаперти... Сказал – и после смерти придет за мной!

Смутные догадки в мозгу Рогова сформировались в одно целое, и драма этой маленькой женщины стала ему понятна до конца.

Короткие, резкие удары грома за стеной еще повторялись.

Он держал в руках вздрагивающее тело, нежно гладил свободной рукой по ее обнаженному локтю, по волосам, стараясь успокоить, как некогда – свою маленькую сестренку.

И эта женщина казалась ему одиноким, испуганным и обиженным ребенком: у нее были детские глаза и наивное личико ребенка.

Дождь за окном лил, как из ведра, и журчал по стокам. Под этот

монотонный шум женщина, плача и всхлипывая, рассказывала страшную повесть своей жизни, полную черной тоски, а временами – холодного ужаса.

Рогов молча, не задавая вопросов, слушал страшную повесть о женщине-ребенке и диком ревнивце-муже, одержимом к тому же странными наклонностями...

Казалось, даже не ему она рассказывала, а кому-то третьему; жаловалась невидимому судье...

Рогов узнал, как заболел муж; как он предчувствовал свою смерть; запретил ей покидать дом и сам отправил единственную работницу, старую Марфу, в поселок – заказать гроб. Еще он узнал о диких угрозах умиравшего ненормального человека и, наконец, понял весь ужас одинокой, измученной жизнью и до смерти напуганной женщины.

Долго она говорила при шуме дождя, будто не замечая Рогова, не чувствуя его присутствия и в то же время доверчиво прижимаясь к нему, и ловя каждое ласковое прикосновение руки.

Нежность и глубокая жалость запали в сердце Рогова. Все ласковее и нежнее гладили руки рассыпавшиеся под руками кудри, и все тише становился голос женщины. Вот уже и замолкла. Еще несколько минут – и она спала, положив голову ему на колени.

«Спи, бедное дитя, спи! – мысленно проговорил Рогов. – Спи, буду сон охранять я твой!», – промелькнул в голове отрывок из старой, давно забытой колыбельной песни.

Так сидел пронизанный нежностью никому не нужный Рогов, все-таки оказавшийся нужным этой маленькой женщине с большим горем.

Он был горд! Никому бы он не дал ее в обиду! Он стал счастлив, когда увидел, как исчезла печать мучительного страха с молодого лица, как мерно колыхалась грудь...

III

Когда наступило утро, она проснулась и недоуменно посмотрела в глаза усталому человеку, на коленях у которого проспала всю ночь.

Она вскочила в смущении. Потом они молча посмотрели в глаза друг другу и, может быть, кое-что в них прочли. Иногда ведь так много можно прочесть в глазах...

Около полудня вернулась Марфа с гробом, а спустя короткое время громадное тело было убрано со стола в гроб. Похоронный кортеж был очень мал: в нем участвовали только две женщины и Рогов.

Когда с похоронами было покончено и все вернулись в дом, из него уже исчез страх. Они разбрелись по комнатам и мирно провели ночь.

Потом прошло еще несколько незаметно промелькнувших в работе дней.

Из города приехала тетя Аня с каким-то дальним родственником

маленькой хозяйки. Он принял на себя руководство всем хозяйством, привез работника-китайца и стал распоряжаться как глава дома.

С тех пор Рогов стал плохо спать по ночам, несмотря на усталость. Один Бог знает какие мысли роились у него в мозгу... Наконец, он принял решение – он уйдет. Тут есть люди, которые поддержат маленькую хозяйку... Надо дать ей опомниться, прийти в себя...

Дело было вечером, а вечер был тих и ясен, как улыбка ребенка. Поужинали в кухне.

«Ночью пришел, ночью и уйду!», – подумал Рогов и тут же объявил присутствующим о своем решении.

Приезжий заволновался, пытался уговорить его остаться:

– Рабочее время – сами знаете!

Хозяйка не проронила ни одного слова.

Когда речь зашла о расчете, Рогов категорически отказался от вознаграждения: случайно, мол, зашел, ну и помог женщине, пока родственники подоспели; в деньгах он не нуждается – свои есть. А что решил ночью уйти (тут он странно рассмеялся) – так у всякого человека свои причуды есть!

При этих словах показалось ему, что хозяйка будто бледнее стала.

Он встал, пожал всем руки и, глубоко нахлобучив шляпу на глаза, вышел. Не пошел по дороге на станцию; нет, решил уйти той же дорогой, какой пришел. Стал медленно спускаться с пригорка в волнующееся море трав и кустарников.

Не оглянувшись, не видел, как маленькая женщина вышла ему вслед... О чем она думала? Может быть – ни о чем. Просто сомнамбулой она тихо шла по пригорку: уходил от нее луч света и тепла, случайно попавший в затянутый паутиной подвал. Тянутся к лучу бледные растения мрачных щелей – тянулась и она...

Но вот она прибавила шагу, почти побежала, – потому, что у нее внутри вдруг раскрылась давно созревшая почка и синим пламенем вспыхнул чудный цветок, – она любила!

Тогда она поняла и уходящего. Руки сами вытянулись вперед, и женщина побежала...

Когда высокая трава уже совсем обступила Рогова – он все-таки оглянулся; увидел бегущую маленькую фигурку и замер... Почему-то в вечерней прохладе ему вдруг стало жарко.

– Не может быть! – и тут же в душе решил, что – может...

Тогда он побежал ей навстречу.

Бегут два человека навстречу друг другу. Встретились... Душат друг друга в объятиях...

ЗОВ ПУСТЫНИ

I

Вандалов перешагнул порог и окинул взглядом привычную обстановку конторы. Однако взгляда было вполне достаточно, чтобы убедиться, что все служащие уже знали о его помолвке с дочерью хозяина.

Никто не поздравлял, – помолвка еще не была объявлена официально, – но по одному виду служащих было ясно, что новость уже известна, учтена и принята к сведению: у пухлой машинистки Силиной глаза выглядели необыкновенно сладенькими, а накрашенный рот одним углом все лег куда-то вверх, наподобие улыбки; седенький бухгалтер долго молча жал ему руку и заглядывал в глаза, а помощник бухгалтера не садился до тех пор, пока Вандалов не прошел в свой кабинет.

В нем видели уже будущего хозяина!

Принципала еще не было, Вандалов опустился в кресло за письменным столом и задумался: чувствовалась какая-то неловкость от сознания своего нового положения. Казалось, он должен был ощущать радость! Отчего же ее не было? Почему этот день кажется ему таким же, как все предыдущие?!

Может быть, он просто устал от напряжения стольких лет труда?

Пять лет он прослужил в этой конторе! Когда первый раз он появился здесь, на нем была рваная шинель; он шатался от голода; в ушах еще звучало эхо выстрелов, а по ночам он видел во сне партизанские засады, скакал верхом по снежным полям и все стремился в какую-то смутную даль...

Просыпаясь же, видел ревевший гудками авто город, разряженную толпу и звериную борьбу за существование.

Со стиснутыми зубами он тоже бросился с головой в эту борьбу и шаг за шагом прокладывал себе дорогу вверх, пока не достиг солидного положения в конторе «Оржельский и К°».

Теперь он завершает постройку здания своего благополучия женитьбой на дочери хозяина... А она, право, неплохая девушка! Хотя...

Она очень спокойная, выдержанная! Нет – конечно, она будет хорошей женой: ведь она – вся в мать!

Даже удивительно, как Лили на нее похожа! Такая же она корректная, такая же у нее ясность спокойного взгляда...

С этой женщиной рука об руку он пойдет по жизненному пути, избегая бурь и треволнений, тихо, спокойно, все дальше и дальше...

– Куда? На кладбище?.. – язвительно спросил кто-то в глубине души.

– Проклятие!.. – Вандалов машинально трет лоб рукой. Нужно, наконец, переменить квартиру – она выходит окнами на дорогу, по которой то и дело шли похоронные процессии.

Поэтому город в последнее время кажется ему громадной фабрикой... В одном ее конце рождаются новые жизни; они регистрируются, получают ярлыки и проходят различные степени обработки, все время продвигаясь к другому концу, где их выбрасывают и отправляют на склад мертвецов...

— Георгий Константинович, вас у подъезда ждет Лили с машиной: хочет вместе с вами подышать чистым воздухом, — в кабинет незаметно вошел Оржельский. — Я всегда говорил, что женщины нарушают правильное течение деловой жизни, — продолжал он, шутливо ворча и подталкивая Вандалова к двери.

Проходя через контору, Вандалов еще раз поймал многозначительный взгляд машинистки: «Жених!..».

У подъезда — блестящий автомобиль. Лили — в стильном платье, как нельзя лучше гармонирующем с окраской и даже с линиями изящного кадиллака, — ожидает его.

Запах пармских фиалок щекочет ноздри Вандалова, когда он прижимает руку Лили к губам.

— Ты что-то выглядишь усталым, Жорж! — участливо говорит она.

Вандалов улыбается: в первый раз она называет его на «ты».

Автомобиль плавно мчит по улице, переходящей за городом в укатанное шоссе. Вандалову кажется, что он с Лили в кадиллаке в эту минуту удивительно напоминают рекламную картину автофирмы...

Минуту он смотрит на строгий профиль Лили, на ее классические губы — хороша!!! Где-то в глубине его загорается шаловливый огонек: он обязательно поцелует ее, как только они отъедут дальше от города!

Вот — теперь! На дороге нет никого... Руки протягиваются к ней, пальцы погружаются в шелковые складки платья... Он порывисто наклоняет к ней голову и... в ту же секунду останавливается: лицо Лили выражает упрек, даже обиду; она глазами указывает на шофера.

Со стиснутыми губами Вандалов откидывается на сидение, воображая, какое глупое у него теперь лицо. Как он мог забыть, что на свете существуют приличия!..

Лили становится жаль его:

— За поворотом мы выйдем из автомобиля — тогда... — бросает она ему по-английски.

Вандалов уже овладел собою; он медленно наклоняет голову: «Решено — они едут целоваться за поворотом!.. В этой жизни все должно делаться по расписанию!»

Остановка. Вандалов галантно помогает Лили выйти из автомобиля; они идут за деревья. Там она поворачивает к нему лицо: теперь можно...

Но... уже погас шаловливый огонек, который мог превратиться в ревущее пламя...

Минуту спустя они оба со спокойными лицами ехали в автомобиле обратно.

На повороте глазам открывается затянутая сизой дымкой даль и синяя гряда далеких гор, манящих, зовущих и дразнящих воображение мужчины.

Ноздри Вандалова расширяются; он слышит зов пустыни; ему кажется, что там, за этой далью, не зная расписаний и условностей, дик и прост – живет настоящий человек... Там нежна и пламенна женщина, и все ясно, открыто и просто, как степь, как волнуемое море, как песнь жаворонка, серебром звенящая в выси...

Возвратившись в контору, Вандалов нашел своего будущего тестя окутанным облаками сигарного дыма и очень, и очень взволнованным.

– Что случилось?

Оржельский молча протянул ему телеграмму из Монголии:

«Народные волнения выступления бандитов. Не хватает денег вывезти закупленную шерсть. Посылайте нарочным. Бадмалов».

Когда Вандалов читал телеграмму, в его воображении встала степь, тлеющий аргал, всадники... все то, что наполняло бурные годы его юности.

Он убедил Оржельского, что такие крупные суммы не могут пересылаться с обыкновенным служащим, что положение, видимо, очень серьезно и что поэтому должен ехать он сам.

Оржельский пожал ему руку:

– Я рассчитывал, что вы это скажете и надеялся на вас. Правда – это очень огорчит Лилю, но... другого выхода нет!

II

Гремя, стуча и сверкая залитыми электричеством окнами в наступивших сумерках летнего вечера поезд из Харбина на запад.

Вандалов откинулся на спинку сиденья купе и неожиданно для себя облегченно вздохнул: он почувствовал себя странно-свободным. Может быть, так чувствует себя рабочая лошадь, с которой вечером снимут сбрую и выпустят на зеленый луг.

Чем дальше становилось от города, тем больше росло это ощущение.

Он нагнулся и любовно пощупал тюк, завернутый в порт-плэд: в нем лежал его старый походный мешок с принадлежностями для путешествия верхом и наган, тщательно сохранявшийся им эти долгие годы.

Ночью он высунулся из окна и долго вдыхал свежий воздух степи.

Зловещие слухи о волнениях в монгольских степях поползли ему навстречу на стоянках поезда.

На конечной станции он с трудом достал автомобиль, который доставил его к обеду второго дня в монгольский поселок с несколькими

китайского типа постройками посередине и далеко раскинувшимися юртами вокруг.

Там было все тихо, спокойно, и никто никуда не торопился. Отзвуки далекого города одним за другим гасли в сознании Вандалова; он чувствовал только ширь и простор овладевшей им пустыни.

— Бадмалов! Где Бадмалов? – спрашивал Вандалов каждого встречного монгола.

Большинство не понимало его. Наконец, подросток с широким, как сковорода, лицом подвел его к отдельно стоявшей юрте и загорланил по-монгольски.

Изнутри ответили, а затем оттуда выскочил юноша в черных шароварах и в подпоясанной кожаным ремнем рубашке.

— Нет, черт возьми!.. Это же – девушка!..

Изумленный Вандалов сделал шаг назад. Несомненно – девушка со смуглою кожей, монгольской складкою глаз, но с удивительно правильным овалом лица!

— Вам нужно Бадмалова? Вы – Вандалов?

Получив утвердительный ответ, она быстро заговорила:

— Я – дочь Бадмалова. Меня зовут Хада. Отца нет дома. Он собрал всех мужчин и уехал далеко в степь – собирать ваш обоз. Ехать к нему – бессмыслица: вся степь в том направлении кишит разными отрядами. Вам придется возвращаться, пока еще сюда не нагрелся какой-нибудь отряд!

— Тем не менее я все-таки поеду!

— Вы поедете?! – девушка окинула взглядом его всего, с кончиков изящных ботинок до модного галстука. Вандалов прочитал в ее глазах совершенное презрение к своей особе.

— Вы когда-нибудь сидели в седле? Ведь вам придется целые дни проводить на лошади, и... в вас будут стрелять! – произнесла она так высокомерно, что Вандалов окончательно убедился, что его не считают мужчиной.

— Я питаю слабую надежду как-нибудь удержаться в седле. Достаньте мне только лошадей и проводника! – сказал он, еле сдерживая смех.

Девушка, видимо, была озадачена.

— Хорошо, – сказала она, – лошади будут готовы через час, а проводником поеду я сама: все мужчины уехали с отцом.

Через час переодетый по-походному Вандалов вышел из юрты и направился к приготовленным коням. Тот же подросток с широким лицом подвел к нему старого, смиренного коня. Вандалов пнул ногой и лошадь, и подростка, обрушившись на него с шуточной бранью.

— Я еще не умер! – кричал он. – Почему мне подают лошадь, на которой везли хоронить твоего прадеда?! Живо приведи мне вон того чалого жеребца!

Подросток побежал, и Вандалов на глазах изумленной Хады собственноручно переседлал коней. Он легко вскочил на малообъезженного жеребца; тот вздыбился от неожиданности, а затем понесся стрелою по степи.

Хада догнала его уже за поселком, где Вандалов проверял аллюры своего коня.

– Теперь я понимаю, что вы могли иметь «слабую надежду» удержаться в седле, – сказала Хада, со смехом протягивая ему руку.

С этого момента лед между ними был сломан.

Хада доверчиво вступила в разговор и рассказала, что ее отец имеет большие стада в степи, что ее мать была русская, что она училась в русской школе...

Жара сменилась вечернею прохладой, и наступила ночь, а они все продолжали скачку по залитой лунным светом степи.

Временами Вандалову казалось, что он убегает от гремящей колесницы цивилизации и мчится назад, в прошлое человечества.

Он смотрел на скакавшую с ним рядом девушку и думал, что, может быть, тысячу лет тому назад его предок так же скакал по этой степи рядом со своею подругою, готовый драться со всеми, – с людьми и зверями. Эй! Быстрее, быстрее, кони! Дальше от счетных книг и железных дорог!.. Как хорошо!..

III

Конный разезд, высланный отрядом повстанцев, медленно движется по степи. Он состоит всего из четырех всадников. Едут молча, но Юлаю не терпится.

– Моя бабушка всегда говорила, что в такие лунные ночи шайтан носится по степи на вороном коне. Если он встречает человека, то выпивает у него кровь. Правда, что шайтан так любит кровь? – обращается Юлай к другому всаднику.

Тот утвердительно кивает головой:

– Правда!.. На этот случай всегда надо иметь при себе кусочек кала живота Будды – тогда не тронет!

– Дурачье! – оборачивается к ним монгол, одетый полу-европейски. Он раньше служил в красной армии и даже учил политграмоту. – Нет никакого шайтана!

Остальные смеются:

– Ха-ха-ха! Нет шайтана!?! Вот чудак-человек! А кого видел Цадип в ту ночь, когда отправился красть баранов?..

Тут говорящий замолкает. Все прислушиваются: через гряды волнообразных холмиков к ним явственно доносится топот копыт.

Трое переглядываются, – шайтан ли? – а четвертый выносится

вперед, на бугорок, и вскидывает винтовку.

– Стой! Кто идет? – кричит он по-монгольски.

Вандалов и Хада, проезжавшие внизу, только вытянули коней плетьюми и еще быстрее понеслись вперед. Ночную тишину прорезал одиночный выстрел.

Вындалов услышал знакомый напев пули и решил, что все идет отлично: ему давно не хватало такой скачки, стрельбы и валькирии с раздувающимися ноздрями и блестящими глазами, птицей летящей рядом с ним по равнине!

Целый залп позади. Лошадь Хады упала со всего размаха, спутавшись в один клубок со всадницей. Четверо всадников перестали стрелять и во весь дух мчатся к ним.

Вандалов подскакал к девушке, помог ей выбраться из-под коня. Она забралась к нему сзади на круп лошади. Обхватила его руками, и они опять помчались вперед.

Молотит Вандалов плетью коня. Нет – не уйти чалому под двойной тяжестью! Настигают!.. Дробный топот за спиной слышится все ближе...

Пальцы Вандалова нащупывают шершавую рукоять нагана. Он круто поворачивает коня навстречу погоне; наган выплевывает огоньки: первый, второй, третий...

Что за чудо?! – земля волной поднимается и бросается прямо в лицо Вандалову... Он уже лежит на ней, и нет кругом никого и ничего, и мрак застилает все...

Маленькая, смуглая ручка выхватила револьвер из ослабевшей руки Вандалова и неторопливо выпустила, одну за другой, оставшиеся пули...

Странное время настало для Вандалова.

Он чувствовал, что с ним что-то делают, везут куда-то... Иногда он видел сквозь туман смуглое лицо девушки, смотревшей на него с немым отчаянием. Но чаще он погружался в черный мрак, в котором то и дело вспыхивали огни.

Тогда к нему являлись двое, – какие-то бесформенные, страшные существа, – и мучили его...

Они надевали ему на голову раскаленный обруч и жгли его; и было много огня... слишком много огня...

В такие моменты он начинал стонать; поднимал руки и пытался сбросить жегший его обруч. Он уже знал, что ему на помощь тотчас же придет девушка... Она отводит его руки; обливает холодной водой, дает пить...

– Да, да! Все – она!..

Потом настал день, когда он открыл глаза, увидел незнакомые стены юрты и узнал Хаду, сидевшую у изголовья. Он хотел что-то сказать, но девушка испуганно замахала руками и закрыла рот ладонью.

Он улыбнулся и спокойно заснул. На этот раз чудовища оставили его в покое и исчезли окончательно.

– Хада!

Согбенная фигура, видимо, заснувшей около него девушки, выпрямилась. Спокойное лицо больного и его слабая улыбка наполнили ее радостью.

Она пыталась протестовать против разговора, но все-таки рассказала, что они теперь – в юрте отца; что ей пришлось два дня везти раненого Вандалова привязанным к седлу; что отец успешно отправил большую часть обозов, благодаря деньгам, которые привез с собой Вандалов. Одним словом, все было хорошо, только... только бы ему поправиться!..

Рука Вандалова легла на смуглую руку девушки. Голос Хады внезапно оборвался. Вандалов взглянул на нее – Хада с застывшим лицом смотрела на его руку, где блестело обручальное кольцо...

IV

Силы быстро возвращались к Вандалову, но Хада исчезла из его юрты. Лишь иногда она справлялась о его здоровье, и он ни в чем не терпел недостатка.

Был уже конец лета, и небо приняло бирюзовый оттенок. С последним обозом снялись и юрты; навьюченные на коней – они были отправлены в поселок.

Бадмалов уехал еще раньше.

Вандалов и Хада замыкали шествие обоза. Она была весела и смеялась ясному небу и солнцу.

– Это та самая гряда холмиков, где я упал? – спросил Вандалов Хаду.

– Та самая!

– Давайте проскачем туда.

Она повернула коня.

– Кто скорее?! – гикнула и понеслась.

У гряды холмов широко разбрелись овцы. Их пас старый пастух в порыжевшем малахае и засаленном овчинном тулупе.

Когда Хада и Вандалов проскакали мимо него – пастух охотился в своем тулупе за насекомыми и не обратил на всадников ни малейшего внимания.

Кони остановились за бугорком и долго там простояли. До старика донеслось всего несколько слов:

– Хада, почему твои губы жгут, как огонь?

– Наверное, потому, что я никогда не жила в большом городе! Ты больше туда не поедешь?

– Нет, я останусь здесь, и у нас в юрте не будет ни часов, ни календаря, ни счетных книг! Только ты и я...

Когда пастух проковылял на то место, откуда он слышал голоса, там никого не было. Но он нашел на земле блестящий предмет – золотое обручальное кольцо...

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. №36. С. 8-10, 12.

ДВОЙНОЙ СЛЕД

I

Белый, пушистый днем выпал снег и покрыл всю грязь и отбросы, которыми был усеян крутой берег верховьев Сунгари у маленького китайского городка.

К вечеру снегопад прекратился, но небо осталось покрытым тучами; солнца не было, и в сизых сумерках наступившего зимнего вечера еще продолжали падать редкие одиночные снежинки.

Точно под низкими сводами, странно и глухо звучали голоса разносчиков под опустившимся серым небом, а сами они – разносчики – казались до смешного неуклюжими и грязными на белом фоне снега.

Ассами стояла в темной фанзе и пристально смотрела в окно, откуда были видны заледеневшая река и фигуры пешеходов. Она еще не зажигала огня, и в комнату лился лишь тусклый, мертвенно-бледный свет умиравшего дня, отраженный снегом. Мрак полз по углам и силился затянуть голые, неуютные стены.

Да зачем же Ассами и зажигать свет, если еще она может различитьдвигающихся по льду людей? Вот того, который спускается с другого берега, чтобы пересечь реку, она узнала же, хоть он и далеко!

Это – Денис, вместе с которым муж Ассами, татарин Сейфулин, снимает две комнаты в этой фанзе.

Вместе – чтобы дешевле было...

«Плохо! – думает Ассами. – Муж еще не вернулся...» Денис опять первым придет и будет смотреть на нее тем странным взглядом, от которого ей то – как будто жарко становится, то – будто в груди щекочет...

Денис молод – Сейфулин стар...

Она круто отворачивается от окна и сжимает губы; гневная мысль вспыхивает в мозгу: «Пусть приходит! Мне-то что? Не буду смотреть!!!».

Сама отвернулась от окна, но воровские степные глаза поглядывали еще, и пришла Ассами к заключению, что Денис нарочно быстро идет: торопится пораньше домой!

Она протянула руку к лампе, но тот час же оторвала ее: лучше не зажигать... Если зайдет речь (а ей кажется, что речь зайдет), то лучше – в сумерках: не так стыдно смотреть в глаза... Темнота не выдаст ее, и она так отбреет его, что другой раз не полезет!

Ей хорошо слышно, как Денис в сенях отряхивает с себя снег, обметает веником сапоги – чик-чик...

Дверь открывается, и в комнату, вместе с Денисом, проникает холодная струя. Она докатывается до Ассами и заставляет ее поежиться.

Денис молча бросает на кан связку шкурок. Он теперь, как и Сейфулин, понемножку скупает пушнину; раньше «шиллом-мылом» вразнос торговал.

Потирая озябшие руки, он делает несколько кругов вокруг чугунной печурки, стоящей посреди комнаты, а затем останавливается около женщины.

Она нагибается к дровам, подкладывает их в печку и, выдержав длительную паузу, равнодушным голосом спрашивает:

– Ну что?

Ответа нет. Ассами смотрит в раскрытую печную дверцу и боится поднять глаза: она увидела, как позади нее, при красном свете пылающих углей, взметнулись на стене две громадные руки; она знает, что эти ее сейчас обнимут и крепко-крепко прижмут к себе.

Уйти бы сейчас... Нет! Ну пусть будет это на секунду! Только на одну маленькую секундочку, а потом она вырвется и убежит...

– Уйдем, Ассами! Уедем в Харбин, вместе начнем новую жизнь! Сама знаешь – люблю...

Голос Дениса разбил оцепенение Ассами – вырвалась!

– Ничего я не знаю! Только я – не такая... И не следует вам этого говорить, а мне – слушать. И то уже муж заметил, как вы смотрите на меня, спрашивал... Никуда я не пойду: сироткой меня муж взял да брата калеку долгие годы кормил...

Выкрикивает Ассами в сумрак чуждые слова и сама дивится – не так бы она сказала, не так...

И вдруг визгливо, по-бабьи, выпаливает:

– Все вы меня обижаете!

Плечи ее начинают трястись от рыданий...

Дверь с шумом раскрывается, и вошедший Сейфулин молча обводит взглядом мужчину и женщину. Они неловко отскакивают друг от друга.

– Чего же вы не зажигаете огня? – медленно и глухо спрашивает Сейфулин.

И стал плохо спать с этого дня старый татарин, ибо известно, что только язык сплетницы и сердце ревнивца никогда не знают покоя.

II

Старый огородник Лао-Чжао никогда не ошибался насчет погоды. Стоило ему только выйти на базарную площадь, пощупать небо выцветшими глазами и сказать: «Будет буран!», – как все приезжие из

деревень крестьяне уже начинали торопливо собираться домой.

И буран налетал... Несся он сперва над морями – Охотским, Японским; вздыбливал по пути зеленоватые воды, нагромождал одну на другую громадные глыбы льда многосаженными торосами, а как достиг маньчжурских сопок – взвыл волком и засвистал Соловьем-Разбойником в ущельях.

– У-у! – гудел он, возносясь на промерзшие каменные кручи, и – ш-ши! – со шварканьем гнал вниз по скатам тучи снежной пыли и целые оравы бесформенных, ежесекундно меняющих свой облик белых химер.

Буран настиг Дениса и Сейфулина по дороге домой с китайского торжка в отдаленной деревне, где они оба пытались по дешевке скупить шкурки.

Залепило снегом трех Сейфулина и мохнатую папаху Дениса. Белые, как два столба снега, они еле двигались по узкой пади, где уже не было заметно и признаков дороги.

Розно, друг от друга недалече, брели оба. Оборотился Сейфулин к Денису и закричал:

– Нету дороги!.. Пропала дорога-то!..

Стараясь перекрычать рев бурана, Денис ответил:

– Я заберусь на сопку... Увижу жильё или дорогу, – махну тебе рукой, – ты тоже полезай!

Сейфулин уселся ждать на каменистый выступ у подножия сопки; достал трубку и ухитрился закурить. Курит, время от времени поглядывая на Дениса.

Вот Денис уже на полдороги – быстро карабкается вверх.

– Молод! – думает старик и тут же вспоминает... – Ох, нехорошо!..

Посмотрел еще раз наверх – и застыл: увидел, что чуть ли не у самой вершины Денис нелепо взмахнул руками и кубарем покатился вниз с уступа на уступ, пока не исчез в глубокой морщине горного ската.

Долго старик сидит в оцепенении. Клином вытянувшись по ветру, дрожит его узенькая борода, а сам – ни с места!

Почему он не торопится оказать помощь товарищу? Отчего не спешит?

Пошел все-таки старик! Медленно, осторожно, точно подкрадываясь к зверю, стал карабкаться к покрытому редким кустарником ребру морщины. Раздвинул руками кустарник и осторожно заглянул в русло дождевого потока на дне морщины, куда упал Денис.

Заглушенные ямой, донеслись к старику крики:

– Сейфу-у-улин! Помоги-и! Нога слом... – порыв ветра заглушил остальное.

Кричащий, по-видимому, не заметил головы старика в кустах.

Старик медленно отполз назад, на старое место, и еще раз закурил. Он жадно втягивал дым крепкой до одури «маньчжурки» и думал только

одну думу...

И чем больше он думал, тем темнее становилось его лицо.

– Воля Аллаха! Воля Аллаха! – бормотал он. – Он наказывает воров чужого счастья!

Долго сидел старик, как вдруг, в промежутке между двумя порывами ветра, к нему донеслось покрякивание и скрип арбы. Он всмотрелся в мутную сетку снега и стал различать в пади поселянина с арбой.

Сейфулин встал и пошел ему навстречу.

– Как называется это место? – спросил он возницу.

– Лунь-тань-шань (гора Драконова озера)!

– Подвези меня до города!

Возница очистил ему место. Итак, воля Аллаха: один останется, другой – погибнет...

III

Хитрыми узорами ткется жизнь в великом сплетении причин и последствий. Завязываются в ней узлы не человеческими руками и не человеческими руками разрушаются...

Едва Сейфулин переступил порог своей комнаты, как следом за ним явился соседний лавочник.

– Моя завтра Харбин ходи; Дениса нада. Его Харбин товара купи! – ломаным русским языком сказал он.

– Не знаю я, где Денис. Буран был... дорогой друг друга около Лунь-тань-шаня потеряли! – ответил смутившийся от неожиданности Сейфулин.

Лавочник покрутил головой и ушел. Ассами насторожилась... Встревоженная, она занялась ужином, все время настороженно ожидая услышать знакомые шаги в сенях.

Зная мужа как свои пять пальцев, она была удивлена его поведением. Он истуканом сидел за столом, все время курил и иногда подолгу посматривал на жену колючим, жестким взглядом. Потом сходил в лавочку за бутылкой крепкой китайской «ханьши» и почти всю ее за ужином выпил. Раньше этого не случалось.

Страшное подозрение закралось в душу Ассами и все усиливалось.

А когда пьяный муж вылез из-за стола и, глядя помутневшим взором на жену, вдруг пришел в ярость и ударил кулаком по столу со словами:

– У, стерва! Этого больше не будет! Не бу-у-удет!!! – тогда она уже поняла, что случилось что-то страшное.

Сейфулин, пошатываясь, отошел к кану, повалился на него и мгновенно уснул в тяжком хмеле.

На постоялый двор, где остановился привезший Сейфулина поселянин, явилась Ассами в сопровождении соседа-лавочника.

Тихая, робкая Ассами была неузнаваема: она настойчиво и деловито

расспрашивала поселянина о месте встречи с ее мужем. При деятельной помощи лавочника, несмотря на поздний час, она тут же подрядила этого крестьянина и еще несколько человек.

Буран уже пронесся, и темно-синее, усеянное звездами небо было чисто и спокойно, когда небольшая кучка мужчин и одна женщина выехали за городские ворота по направлению к Лунь-тань-шаню.

Леденящий холод лился из бездн этого синего неба, но женщина не замечала его. Ей представлялись весы – две чашки весов... На одной – ее молодость, лучшие годы жизни, отданные старому пожившему человеку; на другой – жизнь без согревающей ласки и крохи, которыми кормился ее бедный брат-калека.

Было ли тут равновесие? А если было, то зачем бросают на весы ненужное преступление? Ненужное – ведь она отказалась же?!

Нет! Теперь она выровняет! Выровняет... – если только не поздно!

Тяжел был сон старого татарина. Он видел во сне гору.

Лето будто... Большая она – эта гора! И вся, вдоль и поперек, изрезана складками и морщинами. Все зловеще тихо кругом... Он стоит перед этой горой и, насторожившись, мучительно, со страхом ждет чего-то... Вот подул ветерок, и складки чуть-чуть передвинулись. Ветерок прекратился, и складки – на старое место! Но вот ветер начинает дуть постоянно, все усиливаясь, складки приходят в движение, лезут одна на другую и выстраиваются, точь-в-точь – лицо человека. Взвыл ветер, – уже не ветер, – ураган! Замелькали в воздухе крупные снежинки, завертелись снежные столбы, а гора вся трясется от безумного смеха, подпрыгивает и хохочет ему в лицо...

Бежать! – ноги не двигаются.

Просыпается Сейфулин, ворочается, опять засыпает...

Так проспал до утра и встал лишь к часам десяти.

Тихо и пусто в комнате.

– Где же Ассами? – удивленный, подождал, походил по ненатопленной, холодной комнате, и, наконец, – подошел к лавочнику.

От него вернулся серый, землистый.

Полуденное солнце застало его уже на горе Лунь-тань-шань. Он пристально всматривался в памятную морщину.

Там никого уже не было, только на снегу остался двойной след. В одном он без труда различил маленькие отпечатки ног Ассами, а о принадлежности другого – догадался.

Следы привели к месту стоянки арбы, где снег был сильно утопан, а оттуда уже колея вела на ближайшую станцию железной дороги...

ШЕСТВИЕ МЕРТВЫХ

В вечерней прохладе мы сидели на берегу и прислушивались к ленивым всплескам реки. Еще горел закат, но уже фиолетовая дымка окутывала дальние сопки, и черные тени стелились по долинам от скатов.

Пройдет полчаса, и на бесшумных крыльях спустится ночь.

Далеко, в больших городах в это время гремят трамваи, гудят автомобили и суетливые люди снуют по тротуарам.

А здесь, над глинистым обрывом берега, перешептывается камыш – природа говорит с человеком, и человек понимает ее.

– Это мое последнее лето здесь, – произнес мой собеседник, старый китаец Хоу.

– Разве ты собираешься покинуть это место, мой друг? – спросил я, прислушиваясь, как смутные шорохи пробегали по камышу...

– Я стар и поеду на юг: пора на покой.

– Ты хочешь покинуть огород, где выращиваешь такие сочные овощи? Разве золотоискатели с Хинганских падей платят тебе плохим песком?

Хоу протянул руку на запад, где горело зарево:

– Вечер моей жизни уже близок, и я поеду туда, где ожидают меня предки.

– Мертвые никого не ждут, Хоу; разве не все равно, где будет покоиться тело, когда отлетит дух жизни?

– Как? Но разве ты не хочешь видеть своего старого отца? Ты не хотел бы чувствовать руки матери на своей голове? Живые стремятся к очагам своих родителей – мертвые также! И даже самые бедные китайские семьи платят все, что могут, чтобы привезти своих покойников из чужих стран. Я не хочу причинить зла своей семье и приду сам, пока еще жизнь теплится в моих костях.

Возражения роем теснились в моей голове. Наудачу я выбрал одно из них:

– А откуда, скажи, Хоу, откуда известно, что мертвые желают возвратиться под родной кров?

Хоу повернул ко мне свое коричневое лицо. Оно сливалось с глинистым обрывом берега, и казалось, будто древний обветренный барельеф говорит со мною со стен буддийской кумирни.

– Ты не смеешься над верованиями моего народа, и я скажу тебе: мы знаем это, потому что мертвые сами возвращаются!

Он уставил на меня взгляд своих старческих глаз, а я сосредоточил всю силу воли, чтобы не дать дрогнуть ни одному мускулу на лице, ибо знал, что даже тень неверия замкнет уста моего собеседника.

- Ты, может быть, расскажешь мне, Хоу, как возвращаются мертвые?

Его рука описала полукруг по направлению к югу.

- Ты был в провинции Гуйчжоу? О нет, ты не был там; редкий иностранец бывает в провинции Гуйчжоу. Там нет огненных телег иностранцев... Там круты горные скаты и шумливы ручьи.

Но нигде ты не увидишь такого ясного неба, и нигде утро не дышит таким спокойствием, как в Гуйчжоу, ибо именно там, в недосыгаемой высоте, находится царство мертвых, куда отлетает дух после смерти человека...

Много отшельников живет в горах, и много обитателей основали там монахи ордена фа-ши: ведь там нет соблазнов, и легче человеку следовать по великому пути Дао, ведущему к истине.

Каждое лето стекается народ к этим обителям, чтобы принести свои молитвы Небесному Духу.

И, случается, смерть настигает паломника в пути.

Что делать его родственникам? Не понесешь тяжелый гроб по тропинкам, где трудно пройти даже одному. А по пятам смерти приходит тление.

Тогда приглашают монаха из ордена фа-ши.

С пением приближается к мертвому монах.

Трижды он бьет земные поклоны и трижды посылает заклинания властителю Царства Мертвых, чтобы отпустил он отлетевший дух усопшего.

Монах воскуривает душистый «сянь», брызжет священной водой в лицо усопшего – и... он встает, и члены его приобретают гибкость.

Только глаз уже не откроет мертвый, ибо на них лежит печать смерти, а ее никто из живущих не в силах снять.

Затем впереди становится родственник, а за ним – монах с курительной свечой, и они идут: мертвый среди двух живых.

Не пойдет мертвый на восток, не пойдет и на запад, а пойдет только по дороге к родному дому.

И так идут они много дней. Когда провожатые подкрепляют свои силы сном и пищей в деревенской харчевне, мертвый стоит у ограды и ждет, ибо он хочет видеть своего старого отца и чувствовать руку матери на своей голове. Но вот и родной дом! Горе, если с плачем выбегут навстречу мертвому родные: в прах рассыплется его тело.

Без слез нужно подвести его к приготовленному гробу, и здесь уже успокоится пришелец навеки: он у родного очага...

Хоу замолк. Молчал и я.

Уже спустилась ночь.

Туман клубился на дальних скалах, и призрачная пелена стелилась по потемневшей реке. И бездонное, величественное небо, и уснувшая земля дышали тайной ночи...

Мой скептический ум стушевался перед темным ликом природы – хранительницы тайн жизни и смерти.

И в этот момент я верил так же, как Хоу, что в далекой горной области и поныне мертвые шествуют среди живых, чтобы почувствовать руку матери на своей голове...

*Впервые опубликовано: Хейдок А. Звезды Маньчжурии. Нью-Йорк, 1934.
Печатается по: Хейдок А. Звезды Маньчжурии. Мистические истории.
М., 2001. С. 188-194.*

МАНЬЧЖУРСКАЯ ПРИНЦЕССА

I

Когда меня, как единственного друга художника Багрова, спрашивали, почему он так внезапно исчез из Харбина и где он теперь, я отвечал пожатием плеч и коротким: «Не знаю», – а в большинстве случаев отделялся молчанием, потому что Багров категорически запретил мне говорить об этом до назначенного им дня... Впрочем, меня скоро и совсем перестали спрашивать о нем; память об исчезнувшем подчас бывает недолговечнее тени бегущего по небу облачка: промелькнуло темное пятно – и нет его... Я даже улыбнулся, хотя боль и искажала мою улыбку. А однажды она стала похожей на плач, когда один из моих знакомых сообщил, что видел Багрова в Шанхае – в баре... Он был будто бы в элегантном костюме и белой панаме...

Я улыбнулся, чтобы не заплакать: только я один знал, что Багрова нет в Шанхае, не было и никогда там не будет, что он уже подошел к той грани, за которой теряется след человеческий и начинается тропа вечности...

Но я не мог говорить об этом! Не мог вплоть до сегодняшнего дня, когда я, наконец, получил то, чего ожидал со страхом, все еще в глубине души надеясь, что земная жизнь, полная радужных мечтаний и зовущая к отважной борьбе, перетянет чашу весов с жуткими, потусторонними тенями, и мой друг будет жить...

Но надежда была слаба, как болотный огонек, живущий до первого дуновения, и сегодня утром предчувствия так стеснили мою грудь, что я, то и дело, бросал боязливые взгляды в окно, на пустынный переулок в ожидании посланца с известием о смерти моего друга. И когда хозяйка пришла сказать, что оборванный буддийский монах звонит у дверей и

требует меня, я был совершенно подготовлен к этому и спокоен. Я даже поправил хозяйку, сказав, что это не буддийский, а даосский монах, хотя где же ей разбираться в этом и для чего?..

Я перешагнул порог и на веранде встретил взгляд сухощавого, спокойного и бесстрастного, как маньчжурское небо, монаха.

Не говоря ни слова, он передал мне сверток, низко поклонился и сразу стал спускаться обратно по лестнице. Я пытался его остановить, хотел пригласить в комнату, подробно расспросить, но он не останавливался и, поклонившись мне еще раз на ходу, ушел.

Тогда я понял, что ему дан наказ не вступать в разговоры.

Я заперся в комнате и развернул сверток, хорошо зная его содержимое. С шуршанием оттуда выпали картина моего друга – «Маньчжурская принцесса» – и лоскуток бумаги с нацарапанной слабеющей рукою фразой: «Свершается Б.»

И чем больше смотрел я в нездешние глаза девушки на картине, тем больше во мне зрела решимость раскрыть перед людьми тайну исчезновения Багрова, рассказать про «Маньчжурскую принцессу» и таинственные тропы, уводящие живых в вечность.

И еще захотелось мне дать хоть слабое понятие о душе человека и художника, который всех поражал неистовством своей необузданной фантазии; художника, который создавал полотна, где горы давили зрителя своей тяжестью, где ясно ощущались тысячелетия, застрявшие в змеевидных ущельях, и где в причудливых сплетениях корчились тела с запрокинутыми в исступлении страсти головами. Пышущие пламенем губы рвали там огненные поцелуи с дымившихся ртов...

Да, этот человек всегда отличался от нас, обыкновенных уравновешенных людей. Только он мог, покидая концертный зал, изливать мне в странных жалобах:

– Почему мир так жесток? В нем есть волшебные звуки, музыка, говорящая духу о любви и вечной красоте, которых мы никогда не встречаем среди людей, и окрыляющая его возвышенным обманом.

Это он, первый раз услышав гавайскую мелодию, распродал все пожитки и поехал на родину этих стонущих мелодий, чтоб остаться там навеки... Но так же быстро он вернулся оттуда возмущенный и говорил, что Гавайи – громадный публичный дом для команд и пассажиров тихоокеанских судов! По его мнению, счастье и любовь покинули эту страну, как только там стали высаживаться купцы и чиновники цивилизованных стран... Он был жестоко обманут!

И гибель этого человека началась как раз с того дня, когда он приехал ко мне, в затерянный в горной стране Чен-бо-шань, китайский городок.

Я сдавал там китайскому коммерсанту партию жатвенных машин и имел неосторожность написать Багрову про прелесть окрестных гор с

вечно сизой пеленой дымчатого тумана и про девственные тущобы.

А через три дня после отправления письма Багров рано утром появился в моей комнате и со смехом стал тормошить меня в постели: я еще не встал.

В тот же день, после обеда, сытые маньчжурские лошадки затрусили под деревянными седлами, унося нас в горы, которые мне хотелось показать своему другу.

Багров шутил и смеялся всю дорогу. Впоследствии я не раз задумывался, как этот человек, так чутко реагирующий на тончайшие влияния, не смог предвидеть роковых последствий этой поездки? А, впрочем, то, что нам кажется несчастьем, для него было, может быть, наоборот?

Мы проехали часа два, и тогда я протянул руку:

– Вот – посмотри!

II

Видели ли вы когда-нибудь некоторые из удачнейших творений Рериха? Замечали в них за каким-нибудь холмом нашего севера, ничего особенного собой не представляющим, неизмеримую глубину бледных северных небес, в которой вы сразу чувствуете седую вечность, космическое спокойствие и такую даль, будто она раскинулась за гранью недостижимых миров?

Одного взгляда на такую картину уже достаточно, чтобы вас потянуло и понесло ввысь...

Такова была и местность, куда я привел Багрова.

Долина, стиснутая с обеих сторон мощными скалами, быстро расширяясь по мере продвижения вперед, переходила в широкий луг и оканчивалась с третьей стороны тупиком, упирающимся в полушарие мягко закругленного холма. В противоположность окружающим вершинам на этом холме не было леса, а весь он, как ковром, был устлан светло-зеленой травой и усыпан огненными одуванчиками, ромашками и еще какими-то белыми цветами.

Лишь один этот холм блистал в солнечных лугах среди хмурой и сумрачной зелени окружающих высот.

Был ли то закон контраста или что-то другое, недоступное человеческому разуму, но, как нигде, невыразимая даль и глубь небес чувствовались над ним.

И вся она, эта возвышенность, казалось, прямо подставляла могучую выпуклость своей груди ясному небу, чтобы постоянно глядеть в очи Предвечного и прислушиваться к шелесту его одежд в облачных грядках...

И еще тут, на середине расстояния от подошвы холма до вершины, было нечто, останавливающее внимание, – обнесенный стеною из серого

гранита четырехугольник с двумя траурными елями у входа и могильными холмами посередине – место вечного успокоения. Оно разливало по этому, цветами усеянному холму очарование светлой грусти, ненарушимой тишины сна, смерти и покоя, рожденного вечностью.

– Какая красота! – прошептал Багров, соскакивая с седла. – Во всем мире не найдешь другого места, где бы земля так говорила с небом!

Он быстро установил мольберт и приступил к работе с лихорадочной поспешностью. Через несколько минут он уже перестал мне отвечать – верный признак того, что он видит только пятна, цвета, тени, а я... я уже не существую для него.

Привязав лошадей, я сел в тени каменной ограды и задумался: кто бы мог тут покоиться? Кладбище это не общественное... Наверное, какой-нибудь знатный мандарин императорских времен выбрал это место для себя и своего поколения. И спят они там, укутанные в тяжелые шелка, – сын рядом с отцом, муж с женой... Мысли все ленивее копошились в моем мозгу, и сон смежил мои глаза.

Это было довольно странно: днем я никогда не спал, а тут, казалось, какая-то посторонняя, чужая сила наполнила мой мозг туманом и погрузила в глубокий сон.

Когда я открыл глаза, удивился, что солнце уже заходит! Поразмыслив, решил, что прошло уже не менее трех часов.

А что же Багров? Где он? Я обогнул угол ограды и направился к нему. Мои первые шаги были тяжелы и неуклюжи: остатки сна еще сковывали члены, а потом... я побежал; Багров в неестественной позе навзничь лежал у подножия мольберта... Он был без сознания, а с полотна глядела как живая, стоящая между двух аллей, девушка в древнем одеянии принцесс Цинской династии.

Обаятельную прелесть и какое-то нездешнее выражение ее лица я разглядел лишь впоследствии, а в тот момент бросился приводить в сознание своего друга.

Это мне удалось с большим трудом, но каково было мое изумление, когда Багров, как только открыл глаза, задал вопрос:

– Где она?

– Кто?!!

– Девушка...

– Какая еще девушка? Я задремал и ничего не знаю... Во всяком случае, на добрый десяток верст вокруг и в помине нет никаких девушек. А если бы даже отыскалась какая-нибудь, то, конечно, не принцесса, а из тех дочерей крестьян, которые сидят на коне, сосут длинную трубку и мастерски сплевывают, не наклоняя головы!

– Как! – воскликнул Багров, поднимаясь. – Она же вскоре после твоего ухода появилась между елями и стояла недвижно долгое время, пока

я ее писал. А потом она подошла ко мне... и...

– А потом ничего не было! – перебил я его. – Ты получил солнечный удар – вот и все... Едем домой!

На обратном пути он жаловался на страшную разбитость во всем теле и головную боль. Под тем же предлогом он, невероятно осунувшийся за ночь, на другой день распростился со мною и уехал обратно в город.

Наше прощание было очень сердечным, но меня поражало, что он избегает говорить о вчерашнем происшествии и уклоняется от объяснений по поводу написанной им девушки.

Я так и считал ее плодом фантазии художника.

III

Два месяца моя фирма гоняла меня в командировки по разным закоулкам Маньчжурии. В поездке по старому Гирн-Хуньчунскому тракту я заболел. Провалился в жестокой лихорадке несколько дней на одной из станций.

Когда я стал поправляться, решил ради прогулки сделать экскурсию в даосскую кумирню, которая находилась на крутой, заросшей дубняком горе. Хотя было уже под вечер, но летний зной еще висел в воздухе над морем лиственниц, пихт и кедров, когда я добрался до подножия сопки. На самой верхушке ее, в зелени лепящихся по косогору дубов, распустивших во все стороны мозолистые, скрюченные пальцы своих корней, притаилась кумирня.

В сумраке сводчатого входа я тихо прошел меж двух рядов страшных слуг Властителя Мира и Небес. Раскрашенные физиономии духов, воплощенные в потемневшее дерево и позолоту, недвижно глядели на меня мертвыми глазами, поблескивали серповидными секирами, грозили адскими трезубцами...

А дальше – опять мощный двор, солнечные блики, трепет листвы на каменных плитах и шелест...

Я уже поднимался по ступеням в следующее отделение храма, когда чуть не столкнулся с изможденным, похожим на тень монахом.

Я сделал шаг в сторону, а потом с криком вцепился в него.

– Багров!..

Он долго смотрел на меня непонимающим взглядом, а потом его лицо прояснилось, он грустно улыбнулся.

– Наконец! Хорошо, что ты здесь! Я даже думал об этом... Надо же кому-нибудь рассказать, чтобы не сочли за сумасшедшего... Хотя... Разве не все равно?.. Ну пойдём.

Потрясенный встречей и видом Багрова, я молча последовал за ним. Мы уселись на краю обрыва, где отроги Кэнтай Алина, точно чудовищные ящеры, раскинули перед нами извивы своих зубчатых спин. Я ждал, когда

он заговорит. Багров помолчал, как будто собираясь с силами, как будто стряхивая с себя какое-то оцепенение... Затем заговорил, все более и более воодушевляясь...

— Помнишь, как я написал маньчжурскую принцессу там, на заброшенном кладбище? Ты думал, что со мной случился солнечный удар... На самом деле было совершенно другое: девушка действительно появилась между елей у входа...

Я был страшно увлечен работой, нем и глух ко всему и совершенно не дал себе труда задуматься, откуда она появилась. Какое мне дело? Только обрадовался, что у меня будет красочная центральная фигура: она мне более всего нужна была в ту минуту. Боясь, как бы она не ушла слишком скоро, я спешил скорее нанести ее на полотно.

Я работал с невероятным подъемом, и картина под моими пальцами близилась к концу с поражавшей меня самого быстротой.

И когда она была почти готова, я оглянулся на девушку и... неожиданно увидел ее подошедшей ко мне вплотную...

Будто кто-то ударил меня: я выронил кисть и обеими руками схватился за голову... Мне нужно было вспомнить что-то, во что бы то ни стало, необходимо было вспомнить то, что было скрыто за какой-то мутной, дрожащей пеленой и было одновременно так близко!.. И мука с такой силой охватила все мое существо, что сердце было готово выскочить из груди...

А девушка смотрела на меня укоризненным, скорбным взглядом. Она качала головой, губы ее подергивались, шептали чье-то имя...

Я заплакал от тоски и нестерпимой боли... Почему же, почему я не могу вспомнить! Давящим комом во мне росло желание безумно закричать, и, кажется, я кричал...

И тогда – точно вихрь прошумел в голове... Ослепительная вспышка... Мрак... И я уже держу девушку на руках... Вороной конь подо мной испускает короткое ржание и бешено мчит нас вперед... И еще рядом множество копыт отбивает дробь под странными всадниками, и все мы стремительно уходим от невидимой погони...

Чувствую себя невероятно сильным!..

Ночь... Кустарник... Летящие навстречу деревья и скалы... И, несмотря на опасность погони, столько упоения в этой скачке! Столько торжества бунтующей, никаких законов не признающей силы, что я сжимаю девушку, как в железных тисках, целую ее, с ужасом отбивающуюся от меня, и испускаю короткие, сдавленные крики, которых я не могу удержать от душащего меня восторга...

Возбужденный воспоминаниями бредовой погони, Багров на минуту прервал рассказ и глухо закашлялся, как кашляют чахоточные.

Возбуждение утомило его – он стал рассказывать медленнее.

— Ну знаешь... Одним словом, в ту минуту я уже был не нынешний

Багров, а... Как ты думаешь, кто я был? Яшка Багор, атаман шайки... Ну, там – землепроходец Сибири, что ли, или просто – разбойник. А вернее, и то, и другое вместе, потому что помню – впоследствии, у лагерного костра, я часто разговаривал с товарищами о теплом море, Опоньском царе и еще разных диковинах.

И ты был между нами... С самопалом, громадным топором и длинным ножом за голенищем... А звали тебя – «Васька Жги пятки», потому что... Ты у нас был чем-то вроде специалиста по пыткам...

Багров застенчиво и неловко улыбнулся, как будто чувствуя себя виноватым в том, что определил меня в своем отряде на такую странную должность. Это вышло у него так забавно, что и я не удержался от улыбки, слушая этот, по моему мнению, горячечный бред.

– Мы ушли от погони в тот раз, – начал он опять, – это было удачное ограбление целого поезда знатной дамы со свитой и прислужницами. Две недели мы мчали добычу на север, где у нас на вершине Собачьей головы был лагерь.

Девушка – о том, что она была маньчжурской принцессой, я узнал лишь впоследствии, – стала моей женой, ее прислужницы сделались подругами моих товарищей.

Я брал ее ласки, но она не любила меня. Помню, был даже случай, когда я нашел у нее небольшой, но острый, как жало осы, кинжал. Ложась спать, я нащупал его спрятанным в платье своей жены и преспокойно выгацил оттуда, не бросив ей ни одного упрека. Больше того, я положил его рядом с ее изголовьем и, усмехнувшись, уснул. Такие отношения продолжались до того дня, который все изменил и спутал все карты: на вершине Собачьей головы нас окружил многочисленный отряд маньчжуров, высланный за нами в погоню.

Дело было на рассвете. Постов, по дьявольской беспечности, мы не выставили, – у маньчжуров, мол, руки коротки!

Я еще спал, когда Васька Жги пятки ворвался в мой шалаш:

– Вставай, атаман, маньчжурские мужики за нашими головами идут.

Пока я надевал «сбрую» и прислушивался к начавшейся лагерной суматохе и ругани: «Какие такие мужики идут?.. Сбрендили спяну!», – мне бросилось в глаза радостно-взволнованное лицо моей жены.

– Рада, поди, стерва!

Горько вдруг стало на душе. Но я только взглянул на нее исподлобья и помчался выяснить размеры опасности.

На увенчанной каменным карнизом вершине Собачьей головы царила полная растерянность. Всем уже было ясно, что на сей раз не уйти... Как зверь, рыскал я по вершине, перегибаясь и вглядываясь то туда, то сюда, в усеянные кустарником скаты, и везде мой взгляд наткнулся на конных маньчжуров, оцепивших гору железным кольцом.

– Что, черти! Прозевали? – рычал я с налитыми кровью глазами на попадающихся людей. – С бабьем возились? А?

Все молчали, только откуда-то сбоку донесся спокойный голос Ерша Белые ноги, прозванного так за свои опорки:

– Не шуми, атаман! Сам-то ты больше на бабу глаза таращил, чем порядок блюл!

– Руби засеки, чертово отродье! – закричал я, почуяв изрядную долю правды в словах Ерша.

Опешившие станичники зашевелились. Моментально появились топоры, и все с остервенением навалились на работу; рубили и приволакивали целые деревья, прикатывали громадные глыбы камня – засека росла.

Но меня это не утешало: конец был ясен – отгуляли! Единственное, на что я хоть сколько-нибудь надеялся, – перед атакой маньчжуры вышлют парламентаров и предложат сдаться, а там можно будет поторговаться: сперва соглашаться, а потом отказываться. Канителить и всячески выигрывать время, чтобы как-нибудь обмануть и прорваться.

Далеко внизу протрубил рог. Бурные ряды по долинам задвигались, заходили волнами – всадники слезали с коней. Край солнца показался на горизонте и брызнул снопами золотистых лучей. Кое-где блеснули перистые шлемы вождей. Строятся.

Если теперь не вышлют парламентаров, то – никогда!

Нет, двигаются! Медленно, но уверенно, как сама смерть!

Они еще далеко, но мне кажется, что я слышу шорох бесчисленных шагов. И, прислушиваясь к отдаленному гулу, я начал свирепеть: как же... за нашими головами идут! Ладно же, пусть тогда это будет веселая смерть!

Я вскочил на самый высокий камень и крикнул что было силы:

– Эй, ребята, висельники, кандальники, отпетые головы! Хорошо ли погуляли по миру за Уралом, за Камнем?

– Хорошо погуляли, атаман!

– Было ли пито, бито и граблено?

– Было и пито, и бито, и граблено! – хором отвечали разбойники.

– А довольны ли бабья, станичники?

– И бабья хватало!

– Так вот, братцы-станичники, пора и честь знать. Отзвонили – и с колокольни долой. Без попов нас сегодня отпевать пришли и отпоют... Так не жалей, братцы, пороху в последний раз! Чтоб веселей окочуриться хмельной голове! Да бейся так, чтобы черти на том свете в пояс кланялись!!!

Я выдержал паузу и обвел всех глазами. Мои лохматые бородачи закивали головами и в один голос закричали:

– Орел – наш атаман! Дюже правильно сказано? Чтоб черти...

И тогда я ударил в ладоши и заплясал на камне, притопывая ногами:

*Эх-ма! Ух! Ух!
Как девица молода
Рано поутру за медом шла...*

Кубарем выкатились из засеки Сенька Косой, Митька Головотяп да Ерш Белые ноги и с гамом и присвистом пустились впрысядку. Пулями вылетели другие, и все завертелось, заплясало у обреченной засеки.

Я смотрел на беснующуюся перед концом ватагу, присвистывал и притопывал вместе с ними, но в то же время «зыркал» на приближающегося врага.

– Будя! По местам, ребяташки! Пали... Бей! Так их, переэтак...

В следующую секунду уже захлопали самопалы, задымились камни... В этот момент я в последний раз окинул глазами опустевшую площадку и увидел свою жену, которая молча наблюдала происходящее.

В эту именно минуту я как-то особенно остро почувствовал всю ее нелюбовь ко мне и с горькой усмешкой бросил ей:

– Не горюй, красавица, сегодня меня убьют!

Она оставалась стоять, как изваяние, с каменным лицом...

Уже все закипело кругом, и как волны прибоя у скалистого утеса в бурю со стоном отбегают назад, так и первые ряды маньчжуров, высоко взметнув руками, опрокинулись назад под смерчем дыма, огня, пуль... Но как прибой не устает бить о скалу, так же и наступающие накатывались волной... Уже не успевали заряжать ружья, и над засекой все чаще стали взметываться топоры, секиры, и уже гора, как муравьями, кишела наступающими.

Конец наступил чрезвычайно быстро, – быстрее, чем я ожидал, – маньчжуры где-то прорвали засеку, и мгновенно заняли всю площадку.

В последние минуты я был как в тумане. Отбивался сразу от трех нападающих, расплющил обухом одному шлем вместе с черепом и в ту же секунду сам получил нож в спину...

Я упал, но еще не потерял сознания, и тут вдруг... какая-то женщина прорвала стену обступивших меня воинов, плащмя упала на меня, заплакала и закричала на маньчжурском языке. Руки обвили мою шею... Это была моя жена!

– Поздно!.. – с горечью прохрипел я ей в лицо и лишился сознания.

Багров, тяжело дыша, прервал рассказ и, закрыв глаза, сидел несколько минут, будто еще раз переживая виденное.

– Итак, – опять начал он, – в минуту поражения эта женщина подарила мне свою любовь – навсегда... Мне трудно говорить, и не в подробностях тут дело... Да и день уже догорает, а вечерняя сырость

заставит меня мучительно кашлять. Я только скажу тебе, что благодаря отчаянному сопротивлению моей жены, меня не убили, а взяли в плен. И она мне устроила побег. Подкупленный ею тюремный сторож сам привел меня к месту, где были приготовлены оседланные лошади и оружие. И у этих лошадей я опять встретил жену, и вместе с нею днем и ночью, пересаживаясь по очереди с одного коня на другого, мы гнали на север, пока не пришлось снять ее с седла – бесчувственную.

Я прожил с нею двенадцать долгих лет жизнью дикого охотника в горах маньчжурского севера. Мы кутались в меховые одежды и иногда подолгу голодали. Но и в холоде, и в голоде, в зимние бураны и в солнечные дни лета мы одинаково тянулись друг к другу и грелись в лучах взаимной любви.

Мы и погибли вместе, разорванные одним и тем же страшным медведем на том солнечном холме, где я написал маньчжурскую принцессу. Этот последний акт нашей великой любви... Ну зачем я говорю – последний? Мы еще будем продолжать любить и там, в пространстве миров.

Смерть нас подстерегла поздней осенью. Это было в те дни, когда дичь по какой-то неведомой причине внезапно исчезает в какой-нибудь части тайги. Мы шли, шатаясь от голода, в поисках пищи и немного отделились друг от друга.

И тогда появился зверь. Это, наверное, был не медведь, а злой дух! Он, как привидение, неожиданно поднялся из-за сгнившей коряги около моей жены и первым же страшным ударом мохнатой лапы снес ей всю кожу с мясом с лица, так что она мгновенно ослепла!

– Муж мой! Муж мой! – страшно и гибельно закричала она. Казалось, сейчас на этот дикий крик выскочит пещерный человек со звериным оскалом и, потрясая дебри ревом, бросится спасти несчастную жертву.

И я был около нее быстрее мысли, а руки слепой и на этот раз нашли мою шею и грудь. Обхватив левой рукой самое дорогое для меня в мире существо, я бился насмерть с медведем-привидением. Я колот и резал, не чувствуя когтей и зубов зверя, пока, превратившись в кровавый комок, мы вместе с медведем не покатались по земле, и страшная тяжесть издыхающего зверя с хрустом раздавила мою грудь...

Три существа – мы умерли почти одновременно... Только я – чуть-чуть позднее. Испуская дух, я еще нашел силы нащупать возле себя маленькую ладонь...

– А теперь скажи, – весь загоревшись, обернулся Багров ко мне, – что должна была чувствовать душа этой женщины, когда она явилась ко мне, а я – не узнал... Переменить царственную роскошь на вонючие меха подруги почти дикого человека, жить в постоянной опасности, вместе принять

смерть и – не быть узнанной!..

Теперь ты понимаешь, что я пережил, когда очнулся от обморока и привел свои мысли в порядок? Только тогда я понял, почему я не мог полюбить ни одну женщину в этом мире! Все-таки где-то внутри нас есть уголок, где живут воспоминания о прошлых жизнях...

И я возроптал: зачем такая несправедливость!.. Я существую, а ее нет! Пустить меня одного в мир... Для чего мне жизнь?

В первые моменты хотел покончить самоубийством, чтобы сразу встретить тень той, которую люблю я, нынешний Багров, так же, как любил некогда атаман Яшка Багров, а может быть, и еще сильнее...

Но меня удержали опасения, что, может быть, самовольным уходом из жизни я провинюсь перед Творцом Вселенной, и в наказание снова века лягут между нами. Недаром же все религии мира осуждают самоубийство. Мне оставалось только уйти из жизни, которая для меня стала чем-то вроде длинного пустого сарая, – но все же остаться пока жить.

И я пришел сюда, потому что в этой местности я сотни лет тому назад страдал и любил так, как только может любить человек.

Кроме того, были у меня еще и другие соображения...

Недаром я принял столько хлопот и беспокоил всех китайских друзей, чтобы поступить в этот монастырь! Я решил всячески сокращать свой жизненный путь... Здесь я мог напустить на себя всех зверей своего духа: тоску культурного человека, живущего в глуши, отсутствие возможности заниматься искусством, читать и, наконец, – самовнушение. Чтобы последнее было действенным, я прихватил с собой книгу с точным описанием симптомов чахотки и перечитывал ее по нескольку раз...

Дрожа от радости, я обнаружил, что чахотка не замедлила появиться... Тогда я стал еще меньше спать и просиживать ночи над этим обрывом, мечтая о предстоящей встрече, теперь уже на законном основании; я – не самоубийца...

– Ты... ты хуже его! – простонал я, обеими руками вцепившись ему в грудь. – Ты ловишь смерть на приманку...

– Мы не можем бросаться смерти в пасть, – хмуро возразил Багров, – но кто запретил нам чуть-чуть приоткрыть ей дверь?

Задыхаясь от волнения, я выпалил перед Багровым целый залп доказательств его безумия, опрометчивости... Ратовал за жизнь, говорил о диких суевериях, приводивших к печальным последствиям мечтателей, подобных ему, и вдруг заметил, что Багров не слушает меня, рассеянно глядя куда-то в сторону. Он встрепенулся лишь, когда я замолк.

– А знаешь... – тихо зашептал он, близко наклоняясь ко мне. – Чем хуже становится мое здоровье, тем больше я ощущаю ее близость. А когда листья на деревьях пожелтеют и посыплются, свершится наша встреча!.. Тогда, в память обо мне, ты получишь «Маньчжурскую принцессу».

Точно пьяный, проснувшийся после тяжелого бреда, я шел обратно. У подножия сопки почувствовал утомление и бессильно опустился на пенек...

Солнце давно уже село, и болотистая низина предо мной задымилась теплым паром разогретой земли. Быстро темнело... Выпь закричала в пади. Затем еще чей-то крик... Шорохи в кустах... И понемногу заговорили ночные голоса. Ожила странная жизнь ночного болота, где змея подползала к лягушке, тигр в камышах на брюхе подкрадывался к кабарге, и шла глухая борьба, как и среди людей.

А мне чудились две скованные тени, – мужчина и женщина, – которым ничего не нужно, кроме друг друга...

*Впервые опубликовано: Хейдок А. Звезды Маньчжурии. Нью-Йорк, 1934.
Печатается по: Хейдок А. Огонь у порога. Магнитогорск, 1994. С. 20-41.*

**Мария Лазаревна
ШАПИРО
(1900–1971?)**

Журналистка и литератор Мария Шапиро родилась в 1900 г. в городе Иркутске в семье адвоката. В начале 1910-х гг. М. Шапиро с родителями и старшей сестрой приехала в Благовещенск. Вместе с сестрой выпускала журнал «Светлая юность» (Благовещенск). В феврале 1918 г. семья Шапиро бежала в Китай. В 1919 г. в Харбине М. Шапиро закончила экстерном частную женскую гимназию М.С. Генезеровой, а в 1924-м – Юридический факультет. После окончания учебы М.Л. Шапиро была оставлена на кафедре гражданского права (для подготовки к профессорскому званию) и стала вести практические занятия по римскому праву. В 1925 г. вышла ее первая научная работа «Семейный строй в Японии». С этого же года занималась журналистикой: под псевдонимом «Мария Ш.» писала статьи о советском судопроизводстве, о русской литературе, поэзии. Сотрудничала с газетами «Русское слово», «Русский голос», «Голос эмигрантов», «Гун-бао», «Заря», журналами «Луч Азии», «Рубеж». В 1930-е гг. работала над книгой «Брак и семья в дохристианской Руси», занималась поэтическим творчеством. 29 ноября 1945 г. (в редакции газеты «Харбинское время») была арестована сотрудниками «СМЕРШ» по обвинению в пособничестве иностранной буржуазии, в антисоветской пропаганде и клевете (материалом обвинения служили ее довоенные статьи). Приговорена к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. По отбытии заключения в Дубровлаге жила в Zubovo-Полянском инвалидном доме (Мордовия), писала мемуары. Рукопись воспоминаний составила 1700 страниц. Отрывки из нее были опубликованы под названием «Женский концлагерь. Судьба эмигрантки» в «Новом журнале» (Нью-Йорк). Умерла в доме инвалидов 9 октября 1971 г. Реабилитирована в 1992 г.

Ист. и лит.:

Звягин С. Семья Шапиро в России и эмиграции // Научные труды по иудаике. Вып. 31. Т. 2. М., 2010. С. 126–130.

Шапиро М.Л. Харбин, 1945 // Память: Исторический сборник. Вып. 1. Нью-Йорк, 1978. С. 3–92.

Хисалутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 337–338.

СИНЕГЛАЗЫЙ БЕС

Быль

У него было лицо ангела, озаренное выражением какой-то особенной святости. У него были строгие и чистые синие глаза, смотревшие прямо и непорочно.

Девяти лет он начал красть конфеты из лавки отца. Его наказывали, но он, глядя в глаза отцу своими честными глазами, всегда отрицал свою вину и неуклонно продолжал красть. Лет тринадцати он добрался до кассы, а лет пятнадцати или шестнадцати, обокрав отца, совсем исчез из дому, и с того момента началась его незаурядная уголовная карьера.

«И в кого он такой пошел? Никого в роду у нас такого не было», – вздыхала тетушка, хозяйка нашего дома, от всего сердца соболезнуя сестре – матери Бориса.

Тетушка была красивой пожилой женщиной с прекрасными синими глазами, розовым свежим лицом и короной белоснежных волос. У нее была та величавость поступи и осанки, которая иногда встречается у простых

русских женщин. В молодости она была простой крестьянской девушкой и сама, как любила рассказывать, пахала в поле. Как говорили знавшие ее в молодости, она отличалась совершенно необычайной красотой, чему легко было поверить, ибо она поражала своей внешностью и в пожилые годы. Мы, дети, за глаза звали ее не иначе, как «Екатериной Великой».

Когда она однажды работала в поле, где-то недалеко от Амура, – ее увидел офицер амурской военной флотилии и влюбился в нее без памяти. Он уговаривал ее выйти за него замуж, но она не решилась пойти за «барина». Но с такой внешностью ей не суждено было оставаться в крестьянстве, – и она через некоторое время на свое горе вышла замуж за золотопромышленника, ставшего со временем одним из самых богатых золотопромышленников Амура.

Замужняя жизнь ее не была счастливой с привередливым, вздорным и чрезвычайно скупым мужем. Но у нее было четыре славных сына-реалиста, при ней жила овдовевшая, интересная по внешности, маленькая изящная племянница с дочерью-подростком – статной, высокой девочкой, подававшей надежды стать красавицей в стиле своей тетушки (что за красивая была семья!), – и жизнь ее текла сносно, изредка прерываемая бурными столкновениями с мужем во время его недолгих приездов в город с Зейских приисков.

Хозяин наш был щуплым, невзрачным человечком, входившим даже в собственный двор всегда как-то бочком. Мы с сестрой звали его «Иудушкой» по имени Иудушки Головлева. Однако, несмотря на свой приниженный вид, он был деспотом по природе, и лишь такая жена, как наша «Екатерина Великая» могла, хоть и не без труда, кое-как его обуздывать. Но супруги ненавидели друг друга, и однажды эта ненависть вылилась в один очень забавный случай.

Хозяин, приехав с приисков, слег, простудившись по дороге. У него сделалось воспаление уха, которое, по мнению врача, должно было перейти в воспаление мозга. Является как-то к нам наша хозяйка и просит разрешения позвонить, как она это делала часто, от нас по телефону. И вдруг мы слышим, что она сзывает друзей и знакомых на поминальный обед.

– Разве ваш муж умер? – с тревогой спрашивает моя мама.

– Нет еще, но он совсем помирает, – отвечает наша хозяйка, приглашая и нас на поминки.

Подивились мы такой неожиданной торопливости у нашей всегда степенной хозяйки и стали ждать поминального обеда. Но проходит день, два, три, – а известия о смерти хозяина все нет.

И вдруг через несколько дней идет по двору, направляясь к воротам, знакомая невзрачная фигура, да еще с подделанным ухом. Мы, стоя у окна так и ахнули: «хозяин».

Мама сейчас же прозвала его «живым трупом», и под этой кличкой он у нас так и оставался до конца нашего пребывания в Благовещенске...

В тревожные дни семнадцатого года привез как-то «живой труп» два пуда золота с приисков, и жалея нанять за тридцать копеек извозчика, партиями по десять фунтов восемь дней подряд пешком таскал на другой конец города в Государственный Банк на хранение свое золото, завернутое в газетку, рискуя ежеминутным нападением. Позже он вынул его из банка и повез продавать, надеясь нажиться, в Россию, где попал в октябрьский переворот, золото у него было конфисковано большевиками, а сам он еле-еле унес ноги домой на Амур. Хозяйка наша радовалась: «Так ему, скупому бесу, и надо».

Как многие, даже пожилые благовещенские женщины, наша хозяйка по утрам выезжала в город по делам на своей американке, которой она, как полагалось, правила сама. Учет векселей, торговые операции, обозрение своих предприятий, пароходов, мельниц или посещение Совета съезда золотопромышленников, сдача золота в банк, – все это составляет деловое утро амурской женщины-предпринимательницы. А остальная часть дня посвящается дому.

У нашей хозяйки была страсть к розам. В большом, просторном и чистом сибирском дворе стоял кирпичный одноэтажный особняк с полукруглым крыльцом, верандой, летом весь обвитый хмелем. Впереди него было два палисадника, полных цветов. В этом доме жили мы. За нашим домом, сзади, было своеобразное строение – кирпичные амбары, над которыми был надстроен второй этаж, превращенный в просторную и удобную квартиру нашей хозяйки, с верандой, зимним садом, сплошь наполненным разнообразными розами. Розы у нее цвели круглый год, и она ухаживала за ними сама, любя их, пожалуй, не меньше своих сыновей.

По субботам к нам неизменно являлась кривобокая старушка-няня наших хозяев, неся блюдо с горой чудесных, несравненных сибирских булочек – «мягких».

«Отведайте наших "мягких"». Милый патриархальный сибирский обычай – угощать соседей своими печеньями или пирогами, которые, особенно по субботам, изготавливаются в невероятном количестве.

Ах, эти сибирские «мягкие»! Душистые, теплые, вкусные до невероятия! У нас их изготавливали, между прочим, и с апельсиновым вареньем. М-мммм!..

Рядом с домом нашей хозяйки, соединенный даже калиткой в заборе, находился дом ее сестры-вдовы, матери Бориса. Все другие братья Бориса были людьми вполне порядочными. Старший сын, после смерти отца, тоже золотопромышленник, ведал приисками, в чем помогали ему другие братья. Это была тоже крепкая патриархальная сибирская семья. И вдруг в этой семье вырос этот падший ангел, бес с лицом одного из архангелов.

Изредка, и всегда совершенно неожиданно, Борис появлялся на лоне семьи. Откуда, – из каких дальних странствований по матушке-России возвращался он на свою амурскую родину, – об этом он молчал. Но до революции, окончательно испепелившей некоторые русские души, в душах даже иных разбойников цвел какой-то росток добра или верности. Этим ростком в душе Бориса была его любовь к убивавшейся по нем матери и какая-то особенная духовная связь с нею. Был случай: мать серьезно заболела, в то время как ее беспутный сын уже несколько месяцев бродяжил где-то по российским просторам. И вдруг из Екатеринбурга пришла телеграмма на имя старшего сына: «Чем больна мама?»

Когда через несколько месяцев Борис вернулся в Благовещенск, он рассказал, что видел во сне мать – серьезно больную.

Изредка Борис «работал» и на Амуре. Был случай, когда его старший брат, забыв, что говорит в присутствии известного разбойника и видя за семейным столом, среди других братьев, голубоглазого младшего братишку, рассказал, что завтра посылает на Зею артельщика с крупной суммой денег для уплаты жалования служащим и рабочим приисков.

Борис, всегда путешествовавший со своей уголовной «свитой» и имевший, кроме того, ближайшие связи с амурской «шпаной», – принял свои меры – меры начальника хорошо организованной разбойничьей шайки.

Недели через две потрясенный старший брат получил известие с приисков, что на артельщика и его охрану в тайге было произведено нападение, артельщик убит, а деньги бесследно исчезли. Вместе с деньгами исчез на некоторое время с Амура и Борис.

Старший брат чуть с ума не сошел от угрызений совести, как рассказывала тетушка.

– Бог с ними, с деньгами. Но как я мог забыть, что я при разбойнике говорю, что посылаю артельщика с деньгами. Прямо на смерть послал человека!

Но и после этого случая Борис нет-нет да и возвращался на Амур повидаться с матерью, не обращая внимания на возненавидевших его братьев.

Во время одного их таких приездов с ним произошел курьезный случай, сильно взволновавший его.

Дело было летом, и он спал в комнате с открытым окном, причем дом его матери тоже находился в глубине большого двора, ворота которого на ночь запирались на все запоры. Какому-то воришке, может быть, «удочнику»-китайцу удалось забраться во двор и похитить через открытое окно из комнаты Бориса его пиджак с деньгами. Проснувшись на утро и открыв пропажу, знаменитый амурский разбойник, страшно сконфуженный, впал в дикую ярость. Он, он – обокраден каким-то

воришкой, может быть, китайским иергой, пробравшимся в его комнату в то время, как он спал! Братья подняли его на смех. Конфуз Бориса был так велик, что он вскоре после этого опять исчез.

Зато в 1917-1918 гг. он на некоторое время осел в Благовещенске. Время для него и его шайки было благодатным. Милиция совершенно разложилась, ограбления, убийства и налеты на дома совершались еженощно. Еще не существовало организованной вскоре поквартальной частной милиции из граждан. Борису было где развернуться.

И он развернулся.

Однажды зимой произошло знаменитое на Амуре ограбление «Кондрашевки».

«Кондрашевка», иначе – Кондрашевская гостиница, была лучшей гостиницей в городе, где проживали состоятельные люди, местные или приезжие, золотопромышленники с приисков.

При «Кондрашевке» был хороший ресторан, куда часто приезжали компании кутить. Находилась гостиница в самом центре города.

И вот однажды, часов в семь-восемь вечера, шайка людей в масках появилась в «Кондрашевке», заняв все выходы и перерезав телефонные провода. Спокойно, методически, не спеша, обходили они номер за номером, отбирая у перепуганных дам – драгоценности, а у мужчин деньги и часы. Лишь одной хладнокровной даме удалось спасти свои драгоценности: она, увидав, что происходит в соседних номерах, успела до прихода разбойников к ней в комнату спустить свои кольца и ожерелья в верхнее, наполненное водой отделение старомодного, деревянного с мрамором умывальника, стоявшего у нее. Заглянуть туда не догадались даже опытные сподвижники Бориса.

Шайка не позабыла и о ресторане, ограбив находившихся в нем, и в том числе – незадолго до этого приехавшую компанию, несколько членов которой находятся сейчас в Харбине. Тщательная «работа» продолжалась часа два-три. Любопытней всего то, что весь город, кажется, знал о происходящем, но некому было прийти на помощь против шайки хорошо вооруженных, смелых и готовых на все преступников.

Спустя несколько месяцев этого не могло бы произойти, – тогда уже была белая милиция с начальником, с поквартальной электрической сигнализацией, с дозорами и т.д. Но нужны были толчки вроде этого, чтобы всё и все сорганизовались.

Вначале, естественно, неизвестно было, чьих рук делом было ограбление «Кондрашевки». Но уже спустя несколько дней весь город, и не без основания, начал говорить о Борисе. А он, совершив свой последний амурский «Соур», опять исчез из Благовещенска и так, до советского переворота и даже после него, – во всяком случае, до лета 1918 г., больше в него не возвращался.

Всякого рода людей родит русская земля, как и все земли мира. Добрых и плохих, красивых и уродливых, с наследственностью хорошей или, наоборот, дурной. Но редко является на свет человек с прекрасным лицом строгого ангела, с чистыми синими глазами непорочной девушки, – человек, залитый кровью своих жертв, человек, которому ничего не стоит убить своего ближнего, – и в то же время – человек, пронизанный нежной любовью к своей старушке-матери!

Борис любил и свою тетушку. В опасные ночи постоянных налетов двор и дома его тетушки были под неусыпной «охраной» шайки ее племянника. По нашему двору, бывало, зимними вечерами скользили черные тени, только что на наших глазах перемахнувшие через забор и перепрыгивавшие в соседние дворы.

«Помните, тетушка, что вы и ваши квартиранты – под моей охраной. И им о том скажите. Всем вам зла не будет».

И верно: под охраной знаменитого амурского разбойника мы все тревожное время налетов и нападений прожили, как у Христа за пазухой.

Впервые опубликовано и печатается по: Луч Азии. 1936. № 17. С. 10–12.

**Самсон Григорьевич
ШАХМАТОВ**
(1897–после 1959)

Литератор и журналист Самсон Шахматов родился в 1897 г. в сибирском селе Алзамай Иркутской губернии в семье зажиточного крестьянина. Начальное образование получил в церковно-приходской школе. Затем самостоятельно подготовился к сдаче экзаменов по курсу гимназии. Однако в связи с начавшейся мировой войной успел сдать экзамены лишь за 4 класса и 18-летним юношей добровольно ушел в армию. Окончив иркутскую школу прапорщиков, воевал в Галиции. В годы Гражданской войны сражался в Забайкалье, Приморье и на Камчатке. Осенью 1922 г. наряду с другими участниками армии Пепеляева бежал с Камчатки в Японию. В 1929 г. с женой и годовалой дочерью С. Шахматов обосновался в Шанхае и занялся литературной и журналистско-издательской деятельностью. В 1930 г. стал участником содружества русских работников искусства «Понедельник». В 1933 г. после распада «Понедельника» вошел в объединение «Восток». Основатель шанхайского издательства «Феникс» и одноименного литературно-художественного еженедельника (1935-1936). Произведения Шахматова печатались в альманахе «Врата», журнале «Рубеж», «Понедельник», газете «Слово». В 1938 г. С. Шахматов уехал в Маньчжурию. Жил в Дайрене, Харбине, Мукдене. Работал в дайренском представительстве Министерства общественной безопасности Маньчжоу-Го, в отделе печати управления Южно-Маньчжурской железной дороги «Мантэцу», в культурно-просветительном отделе мукденского отделения ГБРЭМ. Помимо служебных дел продолжал заниматься литературным творчеством. В 1946 г. принял советское гражданство. В 1949 г. С.Г. Шахматов был арестован контрразведкой МГБ СССР и приговорен к 25 годам лишения свободы. Отбывал наказание в Казахстане в спецлагере «Степной» для особо опасных преступников. Из заключения освобожден в мае 1959 г. как инвалид. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Российская эмиграция в Маньчжурии: военно-политическая деятельность (1920–1945). Сборник документов / Сост. Е.Н. Чернолуцкой. Южно-Сахалинск, 1994. С. 143.

Чернолуцкая Е.Н. Странник (Самсон Григорьевич Шахматов) // Забытые имена: История Дальнего Востока России в лицах. Владивосток, 2001. Вып. 2. С. 61–89.

Чернолуцкая Е.Н. «Феникс» восстает из забвения (Страницы жизни и творчества российского эмигранта С.Г. Шахматова) // Новый журнал. 1995. № 201. С. 257–274.

Хисамудинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 338–339.

Эфендиева Г.В. Два письма С.Г. Шахматова А.И. Митропольскому: новые документы к творческой биографии Арсения Несмелова // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. Проблемы источниковедения и текстологии: Сборник научных работ / под ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой. Благовещенск, 2012. С. 92–98.

ОБОРОТЕНЬ

По окончании университета Маркевичу предложили место врача-практиканта на переселенческом пункте. Решив с пользой провести оставшиеся до государственных экзаменов месяцы, Иван Сергеевич охотно принял выгодное предложение. Это была настоящая находка. Пять лет необеспеченной университетской жизни, когда то и дело приходилось сидеть на трехкопеечной чайной колбасе, заливая ее прозрачным, как совесть Фемиды, хозяйским кипятком, сделали его скептиком. Он давно уже не верил ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай и на шумных студенческих сборищах его бледная бороденка тряслась и негодуяюще протестовала, даже в случаях, когда обсуждались самые будничные

вопросы. Неожиданная удача наполнила его подозрительное сердце ощущением необыкновенной легкости. Жизнь вдруг представилась ему могучей и широкой, как весеннее половодье. Долой голодные подвалы и дырявые штаны! Ущемленное жестокими тисками нужды молодое самолюбие требовало удовлетворения. Ивану Сергеевичу необходимо было развернуться, и Иван Сергеевич развернулся.

Знаменитый Рейхзалихман, у которого Маркевич оставлял все свои скудные студенческие заработки, блеснул перед уважаемым клиентом изысканностью кухни и винного погреба. Товарищеская беседа затянулась. К отходу поезда студентам лишь с трудом удалось доставить на вокзал уже не помнящее ни имени, ни родства, покорное человеческое существо, с полной атрофией не только конечностей, но и языка. Потеряв способность к самостоятельному передвижению, в вагоне Маркевич окончательно успокоился и, сложившись вдвое, зажал между колен свою козлиную бороду. С высоты рейхзалихмановского экстаза он наплевал на проставленный в билете маршрут.

Смущая спутников нечленораздельными звуками, все время порываясь обрушиться на них сверху, Иван Сергеевич проспал почти двое суток, а когда очухался, то с ужасом обнаружил пропажу всего своего несложного гардероба, включая и ту его часть, которая на литературном языке до сих пор еще считается почему-то неудобовыразимой. Стыдливо натянув на себя оставленное великодушным вором потрепанное байковое одеяло, он мрачно стал обдумывать создавшееся щекотливое положение.

Сидевшая на нижней скамье озорная молодуха, поднимая кверху синие глаза, то и дело неделикатно прыскала в кулак. Иван Сергеевич косился на нее в с негодованием думал: «Вот таи же, верно, смеялись над библейским патриархом его непочтительные сыновья», — но оборвать, поставить на место подлую бабенку у Ивана Сергеевича не было оснований.

Было уже темно. У молодухи Маркевич узнал, что на нужную ему станцию поезд придет через полчаса. Разглядывая полукруглый потолок вагона, он переживал состояние, перед которым меркла безотрадность всей прожитой им жизни, включая сюда и отвратительную отрыжку трехкопеечной колбасы. «Как быть? — с ужасом спрашивал он себя. — Как голому на глазах у этой дуры слезть с полки? Как выйти из вагона?..» А время между тем летело, каждая минута неумолимо приближала его к страшной развязке.

Действительно, подобный антураж мог привести в уныние и более мужественного человека, но Маркевич родился в рубашке. Конечно, рубашка в этом смысле является понятием абстрактным, имеющим чисто символическое значение, и, тем не менее, она помогала ему, хоть и не совсем легко, зато с честью выйти из положения.

По мере приближения к станции вагон начал разгружаться, пассажиры нетерпеливо скапливались на площадках, исчезла наконец и насмешливая молодуха. Взглянув на Ивана Сергеевича в последний раз, она сказала ему на прощание, уже без смеха, но с презрением и негодованием, как, верно, не раз говаривала своему подгулявшему мужу:

– У-у-у, бесстыжие глаза!

Плюнула и с достоинством вышла.

Воспользовавшись безлюдьем, Маркевич подхватил подмышку чудом сохранившуюся подушку, завернулся в одеяло и уже совсем собрался слезать с полки, как вдруг дверь отворилась и вошедший кондуктор бесцеремонно осветил снизу фонарем всю его непривлекательную пластику. Вдоволь насладившись смущением пассажира, обер укоризненно заметил:

– Эх, как же это вы так, господин?

– Ну, ну, ладно... Не твое дело, проваливай... – еще более смутившись, попробовал оправдаться Иван Сергеевич.

– Позвольте-е! Как это проваливай? – обиделся кондуктор. – Вы сударь, не того-с, а то ведь можно вас и к жандарму живым манером.

– Что-о?! – взревел Маркевич. – Меня, к жандарму?! Ах ты, протоплазма несчастная! Пшел вон, а то я тебе такого жандарма покажу, своих не узнаешь!

Он рывком соскочил вниз и стоял теперь перед должностным лицом во всем своем голом великолепии, как разгневанный Нарцисс, которого посмели упрекнуть в несовершенстве его божественных форм. Глаза его метали молнии, бороденка тряслась, из пересохшего за долгий сон горла вылетало злое хрипение. Он не на шутку был страшен в эту минуту. Перепуганный кондуктор почел за лучшее скрыться. Но, захлопнув дверь, он снова приоткрыл ее и, просунув в щель нос, ядовито прошипел:

– А за безбилетность я тебе еще припечатаю.

Нарушая эту драматическую сцену, хрипло и заливисто проревела сирена. Длинная вереница освещенных вагонов неслось по душной, накаленной за день степи, подобная сказочному дракону – гроыхая, пыхтя и лязгая огненной пастью. Казалось, никакая сила не в состоянии была бы задержать полет железного зверя, но вымазанный жирной сажой маленький человечек в кожаной куртке, сидевший возле паровозной топки, нажал на рычаг, и чудовище с разбега остановилось возле платформы, без толчка, лишь слабо звякнули буфера, да со свистом пропел где-то паровой клапан.

Висевший на поручнях Маркевич еще на ходу поезда соскочил в темную неизвестность. Вжав голову в плечи и защитив ее подушкой, он проделал сложное цирковое сальто, впервые, вероятно, в жизни полностью осознав всю сокрушительную силу инерции. Ему показалось, что не он сам закувыркался кокетливым турманом, а что земля, сорвавшись с оси, пошла

выплясывать в космосе, как пьяный мужик в трепаче. В вихревом своем колете он чуть не сшиб с ног нехстати подвернувшегося путевого сторожа. От толчка сторож выронил из рук фонарь. Вплеснувшийся керосин попал на одеяло, вспыхнул веселое змейкой, осветил странное голое существо, кубарем катившееся под откос.

— Свят, свят, рассыпья! — торопливо закрестился сторож.

В самом деле, мрачная эта мистерия способна была напутать самого Харона. Оправившись и не замечая больше внизу никакого шевеления, Кузьма подобрал фонарь и бегом бросился на станцию, приговаривая :

— Чи оборотень, чи шо вонэ такэ, прости Господи.

При падении Иван Сергеевич сильно расцарапал ногу. Со съехавшим с плеч подгоревшим одеялом, с подушкой подмышкой. Потрясенный и злой, он также внезапно выскочил на дремавшую возле станционного подъезда пароконную извозчичью подводку.

— Эй, ты, фигура! — Крикнул он, сунув кулаком под бок заснувшего на козлах возницу. — Полтинник на пункт! Да поживей, смотри!

Маркевич уже занес ногу на подножку экипажа, но пришедший в себя ямщик, должно быть, вовремя осмыслил всю таинственность совершающегося. Он вдруг с плеча огрел кнутом свою пару и добрые кони птицами снялись с места. Из облаков поднятой ими шали, из крошечной ночной тьмы, как из мрачного эреба, донеслось надрывное и безнадежное:

— О-о-ой, милаи-и! Выруча-ай!

Плюнув на темную несознательность невежественной провинции, Иван Сергеевич решительно зашагал на ближние огни. Отбиваясь подушкой от оголтелых местечковых псов, размахивая дырявым одеялом, как отважный бандерильеро, плащом и неистово ругаясь, он мужественно отвоевывал свое право на существование. Поистине, это была героическая коррида, за которую любая Кармен не пожалела бы для него своей знойной нежности. Увы, вместо благовоспитанного быка, любезно подставляющего под смертоносную шпагу свой легкомысленный загривок, на Ивана Сергеевича щелкали зубами разъяренные псы, откровенно покушавшиеся на его аскетические икры, а вместо многообещающих женских глаз насмешливо глядели с высокого неба ко всему равнодушные звезды. Быть бы Ивану Сергеевичу бесславно растерзанным, если бы шедший навстречу старик вовремя не разогнал собак своим костылем. Дед по-стариковски деловито осмотрел странного человека, заглянул даже под одеяло, в которое тот успел стыдливо завернуться, и удивленно прошамкал:

— Ты нешто это, парень, без портков-то?

Иван Сергеевич только махнул рукой. До разговоров ли! Он даже не поблагодарил своего спасителя.

— Должно цыган, а может и жулик какой, равнодушно сказал дед и неторопливо пошел своей дорогой.

Долго еще блуждал Маркович среди каких-то ям и огородов, пока добрался до освещенных окон пункта. Ухватившись за карниз, он с трудом подтянулся на отощавших руках и осторожно заглянул внутрь. В столовой, возле весело пыхтевшего самовара, сидели сестры, и не было никакой надежды на их скорое исчезновение, потому что приятель Маркевича, студент, исполнявший на пункте обязанности фельдшера, потешал смешливых девиц какими-то небылицами.

— Вот еще некстати бабье это!— с досадой проворчал Иван Сергеевич. — Да и Макарыч тоже хорош. Нашел время лясы точить, дубина стоеросовая.

Усталый и вконец отчаявшийся, уселся доктор на высокое крыльцо и уныло повесил свою незадачливую голову. Как все несчастные и обездоленные, он пробовал обольщать себя несбыточными мечтами.

«Эх пожар бы, что ли, или землетрясение... Нет, последнее, пожалуй, лучше. При землетрясениях, говорят, земля вертится, как юла пузырится, как каша в котле, а в окрестностях при полном безветрии начинается хаос, развеселая свистопляска. Тогда бы фитюльки эти в косыночках «ах!» да «ох!», Макарыч тоже, конечно, заметался бы, как бес перед заутреней. А в этот момент двери настезь и в дверях он, Иван Сергеевич! Спокойный, величественный. Широкий жест, голос без малейшего дрожания, с этаким охлаждающим ледком великолепного пренебрежения: «Сударыни...» и т. д. Картинка, чёрт побери! Тогда, небось, и на наряд не поглядели бы, при стихийных бедствиях всякие условности забываются... Э-эх, а хорошо бы сейчас чайку из самоварчика. У-ух, хорошо! Макарыч, ну хоть на луну выйди полюбуйся, подлец ты бесчувственный...»

Нам искренне жаль бедного доктора, но что такое мечты, — большое извращение досужей мысли. Известно, что пожары случаются в самое неподходящее время, и уже меньше всего тогда, когда их желают; о землетрясениях же и говорить не приходится, они бывают, кажется, только в Туркестане, да еще на какой-то там уже вовсе абстрагированной Камчатке. А Макарычу, может быть, действительно, нужно было пожалеть приятеля и выйти к нему на высокое крыльцо.

Но разве плохо было Макарычу за стаканом доброго чаю, в обществе хорошеньких барышень? Да и луны, строго говоря, никакой не было, ночь стояла темная, как ближайшее будущее почтенного врача-практиканта.

Однако Ивану Сергеевичу надо было решаться на действия, потому что Иван Сергеевич был голоден, он был сир и наг, как самый последний багдадский нищий. Ему хотелось вымыться, одеться, почувствовать себя человеком. Представление об унылой, одинокой ночи под насмешливыми звездами наполнило его нежной жалостью к себе. Не будучи в силах дольше ждать и томиться, он встал и, зажмурив глаза, с отчаянием в душе толкнул страшную дверь.

Как и всегда бывает при появлении неожиданных гостей, которых в общезнании почему-то называют татарами, сидевшие в комнате разом повернулись на шум. Излишне говорить, что доследовавшая за этим сцена отличалась от знаменитой заключительной сцены «Ревизора» разве только бутафорией да малочисленностью участвовавших в ней персонажей. От стремительного движения одеяло съехало с плеч доктора и он предстал взорам удивленных зрителей в натуральную величину, целомудренно прижимая к животу растерзанную псами подушку. Отчаяние придало ему силы. Как неофит, впервые познавший всю прелесть и безгрешную легкость своей наготы, он сразу же успокоился, впал в привычное для всякого скептика безразличие.

— Маркевич. Иван Сергеевич. — Довольно развязно склонился он перед дамами и... позабыв про подушку, учтиво поднес руки к сердцу.

— А-а-ах!!!

Девичья стайка разорвалась с треском, как затейливый фейерверк. Комната разом опустела, только перегнувшийся пополам Макарыч ржал, тоненько, как осиротевший сосунок.

— Ну, чего тебя разморило? Скотина ты этакая, право, — недружелюбно покосился на приятеля. Иван Сергеевич.

Он вдруг ощутил упадок сил и в полном изнеможении опустился на первый попавшийся стул.

— Ива-ан Серге-е-ви-ич... да как это тебя... угрозило? — давясь и икая, с трудом выдавил из себя фельдшер.

— Обобрали, товарищ. Вдребезги обобрали, мерзавцы.

На первый взгляд может показаться, что наша повесть уже подошла к своему логическому завершению и что у нас имеются все основания поставить на этом месте точку. Что же, следуя велению шестой заповеди, мы, может быть, и должны были бы отнестись внимательней к евангельскому долготерпению нашей аудитории, но... увы, пути художественного творчества столь сложны и многообразны, что их не всегда сразу осваивают даже и сами просвещенные мастера слова. Дорогой читатель, внемли покаянной мольбе: мы еще не кончили нашего рассказа, мы его только начинаем.

Прежде всего, постараемся объяснить наличие в этом веселом рассказе меланхолического элемента. Дело в том, что разворачивая свиток имеющегося в нашем распоряжении материала о приключениях врача практиканта Маркевича, мы неожиданно и с грустью для себя обнаружили, что Иван Сергеевич, этот по многим причинам симпатичный нам человек, оказался не тем, за кого мы его поначалу приняли. Он не герой и не стоик, а шляпа, самая настоящая шляпа! Подумай только, читатель, ведь перенесенные им тяжкие испытания были настолько значительны, что создали целую легенду, но этот колпак Маркевич, конечно, никогда не сделался ее героем. Героем оказался путевой сторож

Кузьма. Почему? Да, вероятно, потому, что у Кузьмы была крепка его природная мужицкая сметка, а Иван Сергеевич под напускным скептицизмом лишь скрывал свою интеллигентскую гнилость. Равно пренебрегая всемогуществом обера, невежеством Кузьмы и целомудренностью хорошеньких фельдшерниц, он в то же время способен был умиляться пошлым эгоизмом провинциального самовара. Мы отлично помним, каким несчастным и покинутым почувствовал он себя перед настоящей опасностью, как детски наивны были его мечты о землетрясении, как поносил он ни в чем неповинного Макарыча за его безразличное отношение к луне, и как он клял подлого грабителя, зло посмеявшегося над искренностью его простодушной лирики. Нет, мы не можем больше иметь дело с обманувшим нас интеллигентом и отныне поворачиваемся лицом к чуждому всяких сантиментов, кондовому Кузьме. Сильный Кузьма нам импонирует, и мы всецело становимся на его сторону.

С памятной ночи прошло много дней. Мы не знаем, жив ли медик, но если он даже и существует еще где-нибудь на этом свете, то все равно никакие честные свидетельства не помогут уже ему поколебать веру народа в то, что Кузьма видел настоящего оборотня, а не его, Ивана Сергеевича Маркевича.

Читатель, позволь рассказать тебе о том, что произошло за время с момента появления в свет идеи об оборотне до ее материализации. Вероятно, ты помнишь, как, подхватив с земли изуродованный фонарь, Кузьма побежал на станцию? Отсюда и начнем.

Простояв дольше положенного ему времени на целые полчаса, доставивший Маркевича в степь пассажирский поезд укатил дальше на восток. Уже потонули в ночи его зелено-красные глаза, отзвучало, прокатившись по глубоким степным балкам, горластое эхо, уже Кузьма успел потушить свет в клопиной зале 1 и 2 класса, а на маленькой станции все еще царили непривычные для такого захолустья суета и смущение.

Не найдя в поезде таинственного голого пассажира, жандарм, в сопровождении начальника станции и телеграфиста, самым тщательным образом осмотрел по указанию сторожа место, на котором впервые объявился оборотень. Но там тоже ничего подозрительного не оказалось, только под самым откосом, куда по клятвенному уверению Кузьмы огненным колесом скатилась упавшая из тучи нечистая сила, обнаружили несколько куриных перьев. Перья взяли в качестве вещественного доказательства и отправились составлять протокол.

— Ты закрепи, Панкратыч, запиши в бумагу-то, что, дескать, я, Кузьма Жук, в порче казенного имущества не повинен, — клянчил сторож, тыча жандарму под нос искалеченным фонарем.

Жандарм грузно уселся за стол, широко раздвинул могучие локти. Телеграфист услужливо подsunул ему лист чистой бумаги.

Приготовившись писать, Панкратыч послюнил на кончике языка химический карандаш и, сердито взглянув на сторожа, спросил:

– Ты почему же его не задержал, тетеря?

– Не задержал-ал, – презрительно передразнил сторож. – Вишь ты, герой какой! Нешто это человек, чтобы задержать?

– А что же, по-твоему, нечистая сила?

– Как есть нечистый, Панкратыч! Ей-Богу, право! Глазище, как угли, изо рта пламя и сам весь в огне. Бороденка тоже подозрительная, торчит вперед, на манер, как у козла... А ведь козел, он сам знаешь, зверь темный... недаром от него псиной пахнет.

– Да ты совсем очумел! Как это, от козла и вдруг псиной?

– А непременно... Ты принюхайся... Опять же, без штанов...

Телеграфист прыснул, но Кузьма строго посмотрел на него и вдруг обрушился на жандарма всей сокрушительностью непобедимого аргумента:

– Ну, хорошо. А скажи ты мне, сделай милость, куриный хвост у человека бывает?!

– Хво-ост?!!

Панкратыч осторожно отодвинул лежавшие у него под рукой перья и смущенно кашлянул. Но, не позволяя невежеству мужика торжествовать над своим авторитетом, он быстро оправился и строго сказал:

– Это не твоего ума дело. Ты по существу.

Жандарм был немало встревожен происшедшим. Его не смущали ни оскорбления, нанесенные неизвестным оберу и Кузьме при исполнении ими служебных обязанностей, ни безбилетность, ни даже уже совсем явно противозаконная нагота пассажира, его смущало слово, которым тот припечатал обер-кондуктора. Про-то-плаз-ма... Поди-ка. раскуси, что это должно означать! Панкратыч отлично разобрался в словах: анархист, революционер, социалист, студент... У него было особое чутье на подобные слова, он умел различать их по цвету и даже по запаху. В его воображении революционер ассоциировался с подвальными помещениями, с вонючей типографской краской, с шелестом подозрительных бумаг; анархист – тот громыхал взрывами, звенел железом, пах дымом и гарью; студент, – ну, это просто озорной парубок, который с жиру бесится. А вот про-то-плаз-ма! Бис его батьку знае, що цэ такэ! А, может быть, эта самая протоплазма угрожает существующему строю? Кто возьмется доказать, что это не так? Панкратычу почему-то казалось, что от этого слова пахнет падалью, трупом.

Кроме того, жандарма беспокоило, как отнесется к протоколу начальство. Ведь пассажира-то он все-таки проморгал. Как это могло случиться, глаз, кажись, наметанный. Уж и впрямь не нечистая ли сила раскатывает по российским железным дорогам? Всю ночь не спал Панкратыч, кряхтя и охая, ворочался на своей перине. А Кузьма в это

время, вооружившись дедовским дробовиком, храбро обходил свой участок, и из-за каждого бугорка, из-за каждой осины лезла на него противная харя. Лезла и насмешливо кукарекала, заражая воздух псиной.

Наутро события осложнились. К жандарму пришел из местечка полицейский надзиратель, и они долго и таинственно о чем то совещались. Выяснилось, что зафиксированные в жандармском протоколе показания Кузьмы и обера, которого Иван Сергеевич в гневе неосторожно обозвал протоплазмой, во многом подтверждались свидетельством напуганного Марковичем извозчика, с разгона влетевшего в ту ночь прямо во двор полицейского участка. Надзиратель записал следующие знаменательные слова возницы: «Я проснулся от удара. Мне показалось, что будто кто-то не то боднул меня, не то двинул копытом. Удар был так силен, что до сей поры поясницу ломит. В лицо того существа не заметил, а только было оно как есть нагишом и что то такое за ним по земле волочилось... может одежда какая, а может и хвост...»

Сопоставив все это, пришли к заключению, — наличие голого существа на Н-ой станции считать подтвержденным свидетельскими показаниями фактом. Теперь уже не подлежало никакому сомнению, что таинственный пассажир и являвшееся Кузьме и извозчику голое существо одно и то же лицо. Загадка, как удалось пассажиру скрыться из оцепленного поездной бригадой тщательно осмотренного жандармом и обером вагона, только убеждала в его нечеловеческой силе. Начальство твердой рукой расписалось на официальном документе и со спокойной совестью прихлопнуло его казенной печатью. Круг замкнулся. Проявление на станции оборотня сделалось, таким образом, документально заверенным событием. А, так как существует много путей, по которым даже самые конфиденциальные акты докатываются до любопытного обывательского уха, то молва покатила от уст к устам и вскоре сделалась всероссийской. Молва эта росла и пухла, как перекасти-поле, и в конце концов сугубо провинциальная железнодорожная станция сделалась знаменитостью.

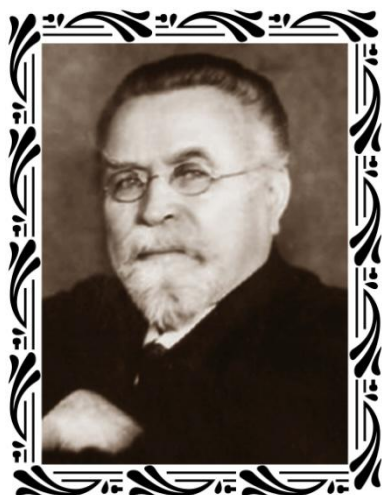
Вместе с собой она вынесла на гребень волны и Кузьму. Впоследствии, по настоянию путешественников из привилегированных вагонов, начальство нашло возможным увеличить стоянку пассажирских поездов в этом медвежьем углу. Кузьма раздобыл, раздался, стал важным. Его даже обрядили в кафтан со светлыми пуговицами, потому что любопытные путешественники то и дело приглашали его показать им то место, где объявился оборотень. Хорошо получая за свои вольные экскурсии в еще недалекое, но уже сделавшееся легендарным прошлое, сторож счел не только возможным, но для пользы дела даже просто необходимым иллюстрировать свои рассказы довольно длинным диалогом, якобы происшедшим между ним и оборотнем. Публика по-разному принимала легенду: одни били себя по бедрам и, приседая, почтительно ахали, другие

что то деловито заносили в записные книжки и лишь очень редки были те, которые откровенно смеялись над брехней мужика. Последних Кузьма не уважал и боялся.

Проводив очередной пассажирский поезд, Кузьма обычно удалялся в наполненную клопами залу 1 и 2 класса гасить огонь. Там он течение некоторого времени молчаливо предавался сладостному сознанию столь неожиданно свалившегося на его лохматую голову счастья, он пересчитывал свои заработки и когда случалось, что подачки тороватых пассажиров превышали даже его алчбу, он срывал с головы новый треух, бил им по жирным клопиным скопищам и от полноты чувств нежно приговаривал:

— Вот они, братцы, дела-то! Распрекрасная, братцы мои, это штука — жизнь!

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1945. №4. С. 8-13.



**Павел Васильевич
ШКУРКИН**
(1868-1943)

Востоковед, этнограф, переводчик и писатель Павел Шкуркин родился 3 ноября 1868 г. в городе Лебедине Харьковской губернии в семье офицера. После окончания Александровского военного училища (1889) получил направление на Дальний Восток. Участвовал в подавлении Боксерского восстания (ихэтуаней), в русско-японской войне, штабс-капитан. В 1903 г. окончил Владивостокский Восточный институт, маньчжуро-китайское отделение. Был помощником Владивостокского полицмейстера. В 1913 г. вышел в отставку и переехал в Маньчжурию. Работал переводчиком в Управлении КВЖД и преподавателем китайского языка в различных учебных заведениях Харбина. С 1925 г. –

профессор института ориентальных и коммерческих наук. Один из основателей общества русских ориенталистов в Харбине, редактор (затем соредактор) журнала «Вестник Азии». Автор первых учебников по востоковедению и многочисленных работ по этнографии. Подготовил ряд оригинальных изданий и переводов: «Китайские рассказы и легенды» (Харбин, 1917), «Китайские легенды» (Харбин, 1921), «Легенды в китайской истории» (Харбин, 1922), «Тонкая ива: Китайская повесть для дам и идеальных мужчин» (Харбин, 1922), «Хунхузы: Этнографические рассказы» (Харбин, 1924) и др. В 1927 г. уехал в США. Умер 1 апреля 1943 г. в Сиэтле.

Ист. и лит.:

Хисамутдинов А.А. Синолог П.В. Шкуркин «...не для широкой публики, а для востоковедов и востоколюбков» // Известия Восточного института ДВГУ. Владивосток, 1996. № 3. С. 150-160.

Таскина Е. Синологи и краеведы Харбина // Проблемы Дальнего Востока. 1997. № 2. С. 125-126.

Бакич О. Дальневосточный архив Павла Васильевича Шкуркина: Предварительная опись. Сан-Пабло (США), 1997. 133 с.

Забияко А.А., Забияко А.П., Легошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронта. Благовещенск, 2015. 465 с.

Забияко А.А. Ментальность дальневосточного фронта: культура и литература русского Харбина. Новосибирск, 2016. 447 с.

Забияко А.А., Чжоу Синьюй. П.В. Шкуркин: биографический, историко-культурный, этносоциальный контекст становления ученого и писателя // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2019. № 4. С. 135-143.

КАК Я СДЕЛАЛСЯ ХУНХУЗОМ

Недавно мне пришлось познакомиться с весьма интересным человеком – командиром китайского полка, полк которого славится безукоризненной дисциплиной и отсутствием проступков среди солдат. Это – высокий, худощавый мужчина с симпатичным лицом, которое делается иногда каменным и показывает необыкновенную твердость характера. Вместе с тем, как это ни странно, он скромнен и даже конфузлив. Хорошо знающие его говорят, что он очень добрый человек, но раб своего слова, что однажды он сказал – того не изменит. Подчиненные не только боятся его, но уважают и любят.

Я знал, что он – бывший предводитель хунхузов, приглашенный вместе со своей шайкой на службу. Своего прошлого он не скрывает.

На вопросы он отвечал скромно, даже застенчиво.

История его представляет один из типичных примеров того, как

китайцы делаются хунхузами, как живут и промышленляют хунхузские шайки. Поэтому привожу его рассказ почти дословно, опустив только мои вопросы и изменив, конечно, фамилию рассказчика.

– Очень, очень рад с вами познакомиться; чрезвычайно приятно встретить иностранца, говорящего по-китайски!

Моя фамилия Юй, Юй Цай-тунь. Как и большинство моих подчиненных, я родом из Шаньдуна. Теперь мне 37 лет, хотя на вид мне больше, – тяжелая жизнь быстро старит. Вы ведь отлично знаете, кем я был раньше, да я и не скрываю этого! Постоянное напряжение, непрерывные переходы, необходимость вечно быть на чеку – по пять, по шесть дней невозможно было даже ул переобуть – все это даром не проходит...

Вы хотите знать, как я сделался «независимым», т. е. тем, что вы обыкновенно называете «хунхузом»? – Извольте, я расскажу.

Шестнадцать лет тому назад я, молодой, полный сил и надежд, пришел из Шаньдуна во Владивосток. Людей у нас на родине много, а земли мало, да и плоха она, рабочие руки ценятся ни во что; а у русских – так говорили у нас – каждый китаец с хорошей головой и здоровым руками в короткое время может составить себе капитал, если только не будет играть в азартные игры или курить опий.

Семья моя была зажиточная, и я пришел не с пустыми руками: я принес с собой около 1000 рублей на русские деньги.

Во Владивостоке я скоро осмотрелся и нашел приятелей. Они рассказали мне: одно из самых выгодных дел – лесное. Один из наших шаньдунцев, работавший раньше у какого-то русского на рубке леса по реке Сучану, решил самостоятельно заняться этим делом и присмотрел очень удобное место на речке Си-ча (Сица), впадающей в Сучан. Условия сплава были очень удобны, и дело, несомненно, обещало быть очень выгодным, но, чтобы уменьшить расходы предприятия, было решено платных рабочих не нанимать, а организовать дело на компанейских началах, причем принимать в компаньоны только тех, которые могут принимать участие в деле не только капиталом, но и личным трудом.

Для начала дела нужно было десять тысяч рублей и не менее десяти человек рабочих. Девять человек, желающие лично работать и внесшие по тысяче рублей, уже были на лицо: не хватало только десятого. Меня уговорили, и я согласился вступить в эту компанию.

Купили инструменты, провизию, палатки, поехали на Сучан, заплатили лесничему в с. Владимиро-Александровском попенные деньги и отправились на место рубки на Сицу, в верховьях Сучана.

Лес оказался отличный. Распорядитель наш, Чжань Минь-цзе, был человек толковый, работающий, но горячий; мы все его слушались.

Дело шло прекрасно, но работа была трудная. Целый день приходилось быть на ногах в снегу, в слякоти, с топором или пилой; свалишь дерево, нужно его очистить от сучьев, запрячься в веревочные

лямки и тащить его через камни, пни и буераки к самой речке.

Лошадей у нас не было – слишком дорого было их покупать. К концу дня иной раз так устанешь, что даже есть ничего не можешь...

Наконец я переутомился и заболел. Тогда один из товарищей дал мне покурить опиума, которого я до тех пор не пробовал. И что же? Болезненное состояние сменилось таким чудным состоянием покоя и прекрасного самочувствия, что я с тех пор пристрастился к опиуму и временами стал курить его неумеренно, что не мешало мне по-прежнему отлично работать.

Но все-таки я стал замечать, что постепенно я все больше и больше худею, и, в то время, когда я курил больше обыкновенного, – мне огонь «бросался в глаза». А затем случилось нечто похуже: я стал плохо видеть по вечерам, и, наконец, вечером, при огне я уже ничего не видел и даже не мог передвигаться без посторонней помощи.

У меня не было друга, который удержал бы меня, и дело, вероятно, кончилось бы плохо для меня, если бы неожиданный случай не изменил мою судьбу.

Однажды вечером после трудового дня все собрались в нашем шалаше. Мы поужинали, и все готовились к завтрашней работе: точили пилы, топоры, готовили веревки и т.п. Я выкурил несколько трубок, ничего не мог видеть, и поэтому не работал.

Мне зачем-то понадобилось пройти в другой конец шалаша; я пошел, наталкиваясь на других и мешая им работать. Тогда рассерженный Чжань схватил палку и сильно ударил меня по лицу наискось, вот по этому месту – между глазом и носом.

Это меня ударили в первый раз в жизни... Я не скажу, что я почувствовал, но я ни слова не сказал, и, пробравшись оцупью на свое место, я лег и пролежал без сна до утра.

С восходом солнца вернулось ко мне зрение. Я встал и стал прощаться с товарищами, говоря, что я ухожу. Те стали уговаривать меня остаться, но я ушел, бросив внесенный мною в дело пай и причитавшиеся на мою долю заработанные деньги, а их было порядочно.

Пошел я в лес, вглубь, в горы, куда глаза глядят. Без денег, почти без платья, без друзей и знакомых, нищий, шел я по тропе, сам не зная куда.

Прошел я, вероятно, верст двадцать и наткнулся на небольшую фанзу в маленькой долинке. Я устал и зашел в нее, чтобы отдохнуть. Хозяин фанзушки, кореец Ким Шэн-мини, встретил меня ласково. Работников у него не было. Я остался у него на день, потом еще на день, а потом и совсем поселился здесь. Но Ким был очень беден, и я стал работать у него только из-за хлеба, без жалованья.

Правильная жизнь, работа гораздо более легкая, чем на лесорубе, а главное – отсутствие опиума сделали то, что через месяца два-три я был

неузнаваем: ко мне вернулось здоровье, я стал силен, вынослив и прекрасно видел теперь вечером и при огне.

Тогда хозяин сказал, что такому работнику как я нужно платить, а ему платить нечем...

А у корейца был прекрасный американский топор с длинной выгнутой рукоятью; я им часто работал и любовался – а в топорах-то я толк знал. Я подумал: а почему бы мне не получить топор в виде платы? Я и сказал об этом хозяину. Тот подумал – и согласился.

Еще целый месяц работал я, пока не заработал себе топор. Но как только я получил его в собственность, я тотчас же попрощался с корейцем – хороший был человек! – и пошел по знакомой уже мне тропе на запад, к Сице.

Вечерело. Вот и наш шалаш. Я направился к нему; зачем – и сам тогда не знал: толкала какая-то посторонняя сила...

Когда я вошел в шалаш, все наши были в сборе; большинство разделось и отдыхало на кане. При моем входе раздались радостные возгласы: «А, вернулся, вернулся!».

Чжан тоже лежал. Но, увидев меня, он дружелюбно приподнялся ко мне навстречу. Я, то есть не я, а только мое тело, с топором в руке подошел к Чжану и, ни слова не говоря, с размаха ударил его топором, как раз по тому месту, по которому он раньше ударил меня палкой...

Лицо его развалилось на две стороны, и он без звука опрокинулся на кан. Я ударил его еще раз, и еще третий раз посередине тела и видел, как вывалились внутренности.

Все смотрели не шевелясь, и никто не сказал мне ни слова, когда я спокойно вышел из шалаша и опять, как и в первый раз, пошел куда глаза глядят.

Что мне теперь было делать? Я сделал то, что выбросило меня из общества людей. В работники мне уже идти нельзя...

Выход был только один: сделаться «независимым».

Встретился я с двумя такими же безработными, которым негде было главы преклонить: один – неудачный искатель женьшеня, а другой – ловец морской капусты, – и решили промышлять вместе.

Скоро к нам присоединилось еще двое, и вот мы пятером начали нашу новую работу, выгодную, но опасную. Старшего между нами не было; мы все пятеро были равны, и все, что получали, делили поровну.

Но я больше не хотел брать на свою душу греха и дал себе обещание: без крайней необходимости не лишать людей жизни.

Дела наши пошли хорошо, но они были все мелкие. Все же слух о нашей храбрости и удаче быстро распространился, и к нам быстро стали стекаться люди, желающие присоединиться к нашему отряду. Скоро у нас набралось уже человек двадцать. Я был выбран ихним «дань-цзя-эр» или «дань-цзя-ди» («руководителем дома», т. е. атаманом). А через год у меня

было уже человек двести.

Нужно заметить, что каждая шайка, оперирующая в известном, строго определенном районе, обыкновенно подчиняется одному «да-е», т. е. главному старшине этого района. Старшина живет на месте, владеет крупной усадьбой или предприятием и в глазах русских или китайских властей (смотря по тому, на чьей территории он живет) является почтенным лицом, о связи которого с хунхузами никому и в голову не приходит. Например, в это самое время главный да-е многих шаек, оперировавших около Владивостока, был крупный подрядчик, живший во Владивостоке и находившийся в приятельских отношениях со всеми вашими властями. А на самом деле это был беглый каторжник с Сахалина.

Но я не подчинялся никакому да-е, потому что не хотел ограничивать своей деятельности определенным районом.

Нужно заметить, что избираются предводители из среды товарищей только в маленьких шайках, в крупных же отрядах дело обстоит иначе: предводителем, «дань-цзя-ди», является тот, который вооружает на свой счет всех людей. Фактически он же обыкновенно и формирует весь отряд и является действительным «хозяином» всего.

Таким хозяином был и я, потому что у меня были уже средства для покупки оружия на двести-триста человек. Поэтому вы видите, что величина отряда, а следовательно, и влияние того или иного предводителя зависит исключительно от его богатства.

Некоторые из предводителей крупных шаек, заняв ту или другую пустынную гористую местность (например, по границе с Россией), привлекают сюда голытьбу китайцев или корейцев для разработки под мак плодородной земли в долинах и по склонам гор, где вырабатывается лучший опиум. Посмотрите на прилегающий к станции Пограничной район по обе стороны границы: он весь похож на сшитое из кусочков одеяло. И все поля этого района или принадлежат таким отрядам, или платят им подать опиумом. Пограничные русские земли, принадлежащие казачьему населению, – все сданы в аренду макосеям. А спросите: кто их сдавал или кому платятся подати? Ответ будет один: переводчику такому-то... А русские власти о таком переводчике и не слыхали. Часть денег с некоторых полей, хотя и попадает к казакам, но значительно большая часть идет предводителям шаек, объявившим свою власть над этой территорией.

Но я, хотя опиум и курю, но ни возделыванием его, ни захватом опиумной земли не занимался.

Добывал же я средства существования для себя и своего отряда обычным, принятым у людей нашего поля, способом. Разузнав через своих агентов о степени благосостояния того или другого богатого человека – купца, земледельца, подрядчика или чиновника, я посылал ему письмо, в котором вежливо писал:

«Вы, милостивый государь, имеете такой-то доход и такое-то имущество, а между тем здесь бродит много дурных людей, которые могут вас ограбить или сделать еще что-либо худшее. Поэтому не будете ли вы так добры одолжить нам такую-то сумму, тогда вы можете быть совершенно спокойны, – зная, что я вас никому не дам в обиду; для этого у меня достаточно силы».

При этом требуемая сумма всегда назначалась настолько умеренная, что плата ее никоим образом не могла подорвать благосостояния того лица, которому письмо адресовалось.

Я не помню случая, чтобы мне отказывали. И действительно: этих лиц я уже защищал всегда от нападений и поползновений других отрядов, таких же свободных, как и мой. Со своей стороны я не требовал денег от тех лиц, которые были уже обложены на этот год атаманом другой сильной шайки.

Оперировал я как на русской, так и на китайской стороне, в районе от Сучана до Спасского и от Пограничной до Янь-цзи-гана. Много раз мне приходилось сталкиваться и с войсками, – как русскими, так и с китайскими, больше с последними.

Нужно заметить, что между «независимыми храбрецами» существует поверье: если ты без крайней необходимости, т. е. не в честном бою, убьешь человека, то и сам будешь убит; жизнь за жизнь – неизбежный закон. Поэтому я дал себе зарок людей не убивать... И я сдержал обещание: я не только ни одного человека не убил иначе как в бою, но даже никого не держал в плену. Если же во время боя мне в руки попадали пленные, то я их всегда отпускал без всякого выкупа.

Вот поэтому-то из всего моего первоначального отряда осталось в живых всего три-четыре человека, в том числе и я.

Оперировали мы только летом. Осенью же, с наступлением холодов, почти весь отряд расходился по городам и селениям, чтобы веселой жизнью вознаградить себя за летние лишения, – и лишь незначительное число людей, – кадр отряда, – проводил всю зиму где-либо в землянке или фанзе в глухой тайге.

Это зимовье называется «ди ин-цзы», т. е. земляной лагерь. Туда заблаговременно свозится топливо, заготавливается необходимый на зиму провиант; там же хранится все оружие, патроны и прочее имущество, и боевое снаряжение. Жизнь этих людей бывает всю зиму крайне тяжела и тосклива. Для того чтобы прожить год, а то и несколько лет в такой обстановке, необходимы исключительные сила воли и выносливость. До первого снега еще ничего, терпеть можно, потому что свободно можно отходить от зимовья на любое расстояние, но когда выпадут снега и завалят все тропы – всякое сообщение с остальным миром прекращается совершенно месяца на четыре.

Отапливать помещение, готовить пищу и вообще разводить огонь

можно только ночью, чтобы дымом не выдать своего местонахождения. Люди сидят, как в тюрьме, потому что достаточно иной раз одного следа на снегу, чтобы выдать так тщательно охраняемое местонахождение зимнего становища – арсенала, складов и тайного опорного пункта шайки, т. е. самого сердца ее. А болезнь, а смерть – помощи ждать неоткуда... Да разве перечислишь все тяжелые случайности и лишения, которые приходится испытывать людям во время такой зимовки? Нужно самому испытать, чтобы понять все. Я провел так три года – и вы видите, что я почти старик, несмотря на мои 37 лет.

Вот почему, главным образом, большую часть отряда приходите распускать на зиму.

Когда же снег стаивал – весь отряд собирался опять и снова начинал свою деятельность.

Теперь уже девять лет, как я бросил прежнее ремесло. Я получил предложение коммерческого китайского общества поселка при станции П-я работать против других хунхузских шаек. Я согласился и таким образом перешел на легальное положение.

Есть у меня искренний друг, также бывший атаман, пользующийся большим влиянием и известностью, по фамилии Лу, Лу Цзин-тай. Однажды Лу пришел ко мне и просил меня принять от него в подарок большой двухэтажный дом в П. Я долго не хотел брать. Но Лу уговаривал меня:

– Возьми! Быть может, нам еще придется искать зимой крышу для отдыха. Мы – братья: ты всегда найдешь пристанище у меня; а я – я хочу быть уверенным, что найду угол у тебя!

Это был намек на то, что никто из нас не гарантирован от конфискации всего имущества, и в один прекрасный для нас день каждый из нас может очутиться выброшенным за борт. Лу в это время был уже человеком весьма состоятельным – он был командиром батальона в регулярных войсках, за какую должность он... ну, скажем, «пожертвовал на благотворительные дела» всего 10 000 рублей...

Я не мог больше отказываться от подарка и сделался домовладельцем. Дом приносит мне около 600 рублей в месяц, но вы знаете, что я расходую на полк не только все получаемые мною от казны суммы, но и все деньги, получаемые мною от моего дома... В этом и кроется разгадка отличного, как вы знаете, состояния моего полка.

Я обзавелся семьей и жил тихо и смирно до тех пор, пока меня не пригласили формировать полк. Это у нас в Китае обычная система – приглашать на службу известных своей энергией начальников вольных отрядов, причем им даются разные места в армии, начиная от взводного командира и кончая генеральским местом. Например, генерал Фын Лин-го был «дан-дзя-ди» еще во время русско-японской войны, а нынешний

главнокомандующий северной армией Чжан Цзюнь-чан, никогда не проигравший ни одного сражения и оперировавший когда-то во Владивостоке, и... Да не стоит дальше перечислять – вы сами знаете. Они ведь тоже прошли через этот этап. Вот почему китайское общество смотрит на нас вовсе не как на нарушителей закона, а как на удальцов, дорожащих своей свободой и не желающих подчиняться властям.

Теперь я обеспечен, пользуюсь почетом, у меня есть семья... Но мне так надоели служебные дразги и интриги, с одной стороны, а с другой, так хочется уйти от людей в тихую обстановку семьи и леса, что мне все чаще и чаще приходят на ум слова моего друга Лу, когда он дарил мне дом:

«Быть может, нам еще придется зимой искать крышу»...

Опубликовано: Шкуркин П. Хунхузы: Этнографические рассказы. Харбин, 1924.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:

В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 503–511.

МАНЬЧЖУРСКИЙ КНЯЗЕК

Далеко-далеко на северо-востоке, где-то за морем Бо-хай, находится неведомая, чудная, сказочная, но и страшная страна Маньчжурия, откуда вышла наша священная династия – да хранят ее боги!

Высокие горы вздымаются к небу; в одной из них на самой вершине, в глубоком провале, есть озеро, на дне которого живет князь-дракон, в громе и молнии взлетающий иногда на небо... Из других гор иногда вырываются столбы пламени, расплавленные камни, как вода, текут вниз, все сжигая на своем пути, и густая тьма, вырвавшись тучами из недр горы, черной адской сажей оседает внизу и покрывает землю на сотни ли (верст)...

Горы покрыты непроходимыми лесами, и в этих лесах растет таинственная волшебная трава орхой-да, или женьшень, способная влить новую жизнь больному телу. Но горе тому смельчаку, который, целыми месяцами разыскивая волшебный корешок и, наконец, найдя его, бросится тотчас вырывать его из земли, забыв от радости, что сначала следует помолиться и возблагодарить духов гор и владыку здешних мест – грозного амба-лао-ху! Тотчас неведомо откуда появится страшный лао-ху (тигр) со священным иероглифом – «ван» (князь) на лбу, и... Никогда уже никто из смертных не увидит больше на этом свете несчастного искателя корней.

Но если счастливицу удастся добыть хотя бы два-три корешка в лето – ему больше ничего не нужно: он может продать их дороже, чем на вес золота... Конечно, если не попадет в руки надсмотрщиков, потому что выходить на опасный промысел без особых билетов нельзя: все добытые корни следует сдавать нашим милостивым фу-му-гуань – «отцу-матери

подобным начальникам». Если же вышел без разрешения и попался – ну, так лучше было бы уж с тигром встретиться!

Вот почему многие, живя в лесу, корней не ищут, а бьют зверя или добывают его ловушками и ямами. А лучше маньчжурских лесов и на свете нет! Если же удастся еще добыть в лесу несколько пар молодых рогов оленя или изюбра, то больше и желать нечего: рога (панты) вместе с женьшенем дают такое лекарство, которое умирающему жизнь возвращает, старца в юношу превращает.

А в реках, полных рыбы, водятся раковины, в которых можно найти жемчужины с палец величиной.

А золото, золото!.. Нигде нет столько золота, как в горах Маньчжурии!..

Но всеми этими богатствами владеют духи и оборотни, и нужно обладать закаленным телом, бесстрашной душой и знать заклинания, чтобы вырвать клад из таинственных мест и самому не погибнуть.

Только местные охотники-маньчжуры, олонцунь, хэчжэ, фьяка и удэхэ не боятся ни духов, ни зверей. Они знают, что Эндури, небесные божества, – добры и милостивы, но в дела людей почти не вмешиваются; Онку, бог леса, – зла человеку не делает. Но нужно беречься горного бога, тонконового великана Какзаму, чтобы он не превратил беспечного охотника в камень, да болотного беса Боко, горбатого, одноногого и однорукого карлика. Но страшнее всех – Окзо, птица с железным клювом, зубами и крыльями, которая с быстротою молнии носится по миру... Охотник грома не боится: то – Анды, благодетельный дух, – змей с лапами и крыльями, изрыгающий изо рта пламя, который отгоняет от охотника страшного Окзо...

Охотники – местные жители, они умеют благодарить добрых духов и умилостивить злых; а зверь – зверь не страшен: они знают, как его нужно встретить!

Но зато как тяжело приходится тем несчастным, которые за действительное ли преступление или просто вследствие интриг попадают сюда в ссылку! Хотя говорят, что на Дальний Запад ссылают еще дальше, но оттуда люди возвращаются, а из Маньчжурии – никогда.

В первой половине прошлого столетия в губернии Шань-си в семье почтенного, всеми уважаемого горожанина по фамилии Хань, родился мальчик.

Рождение мальчика – радость для семьи, потому что только старший в роде мужчина имеет право и обязан приносить жертвы предкам; неимение мужского потомства – очевидный знак немилости богов. Души предков ведь живут на том свете почти совершенно такой же жизнью, как и живые люди, лишённые жертвоприношений, они могут причинить тысячи

бедствий живущим на земле.

Ну, а девочка в счет не идет: она выйдет замуж непременно в чужой род и будет служить ему, а не своим предкам.

Маленький Хань рос в обычной обстановке зажиточной китайской семьи, окруженный вниманием и заботами, без баловства.

Но с самых малых лет мальчик отличался шаловливостью и слишком большой долей самостоятельности. Во всех играх и шалостях с соседскими детьми он неизменно являлся коноводом. Особенно любил он играть в войну. И удивительно: ему беспрекословно повиновались мальчики значительно старше его самого...

Постепенно игры и забавы теряли невинный характер, и на маленького Ханя со всех сторон стали слышаться жалобы. Никакие уговоры и даже наказания со стороны родных не действовали, и отец всю надежду на исправление сына полагал в учении – благо уже пришло время...

Мальчика послали в школу.

Учился он недурно, но вел себя так, что учитель, перепробовав напрасно все меры наказания, обратился к отцу шалуна с просьбой взять мальчика из школы, потому что тот успел взбунтовать всю школу против учителя.

Пришлось взять отдельного учителя и учить мальчика дома.

Сначала дело пошло как будто лучше, но потом шаловливая натура мальчика взяла верх. Он стал так держать себя по отношению к учителю, что последний отказался от выгодного места в доме Ханя.

Целых ряд учителей сменился, но все они уходили вследствие nepозволительных шалостей мальчугана, и, наконец, никто уже не хотел учить молодого повесу.

Между тем время шло, и мальчик превратился в юношу. Характер его не переменялся, но вместе с возрастом увеличился и масштаб его шалостей: шайка сорванцов, набранная им, не давала покоя мирным обывателям, и дело кончилось тем, что в конце концов молодому Хан Сяо-цзун пришлось столкнуться с уголовными законами...

Отец отказался от сына, погубившего репутацию семьи, и с этого момента юноша исчез. Никто на родине больше его не видал.

Далеко в глуши Восточной Маньчжурии, на самой границе с Кореей, высится священная гора Бугагри (Байтоу-шань), на которой от небесной девы Фэкулэн родился Тоншонь Айжинь-Гиоро, родоначальник последней маньчжурско-китайской династии. На вершине горы находится в кратере глубокое озеро Тамунь (Тянь-чи), из которого, прорвав край горы, каскадом вытекает река Намняха, впадающая в Эр-дао-цзян.

С острогов той же горы берут начало реки Лиху и Сан-нокн, которые,

захватив еще по дороге речки Лоху, Нархунь и Нитака, образуют реку Тоу-дао-цзян.

Большинства этих названий на карте не найдете: все маньчжурские названия заменены китайскими, и только охотники, бродя по зверовым тропам и «продавая» их один другому вместе со зверовыми зимовьями (дуй-фан-цзы), ловушками и заборами, в которых местами вырыты ямы (лу-цзяо), всегда придерживаются старых названий, освященных и закрепленных в памяти охотников веками.

Тоу-дао-цзян (река первого пути) и Эр-дао-цзян (река второго пути), слившись вместе, образуют уже крупную реку, носившую в старину название Сумо-хэ или Сумо-я-цзы-хэ, а теперь – Сунгари, т. е. Молочная дорога; китайцы же, не знающие маньчжурского языка, перекрестили ее в Сун-хуа-дзян, т. е. река соснового цветка.

Недалеко от слияния Тоу-дао-дзяна и Эр-дао-цзяна, под самым перевалом Цзинь-ин-бэй-лин (Золотого лагеря северный перевал), в Соболиной пади (Дяо-пи-гоу), один охотник случайно нашел в реке золотой самородок. Весть об этом быстро разнеслась; масса приискателей, а то и просто «вольных удальцов», со всех сторон стала стекаться сюда, и вскоре в Дяо-пи-гоу кипела лихорадочная, но беспорядочная работа.

Охотники, конечно, могли бы оспаривать свое право на счастливое место, но, с одной стороны, настоящий охотник никогда не делается приискателем, а с другой, – шумная жизнь прииска распугивает зверя, а за зверем уйдет и охотник...

Как бы то ни было, ничто не мешало бы быстро растущему прииску нормально развиваться, если бы не собственные неурядицы. Каждый работал, где и как хотел, пласт вскрывался как попало, выработанные отвалы заваливали соседские участки или нетронутую поверхность. Происходившие на этой почве ссоры, драки и даже убийства были обыденным явлением, а вопрос о пище становился иногда весьма острым.

Много времени прошло, пока, наконец, в приисковой общине наладился известный порядок. Вся власть была вручена трем выбранным пожизненно самым старым приискателям; в известных случаях им, по обычаю, принадлежало право жизни и смерти. Они были и судьи, и законодатели, и священнослужители, и горные инженеры...

В общем, жизнь общины была весьма тяжела. Своего хлеба не было – приходилось ходить за ним, потому что лошадей не было, и приносить понемногу издалека. Женщин, конечно, не было, как и во всех таких «вольных» республиках, и поэтому значительная часть рук отвлекалась на хозяйственные и домашние работы. А хуже всего было то, что когда приходилось сбывать намытое золото и покупать одежду, инструменты и прочие предметы, необходимые в их несложном быту, то приходилось ходить в более населенные пункты, где было кому продать и у кого купить.

Ближайшим же таким пунктом был Гуан-гай, в верстах восьмидесяти... Купцы, зная, с кем они имеют дело, продавали им товар втридорога, а золото брали за полцены. Жаловаться было нельзя: приискатели были на нелегальном положении, всякая жалоба влекла бы за собой, во-первых, – конфискацию всего имущества, а во-вторых, – тюрьму и палки, а то и кое-что и похуже...

Однажды в эту общину пришел молодой человек. Так как он понятия не имел о приисковой работе, но был хорошо грамотен, то его приставили для письменных занятий к трем старикам-старшинам, которые все очень хромали в отношении грамоты. Юноша очень быстро освоился со своим делом и стал вникать во все стороны приисковой жизни.

Прошел год, и старшины, как без рук, не могли обходиться без своего писаря. Никто лучше его не мог разобрать дело, прекратить ссору, продать золото или купить товар. Он оказался настолько умным, находчивым, изворотливым и смелым во всех случаях, что не только без его совета не решалось никакое дело, но даже более: все решалось так, как советовал молодой писарь.

Вскоре умер один из старшин, и, вопреки неписаной конституции общины, на место умершего был избран не очередной старик, а молодой писарь: это было выгоднее всем потому, что расходы на администрацию уменьшались.

Прошло еще года два-три – умер второй старик; на место его никого не выбрали. И когда умер последний из старых старшин, то во главе Дяопигоуской общины полномочным хозяином оказался один бывший писарь.

Это и был Хань Сяо-цзунь по прозвищу Хань Бэнь-вэй.

В скором времени сама община и жизнь в ней сделались неузнаваемыми. Прежде всего, чтобы обеспечить людей собственным хлебом, Хань привлек на свободные земли в районе прииска земледельцев, уравнивая их во всех отношениях с коренными общинниками-приискателями.

Во-вторых, разрешил своим людям обзаводиться семьями, что прикрепило прежних бродяг к одному месту. Эта мера, до сих пор никогда не практикуемая в «вольных» общинах, показывает, насколько верил Хань в прочность создаваемого им дела и на то, что «вольный», то есть попросту хунхузский облик ее Хань хотел превратить в сельский, лояльный, государственный.

В-третьих, Хань запретил без особого разрешения отлучки из пределов приисковой общины для продажи золота каждому приискателю, как это практиковалось раньше: все добытое золото приказывалось теперь сдавать в свою контору. Здесь золото в присутствии хозяина тщательно взвешивалось: одна шестая часть его шла на общественные нужды, а пять

шестых записывались в особую книгу на личный счет каждого. Время от времени сам Хань или его доверенные лица отвозили это золото в Гиринь и другие, более, чем Гуан-гай, отдаленные пункты, где, не зная продавцов, купцы давали за золото настоящую цену.

В-четвертых, на прииске были открыты склады товаров, которые отпускались рабочим по заготовительной стоимости.

В-пятых, Хань сделал разведки и открыл ряд приисков в том же районе.

В-шестых, вместо трех оборванных сторожей, руками коих творили правосудие прежние старшины и которые составляли всю их силу, у Ханя скоро появилась сотня отборных молодцов, отлично одетых и вооруженных ружьями новейшей системы. Отряд этот постепенно увеличивался все более и более, и во главе его скоро оказался европеец, каким-то образом попавший вглубь маньчжурской тайги и называвший себя немецким офицером... Целые ящики патронов, оружия и амуниции прибывали в Дяо-пи-гоу издалека и складывались в подземных хранилищах.

Все эти меры, да и многие другие, более мелкие, послужили к тому, что благосостояние приисковой общины, а также и число обитателей ее увеличилось во много раз. Власть Хань Бэнь-вэя признавалась бесспорно от самой корейской границы и чуть не до Гуан-гайя...

Но не только «свои» подчинялись своему «хозяину» и были ему преданы, но даже население окрестных районов в затруднительных случаях несло свои дела и споры на решение Ханя, видя в нем своего защитника и нелюбимого судью...

Ближайшие местные власти несколько раз хотели разогнать дяопигоуских «хунхузов», но встретили такой твердый отпор со стороны Ханя, что до поры до времени оставили его в покое.

Однажды в Гуан-гай приехал какой-то важный чин из Гириня. Точно неизвестно, что он там творил, но только местные жители бросились к Дяо-пи-гоу к Ханю с жалобой на произвол и поборы чиновников.

Через два дня Хань был уже в Гуан-гайе с небольшим числом своих людей. Он вошел в ямынь, где остановился «чин», вывел его на площадь и среди бела дня, на глазах у многочисленной толпы, жестоко выпорол...

Кто знаком с психологией китайца, особенно интеллигентного, тот поймет, какую ужасную вещь сделал Хань. Гораздо меньший скандал получился, если бы он просто убил приезжего «да-жэня», но этим наказанием он не только заставил его «потерять лицо», т. е. опозорил навек и лишил его возможности продолжать службу, но оскорбил также и посланного его гириньского цзян-цзюня (военного губернатора), а с ними все правительство...

Подобный вызов всем властям предержавшим не мог остаться без

возмездия. Тотчас поскакали нарочные с донесением в Мукдэнь и далее – в Пекин.

Вскоре из столицы было получено лаконическое приказание: «Немедленно Дяопигоуское гнездо шершней разрушить дотла и всех хунхузов казнить».

Гроза нависла не только над Дяо-пи-гоу, но и над всеми попутными селениями, потому что, по мнению, китайцев, солдат в походе – страшнее хунхуза... С северо-запада, со стороны Гирина, надвигался сильный отряд, состоявший из пехоты и кавалерии. Стон стоял у населения по пути наступления этого воинства...

Никто не сомневался, что дни верхне-сунгарийской вольной общины сочтены. Другие такие же приисковые общины могли бы прийти на помощь, но они были слишком далеко. Могли бы помочь знаменитые корейские тигровые охотники, если бы к ним обратился Хань, но он этого не сделал. Хань поступил иначе. Он не стал дожидаться прихода правительственного отряда в свои владения, а двинулся навстречу ему и ночью напал на мирно почивавший после тяжелого дневного перехода гириньский отряд, никак не ожидавший такой преждевременной встречи с хунхузами.

Часть отряда все-таки успела оправиться и стать под ружье, но когда загремели две старые бронзовые пушчонки, поставленные умелой рукой на командующей высоте и обстреливающие продольным огнем всю долину, китайский отряд в паническом страхе бросился назад врассыпную, но отступление ему было отрезано зашедшим в тыл неприятелем...

Мало кто из этого отряда вернулся в Гиринь.

Тогда лукавые китайско-маньчжурские власти решили держаться по отношению к нему другой тактики: экспедиций против Ханя больше не посылали, о нем больше в донесениях в Пекин не упоминали и вообще делали вид, что никакого непокорного «хунхуза» больше совсем не существует.

И такое «замалчивание» его продолжалось много лет...

За это время владения Ханя значительно расширились, число его «подданных» увеличилось в несколько раз, и все они пользовались несравненно большим благосостоянием, чем не подчиненные ему жители окрестных мест. Стража Ханя также значительно увеличилась, и он приобрел для нее даже... крупновское полевое орудие со значительным количеством снарядов.

Но никто больше не беспокоил жителей этого района, и Дяопигоуская община благоденствовала.

Наступил 1894 год. Началась несчастная для китайцев японско-китайская война. Японские войска, высадившиеся в Корее и разбившие

китайцев при Пхион-яне, двигались в Маньчжурию. Китайский флот погиб, китайцы впали в уныние...

В это время в ставку китайского главнокомандующего явился какой-то молодой человек и потребовал аудиенции.

– Я – Хань Дэн-цзюй, – заявил он генералу, – внук Хань Бэнь-вэй – владельца Дяо-пи-гоу. Мой дед скорбит своим китайским сердцем о неудачах наших войск и прислал меня с отрядом в 300 человек к вам на помощь. Угодно вам принять нас или нет?

Генерал сделал смотр отряду и был поражен: «хунхузы» были одеты, экипированы, вооружены и обучены несравненно лучше, чем лучшие из его войск; они даже имели свой обоз и не требовали ничего от китайского интендантства.

Конечно, они были приняты, хотя и с некоторым колебанием.

Вскоре японцы продвинулись на реку Ялу, составляющую границу между Кореей и Маньчжурией, и здесь неожиданно для себя не только встретили отчаянное сопротивление, но передовые их части были даже разбиты наголову (японцы об этом очень не любят говорить и стараются этот факт замалчивать, а в официальной истории о нем, кажется, даже не упомянуто).

Это поражение нанес японцем отряд Хань Дэн-цзюя.

И хотя японцы 25-го октября перешли Ялу значительными силами и разбили китайскую армию, но все-таки упомянутый эпизод, единственный успех китайцев в эту войну, был единственным красочным пятном на всем безотрадном мрачном фоне их постоянных неудач. Понятно, что китайское начальство и само правительство не могло не оценить его по достоинству. Хань Бэнь-вэй не только получил прощение всех его прежних прегрешений, но ему еще прислали из Пекина красный шарик на шапку и пожаловали титул «ту-сы», который дается вождям инородческих племен в Западном и Юго-Западном Китае.

Таким образом, бывший «хунхуз» официально был признан князем самостоятельного владения, занимавшего в верховьях Сунгари нынешний Хуа-дянь-сяньский уезд.

Хань Бэнь-вэй, сделавшийся уже *persona grata*, вскоре умер, и его место занял его внук Хань Дэн-цзюй. Таким образом, в новом «княжестве» образовалась уже династия.

Наступил 1900-й год. В Китае началось движение, известное у нас под глупым названием «боксерского восстания». Желудок Китая судорожно сокращался, чтобы извергнуть насильственно попавшую туда неудобоваримую пищу – европейцев.

Генерал Вогак доносил из Тяньцзина о том, что не сегодня-завтра вспыхнет антиевропейское восстание; ему не верили. Он представил

неопровержимые данные – Питер решил уже объявить его сумасшедшим, но генерал от переутомления и моральных страданий заболел воспалением мозга как раз в тот момент, когда началась уже резня и международный экспедиционный корпус двинулся от Таку к Тяньцзину и затем к Пекину.

Потянули и мы на юг – начался китайский поход. Поход своеобразный, который мы делали вместе с французами, англичанами, немцами, американцами, итальянцами и японцами. Напрасно думают, что этот поход являлся только военной прогулкой: в Маньчжурии, где действовали мы одни, без союзников, войска наши не раз попадали в весьма тяжелое положение.

Так, например, колонна генералов Р., Ф. и А., посланная специально против значительной неприятельской части, втянулась в горы и преследовала противника два месяца. Но он был неуловим. Наши идут по долине, а по обеим сторонам, по хребтам параллельно с нами двигаются дозоры противника – простым глазом видно. Начнут по ним стрелять – спрячутся, а после снова покажутся. Но стоит отряду остановиться на ночлег – поднимают по нам стрельбу, не дают отдыхать, да и только ежеминутно ожидай нападения. Измучили нас ужасно!

Чем дальше в горы, тем путь становился тяжелее, да и провиант доставлять делалось все труднее. А враг наш – знаем, что он вот здесь, а догнать его никак нельзя!

Наконец генерал Р. (он был старший) схитрил. Он сделал обычный дневной переход, расположился вечером на ночлег, поужинал... А потом, когда стемнело, поднял отряд и сделал форсированный ночной переход.

Хитрость удалась: мы догнали главные силы неприятеля и напали на них. Завязался горячий бой; у неприятеля оказались даже горные орудия... Но все же мы, несмотря на значительные потери, разбили «боксеров», и те спешно отступили, не подобрав даже тела своих убитых.

Каково же было удивление наших, когда между убитыми они увидели два трупа, одетые в китайское платье, но оба блондина и с рыжими баками...

Это были немцы-офицеры, руководившие неприятельским отрядом; их смерть, вероятно, от разрыва случайной шрапнели, и дала нам частичную победу.

В общем же двухмесячный поход наш против этой банды был совершенно безрезультатен.

«Боксеры» же эти были никто иные, как отряд Хань Дэн-цзюя.

Спустя некоторое время, генерал Р. с двумя сотнями забайкальских казаков под натиском китайцев должен был отступить в район города Мопаньшаня, или Мопэйшаня (теперь – Паньши сянь), и попал в котловину между горами, заросшими лесом. Из котловины был только

один выход – узкая дорожка. Это было 30-го октября – холода наступили рано, и замерзшая комками земля гулко звенела под копытами коней станичников. Оледенелые крутые сопки крайне затрудняли движение кавалерии. Казаки уже два дня ничего не ели. Им, во что бы то ни стало, нужно было пробраться назад, на запад, в населенные места, а значительные силы противника отжимали их все дальше и дальше на восток, вглубь гор...

Расположились казаки на ночлег в котловине, разложили маленькие костры, завесили их с боков шинелями, чтобы скрыть от противника, и греют воду из грязного снега. Кольцо противника сжалось настолько, что уже слышны были голоса. Невеселую думу думает генерал Р. – видит, что приходится ставить в этой игре последнюю ставку, которая, наверно, будет битва...

Вдруг подходит к нему казак и докладывает, что: «Шпиона пымали!»

– А, шпион, – обрадовался Р., – отлично, мы его допросим. Смотрите только, чтобы он не сбежал!

– Никак нет, Ваше Превосходительство, он сам к нашей цепи пришел и все что-то спрашивает, и одет чудно – как будто монах!

Р. приказал привести к себе «шпиона» и позвать казачка, недурно говорившего по-китайски и исполнявшего обязанности толмача, и велел ему допросить задержанного китайца.

Фигура последнего была действительно необычайна: одет он был в старый ватный халат с широким отложным воротником и необычайно широкими рукавами. Лицо его и вся голова были тщательно выбриты.

– Ты зачем сюда попал? – спросил Р-ф.

Китаец что-то ответил.

– Ен говорит, Вашество, что ен вас искал, – перевел казак.

– Меня? – удивился Р. – А что тебе нужно от меня?

– Вы – генерал Ань? (китайцы так называли Р-а). У вас 245 казаков?

Р. изумился – действительно, это было точное число людей его отряда. Но подумав, что все равно странный китаец в его руках, он ответил:

– Да, верно. Что же дальше?

– Знаете ли вы, генерал, куда вы попали? Другого выхода из этой западни, кроме вон той дорожки, нет. Вас стережет многочисленный противник. Завтра чуть свет он на вас нападет и уничтожит...

– Да, знаю. Но зачем ты это мне говоришь, и зачем ты сюда пришел?

– А вот зачем. Наши начальники радуются, что вы попали, наконец, в западню, а они вас боялись больше всех русских генералов. Они радуются, что ни один русский не уйдет от них... Но они того не понимают, что сегодня они убьют у вас двести человек, а неделю спустя придут несколько ваших полков, мстя за вас, убьют двадцать тысяч наших,

быть может, даже не солдат, а мирных поселян... Я – китаец, но я и монах – служитель великого Фо. Я много читал, и глаза мои видят дальше, чем у нашего предводителя... Я вас, русских, не люблю, но я вас спасу из любви к своим, чтобы впоследствии не было напрасных жертв!

Казак с трудом перевел речь монаха, но смысл был ясен.

Р. был поражен неожиданностью всего, что он только что услышал.

– Как же ты нас спасешь? – спросил генерал.

– А вы скажите мне, – продолжал монах, – куда вы думаете двинуть утром свой отряд, чтобы спасти его?

– Конечно, на восток в горы – сзади у меня ведь путь отрезан, а там я горами постараюсь выбраться на дорогу – не идти же мне этой тропой!

– Ну вот, наши начальники и знают, что вы думаете так сделать, и поэтому все горы, особенно с востока, окружены войсками, а дорожка – единственный выход из котловины – не охраняется, потому что они знают, – вы этой дорогой не пойдете. Поднимайте отряд и идите скорей этой тропой, пока еще не поздно!

Р. не знал, верить ли ему монаху или нет. Предатель он или спаситель?

Генерал посмотрел на монаха подозрительно:

– А ты не обманешь?

– Я пойду с вами, – просто ответил монах.

Раздумывать дальше было нельзя – скоро начнет светать. И что терял Р.? В худшем случае – бой, которого все равно не избежать...

Он решился и тотчас отдал приказание. Костры не были погашены, а, наоборот, в них подбросили дров; коням быстро подтянули подпруги – они даже не были расседланы. А чтобы не выдать своего движения гулом земли от ударов копыт, казаки оборвали полы своих шинелей и обвязали сукном копыта коням.

Все делалось быстро, но молча и в полной тишине: все понимали, что дело идет о спасении, на которое, впрочем, ни у кого не было надежды. В несколько минут все было готово, и отряд, ведя коней под уздцы, так спешно стал вытягиваться по узкой тропе, что даже наши раненые были оставлены у костров...

Впереди шел Р. и около него, под охраной двух казаков, монах в качестве проводника.

– О-ми-то-фо, О-ми-то-фо, – повторял про себя монах, сложив перед грудью молитвенно руки ладонями вместе.

Тропа втянулась в узкое дефиле между двумя горами. Вдруг монах, подняв предостерегающе одну руку, другой указал на какую-то скорчившуюся фигуру, сидевшую в шагах 30-ти от дороги на земле, прислонившись спиной к дереву. Это был единственный китаец-часовой, поставленный на всякий случай окарауливать тропу. Он крепко спал,

обнявши колени вместе с винтовкой.

У казаков захватило дух: достаточно ничтожного шума, хруста сломавшейся под ногою ветки или ржания лошади, чтобы часовой проснулся и поднял тревогу. Тогда все дело пропало...

Казакам помогло казацкое счастье, а монаху – великий Будда. Ни одна лошадь не заржала, ни один камень не сорвался, и ничто не нарушило сладкого сна усталого и иззябшего хунхузского часового. Весь отряд прошел мимо него и успел вытянуться из ущелья...

Вдруг издалека, со стороны ловушки, из которой казаки только что успели спастись, раздался какой-то шум, а затем стоны и крики: «Помогите, братцы! Хоть пристрелите нас! Нас кладут на костры...»

Это кричали оставленные на произвол судьбы раненые, которых невозможно было взять.

Отряд, мучимый совестью, вскочил на коней, чтобы поскорее уйти от этих душу раздирающих криков...

Внезапно сзади, совсем близко, раздался выстрел – это дал сигнал проснувшийся часовой. Но было уже поздно: отряд на рысях уходил от опасного места по все улучшавшейся дороге и не боялся уже преследования со стороны «хунхузов», во главе которых стоял... тот же Хань Дэн-цзюй⁴.

После этого случая мы стали считаться с Хань Дэн-цзюем. Проезжая однажды через местечко Гуан-гай, генерал Р. узнал, что Хань сейчас находится у себя в своем поместье Цзинь-ин-цзы (Ти-инза) всего в десяти верстах от дороги, ведущей из Гуан-гай в Гиринь. Р. – прекрасный боевой генерал, лично был человек очень храбрый. Он взял проводника и с тремя офицерами без всякого конвоя свернул с дороги и поехал в Цзинь-ин-цзы («Золотую усадьбу»).

У ворот в богатую усадьбу генерала встретил сам хозяин – Хань Дэн-цзюй, со всей вежливостью, предписываемой китайскими церемониями.

Гостей усадили за стол. Вскоре появилось шампанское (это в глуши Маньчжурии-то, у хунхузов!), которое развязало языки.

– Скажите, пожалуйста, – обратился хозяин к Р., – какая истинная причина вашей поездки сюда?

– Я хотел видеть того китайского военачальника, с которым мы, три генерала, с превосходными силами в течение нескольких месяцев ничего не могли сделать, – ответил Р.

– Но как же вы не побоялись приехать сюда ко мне без всякой охраны?

⁴Рассказ об этих двух столкновениях с войсками Ханя автор лично слышал от генерала Р. и от участника двухмесячного похода – полковника Вознесенского.

– Чего же мне бояться? Ведь я – ваш гость!

Этот ответ сделал то, чего не могли сделать ружья и пушки: он превратил Ханя из врага Р-а, если не в его друга, то, во всяком случае, в человека, расположенного лично к Р-у.

Прошло несколько лет. Снова темные политические тучи стали заволакивать восточный небосклон – у нас обострились отношения с Японией.

Мало кому известно, что истинной виновницей нашей войны с Японией была Германия. Теперь уже не составляет дипломатической тайны то обстоятельство, что по договору, заключенному с Китаем нашим послом Кассини, Китай отдал нам в пятнадцатилетнюю аренду идеальный, райский порт Цзяо-чжоу на южном берегу полуострова Шаньдуня, и этот порт должен был служить выходом строящемуся Великому Сибирскому пути. Пронюхав об этом через своих шпионов в петербургских «сферах», Германия тотчас же решила, во что бы то ни стало перехватить у нас этот лакомый кусок.

В район Цзяо-чжоу были посланы специальные немецкие агенты под видом миссионеров для агитации среди населения. Дело было проведено настолько энергично, что в результате два особенно рьяных «миссионера» были... убиты.

Получилась колоссальная провокация, которую Германия использовала как нельзя лучше: пригрозив Китаю беспощадной войной, Германия потребовала у него в качестве компенсации за убийство именно порт Цзяо-чжоу (Киао-чао) с прилегающим районом, потому что «именно там произошло убийство, а что полито германской кровью – то принадлежит Германии»...

Положение Китая получилось крайне тяжелое и неловкое, и Китай просил нас принять Порт-Артур в обмен за Цзяо-чжоу.

Мы совсем не были расположены вступать в драку с Германией из-за куска китайской, хотя и хорошей, земли, тем более что в вопросах нашего обрезания и укорочения и Германию, и всякую другую державу тотчас же поддержала бы наш «друг» Англия.

Мы согласились на мену, – и в ответ на занятие немцами бухты Цзяо-чжоу в ноябре 1897 года, – и адмирал Дубасов 16 марта 1898 года поднял русский флаг в Порт-Артуре.

Вот разгадка того, что мы получили Артур так легко, без всяких обычных китайских дипломатических фокусов, и даже без протеста Англии, которая, попросту говоря, прозевала этот факт...

Если бы не пиратское вмешательство Германии, мы бы имели выход в Великий океан не в Ляодуне, а на юге Шаньдуня; южная ветка дороги прошла бы далеко от Южной Маньчжурии и Кореи, никакого столкновения с Японией не произошло бы и, следовательно, не было бы русско-японской войны. А поэтому не было бы и тяжелых для нас последствий, и вся история последних пятнадцати лет была бы совсем другой...

Вот где корни нашей Артурской, а после – Ялуской «авантюры». Это были не авантюры, а мудро задуманные неизбежные в нашем положении государственные мероприятия, и, будь они выполнены как следует, – столкновения с Японией все-таки не произошло бы.

Как бы то ни было, но уже с 1902 года генерал Самойлов из Японии, как некогда генерал Вогак из Тяньцзина, усиленно доносил о направленных против нас совершенно открытых военных приготовлениях. Питер все его донесения отправлял на проверку проклятой памяти знаменитому адмиралу А., заменившему собою рыцарскую фигуру генерала Суботича и уже заболевшему тогда манией величия. Но ни донесения С., ни сообщения тому же А. многих лиц уже в январе 1904 года о военных приготовлениях японцев в Корею и Южной Монголии не могли вернуть разума этому злому гению России... И только 26 января 1904 года сознание его было несколько просветлено японскими минами.

Все мы знаем ход несчастной для нас японской войны, но, вероятно, мало кто знает, что сравнительно милостивый для нас мир был заключен только благодаря тому, что наша армия, сдвинутая с Мукдэнских позиций, осталась неразбитой (кроме правого фланга), и на Сыпингайских позициях она представляла собою такую силу, которой японцы до того еще не видали. Историки этой войны, конечно, дадут этим фактам свое объяснение, научно-военное, но, наверно, позабудут упомянуть про одно лицо, роль которого в этом счастливом для нас исходе совсем не так мала, чтобы не быть отмеченной.

Начались страдные дни Мукдэня. Японцы, благодаря халатности, незнанию восточных языков и полному неумению наших штабных заправил организовать разведку в незнакомой им стране, обошли наш правый фланг по монгольским землям и принудили нас спешно отступить.

На наш же левый фланг, опиравшийся на деревеньки Цин-хэчэн и У-бай-ню-лу-пу-цзы, наступление японцев началось еще с 6-го февраля 1905 года, т. е. ровно за полмесяца до начала наступления на правом фланге, приведшем к Мукдэнскому погрому.

Эти полмесяца японцы усиленно долбили левый фланг армии Линевича, которым командовал уже знакомый нам генерал Р. Силы его были крайне незначительны (был такой момент, что в течение трех дней у него было в распоряжении только 6 рот и... 6 генералов). Хорошо еще, что

ему вскоре прислали на подмогу генерала Данилова с двумя полками, составившими крайний оплот нашего левого фланга.

Мы были значительно выдвинуты вперед сравнительно с остальной линией и 11-го февраля Р. и Д. стали отходить на общую линию обороны. Но, дойдя до д. Мацзядяня и выровняв общую линию, Р. твердо стал на месте и восемь дней, несмотря на ураганный огонь противника, не только не уходил, но, отбив японцев, несколько раз просил разрешения перейти в наступление. И каждый раз ему в этом отказывали.

Вдруг 22 февраля получено от Штаба Главнокомандующего приказание отступить... Р. не верил своим глазам, предполагая ошибку или недоразумение, и потребовал подтверждения приказа. И вторично получил строжайшее приказание отступить.

Солдаты плакали, уходя со своих позиций на сопках, где они восемь дней продержались без всяких окопов...

Мы отошли к городкам Хай-лун-чэ-ну и Чао-ян-чжэню, где и расположились на долгих квартирах. Началось длительное накопление сил как с нашей, так и с японской стороны, и одновременно с этим – подпольная работа элементов, старавшихся привести армию к разложению. Из России стали приходиться такие пополнения, от которых отказался бы даже Петр Аменский. Генерал Р. усиленно работал, внедряя дисциплину в ряды солдат и офицеров, и постепенно вырабатывал в них боевой опыт, доводя все новые части, непременно в своем личном присутствии, до боевого столкновения с японцами.

Особенно много хлопот дали ему наемные китайцы и N-я пехотная дивизия, приведенная с благодатного юга России начальником дивизии, прозванным «сумасшедшим муллой», и сформированная из четырех запасных батальонов, никогда не думавших попасть на войну. Но тихо рвущиеся в бой люди этих частей были часто неузнаваемы в тылу, особенно при «покупках» скота у китайцев...

Однажды генералу Р. какой-то китаец принес письмо на китайском языке, которое перевел офицер-восточник. Письмо гласило: «От ту-сы Хань Дэн-цзюя из Хуа-шу-линь-цзы» (название селения, образовавшегося вокруг Цзинь-ин-цзы – усадьбы Ханя).

Генерал Ань-мин! В течение нескольких лет подряд ваши храбрые военачальники и их солдаты вели себя так, как следовало. Когда в 26-м году эры Гуан-суй (1900) мы примирились с вами, мы не раз навещали друг друга; наши добрые отношения, все улучшаясь, проникали всюду в народ, благодатно орошая дружбу обоих народов, возникла и крепла нелицемерная правда. Между нами не было и зародыша подозрения, нелюбви или ненависти, никогда не возникало никаких неприятных дел. Когда наши разводочные отряды бывали у вас, то офицеры, солдаты и толмачи вели себя тихо и прилично, наши взаимные чувства любви и

доверия совпадали, имущество и труд жителей охранялись. И мы были за это вам сердечно благодарны. Пусть же теперь проникнет мой голос в ваше чистое сердце!

Знайте, что мы глубоко огорчены и сердце наше сжимается, потому что в настоящее время жители наших трех долин угнетены. Глупые мы надеемся, что вы озарите нас своим вниманием; на коленях молим, чтобы и на будущее время не оставляли нас.

Бывшему здесь раньше начальнику русского отряда покорно прошу передать благодарность за его охрану наших людей; когда мы взаимно оберегали друг друга, царствовало согласие, мы не видали горя и огорчения. Вдруг 12-го числа этого месяца на рассвете Мадритов привел к нам более 2000 человек. Раньше он поместил более 700 чел. подчиненных ему китайских солдат в селение Хуа-шу-линь-цзы, где они произвели смуты и беспорядки, не слушая своих начальников и офицеров, и насиловали женщин. Эти люди были все хуа-бан-дуй (китайские добровольные солдаты).

Свидетелей этих безобразий много. Возможно ли было не довести до вашего сведения о подобных делах?

Позвольте вас просить передать М-ву, чтобы он приказал своим подчиненным солдатам и офицерам: пусть они живут спокойно и прекратят безобразия, потому что нижние чины-китайцы причиняют не только беспокойство, но приносят «грязь и огонь».

Младший брат твой (я), моя старая мать, мой «щенок» (сын) – все теперь временно живем в Му-цзи-хэ. Когда мы услышали о движении войск, наши кости затрепетали от страха, и сердце задрожало; мы не можем спать и есть, не имеем ни одной спокойной ночи.

У кого нет отца и матери? У кого нет жены и детей? Буду искать выхода в своем сердце; и как я могу быть беззаботным, когда его жжет огонь?

«В дорогой парче отдельной ниткой пренебрегают».

«Истинно мудрый – да вникнет».

«Слова совета и поучения усваиваются и служат пружиной мыслей, желаний и надежд».

Ведь в наших жилищах старикам и детям нет покоя, они мало спят и не едят; все люди в селениях, ожидая возникновения беспорядков, трепещут, семьи убегают и рассеиваются. Доходит до того, что поля превращаются в пустыри, запущенные пространства все увеличиваются, недостаток пищи для стариков и детей быстро растет. Весь народ тронется вашей милостью, потому что горе людей и рассеяние семей достигло крайнего предела. Я преклоняюсь перед вашей великой добродетелью!

Когда приехал М-ов, я виделся с ним, и мы были довольны друг другом. Но бывшие с ним хуа-бан-дуй вели себя грубо и нарушали

военные законы и обычаи. Они тайно от русских офицеров творили всякие безобразия. Начальники же их из китайцев делали им всякие послабления и потакали им. Они подобным поведением позорили чистое прекрасное русское войско.

Мы с вами в хороших отношениях. Разве могли мы не обратиться к вам при наличии подобных несправедливых дел?

Продлите и усильте на вечные времена мир между людьми, чтобы все окончательно не разбежались. Пусть ваша неисчерпаемая милость окажет покровительство и защиту всей вселенной.

В письме всего не выразишь словом, а что и написано – то плохо выразило мысль. Почтительно представляю это недостойное письмо. Вынужденные обратиться – с надеждой обращаем к вам взоры. Истинно молим – да будет исполнена наша просьба.

Именно для этого и написано это чистосердечное письмо.

Молим о всеобщем благоденствии, мире и счастье и ожидаем от вашей засвидетельствованной мудрости беспристрастия.

Представляю вместе с карточкой.

5-й луны 13-го числа 31 года эры Гуан-суй (2-го июня 1905 года)».

Но это письмо запоздало, потому что отряд из китайской вольницы, которым командовал М-ов, был уже передвинут в другое место.

Но прошло месяца полтора, как вдруг Р. получает новое письмо следующего содержания:

«Почтенный сановник генерал Ань, великий полководец! Смею довести до сведения генерала, что 26-го числа 6-й луны в мою деревню Миши-хэ приехал офицер с красным околышем на фуражке и тремя звездочками на золотых погонах и с ним девять конных солдат. Они стали ходить по дворам и собирать скот, несмотря на заявления хозяев, что те не хотят продавать его. Всего взяли десять быков и коров, восемь мулов и тридцать шесть лошадей. Когда некоторые хозяева не хотели выпускать скот со двора – их жестоко избили нагайками. Затем офицер потребовал старшину и давал ему 540 рублей. Старшина не взял. Офицер прибавил еще десять рублей – старшина все-таки не брал. Тогда офицер бросил деньги на землю и уехал вместе с солдатами. Но часть из этих денег солдаты подобрали и увезли с собой.

В деревне были мои солдаты, которые могли бы воспрепятствовать поступкам офицера, но они этого не хотели сделать из уважения к вам. Я боюсь, почтенный цзян-цзюнь, как бы не вышло неприятностей при приезде ваших людей в мои селения... Поэтому, если впоследствии вашим войскам понадобится скот, лошади, мука и т.п., то не найдете ли возможным не посылать за этим людей, а уведомить меня письмом – в каком пункте, сколько и чего вам нужно. Все будет точно доставлено в срок по цене, которую вы признаете справедливой. Недоразумений не будет, и

дружба не нарушится. 27-го числа 6-й луны 31-го года эры Гуан-суй».

При письме была приложена большая красная визитная карточка, на которой крупными черными иероглифами было написано: «Хань Дэн-цзюй».

Р. был взбешен до крайности:

– Это что же у меня в корпусе делается? Мародерство завелось?!

Его успокаивали, что китаец в письме, наверно, преувеличил. По всей вероятности, китайцы-поселяне жадничают и хотят побольше получить за проданный скот.

– То есть вы говорите, что Хань Дэн-цзюй соврал? Нет, не убедившись точно, что это правда, он не напишет!

По имевшимся в письме данным Р. сообразил, где искать виновного офицера. Он приказал подать себе коня и вместе с обычной свитой поскакал в распоряжение Л-ского полка, первого полка пресловутой N-й дивизии.

Появление строгого генерала, да еще бывшего, очевидно, не в духе, произвело в полку переполох.

Р. отправился в расположение полкового обоза. Тотчас к генералу прибежали заведующий хозяйством и квартирмейстер. Генерал взглянул на последнего – подпоручик. Нет, значит, не он...

Осмотрел генерал все команды в полку, где были лошади, – и все находил дурным, всех распушил, везде был беспорядок и нехватка в конском составе. Но подходящего поручика не находилось... «Уж не обманул ли его китаец?», – шевелилось у него в мозгу.

– А команда конных охотников, которую я приказал формировать? Готова ли? Где она?

Оказалось, что команда расположилась отдельно от полка, в соседней усадьбе.

Генерал поскакал туда.

Выскочивший из фанзы дежурный унтер с запахом ханшина отрапортовал генералу, который пошел во внутренний двор прямо к коновязам, у которых были привязаны кони и шесть мулов.

Р. внимательно осмотрел их.

– А мулы чьи? – спросил он дежурного.

– Так что наши, Ваше Пр-во, – бойко ответил унтер.

В это время к генералу подходил уже откуда-то взявшийся начальник команды. Генерал смотрит – поручик, лицо нахальное, цыганское.

– А кони у вас, поручик, хороши, в теле!

Поручик расцвел – от Р. трудно было добиться похвалы.

– Так точно, В. Пр-во!

Генерал пошел дальше и осмотрел каждый закоулок помещения команды, и все хвалил. Видел и китайские «тигровые» одеяла на постелях у

солдат, и козьи подстилки, и изящные резные кальяны из белого металла, чувствовал всюду предательский запах ханшина – и расположение духа его все улучшалось.

Наконец, в отдельном сарайчике он увидел еще двух прекрасных вороных мулов.

– Отлично, поручик! Вы прекрасный хозяин!

– Рад стараться, – щелкнул шпорами цыган, прикладывая руку к козырьку.

– Давно ли вы приобрели этих мулов?

– Дней шесть тому назад, В. Пр-во!

– А почему платили вы за них? – как бы невзначай спросил Р.

Поручик поперхнулся:

– По... 120 рублей, В. Пр-во!

– Что-о? Вы шутите! Кто же во время войны платит такие деньги?!

Теперь красная цена по десять рублей за всякую скотину... Эй! – крикнул генерал. – Кто был с поручиком 5-го числа, когда покупали коней и мулов?

Несколько солдат подбежали к генералу.

– Почему китайцы отдали скот? – спросил Р. у пожилого, лет за 40, мешковатого солдата.

– Да вони вот дали по 10 карбованцев, – отвечал бородатый солдат, радостно улыбаясь при воспоминании о выгодной хозяйственной сделке своего начальника.

Р. приказал солдатам идти в фанзу. Когда около него остались одни офицеры, генерал сделал какое-то маленькое вычисление в своей записной книжке, а потом сказал сконфуженному поручику спокойным, повидимому, тоном:

– Вы, поручик, дали задаток за скот, а остальные 5940 рублей забыли отдать. Потрудитесь сейчас же ехать в Ми-ши-хэ, отдать все деньги и расписку представить мне. Вы... вы – мародер!

Ну, тут генерала прорвало... Чего он только не наговорил поручику! Никогда ни на одного солдата, кажется, он так не кричал, как на бедного цыгана.

– А теперь отправляйтесь, да если я узнаю, что вы сделаете что-нибудь этому солдату-хохлу, то я вас под суд отдам, – закончил Р., выходя, отдуваясь, из усадьбы.

На другой день расписка жителей Ми-ши-хэ в получении общей сложностью 6480 рублей была представлена в Штаб корпуса.

Через три дня Р. снова получил письмо от Хань Дэн-цзюя с приложением подарков – несколько кусков шелка. Хань писал, что пускай Р. не беспокоится за свой левый фланг: ни один неприятельский солдат или лазутчик не пройдет к нам в тыл через его владения.

И он сдержал свое слово... Хунхузы, находившиеся на нашей службе

под начальством полковника М., беспрепятственно шарили в тылу у японцев; а хунхузы, служившие у японцев под начальством Фын Лин-го, ни один проникнуть к нам в обход левого фланга не мог.

Кончилась война. Отдали мы японцам непросимую ими территорию между Кай-юань-сянем и Куань-чэн-цзы, потому что наши генералы и штабные не слыхали о существовании двух ветвей «ивовой изгороди». Японцы требовали по южную, а мы отдали по северную... Признанное за нами наше влияние в Гирине стало улетучиваться вследствие полной неосведомленности и инертности наших заправил, управляющих Маньчжурией из Питера.

Японское же влияние усиливалось все более и более; проведена была Цзи-чанская жел. дорога между Куань-чэнцзы и Гиринем: числилась она китайской, фактически же была японской дорогой. Всюду расплодились японские магазины, банки и всякие другие предприятия.

Понравились японцам также золотые прииски и леса в верховьях Сунгари. Были нажаты соответствующие пружины, и... владельческому князю Хань Дэн-цзюю было предложено обменять его чудные владения на огромный, но бесплодный и болотистый кусок земли между нижними течениями рек Уссури и Сунгари.

Но Хань не согласился.

И все-таки дипломатия настояла на своем. В настоящее время Хань живет в Гирине за западными воротами, по дороге в бывшее русское консульство. Он – богатый человек и имеет генеральский чин. Но влияния он не имеет больше никакого, и его бывшее поместье Цзинь-ин-цзы – теперь уездный город Хуа-дянь-сянь.

*Опубликовано: Шкуркин П.В. Хунхузы: Этнографические рассказы. Харбин, 1924.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 527–549.*

СТАРАЯ ХЛЕБ-СОЛЬ

Лет за пять перед великой войной почти на всех наших лесных концессиях в Маньчжурии усиленно стали пошаливать хунхузы, облагая податью (правда, не очень значительной) китайские артели, работавшие на концессиях, а иногда требовали и от администрации доставления им провизии, одежды, патронов, ружей и т. п.

Оперировали большей частью мелкие шайки, но иногда в том или другом районе собирались такие значительные скопища, что против них посылались и наши отряды, и китайские войска. Наши большею частью возвращались благополучно назад, не имея возможности догнать

заблаговременно предупрежденных хунхузов; китайские же – или били хунхузов, или сами бывали биты.

Однажды шайка хунхузов нагрянула на китайскую артель на концессии С. Рабочие или не могли или не хотели удовлетворить требование хунхузов, ссылаясь на контору, не приславшую муки и прочих припасов.

Тогда главная партия хунхузов ушла из становища, а часть их пошла к конторе, и, подстерегши указанного им китайскими рабочими русского десятника этой артели, схватили его, порядочно избили, так как он сопротивлялся, и повели его к предводителю.

Положение десятника было незавидное: он сопротивлялся, поэтому знал, что его без солидного выкупа, наверное, не выпустят, но возможно, что ему грозит что-либо худшее...

Привели десятника в зверовую фанзу, выстроенную когда-то орочоном или гольдом-охотником, и поставили связного перед главарем, сидевшим на нарах за столом, уставленным китайскими блюдами с едой.

– Тебе почему мука не тащи, – обратился к нему по-русски главарь шайки.

– Контора получай нет, Харбин посылай нет, – отвечал перепуганный десятник.

Хунхуз стал внимательно всматриваться в десятника

– Тебе Федор Ванич?

– Да, это я.

– Тебе мадам Марья? – продолжал спрашивать хунхуз.

– Верно, – отвечал десятник, а сам думает: «И откуда он меня да и Марью знает? И для чего спрашивает? Как бы еще хуже чего не вышло!».

Хунхуз отдал какое-то приказание – и веревки, стягивавшие локти десятника, были тотчас сняты.

– Садись, мало-мало кушай!

Изумленный десятник присел; и так как он ничего с утра не ел, то пересилил страх, принялся за еду, недоумевая, зачем его хунхуз кормит, быть может, перед смертью?

«Хозяин» отдал еще какое-то распоряжение, и тотчас были принесены все вещи, отобранные у десятника, и между прочим призовые серебряные часы, полученные им еще на военной службе.

– Бери твоя, – сказал хозяин.

Десятник все больше недоумевал. Хунхуз улыбнулся: «Тебе мало-мало думай! Четыре года назад тебе работай на Яблони у К.?» И хунхуз назвал фамилию крупного лесопромышленника.

– Работай!

– Тебе помнишь Василия, что рука топор ломайла; другой десятник

говори – твоя нельзя работай, – цуба Харбин! Тебе Марья говори – его Харбин ход – кушай нет, – помирай есть! Марья шибко хорошо лечи – один месяц Василий работай есть!

Десятник вспомнил – действительно был такой случай несколько лет назад, когда один из рабочих китайцев поранил себе руку. Китайца хотели расчитать, но его жена заступилась за рабочего, и, приобретя кое-какие сведения о перевязках во время своей службы сиделкой в больнице, стала сама «лечить» больного. На ее счастье рука быстро зажила без особых осложнений; рабочий скоро ушел, и о нем все забыли.

– Смотри! – сказал хунхуз и протянул левую руку. У основания большого пальца тянулся большой шрам.

Тогда только десятник догадался, кого он видит перед собой, и сладкая надежда на спасение заставила забиться его сердце.

– Ну, – продолжил хунхуз, – бери твоя вещи и ходи домой. Скажи Марья – шибко хорошо! – и он опять отдал какое-то приказание своим подчиненным.

Через несколько минут десятник в сопровождении двух хунхузов-проводников пробирался через лесную чащу кратчайшим путем к своей конторе.

В тот же день вечером предводитель хунхузов потребовал в свою фанзу одного из конвоиров, сопровождавших десятника.

– Ты исправно доставил десятника домой? – сказал он.

– Да, исправно, – отвечал хунхуз.

– Почему же ты не доложил мне по возвращении? – уже строже спросил атаман.

– Мы только что вернулись, да-лао-е! – смутился тот.

– А как у тебя очутились часы десятника?

Хунхуз помертвел; из-за косого борта его куртки предательски высовывался кончик серебряного брелока в виде перекрещивающихся ружей – тот самый, который висел на конце цепочки от часов у десятника.

– Мне... мне... подарил их десятник, – лепетал растерявшийся в конец хунхуз.

– А я что приказал?

– Да-лао-е, великий господин! Я виноват!

Через пять минут хунхуз был расстрелян, а на другой день какой-то китаец вызвал десятника из конторы, отдал отобранные у него накануне одним из его проводников часы и, рассказав все случившееся, быстро скрылся.

Опубликовано: Шкуркин П.В. Хунхузы: Этнографические рассказы. Харбин, 1924.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:

В 10 т. Пекин, 2005. Т. 3. С. 491–493.

БАЙ-ХУА ДА-ЦЗЯН
(ДЕВИЦА-ВОЕВОДА)

В 26 верстах от города Гирина есть старинный городок Улагай. Более тысячи лет тому назад весь этот район, под названием Шу-чжоу, принадлежал царству Бохай, которое простиралось на восток до моря, захватывая наш Уссурийский край и Северную Корею; потом Улагай перешел к киданьскому царству Ляо, а после – к нюйжэньскому (чжуржэньскому) царству Цзинь, от которого ведет происхождение и последняя маньчжурская династия.

Когда Минская династия в Китае клонилась уже к упадку, а великий Тай-цзу Гао хуань-ди (Нурхацзи), основатель священной Да-циньской (маньчжурской) династии уже строил здание маньчжурской империи и проводил почтовые тракты, – то как раз около нынешнего Улагая была поставлена почтовая станция, названная «станцией пограничной башни» (Бянь-тай и чжань).

Затем здесь образовали военно-пахотное поселение и устроили конский завод, а в городке учредили управление главного начальника. А так как в протекавшей мимо городка «Молочной реке» (Сунгари) водилась желтая рыба удивительного вкуса (вероятно, желтощек), осетры и другие породы рыб, которых нет в Китае, то в одном из затонов реки был устроен огромный рыбный садок, из которого ежегодно посылали рыбу в виде подати от Улагая ко Двору.

Улагай еще при начале «священной» династии был окружен земляной стеной, которая и по сейчас даже видна посреди городка и называется гу-чэнь («древний город»).

Давно-давно в этом городе жила замечательная девушка, по имени Бай-хуа (Белый цветок). Она была дочерью маньчжурского гусай-да (по-китайски – тунь-лина, полковника) и с малых лет совсем не походила по характеру на других девочек. Ее не интересовали куклы, наряды и девичьи забавы; играла она только с мальчиками в разбойники, в войну, и сами мальчики выбирали ее всегда своим предводителем.

Подросла девушка, в годы вошла, а о замужестве и слышать не хотела. А когда отец попрекнул ее, что она больше похожа на солдата, чем на женщину, – то она и попросила отца, чтобы он лучше отдал ее в солдаты, чем замуж.

Отец и подумал: чтобы дочка зря не болтала, – пусть-ка на деле узнает житье-бытье солдатское, всю нужду и тяжесть военной службы; авось отучится от всего, что ее полу не пристало.

– Хорошо, – сказал он дочери, – но только ты должна быть простым солдатом, нести всю тяжесть службы, идти, когда потребуется, на войну, и никогда никому и вида не подавать, что ты-девушка и моя дочь.

Бай-хуа с радостью согласилась.

Через несколько дней из задних ворот гусай-даского дома верхом на горячем коне выехал молодой воин в шишаке, толстой ватной стеганой одежде с нашитыми на ней стальными бляхами (что заменяло у маньчжур латы), с кривым мечом у пояса, саадаком за плечами и колчаном, полным стрел.

Это была Бай-хуа, отправленная отцом в дальний гарнизон.

Скоро началась война. Со всех концов Маньчжурии потянулись войска на юг, а с ними и молодой солдат надолго уехал из родных мест.

Прошло несколько лет. Отец Бай-хуа уже не чаял видеть свою дочь – как вдруг однажды ему доложили, что его хочет видеть вновь назначенный гусай-да соседнего гуса (знамени, – полка). Старик вышел принять гостя – и увидел, что это его родная дочь, которая благодаря храбрости и военным талантам быстро дослужилась до звания гусай-да.

Прошло еще сравнительно немного времени, и Бай-хуа так отличилась в беспрестанных войнах, что император подчинил ей все войска Улаского района и даровал ей титул «гусабэ кадалара амбань», или по-китайски «лянь бинь да-цзянь».

Таким образом Бай-хуа, не скрывавшая более своего пола, сделалась начальником своего отца...

Она поселилась в Улагае. Нигде в Маньчжурии не было такого порядка в войсках, и нигде они не были так хорошо обучены, как у Улагайскаго амбаня, потому что солдатам некогда было бездельничать: в самой середине земляного городка Бай-хуа выстроила из глины квадратную башню вышиною в два чжана (10 аршин) и шириною с каждой стороны по четыре чжана. С вершины этой башни она ежедневно наблюдала ученье солдат, а первого и пятнадцатого числа каждого месяца делала смотры. И горе было ленивым или неумелым!

Так как ей, несомненно, оказывал особое покровительство бог войны – Гуань-ди (Лао-Е), то на юг от городской стены она выстроила большой храм в честь этого бога; и в этот храм, называемый Лао-е мяо, она часто ходила молиться и приносить жертвы.

Состарилась Бай-хуа и умерла девицей. Прошло много лет, но народ продолжал особенно чтить выстроенный ею храм, и в день храмового праздника люди собирались сюда толпами со всех окрестных мест.

Случилось, что во времена правления божественного Вэнь-цзунь Сянь-хуань-ди на юге Китая вспыхнуло грозное восстание длинноволосых бунтовщиков.

Восстание широко раскинулось по всей Поднебесной; появились мятежники и на святой земле Маньчжурии. Шайки их быстро разрастались, потому что они захватывали всех не успевших скрыться от них здоровых мужчин и силою заставляли их служить в своих войсках.

Толпы их медленно и неотвратно, как саранча и прилив, надвигались на Гиринь.

Войсками в Гирине тогда командовал цзянь-цзюнь по фамилии Дэ, хороший человек, но плохой стратег, – он собрал сколько мог солдат и, не разузнав хорошенько о силах врага, двинулся ему навстречу.

Недалеко от Улагая противники встретились, и началась битва. Солдаты сражались храбро; но превосходство сил неприятеля оказалось настолько велико, что после целого дня сражения победа, видимо, стала склоняться на сторону мятежников.

Без числа полегло солдат цзянь-цзюня... А когда бунтовщики обошли правительственный отряд с боков и ударили во фланг, – то солдаты не выдержали и побежали. Сам цзянь-цзюнь тоже бежал через Улагай.

Но мятежники уже охватили город с трех сторон, и цзянь-цзюнь увидел, что ему уже нет спасения: кого-кого, а его-то уж не помилуют! Тогда он бросился в храм Лао-Е, обнесенный солидной кирпичной стеной, и спрятался с несколькими из своих приближенных в самую отдаленную постройку храма – в самое святилище.

Он упал на холодный пол перед гигантской статуей Гуань-ди, бесстрастно восседавшей на троне под балдахин, и стал горячо молиться о спасении великому богу войны, покровителю династии, и духу мужественной Бай-хуа да-цзянь, строительнице храма...

В первый и последний раз в жизни так молился Дэ цзянь-цзюнь, но, по-видимому, напрасно... Мятежники напали уже на след и окружили храм плотным кольцом, но держались на пол ли версты от его стены, чтобы не попасть под выстрелы засевших в храме.

Спасения не было: если не приступом, так измором возьмут враги. Много ли съестных припасов может быть в храме?

Вдруг шум, крики и стоны среди мятежников привлекли внимание осажденных. Цзянь-цзюнь поднялся на стену и увидел, что среди мятежников происходит что-то непонятное и необычайное: кони их боятся, давят своих же людей; воины бросаются друг на друга, поражая их на смерть; многие пытаются бежать, но тут же падают...

Скоро в неприятельском стане не осталось ни одного способного сопротивляться врага. Тогда цзянь-цзюнь со своими людьми вышел из храмовой ограды и стал допрашивать нескольких раненых, дрожавших от страха мятежников, – что у них случилось?

Все они согласно показали следующее. Только что осаждающее собралось идти на приступ храма, как вдруг увидели, что внезапно главные ворота храмовой ограды раскрылись настежь.

Из них в карьере выехало бесчисленное количество высоких страшных воинов на очень крупных конях, все в панцирях и шлемах, у каждого в руках большой меч и копьё. А впереди них – на огромном коне

ужас наводящая женщина с распущенными волосами...

Люди эти, как вихрь, налетели на изумленных мятежников, и началось страшное избиение, потому что бунтовщики не могли ни убежать от страшных врагов, ни защищаться. Только немногие из них, бывшие в стороне, бежали и рассеялись во все стороны.

Так защитила Бай-хуа да-цзянь тех, кто обратился к ней за помощью, и наказала дерзких разбойников, осмелившихся нарушить порядок в ее вотчине.

Опубликовано и печатается по: Шкуркин П. Китайские легенды. Харбин, 1921. С. 121-125.

ХРАМ ВЕРНОСТИ

В Южной Маньчжурии на левом берегу большой реки Ляо-хэ есть город Нью-чжуан. Когда-то он стоял при самом устье реки, но теперь наносы этой реки заполнили северный край Ляодунского залива, устье реки отодвинулось от города уже верст на пятьдесят, и поэтому город потерял свое былое значение. Но все-таки в нем гораздо больше солидных зданий и храмов, чем в его преемнике, – городе Инь-коу, выросшем в устье Ляо-хэ.

Между храмами особенным уважением жителей пользуется недавно выстроенный Цзе-сяо-цы.

Обычно храмы в Китае, если они воздвигнуты в честь какого-либо даосского или буддийского божества, могут носить название «мяо». Если храм называется «сы», то это буддийский или ламаиский храм (впрочем, мечети также называются «сы»). Иногда храм носит название «гуань» – тогда он посвящен непременно даоскому божеству. Буддийский женский монастырь носит название «ань». Храм в честь Кун-цзы (Конфуция) называется «вэнь-мяо», т.е. храм литературы.

Но есть еще храмы, носящие название «тань» и «цы». Это храмы, посвященные памяти героев, еще не возведенных в ранг духов покровителей или божеств, и людей недавнего времени, чем-либо прославившихся.

Таким образом, название «Цзе-сяо-цзы» в переводе будет означать приблизительно «Храм вдовьей почтительности». В этом храме, перед изображениями обычных народных божеств, стоят одиннадцать коленопреклоненных фигур, изображающих мальчиков. Если вы спросите сторожа (духовенства при таких храмах не полагается) или соседних жителей, то они расскажут следующую историю, случившуюся в 1900 г., т.е. почти на наших глазах (живых свидетелей-очевидцев вы найдете сколько угодно), и заодно проследите возникновение наивной легенды, причем

последняя так тесно переплетается с истинным происшествием, что невозможно заметить конец одного и начало другой.

В самый разгар так называемого «боксерского» восстания на месте этого храма стояла ветхая фанзенка с полуразвалившейся глиняной оградой и безо всяких пристроек: последние были давно уже разобраны на топливо. На дворе нет ни скота, ни даже собаки; везде пусто, неуютно, запущено... Два квадратных окна в фанзе заклеены дырявой, промасленной бумагой; внутри – голый кан (длинная лежанка), черный стол, скамейка; на столе щербатая чашка. И больше – ничего. Даже обычного сундука нет... Видно, что здесь живут бедняки.

Действительно, в этой фанзе жила бедная, почти нищая старуха со своей снохой, молодой, бездетной вдовой. Тяжело им жилось после смерти сына старухи; все, что осталось после него, они распродали и едва перебивались поденной работой. А много ли найдешь работы в китайском городе? У богатых – свои слуги, а у бедных – свои рабочие руки в семье. Добро бы хоть здесь родные были, а то они, такие же бедняки, все остались в далеком Дэнь-чжоу-фу, в Шань-дуне.

И стала старуха уговаривать сноху, чтобы та опять вышла замуж и хоть как-нибудь согрела ее старость.

Но вдова и слышать об этом не хотела.

– Матушка, – уговаривала она старуху, – как я могу таким поступком оскорбить память моего дорогого мужа, вашего сына!

– Ох, сноха, – плакалась старуха, – я сама это понимаю, да что же делать, когда есть нечего?! Ты-то молода, выдержишь, а разве тебе приятно будет видеть, когда я умру от голода!

Бедная молодая женщина горько плакала и не знала, что ей делать. С одной стороны, уважение к памяти мужа, так высоко ценящееся в Китае, не позволяло ей отказаться от вдовства, а с другой, – долг «сяо», – почтительности к свекрови, заменявшей ей мать, – обязывал ее пожертвовать всем ради старухи...

Наконец, когда они уже два дня совсем ничего не ели, вдова не выдержала слез старухи и согласилась выйти замуж за любого жениха, который согласился бы ее взять...

– А у меня есть уже на примете хороший жених, – вскричала обрадованная старуха и убежала.

Через час она вернулась вместе с мужчиной лет тридцати в потертом платье, грубоватым, но с добрыми глазами. Это был плотник, отличный работник, которого молодая женщина видела раньше раза два.

После обычных приветствий, плотник прямо приступил к делу: где им, таким беднякам, соблюдать все полагающиеся в таких случаях церемонии, – засылать сватов, отправлять заранее подарки и тому подобное! Время не ждет, завтра нужно идти на работу...

– Мне ваша матушка сказала, что вы согласны выйти за меня замуж; я уже заплатил ей полтора ста даяо, – извините, что мало, – у меня больше не было! Хотите ли вы быть у меня хозяйкой?

Молодая женщина заплакала. Она знала, что плотник – отличный мастер своего дела; но она знала также, что он – вдовец и что недавно умершая жена оставила на его руках двух детей – мальчиков, да еще девочку, родившуюся только пять месяцев тому назад...

Но голос и глаза у плотника были добрые, да и выбора ей не представлялось никакого.

Она вытерла глаза и ответила:

– Вы ведь уже за меня заплатили – я не могу идти против желания матушки!

Так как жених и невеста были уже вдовыми, а у плотника дома дожидались три рта, то вся свадебная процедура была упрощена до крайности: плотник взял узелок с тряпьем своей невесты и увел ее к себе домой; тем дело и кончилось, без всяких обрядов.

Старуха осталась одна в пустой, холодной фанзе – и, тут она почувствовала, чем была для нее сноха.

– Как я буду жить? – причитала старуха вслух. – Дорогая моя старшая женушка!⁵ Послушная, кроткая моя доченька! И зачем я, глупая, уговорила тебя бросить меня? На что мне теперь эти деньги?

И старуха засунула сверток с бумажными деньгами в глубокую трещину давно неремонтированной, закоптелой глиняной стены.

Долго еще старуха причитала и плакала, пока, наконец не заснула на холодном кане уже перед рассветом.

А к этой фанзе непосредственно примыкала другая фанза, почти такая же старая, в которой помещалась школа. Разделяла их только одна глиняная потрескавшаяся насквозь стена. В этой школе вместе с учителем жили двенадцать учеников, жители окрестных деревень.

Обыкновенно в Китае одна усадьба от другой, соседней, отделяется прочными кирпичными или глинобитными стенами, и обитатели каждой усадьбы живут своей, совершенно изолированной жизнью. Но в данном случае быстроглазые мальчишки знали все, что делалось у соседок не только вследствие полуразвалившейся ограды, но и потому, что, прильнув ушами к трещинам стены, разделявшей фанзы, они отлично слышали

⁵ С выходом замуж девушка в Китае теряет свое детское имя и взамен него не получает никакого собственного имени, если только она не получила «учебного» имени, которое может сохраниться и после замужества. Как муж, так и старшие родственники могут звать ее «да си-фу-эр», т. е. старшая, или первая жена; в интеллигентных семьях зовут «да най-най» – старшая матушка. Если в семье имеется несколько снох, то жена второго сына будет «эр си-фу-эр» – вторая жена, или «эр-най-най», и т. д.

даже все причитания старухи.

Учитель как раз отлучился из школы по своим делам, что было на руку школьникам. И вот в мозгу одного из них, самого бойкого и испорченного, зародилась нехорошая мысль.

– А что, товарищи, если бы у старухи утащить деньги; вот хорошо бы было!

Все мальчишки хором поддержали скверное предложение; нашелся только один, по фамилии Бай, который протестовал:

– Послушай, Чжан, и вы все: как вам не стыдно, – вы совсем забыли «правила»... Ведь это будет воровство!

Некоторые малыши стали колебаться.

– Ты – глупый, – набросился на него инициатор кражи, нанося ему удар по голове. – Ведь она сама говорила – на что ей деньги? Они ей не нужны; следовательно – мы можем их взять. Разве тебе довольно той еды, которую нам приносят?! А если у нас будет полтора ста дяо, то сколько мы можем на них закупить и груш, и обсахаренного боярышника, и сань-ча-гао (боярышниковой пастилы), и лян-цзы (семена лотоса), и ма-хуа-эрь, и сянь-ю-го-цзы (разные сорта продаваемого разносчиками печенья). Мы целый месяц будем сыты!

Испытание было слишком сильно. Блестящие перспективы, нарисованные маленьким преступником, увлекли колеблющихся – и решено было взять деньги у старухи.

– Не делайте этого, я вас очень прошу, – уговаривал единственный протестант – Бай.

– Ты – девчонка, – закричал на него Чжан. – Ну, если ты так будешь хныкать и учитель что-нибудь заметит, – то мы тебя изобьем, и есть тебе не будем давать, и сань-цзы-цзинь (первоначальная книга, которую изучают школьники) у тебя отнимем, чтобы ты уроков не знал, и будем пачкать твою тетрадь для каллиграфии, чтобы учитель бил тебя линейкой по концам сложенных пальцев, и мы будем тебя каждый день бить. Вот тебе – пикни только!

Зная, что все эти страшные угрозы мальчишки легко могут привести в исполнение, Бай с горем отошел от них и забился в угол, а остальные стали вырабатывать план действий.

– Кому же идти за деньгами? – спрашивали некоторые.

– Конечно Чжану, – раздались голоса. – Он – самый храбрый; да он ведь и выдумал это дело!

– Ладно, – сказал Чжан. – А кто же будет сторожить?

– Я, я, – раздались голоса.

– Ну, так вот что; только чур, меня слушать, – распорядился Чжан. – Завтра рано утром учитель будет еще спать в своей комнате (легкие перегородки в углу кана часто отделяют маленькие каморки от остального помещения), – он ведь крепко спит, когда поздно возвращается; мы выйдем

потихоньку из дома, как будто по своей надобности. Ты – станешь у дверей и дашь знак в случае, если учитель проснется; ты – станешь у ограды и передашь тревожный сигнал, если он выйдет; а ты будешь у дверей старухи зорко следить за товарищами. Я же один пойду в комнату к старухе и найду деньги.

Мальчики с уважением смотрели на «храбреца».

– А если старуха проснется? – спросил один из мальчуганов. – Тогда я... я ее попрошу дать мне воды, – скажу, что у нас вся вышла!

Только что школьники распределили роли, как один из учеников, стоявший у двери на стороже, тревожно объявил:

– Сянь-шэнь лай, сянь-шэнь лай, – т. е. пригвожденный (учитель) идет.

Все прыснули на свои места на кане, и в фанзу тяжелой походкой, красный и потный, вошел учитель. Получаемая им шу-сю («пучок наставлений», или «связка денег за ученье», – так называлась плата учителю) была, по обыкновению, так мала, что ему пришлось, хотя это и не разрешалось, подрабатывать на стороне, и он давал уроки сыну богатого купца, жившего на другом конце города. Понятно, что он всегда торопился с урока домой в школу и сильно уставал. Занятый своими мыслями, учитель во время ужина не заметил ни таинственного перешептывания многих учеников, ни убитого вида Бая.

На другой день, едва рассвело, Чжан уже был на ногах и растолкал трех своих товарищей. Тем очень не хотелось покидать теплых постелей, да и участие в рискованном предприятии пугало их, но Чжан строго приказал им одеваться и выходить, и мальчики не посмели его ослушаться.

Разместив сторожей так, как было предположено ранее, Чжан тихонько подошел к дверям соседки... И ему на миг захотелось, чтобы она была заперта: тогда волей-неволей пришлось бы отказаться от выполнения рискованного предприятия и вместе с тем «не потерять лица» перед товарищами...

Но дверь не была заперта и без скрипа подалась, когда мальчик потянул ее к себе.

Чжан вошел в фанзу и в первый момент не мог ясно разглядеть, есть ли кто в комнате. Но через минуту, когда его глаза привыкли к царствовавшему в фанзе полумраку, он увидел старуху, крепко спавшую на кане, на подложенной под себя куче лохмотьев.

При виде ужасающей нищеты, окружавшей его, Чжану на миг сделалось стыдно; но мысль о насмешках товарищей заставила его подавить в себе доброе чувство, и он с сильно бьющимся сердцем стал подходить к старухе. Она крепко спала ногами к стене, а головою внутрь фанзы, положив голову без всякой подушки прямо на деревянный брус, окаймлявший край кана.

«Где же деньги? – промелькнуло в голове Чжана. – Наверно, она

положила их под себя; как достать, их, не разбудив женщины?».

Но в этот момент глаза его упали на что-то белевшееся на стене, как раз над ногами спящей. Присмотревшись внимательнее, он увидел, что это – сверток бумаги, засунутый в трещину глиняной стены.

Неясная догадка мелькнула в уме Чжана; он влез на кан и осторожно вытащил сверток из щели.

Спуститься с кана и развернуть сверток – было делом полуминуты.

О, радость! В свертке оказались деньги – те самые полтораста дяо, которые плотник уплатил за невесту...

Чжан взглянул на старуху – она по-прежнему крепко спала. Бесшумно, но быстро направился он к двери и открыл ее. Уже без мер предосторожности он перебежал двор, перебрался через ограду и вместе со своими товарищами-сторожами был уже через минуту, раздетый, на кане в своей постели, притворяясь спящим.

Прошло немного времени. Учитель проснулся и стал будить учеников; четверо из них, в том числе Чжан, спали особенно крепко...

Наконец все встали, и школьная жизнь потекла своим чередом. Проснулась, наконец, и старуха, удивленная тем, что не слышит около себя обычного мягкого голоса своей снохи. И вдруг вспомнила она то, что случилось вчера: теперь она уже совсем-совсем одинока! И только мысль о деньгах согрела ее сердце: несколько месяцев не будет она, по крайней мере, голодать...

«Что же это я! – спохватилась старуха. – Ведь сегодня молодые, по обычаю, должны прийти благодарить меня, и я обязана их угостить. Я у меня в доме ровно ничего нет. Пойду-ка я скорее, куплю сяо-ми-цзы (чумизы) и хоть немного свинины!

И старуха стала быстро одеваться.

«А сколько взять денег? Пять дяо будет, конечно, за глаза довольно!».

И старуха встала на кан, чтобы достать деньги. Что это? Денег нет! Упали, конечно, на кан?..

Но ни на кане между тряпьем, ни в глубине всех щелей в стене и нигде в фанзе денег не оказалось ни малейшего следа.

«О я, несчастная! Покинутая всеми, навек одинокая, нищая, ограбленная духами, так как людей здесь не было, осрамленная, – я жить не могу!

Старуха встала на кан, взяла пояс, перекинула его через балку, сделала петлю, всунула в нее голову – и прыгнула с высокого кана вниз...

Настал полдень. Плотник с молодой женой давным-давно уже встали; она сварила завтрак, накормила мужа и детей, а он успел уже сходить в лавки и купить те подарки, которые, по обычаю, полагалось сегодня отдать его названной теще, – новую одежду и серебряные вещи: кольцо, браслет

да головную шпильку. Правда, плотник истратил все свои деньги, скопленные за много лет тяжелым трудом; но ему не жаль было их. Он видел, что получил хорошую, добрую жену; теперь будет на кого оставлять дома детей. А деньги – деньги что? Пустяки! Он скоро заработает их больше прежнего...

– Ну, жена, – сказал плотник, – нам с тобою одновременно невозможно идти на поклон к теще. Иди сначала ты, а я останусь с детьми; а когда ты вернешься, – схожу я.

Молодая женщина быстро собралась, взяла купленные мужем для старухи подарки и пошла к своему старому пепелищу.

«Что-то поддельвает матушка без меня? – думала она дорогой. – Вероятно, тоскует, бедная, по мне? И кто теперь без меня будет за ней, старой, ухаживать? Как только нам удастся нанять помещение побольше, чтобы всем можно было разместиться на кане, – непременно попрошу мужа взять матушку к себе!

Вот и старая фанза. Дверь, против обыкновения, затворена и никто ее не встречает...

Женщина вошла в фанзу. О, ужас! Длинное черное тело висит на балке...

С диким воплем бросилась она к трупу, обнимая и прижимая к себе его ноги.

– Матушка! – кричала она. – Прости меня, я теперь вижу, что ты заботилась только обо мне. Ты не хотела, чтобы я переносила нищету, ты меня устроила, но ты не могла жить без меня. А я, неблагодарная, подлая и перед твоим покойным сыном, и перед тобою, – я думала только о собственному благополучии!.. Вместо того, чтобы всю свою жизнь посвятить твоей старости, я, преступница, пошла к другому человеку. Нет, матушка, не думай, что ты останешься одна; я теперь знаю, что я должна сделать: я тебя и «там» найду и буду за тобой ухаживать!

И тут же исступленная женщина повесилась рядом со старухой.

Прошло часа два. Плотник ждал-ждал жену – нет ее! Что случилось, что могло ее задержать так долго? Ведь завтра ему нужно идти на работу, а тещу названную он должен посетить непременно сегодня же, иначе он не выполнит «церемоний», и сраму тогда не оберешься... Да и детей кормить надо.

Думал-думал плотник, и, приказав старшему сыну хорошенько смотреть за крошкой-сестрой, он быстро зашагал к дому старухи.

Старый дом встретил его неприветливо – никто не вышел навстречу, хотя дверь и была отворена...

Плотник вошел внутрь – и то, что он увидел там, поразило его как громом.

Он сел на кан и долго смотрел на два страшных, длинных, висящих тела, из которых одно только что было его кроткой, любящей женой, тем фундаментом, который он хотел подвести под свой развалившийся семейный очаг...

«Итак, – думал он, – нет у меня ни денег, ни жены. Не вмешайся я в дела этих женщин, – обе они были бы живы. Значит, я в чем-то виноват, хотя в чем – не знаю... Видимо, «там» за какие-то грехи в прежних существованиях (большинство китайцев верит в перерождения) не допускают меня к счастью и благополучию. С «ними» ведь не поспоришь; следовательно, и противиться нечего!»

Плотник встал, медленно снял с себя пояс, сделал петлю и повесился рядом с женой.

Школьники рядом все видели и все знали, что творится в старой фанзе. Ужас их обуял и все нарастал по мере увеличения числа трупов под соседней крышей. Ведь если одна из имеющихся в каждом человеке трех душ даже обыкновенного покойника любит бродить около места своей смерти, то души самоубийц, конечно, еще более привязаны к своему телу и к месту своей земной жизни, и они непременно отомстят виновникам своей смерти...⁶

Наконец учитель заметил, что с детьми творится что-то неладное. Он стал расспрашивать, и мальчики указали ему на соседнюю фанзу.

Дали знать властям. Сделали краткое расследование – случай казался необычайным, но чрезвычайно ясным: очевидно, старуха, чтобы избавить сноху от нужды, выдала ее замуж, а сама не могла перенести одиночества и нищеты и повесилась. Молодая женщина, считая себя виновной перед свекровью, тоже покончила с собой. Муж, в свою очередь, считая себя косвенной причиной двух смертей, – также добровольно ушел из этого мира...

Случай был настолько «красивый» с точки зрения китайской этики, что местный начальник тотчас же послал за детьми плотника и взял их к себе на воспитание, а сам в тот же день послал губернатору подробное донесение об этом происшествии, прося его довести обо всем до сведения Сына Неба и разрешения построить арку в память «трех верных своему долгу».

⁶ Три души человека: хунь – подходит к нашему понятию о душе; лин – астральное тело; ци – жизненная сила. Хунь передается отцом и после смерти человека сливается с высшим началом; лин передается матерью и после смерти долго не покидает мертвого тела, обитая или в гробу, или поблизости могилы, например, на деревьях, окружающих могилу, и т.п.; ци – в момент смерти исчезает. Смерть собственно и есть исчезновение ци. Ци есть и у животных, и у растений. После смерти человека душу его символически переносят в дощечку с именем покойного, которая хранится в домашней поминальнице.

Настала ночь того же дня. Ученики не могли спать – они нервничали, ругались и плакали. Учитель тоже не мог заснуть – было невыносимо душно...

Вдруг раздался удар грома; за ним еще и еще, то дальше, то ближе, как будто тысячи орудий разных калибров со всех сторон открыли канонаду по ветхой школе...

Гроза продолжала свирепствовать, не желая удаляться от этого места, и длинные, судорожные цепи молний вились, казалось, кругом над самой крышей.

Наконец учитель рискнул выйти из школы, чтобы посмотреть, не прояснится ли небо с какой-либо стороны.

Лишь только он вышел, в ту же минуту громовые раскаты прекратились... Но как только он вернулся в дом, – гроза снова забушевала. И опять, стоило ему выйти – удары молота Лэй-гуна, бога грома, и трезубца его помощника Сяо-гуаня снова прекращались...

Тогда учитель увидел, что дело не так-то просто, как казалось сначала. Он поднял всех учеников с постели и сказал:

– Кто-то из нас совершил преступление, и теперь богиня молнии Шань-дянь нянь-нянь, сверкая зеркалами в обеих руках, и Лэй-гун требуют, чтобы виновные вышли к ним на суд... Пойдемте все на двор – пусть они увидят, что между нами преступников нет!

Все ученики, хотя дрожащие и испуганные, оделись и хотели выйти на двор, кроме одного. Он забился в угол, плакал и умолял, чтобы его не выводили на двор. И это был – Бай.

Пораженный учитель стал его допрашивать, почему он, бывший всегда примерным и послушным учеником, теперь не хочет слушаться?

– Я – великий преступник, ответил мальчик. – Я знал, что ученики хотят украсть деньги у старухи, и я уговаривал их не делать этого, – но не смог уговорить. Значит, я во всем виноват, и теперь Лэй-гун хочет меня казнить.

Учитель расспросил его подробнее, и тут все дело раскрылось.

– Если ты виноват, – сказал учитель Баю, – то ведь все равно Лэй-гун тебя найдет; Чэнь-хуань, блюститель города, тебя обвинит, а Пань-гуань, потусторонний судья, присудит тебя к наказанию. От них ты никуда не спрячешься. Как же ты можешь подвергать других учеников гневу бога?! Ты должен выйти вместе со всеми!

Бай с плачем согласился, и все ученики вместе с учителем вышли во двор.

Но чуть только они показались, как раздался необычайный удар грома над самой их головой...

Учитель и Бай были оглушены и отброшены в сторону. Когда они пришли в себя, то увидели распростертые на дворе трупы всех остальных

одиннадцати учеников. Грозы не было, только пахло серой...

Местному начальнику пришлось к посланному ранее донесению писать еще дополнение. Скоро из Пекина вышел указ о том, чтобы на месте старой фанзы построить не просимую арку – «пай-лоу», а целый храм – Цзе-сяо-сы.

Где-то справедливость все-таки существует; жаль только, что она поздно обнаруживается. А возмездие за свои дела каждый человек получит, если не в этом, так в следующем теле...

Опубликовано и печатается по: Шкуркин П. Китайские легенды. Харбин, 1921. С. 139-151.

СПРАВЕДЛИВЫЙ

Давным-давно это было, может быть, во времена Чжоу, – а может быть, и еще раньше. Правил тогда всей землей меж четырьмя морями хороший, добрый император, который раз в пять лет объезжал Поднебесную, собирал везде песни народные, чтобы по ним судить – как и где живет его народ, сам творил суд и расправу. Сколько несправедливых приговоров уничтожил император, скольких невинных спас, сколько слез высушил, – об этом только на том свете записано...

Но не может человек жить без ошибок – случалось их делать и императору: то оправдает речистого виновного, то накажет не умевшего оправдаться невинного. И мучился этим император, потому что не было у него хорошего советника.

Была у императора жена: такая красавица, каких еще и не видано было. Любил ее император пуще самого себя. Думал император, что лучше его жены человека на свете нет. Но красивая кожа бывает и у змеи. Была у императрицы родня большая. Скоро эта родня заняла во всей империи все важные места. И застонала земля от поборов и зла... Раз услышал император, что далеко, где-то на северо-востоке, около Чао-сяньи (Кореи), живет в горах мудрый разумом и простой сердцем человек по имени И, который во всю свою жизнь не допустил никакой неправды. Обрадовался император – вот кого ему надо! Послал за ним, и скоро праведный И был уже в столице.

Привели его к императору, – и удивился последний, что И ничуть его не боится, а говорит с ним так же, как и с последним слугою...

Обрадовался император – наконец-то он нашел такого советника, который никогда не покривит душой! Дал ему император титул ближнего

советника, поместил его во дворец и советовался с ним по всякому делу.

Раз и говорит император своему советнику, Справедливому И:

– Боюсь я, что не вся правда до меня доходит, не всех обиженных чиновники до меня допускают. Так это или нет?

– Да, государь, это так!

– Как же горю помочь?

– Прикажите, государь, поместить перед воротами дворца ящик с прорезью, который никто, кроме вас, не смел бы открывать; да еще поставьте большой барабан. Пусть всякий обиженный приходит, опустит бумагу со своей жалобой в ящик и ударит в барабан. Вы услышите, возьмете прошение и рассудите по справедливости.

Император так и сделал; и такие же барабаны приказал поставить перед управлением каждого начальника по всей империи.

Пошла слава еще больше про милосердие и доброту императора, и люди благословляли справедливого советника.

Народ уже с раннего утра толпился и шумел у ворот, стараясь протиснуться к ящику и барабану, ожидая царского решения. Шум и гам, как на ярмарке, стояли перед дворцом каждый день...

Надоело это императрице. И приказала она, чтобы дворцовая стража хватала каждого подходящего к ящику с прошением и предварительно давала ему пятьдесят ударов бамбуками, – а потом уже разрешала опустить прошение в ящик и ударить в барабан.

Количество жалобчиков сразу уменьшилось вдесятеро...

Узнал об этом Справедливый И и говорит императору:

– Нехорошо, государь, твоя императрица сделала – она народ от тебя отгоняет.

Огорченный император пошел к императрице и передал ей слова Справедливого.

– Нет, мой супруг и повелитель, – отвечала императрица, – ваш И на этот раз неправ. Помните, какой неприличный шум стоял перед дворцом, хуже чем на базаре. Вы целый день с утра до вечера разбирали жалобы, и так уставали, – что больше ничего делать не могли. И сколько жалоб оказывалось неосновательными! А теперь количество жалоб уменьшилось в десять раз, и у вас есть время на другие государственные дела – неосновательных жалоб почти нет... Правосудие же от этого не страдает, потому что каждый человек, желающий доказать правоту своего дела – конечно, согласится подвергнуться ничтожному предварительному телесному испытанию. Теперь судите сами, кто прав, – я или советник И?

Слова эти были сказаны таким мелодичным и убедительным голосом, сопровождалась таким нежным взглядом – что мудрено было им не поверить...

Новый порядок приема прошений остался в силе, несмотря на

протесты И.

Но постепенно к И стали доходить жалобы и другой дорогой, не через царский ящик; сместил император, по докладу И, всех дурных чиновников и наказал их, несмотря на заступничество императрицы. Не знал император того, что все наказанные были в родстве с тем родом, из которого происходила императрица, или их близкие и слуги. Вот почему прямым, обычным путем обиженные боялись на них жаловаться.

Возненавидела императрица Справедливого, но ничего сделать не могла: очень уж император уважал и почитал И за его справедливость.

Все шло, казалось, хорошо. Но была у императора тайная язва, боль от которой не могли уничтожить ни благодарность народа, ни мудрость И, ни любовь императрицы. Эта боль была – отсутствие сына-наследника, которому он мог бы передать после себя свое царство.

Долго хранил император свое горе про себя – и наконец посоветовался с И.

– Государь, – ответил советник, – и закон, и обычай, и здравый разум говорят одно: если дом из глины не крепок – выстройте его из камня; если в вашем саду на одном дереве нет плодов – ищите их на другом...

– Я и сам думал об этом, – сказал император, – но не хотел бы обидеть императрицу!

– Императрица останется по-прежнему императрицей и первой женой и никаких своих привилегий не потеряет. Но государыня и сама поймет, что ее дело – частное, а ваше – государственное... Дайте, государь, известный срок государыне, и если она по истечении его не даст вам надежды, – то найдите государыне помощницу!

Неизвестно как, но только императрица каким-то образом узнала или догадалась о совете И. Тогда она еще больше возненавидела его...

Но вскоре судьба ей улыбнулась. Она стала полнеть... Обрадовался император, потому что он действительно искренне и глубоко любил свою прекрасную жену.

Прошло немного времени – семейные дела императора шли как нельзя лучше. Но одно опасение тревожило императора: а вдруг у него будет не сын, а дочь?

Тревога его все усиливалась – и наконец он решил послать за великим врачом, который по одному пульсу мог определить любую болезнь. Узнать же пол еще не родившегося ребенка – для него, конечно, не составит никакого труда...

Врач прибыл. Чтобы не смущать его своим присутствием, не только император не присутствовал на приеме врача императрицей, – но и ни один мужчина. Императрица приняла врача не в парадных комнатах, а в своей личной спальне и в присутствии только нескольких своих любимых придворных дам.

Император очень боялся, будут ли соблюдены все приличия при необычайном появлении мужчины на женской половине.

Поэтому сам император, никого не предупредив, направился тайным ходом на половину императрицы. Он знал, что в одной нише этого хода есть секретное окошечко в спальню императрицы, так замаскированное со стороны комнаты украшениями, что о существовании его ни одна из дворцовых женщин не знала.

Император подошел к окошечку, приоткрыл закрывавшую его крышку и прильнул глазом... Перед ним открылась необычная картина. Комната была перегородена большой ширмой. По одну сторону ширмы на коленях стоял врач, а около него в простых платьях – две или три приближенные дамы императрицы. По другую сторону ширмы сидела любимая дама его жены в платье императрицы. Она протянула руку на ту сторону ширмы, и врач через толстую шелковую материю щупал пульс, не осмеливаясь прикоснуться к обнаженной «августейшей», как он думал, руке.

А императрица также в простом платье служанки стояла в стороне...

Через несколько времени врач кончил осмотр. Тогда дама, одетая императрицей, отдала какое-то распоряжение, – и, о удивление! – императрица сама подошла к врачу и протянула ему руку... Врач взял ее, пощупал пульс, сказал что-то, – и затем его отпустили.

Император вернулся к себе и приказал позвать врача:

– Ну, знаменитый врач, как здоровье государыни?

– Великий государь, нет сомнения, что уже три месяца как вы являетесь отцом.

– Кто же у меня будет – сын или дочь?

– Государь, я могу ошибиться; я даже, наверное, ошибусь, но я думаю, что будет, к несчастью, – дочь!

К удивлению врача, эта неприятная новость, по-видимому, не очень огорчила императора. Он спокойно спросил у врача:

– А кроме императрицы, вы больше никого не осматривали?

– Да, государь, – ответил врач, – я по приказанию императрицы осмотрел потом одну из придворных дам, которая говорила, что она тоже готовится дать жизнь ребенку.

– Ну, и что же вы нашли?

– Нет сомнения, государь, что эта дама сильно заблуждается. У нее слишком большая печень; поэтому у нее никогда не могло быть ребенка!

Император вздрогнул и быстро спросил:

– Ну, а после, будут ли у нее дети?

Врач уловил движение императора и решил, что это – одна из его любимых; поэтому он поспешно ответил:

– Конечно, конечно, могут быть, даже наверно могут быть... Только

ей никогда не нужно видеть другую женщину в интересном положении; тогда и у ней может быть ребенок!

Император щедро наградил врача и отпустил его, а сам затем долго ходил задумчивый и грустный.

Неизвестно, что он сказал императрице; но только она после этого перестала полнеть, а ее любимая дама, наряжавшаяся в ее платье, – исчезла из дворца.

Тогда ненависть к И заполнила все существо императрицы. Потому что кто же, кроме него, мог узнать и донести императору о том, что она хотела разыграть комедию материнства и объявить своим собственным того ребенка, который должен был родиться у ее придворной дамы?!

Перестала императрица гулять, стала плохо есть и спать, часто стала плакать и бить не только свои безделушки да драгоценные вазы, но даже и своих придворных дам. Наконец она совсем заболела и слегла.

Император встревожился – хотел опять послать за знаменитым врачом. Но императрица наотрез отказалась:

– Каких хотите врачей зовите – только его не хочу!

Приходили врачи и мудрецы, давали советы и лечили императрицу.

Но ничего не помогало, и ей делалось все хуже и хуже...

Наконец императрица говорит мужу:

– Государь! Я хочу с вами проститься, потому что я скоро умру!

Император был в отчаянии:

– Неужели же никто во всей империи не знает, как вылечить твою болезнь?

– Нет, есть способ; но только вы, государь, не пожелаете его применить!

– Нет ничего на свете, – горячо возразил император, – чего бы я ни сделал, лишь бы ты была здорова.

– Ну хорошо, – ответила императрица, – я знаю, что вы своему слову не измените... Сегодня во сне мне явился Великий Дух и сказал: «Если хочешь быть здоровой – выпей кровь из сердца Справедливого И». Я знаю, я чувствую, что если вы, государь, дадите мне это сердце – я тотчас же выздоровею, а не дадите – я скоро умру!

Пораженный император ушел от жены, позвал Справедливого, которого он по-прежнему высоко ценил, и рассказал ему все, что сказала императрица.

– Государь, – спокойно сказал И, – если мое сердце может принести пользу государыне, – берите его!

Долго колебался император; но, наконец, видя, что жене делается все хуже и хуже, – решился... Справедливому вырезали сердце – и горячее, трепещущее, принесли императрице...

И действительно: императрица тотчас же выздоровела и сделалась

еще веселее, еще краше, чем прежде.

А Справедливый? Он не умер. Правда, с тех пор никто больше его не видел в столице; но у нас здесь в Чань-бо-шаньских горах говорят, его потом видали часто, хотя он был и без сердца. И многим он помогал, кто к нему обращался; но всем – разное: одному больше, другому – меньше, а некоторым и совсем отказывал, даже в совете, хотя бы у них была большая нужда: это в том случае, если они не заслуживают помощи. И делал это Справедливый И так верно, так точно, так справедливо, – как не делал даже раньше, когда жил в столице...

Умер император, умерла императрица; все о них позабыли. А барабаны, что поставил И, – остались; их и посейчас можно видеть у ворот каждого ямыня. Но, чтобы они своим грохотом не слишком беспокоили наших милостивых начальников, их теперь делают из цельного камня.

Вы спрашиваете, почему И стал еще справедливее, чем раньше? Да потому, что совершенная справедливость может существовать лишь при отсутствии сердца.

*Опубликовано и печатается по:
Шкуркин П. Китайские легенды. Харбин, 1921. С. 113-120.*

**Николай Александрович
ЩЕГОЛЕВ**
(1910-1975)



Поэт и журналист Николай Щеголев родился 7 июня (по ст. ст.) 1910 г. в городе Харбине в семье железнодорожного служащего. Окончил Коммерческий колледж ХСМЛ, в совершенстве владел английским языком, имел законченное музыкальное образование по классу фортепиано. Активный участник харбинского литературного объединения «Молодая Чураевка», в сезонах 1930-32 гг. – председатель литературной студии. Печатался в газете «Чураевка» (автор многих передовых статей, стихов, критических отзывов), журналах «Рубеж» (Харбин), «Сегодня» (Шанхай), «Парус» (Шанхай), «Числа» (Париж). В 1937 г. переехал в Шанхай, зарабатывал журналистикой. Вместе с Н. Петерецем был поначалу членом Национального союза Молодого поколения (младороссы), затем – активным членом Союза Возвращенцев. Редактировал газету «Родина», «Новый путь», журнал «Сегодня». Использовал (предположительно) псевдонимы «Борис Вершинин», «Николай Зерцалов», «Влад Ресницын», «Н.З.» и др. Член шанхайского литературного объединения «Пятница». Участник альманахов и сборников «Багульник» (Харбин, 1931), «Семеро» (Харбин, 1931), «Понедельник» (Шанхай, 1931), «Якорь» (Берлин, 1936), «Излучины» (Харбин, 1935), «Стихи о Родине» (Шанхай, 1941); автор сборника просоветских статей «Возвращение» (1945, совм. с Петерецем); редактор и составитель сборника «Остров» (Шанхай, 1946). Собственного сборника стихов не выпустил. В 1947 г. репатриировался в СССР. Жил в Свердловске, работал учителем английского языка в одной из школ Уралмаша, затем отучился на филологическом отделении Свердловского государственного университета, работал лектором в Свердловской филармонии, выступал с лекциями по творчеству В. Маяковского, Ф. Достоевского, А. Блока, С. Щипачева, Беранже и др. Скончался 15 марта 1975 г. от инфаркта.

Ист. и лит.:

Бакич О. Сегодняшний взгляд на журнал «Сегодня» // Новый журнал. 2005. № 238.

«Будто нет расстоянья и времени нет...» (Из писем поэтов, бывших эмигрантов, к А. В. Ревоненко). Хабаровск, 2006. 108 с.

Забияко А.А. Николай Щеголев: Харбинский поэт-одиночка // Новый журнал. 2009. № 256. С. 310-324.

Литературное зарубежье России. Энциклопедический справочник. М., 2006. С. 584.

Синкевич В. «Остров» и его редактор // Новый журнал. 2009. № 256. С. 333-335.

Хисалутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 347.

Забияко А.А. «Мои это годы, моя это жизнь и судьба!» (Жизнь и творчество поэта Николая Щеголева в контексте судьбы «выскакивающих поэтов» дальневосточного зарубежья) // Щеголев Н. Сочинения / сост. Вл. Резвый, А. Забияко. М., 2014.

Щеголев Н. Сочинения / сост. Вл. Резвый, А. Забияко / Под ред. Вл. Резвого. Послесловие А.А. Забияко. М., 2014.

Забияко А.А. Николай Щеголев: замысел неопубликованного романа «Перекресток» // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 7. / Под ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой. Благовещенск, 2017. С. 150-162.

Забияко А.А. «Черт с ними, а я до последнего слова выскажусь»: заметки о неопубликованном архиве харбинского поэта Н.А. Щеголева // Русская литература XIX – XXI веков: метаморфозы смысла. Юбилейный сб. науч. тр., посвященный Н.И. Якушину и В.В. Агенсову. Москва, 2017. С. 146-161.

ПОЛДЕНЬ

Стихотворение в прозе

В этот час в столовой сидела квартирантка, Роза Борисовна, розовощекая пухлая полуполька, стремительно вспыхивающая от взглядов мужчин, причем кровь нескоро отливала от лица. И, облокотясь о

покоробившийся стол, пренеприятно с закрытым ртом напевала романс, один из тех романсов, которыми создают слезливое, обманчиво творческое настроение публике откормленные, «упитанные – как сказал бы Маяковский – баритоны», притворяющиеся Вертинским, и, хотя обличье не так легко подделать под испитого Вертинского, они все-таки тщатся. Стягивают выдающиеся животы, обводят вокруг глаз синие круги и поют с возможной тоской.

В этот час лирик Полозов находился за письменным столом в комнате рядом со столовой и выстукивал на машинке очередную песню. Пение блондинки – поверьте! – содействовало ему в творчестве, хотя ни тени проникновенности не было в нем.

В этот час холмы железных крыш высматривались золотыми от солнца, и беллетрист, миновавший дом, где гнусила блондинка, прислушался к пению, шедшему сквозь раскрытую форточку и сказал себе мрачно: «За что я, несчастный, должен все подхватывать зорким своим взором, слышать чутким своим слухом все, что выбрасывает мир? Мне и этот зной раскаленных крыш, и этот гнусный голос, и стрекотание пишмашинистки!...». Он не знал, что это пела эффектнейшая, пышная полуполька – вдохновительница, греза поэта, что стрекотал на машинке проникновеннейший лирик эпохи, который от многочисленных припадков вдохновения нередко побаивался признаков ранней старости, подходил к зеркалу, разглядывал со скорбью медленно, но верно прокладывающиеся морщинки на лбу и у глаз и вновь шел к машинке стрекотать, отдаваясь тревожному вдохновению. Только 20 лет было ему, и он писал:

Или это старость перед
Смертью,
Перед смертью в двадцать лет?

Блондинка внимала стрекотанью и вздыхала – зачем он избегает ее? – и ненавидела неритмичный треск клавиш.

Отсюда – и ее заунывное пение об уходящих годах, отсюда – и пронзительное вдохновение лирика, и – кто знает? – не отсюда ли крыши так золоты, так знойно, такое синее небо и такая тоска о существовании мира, что хочется броситься в реку, зарыться головой в желтые волны и при этом не уметь плавать.

Впервые опубликовано и печатается по: Молодая Чураевка. 1932. № 2. С. 3.



**Михаил Васильевич
ЩЕРБАКОВ**
(1891-1956)

Прозаик, поэт и переводчик Михаил Щербаков родился предположительно в городе Москве в 1891 г. (по другим сведениям – в 1890 г.) Окончил физико-электротехнический институт Императорского Московского технического училища по специальности «физика». Работал в подмосковном научно-исследовательском институте физики. В 1914 г. был мобилизован, направлен во Францию. Служил в авиации. В начале 1920-х гг. переехал во Владивосток, где начал заниматься литературой. Редактировал монархическую газету «Русский край» и «Крестьянскую газету». В 1922 г. эмигрировал в Китай, жил в Шанхае. Служил во французской полиции, занимался журналистикой, издательской и переводческой деятельностью, литературой. Автор поэтических книг «Vitraux» (Иокогама, 1922), «Отгул» (Шанхай, 1944); сборника рассказов «Корень жизни» (Шанхай, 1943), повести «Черная серия» (Шанхай, 1931), фантастических романов «Токсин любви» и «Бунт машин». Писал эссе, рецензии, воспоминания; переводил с китайского. В 1930-е гг. возглавлял содружество русских работников искусства «Понедельник». С 1933 г. входил в правление литературно-художественного объединения «Восток». Печатался во многих дальневосточных журналах и альманахах («Врата», «Понедельник», «Багульник», «Феникс», «Шанхайская заря» и др.), а также в ряде американских и европейских изданий («Дымный след», «Современные записки», «Балтийский альманах»). После окончания Второй мировой войны М. Щербаков уехал из Китая во Вьетнам, жил в Сайгоне, содержал фотостудию, давал частные уроки, читал лекции по фотографии. Там он заболел душевным расстройством и, как французский гражданин, в начале 1950-х гг. был отправлен лечиться во Францию. Выйдя из психиатрической больницы в 1955 г., поселился в предместье Парижа, Булони. 3 января 1956 г. во время очередного приступа душевной болезни писатель покончил с собой, выбросившись из окна.

Ист. и лит.:

Колесов А. Черная серия Михаила Щербакова // Щербаков М. Одиссеи без Итаки: Повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2011. С. 3-14.

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник. М., 2006. С. 584-585.

Перелегин В. Два полустанка. Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни Харбина и Шанхая. Амстердам, 1987.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 348.

Забияко А.А., Забияко А.П., Ливошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронта. Благовещенск, 2015. 465 с.

Забияко А.А. Ментальность дальневосточного фронта: культура и литература русского Харбина. Новосибирск, 2016. 447 с.

ИРИНАРИ

— Черт бы их драл!.. «Покупатели» тоже!.. – буркнул Петр Фаддеич, когда наружная дверь с золотой надписью «Бостон» захлопнулась вслед за похожим на попугая джентльменом и длинной англичанкой с тонкими, как вязальные спицы, щиколотками.

Петр Фаддеич еще раз блеснул кровавым александритом, бережно завернул его в папиросную бумажку и, подняв на лоб очки, пошел запереть дорогой камень в несгораемую кассу.

Я любил заходить в «Бостон». Петр Фаддеич что-то записывает в гроссбук на конторке в задней комнате, около одной из внутренних витрин сидит перед «хибачи» – грелкой молоденькая Камитаи Сан и мурлычет высоким женским фальцетом свою заунывную японскую песенку, а я тем временем роюсь во всяких яшмовых божках, аметистовых печатках, старинных эфесах для мечей и лаковых коробочках, – словом, во всем том, чем торговал Петр Фаддеич и что для краткости называл «барахлом».

По стенам же магазинчика стояли большие идола – золотые, с опавшей местами позолотой, из-под которой проступал кирпично-красный лак, с ликами, то сведенными зверской гримасой, то улыбающимися застывшей вековой улыбкой. Этот товар Петр Фаддеич определенно недолюбливал и очень радовался, когда какая-нибудь влюбленная в экзотику мисс покупала и увозила в свое Кентукки одного из облупившихся бодхисатв.

Для меня долго оставалось загадкой, какими судьбами прежний русский капитан дальнего плавания попал приказчиком в лавку японских древностей... Я несколько раз интервьюировал довольно назойливо Петра Фаддеича на эту тему, но он бурчал что-то совсем неудобопонятное в свои нависшие двумя седыми гребеночками усы. Я мог только разобрать, что «он уже десять лет как списался на берег, вот и пришвартовался здесь...» Даже лишний десяток чашечек горячей и терпковатой sake не делал его более сообщительным на этот счет.

– Что это у вас? Никак новость? – спросил я, заметив какую-то фигурку, блеснувшую в недрах несгораемой кассы.

– Нет, так... Барахло!.. – недовольно выпятил свои седые гребеночки Петр Фаддеич и попробовал заслонить рукавом полку.

Но барахлу не отводилось места в почетном шкафу для денег и драгоценностей, и я так прилип к экс-капитану, что он сдался через несколько минут и фигурка выползла на свет божий.

Действительно, в ней не было ничего замечательного. Это была просто маленькая фаянсовая лисичка с пушистым задранном вверх хвостом, сидевшая на задних лапках, – та самая «Иринари», которая охраняет в Японии рисовые болотины и почитается крестьянами как бог богатства и домашнего благополучия. К тому же сделана она была грубым фабричным способом и уж никак не могла претендовать на какую-то ни было древность. Такую лисичку можно было купить иен за двадцать в любой посудной лавчонке.

Я почуял что-то неладное и попробовал диверсию:

– Да, конечно, вещица немудреная... И потом новая. А все-таки, Петр Фаддеич, я ее возьму... Хотите иену? – и я сделал движение, чтобы сунуть фигурку в карман.

Петр Фаддеич вырвал лисичку из моих рук. Дверь несгораемой кассы со свистом захлопнулась.

- Ну, простите, мне сегодня некогда с вами болтать... Прощайте-с!.. Я закрываюсь... Камитаи Сан вот расселась, как идол!.. Да закрывайте же ставни!.. – я еще никогда не видел Петра Фаддеича таким сердитым, но дня через два, греясь без ботинок у «хибачи» в его комнатухе на Блефе, откуда, если раздвинуть рамы, были видны мириады огоньков старой Иокогамы, – капитан рассказал мне историю своей Иринари.

– Была у меня, знаете, прежде шхунешка: так, небольшая, тонн на сто, но с мотором, все как полагается, и ходок недурной. Не чета другим посудинам, которые после одного рейса на Камчатку начинают течь по всем швам. С весной выходишь из Владивостока за пушниной на север: бывало, от самой от Святой Ольги и вплоть до Аяна все дырки обшаришь. И в Петропавловск хаживал. Ну, а зимой – известное дело: либо чинишься, либо случайная работенка наклюнется или с Чифу, или с Японией.

В тот год дернула меня нелегкая зафрахтоваться под японский засол из Хакодате в Иокогаму. Пришел, рыбу сдал, все честь честью, да вот на берегу с одним капитаном – англичанином – и закурил.

Пьем день, пьем два, сначала по-хорошему, в барах, потом к гейшам попали, а на третий рассвет – представьте, идиоты какие! – решили на рикшах в Хакодате ехать!..

– Чего, там! – англичанин говорит. – Туда близко! Запросто доедем!..

Я было туда-сюда – карты, говорю, у нас нет! И слушать ничего не хочет. Ну, джину захватили, отправились. Только я в рикше по дороге заснул – разобрал меня джин – и очухался только к полудню в какой-то деревеньке. Смотрю, а мой капитан ничем не лучше меня: севера от юга по компасу не отличит, а все фордыбачит:

– Довольно, говорит, рикш! Заплатить им! Пойдем дальше пешком!

– Ладно, – говорю, – олайт, пойдем! – а сам думаю: «Все равно, паря, скоро начнешь конец травить!..».

Сначала вся деревня за нами бежала, пальцами показывали, ну, а потом поотстали: мили мы эдак на две за деревню ушли.

Хорошо-с... В феврале это было, а там весна на полный ход: и слива мохнатая цветет, и рис уже вылез зелеными иголочками. Идем это мы ломаным курсом через рисовые болотины, и видим вдруг – молельня стоит с правого борта. Крохотная, просто деревянный ящик в поле, а в нем – лисича на палочке, вот та самая, которая у меня в кассе.

И начался тут промеж нас спор о вере.

– О, – говорит англичанин, – ишь, какая забавная штучка! Я ее захвачу!..

– Бросьте, – говорю, – да на что она вам сдалась? Если понравилась, купите такую же в Иокогаме. Я вам покажу: в каждой лавчонке за гривенник найдете. А эту не трогайте. Видите, народ ее чтит: и рису впереди насыпано, и цветочек воткнут.

Тут мой мистер закинулся:

– Что ж это такое, сэр? Я думал, вы настоящий православный русский моряк, а вы вон чего говорите! Идола защищаете?.. Да их истреблять надо! А что в Библии написано?.. Да если б я раньше знал, так никогда бы и пить с вами не стал!.. Может быть, вам и тронуть-то его страшно?..

И пошел, пошел...

Тут уж и я не выдержал:

– Вот что, – говорю, – сэр: уж коли на то пошло, так это вы – католик и нехристь, а я – русский православный моряк, и каждый год на Страстной говею. Только зачем чужую веру обижать?..

– Врете вы все! – говорит. – Струсил просто!

– И вовсе не струсил! И не только этой лисички, а даже самых страшных богов не боюсь. Нате, смотрите!..

Подошел и божка в карман! Как сейчас помню: вазочка рядом стояла, так опрокинулась на полочке. Англичанину страсть понравилось.

– Сорри, – говорит, – простите меня! Я погорячился. Давайте мировую выпьем!..

И так мы под конец подмокли, что решительно не помню, ни как мы обратно в деревню попали, ни как до Иокогамы добрались...

С этих пор и началась со мной морока. Иду я в порту на свою «Венеру», – под сильным креном, правда, – и вдруг из под самых моих ног – шась лисица!.. Да большая, хвост пушистый, как у сиводушки, и глаза горят в темноте... Ну, я – брык с мола, и так здорово коленкой о камни пришелся, что до сих на левую припадаю. В первые дни, когда лихорадка трепала, так лисица каждую ночь являлась. Сядет на больную ногу, хвостом обовьется, сверкает красными глазами и все на меня облизывается.

Только это я успел поправиться и на палубу выползть – тайфунице! Да такой, что мою «Венеру» с двух якорей сорвало, весь брашпиль вывернуло и чуть-чуть не посадило на камни. Двое суток трепало. А как зыбь мало-мало поутихла и я задремал в каюте – опять нечисть тут как тут! Высунула острую морду из иллюминатора, клыки облизывает и гнусит:

– Отдай божка!.. Поставь обратно!..

Делать нечего. На другое же утро пошел искать пустую молеленку, да где уж там! Вокруг Иокогамы деревень, что туманов летом у Чумукана. Как будто и помню место, а найти никак не могу.

Поискал, искал дня три, потом плюнул. Вернулся во Владивосток, взял товаров в кредит и ушел за пушниной на Север. Иринару как будто от

меня поотстала, и сначала все шло ладно.

Только иду это я мимо Сахалина Татарским проливом – сколько раз этими местами ходил, – стоп! Туманище – кливера не видно. Потом – ш-ш-ш!.. – мель. И как раз в створу с правого борту – скала из тумана лезет. Ну, точь-в-точь лиса, чтоб ей сдохнуть! А тут прилив да противный ветер, и осталось от всей «Венеры» бушприт да киль... На берегу потом доски вылавливал.

Ну-с, кое-как, поглотаив соленой воды, выбрались мы на берег. Всего один ирбо-кореец из команды утонул. Лезу я в карман за трубкой – представьте: опять Иринари! И как я ее в суматохе в карман сунул – хоть убейте, не помню!

Вернулся во Владивосток, раздобыл денжат и скорей в Иокогаму: надо же молеленку искать. Ведь замучает, проклятая! Купил большую карту, расчертил по квадратам и каждое воскресенье шатаюсь по рисовым полям – определяюсь. Полиция следить стала, боюсь, как бы не выселили. Вот в «Бостон» поступил: кушать-то надо.

– Петр Фаддеич, а чего ж вы не выбросите Иринари?

– Вот тоже умник нашелся! Думаете, не пробовал? Даже в землю закапывал.

– Ну и что ж?

– Да ничего. Пришлось потом откапывать. Иначе совсем бы замучила. Сядет на задние лапы, буркулы горят, и пойдет гнусить:

– Поставь на место! Зачем чужого божка тронул!..

1923 г.

Опубликовано: Щербаков М. Корень жизни. Шанхай, 1943.

Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 126–128.

ПАРШИВЫЙ УГОЛЬ

Морская карьера капитана дальнего плавания Вассера началась с четырнадцати лет, когда он удрал из 5-го класса Одесского реального училища. Каким он был в те времена, я, разумеется, не знаю, но в пятьдесят четыре года я не дал бы ему и сорока пяти.

Правда, основательный нос его успел покрыться густой сеткой багровых жилок, но это происходило от свойств самого носа и отнюдь не от чего другого. Дело в том, что капитан Вассер, в отличие от всех классических морских волков, пил всего пять рюмок в день: две за завтраком и три за обедом. Но уж зато эта порция выпивалась честно даже в те дни, когда на пароходе по случаю качки варился один борщ, который подавали, чтобы не расплескать, в эмалированных кружках.

Кроме основательного носа, у капитана Вассера были выдавшая виды, рыжая пыжиковая куртка, темные усы в ниточку и зоркие, удивительно светлые голубые глаза, выдававшие частицу унаследованной скандинавской крови. Сам же он был щупл и невысок ростом.

Он начал юнгой на черноморском паруснике, затем возил паломников через Константинополь в Яффу, наконец, перешел на большие дистанции и сделал два с половиной обратных рейса Одесса-Владивосток. Я говорю «два с половиной», так как во время третьего его мобилизовали: началась русско-японская война. Плавая на тралере около Владивостока, он получил два «Георгия» и, кроме того, две контузии, которые сделали его глуховатым на левое ухо. Но это не мешало ему, насторожив правое, безошибочно определять скорость корабля по шуму винта.

В течение тех трех месяцев, которые капитан Вассер таскал два десятка пассажиров и сотню тонн груза по самым захудалым дырам Охотского побережья, я напрасно старался понять, когда же, собственно, он спит? В какое бы время дня или ночи я ни выходил из каюты, капитан или гулял «для полировки крови» по палубе, или «шаманил» над картами в штурманской рубке, или, наконец, «чифанил» в кают-компани. И при каждой встрече он неизменно и вежливо приветствовал меня сакраментальной фразой:

— Па-а-аршивый уголь, знаете!.. – и прибавлял довольно крепкие слова по адресу конторы Добровольного флота.

Но капитан Вассер не только занимался трудным делом морехода: он был также заядлым охотником. После своей контузии он списался на берег и три года бродяжил по тайге Приморья и Приамурья, охотясь за всем ее звериным и птичьим населением. Потом женился, завел шкуну, добрался вплавь из ее обломков до Поста Дуэ, что на Сахалине, и снова поступил в Добровольный, пароходы которого и водил от Шанхая почти до самого Берингова пролива.

И на всем побережье Желтого, Японского, Охотского и Берингова морей капитан Вассер знал, как свой карман, каждую из немногих дырок, куда можно было спрятать корабль на случай шторма.

Подводных же камней и мелей он помнил, наверное, раз в десять больше, чем Главное Гидрографическое управление в Петербурге и Его Величество Британское Адмиралтейство, взятые вместе.

Как и подобает моряку, капитан Вассер не любил штормов и всегда говорил, что с Охотским морем не рекомендуется шутить даже линейным кораблям. Он чувствовал приближение ветра как-то нюхом, прежде чем начинал падать барометр. И сейчас же, пошаманив в штурманской, он успевал под самым носом бури прощмыгнуть в какую-нибудь укромную бухточку, помеченную «запрещенной» на всех картах и во всех лоциях мира. Для пассажиров эта способность капитана Вассера была, конечно,

полезна, но не всегда удобна. Я, например, благодаря его нюху чуть-чуть не зазимовал на берегу во время нашей стоянки против Тауйска.

Я тогда спокойно возвращался на «собацках» из поселка к взморью, пересчитывая с каюром-вожаком по первому снегу все корни редкого лиственничного леса. Пароход должен был уйти только на следующее утро. Вдруг до меня донеслись пронзительные гудки: учуяв норд-вест, капитан спешил удрать из открытой губы и уже подымал якоря.

Сознаюсь, что я почувствовал себя очень неважно, когда конец, поданный с парохода на наш кунгас, лопнул во второй раз. Вслед за тем обледенелая ступенька шторм-трапа, мелькнув над головой, хлестнула по борту на пол-аршина выше моей протянутой руки, а наверху, в темноте, выругались и затопали по палубе. Громадная туша парохода, продырявленная рядом светлых люков, начала уходить во мрак, оставив мой кунгас беспомощно мотаться по расходящимся за полчаса волнам.

Я знал, что наша «Казань» – первый и последний пароход, навещавший эту часть побережья за навигационный сезон. Я помнил, что совершенно таким же образом прошлой осенью застрял в Охотске мой знакомый татарин, замешкавшись на берегу с земляком. И мне вовсе не улыбалось провести девять осенних месяцев в поселке из тридцати семи дворов не так далеко от Полярного круга, имея всего несколько иен в кармане. Поэтому у меня прямо-таки отлегло от сердца, когда минут через двадцать, развернувшись, капитан снова подошел и подобрал нас из полузатопленного кунгаса.

Как только моя голова показалась над фальшбортом, он вспомнил и родителей, и плохой уголь и сейчас же пошел на север, к бухте Нагаевой, против отчаянной зимней пурги.

Из двери каюты мне ударил в нос острый запах винного спирта: оказалась, что в мое отсутствие качка разбила у соседа одну из бутылок, несмотря на соломенную упаковку. Тогда я ясно понял, почему на севере бывалые люди возят спирт исключительно в плоских жестяных банчках.

Все в каюте было перевернуто вверх дном. Переборки жалобно поскрипывали. Балансируя на краю койки, я с трудом стащил проледеневшие насквозь торбаза и завалился спать, упираясь головой и ногами. Но в четыре утра меня разбудил резкий грохот: из стола летели ящички, с верхней койки ползли и кувыркались на пол чемоданы. Рядом, в проходе, тяжело молотила стену железная дверь в машину.

Нас валяло еще сильнее. При каждом спуске в водные долины, громадная масса воды вносилась с разлета на борт, тупо бухала в иллюминатор и с шипом разбивалась о толстое стекло. Точно гигантский боксер яростно тузил по нему мягкой рукавицей. Пароход замирал надолго в нерешительности, ложась совсем на бок, и потом все скорей валился на другой борт. Вырываясь мгновениями из волн, пароходный

винт со стремительным визгом бил по воздуху, сотрясая весь корпус. Спать было решительно невозможно. Я оделся и полез посмотреть, что делается в штурманской.

Разумеется, капитан Вассер был там. Налегая для упора мокрыми рукавами пыжиковой куртки на просторный стол, он «шаманил» над картами. Рубка была в полумраке. Только на карту падал яркий свет лампочки, ревниво взятой под колпак, чтобы не мешать рулевому следить за компасом. Широко расставив ноги и пружинисто припадая то на левую, то на правую, матрос непрерывно ворочал штурвалом, выправляя курс, с которого сбивала волна.

Да, качало нас основательно. Как только капитан упустил из рук свою линейку, она начинала бодро гулять по всему простору Охотского моря, изображенному на карте. Обычно карты побережий усеяны красными и желтыми крапинками, отмечающими маяки, но на наших никаких крапинок не было. Однако это вовсе не было ошибкой картографа: последний маяк мы видели месяца два тому назад. Когда мы подходили ночью к земле в хорошую погоду и вблизи было селенье – жители раскладывали на наши гудки большие костры. Когда же задувал шторм, то не стоило и гудеть: все равно капитану приходилось «ловчиться по способности».

– А все па-а-аршивый уголь! – заметил капитан Вассер, поймав линейку где-то у Курильских островов. – Иначе уж давно бы топали Лаперузовым проливом домой!.. А тут еще в Олах этот поп привязался, бабушку его так-перетак! Разве под кухлянкой различишь? Если бы знал, что поп, ни за что бы не взял...

– Пал Палыч, буруны снова по носу!.. – значительно доложил второй помощник, появляясь на миг в потоке снегового норд-веста.

– Малый ход! – скомандовал в машину капитан и вылетел на пургу. Машина отзвонила исполнение. Я рискнул выглянуть. Освещенный из рубки кусок палубы поднялся передо мною горой и куда-то ухнул. Меня тут же шатнуло к борту, больно стукнуло о захлопнувшуюся дверь и снова швырнуло к поручням, за которые, наконец, зацепился. После относительно светлой рубки я ничего не различал. Я не видел никаких бурунов. Я вообще ничего не видел, но зато слышал многое.

Прямо на меня ринулась белая стена, ревущая в проволоках нашего радио, завывающая в каждой щели и снасти. Она моментально залепляла глаза и уши, попадая в рот, свистела и до боли распирала легкие. Взорванные нашим носом гребни шарахались со стоном на борт, окатывали из сотен брандспойтов спардек и обрушивались шипящими и кипящими водопадами на нижнюю палубу. Там тарахтели, перекатываясь, сорванные с привязей бидоны с керосином, грузные железные бочки с содой, бочонки с икрой, рыбой и брусникой, доски и ящики. Все это

налетало друг на друга, путалось, сталкивалось и сшибало новые вещи. Ложась на борт, пароход кряхтел и трещал.

– Бу-ру-ны спра-ва по но-су!.. – еле донесся с другого борта из крутящейся мзги крик сигнальщика. – И пря-мо по носу буруны!.. – сейчас же и слышней ответил другой. Нас с трех сторон окружали рифы.

Мимо меня мотнулся во вьюге и упал в оказавшуюся снизу дверь капитан Вассер. Я не мог представить, как может эта щуплая фигурка, облепленная снегом, ориентироваться и бороться с морем в непроницаемой ледяной каше из воды, ветра и белого мрака. Теперь и я слышал в вое норд-веста новую злобную ноту – низкий рокот близкого прибоя. Но все же не видел ни зги. Наконец, случайно закинув голову, я различил высоко вверху более светлую полосу неба и вырезанный в ней темный зубец: мы шли уже под самыми скалами бухты Нагаевой.

После поворота давление ветра и волн сразу ослабло. Качка быстро затихла. В машине то и дело слышались звонки. Я спустился к себе и сквозь сон смутно слышал, как поползла, гремя по клюзам, тяжелая якорная цепь.

На следующее утро, поднявшись на оледенелый и занесенный снегом спардек, я нашел там милейше маленького мосье Гарнье, швейцарца-инженера, добравшегося на Аянские золотые прииски.

Наша «Казань» встала почти вплотную к обрывистой гнейсовой стене, выщербленной по гребню четыремя правильными, как у китайских стен, зубцами. Совсем низко около них притулились темные снеговые тучи. В скалистую щель входа было видно, как по олову моря свирепо резвятся молочные штормовые барашки. Но в самой бухте, окруженной, наподобие гигантского цирка, хвойными сопками, нас только глубоко покачивало на якоре. Валил сплошной медленный и упорный снег.

На берегу наши боты брали из лесного водопада пресную воду. Подальше, забравшись на склоны и еле слышно гогоча, кучка матросов рубила ель и лиственницу, чтобы продать на дрова во Владивостоке. Стояла еще всего середина октября, но море уже подмерзло у берегов.

В глубине бухты виднелась мачта, торчавшая вкось из остова поваленной на бок и занесенной снегом шкуны. Сняв с камней, хозяин привел ее в этот естественный док еще два года тому назад в расчете собраться с деньгами и отремонтировать. Но цены на икру во Владивостоке стояли низко, «железка» на Иркутск не ходила, и бочки соленой кеты, брюшков и пупков пришлось продать за бесценок. В конце концов хозяин прогорел. Шкуна же его, лежа в тысячах верст под столбчатыми сводами северных сияний, постепенно рассыпалась и разваливалась, навещаема только медведями и песцами.

Одного из этих гостей я и увидел, попросив у мосье Гарнье бинокль. Сквозь непрерывный ток тяжелых хлопьев я заметил около ручья бурого

медвежонка, который задумчиво сидел и высматривал рыбу. Стая крупных северных воронов кружилась, каркая, над берегом.

Я как раз протирал залепленные снегом стекла Цейсса, когда за моей спиной послышался недовольный голос капитана Вассера:

– Ишь, па-а-аршивая птица!.. Точно падаль учуяла... Э-э!.. Никак медведь?.. – переменял он тон и вцепился глазами в устье ручья.

– Боцман! – неожиданно гаркнул капитан. – Гребцов на шлюпку!.. Ну, ходи веселей!..

Из дыры носового кубрика полезли ушастые шапки матросов, не попадавших на ходу в рукава бушлатов. Скатываясь по трапу, капитан бросил нам:

– Одевайтесь, пошли на охоту!..

Медведь, по-видимому, уже знал человека. Не успели мы догрести на ружейный выстрел, как он не спеша поднял треугольную голову от ручья, помотал ей в нашу сторону и побрел с достоинством вразвалочку к лесу, покрывающему соседние склоны.

– Навались!.. – скомандовал капитан, но было поздно: наши выстрелы не достали. Мы прошли далеко вдоль ручья по следу, который заметала пурга. На самой опушке он терялся в непролазной чаще низкого кедровника, стелившегося вверх по обрывистой сопке. Без собак нечего было и думать о преследовании.

– Ишь, подлец!.. – ругался капитан, когда мы шли обратно. – Еще минуты две, так не ушел бы, будьте покойны!..

Я улыбнулся.

– Что ж, думаете, я мало зверя перебил? – обиделся капитан. – Вот, если домой дотопаем, сами увидите шкуры. Не то, что на медведей, и на тигра ходил в Сихотэ-Алине...

– Кра-а-а!.. Кра-а-а!.. – уныло раздалось над нашими головами и, сделав тяжелый вираж, громадный северный ворон закачался в двухстах шагах впереди, стряхивая снег с лапчатой ветви.

– Носят их черти!.. – пробормотал капитан, вскинул винтовку, и в следующий миг птица лежала в ручье с отстреленной головой.

«Должно быть, отводит душу после медведя !..», – подумал я.

Над нами уже опускались тягучие белесые сумерки севера.

– Что ж, господин капитан, мы будем заходить в Аян? – спросил мосье Гарнье. Он прилично говорил по-русски, только упирал по французской привычке на конечный слог.

– Вряд ли, знаете... не успеем. Такой па-аршивый уголь! Совсем пара не даст.

– Quelle rouasee! – вздохнул швейцарец. У него пропадали даром два месяца и расходы на путешествие, но он не был новичком на Охотском море и не слишком удивлялся.

Мы вышли к оставленной шкуне. При нашем приближении с ее

косой мачты снялась, пронзительно каркая, целая туча воронья.

— А, дьявол, опять таежная нечисть!.. – взбесился капитан и начал палить по воронам. Две птицы закувыркались вниз. Стая с гамом завернула к сопкам. Быстро перезарядив ружье, он подошел к бившимся на снегу воронам.

— Чего вы на них ополчились? – удивился я.

— Так, старое дело... Па-а-аршивая, однако, птица!.. Ну, пора по домам.

Пока мы возвращались к уже засветившемуся пароходу, капитан молчал и хмурился.

Сбросив кухлянки, мы прошли в теплую кают-компанию. Три матовых шара освещали не слишком весело низкую прокуренную столовую скромного «Добровольца». Она пострадала в годы русской смуты: на одном из иллюминаторов была трещина от пули и через все стенное зеркало шла размашистая надпись алмазом:

«Политком Гулькин. Ура!»

Конечно, она мало походила на лепные «dining room'ы» восьмиэтажных трансатлантиков, но, продрогнув на этих свирепых берегах или качаясь в одновесельной душегубке, я начинал мечтать о ней как о родном доме. В ней прежде всего было тепло и светло, а эти основные условия жизни выучиваешься ценить только на Севере.

Все живое, рожденное природой в этом тусклом мире, построено и подобрано так, чтобы экономить каждую калорию тепла, каждый луч скупого солнца. И человек оказался менее всех приспособленным к Северу. Между тем железный закон жизни гнал его с кайлом и лопатой в проклятые края, где под замороженным торфом прячутся гнезда золотых самородков. Но человек хитер: вместо дневного света он зажег костер, вместо собственного – зашил с ног до головы в мех зверей и, наконец, вместо солнца он выдумал спирт, и жидкое солнце дало ему то веселье, радость и внутреннее тепло, в которых отказывает здесь природа. Поэтому спирт и стал царем Севера.

Спирт здесь все. На нем богатеют и разоряются; из-за него грабят и убивают. В жидком солнце скрестились на Севере два самых могучих двигателя человека: жажда золота – у белого, и жажда веселья – у дикаря. Но Север равняет обоих. Кровь белого леденеет в мире снежной пустоты, и жажда веселья начинает мучить его сильнее, чем жажда золота. Бывают случаи, когда русские прижимистые скупщики спускают зимой драгоценных соболей и чернобурок за десяток банчков. Что же удивляться, если какой-нибудь тунгус-старшинка проматывает из года в год за спирт на прибрежных ярмарках всю пушнину, промышленную зимней охотой целого рода, и возвращается к юртам по горло в долгах? У спаивающих его

белых есть другой идол – золото, у него же нет ничего, кроме спирта. Зачем ему золото в таежных дебрях? Найдя «желтое железо», он снова зарывает его, чтоб не пришли русские. А за спирт он всегда может получить все, что ему нужно, начиная с оленя и пороха и кончая женой.

Поэтому у спирта на Севере нет твердой цены. Она зависит исключительно от времени года. После того, как с побережья уйдут хищники на своих шкунах, и до тех пор, пока они не вернуться следующим летом с новыми запасами вонючего зелья, в эти девятимесячные осень, зиму и весну цена спирта непрерывно растет. К Пасхе его продают дороже, чем на вес золота.

Его здесь пьют «живьем», вовсе не разбавляя водой. Пробьют гвоздем или ножом две дырки в запаянной крышке банчка и тянут жидкое солнце до тех пор, пока не кончится банчок или пьющий не свалится. Зато ему весело и тепло.

Даже нам, на пароходе, тоже пришлось пережить эту острую, органическую жажду тепла и радости, которую утоляли несколько стопок разведенного жидкого солнца. Нас, пассажиров, было мало у капитана Вассера. Уходя из Владивостока, все мечтали вернуться через несколько месяцев богачами, начиная с неопрятного поляка-спекулянта, везшего одни запрещенные спирт и стрихнин, и до крупного татарина-пушнинника, погрузившего в трюм на много тысяч муки, мануфактуры и кирпичного чая для меня. Нас всех манили в страну грядущего богатства тяжелые кожаные мешочки, туго набитые коричневатым золотым песком.

Не успевал капитан Вассер бросить якорь в нескольких верстах от угрюмого берега и спустить на воду кунгас, как вся орава, днем и ночью, в пургу и в дождь, бросалась к штурм-трапу и лезла наперегонки через борт, наступая на головы опередивших конкурентов. В волну это было далеко не безопасное упражнение: «коммерсанты» часто срывались с веревочной лестницы и потом их приходилось вылавливать багром, зацепив за подол кухлянки.

Но с берега возвращались не спеша и злые: мы опоздали. Пушнины почти не оставалось, а в золотоносный Охотск, так же, как и в Аян, мы так и не дошли. Громадную часть спирта, запасенного на пароходе, выпили на нем же, в зависимости от средств и крепости каждого. Наша «Казань» тоже заразилась северной болезнью. По ночам в трюмах и на срезе матросы жестоко дрались на ножах. Не отставали и рабочие, снятые на зиму с рыбалок. Богатый татарин пил запоем и по суткам не слезал с койки. Да и сам капитан Вассер не клал охулки на руку и, как выяснилось, вмещал гораздо больше своих пяти порционных рюмок, в особенности на спокойной стоянке.

В тот вечер, отогреваясь после охоты, мы пили особенно прилежно и, конечно, толковали о Дальнем Востоке. Пассажиры давно разошлись. Мы остались втроем и незаметно опрокидывали стопку за стопкой крепчайшей

разведенки.

– Богатейший, удивительный край! – философствовал капитан на свою любимую тему. – Возьмите хотя бы Приморье. Почти везде по тайге следы золота. Мало, правда. Разработка не окупается. Но когда-нибудь за это дело возьмутся. А что в этих па-аршивых краях, – капитан ткнул большим пальцем через плечо, – да вот еще на Камчатке, – будет русский Клондайк, так я за это головой поручусь! Ваше мнение, господин инженер?

– О, да! – согласился швейцарец. – Это очень возможно. Особенно Охотск и Аян.

– И чего только здесь нет! Вот, слушайте: иду это я раз в дождь тайгой, так верст за триста от Владивостока, и захотел пить. Нашел ключ, зачерпнул мутной водицы, выпил, и вдруг что-то такое холодное и скользкое во рту. Так по языку и катается. Ну, я, конечно, выплюнул. Смотрю, а на дне кружки – блестящие, как серебро, горошины. Ртуть, уважаемый! Чистая самородная ртуть!..

– Сколько же заработали? – осведомился я.

– Да ни шиша! Потом искал, искал ключик, так и не нашел. Думал, хорошо заметил, а поди-ка найди! Везде ключи, сопки, везде чаща и такой дикий виноград, что не продерешься...

– Я помню такой случай... О, поп, шегси. Я никак не могу, – сказал мосье Гарнье, отстраняя новую стопку. – Я шел с экспедицией в Африк Экваториал, около озера Танганайка. Немного южнее. Мы искали золото. Там не может быть ртуть. И вот в один день я вижу рядом в большой траве маленький шарик. Я приказал неграм встать и выскочил из паланкин. И знаете, что это было? Наш доктор, который пошел вперед, разбил вчера свой термометр!

– Ну, в наших ключах ни один доктор градусников не бил! – недовольно отпарировал капитан. – А вот еще: перед самым этим рейсом на даче под Владивостоком я нашел в песке розовый камешек. Так, в кедровой орех. И уж на этот раз запомнил место. Показал ювелиру, а мне и говорят: настоящий рубин! И даже недурной воды.

– Вот как?!. Это интересно! Тогда же я нашел в Верхнем Конго кусочек оловянной породы. Но я помнил ртуть. И я был прав: минерал выбросил из своей коллекции наш геолог... Но, конечно, корунд около Владивостока, это очень возможно! – поспешил вежливо согласиться инженер, посмотрев внимательно на капитана Вассера.

– Богатейший край!.. Только бы не спустили, как Аляску, черти !..

Буфетчик унес уже второй пузатый графин с матовой монограммой Добровольного Флота. Становилось жарко. Я встал и отдраил иллюминатор, чтобы немного продохнуть.

Снаружи было совсем темно. В бухту, занавешенную густым пологом снега, по-прежнему валили упорные, пухлые хлопья. Совсем близко от

моего лица, под самым иллюминатором, изредка хлопала о борт черная, как деготь, тяжелая осенняя вода. Стояла мертвая тишина северной ночи. Такая тишина, что все мы ясно слышали, как на ближнем берегу одиноко закаркал ворон. Капитан Вассер вздрогнул:

– Опять ворон?.. У, стерва!.. – и встал.

– Да бросьте, капитан, – начал я примирительно и невольно переглянулся с инженером.

– Э, да что вы все понимаете в Дальнем Востоке!?. Ну, ладно!.. Черт с ним!.. Эй, Петр, дай-ка еще графинчик! Жив-ва!.. И задрай иллюминатор... Вы думаете... я пьян? – повернулся к нам капитан Вассер. – Не-ет!.. А с вороньем у меня старые счеты. С тайги. Ваше здоровье!..

Капитан выпил и промокнул салфеткой свои усы в ниточку.

– Представляете, где бухта Святой Ольги?.. Ну, вот. Я туда попал с войны после контузии. В те времена русских там почти не было. Одни инородцы: гольды да орочи. Но больше всего китаезы из Шаньдуна. Ведь из этого самого Чифу желторожие прут к нам, как из брандспойта. Чего только не делали при царе, чтобы остановить: ничего не помогло. Расползлись точно клопы. И бойки, и «купезы», и плотники, и кочегары, кого ни спросишь: все из Чифу. А на Ольге они осели уже давно и настроили по берегу богатые деревни. Тут тайга под носом, а у них вонь и грязь, что в твоём Китае. Летом торгуют и пашут, зимой же все мужики идут за пушниной.

И они, знаете, устроились в нашей тайге совсем как дома. У них и порядки были свои, и никаких писаных законов, кроме своих, таежных. В самом поселке торчал, конечно, русский исправник, но получал, что ему причиталось, пушниной и не совал носа в китайские дела.

Но это вовсе не значит, что в тайге был беспорядок. Наоборот, порядочек был такой, что дай Бог каждой стране. Вся тайга делилась на участки в тысячи квадратных верст каждый, и для каждого избиралось по три судьи-старшинки на три года. Раз в году все трое собирались судить в большое село на берегу, куда приставали шаланды, а потом уходили снова в свои пади. Вот и все правительство, но поверьте, что его было совершенно достаточно. В тайге не шутят, и каждый охотник твердо знает ее законы.

Первый священный закон тайги – это гостеприимство. Сама таежная жизнь его требует. И в те времена оно, действительно, было. Тайга не знала ни замка, ни ключей. Если наткнулся в чаще на фанзушку – милости просим! Заходи и не спрашивай, можно ли.

Коль хозяин на охоте – дверь приперта снаружи шестом. Но внутри все равно висит куль с мукой под потолком, лежит сухой коробок спичек и настругана растопка. Даже чай обычно оставлен. Заходи еще, пей, грейся и спи! Только уходя, не забудь просушить новых щепок. И тут же висит все, что хозяин напромышлял за зиму: и белка, и лиса, и горностаи. А часто

видишь и собольков: вывернуты, голубчики, наизнанку, как перчатка, мездрой наружу.

Но Боже тебя упаси стащить хоть самую распропаршивую белку! «Не воруй!» – это второй закон тайги. С проворовавшимся разговор короткий: зубы выбьют и навсегда выгонят из общины. Дадут еды в обрез, чтобы добежать до берега, и плыви на первой же шаланде куда глаза глядят. Да не прохлаждайся – беги, а не иди, не то с голода помрешь: нет тебе, вору, по всей тайге ни чифана, ни теплого ночлега.

Если набрел на чужие капканы или силки, так дойди до зимовья и скажись. Ведь после-то все равно узнают по следам, что кто-то был. Покажи, что не имел в мыслях воровать добычу. Фанзушка всегда недалеко: силки ставят около, большой восьмеркой по снегу. Если хозяина нет – сиди и жди, пока не вернется. Все равно в тайге спешить некуда! Случалось, что и казнили за кражу пушнины. Не любит тайга воровства, а еще больше не любит измену «братке».

Дело в том, что охотник редко уходит на зимовку один. Вдвоем всегда удобней и балаган ставить, и ловушки проверить. А если зверь нападет – отбиться легче. Перед уходом и бывают обычно братанья. Оба заходят в кумирню на берегу, жгут курительные свечи перед Законом, который написан по красному шелку золотом, и закалывают козленка в жертву предкам. Помолясь, клянутся быть «братками» до самой смерти, и в счастье, и в беде. И уж после братанья между ними все общее. Ежели один помер или пропал в тайге, то к другому переходит все его имущество: и фанзы, и поле, и даже жены.

Да, братская клятва имеет в тайге страшную силу. За ее нарушение одна кара – смерть. Тому, кто бросил братку в беде, – смерть. Тому, кто убил братку, – смерть через лютую пытку. Привяжут голого – все равно, и в жару, и в мороз, – к сосне в чащобе: или сам сдохнет, или зверь задерет, и птица склюет. Туда ему и дорога! А если кто поможет, и тому крышка. В девятьсот шестом такой был случай: я охотился в Ольгинской тайге уже третью зиму. Ничего, за год промышлял тысячи на полторы золотом. Там меня каждая собака знала. Как придешь в деревню, косоглазые ребята орут: «Капитана!.. Капитана!..». Да я и в правду скоро стал «капитана»: зауважали меня китайцы и выбрали вроде почетного судьи в Глубокую падь.

Надо вам сказать, что в селе проживал богатый старый китаец Сан Хо-лин. Правильный был китаеза, только мало-мало трусоват для таежного охотника. Была у него хорошая фанза со стеклами, а не бумагой в окнах, и чумизные поля вверх по реке, и много свиней, и целых три жены.

Года за два до этого приходит к нему молодой Кун Си. Гольш-гольшом: не курма, а сплошная заплата. Только что из Чифу. Нанимается работником.

Хорошо-с. Работает год, работает другой: ужился. Летом ходит с

хозяином на пантовку⁷, зимой – соболевать. Парень смышленный и не вор. Спирту – ни-ни!..

Как стали бабы собирать их на третью зимовку, Сан Хо-лин зовет его и говорит – по-китайски, конечно:

– Вот что, Кун Си! Стал я старым, а сыновья мои или торгуют в Заливе Трепангов, или еще легки годами. Хозяйство у меня, сам знаешь, большое. Ты парень – «хо!» Пойдем-ка в кумирню и помолимся предкам: будешь моим браткой!

Ну, Кун Си, ясно, в полном восторге. Еще бы! Пришел, можно сказать, в чем мать родила, а теперь станет компаньоном богача-куpezы.

Пошли они, покурили палочками перед Законом, дали оба братскую клятву – все честь-честью. Потом, значит, уходят зимовать.

Только это я вернулся из тайги на следующую весну, прибегает ко мне Кун Си и плачет:

– Пропал, – говорит, – старый человек Сан Хо-Лин! Как ушел как-то без меня соболевать, так из тайги и не вернулся. Уж я, – говорит, – долго тело искал, – хотел хоть как-нибудь похоронить, чтоб злые духи его душу не сожрали, – так ничего и не нашел. Зверь, должно быть, задрал!

Ну, что ж поделаешь? Задрал так задрал. Мало ли охотников таежный зверь каждый год задирает? И все-таки осталось у меня в душе какое-то такое, знаете, сомнение. Ладно, думаю, поживем-увидим!

Кун Си, как настоящий братка, принимает фанзу и жен старика, начинает хозяйничать. Только скоро слух по тайге плохой пошел. Удивительное, право, дело: ведь уж, кажется, никто ничего не слышал-не видал, а вот заговорила тайга, будто живой человек, заговорила!

Тут приходит в Ольгу второй наш старшинка и прямо ко мне: оказывается, уже слышал о деле. Выкурили мы с ним трубочку, выслушал он меня, качает головой:

– Нет, – говорит, – капитана, пу-хо! Наша так думай: наша два люди нанимай. Его в тайгу ходи, мало-мало старый человек ищи!..

Наняли мы двух лучших орочен-следопытов. Обещали особо заплатить, если пантовку пропустят. Хоть и много лун прошло, и снег стаял, а все-таки пускай поищут. Долго это они по падым рыскали – месяца два – и, наконец, уж совсем летом являются ко мне ночью тайно с докладом: «Нашли!».

Сначала, рассказывают, ничего не могли сделать. Весь валежник вокруг зимовья подняли, все окрестные сопки встречными кругами изъездили – нету! Пропал старик, да и только! И вот на третью луну надумали помолиться у фанзушки. Сели, развели огонек, помолились духу покойника и дали обет – до тех пор не курить трубочек, пока не разыщут Сан Хо-лина. И за птицей следить: она, птица-то, умная стерва, всегда

⁷ Пантовка – летняя охота на оленей, молодые рога которых, «панты», высоко ценятся китайцами как лекарство.

мертвечину чувствует.

Сидят это они у фанзушки и смотрят. Вот как подул рассветный ветерок, с соседней сопки ворон: «Кар-кар!», – снялся и летит прямо на восход. Далеко где-то в тайге сел. Через час другой: «Кар-кар!», – и опять на восход.

«Мало, – думают, – третьего подождем».

Так и вышло. Как только солнце показалось, видят, летит третий ворон на восход и садится на высокую макушку.

– Ну, – говорят, – теперь пойдём! По запаху его нашли. Ветер вывернул кедровник над ручьем, а под карежиной он и лежит. Совсем попортился. И на черепахе две раны: пулевая дырка и шрам от топорика, с которым охотник в тайге не расстается. Рядом в чаще и самый топорик под хвоей. На железе-то стерлись, а на рукояти – пятна.

Поговорили мы со старшинкой и решили не звать молодого Кун Си, а зайти к нему самим, как бы в гости. И топорик этот самый под полой захватили.

Пришли. Поговорили. Трубочку выкурили.

– А где, – говорю, – Кун Си, твой топорик?

– Какой такой топорик?

– Да вот, с которым зимой в тайгу ходил.

– А!.. Таежный... На дворе, должно быть, валяется!.. – а сам, подлец, хоть бы хны!.. Даже не сморгнул. Только в припухлых щелках эдакий, знаете, моментальный блеск пробежал и потух...

– Да в чем дело, – говорит, – я его сейчас принесу...

Принес.

– Гм! Это ты с ним на прошлое зимовье ходил? Что-то он у тебя, паря, больно новый?

– Нет, – говорит, – не с ним... Я старый где-то в тайге обронил... – и все-таки, вижу, не выдержал: сереет.

– Ишь ты, – говорю, – а это случайно не твой? – и показываю ему, топорик-то.

Так в жизни я не видел, чтоб человек так в один миг менялся: помертвел, знаете, тут же на глазах! .. Ну, упал в ноги и признался: «Убил братку!»

– Ай-яй-яй!.. – говорю. – Пу-хо, ходя! Тебя тоже убьют! Как же это ты так? А?.. Ведь свечки-то со стариком курил?

– Курил.

– Предкам молился?

– Молился.

– И клятву давал, что браткой будешь?

– Да, давал!

– Так как же у тебя, ходя, рука-то на братку поднялась?

– Он сам, – говорит, – виноват. Он – трус!.. Мы вместе шли, когда

меня зверь залапил, а братка взял да утек. Ну, я – парень крепкий, вышел живьем. Много солнц потом в оврагах отлеживался, чуть не сдох с голода и холода. А как собрал силы, пополз к фанзушке. Смотрю, мой братка на пороге сидит да еще мою собственную трубку, подлец, курит! Тут я ему свинца в голову и пустил. Только рука за болезнь ослабла. Пришлось топориком кончить. Я, – говорит, – знаю, что мне за это смерть. Но если мы с ним после смерти встретимся, так я ему и на том свете пулю в лоб пушу, чтоб не смел, трус, с другим браткой в кумирне свечи курить!..

Снял халаты: действительно, на боку так вся звериная пятерня и отпечаталась... Да-с, вот тут и суди!.. Что ж, я считаю, он был прав. Я-то не сомневался, что он не врет, только как доказать?..

Опять послали следопытов на место, но, конечно, никаких следов уже не осталось. А закон тайги ясен: за убийство братки – смерть и лютая пытка.

– Ну, – говорим, – ты сиди, Кун Си, в селе и жди. Вот подойдут старшинки, тогда посудим. Только не вздумай удирать: все равно найдем!..

Приставили следопыта-орочена, чтоб следил, как дух, за каждым его шагом. И все-таки он удрал, да мы его вытащили в шаланде из-под морской капусты. И второй раз удирал: выследили в тайге. Тогда, как настоящий китаец, он смирился и даже перед смертью привел в порядок все хозяйство.

На суде я пытался было его защитить, да ничего не вышло. Закон тайги ясен. Статей в нем мало; снисхождений никаких: за смерть полагалась смерть. А тут, конечно, вина еще увеличивалась: ведь старик-то принял убийцу в дом, облагодетельствовал, можно сказать...

Так и закопали парня живым в землю, головой наружу. Все село на казнь бегало. Говорят, даже не боролся, когда сажали в яму... должно быть, вина дали...

Я-то не был, а ночью не выдержал. Взял винтовку и пошел в тайгу через падь, верст за десять, за последние поля. Ночь, помню, ясная: полнолуние...

Вышел на полянку, где его закопали, смотрю, – а голова со срезанной косой еще живет: левый глаз на меня блестит. И вместо правого – одна черная дыра: ворон выклевал! Тут же, рядом, сволочь, на дощечке сидит⁸!.. Даже помереть не дал!.. Подхожу, а он эдак бочком, бочком в сторонку... Сел в десяти шагах и так злобно на меня: «Кра-кра-а!..»

Тут я взбесился. Ну, думаю, будь что будет! Вскинул винтовку, – бац!.. бац!.. – первую пулю ворону, чтоб не улетел, стерва, вторую бедному Кун Си, прямо в висок, навывлет, пускай не мучается. После боялся: заметят. Уж и расправились бы они тогда со мной по-таежному! Да, видно, Бог упас.

⁸На казненном китаец ставят табличку, на которой в назидание прохожим написано его имя и преступление.

Волки, однако, помогли...

Капитан Вассер вздохнул, помолчал и взял с дивана свою фуражку.

– Пойду-ка взгляну на барометр... – сказал он, вставая.

Уж этот мне па-а-аршивый уголь!

1924 г.

Опубликовано: Щербаков М. Корень жизни. Шанхай, 1943.

Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 110–118.

ДЖОННИ, МОЛОДОЙ МАМОНТ

«Туземцы Сибири рассказывали мне, что на утренней заре, вблизи рек и озер, им доводилось замечать некое существо, именуемое «Маттон». Однако этот «Маттон», приметив их, стремительно бросался в воду, и вообще днем отнюдь не бывает видим».

John Ranking. «Исторические изыскания о походах и охотах монголов и римлян». Лондон. 1826 г.

– Хотите купить молодого мамонта? – спросил человек с затекшим глазом.

– То есть его клыки? – поправил я.

– Да какие там клыки! – обиделся мой гость. – Я вам говорю: живого молодого мамонта.

– ?!!

– Чего вы уставились? Я не пьян... А знаете, с вас бы я дешево взял... Конечно, стоит только заикнуться какому-нибудь американцу, так он с руками оторвет, да уж очень жалко загонять Джонни чужим.

– ...

– Да, да! Все это я отлично знаю, читал сотни раз! Это верно, что они вымерли: у меня случайный... Серьезно, купили бы, а?.. Мамонт – первый сорт. Можете хорошо заработать...

Человек с затекшим глазом вынул из кармана своих брюк, сшитых из оленьей замши, пожилой клеенчатый бумажник.

– Вот, – протянул он плохо проявленную пленку жилетного кодака, – это вот – Джонни, а рядом – коряк-проводник. В кухлянке. Я их снял, когда мы возвращались.

При желтом свете мерно качавшейся каютной лампы я увидел слабый негатив. На сером фоне выделялись длинные нарты. Рядом с ними стоял человек, а впереди, превышая в полтора раза его рост, виднелся расплывчатый силуэт мохнатого слона с длинными спирально загнутыми вверх клыками. Действительно, такой шерсти и таких бивней не было ни у одного из современных животных. Но мамонт, запряженный в нарты, да еще рядом человек в кухлянке! – Я очень подозрительно посмотрел на гостя.

Наше знакомство с белобрысым Яном Довейсом завязалось неважно. Для начала он безбожно надул меня, променяв крохотную облезлую сиводушку за полусотню берданочных патронов, фунт пороха и два «старичка»⁹. Я тогда был еще совсем новичком в пушных делах.

Сунув добычу в мешок из нерпичьей кожи, он быстро спустился в свою долбленку, отвалил от шхуны и загреб к берегу единственным веслом о двух лопастях. Когда же на следующий день у борта снова оказался Ян, мечтавший повторить выгодную сделку, то шхуна встретила его очень нелюбезно, и валкая душегубка отчаянно закачалась на волнах, хлебнув до половины воды из корабельного брандспойта.

Впрочем, Ян скоро раскаялся и предложил мне мир, прислав в подарок отличные торбаза¹⁰ с пестрой вышивкой и банку янтарного порошкового варенья.

Все это происходило в северном углу Охотского моря, примерно в десяти днях восьмиузлового хода от ближайшего порта. В тех местах людей гораздо больше интересует сколько у вас спирта, чем ваша родословная. Расспрашивать о таких вещах считается даже неприличным, так как большинство пришлых людей попали сюда не иначе как по суду.

Поэтому, разговаривая с Яном, я избегал этой скользкой темы и долго не знал, кто он такой. Местные камчадалы, коряки и тунгусы звали его просто «Иван Иваныч». Сначала Ян говорил со мной скверным цокающим говором, вставляя кстати и некстати чуть ли не в каждую фразу словечко «однако», но я скоро заподозрил в нем интеллигентного человека. Он вспыхнул под своим сандаловым загаром, а затем, посмотрев мне в глаза твердым и острым взглядом, утвердительно кивнул головой и заговорил уже обычным языком.

Часто, когда во время летних штилей наша «Наяда» еле колыхалась на длинной волне трехсаженного прилива и корейцы-рабочие лениво грузили в кунгасы тюки мануфактуры, табака и кирпичного чая, Ян подходил на долбленке к шхуне и за стаканом виски, которое он очень любил, рассказывал в моей каюте о сибирском северо-востоке.

С одной стороны залива виднелись серые скалы, переходившие выше в конические сопки, на которые тяжело налегали тучи, будто сплошное серебристо-сизое тесто, с другой – тянулся низкий желтый берег, безотрадный и плоский, с воздушной цепью гор, затерянной на горизонте.

То и дело над самой мачтой пролетали большие морские птицы, совершенно не пугавшиеся людей. Из воды то высовывались, то снова пропадали глупые черные и как бы обсосанные головки нерп, чьих детенышей, оставшихся в лужах после отлива, мы ловили голыми руками. На всем побережье нельзя было различить и в бинокль следов человека.

⁹ Полбутылки японского спирта.

¹⁰ Торбаза – высокие сапоги из оленьей шкуры.

Даже «поварни» – высокие избы на сваях, где летом во время хода коптят рыбу, – были скрыты скалами с щетиной прилегших к камню бурокрасных кустов, напоминавших шерсть тех самых мамонтов, о которых заговорил Довейс.

– Видно, Ян, ванна из брандспойта вас не вылечила!

– Думаете, вру?.. Ну, конечно!.. Напрасно заводил разговор....

– Послушайте, но живой мамонт в наши дни – ведь это же абсурд!

– Абсурд? – Ян презрительно хмыкнул и показал на свой затекший глаз. – Видали? Так вот, этот самый «абсурд» чуть не оставил меня без глаза... Да вы читали про опыты Бахметьева?

– Какого Бахметьева? Того профессора, который воскрешал перед революцией в Питере замороженных карасей и лягушек?

– Вот, вот... Но не одних только карасей, а даже теплокровных сусликов. Я сам видел студентом. Потом он начал опыты и с обезьянами да умер.

– Так причем же тут мамонт?

– А вот при том!.. Э, да чего языком трепать: вы же все равно не верите...

– Ладно, ладно, друг мой, нечего ломаться! Рассказывайте толком. Так и быть, поставлю вам виски!..

– Видите ли, – начал Ян, наблюдая, как в стакане побежали вверх серебряные пузырьки газа, – я перезимовал здесь три зимы. Это уже марка. Если за этот срок вы не спились, то, наверное, навидались разных разностей.

Я смотался из Владивостока, как только там появились первые большевики. Забился в угольную яму на «Симбирске» и вылез только после Хакодате, где они уголь грузили. Ну, что ж? Не выбрасывать же, в самом деле, парня за борт! Капитан выругал, боцман как следует поучил концом, а потом поставил драить палубу. После десяти дней плавания меня высадили на первой же стоянке. Ничего: нашел тут земляка-латыша и стал ездить с его товарами в разъезды на «собацках». Потом мало-мало оперился, завел и свою запряжку.

Ян остановился.

– Вы о Колыме слышали? – прищурил он свой затекший глаз.

– Да, слышал кое-что...

– Ну, так вот. На вторую зиму я решил туда обязательно пробраться. Раньше я доезжал до Станового хребта и научился кое-как болтать по-корейски. Так что до перевалов я рассчитывал дойти довольно легко.

– Позвольте, – перебил я, – но ведь на Колыму пробираются, как я слышал, гораздо более с юга, от Олы?..

– Да нет, это раньше так делали. А лет пять назад на Ольском пути случились осенние палы. Весь олений мох в горах сожгло. Ведь туда на «собацках» не проедешь: или корм для них вези, или товар на мену. Только на оленях и можно. Теперь южную дорогу совсем забросили.

Я с Наяхоны и тронулся. Нанял тунгусов-проводников, забрал в кредит у земляка товаров и спирта, и, как только выпал снег, двинулся по тропам. К весне я думал добраться через хребты до верховий Каркадона, а там, когда вскрыется, спускаться на плоту до самой Колымы. Так всегда делают. Ведь от Охотского моря до Нижне-Колымска и напрямки-то чуть не две тысячи верст, а если считать тропами!..

Он махнул рукой.

– Конечно, дело тут было вовсе не в товарах. Мне хотелось пробить постоянный путь на Колыму, чтобы наладить туда правильный транспорт. Ведь тот, кому это удастся, станет богачом, настоящим миллионером!.. Подумайте только: снабжать целую область, набитую битком пушниной, у которой нет ничего своего, кроме оленей, морошки да этой паршивой «юколы»¹¹. Область, которая годами отрезана от всего мира! Ведь даже от Иркутска, где проходит ближайшая железка, надо сделать тысяч пять верст на лошадях, оленях и собаках, чтоб туда попасть. Да еще ехать через Верхоянск с морозами в 60 градусов! И только зимой – летом везде болота. Морем же, через Берингов пролив, путь свободен от льда только раз в три года¹²...

Ян заметно оживился.

– Ну-с, я пропущу подробности. Зима стояла скверная: вьюги, бураны, и мы продвигались много тише, чем я рассчитывал. Все же до Станового мы добрались благополучно, но на самых перевалах мои три проводника вздумали бунтовать.

Началось с того, что ночью тунгусы стащили с моих нарт пару банчков и наладились спиртом, как звери. Я рассердился и набил им морды. Они как будто сдрейфили, но урок не подействовал. Вы сами видели: тунгусы – народ тихий, забитый, пока не дорвались до первого банчка, но за второй пойдут отца резать. На другой день – опять кража. Тут я совсем обозлился. Зову ихнего старшинку Ивкава, а он мне вдруг:

– Ты, – говорит, – уркан (парень), шибко дерешься! Иди один. Мы с тобой больше не пойдём!..

Я сначала ушам не поверил, но проклятый спирт сделал свое дело. Пьяные щелки тунгуса смотрели тупо и упрямо. Оба моих винчестера, из которых они шутя снимали белок с макушек листовенниц, были у них, а

¹¹ Юкола – вяз Сибири.

¹² Действие рассказа относится к первым годам революции. Теперь, ценою тысяч жизней заключенных в «концлагерях», проведен тракт, соединяющий Охотское побережье с Колымской областью. Кажется, была так же нерегулярная воздушная почта.

кругом – одни сопки да снег.

Я подумал, подумал, а потом начал уговаривать, наобещав каждому по десятку банчков, когда вернемся. Но негодяи отлично понимали положение и требовали сейчас же спирта. Особенно меня бесило, что эти обезьяны устроили революцию тогда, когда труднейшая часть пути осталась позади.

Вы знаете, я – человек упорный. Бросать свой план из-за каких-то тунгусов я не хотел, и решил тогда, что пойду на Колыму один, если даже они сбегут.

Весь этот день мы простояли на месте, а ночь я не спал напролет, приготовив под кухлянкой револьвер. Так и думал, что негодяи удерут, прихватив мои нарты со спиртом и патронами. Холодная ночь была. Хотелось плюнуть на все и заснуть хоть на час. Но я отлично видел, что тунгус у костра только притворяется спящим.

Днем, едва забрезжил поздний рассвет, проводники попили, не торопясь, «цайку» и пошли собирать оленей, отпущенных пастись. Я подумал, что протрезвившись, они взялись за ум, но не тут то было.

Ивкав подошел ко мне и начал опять требовать спирт.

Я показал ему наган, сказал: «Аттэ!» (нет), – и послал ко всем тунгусским чертям. Ну, сами посудите, как бы меня приняли в Колыме без спирта? Да меня бы каждая баба засмеяла!.. Так я и остался в горах с одной нартой и одним оленем...

Ян помолчал и выбил трубку о каблук.

– Да... Сначала жутко было одному. Как сейчас помню первый спуск по леднику. Щели какие-то, промоины, ямы – того гляди шею свернешь. А кругом – тишина и лед, и ни одной живой души на сотни верст кругом... Разве пурга завоет, да прогрохочет где-нибудь обвал.

Морозы стояли трескучие, но как только я спустился с главных хребтов, ветра стихли. Снега в тот год выпало мало, и мой олень легко откапывал себе копытами мох, пока я спал под какой-нибудь скалой.

На мое счастье, я захватил с собой карманный компас, двадцать белок отдал в Наяхоне, – а то не знаю, как бы я выбрался из этих сопки. Только перевалишь одну, – глядишь, впереди, под самыми тучами, торчит новая, и в долинах между ними – хвойные пролеси со всяким зверьем.

Еще в Наяхоне мне говорили, что за хребтами, не доходя Каркадона, кочуют по тайге несколько родов оленных коряков. И правда, пройдя с десяток дней, я заметил под вечер дым над лесом.

Там стояло кочевье из восьми больших юрт.

Не знаю, кто из нас больше обрадовался, – коряки или я. Они уже больше года не видали русского и не нюхали спирта. Не успел я остановить оленя, как меня подхватили под ручки и повели в юрту к «тойону» – старшинке рода, беззубому старику с провалившимся носом. Там ведь целые кочевья больны сифилисом. К ночи все стойбище

нализалось в дым, а на следующий день начался большой праздник. Сначала парни гонялись на оленях и боролись в снегу, а потом девки – некоторые очень смазливые, только уж больно грязные, – пели песни и щеголяли в праздничных кухлянках, пестро расшитых мехом выдр и бисером. Праздник кончился пиром, для которого закололи и сварили самого жирного оленя из стада в несколько тысяч голов, принадлежавшего кочевью, а голову с рогами выставили на высоком шесте около юрты старшинки.

Все эти номера я видел и раньше, но вот что меня задело, так это обряд вроде шаманского «камланья». Надо вам сказать, что накануне моего приезда сын старого тойона убил волка, который считается слугой злого духа. Значит, следовало успокоить и самого дьявола, и душу убитого зверя, а то еще начнет отпугивать дичь от охотника.

Для церемоний пьяный старик, пошатываясь на тощих кривых ножках, одел свою «кагаглю». Это такая короткая оленья рубашка. Она сшита мехом внутрь, окрашена в кровавый цвет ольховым отваром и вся расшита лентами, бисером и железными побрякушками. Потом он достал бубен, – так, аршина в полтора в поперечнике, – тоже весь увешанный бубенцами и всякой дребеденью, и начал ходить вокруг костра посередине юрты. За его спиной болталась шкура убитого волка, на голове вместо шапки торчала волчья морда. Вся семья сидела кружком на звериных шкурах и глазела на тойона.

Так он ходил молча минут десять. Потом ударил в бубен, ответивший глухим рокотом и забряцавший железками, и затянул грустную гортанную песнь, расхваливая убитого волка и умоляя его не сердиться. Все кругом начали качаться в лад тягучей песни, подхватывая припев.

Бубен рокотал все громче и чаще. Голос старика окреп и зазвучал, как приказ. Шаги его ускорились. Он не то бежал, не то приплясывал с удивительной для его лет легкостью. Чудилось, что сам костер понимает старика и желтые языки его пляшут и припадают под удары бубна, бросая кровавые отблески на полога из кож. Вот одна из ездовых собак завyla на воле, подхватив песню, и ей сейчас же ответил целый хор жалобных, истошных голосов. Точно все волки Севера справляли поминки по убитому брату...

Не знаю, как это вышло, но от непривычного чада и этого воя у меня закружилась голова, куда-то поплыли и шаман, и качавшиеся, как маятники, скуластые морды. В конце концов я сам начал качаться и подвывать старику. И ведь вся эта морока шла битых четыре часа, пока шаман не выбился из сил и не свалился с пеной на губах за полога. Черт их знает, как они это делают! Гипноз, что ли...

Ян остановился и потянулся к стакану.

– Ну-с, когда старик отошел и праздники кончились, я переговорил с ним о делах; раньше – это была бы кровная обида. И, знаете, что

оказалось? – Или меня надули негодяи-тунгусы, или я сам потом сильно заплутался, но вышло так, что я забрал много дальше на восток и что теперь стало выгодней идти уже не на Каркадон, а на Омолон, и спускаться до Колымы по этому притоку.

С тойоном мы быстро сговорились. За патроны и банчки он дал мне в проводники двух своих сыновей, вместе с нартами и оленями, так что со стойбищем мы расстались закадычными друзьями.

Как мы оттуда шли, я не смогу сказать. Вся эта область к северу от Станового обозначена на картах просто белым пятном. Мы то пробирались по сопкам, покрытым хвойным лесом, то ехали целыми днями по дну узких долинок. Летом по ним не пройти; все пади – сплошное болото.

Моими новыми проводниками я не мог нахвалиться. Это были простые, честные парни, на которых можно было положиться. Я особенно подружился со старшим, Чейло, после того как снял пулей подраненную рысь, прыгнувшую к нему на плечо прямо с кедра.

Как-то утром, только мы двинулись с ночевки, Чейло поглядел вокруг и что-то крикнул Чейвину, прокладывавшему путь впереди нарт. Я не понял, а они оба засмеялись и остановили оленей.

– Богата наша земля, эреки (друг)! – сказал Чейло. – Чего-чего только нет: белка, песец, соболь, чернобурка... А желтое железо! Столько его по нашим ручьям валяется. Только брать нельзя: шаман не велит. Когда в тайге кто найдет – обратно зарывает. Потому оно большую беду несет. Русские пронюхают – сейчас придут. Русские придут – корякам пропадать. Сейчас пьянство пойдет, белка скочует, бабы загуляют – вот как в Охотске, у тунгусов... И не только пушнина с желтым железом, есть у нас немало и другого... Ты, эреки, – хороший человек. Мы тебе тут одно место покажем. Старое, тайное место. Ночью так сам шаман не придет: духов боится. Однако не сердись: спусти-ка шлык от кухлянки на глаза: я тебя за руку поведу.

Я послушался, и они повели меня в сторону, по сопкам, петлями, чтобы сбить с направления. Наконец Чейло сказал:

– Теперь смотри!

Я поднял шлык. Прямо передо мной высился обрыв в десяток саженой высоты, берег замерзшей речки. Со стены склонялась старая корявая лиственница, вся обвешанная вылинялыми и драными лентами, обозначавшими святое место. От солнца и ветра снег на гребне обледенел и свисал навесом. И вот под ним-то, на самом срыве, я и заметил торчавшие из желтого мерзлого песка кривые пни и бревна. Так, по крайней мере, мне сначала показалось. Их было очень много.

Я посмотрел вниз, к подножью. У самой речки лежал какой-то черный и большой обломок, полузасыпанный снегом, точно остов вельбота с ободранной обшивкой. Из сутроба торчали вверх одни голые ребра. Всю долинку, насколько хватал глаз, покрывали такие же странные

обломки.

– Что это? – спросил я проводников.

– Это – наши предки, – тихо ответил Чейло. – Было время, когда мы, коряки, росли могучими великанами. Но прогневался Великий Дух, Аннанэль. Он истребил великанов. Мы стали рождаться маленькими и слабыми. Потом Аннанэль наслал на наш край русских. Кости предков остались по всей нашей земле, а здесь, говорят, было их самое большое стойбище.

И тогда я понял, что передо мной не пни и бревна, а костяки каких-то допотопных животных. Я быстро пошел к обрыву и споткнулся об одну из кочек. Это был наполовину вмерзший в землю череп мамонта с завитыми вверх клыками, которые весили много пудов. Конец одного обломался, и под темным слоем коры виднелась желтая, как сливочное масло, старая слоновая кость.

В этой затерянной долинке хранился богатейший клад. Десятки нарт не смогли бы вывезти тех бивней, которые начиняли песчаные срывы или просто валялись на земле, вымытые речкой из соседних холмов.

Коряк понял мелькавшие в моей голове мысли. Он подошел, положил мне руку на плечо и сказал:

– Пойдем, эреки! Русскому здесь не хорошо... Ты думаешь, Чейло – дурак, Чейло не знает, сколько ружей и спирта можно взять за эти кости?.. Только трогать нельзя. Это место святое. Это наши предки. Ничего отсюда нельзя брать. Пойдем лучше...

Я посмотрел на ставшие строгими лица коряков и понял, что уговаривать их нечего. Мы прошли еще немного по речке. На повороте мне попался длинный вдавленный череп вымершего сибирского носорога со страшным наростом впереди. Многие из мамонтовых клыков отлично сохранились, да и самые костяки купил бы за бесценные деньги любой из музеев. Но уже падали ранние сумерки, и коряки заторопились к нартам. Скрепя сердце, я опять надвинул шлык на глаза. Обратно меня повели уже другой тропой.

Ян остановился и набил трубку.

– Видите ли, – продолжал он, пыхнув крепчайшей «маньчжуркой», – мне и раньше болтали о каких-то песчаных холмах к северу от Станового, набитых мамонтовыми костями, только я думал – врут. Долго я ворочался на следующую ночь и, признаюсь, совсем уже решил спровадить проводников к их предкам, найти этот овраг, нагрузить нарты клыками и повернуть к морю. Но утром, взглянув на славную грязную рожу Чейвина, рубившего топором кирпич чая, я понял, что все это не так просто, как мерещилось ночью. Просить коряков было бесполезно: я чувствовал, что они не выдадут тайны. Оставалось только заметить это место, чтобы попозже вернуться...

– И что ж, вы заметили? – прервал я Довеяса.

– Да-а-а, конечно... – уклончиво протянул Ян. – Кое-где в тайге зарубок понаделал... Только найти трудно: тайга велика... Ну-с, – продолжал он, – после этого мы опять потянулись на север. Но теперь солнце стало выше забираться на небо, дни сделались много длиннее и временами начали налетать весенние бураны. В полдень на полозьях появлялись подтипы. Они сильно задерживали: приходилось то и дело останавливаться, опрокидывать сани и счищать наледеневший снег. Горы и холмы остались сзади. Мы ехали теперь то тайгой, то тундрой. Через четыре недели быстрой езды мы добрались до какого-то притока Омолона, спустились по нему до самой реки, и стали ждать, когда тронется лед. Вот на этой стоянке я и нашел Джонни. Собственно говоря, он сам ко мне пришлыл.

Там, где мы вышли на Омолон, это была уже мощная, широкая река с частыми порогами. Срубив легкое зимовье, мы начали валить деревья, чтобы связать плот. Крутом была дремучая тайга с вековыми кедрами, кишевшая всяким зверьем. Весна была на носу, и по всей тайге шел какой-то гуд. По ночам мы слышали, как за несколько верст дрались самцы-лоси.

Удивительное, знаете, это время за Полярным кругом! Весь Север сразу оживает. Целые дни ходишь пьяным, а зверье так совсем бесится. Потом начнется ледоход, треск по реке подымется все сильнее, сильнее, точно из пушек палят. Лед взгромоздится к берегам, потрескается посередке и медленно двинется к Ледовитому Океану...

Как сейчас помню: в конце мая я пошел за росомахой и забрел к ближнему порогу. Он был, так, в версте выше нашего становья. На реке шло настоящее столпотворение: глыбы неслись по течению, застревали на перекате, на них напирали новые, вылезали кверху, и на пороге получился высокий ледяной затор. Но вода уже промыла себе в одном месте широкую дорожку и падала с ледяной стены водопадом. А с верховья плыли все новые глыбы, важно поворачиваясь и колыхаясь на ходу. Может быть, их несло с тех самых гор, по которым я путался с тунгусами. На одних лежали целые кедры, упавшие за зиму, в другие были вморожены большущие валуны. Все это двигалось под молодым весенним солнцем, искрилось и мешалось. Север совсем оживал.

Тут я обратил внимание на большую желтую льдину, под рыхлой коркой которой мне почудилось что-то темное. Вертясь в мутной воде, глыба шла к затору как раз против того места, где я стоял. С полного хода она треснулась о стену, подпрыгнула боком и встала. От удара верхушка ее обломилась и тут же пропала в водоворотах.

И знаете, что я увидел под свежим изломом? Чей-то громадный горб со свалывшейся шерстью. Он выпирал целым куполом из-под льда. Я сразу же бросился к нему, но оступился и растянулся ничком. Прямо под собой я увидел сквозь лед морщинистый хобот и конец бивня... Это был мамонт!

Господи, как я несся тогда к нашей стоянке! Еще бы, даже

знаменитый мамонт Петербургской академии наук и в подметки не годился моему. Вы помните, дойдя до Лены, экспедиция нашла уже изглоданную волками развалину, а мой был целенький, свеженький, как мороженный поросенок из рефрижератора.

На мое счастье, коряки были в зимовье. Я крикнул им захватить топоры и ремни, и мы помчались обратно к ледяной плотине. Ведь она каждую минуту могла поддаться напору воды и унести мою находку. Надо было как можно скорее прикрепить глыбу к берегу.

Но я боялся напрасно: и затор, и глыба с мамонтом оказались на месте, хотя ледяная плотина трескалась и разрушалась на наших глазах. Мы осторожно подобрались к мамонту и быстро обкололи с одной стороны рыхлую непрозрачную корку. И вот сквозь лед, будто сквозь зеленое стекло аквариума, я увидел, что мой мамонт был не один.

Рядом с ним лежал, свернувшись клубочком, второй, маленький мамонт, ростом в крупную лошадь. Я сейчас же подумал, что это мать с детенышем. И тут-то в первый раз мне бросилось в глаза их сходство с теми замороженными животными, которых я видел студентом при опытах Бахметьева.

Я решил бросить слишком громоздкую мамонтиху и мы, как черти, принялись в три топора обкалывать лед вокруг слоненка, чтобы достать его целиком, без всяких повреждений.

Да, веселая была работа. Скользя по мокрым льдинам, Чейвин чуть не утонул, угодив в полынью. А между тем затор размывало все сильнее. Кое-как мы освободили из-под льда оба клыка детеныша и, захлестнув их ремнем, накрепко принаитовили к толстому прибрежному кедру. Я все беспокоился, как бы не сдали наши ремни или его клычки, если затор прорвется сразу. Чтобы совсем отделить детеныша, мы начали врубаться в глыбу. Тут коряки предложили разложить костер, но едва мы успели оттаять небольшую выемку, как под ногами у нас раздался сильный треск. Вся ледяная плотина дрогнула и заходила ходуном. Мы бросились к берегу, а глыба с мамонтами поползла вперед. Наши ремни натянулись и задрожали от натуги. Потом, описав четверть круга на привязи и разогнавшись по течению, она с силой ахнулась о береговые скалы. Глыба от удара треснула и раскололась по нашей выемке. Мамаша-мамонт отправилась в дальнее плавание, а мамонтенка крепко держали наши ремни.

Ян откашлялся, и, потянувшись к бутылке, вылил остатки виски в свой стакан.

— Тогда мы передохнули. Уже смеркалось. Мы разложили костер, поставили балаган, нарубив ветвей, и начали сушиться. Чтобы окончательно закрепить находку, я послал Чейвина в зимовье за новыми ремнями. Дождаясь брата, Чейло быстро захрапел, а я, несмотря на усталость, сидел и смотрел в огонь.

Вздорные мысли лезли мне в голову. И чем дольше я размышлял, тем сильнее становилось искушение попробовать вернуть к жизни этого зверя.

Прежде всего, насколько мы видели сквозь лед, оба мамонта сохранились в глыбе без всяких повреждений и, судя по их спокойным позам, замерзли незаметно и без страдания. Как же это могло случиться? Да, вероятно, спасаясь от бурана, они забрели в какую-нибудь трещину или пещеру в ледниках среди гор, лежащих южнее. Там они, должно быть, и замерзли, может быть, даже во время сна, а потом отверстие или обвалилось, или в пустоту натекла ледниковая вода. Так они и пролежали целые тысячелетия, замурованные в толще ледника, как в холодильнике, пока этой весной какая-нибудь лавина не оторвала всей глыбы и не докатила ее в реку.

Но если действительно жизнь в этих гигантских телах останавливалась постепенно и безболезненно, то почему надо было обязательно думать, что они умерли? Разве вместо смерти у них не могло наступить то среднее состояние, которое профессор Бахметьев окрестил «анабиозом»? Да вот простой пример: возьмите хотя бы зимнюю спячку медведя, тушканчиков и многих других теплокровных животных. Во время нее они ничего не едят, не пьют и почти не дышат. Это не жизнь, но и не смерть: что-то среднее, и Бахметьеву удавалось по желанию то замораживать, то снова воскрешать не только лягушек и карасей, но даже и млекопитающих сусликов.

Значит, если взять моего мамонта, то разница была лишь в размере животного и в том сроке, который эта спячка продолжалась. У Бахметьева были маленькие суслики и спали они по несколько месяцев. У меня же был мамонт, проторчавший во льду, наверное, много тысячелетий. Но сущность-то оставалась той же: ведь во время анабиоза вся жизнь, весь обмен веществ в организме идет с неуловимой медленностью или даже совсем замирает.

Я постарался припомнить, как ставились опыты, но все это было так давно. Я только твердо помнил, что Бахметьев отогревал своих нежитей очень медленно и осторожно в особых грелках. Значит, и мне следовало, по возможности, действовать так же.

Конечно, у меня не было даже самого простого градусника, но у меня была вода, чтобы не дать ледяной корке стаять неравномерно, и сколько угодно дров, чтобы его постепенно отогревать.

Чейвин, вернувшись с ремнями, прервал мои думы. Мы разбудили его брата и провозились всю ночь, пока не отвели мамонтовую глыбу в маленький затончик, где и затопили под водой, чтобы защитит от резких перемен температуры. Потом мы завалились спать и проснулись только к вечеру. Зато весь следующий месяц мы спали мало.

Наступал июнь; ледоход на реке скоро кончился. Вода вошла в берега, и затончик, в котором оттаивал мамонт, оказался просто большой

ямой, окруженной старыми лиственницами. Пока на туше оставался хотя бы тонкий слой льда, температура внутри нее не могла меняться, но льдина могла оттаять неравномерно с разных сторон. Поэтому, пропустив ремни под глыбой, мы перекинули их через соседние сучья и, подняв мамонта как на блоках, оттащили его в сторону. Работая топорами и ножами, мы осторожно скололи весь лишний лед. В конце концов перед нами висела грубая статуя слоненка, одетая в верхний слой чистого, как хрусталь, льда. Если бы вы видели, как она посверкивала при красном пламени костров!

Мы работали только по ночам, которые становились все светлее и короче, а на день опускали мамонта обратно в яму, чтобы не повредить ему припекавшим в полдень солнцем.

Теперь наступало ответственное время. Я целыми днями сидел у ямы и следил, как лед медленно сходит с нашей огромной сосули. Прозрачная кора становилась все тоньше. Сквозь нее уже пробивалась местами грубая красно-бурая шерсть. Затем на хоботе и ушах лед сошел совершенно. Тогда мы повернули тушу так, чтобы конец хобота высовывался из воды. На ощупь он стал как будто более упругим.

Я подождал еще двое суток. Наконец, корка стаяла везде. Тогда я приказал корякам подвести под мамонта сшитые оленьи кожи, мы осторожно подняли его на ремнях, дали немного обсохнуть и подвесили над кострами, разложенными под деревьями.

Затем наша работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Мы натаскали целые горы валежника и все время подбрасывали его в костры, разложенные под зверем, который покачивался над ними, как ребенок в люльке, на своих ремнях. Я постепенно увеличивал жар костров, действующий на мамонта.

Так он прогревался у нас четверо суток. На пятую ночь все тело его стало тепловатым на ощупь. Хобот упруго сгибался в руках. Наступил критический момент: в эту ночь он или оживет, или достанется волкам.

Но к моему всякому огорчению, мамонт и не думал двигаться. Я сильно волновался. Ведь на моих глазах проваливался самый смелый опыт нашего века! И потом ускользало прямо-таки между пальцами целое богатство... С каждым часом этой белой ночи мне становилось все обидней.

Наконец наступила полночь. Солнце на несколько минут скрылось за чертой леса, а потом его край снова выплыл и стал набухать. В жидком белесом свете мамонт продолжал лежать мертвой тушей. Я отошел от костров и протер изъеденные дымом глаза. Все мои надежды показались теперь детским бредом.

– К черту! Заливай костры! – приказал я корякам.

Они посмотрели на меня с удивлением.

– А что, эреки, – робко спросил Чейло, взявшись за ведерко, – если

нам его покачать?

– Покачать?.. – переспросил я. – Зачем?..

– Ну, как человека, когда утонет... Небось, сколько у него воды в животе!..

Я так и подскочил. Ну, как же я мог забыть о воде, оставшейся в легких!..

– Хватай ремни! – крикнул я. – Раз!.. Два!.. Раз!.. – и мы принялись качать и подбрасывать слоненка. Потом мы опустили его на землю, повернули на спину и пока коряжки подымали и опускали его ноги, я несколько раз прыгал к нему всей тяжестью на грудь.

Подул утренник и накрыл нас едким дымом валежника. Я закашлялся. И вдруг мне показалось, что шерстистая грудь под моими ногами подымается... Я соскользнул на землю. Сквозь дым я увидел, как мои коряжки отлетели в стороны... Затем из зашевелившегося хобота прямо в костер вылетел целый фонтан воды. Мой мамонт чихнул, судорожно вдохнул воздух и грузно перевалился на бок.

Он все-таки ожил!.. Послушайте, – прервал Ян свой рассказ. – Нет ли у вас еще чего-нибудь? Что-то в горле пересохло... А-а, спасибо. Довольно, довольно! Да-с, знаете... Отличный оказался мамонт! Такой умный, ласковый, послушный. Я окрестил его «Джонни». Сначала был, конечно, слабоват после спячки. Больше недели отлеживался на ветках и все дрожал. Смотрит на меня этак жалобно своими буркалами, водит хоботом и тихонько посапывает. Точно хныкает. Видно, мать искал.

Ну, а потом обошелся: встал на ноги и принялся щипать травку и кусты с почками. Пока он лежал, я отпаивал его оленьим молоком, и он так ко мне привязался, что стал бегать по пятам, как собачонка. Ночью, бывало, пристроится поближе к зимовью, с того бока, где я спал, и все лазит хоботом посмотреть: здесь ли я. А когда подрос и стал ходить в тайгу пасть, то стоило мне крикнуть: «Джонни, сюда!», – как он несся ко мне, распутив лопухами уши и ломая осинки на пути. Подбежит, остановится рядом и сейчас хоботом в карман, куда я прятал лепешки... Да он у меня до сих пор очень ласковый, только уж зато и пуглив!..

Так мы провозились с мамонтом пол-лета. Конечно, спускаться с ним в Колыму было немыслимо. Я решил переждать на месте до снега, вернуться к Охотскому морю и оттуда на следующее лето пробираться в Америку. Представьте себе, какой бы там тарарам поднялся! Пустили бы без всяких виз... И потом тоже кусочек хлеба до самой гробовой закрывки, только вози его на показ из города в город.

К осени Джонни у меня совсем окреп и сильно вырос, и я начал приучать его таскать нарты. Это ему совсем не понравилось.

Видите, – указал Ян на свой затекший глаз, – как он меня изукрасил во время ученья... Ну, уж и нагорело ему тогда багром!..

Два дня после пропадал в тайге и все-таки вернулся, не выдержал характера. Так мы и пропутешествовали обратно через Становой: впереди проводники с оленями, а сзади – я с Джонни и с парой нарт цугом, да еще возом его сена. Как только мы перевалили хребты, я отослал коряков домой с подарками, чтобы не раззвонили здесь о мамонте. Так до сих пор никто о нем и не знает.

– А где же он теперь? – спросил я.

– Ишь ты, какой вы любопытный! – прищурился Ян. – Я его тут в одной пади спрятал. Ведь такую махину в карман не сунешь!.. Знаете что? Забирайте-ка завтра провизии суток на двое и жарьте ко мне на берег. Я сам его давно не навещал. Вот затрубит-то!..

– Я все-таки не понимаю, Ян, зачем вам его продавать?

– Видите ли, – наклонился ко мне конфиденциально Ян, – я уж вам, так и быть, скажу: вы все равно не покупатель. Продаю потому, что он слишком боится моря. Даже издали. Я сам этого не знал, пока не поехал с ним на берег. Лишь только послышался гул прибоя, Джонни насторожился и начал водить лопухами, а когда завиднелись волны, – Господи, что тут было!.. Задрал хобот, затрубил да как пустится во все лопатки обратным ходом!.. И сколько ни старался приучить, ни шпинта не выходит. Так, мамонт как мамонт, и слушается, и ласковый, а как увидит море – никакого слада нет. Может, вспоминает шум воды, когда замерзал...

Вот теперь и прикиньте, как его грузить на пароход? Ведь он раза в два повыше меня, и силища – как в хорошем автомобиле. А если забьется, чем его свяжешь. Да он всех перекалечит... Нет, видно, придется загнать... Не помирать же с ним в этом мерзлом краю...

Наверху, на палубе, пробили склянки.

– Батюшки, никак полночь! – встrepенулся Ян. – Ну и заболтался... Так, значит, до завтра!.. Обязательно приезжайте!

Он накинул свою клетчатую куртку и вышел из каютки. Я выглянул вслед за ним. «Наяду» покачивало. С берега шел крепкий норд-вест, и по волнам гуляли барашки.

– Оставайтесь-ка лучшие ночевать. Смотрите, какой ветер пошел.

– Ну, ерунда, у меня долбленка испытанная! – и Довеис поглубже надвинул кепку.

Наклонившись над фальшбортом, я проследил, как он сел в скакавшую по волнам душегубку, оттолкнулся веслом от шхуны и почти сейчас же пропал в обступившем нас мраке.

К рассвету барометр сильно упал. Стали налетать такие шквалы, что нам пришлось идти штормовать в открытое море. Там нас болтало двое суток, и за эти дни у меня не было досуга, чтобы раздумывать о мамонтах. Но когда ветер спал и «Наяда» отдала якорь на прежней стоянке, чтобы кончить выгрузку, мне ужасно захотелось проверить рассказ Яна. Я захватил провизии и отправился на берег.

Изба, которую нанимал Ян в поселке, оказалась запертой. Я спросил у соседей.

— А мы, однако, думали, Иван Иваныч у вас!.. Ветер застал, он и гостит... Уж не случилось ли чего? Вот грех-то, однако!

Мы поспешили на взморье. Живший около морской кошки камчадал уверял, что Ян вернулся на берег, но за последние три дня никто не видел его в деревне. Только через неделю старый пьяница Корнеедов нашел у бара на соседней речке опрокинутую и разбитую долбленку. Ее признали по выжженным буквам.

Так я никогда больше и не встретил Яна. Ясно, что, отыскивая его след, я перерыл все оставшиеся пожитки. В боковом кармане его праздничного пиджака оказался потемневший, зафиксированный отпечаток с того негатива, который Довейс показывал мне на шхуне. Скоро он и совсем почернел. Там же лежал оборванный уголок записки с тремя словами, нацарапанными карандашом:

«Кладбищ мам окол...»

Вот и все, что я смог найти примечательного. Мои поиски Джонни вокруг поселка не дали никаких результатов. Впрочем, я должен заметить, что у меня не было времени уходить далеко. Стояла уже поздняя осень, по реке шла шуга, и «Наяда» торопилась в обратный путь, наспех заканчивая выгрузку. А зазимовать в этом затерянном мирке я так и не рискнул.

1925 г.

*Опубликовано: Щербаков М. Корень жизни. Шанхай, 1943.
Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 118-126.*

КОРЕНЬ ЖИЗНИ

*Где женьшень, там и тигры.
Китайская поговорка*

Цзян-Куй убил Ли Фу-линя, женьшеньщика, вовсе не из личной злобы. Он даже не знал, что того зовут Ли Фу-линем. И, конечно, он никак не мог предположить, что найдет в фанзуске, под тряпьем, такой удивительный корень. Он действовал, как голодный зверь, который должен убивать, чтобы жить. Охота на «голубых фазанов» была его ремеслом.

Все это произошло потому, что оба смотрели на жизнь совершенно по-разному. Ли Фу-линь искал на северных склонах сопки, в таежных травах, высокие стебли женьшеня, а Цзян-Куй, хотя тоже искал женьшень, но делал это несколько иным способом. Каждый корешок приходилось искать неделями, иногда месяцами, а у женьшеньщика он нередко находил по несколько штук сразу. Это было куда проще. Но он все-таки избегал убивать зря и сначала долго выслеживал человека, определяя, стоит ли он того, чтобы его убить.

Так было и на этот раз. Цзян-Куй следил за Ли Фу-линем уже третьи сутки, следил осторожно и упорно: Ли Фу-линь был сам стреляной птицей и, кроме того, имел совершенно такое же пистонное ружье, как и Цзян-Куй.

Два последних дня Ли Фу-линь был особенно настороже, потому что, окапывая в пади один из найденных корней, он услышал не так далеко в кустах хруст сухой ветки. Он бросился на шорох, но никого не нашел. Если бы он прошел тогда на сто шагов дальше, то переселился бы к предкам на сорок восемь часов раньше: Цзян-Куй стоял за пробковым дубом и ждал его со взведенным курком. Но стрелять он мог только изблизи, наверняка, так как его ружье было очень древнее и заряжалось оно с дула. Промах же грозил смертью ему самому.

В общем, при равных шансах в смысле вооружения, у Цзян-Куя было одно несомненное преимущество: он знал, что ему нужно убить Ли Фу-линя, в то время как Ли Фу-линь только подозревал о его намерении. Поэтому убитым оказался не Цзян-Куй, а Ли Фу-линь.

Женьшеньщик сидел в это время в фанзушке на корточках перед костром и варил в котелке клецки из муки и отчаянно пахшего дикого чеснока. Для того, чтобы неслышно подкрасться к дыре, заменявшей окно, Цзян-Куй потратил почти час. Но он был терпелив и, как уже говорилось, никак не мог рисковать.

Наконец он просунул длинное дуло в окно и спустил курок. Ли Фу-линь, точно делая земной поклон, упал ничком, лицом прямо в костер. Сквозь пороховую гарь, наполнившую фанзушку, резко запахло паленым волосом. Цзян-Куй вошел, отпихнул тело в сторону, еще раз вскипятил клецки и съел их с удовольствием, так как был сильно голоден.

Потом он обшарил жилище и нашел под ложем из свеженарубленных еловых ветвей завернутый в мох, бересту и синюю тряпицу корень. Увидав, что это женьшень, он положил сверточек на пол, низко поклонился ему и пробормотал заклинание.

Это был совсем удивительный корень. Через руки Цзян-Куя прошло много женьшеня, но он и не думал, что таинственное растение может достигать такой величины. И тут ему вспомнились сказания о том, что женьшень способен расти сотни и даже тысячи лет. Корень был длиной более чем в четверть, и с него свешивалась густая борода мелких нитей-корешков. Весь же он до странности напоминал уродца с перевитыми и скрещенными ногами. Даже его тонкая шейка и сморщенная головка сверху туловища, от которой отрастает ежегодно весной надземный стебель, донельзя напоминали человеческие. Кроме того, это был мужской корень, о двух ногах, что еще более увеличивало его стоимость.

Цзян-Куй взвесил корень на ладони и начал прикидывать в уме возможную цену, но сейчас же сбился. В Хай-Шэнь-Вее торговцы

амулетами и лекарственными растениями поступали обычно так: на одну чашку весов они клали принесенный из тайги корень, а на другую сыпали золотой песок. Когда чашки сравнивались, они прибавляли еще столько же золота и передавали его продавцу. Но таким образом скупщики оценивали лишь мелкие гладкие корешки длиной в указательный палец и похожие на белый редис: такие покупались даянов по шестидесяти-семидесяти за штуку. Когда же попадался старый корень, напомилавший формой человека, то стоимость его возрастала непропорционально весу, как цена крупных бриллиантов.

Как-то в молодости, когда он еще не охотился на «голубых фазанов», Цзян-Куй видел корень, который купили, чтобы отвезти в Пекин самому богдыхану за одиннадцать тысяч даянов. Но находившийся в его руках был еще крупнее и еще больше напоминал человека.

«Одиннадцать тысяч больших, звонких, тяжелых серебряных даянов!..», – подумал Цзян-Куй, зажмурился и снова почтительно положил корень на пол.

Ему стало очень жарко. Он отодвинулся от костра, снял граненую черную шапчонку и вытер пот со своего бритого прокопченного черепа. Таинственный Корень Жизни жег ему руки. Из него точно излучалась та магическая сила, которую сосали, может быть, столетиями эти тончайшие мочки из недр земли. Какой сверженный маньчжурский принц крови или одетый в жесткие шелка старик-богач сможет купить его и настоять для себя на спирте всеисцеляющее лекарство, дарующее многолетие, зажигающее кровь старца силой и страстью юноши и делающее его высохшую кожу нежной и упругой, какой она бывает у молодой девушки?..

Цзян-Куй, казалось, видел, как Ли Фу-линь, лежавший теперь у костра с дыркой в затылке, медленно брел по росистой глухой пади, тщательно раздвигая заросли своим жезлом с железным наконечником. Вот он заметил высокий по пояс стебель, увенчанный зонтиком ярко-красных ягод, с продолговатыми пятипальными листьями, похожими на человеческую руку. Ли Фу-линь, вероятно, замер от восторга, отбросил свой посох, упал на колени и начал молиться волшебному растению, чтобы оно не скрылось в недра земли. Должно быть, помолившись, он быстро оглянулся – не следит ли кто за ним, но при находке присутствовала лишь туча таежного гнуса и комаров.

Затем, несомненно, он повесил на ближайшее дерево красную тряпицу с заклятьем, обращенным к духу гор, Шань-Е, который посылает тигра сторожить Корень Жизни, вылол вокруг стебля маленькую плешь, провел канавку от соседнего ручья и поселился в нескольких ли, отыскав чью-то брошенную фанзушку. Там он терпеливо дожидался в постах и молитвах, пока осенние созвездия займут счастливое положение, чтобы

вырыть Корень Жизни особой лопаточкой, вырезанной из оленьего рога. По-видимому, это случилось недавно: наново промазанные глиной стены зимовья еще сохраняли влажность.

Тут мысли Цзян-Куя повернули к его собственным делам. Нет, он не будет больше охотиться на «голубых фазанов», никогда не будет! Теперь это ему совсем не нужно. За драгоценный корень он сможет купить половину своей родной деревни, иметь жену и одну, двух, даже трех толстых, жирных наложниц и обедаться хоть каждый день вареными трепангами и плавниками акул... И после еды курить много-много трубок сладкого лучшего юньнаньского опиума...

Довольно били его линейкой белые черти в монастырской школе в Чифу! Довольно кричали на него, несчастного забитого бойку, русские мадамы в Хай-Шэнь-Вее, заставляя каждое солнце тереть лицо. Да и эта тайга, будь она проклята, где каждый охотится на каждого, а русские дураки не могут навести порядок и только бьют друг друга из пулеметов... Довольно с него тайги! Он переедет на шаланде залив и продаст корень в Хай-Шэнь-Вее. Нет, он лучше как следует спрячет его и довезет в родное Чифу: там дороже дадут... А все-таки уж не продать ли его в Хай-Шэнь-Вее? – ведь чего только не случается на море!.. Что значит для него теперь заработать на тысячу меньше?

Цзян-Куй точно напился ханшина от своих мыслей. Дом, наложницы, акулы плавники – все это лежало здесь, перед ним, завернутое в мох и синюю тряпицу. Костер дымил и ел глаза. Большой серый уж, живший в фанзе Ли Фу-линя и скрывшийся при громе выстрела, показался опять, переполз, шипя, через лицо прежнего хозяина и свернулся в уголке, повернув плоскую голову к костру.

– Как бы кто не заметил свет! – спохватился Цзян-Куй, вздрогнул и быстро распахнул непритворенную дверь в таежный мрак, в теплую сырую ночь, насыщенную шорохами. Но об этом ему следовало подумать четверть часа тому назад. Тогда, может быть, у него были бы и жены, и трепанги. Но Цзян-Куй опоздал затушить костер на целые пятнадцать минут, а тайга не прощает и гораздо менее значительные ошибки.

Кроме того, у Цзян-Куя было только два старых пистонных ружья, заряжавшихся с дула, в то время как Ким-кореец имел с собой отличную трехлинейку с обоймами на пять патронов. И поэтому теперь преимущество оказалось уже не на стороне Цзян-Куя, хотя оба они на этот раз одинаково хорошо знали, что один из них должен погибнуть.

Ким был «белым лебедем». Так зовут в тайге корейцев за их национальные снежно-белые халаты, подвязанные тесемками на груди. Он никогда не охотился на людей. Он сам бродил по сопкам в поисках Корня Жизни. Но Цзян-Куй не затушил вовремя костра и забыл притворить дверь, а Ким, заметив с берега ручья освещенный снизу дым, подошел к зимовью и сквозь щель увидел и Цзян-Куя, и мертвого Ли Фу-линя.

Удивительный корень в руках китайца досказал ему все остальное. Увидев его величину, Ким просто обомлел.

И все-таки он был трусом. Поэтому, когда дверь неожиданно распахнулась и оба они столкнулись лицом к лицу, Ким не выстрелил в Цзян-Куя, как сделал бы каждый не трус на его месте, а отшатнулся прочь. Дверь моментально захлопнулась, скрипнула щеколда, и свет в щелях потух.

Ким отошел в темноту, за ближний куст, и выпустил всю обойму в дверь и на толстые стены. Фанзушка не ответила. Тогда Ким достал из-за пазухи спички и подполз к ближнему углу, но, пощупав стену, сунул коробок обратно: стена была совсем сырая. Он снова уполз под прикрытие и начал размышлять.

Он знал, что в фанзушке есть прежде всего Корень Жизни, потом два человека, мертвый и живой, и, наконец, два пистонных ружья. Корень был такой, какого Ким еще никогда не видел. За него он мог получить и чумизное поле, и шаланду, и целые горы рису. Живой человек взял его у мертвого, это было ясно. Следовательно, и Киму надо было сделать так, чтобы в фанзушке вместо одного мертвого и одного живого остались бы два мертвых человека.

К сожалению, кроме людей, в зимовье были еще два пистонных ружья, которые мешали ему исполнить это сейчас же. Правда, оба вместе они не стоили одной его трехлинейки, но, как уже было сказано, Ким был трусом и совершенно не желал рисковать своей жидкой, точно приклеенной по одному волоску, бородачкой. Поэтому он решил использовать иначе свое преимущество и стал ждать.

В это время дверь фанзушки тихонько приотворилась. Он не видел этого, только услышал скрип и сейчас же сказал выстрелом: «Я здесь!». Щеколда снова захлопнулась. Как только за сопками порозовело, он отполз ровно настолько, чтобы до него не достали пистонные ружья китайца. Теперь положение менялось. Из остающегося в фанзе ему следовало считаться лишь с Корнем Жизни и живым человеком. Но живому человеку, чтобы остаться живым, нужно было есть и пить. Съесть он мог бы, конечно, и мертвого человека, если бы у него не хватило пищи, но воды в фанзе не было. За ней надо было выйти. А выйти он мог только через дверь, которая была под обстрелом Кима, ибо в окно пролез бы разве только заяц. Дело было верное. Киму оставалось лишь следить, чтобы человек не ушел ночью через подкоп, и ждать, когда жажда выгонит его под пулю. Что такое жажда, он знал достаточно хорошо. Корень Жизни должен был довольно скоро очутиться в его руках.

Между тем, Цзян-Куй чувствовал себя очень скверно. Он сразу учел обстановку, увидев за дверью корейца. Опрокинув тут же на костер котелок, он схватил заряженное ружье Ли Фу-линя и присел в дальнем

угла. Но враг не вошел. Вместо него заговорила его винтовка, оцарапавшая колено Цзян-Куя. Она не только назвала себя, но и определила характер врага.

– Ну, «белый лебедь»!.. – презрительно подумал китаец и несколько отошел.

Но тут же ему стало ужасно обидно: стоило тратить трое суток на этого дурака, чтобы попасть самому в мышеловку к трусу-корейцу. И это тогда, когда в его руках были и фанзы, и жены, и акульки плавники...

Цзян-Куй возмутился всем своим существом против такой несправедливости. С ружьем в руках он решительно двинулся к двери, однако от нее отлетела большая щепка, и ему пришлось отступить. Цзян-Куй понял, что «белый лебедь» умел пользоваться своим преимуществом и что теперь начинается правильная осада. Тогда он вспомнил о воде, вылитой на костер, и с проклятьем отпихнул ногой пустой котелок: больше воды в фанзе не было.

Голода Цзян-Куй не боялся. Таежное ремесло приучило его к долгим голодовкам. Да к тому же он недавно плотно поел, и на крайний случай в фанзе оставался еще «голубой фазан». Но вот жажда!.. О, она была гораздо страшнее и после клецок с диким чесноком уже давала себя чувствовать. Цзян-Куй знал, что только она способна выгнать его за дверь, где ждала винтовка корейца. Нужно было искать другой выход.

Зимовье было очень тесным. В ширину оно едва превышало длину ложа Ли Фу-линя.

«Гроб!..», – мелькнуло в голове Цзян-Куя. Он видел, что если только кореец не пожалеет выпустить наугад в стены полсотни патронов, то наверное его серьезно заденет. Нет, нечего было ждать, надо было попробовать уйти через подкоп.

Он прислонил труп Ли Фу-линя как щит к двери, закрепил его поясом и начал бесшумно рыть охотничьим ножом пол у противоположной стены зимовья, выгребая землю руками. Под утоптанном полом пошел мягкий слой, но на глубине четверти клинок чикнул по камню, ниже была сплошная гранитная порода.

Он злобно отшвырнул нож, но, подумав, снова поднял и продолжал рыть. К рассвету у него была готова ямка, где он мог укрыться в случае обстрела.

Жажда мучила его все сильнее. Рот жгло от дикого чеснока. Сколько даянов дал бы он сейчас за чашечку самого скверного чая, которую можно достать за два чоха в любой деревенской лавчонке!.. А впереди был еще целый жаркий осенний день ожидания. Подкоп не удался. Оставалась вылазка. Но она была возможна только в темноте. Цзян-Куй сел на край своего окопчика и принялся напряженно ожидать ночь, жуя щепку, чтобы обмануть жажду. За стеной фанзы явственно журчал ручей, и этот звук

сверлил мозг Цзян-Куя. Ему хотелось заткнуть уши, чтобы только не слышать слабого переплеска влаги.

Если Цзян-Куй ждал темноту с нетерпением, то Ким-кореец очень ее боялся. Днем он видел фанзу и мог следить за ней со всех сторон, передвигаясь в кустах. Ночью же он мог наблюдать только за одной дверью и, вместе с тем, во мраке громко говорила его трусость. Мысль о том, что женьшень может исчезнуть ночью, не давала ему покоя. Поэтому, около полудня он не выдержал и решил завязать мирные переговоры. Зайдя со стороны глухой стены, Ким чутко прислушался. Внутри было мертвое молчание.

— Ходя, ваша сыпи-сыпи есь? – начал издали кореец по-русски, так как не знал китайского.

Фанза не отвечала.

— Ходя, – снова начал кореец, – чего ваша шибко сердися? Моя контрами не хочу... Моя женьшень хочу. Ваша женьшень давай, дыва винтовка давай, ваша Чифу ходи, моя не касайся!..

В зимовье послышался шорох и глухое рычанье. Цзян-Куй ожидал, что Ким именно так и поступит, но он ни на секунду не заколебался. Корень Жизни принадлежал ему. Он заработал его, рискуя собственной шкурой. Корень был его неотъемлемой собственностью, такой же, как ружье, курма, пороховница. Это был настоящий грабеж!.. Нет, он готов скорее десять раз рискнуть жизнью, чем добровольно отдать трусу-корейцу удивительное растение.

Он метнулся к двери, но из бока Ли Фу-ли-ня, пробитого новой пулей, брызнула зловонная жидкость: услышав шорох внутри, кореец сразу же занял свою прежнюю позицию.

Протекло еще шесть мучительных часов. Солнце висело уже над самыми сопками. Кончавшийся день был жарким, сухим. Труп женьшеньщика у двери припахивал сладко и тошнотворно. У его ног густо собрались муравьи. Цзян-Куй хотел было выбросить мертвеца наружу, но вспомнил, что он еще может пригодиться. От жажды горло вспухло и болезненно саднило. Губы трескались. Язык стал большим и, казалось, не помещался во рту.

Он осторожно выглянул в окошко. Кореец сидел на безопасном расстоянии за камнем у берега ручья с винтовкой в руках. Ручеек булькал по гольшам под самой фанзой. Цзян-Куй видел, как набухшее, тяжелое солнце высверкивает по струйкам ослепительными зигзагами. Из прибрежных зарослей показалась сплюснутая змеиная головка, покачалась в воздухе и потянула за собой в воду серо-металлическую ленту тела. Должно быть, это был тот самый уж, который спал ночью в зимовье. У него, человека, охотника, все внутри пересохло от жажды, а эта гадина могла пить, пока не лопнет, могла даже купаться...

Цзян-Куй заскрежетал зубами. Он тихо выставил конец дула в

окошко и тщательно прицелился в корейца. Пуля взорвала рикошетом фонтан брызг, но пропала, не долетев до цели. Кореец вздрогнул, схватился за винтовку, а потом рассмеялся: ведь это стрелял не Цзян-Куй, это стреляла его жажда!

— Ходя, – насмешливо донеслось по ручью, – ваша мало-мало гуляй... Ваша женьшень давай, моя лян-шуй... Хо-пухо?..

Но Ким боялся приближения ночи. Перед самым закатом он попытался еще раз выгнать Цзян-Куя. Град пуль посыпался на зимовье. Китаец сейчас же лег на спину в свой окопчик и увидел, как на стене появляются одна за другой пулевые пробоины. Пули плющились о свежую насыпь и гудели, как крупные шмели, осыпая Цзян-Куя землей с металлическими занозами. Выпустив десяток обойм, Ким подождал немного, а потом подполз к двери и заглянул внутрь сквозь одну из щелей. В полутьме он увидел, что Цзян-Куй подгребает рукой осыпавшуюся землю к насыпи, и тотчас же отполз назад.

Как только темнота сгустилась, китаец приготовился к вылазке. Он не мог больше терпеть. Бульканье близкого ручья сводило его с ума. Засунув Корень Жизни за пазуху, он отвязал тело Ли Фу-линя. До ближайших кустов было всего шагов шестьдесят, а дальше была вода, холодная прекрасная вода, и сундуки серебряных звенящих даянов...

Цзян-Куй приоткрыл дверь и выставил труп, прячась за косяком. Хитрость удалась. Пять быстрых выстрелов резнули таежную тишину. Они были справа. Пока кореец менял обойму, Цзян-Куй бросился влево, но у самых кустов он точно наткнулся грудью на невидимое бревно, подскочил и кувыркнулся в воздухе. Что-то дважды ударило его в бок, а потом сверху склонилось испуганное скуластое лицо с приклеенной бороденкой. Он почувствовал, как ему расстегнули курму, и умер.

А Ким-кореец достал у него Корень Жизни и, заметив на морщинистой коже брызги крови, пошел к ручью, чтобы омыть. Но он был корейцем и не знал нужных заклятий против гениев-охранителей дивного корня. Впрочем, может быть, его душа в прежнем воплощении была в животном, и ей надлежало пройти еще одну ступень для своего очищения. Вероятно поэтому, осторожно вытирая корень полкой, он и услышал звук, заледенивший кровь в его жилах: над тайгой, мощно сотрясая мрак, прокатился глухой рев с клокочущими переливами, похожий на отдаленный гром, – рев рыжего корейского тигра, властелина и царя тайги.

Ким хотел броситься за трехлинейкой к трупу Цзян-Куя, но его ноги не послушались, скованные древним, наследственным ужасом. Он упал ничком и начал твердить все молитвы к Отцу-Тигру, которые пришли на ум. Низкий рев раздался над зеленым морем еще раз, много ближе. Все таежные шорохи стихли.

Это был старый, крупный, опытный зверь. Стадо кабанов, которое он пас в горах, было съедено до последнего секача еще три дня тому назад. Встретившийся медведь спасся от него на лиственнице. Он был очень голоден. Услышав выстрелы в пади, он остановился, припав к земле. Затем они стихли. Голод и темнота победили страх. Он, крадучись, спустился со скалистой гривы и различил волнуемый запах свежей человеческой крови. Маленькие уши, закрытые пучками седых волос, припали к большой треугольной голове, которую сам творец отметил на лбу таинственным иероглифом «Ван», что значит – «князь». Длинный хвост судорожно хлестал полосатые бока. Он уже пробовал теплую кровь человека, врываясь зимою в фанзы дровосеков и новоселов. Он помнил, что человек – легкая добыча.

Ким не смел пошевеливаться, не смел даже вздохнуть. На противоположном берегу ручья ему почудился легкий шелест. Он почувствовал на себе чей-то взгляд. Как под гипнозом, он поднял голову: перед ним, шагах в двадцати, горели рядом во мраке два зеленых крупных пустых изумруда. Ким ахнул, но тяжелое шерстистое тело смяло его с прыжка. В лицо человека пахло гнилью из пасти зверя. Удар мощной лапы с молниеносной быстротой перевернул его на спину, и череп раскололся, как орех, между саблевидными клыками. Он не успел даже вскрикнуть.

Убив Кима и пожрав самые лакомые части, тигр ушел к ручью и долго с наслаждением лакал студеную воду. Потом вернулся к остаткам корейца и наткнулся на Корень Жизни, выпавший из рук человека. Он лизнул своим языком с роговыми шипами пропитанную кровью тряпицу и ткнул мордой в женьшень, но корень пахнул землей. Захватив бедро корейца в пасть, тигр медленно ушел в тайгу.

Корень остался на земле, у ручья. Его не тронул зверь, не склевала бы птица. Конечно, он никогда бы не сгнил. Если бы он остался лежать здесь, он бы постепенно ушел в землю, и спал бы там год, может десять, может, – пятьдесят, ибо две пары злых рук оскорбили его прикосновеньями после того, как набожный Ли Фу-Линь вырыл лопаточкой из оленьего рога. И он все-таки пророс бы в конце концов, насыщенный неумемной жизненной силой.

Но он пролежал всего два дня. На заре третьего его нашел Николай Тимофеевич, по прозвищу «Тигровая Смерть», – тот самый Николай Тимофеевич, который с братом Сергеем и подручным Дудуленко ловил иногда в тайге молодых тигрят живьем.

Там молодой царь тайги попадал в телячий вагон, идущий на Владивосток, а во Владивостоке его пересаживали в клетку и за чек в тысячу английских фунтов направляли морем в Гамбург, в зоологический сад господина Гагенбека. Это был выгодный промысел, хотя почти столь же опасный, как и охота на «голубых фазанов». Старая сетка как-то раз

порвалась в самый критический момент, и с той поры левая рука Николая Тимофеевича плохо подымалась в плече.

На этот раз Николай Тимофеевич пошел один на изюбря и напал в тайге на ряд следов, похожих на сердца. Он сейчас же проверил патрон в винтовке и двинулся в том направлении, куда эти сердца суживались. Так он дошел до ручья и заметил среди кустов на том берегу растерзанные внутренности и ключья одежды, над которыми в ярком утреннем солнце носились с жужжанием тысячи зелено-бронзовых мух.

Тогда он оставил след, перешел ручей и рядом с остатками человека нашел Корень Жизни, отвергнутый тигром. Подняв женьшень, он повертел его в руках, взвесил и только покачал головой. Глаза его загорелись: это было почти то же самое, что голубой чек господина Гагенбека из Гамбурга.

Тут он заметил зимовье и, пройдя к нему, увидел на пороге Ли Фу-линя, пронизанного пулями, а у кустов – труп Цзян-Куя, лежавшего на спине с раскинутыми руками. В пустом жилище ему бросился в глаза развороченный пол и дырки в стенах. Он еще раз повертел в руках Корень Жизни, сопоставил все виденное и, рассмотрев многочисленные следы, восстановил в общих чертах весь ход событий.

«Где женьшень, там и тигры!..», – припомнилась ему древняя китайская поговорка, и Корень Жизни начал внушать к себе еще большее уважение.

– Ладно, там посмотрим!.. – сказал он громко в ответ на свои мысли, осторожно уложил корень в мох, обернул берестой и, спрятав на дно пейтузы, отправился напрямик через сопки в деревню к брату.

К вечеру он пришел в поселок, но брата не застал. Написав ему записку о своем срочном отъезде во Владивосток, он немедленно двинулся дальше и заночевал уже на заимке приятеля, на берегу залива Петра Великого. На следующий день после обеда, пока лодочник ругался с другими «юли-юли», пробиваясь к берегу среди леса голых мачт, он благополучно выпрыгнул на камни Семеновского базара.

Николай Тимофеевич миновал барахолку, поднялся мимо пахучих торговых рядов по крутой улице и плотно закусил в харчевне под вывеской «Каледония». Потом он прошел по шикарной Светланке, где милицейские и подрумяненные женщины в легком косились на его таежный костюм; побрился, подстригся, завернул налево и еще раз налево и потонул в паутине узких переулков и закоулков.

Белые лица исчезли так же, как и крашенные дома. В коридорчиках из облапленного, почерневшего кирпича с темными подтеками шмыгали и торопились ходи в халатах и синих курмах, расстегнутых на медно-красной груди. Было очень жарко, и от темных ручейков, сохших под подворотнями, подымался такой пронзительный смрад, что Николай

Тимофеевич сплонул и выругался.

Он несколько раз останавливался, соображая, куда теперь повернуть. Дойдя до ворот, по бокам которых, кроме черных дощечек с вязью иероглифов, висела вывеска с безголовым офицерским мундиром прошлого века, он уверенно пересек дворик, обогнул два угла и, пройдя коротким тоннелем, поднялся прямо со двора во второй этаж по сквозной чугунной лестнице. Там торговал лекарственными снадобьями его приятель Тун Зюй-кун.

Тун Зюй-куна он знал давно. Когда не удавалось взять тигра живьем и приходилось пристреливать, Николай Тимофеевич приносил ему усы, кости, сердце, глаза и другие части тела убитого зверя, называть которые не совсем удобно. Все это шло в порошках, мазях и настойках, приготовленных старинными способами, для надобностей китайской медицины. Случалось, что торговец зельями покупал у него и бархатные ветвистые панты оленей, и мелкие корешки женьшеня, случайно найденные во время охоты в лесных дебрях Сихотэ-Алиня. Когда приходила нужда, у Тун Зюй-куна можно было перехватить деньжонок, но немного и под зверский процент: ремесло охотника на живых тигров было делом неверным, и жизнь «Тигровой Смерти» не брались страховать даже крупные страховые общества.

За дверью лавки охотника обдал пряный и сложный дух мускуса, сандалового дерева и всех тех сушеных трав и останков животных, которые были развешаны под потолком и разложены на полках в красных и желтых пакетиках и заклеенных бумагой горшочках.

Хозяин готовил как раз дорогую мазь, куда среди других медикаментов входил мозг змеи, жженые усы тюленя и желчь жабы. Увидав охотника, он вежливо его приветствовал, передал пестик сыну, вытер мокрым полотенцем лицо и руки и пригласил его во внутреннюю комнату. За низким столом красного дерева и произошел разговор, сыгравший крупную роль в судьбе Николая Тимофеевича.

После обычных вежливостей и чашек бледно-зеленого чая, охотник перешел к делу.

– А знаешь, Тун Зюй-кун, что я тебе нынче притащил? – спросил Николай Тимофеевич.

Круглое, тяжелое лицо китайца изобразило улыбку, обнажив три золотых зуба, а про себя он подумал: «Вот белый дурак!.. Разве я дух, чтобы это знать?», – но из вежливости сказал:

– Моя не зынай. Стары панты?

– Ну, вот еще барахло – панты! Выше подымай, ходя! Я женьшень нашел. Да такой, понимаешь, женьшень, какого ты в жизни не видал.

Китаец молчал. Николай Тимофеевич вынул из пейтузы большую коробку из-под ружейных пыжей, поставил ее на полированный, как зеркало, стол, снял крышку и откинулся на стуле, заложив руки в карманы.

Действительно, только дважды за свою долгую жизнь Тун Зюй-кун видел такие корни. Взглянув на желтоватые морщинистые и как бы сведенные судорогой конечности уродца, он невольно приподнялся, и под круглыми роговыми очками загорелся благоговейный восторг знатока и ценителя. Но он сейчас же потушил его выпуклыми навесами век, и только быстрота, с которой забегали точеные, сухие пальцы, ощупывая и взвешивая корень, выдавала его волнение. Через несколько секунд он успокоился, положил корень обратно в коробку, аккуратно поправил мох и спрятал руки в рукава халата.

– Ну, что скажешь? – гордо спросил охотник.

– Его машинка есь, – невозмутимо ответил китаец.

– То есть как это «машинка»?.. – вскинулся Николай Тимофеевич. – Ты чего, ходя, врешь?..

– Моя, капитана, не выру, – с большим достоинством ответил аптекарь. – Твоя куда ходи ищи?

– Куда ходи? Мая в тайгу ходи!..

– Его машинка есь! – покачал головой китаец. – Его игаян меликански. Меликанси люди сюда ходи, шибко много женьшень вози. Китайски люди смотли – пу-хо!..

– Да чего ты, ходя, ерунду порешь! – обозлился Николай Тимофеевич. – Какие там американцы?.. Говорю тебе: я его сам, сам в тайге нашел. Понял? Тигр вапанцую задрал, я на нем и взял!..

– Пу-хо... – снова покачал головой Тун Зюй-кун. – Шанго женьшень, моя ига фунта – пятьсот иен плати, только давай! Меликански женьшень – пятнадцать иен плати – не хочу...

– Ты опять за свое!.. Твоя играй-играй не надо: прямо говори, сколько даешь!..

Китаец еще раз взвесил корень.

– Тебе чего хочу?

– Ну тысяч... тысяч семь, по крайней мере! Ведь ты-то его, негодяй, как пить дать за десять продашь!

– Моя два сто иен давай. Ваша хочу бели, не хочу – не надо. Моя никак не могу...

Николай Тимофеевич спорил и торговался с китайцем битый час. Он приблизительно знал цену корням и чувствовал всем своим существом, что аптекарь врет, что его женьшень должен стоить по крайней мере несколько тысяч. Но Тун Зюй-кун упорно доказывал ему, что это, вероятно, культивированный женьшень, вроде выращенного в Калифорнии американцами из привезенных китайских семян, в котором китайские доктора не признавали целебной силы. Эти корни шли в Китае за гроши, тогда как за фунт дикого, пусть даже мелкого женьшеня, аптекари платили от пятисот иен и выше.

Николай Тимофеевич клялся, божился, ругался, но китаеза накиннул

всего сотню на названную цену.

«Ладно, – подумал охотник. – Сегодня все равно слишком поздно. Завтра обязательно обойду всех крупных скупщиков. А если и они заупрямятся – сам повезу корень в Пекин...».

Он встал.

– Ну, ходя, довольно дурака валять! В последний раз тебя спрашиваю: сколько даешь?

– Моя говоли: тли сто иен.

– Не дело говоришь!

– Моя больсе не могу!.. Ваша хочу – бели, не хочу – не надо...

– Ладно, я мало-мало подумаю: завтра, может, опять зайду...

Охотник хлопнул дверью и прогремел вниз по чугунной лестнице.

«Врет подлец! Не может быть, чтобы такой корень стоил всего триста иен!..», – обескуражено думал он.

Вряд ли бы он сомневался в этом, если бы мог слышать разговор, произошедший в лавке, едва за ним затворилась дверь. Неподвижный торговец зельями как бы переродился. Его мясистое лицо задергалось от нетерпения, и голос срывался, когда он быстрым шепотом отдавал приказания сыну и маленькому внуку. Те посмотрели на него с крайним удивлением, но ничего не возразили из сыновней почтительности.

– Все поняли? – спросил он. – Так ступайте и лучше без него не возвращайтесь!..

Даже когда оба исчезли, Тун Зюй-кун долго не мог вернуть себе почтенного равновесия духа.

«Как дался в руки белого дьявола священный Корень? Как допустил это гений-охранитель?», – думал старик, следя, как вздувается на кончике иглы над лампочкой коричневая слеза опиума. И только окутавшая его пелена тяжелого сладкого дыма, выливавшаяся из массивной трубки, несколько успокоила возбуждение.

Николай Тимофеевич тоже чувствовал себя тревожно.

«В чем тут дело?.. Какого черта жметя Тун Зюй-кун? Никогда с ним этого не бывало... А еще приятель!..», – размышлял охотник, спускаясь по булыжной, выщербленной Алеутской.

Там, на тротуарах, китайцы уже зажигали рядом со своими лотками, прямо на земле, тысячи фонариков, как в России, когда святят пасхи. Из-под больших зонтов дышали разложенные цветистыми горками тропические фрукты, убивая своим ароматом китайскую вонь. В ресторанчиках с цветными стеклами громыхал гонг, напрягая звук, и визжали дудки и однострунные скрипки. Охотнику сделалось тошно от всех этих чуждых запахов и звуков, его потянуло туда, где были белые люди, а не эти скользкие черные фигуры, от которых так явственно пахло смертью.

Выйдя на Светланку, он невольно оглянулся вправо: там вверху и между геометрическими утесами домов еще пылала яростно заревающая щель, раздавленная плоскими чернильными тучами. Но из Гнилого Угла уже тянул через залив навстречу толпе морозистый туман, наполнив бухту переливался через парапеты Невельского сада и несся к закату по улице отдельными волокнами, не расплывающимися в воздухе и не теряющими формы.

Мостовая быстро почернела сыростью, толпа в белом передернула плечами после дневного зноя и поредела. Николай Тимофеевич прошелся все-таки до собора и встретил на углу приятеля, который потащил его ужинать в «Золотой Рог».

Николай Тимофеевич твердо помнил, что ему нельзя пить водку до тех пор, пока он не разделается с Корнем Жизни, но к их столику подседа знакомая шансонетка, и он разрешил себе маленький графинчик жгучей и терпкой влаги.

И этим самым, имея при себе Корень Жизни, он сделал, несомненно, столь же крупную ошибку, какую делал до него и Ли Фу-линь, и Цзян-Куй, и кореец Ким. В тайге он отвык от водки и захмелел теперь уже после первых рюмок. Впрочем, тут была виновата не одна водка, а яркий свет, народ, музыка, и главное – близость женщины.

Он разошелся, заказал своей даме какой-то удивительный пунш, горевший синими языками, и даже попробовал было дирижировать оркестром на эстраде. К одиннадцати с половиной он мирно заснул, положив локти на скатерть. Приятель соображал еще вполне ясно и никак не мог придумать, куда бы сплавить на ночь «Тигровую Смерть», ибо по случаю очередной смены правительства новая власть реквизировала все номера в гостиницах и мебелированных.

Приходя минутами в себя, Николай Тимофеевич все порывался ехать к куме, на Чуркин мыс, но шансонетка была женщина добрая и предложила приятелю увезти охотника к себе, в номера «Боровикс». Николай Тимофеевич не без труда спустился по зеленой лестнице ресторана в уличный туман и погрузился вместе с женщиной на дребезжащего извозчика. У самой двери к нему пристали два китайский нищих – взрослый и мальчонка.

«Рожи как будто знакомые... Где же это я их видел?..», – промелькнуло у Николая Тимофеевича, но водка, как известно, отнюдь не способствует ни упорству, ни ясности мысли.

Извозчик хлестнул сначала по коням, потом по ходям, и припустился вскачь через Тигровую сопку по немощеной улочке, глубоко вынута в горе. Миновав перевал, они остановились у одинокого дома, стоявшего на взгорье.

Шансонетка занимала крохотную комнатку в первом этаже, насквозь

пропахшую одеколоном, дешевой пудрой и керосином и упиравшуюся окнами прямо в склон соседней сопки. Как он очутился в постели, Николай Тимофеевич сознавал неотчетливо. Он только все беспокоился о своем женьшене и, вынув его из коробки, заботливо уложил под подушку.

«Ну, совсем дошел пассажир!», – решила шансонетка, и как только гость захрапел, взяла двумя пальцами из-под подушки дивный Корень Жизни и швырнула его на пол. Она ведь ничего не понимала в китайской медицине.

Так через час приблизительно женщина проснулась от какого-то шороха и приподнялась на кровати. На ночь она всегда запирала окна, а теперь одна рама была приотворена. Она чувствовала на груди струю сырого ночного ветерка. Неяркий лунный свет ложился косым четырехугольником на крашеный пол, пройдя над ситцевой занавеской. И вот там-то, в снопе бледного света, она и заметила сверточек гостя, который она бросила так пренебрежительно. Покачиваясь в воздухе, сверточек плыл прямо к окну. Женщина соскочила на пол и сейчас же ахнула, наткнувшись лбом на конец длинного бамбукового удилища.

Все последующее произошло чрезвычайно быстро. Окно сразу же распахнулось настежь, она ощутила на голых плечах прикосновение шнурка, и петля, затянувшись на шее, точно оторвала ей голову с молниеносной болью. Она рванулась, захрипела и осела на пол, потеряв сознание.

Николай Тимофеевич проснулся от шума, но раньше, чем он что-либо сообразил, тяжелый удар в висок оглушил охотника, а затем подушка накрыла лицо и на ноги опустилась мягкая тяжесть человека. В борьбе за жизнь он выпростал руки из-под одеяла, схватился за что-то и рванул. Треск рвущегося шелка был последним ощущением задыхавшегося человека. Соседи заворочались и выругались за стеной, но разве в «Боровиксе» хоть одна ночь обходилась без скандалов?

А на другой день на третьей странице «Вечерней газеты» стоял во весь лист жирный аншлаг: «Драма в номерах «Боровикс». Зверски задушены каскадная певица М. и охотник П. – Наш сотрудник у начальника уголовного розыска. Опять хунхузы!»

А так через неделю тот, кто знает китайский язык, мог бы прочесть тоже на третьей странице, но китайской газеты «Последние новости», скромное объявление в уголке, которым господин Тун Зюй-кун, торговец лекарствами, извещал своих почтенных покупателей, что он продал свое дело в Хай Шэнь-Вее господину Ли Кинь-хи и отправляется на родину в провинцию Шань-си, чтобы провести остаток дней рядом с могилами своих предков.

Но читатели китайских «Последних новостей» не читают «Вечерней газеты», а читатели этой газеты не читают «Последних новостей». Да кроме

того, если бы даже у обеих газет и нашлись общие читатели, то кому пришло бы в голову сопоставлять два столь различных сообщения?

Вот почему, брезгливо роясь на отходящем на юг пароходе в пахучих сундучках Тун Зюй-куна, таможенник нашел большую красную коробку, где под стеклом на слое ваты лежал точно бело-янтарная одутловатая кукла, вываренный в сахарной воде и очищенный от верхней морщинистой кожи громадный полупрозрачный женьшень.

Но пошлина на Корень Жизни не была предусмотрена русскими таможенными тарифами, к вывозу он не был воспрещен, и чиновник, повертев в руках, положил его обратно на ватку.

— Ну и здоровый же у тебя женьшень, ходя! – сказал таможенник одобрительно и не без зависти: он понимал кое-что в китайской медицине.

Тун Зюй-кун вежливо улыбнулся своим мясистым тяжелым лицом и, медленно наклонившись, запер сундучок.

1924 г.

Впервые опубликовано: Дымный след. Сан-Франциско. 1925.

Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 102-110.

ШАНХАЙСКИЕ НАБРОСКИ

1. Каллиграф

Он не часто приходит в нашу контору. Всегда одинаковый:

старый,

вежливый,

неторопливый.

Меняется только халат на его иссушенном опиумом и годами теле. Зимой – черен и тяжел; летом – бел и легок.

Должно быть, он очень стар. Говорят – лучший художник-каллиграф в Шанхае. Каких больше не будет.

И под треск ремингтоновских девиц с голыми по плечи руками, под нервный звон телефонов, лай автомобилей,

старый,

вежливый,

неторопливый,

он проходит и садится к своему столику.

Тщательно растирает на плоском камне палочку лучшей туши. Снимает серебряные футляры со своих острых кистей.

Правая рука его почти атрофировалась и высохла: похожа на ручку ребенка. Она вывернута вправо – ведь кисть нужно держать совсем отвесно, тремя пальцами. Пальцы тонки, как лапки паука. Способны лишь водить кистью.

Он писал всю жизнь. Медленно закреплялись в его мозгу десятки, сотни, тысячи рисунков слов. Он помнит их по крайней мере двадцать-тридцать тысяч.

На шелковистой рисовой бумаге они выстраиваются изощренными столбцами, легкие и четкие, с неумолимой точностью. Точностью математической: тонкая, полупрозрачная бумага не допускает поправок. И писанные им желтоватые договоры, иски и приговоры похожи на кабалистические пергаменты.

Но это для тела. Для души – другое.

По временам, низко кланяясь, ему приносят длинные – достанут до потолка – красные и золотые настенные свитки, обрамленные штофной радужной каймой.

Он улыбается. Поправляет роговые очки. Откидывает просторные рукава.

И на золото бумаги выползают из-под верной кисти черные переплетенные червяки, вскормленные тысячелетиями: то мысли великих философов, то поэмы прекрасных поэтов прошлого. Пища уму; радость для глаза. Трещат машинки под голыми по плечи руками...

Таких больше не будет:

старый,

вежливый,

неторопливый.

2. Нищие

Господин К. рассказывал:

– Мне пришлось повидать весь южный Китай. Где пешком, где на одноколесной тачке, где в паланкине и кое-где на автомобиле. В провинции вся деревня высыпает к машине на остановках.

Вы, конечно, знаете китайских нищих. Трудно выдумать что-нибудь более отвратительное. Особенно на юге, где рисовые болотины, как английский кекс изюмом, начинены мертвецами. Запах болота, тления, запах смерти. Целые поселки заражены кожными болезнями, которых еще не знает как следует европейская медицина. Кожа то высыхает и превращается в роговую чешую, то покрывается сплошь шишками опухолей в куриное яйцо. Сплошь, все тело! Точно спина местной камбалы...

Когда эти голые чудовища в одних широкополых шляпах хватались за спицы машины, мне казалось, что они способны заразить даже каучук автомобильных шин.

Я бросал им копера и «кэши» – крохотные монетки с квадратной дырочкой, десятая часть копейки. Некоторым я давал больше и слушал, что скажут другие. Они не стеснялись в выражениях: ведь девяносто пять процентов местных европейцев не знают китайского.

В одной из деревень среди нищих я заметил старуху. Она была особенно отвратительна: лысая, тощая, с провалившимся носом и гнойными глазами.

На омерзительном теле в почерневших язвах – один микроскопический передник. Я кинул ей впятеро больше медяков, чем остальным. Вся свора с проклятиями набросилась на ведьму. Она упала на монеты и с отчаянным визгом подгробала их под себя. Тогда один из нищих крикнул дословно:

– Легче, товарищи! Кажется, я понял иностранца: его зрение оскорбила нагота этой почтенной госпожи.

3. Хрустальный шар

Мосье Ли – это адвокат нашей конторы – купил себе большой шар из горного хрусталя. Величиной в крупное яблоко, он красуется на хрупкой резной подставке из черного дерева на письменном столе, заваленном исками, папками и повестками с красными печатями Французского Смешанного Суда.

– Сколько заплатили, мосье Ли?

Адвокат поднял ко мне большие очки, опиравшиеся на желтоватые подушечки одутловатых щек.

– Сто двадцать... Правда, недорого?

– Долларов?..

– Нет, таэлей¹³!

Мои брови поднялись от удивления: это было больше, чем я зарабатывал в месяц.

Откинув рукава халата из тяжелого лилового шелка, адвокат протянул свою маленькую точеную кисть и бережно взял прозрачный шар, мягко заигравший радужными переливами.

– Посмотрите: ну, разве он не прекрасен? – начал китаец. – Какая изумительная форма, как безупречно чист тот горный хрусталь, из которого он сделан. Ни одной трещинки! А сколько любовного труда, сколько высшего мастерства вложено в его великолепную шлифовку! Я уверен, что на эту работу пошли целые годы. Нет, я положительно считаю, что это очень выгодная покупка...

Он с каким-то особенным сладострастием взвешивал, поворачивал, ощупывал, сжимал своими пальцами с отпущенным ногтем на мизинце прозрачный камень, точно усиливая и дополняя осязанием зрительное наслаждение.

И совершенно так же он поступает с каждой статуэткой, вазой или каким-нибудь флакончиком для нюхательного порошка, которые ему

¹³ Таэль – (лян серебра) равнялся 1.4 мексиканского доллара. В то время американский золотой доллар стоил 2 мексиканских.

приносят продавцы «Кюрио». Правда, как знаток, он их очень часто бракует, но красота этих вещиц – иногда, действительно, совершенная – заключается для него не только в форме и окраске слоновой кости, металла, камня или фарфора, но в самой их фактуре, в самом веществе, из которого их создала фантазия мастера-художника.

К разговорам о «фактуре» картины не так давно пришла западная живопись; к рассуждениям о важности «фактуры» слова – наши современные поэты. А Китай почувствовал ее значение уже давно, создав еще в древности самую изумительную из фактур – золотой лак, чтобы одеть его матовым блеском статуи своих богов...

Впрочем, этот разговор завел бы нас слишком далеко.

4. Вывески

Европейцы – громадное большинство их, по крайней мере, – ходят по китайским улицам не только как глухонемые, но и как слепые. То есть они видят, но не понимают. А между тем даже простые вывески, повешенные сверху и по бокам входов в глубокие темные лавки – все эти черные, золотые и красные массивные доски – хранят иногда в своих перевитых значках настоящие Бедекеры для путешествия в самую гущу китайского быта.

Обычно над входом лавки висит главная вывеска, по бокам – пояснения или рекламы продаваемым товарам.

Вот несколько характерных надписей, объясненных мне в Пекине и Шанхае.

«Дом Превосходного Аромата» – доставляет «музыкальные пиры с вином для манчжурских и китайских гостей».

«Таверна Пьяной Луны» – имеет для продажи «мясо черных кошек, излюбленное лакомство кантонцев».

«Сад Вечной Весны» – предлагает покупателям «вино и уксус для рождения детей, лучшее, душистое зерно, все виды сушеных овощей».

«Мир в Морях» – продает «все сорта лучшего риса для семейного употребления».

«Храм Счастливой Середины» – где «подается полуденный чай и приготавливаются искусно следующие лекарства: порошки для детей, пилюли «Белого Феникса» для женщин, глазная примочка из восьми драгоценных продуктов; укрепляющие и гармонизирующие пилюли и другие средства против соблазнительных последствий курения опиума».

«Облако Радости» – это лавка часовщика.

«Небесная Вышивка» – лавка угольщика.

«Драгоценная и Благожелательная» – лавка печника.

«Счастливый Союз всех Добродетелей» – аптека.

«Лавка Огнев Рябого Вана».

И наконец:

«Кристаллизованное Процветание» – контора гробовщика.

Ну разве это не целые поэмы в двух-трех словах?..

5. «Чэ»

Весь быт Китая переплетен с иероглифом «Чэ» – еда. Квадрат – символическое изображение рта – стоит его корневым знаком.

Еда, самый ее процесс, играет в китайской жизни огромную роль. Магическое слово «чэ-вэ» (или «чи-фан» на Севере) прерывает самую срочную работу, способно остановить самый жестокий бой между армиями враждующих генералов.

На еду Китай тратит массу времени, едят везде. На самой паршивой улочке вы непременно найдете харчевню, пропахшую прогорклым бобовым маслом, или ресторанчик с каким-нибудь цветистым названием, не говоря уже о бесчисленных уличных разносчиках пищи.

Едят всегда. В три-четыре часа утра по смрадным лабиринтам переулков в миллионных городах все еще мягко шаркают туфлями бродячие ресторанчики, и в ночной тиши высоко и заливисто вибрирует каменная пластинка или бряцают связки медных обрезков, которыми они возвещают о своем приближении. На плечах, на бамбуковом коромысле, упруго колеблется походная резная кухонька с непотухающим камельком, над которым брызжет из котелка темное кипящее сало.

Поэтому мелкий городской люд часто не готовит дома: зачем это, когда пар над котлами закопченных харчевок всех разрядов почти круглые сутки непрерывно восходит к небу? Поест в ресторанчике без всяких хлопот и проще, и стоит почти столько же. Это в повседневном, будничном обиходе. Но каждое событие в личной или семейной жизни, каждый из редких праздников обязательно отмечается пиром, на который даже бедняк не пожалеет последнего гроша. Именно пиром, а не выпивкой, как у нас, ведь, в общем, Китай пьет сравнительно очень мало своего желтого пахучего рисового вина, и увидеть пьяного китайца – исключение. Весь центр тяжести перенесен на «чэ-вэ».

– Толстый человек – хороший человек, – говорит китаец.

Если что-нибудь болит внутри, значит желудок не в порядке. Говоря о мыслях, вместо головы простонародье указывает на чрево.

В парадном китайском обеде, даже средней руки, бывает не меньше 15-20 блюд, плюс к этому, разумеется, неизменный рис, который подается в самом конце и в счет не входит. Длится такой обед немало часов.

Вот, например, меню свадебного обеда, которым меня угостили в доме молодого м-ра Цана, моего приятеля и сослуживца. Началось с орешков, сладостей, тыквенных семян и корней лотоса, вместе с подсолнухами, – для препровождения времени.

Затем шли (порядок сохранен):

- 1) Разварная треска.
- 2) Соленая лососина с хреном.
- 3) Копченая «лакированная» пекинская утка, кусочки которой завертывались в вареные на пару блинчики, сдобренные острым соусом.
- 4) Свежая жареная рыба под кисло-сладким соусом.
- 5) Оладьи.
- 6) Сладкий суп-компот из черешен (горячий).
- 7) Свежая рыба с грибами.
- 8) Яйца с картофелем.
- 9) Суп из плавников акулы.
- 10) Поджаренные макароны с креветками.
- 11) Пельмени из курицы.
- 12) Сладкий рис с изюмом.
- 13) Ветчина, нарезанная тонкими ломтиками.
- 14) Свежая жареная «желтая» рыба.
- 15) Тонко настроганная жареная курица.
- 16) Соленая утка.
- 17) Моченая белая вишня.
- 18) Заливное из куриных сердец.
- 19) Разваренная жирная свинина.
- 20) Жареные куриные потроха.

Все это подавалось на круглый лакированный стол в фарфоровых чашках и блюдах целыми сериями по 3-4 кушанья зараз, и каждый гость залезал в них своими двумя палочками. Только рис, белоснежный и крупный, каждый накладывал по отдельности в свою чашечку.

Жених, по обычаю, отсутствовал – оставался с невестой, принимая поздравления, а приглашенных угощал его отец. Он доставал из блюд собственными палочками самые лакомые куски и протягивал почетным гостям. Мне особенно понравился суп из акульих плавников, которые напоминают нашу вязигу, и я спросил, как он готовится.

– О, – ответил, улыбаясь м-р Цан-отец, – это довольно сложное дело! Прежде всего положите купленные акульи плавники в горшок, прибавьте немного древесной золы и прокипятите несколько раз. Затем тщательно снимите верхнюю кожуру. Если она трудно отделяется – необходимо вскипятить еще раз и тогда уже чистить. Потом снова проварите уже очищенные плавники, снимите все мясо и оставьте только самые хрящики, из которых состоят плавники. Проварите очищенные хрящики еще раз и оставьте мочнуть в ключевой воде, чтобы отбить известковый привкус. Затем положите плавники в крепкий куриный бульон и прокипятите несколько раз – до тех пор, пока они не станут мягкими и нежными. Ну, приправьте суп раковыми шейками, очень хорошо также посыпать

немного струганой ветчиной, – это придаст остроту, – и тогда можно подавать на стол...

Я любовался м-ром Цаном-отцом, пока он рассказывал, помогая обильным и законченным жестом словам чужого языка. Он совсем преобразился. Видно было, что это – подлинный гастроном. Как китайский художник заботливо выписывает каждый волосок на шкуре какого-нибудь свирепейшего тигра, так и он тщательно отмечал и переживал в душе каждый этап сложного кулинарного процесса. В заключение, он ловко подхватил палочками целую косму янтарных волокон из разваренных плавников и вежливо поднес их к моему рту.

Честное слово, – они были очень вкусны!..

6. Поэма огня

«Хон Мяо» – значит «Радужная Кумирня». Она находится в самом торговом центре Шанхая, на Нанкин роуд, неподалеку от громадных универсальных магазинов Винг. Она и Сен-Сира. Китайцы говорят, что ей 700 лет. Значит, она стояла уже тогда, когда Кублай Хан, завоевав Хан-Балык, теперешний Пекин, правил им и одновременно – Москвой. Шанхай был в те времена ничтожной рыбацкой деревушкой.

Идти в Хон Мяо надо в ночь на китайский Новый год и после полуночи, не раньше.

Сначала мы ничего не видели. Из-под дождя, от улицы хавкаста, от безвкусной помеси Китая с наглой американской рекламой, мы шагнули в квадратную темную пасть, в глубокий и низкий туннель без всяких украшений, открывшийся между двумя совсем обычными лавками.

И пройдя десяток шагов, мы стали на несколько тысячелетий моложе – или старше, почему знать? Мы спустились к самым недрам Праматери Азии, к самым ее истокам. Нас объял ее темный желтый огонь.

Так должно было быть в ночь творения, когда Слово носилось над кипящей и неустроенной Землей. Из расплавленной магмы камней и металлов вздувались гигантские пузыри и лопались, оставляя морщины, застывшие позже первозданными горами. И трепаные языки – легкие горючие языки пламени – носились в дымной влажности, отдуваемые вращением земного шара, метались в раскаленной радости огня.

Вы, живущие мертвым светом Эдисона, запаянным в стеклянных шариках, – посмотрите, порадитесь хоть раз в году на живой желтый огонь Матери-Азии!..

Сначала мы ничего не различали.

Только дым и огонь, несущиеся во всех направлениях... Напористо течет толпа, пробиваясь обтянутыми в шелк плечами, не снимая черных граненых шапочек. Все движется, но шума нет, как нет и благоговейной тишины храма. Только потрескивание огня, шарканье ног и смутный гул

голосов.

Так, вероятно, было в капище финикийского Молоха или мексиканского Кветцалькоагля. И если б здесь, как и там, принесли бы человеческую жертву – это несколько бы не удивило. Но здесь была только жертва огнем.

Закрыв лица платками, задыхаясь от благовонного дыма, мы вступили в маленький дворик. Он без крыши, но воздуха нет: дым не успевает уходить к небу.

Мы окунулись в сплошной сизоватый туман. И в нем во всех направлениях над головами черной напирющей толпы порхали, носились, метались пучки красных курительных палочек, треща и рассыпая искры. Дым в одну сторону, пламя в другую... То умрет, то вынесет из тьмы зеркально-черную прилизанную прическу с золотом и яшмой шпилек, с венчиком бело-восковых душистых цветов вокруг крутого шиньона. Пламя в одну сторону, дым в другую...

Ажурный, в сажень, каменный фонарь преграждает выход из туннеля. Из его нутра бьет желтое жертвенное пламя; это – щит против злых духов. Впереди – широкая чаша из камня, куда, в огонь, непрерывно летят гроздь посеребренных бумажных «денег». Бросивший поспешно отшатывается назад от взметнувшегося языка, а косматый клубок огня, разматываясь в каменной чаше, пышет вверх тонким лезвием, достает до самых закопченных стропил, до самого края задранной черепичной крыши, – высокий, яркий и легкий.

Что горит – не видно; будто сам камень горит.

Наверху, между большими незажженными фонарями, между толстыми спиралями курительных свечей, подвешенных где-то во мраке, с трудом находишь кусочек неба. Оттуда сеется мелкий зимне-шанхайский дождик, но разве в силах он справиться с огнем, в который воплотилась сегодня древняя вера китайской женщины!

Потому что сегодня, в ночь на Новый год, в этот семисотлетний храмик, посвященный Гуань Инь, Богине Милосердия, идут женщины Шанхая, богатые и бедные, честные и проститутки, чтобы молить у божества удачи в делах, детей или легких родов.

Божество сидит в глубине, в нише, прямо против входа-туннеля. Оно закрыто нависшими красными пологам, заслонено двойным забором из горящих толстых красных свечей. Перед ним то и дело на красный шелк низкой скамейки падают на колени женщины, молодые и старухи, и делают «большое котоу», бросив в гулкий ящик горсть медяков или серебряшек.

Вправо, за грубыми колоннами, – маленький придел. Туда идут женщины, чтобы молиться черноликому Отроку, Выводящему Коня,

который помогает ребенку покинуть материнское чрево.

Еще дальше – другой, больший придел. Там, по стенам, в два яруса, сидит на невысоком алтаре-прилавке целый сонм даосских и буддийских божеств и мудрецов. Их множество, разных рангов и достоинств, но у каждого свое лицо, своя поза, а в руках – свои характерные атрибуты.

Боги или золотые, или ярко раскрашены. Повороты и жесты, выражения лиц полны удивительной экспрессии. Но сейчас некогда разбираться в этом азиатском Олимпе, невозможно, толпа напирает и грозит разорвать цепочку, которую мы образовали, взявшись за руки. В желтых огнях парных – всегда парных – красных свечей, в дыме сандала колеблются, улыбаясь или гримасничая, фигуры божеств.

И все-таки глаз отмечает: вот старый Лао-е, бог-акушер; вот богиня Оспы с цветком в руке, которую так и зовут «Хуа» – «цветок», чтобы задобрить, чтобы не посетила.

Вот тысячерукая Цянь-Шоу-Гуань-Инь с глазами на каждой из тысячи ладоней. Когда ее отец-князь был при смерти, она позволила выколоть себе глаза и отрубить обе руки, чтобы из них приготовили открытое ей богами во сне лекарство. Отец после его приема выздоровел, а боги вознаградили почтительную дочь в пятьсот раз, дав ей тысячу рук за дочернюю любовь...

Вот бог, у которого из глазниц тянутся вперед две тонкие ручки, и опять на их ладонях глаза.

Спутник пытается объяснить:

– Это бог правосудия: все видит, и руки длинные, везде достанет...

Может быть, не знаю... Толпа несет все дальше, захватив нас течением. Потолок тонет в дыму и копоти, той особенной бархатной копоти, которая неразлучна с каждым старым китайским храмом. Весь придел – как дымная пещера...

Черный живой водоворот снова вынес нас на дворик, тянет к выходу, мимо каменной чаши, перед которой пылает теперь уже прямо на плитах пола новый костер из вывалившихся через край горящих бумажных гроздий... От него жарко, толпа жмет в сторону, пахучий дым больно ест глаза... По стенам, фонарям, благодарственным таблицам, по черным шелкам толпы скачут, мечутся зловещие желто-оранжевые блики, освящая снизу скуластые лица толпы.

Пора, но не хочется уходить. Хочется глубже, резче ухватить памятью этот дымный гимн огня.

Уже в конце туннеля, у выхода, оборачиваемся в последний раз: в квадрате черной рубленой рамы, разрезанном посередине силуэтом фонаря, безумствует желтый огонь. Сзади, в струях горячего, нагретого огнем воздуха, точно ряд органных труб, колышутся на главном алтаре

горящие красные свечи...

Так и останется: черный камень, красные свечи и желтый, желтый огонь!

1924-1930 гг.

Опубликовано: Балтийский альманах. 1924. № 2. С. 47-49 (очерки «Каллиграф», «Нищие», Муравьи, Хав-Касты); Слово. 1930. 7 января. С. 6 (очерки «Нищие», «Муравьи», «Вывески», «Бабочка»); Слово. 1930. 16 марта. С. 14 (очерки «Шар», «Чо»).

Печатается по: Рубеж. 2005. № 5. С. 128-133.

ЧЕРНАЯ СЕРИЯ (В сокращении)

От автора:

Канвой настоящей повести послужила копия с официального акта, хранящегося в архивах Американского Губернаторства на о-ве Гуам (Марианские острова), а также рассказ одного из участников плавания.

1. Закрутило

Некоторые находят, что человеческой жизнью, так же как и жадной азартной игры, управляет не провидение, не случай, а странный, почти неосознаваемый закон счастливых и несчастных серий.

Мне лично кажется, что думающие так глубоко правы. Когда вам повезло, когда у вас пошла «красная серия» – она несет вас, как поток в половодье, и не покинет ни в коем закоулке жизни.

Если вы садитесь за зеленый стол – смело тяните тогда к восьмерке: все равно купите или туза, или «жир». Если вы заняты делами – решайтесь на самые невероятные, самые рискованные комбинации: они все пройдут как по маслу! И то же будет и в любви, и в карьере, и в семейной жизни – во всем, ну решительно во всем, что вас так или иначе касается.

Но уж зато, если пошла «черная серия», не помогут никакие восьмерки: у вашего противника как раз в нужный момент, точно из обшлага, появляется девятка.

Вы никак не можете попасть в такт, в ногу с жизнью. Самые верные дела срываются одно за другим. Женщины начинают изменять, друзей убивают. Вы всюду опаздываете, никого не можете застать дома, трамваи регулярно уходят из-под самого вашего носа. И так до мелочей, до курьезов, до того, что, когда вы бросаете китайцу-меняле ваш последний доллар, – он, звякнув монетой о стертый прилавок, говорит:

– No goodee¹⁴, – и пренахально отворачивается к следующему

¹⁴ Нехороший, фальшивый.

клиенту.

Опытные игроки советуют сейчас же встать из-за стола, как только вас начинают бить одним очком. К сожалению, этот совет гораздо труднее исполнить в жизни, чем за картами. И что бы вы ни предпринимали, как бы вы ни изворачивались – черная серия будет преследовать вас до тех самых пор, пока она сама не захочет окончиться и смениться «красной». Иногда это длится час, иногда – годы.

Вы, может быть, подумали, что это пустое суеверие?

А скажите, пожалуйста, почему же тогда старый игрок в рулетку, в противоположность новичку, охотней бросает свой луидор именно на тот цвет, который только что вышел?

Но я не собираюсь спорить. В моей жизни я слишком часто испытывал на себе самом неумолимую власть ЗАКОНА СЕРИЙ, чтобы в них сомневаться. Однако нигде я не мог проследить ее с такой четкостью и определенностью, как в жизни Никиты Анисимовича Порейчука.

У него черная серия началась ровно в половине шестого утра пятого апреля 1920 года. И все мало-мальски важное, что бы он ни предпринял в течение следующих затем трех лет, было заранее и фатально обречено на полный провал.

Началось это с летающего солдата. Да разве у Никиты Анисимовича было хоть в мыслях угробить японца? Он летит в Хабаровск, а садится во Владивостоке. Он нанимается мотористом на Камчатку, а шхуну сносит к экватору. Кое-как добравшись оттуда до Филиппин, он пристраивается к американцам в автомобильный парк. И что же? Через месяц парк расформирован!

Тогда он пробует торговать. Сначала дела будто налаживаются. Но не тут-то было! Черная серия еще не кончилась: его компаньон едет в Японию и гибнет со всеми компанейскими деньгами в Иокогамском землетрясении. И уж только после этого цвет серии неожиданно и резко меняется.

Но я прошу прощения. Я увлекся и страшно забежал вперед.

Итак, я сказал, что черная серия началась у Никиты Анисимовича весной двадцатого года. До этого момента в его жизни было, пожалуй, не больше приключений, чем в жизни каждого порядочного летчика. Полетав над галицинскими полями до тех самых пор, пока товарищи-механики не начали подпиливать стойки у аэропланов, а товарищи-рабочие – подсыпать в моторы гвоздики и другие мелкие предметы, Никита Анисимович скрывается из моего поля зрения года на три. Выплывает он уже в городишке Спасске, неподалеку от Владивостока, занятый на аэродроме авиашколы починкой какого-то допотопного «фармана». Тут-то и захватывает его черная серия.

Конечно, это могло быть простым совпадением, но именно той же

весной красные партизаны вырезали весь Николаевск-на-Амуре вместе с оккупационным японским гарнизоном.

Японцы обозлились, срочно водрузили над Владивостоком свой алый диск на белом фоне, а в ночь на пятое апреля открыли на улицах отчаянную пулеметную пальбу. В самом Владивостоке под боком у консульского корпуса все дело обошлось одной горничной и полудюжиной зазевавшихся политкомов, которых японское командование своевременно отправило в Мрак Трех Дорог. В Спасске же, где летал Никита Анисимович и где отродясь никаких консулов не видали, потомки самураев развернулись гораздо основательнее.

Необходимо отметить, что летчик к этому времени обзавелся дамой сердца. За Дусей, муж которой пропал где-то на фронте, он ухаживал уже с месяц, и теперь все у них шло по-хорошему.

Как раз четвертого апреля, поздно вечером, Никита Анисимович сидел в ее комнате с геранью и бальзамином на чистеньких подоконниках и нежно гладил Дусю по плечу. Дуся вышивала крестиками. На вязаной колечками белой настольной дорожке пищал, потухая, самовар. Большая лампа «молния» слабо шипела под розовым колпаком, светила и грела уютно. В комнате пахло Дусиной пудрой и еще чем-то хорошим.

«Нет, женюсь!.. Ей-богу, женюсь!.. – думал летчик, чувствуя ладонью сквозь бумазейку Дусину теплоту. – Вот как достану денег, так и женюсь... Какая она вся... тепленькая!».

За окном, за бальзаминами, яростно задувал вешний ветер, бросаясь в чисто протертые стекла. Снаружи грохнуло ставней. Канарейка проснулась и коротко чирикнула. Никита Анисимович вспомнил о своей казенной нетопленной комнате и весь передернулся.

– Чего это вы? – подняла Дуся вздернутый носик от крестиков.

– А вон, слышишь, ветрила какой!.. Точно мотор: у-у-у!.. Так и шпилит!..

– Ну и слава Богу!.. Значит, завтра полетов не будет, а то еще... Ну, ладно!.. – смутилась Дуся и, заглянув искоса в зеркало, подпернула кофточку на плече.

– Что, что?.. Нет уж, если начала – договаривай!.. – он обнял ее покрепче.

– Да, вот, – прижалась Дуся теплым плечиком, – как начнут у вас поутру машины заводить, так у меня сердце и екает. Царица небесная, думаю, неужто и этот угробится?! <...>

Летчик наклонился к ней и что-то шепнул.

– Еще чего выдумали! – зарозовелась Дуся и оттолкнула его обеими руками. – Нет уж, извините!.. Над нами не каплет: сначала женитесь...

Ветер размахнулся и с налета двинул по крыше. Лампа «молния» мигнула и опять зашипела ровно.

– Дусенька, – начал летчик с укоризной, – так ты мне не веришь? И тебе не стыдно? А еще говорила: «Люблю»!.. Выставлять человека в этакий час на холод, на ветер...

– Ну, рази что на холод?.. Тогда, тогда... ну, как хотите!.. – шепнула Дуся и спряталась в его френче.

– У-у-у!.. Ву-у-у... – неодобрительно завывало за бальзаминами.

На рассвете Никита Анисимович вскочил и прислушался: ему почудилась стрельба.

– Ра-та-та-та-та!.. Ра-та-та-та-та!.. – строчил где-то совсем рядом пулемет.

«Что еще за черт?», – с досадой подумал летчик, быстро одеваясь.

– Котик, куда ты?.. Никуда не пушу!.. – всхлипнула Дуся, соскочив ножками на коврик.

– Нельзя, детка, нельзя!.. – серьезно сказал летчик, чмокнул ее на ходу в ушко и побежал в школу.

Улицы точно подмело; пулемет не стихал. В канцелярии школы никто ничего не понимал. Никита бросился к мастерским и налетел на свое начальство.

– Порейчук, куда ты провалился... Вот, держи пакет. Бери «Брега» и дуй в Хабаровск!..

– В Хабаровск?

– Ну да, в Хабаровск! Туда пятьсот верст: как раз бензина хватит...

– А в чем дело?..

– А-а, я сам ни черта не понимаю!.. – отмахнулось начальство. – Прямой провод во Владивосток обрезан... Да шевелись, япошки окружают школу!..

Через несколько минут Никита Анисимович стоял с малым чемоданчиком в руках около ангара, откуда его ученики выволакивали на рысях большой «Брегэ», единственную машину в школе, годную для серьезного перелета.

Из-за ангаров, со стороны партизанских казарм, отчетливо сек пулемет и слышался глухой «банзай!» японцев. С другой стороны, рассыпавшись в цепь и на ходу беспорядочно стреляя, поспешал через поле взвод в папахх куполами: они же...

Приходилось спешить. Летчик бросил в аппарат свой чемоданчик, плюхнулся на сиденье и дал контакт. Мотор фыркнул и тут же встал. Механик выругался, еще раз провернул и бросил пропеллер, и сейчас же пустился наутек: недалеко показалась новая кучка японцев, которые мчались к машине, согнувшись пополам, со штыками наперевес. Скуластые лица, перекошенные диким криком, обещали мало хорошего.

На этот раз мотор взял. Летчик вздохнул свободней и прибавил газу. Аппарат побежал, слегка подпрыгивая, глубоко чертя хвостом весеннюю

таль. Тогда японцы кинулись наперерез машине.

«Брегэ» катился уже на одних колесах, качая в воздухе хвостом, как вдруг мимо головы летчика нежно свистнула пуля. Он инстинктивно обернулся и увидел, как передовой солдат бросил винтовку, прыгнул вперед и повис на крыле, вцепясь в стойку. Аппарат сразу накренился, чуть не черкнул крылом по земле. Тут летчик дал полный газ.

Мотор взвыл, рванул, и толчки по кочкам прекратились. Налегая до отказа на левую педаль, Никита Анисимович видел, как неистовый ветер сорвал с японца папаху. У лакированной стойки залоснился бритый иссиня-оливковый череп азиата. Его закушенные губы посерели от страха.

– Черт!.. Надо рискнуть, а то гроб!.. – мелькнуло у летчика.

Он резко накренил в сторону солдата качавшийся аппарат и снова рванул рули налево. Японец подлетел, как акробат на трапеции, скрюченные пальцы его разжались, и он нырнул в пустоту с высоты трех этажей, ловя вытянутыми руками воздух. Освобожденное крыло взмыло вверх, аппарат чуть не опрокинулся. Внизу сразу же заработал пулемет, негромкий сквозь рев мотора.

«Готов, должно быть! Ну, теперь японцам и не попадайся!.. – подумал летчик. – Фу ты, черт, как все это нескладно выходит!..».

День хмурился. Вперемежку с крупной моросил дождь. На вершины снежных сопок напозлали сероватым тестом низкие, грузные тучи. Никита Анисимович почти сразу же окунулся в их холодный пар, который скрыл даже концы крыльев. Теперь летчику надо было думать, как попасть в Хабаровск. В суматохе учебный «Брегэ» не снабдили ни картами, ни компасом, и пробираться сквозь тучи, чтобы лететь выше облачного моря пятьсот верст вслепую, было бы безумием. Никита попробовал снизиться, но очутился над самыми казармами, откуда его деловито встретил японский пулемет. Пришлось лететь по самой границе тучевого слоя, то и дело зарываясь в облака. Наконец он заметил на земле тесемку железной дороги и пошел вдоль нее. <...>

Прямо перед ним двумя расходящимися к воде грядами лежала небольшая зеленая полянка. В полуверсте начинались домики. Никита Анисимович снизился и, не осмотрев грунта, выключил мотор. Аппарат заскакал по лужайке, чуть не уткнувшись с раската в легкий барьерчик. К нему во весь дух неся замурзанный мальчонка.

– Эй, гражданин! – крикнул летчик. – Это ведь Хабаровск?..

– Шо? – переспросил мальчуган. – Який такой Хабаровск? Та цежь Гнылый Ухол! А вин, бачите, буфта!..

Высунувшись из аэроплана, Никита Анисимович действительно узнал трибуны владивостокских скачек. Тут он вспомнил о своем непрошенном пассажире и крепко выругался.

«Ясно: японцы уже слышали о Спасске, сейчас зацапают! – подумал

летчик. – А куда я полечу без бензина?.. Нет, надо удирать... Ну и облака, чтоб им...» <...>

Надо было разузнать, что замышляют японцы, и тут он сразу же вспомнил о некоем Лапине. Правда, Лапин сам служил в японской разведке, но был летчиком и, кроме того, его прежним учеником. Никита Анисимович решительно надвинул нескладную чешскую «кепу» и отправился в японоштаб.

Там, за ширмочкой с хризантемами, он ждал недолго: Лапин влетел в приемную, задержался при виде чешской формы и, узнав его, быстро зашептал:

– Сматывайся, Порейчук!... Сейчас же утекай!.. Твой японец сыграл в ящик... Тебя ищут!..

– Ну, хорошо, а литера чья будет?

Лапин развел руками:

– Вот что: там какая-то шхуна идет на Камчатку. Сунься к капитану, попросись мотористом. Только не болтайся в городе: запросто попадешь в расход! <...>

2. Тревожные симптомы

«Диана» была маленькой, удивительно запущенной деревянной посудиною в полтора тонны, скрипевшей по всем швам. Строили ее еще в прошлом столетии и уже раз вытаскивали со дна морского, где она очутилась во время тайфуна. Впрочем, для ее нефтяного моторчика всего в тридцать лошадиных сил морские ванны не были в новинку: за четверть века службы он купался уже не раз и весь кругом оброс толстой корой ржавчины. Заглянув в его нутро, летчик только покачал головой.

Белобрысый Худовей, капитан шхуны, тоже не внушал доверия. Он был настолько же излишне молод, насколько шхуна была излишне стара. О парусном плавании в северных широтах он знал только по теоретическому курсу, недавно вызубренному в местной мореходке, а на его румяных щечках еще проступали детские ямочки.

В довершение всего Никиту Анисимовича сразу же поразило мрачное созвучие капитанской фамилии:

– Худовей... Худо-вей! – повторил он несколько раз, спустившись на набережную. – Ничего себе, приятная фамилия для морехода...

Но летчик твердо помнил совет Лапина. Шутить с японцами во Владивостоке вообще не рекомендовалось, и поэтому прямо со шхуны он отправился к начальнику всей экспедиции, лейтенанту флота Князеву, сидевшему без службы по случаю революции.

Тот был настоящим моряком. Никита Анисимович понял это сразу, нутром, глядя, как Князев сжимал ровными квадратными зубами свою начерно прокуренную трубку. Он весь был какой-то четырехугольный и

прочный: поставишь – не свалится: и походка, и взгляд стальных глаз, и негромкий голос, – все в нем было прочно и крепко.

– Пистолет! – решил летчик и тут же нанялся мотористом. На следующее утро он уже устроился по-домашнему рядом с мотором на пропахшей нефтью койке и занялся допотопной машиной.

Лейтенант Князев стремился уйти на север пораньше, но бесконечные ремонты оттягивали с недели на неделю отплытие шхуны. Тем временем Никита Анисимович избегал попадать на берег, где шныряли японские сыщики, возился с мотором, ловил камбалу и писал Дусе нежные письма, обещая привести с Камчатки горностаев на палантин.

Как-то, уже незадолго от отхода, сидя с леской на баке¹⁵, летчик услышал сзади страшный гвалт. Он обернулся: в дверях камбуза китаец-повар с отчаянием отбивался большой кастрюлей от наседавших японцев-матросов. Те что-то вопили, указывая на выплеснутый суп и валявшиеся на палубе куски рыбы. На крик подскочил боцман, тоже японец, и сгреб повара за шиворот.

– Стой! Пусти его! – крикнул Никита Анисимович. – Васька, ваша чего скандалишь?

– Моя не зынаю, моя либу покупайло... Холоси либа есь, савезии... Японски люди сюда ходи, его говоли... либа вали нету!.. Зачем вали нету.. Моя не зынаю!..

В это время из трюма показался лейтенант Князев, понимавший по-японски. Матросы бросились к нему и залопотали наперебой.

– А-а!.. Вакаримас, вакаримас!..¹⁶ Василий, выкинь всю свою рыбу за борт!.. Ну?!..

– Вот идиотская история! – обратился он к летчику, когда обозленные матросы спустились в кубрик. – И угораздило же Ваську сварить акулу!.. У японцев она считается и покровительницей, и врагом моряков. Есть ее на корабле никак нельзя: обязательно несчастье будет. Из-за этого и скандал. Боюсь, как бы теперь наша команда не разбежалась!..

И действительно: на следующий день все японцы вместе с оскорбленным Васькой потребовали расчета. Пришлось набирать наскоро новую команду из корейцев. Князев хмурился: она была много хуже первой.

Так «Диана» прособиралась больше двух месяцев и только в первых числах июня, кокетливо наклоняясь под новыми парусами, она вышла в море и направилась в Хакодате.

Господи, кого только не набилось на утлое суденышко! Кроме команды, на шхуне устроилось больше полусотни пассажиров. Тут были и

¹⁵ Нос корабля – морское выражение.

¹⁶ Понимаю, понимаю!.. – по-японски.

промысловые рабочие, и рыбаки, и засольщики-икрянники, и китобои – все бородатые неразговорчивые дяди в нерпичьих¹⁷ куртках и брезентовых по пояс сапогах. Эти пассажиры вносили страшную тесноту и мешали всем, кроме взимавшего за проезд владельца шхуны, гражданина Барыкова. <...>

Скандалы на «Диане» не заставили себя ждать. Не успела шхуна подойти к Японии, как древний моторчик, повертевшись кое-как четыре дня, начал хронически кашлять и захлебываться. Никита Анисимович застопорил его, закачал рукава и отвинтил ржавый картер. <...>

Мотор так и не пошел: от старости один из его клапанов отвалился, а на шхуне не было даже станка, чтобы выточить новые. Пришлось идти на парусах, лавируя против встречного ветра, однако совсем недалеко от Хакодате всякий ветер стих. Берега не было. Шхуна беспомощно колыхалась на медленных волнах, точно политых синим маслом. Доходила неделя плавания, народа было много, и на второй день штиля пресная вода стала кончаться. Пассажиры забеспокоились.

Проходя вечерком на бак, летчик услышал из темноты сишный бас старого матроса Рябоконея. Он уже успел раздобыться спиртягой и кому-то назидательно говорил:

– Нет, паря, вот попомни мое морское слово: обязательно что-нибудь стрясется!.. Да нешто с такой фамилией возможно плавать? Ведь это тебе не с дамочками на Светланке... – дальше следовало вовсе неприличное. – Рази тут когда летом такие штили бывают? Не иначе, как специально для нас!..

«Это он про Худовея! – подумал летчик. – Что и говорить, начинаем шикарно!»<...>

3. Крупный разговор

Солнце только что село. На густо-синем небе затухали его последние огненные змеи. Розоватым меркнувшим светом осталась напитанной лишь верхушка горы с рогатыми «тории» – воротами и храмом, полускрытым в соснах. Несколько минут вершина парила над опустившимся в сумрак городом и портом. Потом постепенно сузилась и потухла, слившись с лиловатым полумраком.

Над всей гаванью поплыли, вибрируя, полнозвучные торжественные удары храмового гонга и затерялись где-то в лесистых горах Хоккайдо. С разных сторон города им гордо ответили военные трубы. Легкая, воздушная луна стала плотнеть и наливать серебром на нежной голубизне непрозрачного, как бы самосветящегося неба.

За мол со всех сторон спешили рыбацьи джонки, пыхтя моторами, сухо стуча опускающимися циновками парусов. Склоны гавани усыпались

¹⁷ Нерпа, камчатское название тюленя.

тысячами матовых огоньков. Успокоившись, теплый воздух слабо донес слитную трель «семи» – цикад, будто кто вдали вертел трещотку...

– Эх, прошли золотые денечки! – разглагольствовал, глядя на город, как всегда выпивший Рябоконт. – Бывало прежде по всей Японии русский матрос – первый человек. Где ни кинешь якорь – всюду тебе уважение. А уж ежели завьемся, Господи, Боже мой!.. Дома сносили... Да что дома: был у нас на «Трех Святителях» боцман Семен Терентьевич – су-урьезнейший матрос! Как только клюкнет, моментально: «Идем, – говорит, – ребята, переулочок проложим!..». Вот мы, значит, возьмем за руки и прем, так прямо сквозь стены и прем, только ихние рамы трещат... И штобы там полиция што – ни-ни!.. После, натурально, отпишут господину русскому консулу, ну, он и разбирается... В Нагасаках, к примеру, хотите верьте, хотите нет, так мы раз с Семен Терентьевичем шишнадцать домов таким макарон своротили!.. Ей-богу!.. А которые японки в ваннах сидели, так мы в бассейн пустили, поплавать... И хошь бы што!.. <...>

Злостью дня на шхуне была покупка китобойной пушечки. Всякими поставками ведал у Барыкова некто Хигучи-сан, японец-комиссионер. Это был большеголовый, чрезвычайно юркий человечек с золотыми зубами и неимоверно зеленым галстуком на вечно грязном воротничке. Отвязаться от него на берегу не было никакой возможности. Что бы ни покупал Никита Анисимович – бананы ли, нефть ли для мотора, или зубную щетку – он обязательно слышал рядом деревянный голос Хигучи:

– С-с-с!.. Вот да!.. Эт-то. Эт-то нехоросая равка, ха-ха!.. О-о-о-оценя дорогой... Я вам купрю подесевре!..

Однако японец так и не смог раздобыть разрешение на покупку китобойной пушечки. Князеву пришлось самому съездить в Токио и, наконец, ее с грехом пополам установили на носу.

Китобой Морозов, из прежних приставов, мужчина молчаливый и с большими подусниками, долго изучал смертоносное оружие, а вечером, наклонясь к летчику, сказал басом только одно слово:

– Барахло!..

Разные покупки, ремонты и возня с разрешением задержали шхуну на месяц, и лишь в середине июля, подняв накануне на таях вдребезги пьяного Рябоконтя, «Диана» снова вышла в море.

«Как-то Дуся теперь?.. – думал летчик, любуясь берегами Хоккайдо, покрытыми сочными пастбищами и рыбацкими поселками. – Спирта две четверти забрал: вот горностая-то наменяю!..».

Иногда случается, что черная серия, еще не кончившись, дает человеку короткую передышку и у него замечается порядочный банк. Но, будьте покойны: это только игра кошки с мышкой. Даже и в этом случае он ухитряется проиграть. У него нет смелости, не хватает ни нервов, ни нюха, чтобы вовремя рискнуть. Не додержав, он продает свой банк, сам же на него нарывається в понте, снова неудачно перекушает и, в конце

концов, продувается в пух и прах.

Приблизительно то же было и с Никитой Анисимовичем и шхуной. Черная серия притаилась на время и не проявляла себя за все трехнедельное плавание до Берингова моря. К великому удивлению летчика мотор исправно заводился и вертелся, а непрекращавшийся попутный ветер ровно нес «Диану» на северо-восток.

На шхуне установилась монотонная, размеренная жизнь. Даже оставшиеся пассажиры как-то утряслись и перестали мешать, пристроившись в трюме на товарах, бочках с нефтью и черных просмоленных мешках с солью. <...>

Вечерним развлечением был ужин, на котором собирались все русские. На столе часто появлялись баночки почти не разведенного спирта, и языки быстро развязывались.

Запевалой неизменно бывал Рябоконь. Он, собственно, нанялся помощником капитана, но сейчас же после выхода из Владивостока стало ясно, что он едва годится и на матросскую вахту. Обычно все свободное время он спал в кубрике, а если и вылезал на палубу между вахтами, то был или совсем пьян, или на сильном взводе.

Рябоконю было уже за пятьдесят. Его корявые лапы с оторванным правым мизинцем были сплошь в ссадинах и рубцах от падавших рей и сорванных концов. Угрюмый, скуластый, с носом картошкой и седыми рысьими бровями, он был прежде отличным боцманом, но спирт, пропитывавший годами его кряжистое тело, совершенно сломил дух.

Зато это была какая-то ходячая Северная Энциклопедия. Он одинаково хорошо знал и как надо зимовать, чтобы шхуну не раздавило льдами, и где бить шурфы на Анадыре, чтоб напасть на гнездовое золото, и как соболевать в заповедниках на Больших Шантарах, чтобы не угодить в Долину Смерти. Рассказам же его о скверных приметах, кораблекрушениях и разной морской нечисти не было конца. Произнеся несчастливую фамилию капитана, Рябоконь никогда не забывал перекреститься под столом и вообще терпеть не мог молодого Худовея.

— Гиблое место! – рассказывал старик, когда «Диана» проходила в виду мыса Лопатки, которым оканчивается с юга Камчатка. – Сколько здесь судов потопло, так и не перечтешь! Туман, ветра круглый год!.. Другой раз вертишься, вертишься, и нет тебе никакой возможности!.. Вот-вот, еще маненько и обогнул бы Лопатку, выдрался из Охотского моря, а тут тебе, моментально, норд-ост в самый нос... Так и норовит, бабушку его так-то, на камень посадить!.. Прямо сдохнешь!.. Однако морского бобра здесь раньше водилось видимо-невидимо!.. Тогда на него, натурально, строгость была. А теперь што? Скоро последних выбьют. Апосля Цусимы каждый япошка в хищники лезет, ей-богу!.. Шхунешка, ну, можно выразиться, совсем ни к черту, а мотор ставит во какой! Придет к лежбищам и вытащится на берег. Сейчас это, значит, мачту долой, выкрасится, травы набросает на палубу,

ну, с моря глядишь – камень, да и только!.. Оставят на шхуне мальчонку сторожить, а сами бобра бить: он на морской капусте любит харчиться. Коли даже на каком-нибудь там «Лейтенанте Дымове» заметят, так япошке плевать: свисток, шхунешку на воду и шпарит себе моментально эдак узлов по пятнадцати. А наш – пых-пых – сзади на своих десяти. Где уж угнаться. Но уж ежели нарвется, сукин кот, тогда шалишь! Последний штрафованный матросик свой профит возьмет.

– А ты, дядя, нешто и в охране промыслов плавал? – поинтересовался кто-то.

– Э-э, паря, где я только ни плавал!.. – ответил, как всегда в таких случаях, Рябоконт и долил стакан.

– Зя-я-ямля слева на носу!.. Зя-ямля-а-а!.. – услышал Никита Анисимович крик вахтенного.

Оставив далеко сзади Командорские острова и пройдя мимо Камчатки, «Диана» подошла к Земле коряков, растянувшейся тысячеверстной голой тундрой по побережью Берингова моря. Здесь и были рыболовные участки, заарендованные Барыковым.

В бухте Тюленьей Никита Анисимович впервые увидел Север. Он наполнил летчика странным щемящим чувством. Тишина была такой полной, что становилась мучительной. Никаких признаков жизни не было заметно на этих освещенных невеселым солнцем пространствах. Вокруг лежали одни холодные голые обвалы черной земли, спускавшиеся к самому морю. В тени, по оврагам и на верхушках земляных сопки, еще белел упорный прошлогодний снег. Ветру нечего было колыхать на плешивых траурных осыпях. Людей не было. Птицы тоже не показывались.

Но если суша казалась мертвой, то вся стальная поверхность бухты была усеяна черными точками нерп¹⁸. <...> Никита Анисимович не выдержал и спустился за винтовкой. Выстрел гулко разбил о сопки. Черные головки мигом скрылись. На месте одной из них по волне пошло грязно-красное пятно. Летчик спрыгнул к ждавшему в лодке проворному матросу Жукову, и они оба загребли изо всех сил.

– Навались, навались, так вас перетак!.. – весело кричали со шхуны.

Кровавая полоса на волнах указывала, в каком направлении уходит нерпа под водой. Вскоре на поверхности забелело ее брюхо.

– Глуши ее, курву!.. Смотри, утопнет!.. – надрывались на шхуне.

Животное сильно билось, Жуков оглушил его веслом и подтянул на веревке к шхуне, куда нерпу втащили на таях. Из раны хлестал поток темноватой крови, заливая узкую палубу...

Корейцы сейчас же подставили свои мисочки, напились горячей крови, подпалили усы, чтобы не беспокоил потом дух убитого зверя, и

¹⁸ Нерпа – камчатское название тюленя.

после этого тщательно срезали их: это ценное на Востоке лекарство.

Тем временем Иена пилил горло животному большим кухонным ножом и чуть было не угодил в море: нерпа, толстая и жирная, как хороший йоркшир, очнувшись от боли, с силойхватила его хвостом и судорожно заскакала по палубе. Тогда ее прикончили, подвесили, чтобы стекла кровь и начали снимать шкуру.

Уплетая за ужином отличные пироги с нерпичьей печенкой, плотный сахалинец Стукалич рассказывал:

– У нас ее, однако, колотушкой бьют, когда она на камнях играет: она, язвы ее, крови не любит. Где ейная кровь истекала – шабаш, ни за что, стерва, не придет!.. Нюх у ей, однако, тонкий!..

– Верно, – сказал Князев, – меня раз камчадалы чуть не побили за винтовку. Говорят: «Мы тебе, друг, десятоцек достанем, однако не стрели!» Они подползают к лайде¹⁹ в нерпичьей шкуре, а потом бьют копьём на ремне. Пока нерпа поймет и бросится к воде, полдюжина есть. <...>

4. Скверная примета

– Николай Алексеевич, что там за курганчики? – спросил летчик у Князева.

– Где? У речки?.. Да это юрты.

– Нет, левее, вон там!

– Ну да, я о них и говорю. Это землянки оседлых коряков.

– Гм!.. А как же туда залезать?

– Подождите!.. – лейтенант взял винтовку и выстрелил несколько раз в воздух. Из самых макушек желтых дерновых холмиков, покрытых ветками, высунулись, как суслики из нор, черные головки.

– Теперь поняли? – улыбнулся Князев. – В земляной юрте нет ни окон, ни дверей, ни трубы: за все дыра в потолке. А снизу коряки лезут к ней по стволу с перекладинами так сказать!..

Убрав паруса, шхуна становилась на якорь. Низкая кочковатая тундра с тощими кустиками кое-где загибалась влево и вправо широким плоским лукоморьем. Затянутое плотными тучами ленивое небо и вода бухты были бесцветно-молочными. Медленно взмахивая крыльями над самыми мачтами, плавали чайки, гагарки, тяжелые бакланы и жирные дикие гуси, отъевшиеся летней ягодой. На берегу между дюжиной юрт копошились фигуры в летних кухлянках, и залиvisto лаяли ездовые собаки.

– Вот где, Бог даст, кормилицу-то захватим! – сказал Барыков, любовно поглаживая бочонок под рыбу. – Рыбка-то, она невеличка, а того... миллиончик возьмем, с нас и хватит...

¹⁹ Место на льду, где лежит табун нерп.

– Рано барыши считаете! – отозвался Князев. – У коряков спросим, боюсь, запоздали мы.

– А, волк те заешь, Миколай Алексеич!.. Чего ты всегда зря каркаешь?

Но предчувствия Князева оправдались. На берегу коряки рассказали, что осенний ход рыбы кончился уже с неделю. Все становье нещадно воняло рыбой. Ездовые собаки и ребята ходили вперевалку со вздутыми животами. Повсюду на тонких нерпичьих ремнях, растянутых по шестам, вялилась красными сосульями жирная кетовая «юкола». <...>

– Надо хоть пушнину достать! – решил Князев и уехал на оленях в глубь страны, где стояли летом коряки. Он вернулся через два дня усталый и злой.

– Ни черта!.. Почти все юрты скочевали в тундру, а кто остался, сыты по горло товаром. Все есть, даже угощали американским печеньем. Берут одни «банцки». Еле-еле достал в обмен на спирт дюжину лисиц да пять соболей. Говорят, больше никого не ждали, вот все американским шхунам и промотали.

– Как же теперь с Дусиным палантином-то? – подумал грустно Никита Анисимович. – Ну ладно, может, где дальше наменяю... <...>

Раз, когда Никита Анисимович возвращался с молодым капитаном после охоты на сусликов к чинившейся шхуне, мимо них пронеслась, чуть не задев крылом, большая белая чайка, нырнула за рыбой и закачалась на близкой волне.

– Вот эта есть!.. – обрадовался обычно пуделявший Худовой, и не успел летчик схватить его за руку, как птица, пронзительно крича, заметалась на воде с отстрелянным крылом.

– Зачем? – спросил летчик.

Но работавшие вокруг шхуны приняли выстрел гораздо более серьезно. Побросав инструменты, они сбились в галдевшую кучку и, как только охотники подошли к шхуне, обступили их со всех сторон.

– Вы что? – спросил Худовой.

– Ай-ай-ай!.. – качал головой еле державшийся на ногах Рябокоть. – А!.. Вы такое видели?.. Ну, теперь нам всем крышка!.. Чайку подбил!..

– У тебя не спросился!.. – вспыхнул Худовой. – Пошел спать, ты пьян!..

– А ты подносил?.. Нет, братцы, видели, а?.. Чайку!.. А еще «моряк» называется!.. Тебе бы мамку сосать!..

– Молчать! Как ты с капитаном говоришь?..

– С ка-пи-та-ном?.. Да... там-тарарам!.. – артистически загнул побагровевший старик. – Зачем чайку бил? И фамилья твоя проклятая.. Вот попомни меня: мы еще, Бог даст, может выкрутимся, а уж тебе теперь со шхуной крышка, как пить дать, крышка!..

– Однако он верно говорит!.. Правильно, старик!.. Нельзя чайку!.. Все знают!.. – угрожающе загудела толпа.

Корейцы тоже возбужденно лопотали.

– Что?.. Заговор!.. Бунт?.. По местам, сволочь!.. – истерически выкрикнул Худовей и выхватил револьвер.

Оружие пришпорило Рябокonia.

– А, ты так?.. А ну, братцы, вали на него!.. – заорал он и бросился на капитана.

Неизвестно, чем бы отделался Худовей, если б в самую гущу свалки не спрыгнул с борта шхуны Князев, работавший внутри.

– Стой!.. Назад!.. Худовей, сюда револьвер!.. Обалдели что ли? В чем дело?..

– Миколай Алексеич, что ж он леворвером?.. Нешто так можно?.. Однако и на словах пойдем!.. Вишь, язви его!.. – злобно гудела толпа.

Пока Князев урезонивал команду, летчик тащил спать качающегося Рябокonia.

– Нет, скверно, паря!.. Ох, как скверно!.. – бормотал старик и крестился. – Всю шхуну подвел, тудыть его душу!.. «Капитан»! Сопляк он, вот он кто!.. А тут – чайку!.. Да ты знаешь, почему «Нитака» ко дну пошел? Нет? Так знай: капитан-японец чайку стрельнул. Так, значит, носом вниз, и каюк!.. Никто даже разобрать не успел, как и что... И это ведь крейсер, понимаешь, крейсер, а не шхунешка!.. А почему «Камчатка» на камень села?.. А «Призрак»?.. Все из-за птицы. А он, да еще с этакой фамилией. <...>

Над шхуной нависло упорное ожидание беды. Оно было и раньше, конечно, так как каждый уже давно чувствовал в глубине более или менее ясно, что старая шхунешка вряд ли выдержит такое трудное плавание... Но эта мысль была как-то не оформлена, и выстрел Худовея упал тем кристалликом, который заставляет сразу затвердевать весь пересыщенный раствор.

Никита Анисимович тоже задумался.

«Да-а... – вспомнил он разом и ночь у Дуси, и японца, и владивостокские скачки. – Вот с каких пор мне не повезло!..».

Этой простой мыслью летчик выразил ту истину, которую автор назвал законом красных и черных серий.

5. Мотор – финиш

Никиту Анисимовича все сильнее беспокоил мотор. Летчик почти не вылезал из каютки и тревожно прислушивался к неровному стуку цилиндров. Несмотря на недавний ремонт, он каждый день ждал, что одна из основных частей не выдержит при пуске машины и сдаст окончательно.

Это напоминало ему полет с ненадежным мотором, но там всегда была внизу земля, на нее, в крайнем случае, можно было спуститься; здесь

же, откажи машина, вся расхлябанная шхунешка с четырьмя десятками человеческих жизней отдавалась на полную прихоть ветров. А ледяные норд-весты, метущие дебри Восточной Сибири, были уже не за горами: приближался сентябрь. <...>

Чтобы запастись пресной водой, шхуна зашла по пути в бухту Глубокую. Более мрачного места Никита Анисимович еще никогда не видел. Вероятно, это был кратер некогда действовавшего вулкана, в который тысячелетиями въедалось и, наконец, проникло море. Глубина была такой, что даже у самого берега якорь не достал дна. Круглое озеро со всех сторон обжимали черные гранитные скалы, обрывавшиеся прямо в воду. Шее было больно искать вершины этих гладких, точно обмызганных стен, терявшихся в неподвижных и плотных тучах. Даже трава, даже лишай не находили трещин, чтобы оживить клочком зелени царство черного камня. По отвесам не влезла бы и обезьяна.

Черная, как смоль, вода, покоившаяся на дне каменного мешка, тоже была мертва и колыхала беззвучно на обнаженных приливом утесах неживую бахрому бурых водорослей. Ни одна птица не возмущала прикосновением крыла ее черную гладь. Только в двух местах свисавшие серебряными нитями водопадики пускали по черному зеркалу расходящиеся и пересекающиеся круги. Когда ранний закат ворвался на несколько минут сквозь полог туч, все слюдистые скалы зажглись и заиграли оранжевым, точно внутри их загорелось дьявольское пламя.

– Красота!.. Должно быть, в аду так! – сказал Князев, любуясь бухтой.
– Зато спокойно. Здесь и заночуем!..

Как только занялась заря, на палубе пошла обычная перед отходом возня. Летчик проверил машину и ждал команды.

– Ход вперед! – раздалось из слуховой трубы

– Есть вперед! – ответил Никита Анисимович и приказал помощнику разворачивать тяжелый маховик мотора.

– У-уф!.. – тяжело всосали цилиндры распыленную нефть.

– Ну-ну!.. Еще разок.. Да, крепче ты, пусти-ка!.. – летчик взялся сам за рукоять.

– Пуф-пуф!.. – послышались взрывы газа.

– А ну-ка еще!..

– Пуф-пу... пуф... Дрынь!.. Крак!.. – резко лопнуло что-то внутри. Ручка застопорила.

– Никак вал?!.. Так и думал!.. Ах ты!.. – не выдержал летчик. Действительно, старый коленчатый вал, главная часть мотора, переломился пополам. О починке нечего было и думать. Теперь всю машину можно было бы свободно выбросить за борт.

– Что там такое? – спросили в слуховую трубу.

– Финиш! – мрачно ответил летчик и полез на палубу мыть руки.

Теперь он ясно чувствовал над собою власть черной серии.

С трудом справляясь с противным ветром, «Диана» медленно пробиралась обратно, разыскивая селедку в каждой бухте.

Около реки Олюторки ее снова ждало разочарование. На одинокой японской рыбалке, стоявшей на песчаной кошке, рабочие рассказали, что селедка была здесь дней десять тому назад и, судя по гнавшимся за ней китам, касаткам и чайкам, проходила очень большим косяком. Сами японцы ею не интересовались: у них было взято достаточно кеты и горбуши. <...>

Дни проходили, а селедка не показывалась. Зато появились киты. Они зашли целым стадом штук в тридцать, так что над всем заливом стоял храп, похожий на рев, а из волн то и дело с шумом вырывались могучие фонтаны. Стадо быстро прошло через залив к самой якорной стоянке. На шхуне поднялась настоящая лихорадка.

Морозов зарядил пушечку гарпуном на бечеве и ждал, приложившись. Вот у самого носа в каких-нибудь сорока сажнях вынырнул громадный черно-серый череп с маленьким тупым глазком не больше кулака. Следом показался широченный бугор спины со скатывающейся в обе стороны водой и треугольный кусок хвоста. Из недр туши, величиной не уступавшей самой «Диане», взметнулся со свистом фонтан.

– Пли! – скомандовал Князев.

Японская пушечка твякнула, гарпун вылетел, но только скользнул по толстой коже чудовища, оказавшись на излете. Затрещали винтовки, однако пули засели в толстом жире кита, не причинив ему ни малейшего вреда. Кит двинул хвостом так, что шхуна закачалась, и спокойно исчез под водой. Все загалдели.

– Говорил: барахло! – флегматично буркнул Морозов. Чуть не плача, с гарпуном в руках Барыков умолял Князева спустить шлюпку за китом. Лейтенант отказался наотрез.

– Да вы шутите что ли? Для погони нужен хороший вельбот, а не наша лодчонка. Он ее или мигом разобьет, или утянет под волны!

– Миколай Алексеич, родной, да ты только подумай!..

– Нет, нет, и говорить не стану!

Киты отошли к морю, но держались в заливе еще несколько дней. Как бы насмехаясь, они не раз выныривали, резвясь в нескольких десятках саженой от «Дианы». Морозов добросовестно палил по ним из слабосильной пушечки, но это только вспугивало птиц на берегу. Барыков совсем осунулся и ругал всех и вся, в особенности же японцев. <...>

Так в напрасном ожидании селедки прошел целый месяц. Чтобы захватить хоть что-нибудь с севера, Князев начал заменять балласт

«Дианы» прекрасным каменным углем, мощные пласты которого чернели прямо на берегу. Но шлюпка, перевозившая блестящие выломанные глыбы, брала мало, погрузка затянулась, а в конце сентября подул сильный норд-вест с холодными ливнями. Часто за одну ночь речушка успевала совершенно изменить свое течение, благодаря гальке и песку, нанесенными трехсаженным северным приливом. Ветер не утихал. Отпущенный на всю длину якорный канат с трудом сдерживал рвущуюся на привязи шхуну.

– Ну, завтра пошли в Петропавловск! – сказал вечером 28-го сентября Князев. – Ждать нам больше нечего: все равно прогорели. А дальше оставаться – потерять и шхуну, и людей!..

– Может, мы все-таки... – заикнулся было Барыков.

– Нет! – отрезал лейтенант и пошел предупредить Худовея.

Выходя из залива Корфа, никто на «Диане» и не думал, что это последняя стоянка на Камчатке и что вместо возвращения черная серия будет нести их непрерывно три с половиной месяца по океану.

6. Понесло

Теперь на шхуне стало совсем свободно. <...> На борту осталось всего десять русских и девять корейцев, включая Джинкаю.

Вскоре после того, как «Диана» вышла в открытое море, барометр начал катастрофически падать: приближалось уже время осенних штормов. Погода портилась с каждым днем, а густой туман над морем не рассеивался по несколько суток подряд.

После недельного плавания шхуну потрепало около острова Карагинского, но ветер, не достигнув силы настоящего шторма, перешел в отдельные шквалы и потом стих, сменившись почти штилем. <...>

На случай штормовой погоды с палубы убрали все лишнее и протянули концы, чтобы было за что цепляться при качке. После двухдневного перерыва, как бы отдохнув, норд-вест задул с новой силой.

Шхуна понеслась рывками на юго-восток на сильно зарифленных парусах, черпая бортом волну и тяжело зарываясь носом. К ветру скоро присоединился мелкий пронзительный дождик. С вахты возвращались, продрогнув, с посиневшими щеками и несгибающимися пальцами.

Первый серьезный шторм налетел на «Диану» ночью и так внезапно, что матросы не успели даже убрать паруса. Летчик спал в своей моторной, когда над головой, на палубе, поднялись топот и ругань. Ложась на бок, вся шхуна кряхтела и трещала, и лампа в каюте качалась широкими взмахами. Никита Анисимович взлетел по ушедшему из-под ног трапу и не успел схватиться за ванты, как на него обрушилась холодная вязкая стена, сбила с ног, протасила по палубе и больно ударила боком о подножье грот-мачты. Он инстинктивно обнял ее, переждав, пока шипящий поток вывалится за борт, и, добравшись до каната, пополз за рубку, дрожавшую под напором

ветра.

Шхуна неслась стрелой в полной тьме по водным котлованам, то возносясь в белую пену гребней, то стремительно ныряя в черные глубокие провалы. То и дело палуба оказывалась под водой, которая еле успевала скатываться, кипя водоворотами, за фальшборт. В вое ветра и уханье волн о борта летчику слышались где-то сверху пистолетные выстрелы. Он поднял голову: на верхушке мачты хлопал и выгибался гигантским белым знаменем сорванный снизу треугольный кливер.

— Убирай паруса, там-та-рарам!.. – вопил в рупор из тьмы растерявшийся Худовой. — Живо! Мачты снесет!..

Летчик видел, как кливер сорвался и пронесся над шхуной, точно призрак сказочной чайки.

Пока экипаж возился в темноте, закрепляя паруса, волны сбили с подводных петель железный руль. Шхуна содрогалась от его тяжелых ударов. Он бился с такой яростью о ветхие доски кормы, что грозил ее разнести.

— Все на руль!.. Топоры!.. Руби его!.. – слабо донеслось из соленого тумана.

Летчик скатился вниз, натываясь на матросов. Похватав что попало под руки, все бросились на корму рубить рулевые скрепы и цепи. Руль, наконец, отделился и потонул, но шхуна потеряла теперь всякую устойчивость и кувыркалась, как Ванька-встанька, во все стороны, отданная на милость бури. <...>

В следующие дни опять налетело несколько внезапных штормов. Погода становилась все хуже и хуже, бури участились. Они шли прямо с берегов Камчатки, а «Диане» было необходимо попасть в Петропавловск, чтобы хоть немного отремонтироваться и поставить настоящий руль.

Вместе с тем каждый шторм приносил теперь с собой снежную вьюгу. Непрерывная качка не позволяла по несколько суток подряд варить горячую пищу, и люди, лишённые теплого платья, промерзали до костей, не успевая даже просушиться. Главной задачей Худовей стало теперь удержаться вблизи берегов Камчатки, чтобы достигнуть Петропавловска. <...>

Между тем ветер начал усиливаться, и к вечеру деревянный руль сбило волной. Берег скрылся совершенно. Беспомощную шхуну волокло, вертя то носом, то кормою вперед, в открытый океан. Заветный Петропавловск уходил почти из-под самого носа. <...>

Шхуна попала теперь в зону тайфуна, шедшего на юг, и экипажу стоило громадных усилий не дать ему затянуть «Диану» в центр вихря, где вещала неминуемая гибель. Шхуну несло по окраине тайфуна громадными кругами и с каждым новым витком отбрасывало на сто-двести миль все дальше от берега. Как только удавалось вырваться из этой заколдованной спирали, норд-вест снова подносил ее к полосе,

захваченной тайфуном, и ее опять начинало кружить, как камень, привязанный к веревочке. Команда выбивалась из сил.

– Нет, – говорил, смотря на карту, осунувшийся Князев, – теперь нечего и думать о Камчатке!.. Пускай уж несет на юг! Там, Бог даст, попадутся ветра, которые могут прибить нас Курильским островам или к Японии. Куда нам бороться без мотора и руля!.. Если нас здесь захватят льды – совсем гроб!..

– А как же с пресной водой? – спросил Худовой, потерявший после последнего случая с Рябоконеи весь свой апломб. – У нас остается всего ведер пять...

– Чего же раньше молчали?.. Вот что, Никита Анисимович, – обратился лейтенант к летчику. – Смастери-ка поскорей опреснитель!

– А из какого материала?

– Ну, уж об этом сам думай: на то ты и механик!..

Летчик подумал и остановился на тяжелой металлической банке из-под пороха. Ее выволокли на палубу и закрепили там, выложив снизу что-то вроде топки для каменного угля. В крышку Никита Анисимович вставил змеевик-охладитель и, попробовав, с радостью увидел, что его изобретение дает достаточно питьевой воды.

Между тем штормовая погода продолжалась. К тому же в первых числах ноября ударили настоящие морозы, убравшие снасти и ванты толстыми ледяными сосульями. Борта и палуба обледенели и, чтобы не скользить, команде приходилось то и дело скалывать лед и посыпать доски каменным углем, который почти сейчас же смывало волной. Трое корейцев не выдержали напряжения убийственных вахт и лежали в трюме, где теперь стали жить, пробив дыру из моторной.

Но и державшиеся на ногах, еле дождавшись отдыха, валились на койку и засыпали как убитые, не успев даже сбросить обледенелую, заскорузлую одежду. Барыков совсем перестал показываться на палубе. А ярость штормов все нарастала.

Наконец, в полдень 8-го ноября на шхуну налетел еще небывалый по силе шквал. Полупрозрачная стена ледяной воды ударила «Диану» в левый борт, обрушилась на палубу и покрыла ее аршина на два водой. Все, что было на ней, – носовая каютка, цистерна, опреснитель, шлюпка, камбуз и весь правый фальшборт – все это было мигом сорвано, разбито, смято и снесено в море. Уголь и груз в трюме сползли к правому борту, не позволяя шхуне выпрямиться, а в кормовом кубрике вырвало дверь, и вода хлынула в жилое помещение. Сбитые с ног и вытряхнутые из коек люди не могли разобрать, где стены и где пол, так как шхуна осталась лежать па боку, получив крен в пятьдесят градусов.

В то же время где-то внизу угрожающе захлопала вода. По приказанию Князева весь экипаж бросился перегружать каменный уголь и

после отчаянной двухчасовой работы шхуна все-таки выпрямилась. Тогда принялись откачивать воду помпами и банками, передавая их по цепи вручную. Течь, наконец, отыскалась и ее наскоро зашпаклевали, но ветер и не думал стихать, а мачты с изодранными в ленты парусами гнулись, как камыш, ежеминутно грозя обломаться. Сделали переключку команды: все русские отозвались, посреди корейцев не хватало матроса Ипондю. Привязанный к мачте вахтенный видел, как он вылез из носовой каютки перед самым ударом волны. Это была первая смерть на «Диане», но никому не было времени о ней думать. <...>

7. Капитан за бортом

<...> Через неделю после гибели корейца удалось, наконец, поставить более прочный руль, который отчасти позволял управлять. Это был уже четвертый по счету, но разве могла теперь «Диана» надеяться покрыть против ветра тысячи миль, отделявшие ее от лежавшей на западе земли? Оставалось только отдаться на полную волю ветра и покорно нестись на юг, где, по крайней мере, было тепло и могли встретиться проходящие пароходы.

После кошмарного полуторамесячного плавания почти весь экипаж был переранен и разбит. У Никиты Анисимовича сильно болел бок от удара волной о мачту. Рябоконию во время последнего шторма глубоко рассекло мускул на руке и он лечился солью, прикладывая ее к открытой ране. Кореец Лученкучи вывихнул себе ногу, сорвавшись с мачты на палубу и чуть не угодив в море. По ночам в трюме стоял бред и кашель больных. Здоровые в скудном свете коптившей керосиновой лампы чинили брезентами и мешками то и дело рвавшиеся отрепья парусов. Скоро к тому же начало недоставать пищи, так как запасы провианта, рассчитанные на плаванье до Владивостока, близились к концу. <...>

К последним числам ноября «Диана» спустилась настолько к югу, что в воздухе стало немного теплее, но барометр упал еще ниже.

Шторм не заставил себя ждать. Захватив шхуну, он помчал ее с такой бешеной быстротой, что палуба все время оставалась под водой. <...> От страшного удара расштанная фок-мачта обломилась и рухнула с грохотом, путаясь в снастях. Все, кто еще был на ногах, бросились рубить и рвать чем попало такелаж, на котором висела сломанная мачта, накрывая шхуну.

В это время кто-то крикнул:

— Человек за бортом!.. Смотри, вон там, за кормой!..

Все оглянулись. Далеко сзади, то появляясь, то исчезая между свинцовыми валами, танцевала пустая бочка из-под угля, а рядом с ней чернела маленькая голова человека. Люди переглянулись, ища – кого не достает.

— Должно, капитан! Он у рубки стоял, когда накрыло!.. – закричал

Жуков, который, лежа на наклоненной палубе, еле сдерживал руль.

Головы обнажились. Рябоконь широко перекрестился и торжественно сказал:

– Ну, братцы, значит, спасемся!.. Теперь, как пить дать, спасемся!..

– Слушай мою команду, я за капитана! – отчеканил Князев, покрывая вой бури. – Повернуть нельзя!.. Руби мачту!.. – его голос точно вдохнул новую надежду в изнуренных людей.

Худовея никто не любил. После случая с чайкой и стычки с Рябоконею его авторитет упал окончательно. Последнее время шхуной фактически управлял Князев, которого уважали и побаивались. Когда же он окончательно принял на себя командование, у всех как-то полегчало на сердце.

А между тем положение было еще отчаянней, чем после первых штормов. <...>

9. Проклятые островки

«Диана» приближалась теперь к Марианским островам, растянутым вулканической цепочкой с севера на юг недалеко от экватора. Но несчастный экипаж шхуны так изверился в спасении, настолько пал духом, что относился к этому как-то безучастно.

Лежа неподвижно в трюме и на палубе, люди только апатично жевали обрезки оленьих шкур, взятых на Севере, и по временам ползли к опреснителю, чтобы выпить несколько глотков воды. Из всего экипажа лишь пять человек, включая самого Князева, стояли вахты, а Никите Анисимовичу, как самому зоркому, приходилось влезать на мачту и дежурить на ее верхушке в бочке. С каждым днем это становилось все труднее, руки и ноги не хотели слушаться, дрожали и срывались.

«Кажется, это уже в последний раз: завтра не долезу!», – подумал он, забираясь на рассвете 8-го января по вантам и переводя дух на каждой веревочной ступени. С наклонной мачты и палуба, и шхуна казались совсем игрушечными. Прямо под ним скользили в прозрачной воде длинные очертания акул.

– Ждут! – промелькнуло у летчика.

Над океаном стоял неопределенный полусвет. Солнце еще не успело взойти, и лишь на востоке рубиновая полоса начинала перекрашивать море в лиловый цвет. Никита Анисимович кое-как долез до бочки, перевалился через ее край и почти сейчас же погрузился в голодный полусон. Он дремал довольно долго. Солнце поднялось и начало сильно припекать. Вдруг летчику почудился резкий крик. Он вздрогнул, открыл глаза и сразу подался назад: прямо ему в лицо летели три каких-то чудовища с красными злыми глазами и зелеными крыльями.

«Крышка!.. Бред начался!..», – подумал летчик.

Нет, и ржавые ободья бочки, и вспухший от ветра драный парус, да и

сами птицы, – все это было совершенно реально. Они налетали, пронзительно крича и задевая крыльями, вымазанными в тине. Никита Анисимович отмахнулся от них и крикнул, перегнувшись вниз:

– Эй, кто там!.. Птицы появились!.. Тина на крыльях!..

Князев высунулся из рубки, посмотрел вверх из-под ладони и взволнованно ответил:

– Ну, значит, и земля близко, смотри, не прозевай!..

Тела на палубе зашевелились, и всклокоченные головы полезли из трюма. Всякая дремота у летчика пропала. Солнце плыло все выше в своем тропическом великолепии. Глаза ломило от обилия света.

В лихорадочном напряжении прошел час, другой, третий. Наконец, когда солнце уже подошло к зениту, на сверкающем горизонте наметилось несколько темных точек. Летчик протер стекла и еще раз впился биноклем в расплавленную синь. Да, несомненно, это были три маленьких островка...

– Земля!.. Земля!.. – изо всех оставшихся сил заорал Никита Анисимович.

Снизу ему ответило жидкое «ура». Это был уже не пароход, могший повернуть и уйти, а настоящая, твердая земля, и ребяческий восторг охватил шхуну.

Летчик, оставаясь на мачте, смотрел на землю со слезами на глазах. Но когда островки приблизились настолько, что стали ясно видны в бинокль, его сердце упало. Черная серия еще не кончилась: это были всего-навсего низкие, плоские скалы, и самая большая из них была едва ли раз в десять шире «Дианы». Там не было видно ни одного дымка, ни даже кокосовой пальмы. Лишь тысячи птиц носились тучами над высокой травой, одевавшей сплошь эти пустопорожние камни.

У Никиты Анисимовича не поворачивался язык, чтобы крикнуть об этом на палубу, но и толпившиеся внизу скоро разглядели, что за земля встретилась шхуне. <...>

– Не стоит и время терять! – сказал упавшим голосом Князев. – Против ветра нам ни за что не подойти. И потом это все равно не спасенье. Надо идти дальше: недалеко должны быть другие острова, с людьми.

Но корейцы уже успели без всякого приказанья спустить парус и не хотели никого подпускать к шкотам.

– Подымай грот! – сказал Князев, подойдя к ним.

– Наша хоти птиса лови, яйса кушай!.. Наша дальше ходи нету! – закричал костлявый великан Помаитим, сверкая голодными дикими зрачками. – Нельзя сейчас...

– Ваша мало-мало погоди: скоро хорошая земля будет... Ну, пусти! – сказал лейтенант и отстранил его за плечо.

– Ваша сама пусти! – злобно огрызнулся великан, потрянув плечом. – Моя говоли: наша лаботай нету!..

– Что?.. Да пошел ты прочь!.. – прикрикнул Князев и сильно оттолкнул его в сторону.

Помаитим взвизгнул, из рукава его что-то блеснуло, и он бросился на лейтенанта. Точно по команде, у каждого корейца появилось по ножу: сбившись в кучку, они подались вперед. Князев вывернулся и, отскочив к борту, выхватил револьвер. Браунинг коротко бухнул. Косматый великан отшатнулся и свалился с простреленной грудью. Подняв револьверы, русские ждали бунтовщиков. Но при виде оружия природная трусость корейцев взяла верх. Из медной груди Помаитима, лежавшего ничком на палубе, сочилась тонкая тесемка крови.

– Джинкай, куда ты провалился?.. Отбери ножи!.. Убрать этого!.. – приказал Князев.

Корейцы молча повиновались, искоса взглядывая на лейтенанта. Они привязали к ногам убитого большой кусок угля, раскачали тело и бросили за борт. Сквозь хрустальную воду было видно, как вслед за ним, повернувшись вверх белым брюхом, проворно нырнула крупная акула. Потом корейцы принялись деловито затирать кровавую лужу.

Шхуна пошла дальше, полная отчаяния и страха. Ночью через двое суток Жуков заметил багровое зарево на западе, и к утру за ветром появился новый островок. Его профиль напоминал горбы верблюда. Один из них дымился – это был действующий вулкан с крутыми стенами, а из другого, с завалившейся верхушкой, текла по склонам широкая река горячей грязи, укутанная серым дымом и паром. С островка далеко в океан вылезала языками древняя застывшая лава, образуя мысы, сплошь затянутые роскошной зеленью, из которой подымались на тонких ножках звездчатые вершины пальм. Прибой разбивался о берег в жемчужную полоску пены. Следов человека опять не было заметно. <...>

Никита Анисимович подполз к развороченному фальшборту и жадно вдыхал родной, сладостный запах земли. Большая, радужно-металлическая бабочка, похожая на заводную игрушку, опустилась на его ногу, дрожа вырезанными крыльями. Островок медленно отодвигался вдаль, как будто его тянули на веревочке прочь от заклятой шхуны.

Вечером дразнивший мираж повторился еще раз, но земля снова была за ветром. На «Диане» больше не радовались и не проклинали. Всеми, даже самыми стойкими, овладело тупое, безразличное оцепенение. Четверть стакана муки не позволяла умирать, но последние искры воли еле тлелись в этих людях и могли легко погаснуть при первом же новом испытании.

Никита Анисимович дотащился до каюты Князева. Тот лежал с закрытыми ввалившимися глазами. Услышав шорох, Князев медленно приоткрыл и опять опустил веки.

– Не могу больше, Николай Алексеевич... Легче пулю в лоб! – хрипло сказал летчик, осев у двери.

– Подождем еще дня два... три... – с трудом выговорил Князев. – Гуама... на ветре... А если нет, тогда уж... давай вместе...

Следующие дни слились в однообразный полусон. Остался лишь ровный ветер, палящее солнце и две бездонных сини – снизу и сверху. Острова больше не появлялись: «Диана» шла уже западнее их вулканического ряда. На ногах еще держались лишь Стукалич и Джинкай.

Никита Анисимович лежал рядом с опреснителем и, выходя минутами из тяжелого забытья, машинально подталкивал в топку куски угля. Он бредил, и его часто мучили кошмары. Один из них запомнился особенно ярко: ему грезилось, что он снова в Спасске, что какие-то японцы в папах окружили его и тянут к аэроплану, а Дуся обняла его шею руками и не хочет пускать. Он начал отбиваться, закричал во сне и пришел в себя: рядом с ним стоял на коленях Стукалич и крепко тряс за плечо.

– Вставай, однако, вставай скорей! – возбужденно и радостно говорил матрос. – Земля на ветре!.. Лейтенант говорит, что Гуама!..

Князев с Джинкаем уже возились с парусом. Шатаясь, как пьяный, Никита Анисимович пошел к ним на помощь. Вчетвером они справились со шкотами, и «Диана» повернула нос прямо на открывшуюся землю. Остров начал медленно расти. На утесистых берегах, из-за горки в перистых пальмах, высунулись три тонких иглы радиостанции. Князев опустил бинокль.

– Гуам!.. – прошептал он, глубоко вздохнул и с чувством перекрестился. – Всем скажите: спаслись...

Вскоре за коралловым рифом обозначилась бухта с несколькими кораблями военного типа, стоявшими на якоре. От бока одного из них отделился белый, сверкающий медяшками катер и бойко побежал к шхуне.

Тут у Никиты Анисимовича потемнело в глазах, ноги размякли, и он опустился без сознания на грязную раскаленную палубу «Дианы».

Впервые опубликовано: Багульник. Шанхай, 1931. Вып. 1. С. 5-50.

Печатается по: Рубеж. 1998. № 3. С. 5-28.



**Борис Михайлович
ЮЛЬСКИЙ**
(1912-1950?)

Беллетрист Борис Юльский родился 12 января 1912 г. в городе Иркутске в дворянской семье. В 1921 г. приехал с родителями в Харбин. Окончил Первое реальное училище. Ушел со 2-го курса Политехнического института и занялся журналистикой. Член Союза мушкетеров, с 1932 – член ВФП, с 1941 года – монархист. Публиковался в харбинских и шанхайских газетах и журналах «Заря», «Русское слово», «Рубеж», «Наш путь», «Луч Азии», «Прожектор», «Феникс» и др., альманахах «Прибой», «У родных рубежей». Печатался под псевдонимами «Анриан Луговой», «Баталов», «Борис Ярв». В 1938-1941 гг. служил в русской лесной полиции на КВЖД (цикл рассказов «Зеленый легион»), затем работал на харбинской радиостанции. В 1943 г. уехал на Тооген, писал там очерки. В соавторстве с Н. Веселовским выпустил сборник рассказов «Восток и Запад» (Харбин, 1943). 22 сентября 1945 г. был арестован советскими спецслужбами и приговорен к 10 годам лагерей. В августе 1950 г. совершил побег из магаданского лагеря. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Лобычев А. Человек, ушедший на русский Восток // Юльский Б. Зеленый легион: Повесть и рассказы. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2011. С. 3-28.

Сентянина Е. Харбинские писатели и поэты // Рубеж. 1940. 15 июня. С. 10.

Перелешин В. Два полустанка: Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни Харбина и Шанхая. Амстердам, 1987.

Резвый В. Судьба легионера. Литературная реабилитация Б. Юльского // Рубеж. 2004. № 5. С. 152-153.

Ли Мэн. «Он Байкова литературнее»

Забияко А.А., Забияко А.П., Лёвошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронта. Благовещенск, 2015. 465 с.

Забияко А.А. Ментальность дальневосточного фронта: культура и литература русского Харбина. Новосибирск, 2016. 447 с.

ОШИБКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА

В шестьдесят лет Шерлок Холмс сильно сдал и выглядел совсем стариком. Великий сыщик по-прежнему жил на Бэкер-стрит, курил свою неизменную трубку и в свободные вечера играл на скрипке заунывно давно вышедшие из моды мелодии. Фокстротов и прочей современной музыки Шерлок Холмс не выносил. Часто, сидя у окна в глубоком кожаном кресле, он наблюдал за уличным движением. Бежали люди, сновали изредка автомобили, а великий сыщик задумчиво кутался в уютный халат, пускал клубы крепкого дыма и созерцал. Ничто не могло потревожить олимпийского спокойствия Шерлока Холмса...

Однажды, в тот день, о котором идет речь, к Шерлоку Холмсу пришел его давний друг, доктор Ватсон. Доктор тоже порядком износился. Он облысел и красил остатки волос патентованным средством, возвращающим прежний, времен молодости, цвет. На нем был длинный старомодный сюртук; туго накрахмаленный воротничок принадлежал еще

к светлым дням довоенного прошлого.

– Хэлло, Ватсон! – сказал Шерлок Холмс, встречая друга. – Ну, как дела?.. О, что я вижу?..

– Что такое?.. – смутился Ватсон, застенчиво поправляя довоенный воротничок. – О чем вы говорите?

Шерлок Холмс прищурил глаза и окинул пытливым взором.

– Вы преуспеваете, Ватсон, – сказал он, – вчера вечером вы ужинали с дамой... Если не ошибаюсь, с блондинкой...

– Со... совершенно верно, – поспешил согласиться Ватсон, робея перед дьявольской пронизательностью своего друга. – Но откуда вы могли это узнать?

– Ваши ботинки в грязи, любезный Ватсон, – начал Шерлок Холмс, – следовательно, вы шли сюда пешком... Из этого мне нетрудно заключить, что у вас не было денег, чтобы нанять кэб... То есть, тьфу! – автомобиль... Затем, на рукаве вашего сюртука я вижу светлый волос, а пальцы вашей правой руки выпачканы чернилами... Вы были в ресторане с какой-то блондинкой, заплатили за ужин все находившиеся у вас деньги, а на оставшуюся сумму подписали счет... Конечно, я не ошибся?..

Ватсон почтительно склонил голову. Шерлок Холмс набил трубку, окутался облаком дыма и заметил:

– Но это все пустяки, милейший Ватсон. Дело не в этом... Скажите, вы ничего не имели бы против того, чтобы вспомнить старинку?.. Помните старика Мориарти и Знак Четырех? Хе-хе!..

Доктор Ватсон утвердительно закивал. Великий сыщик откашлялся и продолжал:

– Мне кажется, что это будет очень сложное дело. И – представьте себе – первое звено начинается отсюда, с Бэкер-стрит.. Возьмите бинокль, Ватсон, и взгляните сюда...

Шерлок Холмс подошел к окну и, подняв занавеску, указал на противоположную сторону улицы, где возвышалась массивная каменная стена. На стене были написаны мелом какие-то непонятные буквы.

Ватсон приставил бинокль к глазам и, подкручивая винт, долго изучал таинственные знаки. Наконец он обернулся и задумчиво обсосал нависшие моржовые усы.

– Мне кажется... – нерешительно заметил он. – Мне кажется, что это написано на русском языке...

– Вы совершенно правы, дорогой доктор! – оживился Шерлок Холмс. – Это самый настоящий русский язык. А теперь скажите, чем обычно занимаются русские?

Ватсон сморщил лоб и погреб ногтем облысевшую часть черепа.

– Насколько я помню, русские ездят на медведях, пьют водку и носят бороду... – сообщил он. – Виноват... кроме этого, они еще бьют

своих жен сапогами и пляшут под балалайку ямщицкие танцы... Это, кажется, все.

Великий сыщик насмешливо прищурил глаз и выпустил клуб дыма.

– Вы забыли самое главное, любезный Ватсон, – заметил он. – Русские в большинстве случаев нигилисты... Они занимаются, главным образом, анархией!

– Верно! – подхватил доктор. – Это правильно! Ну, а что же эти знаки?..

Шерлок Холмс некоторое время помолчал, словно взвешивая свои мысли. Затем он сказал:

– Эти знаки пишет молодой человек лет двадцати пяти. Он, видимо, не хочет, чтобы его принимали за русского и бреет бороду. И еще одна странная особенность: каждый день он проходит дальше. Затем он возвращается... Но на этот раз он бывает очень элегантно одет, имеет большие роговые очки и наклеенные черные усики... Вы не находите, что это очень странно, Ватсон?

Доктор задумчиво подтвердил.

– Затем... – продолжал великий сыщик, – уже под вечер мимо проходит девушка... Она читает знаки, улыбается и тоже что-то пишет.

В руках у нее всегда имеется большая круглая коробка. И – представьте себе – однажды я нарочно вышел на улицу, чтобы определить содержимое коробки. Я, словно нечаянно, задел коробку рукой. Тогда – вообразите, Ватсон, – девушка вскрикнула, прижала коробку к груди и отскочила. Дальше я действовать не стал. Но – заметьте себе, Ватсон, – из этого можно заключить, что содержимое коробки далеко небезопасно... Что вы можете сказать по этому поводу?

Доктор Ватсон снова задумался.

– Я полагаю, что в коробке могли быть взрывчатые вещества... – наконец произнес он. – Я вам советую соблюдать осторожность, Холмс. Но все же – как вы намерены поступить?

– Сейчас увидите! – торжественно произнес сыщик, доставая из шкафа объемистый том. – Это – русско-английский словарь... Мы расшифруем надпись.

Друзья склонились над книгой, изредка сверяясь с надписью на стене.

– «Завтра вечером, после выступления»... – медленно перевел Ватсон, – «нужно поговорить. Кажется, удастся все сделать на этих днях... А.С.»

– К сожалению, остальные надписи смыло дождем, – заметил Шерлок Холмс, выглядывая в окно. – Эта надпись – последняя. Но во что бы то ни стало я раскрою дело. Вы, конечно, со мной, Ватсон?

Доктор кивнул головой молча протянул старому приятелю руку.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон медленно прогуливались по улице. На великом сыщике был костюм рабочего. Мохнатые рыжие усы скрывали его плотно сжатые характерные губы. Кепка была небрежно сдвинута на бок, открывая рыжий парик. Ватсон был одет приблизительно таким же образом.

— Заметьте, любезный доктор, – по роли развязно ухмыляясь и похлопывая спутника по плечу, говорил Холмс, – написано: «После выступления». Следовательно, они собираются где-то выступать. Может быть, предполагается массовая демонстрация?

— Вполне вероятно... – согласился Ватсон, подмигивая другу и толкая его локтем в живот. – Необходимо их выследить, я буду следить за девушкой, но вы, Холмс, возьмите на себя анархиста. Мне кажется, он менее опасен...

— Вы – неисправимый Дон Жуан, Ватсон... – начал сыщик, но внезапно остановился и потянул доктора за рукав: в глубине улицы двигалась мужская фигура.

— Вот он! – заволновался Холмс. – Я пойду за ним. Желаю удачи, Ватсон! Не зевайте!..

Молодой человек в роговых очках и с наклеенными усами быстро прошел мимо, на этот раз не оставив на каменной стене никакого знака. Шерлок Холмс покачнулся, икнул, загорланил козлиным голосом пьяную песню и двинулся за ним.

Когда доктор Ватсон возвратился в квартиру Холмса, сыщика еще не было. Ватсон насквозь промок под дождем, и настроение заставляло желать лучшего. Девушка, за которой нужно было следить, так и не появилась.

Заполнив своей особой глубокое кожаное кресло, Ватсон погрузился в чтение научного доклада о взрывчатых веществах. Холмс все не приходил.

Наконец, по прошествии довольно продолжительного времени, послышались шаги, дверь открылась, и Шерлок Холмс завалился в комнату.

Увы, Ватсон с трудом смог узнать своего знаменитого друга.

Великий сыщик был пьян. Его рыжий, намокший от дождя парик съехал на сторону, совершенно закрывая одно ухо. Костюм был в беспорядке.

— Дом, милый до-ом!.. – запел Холмс, пытаясь приплясывать на одном месте. – Друг Ватсон! Дайте, я вас поцелую!..

— Холмс! – с отчаянием воскликнул доктор. – Что с вами? Вы нетрезвы?..

— Сознаюсь, Ватсон... – махнул рукой сыщик, вензеля по комнате. – Пьян... Шерлок Холмс пьян!.. О, это – хитрая бестия, – русский!.. Я хотел его подпоить и кое-что выпытать. А он никак не пьянел!.. Потом я хотел

сорвать с него фальшивые усы, а он выбил мне мою вставную челюсть... Ватсон, вы мне друг?..

– Друг! – хмуро согласился Ватсон. – Только вы ложились бы спать, Холмс. Разделитесь бы и легли...

– Нет!.. – Холмс протестующе замахал руками. – Я ему отомщу!.. Я буду следить за ним! Он еще узнает Шерлока Холмса!.. Прав я или нет, Ватсон?..

Силы внезапно изменили великому сыщику. Он сел на пол, снял с себя парик и, подложив его под голову, с глухим бормотанием лег. Доктор Ватсон тяжело вздохнул и, взяв ковер, накрыл им уснувшего друга.

3

С того времени, как неизвестный русский отравил Шерлока Холмса алкоголем, прошло три дня.

Сыщик и его друг сидели у окна, смотря на улицу сквозь отверстие в занавеске, новых надписей на стене больше не появлялось.

– Мне кажется, что сегодня – решающий день, Ватсон... – заметил Холмс, обращаясь к доктору. – Они уже не обмениваются знаками. Вчера этот русский и девушка шли вместе. Она опять несла круглую коробку. Я думаю, что это была последняя ноша...

– Вы совершенно правы, Холмс... – начал Ватсон, но вдруг остановился и припал к занавеске. Шерлок Холмс тотчас последовал его примеру.

По другой стороне шли вышеупомянутые молодые люди. Они разговаривали и смеялись. В руках девушки не было ничего, но зато ее спутник нес большой, неправильной формы предмет, завернутый в тряпку.

– Это – бомба, Ватсон!.. – воскликнул Шерлок Холмс, нервно комкая занавеску. – Смотрите, смотрите!.. Видите, в одном месте просвечивает металл?..

Действительно, там где вещь не была обернута тряпкой, что-то блеснуло серебристым блеском. Предмет был определенно металлический.

– Скорее, Ватсон!.. – вскочил Холмс, засовывая в карман наручники и револьвер. – Мы должны обезоружить злодеев. Я схвачу этого человека, а вы не упускайте девушку... Идемте!

Сыщик и его друг, торопливо сбежав по лестнице, выскочил на улицу.

– Стоп!.. – крикнул Холмс, выхватывая револьвер и бросаясь к молодому человеку. – Ни с места, или вы будете убиты! Я – Шерлок Холмс!..

Девушка вскрикнула и отскочила в сторону. Подоспевший доктор Ватсон схватил ее за руки.

Спутник девушки некоторое время стоял, не двигаясь с места. Потом он вдруг издал угрожающий крик, бросил металлический предмет,

который держал в руках, и кинулся на вырубку. Тряпка развернулась, открыв лежащий на земле странный, комической формы снаряд со всевозможными винтами и выступами.

– Падайте на землю, Ватсон!.. – громко закричал Холмс, распластываясь на тротуаре. – Он бросил снаряд! Сейчас будет взрыв... Падайте же!

Ватсон мгновенно отпустил руки девушки и растянулся во весь рост. Издали бежали два полисмена и несколько любопытных.

Шерлок Холмс приподнял голову и взглянул на таинственный снаряд... Адская машина не разрывалась. Ее обладатель стоял, изумленно глядя на происходившее.

– Хватайте его, констэбль!.. – крикнул великий сыщик, поднимаясь с земли и указывая полисмену на русского. – Это – анархист... А эта особа – его соучастница...

– Именем закона... – начал полисмен.

Внезапно он остановился и взглянул на русского.

– О-о!.. – протянул он. – Так это же Александер Сидорофф! Он – поет русские песни в мюзик-холле...

– Он – анархист!.. – истушленно закричал Ватсон, стряхивая с сюртука пыль. – Вы видите этот снаряд?..

Русский оглянулся и посмотрел на лежавший металлический предмет.

– Снаряд?.. – изумленно переспросил он. – Это вовсе не снаряд. Это – самовар!..

– Samovar?.. – не понял Шерлок Холмс. – Что это такое: «samovar»?..

– Ну да, самовар!.. – раздраженно крикнул русский. – Это такой прибор... Для домашнего обихода... Понимаете?..

Полисмены нерешительно топтались на месте.

– Пойдите!.. – сказал Шерлок Холмс, прищурился и обращаясь к русскому. – Почему же тогда вы каждый день меняли костюм и приклеивали себе усики?.. Почему вы писали на стене?.. И, наконец, почему вот эта ваша спутница носила круглые коробки, с которыми она так осторожно обращалась?.. Что же вы скажете на это?

Русский недоуменно развел руками.

– Вы, наверно, сошли с ума... – начал он. – Я менял костюм потому, что не мог же я выступать в мюзик-холле таким, как есть! Я работаю днем в гараже, а под вечер прихожу домой, переодеваюсь и иду в мюзик-холл... Записки на стене я писал этой особе, которая также занята целый день. Я уславливался с ней о свидании... А в круглых коробках моя невеста носила шляпы из мастерской – она разносит по домам заказы... Вчера мы с ней поженились и решили купить самовар! Видите?..

Доктор Ватсон внезапно хлопнул себя по лбу.

– Самовар!.. – воскликнул он. – Теперь я вспомнил!.. В самоваре вы,

русские, варите сапоги всмятку?.. Правильно? Я угадал?..

— Не сапоги, а водку! – мрачно поправил его Шерлок Холмс. – Водку наливают в самовар, а потом пьют из кокошника... Однако, вы свободны, господа. Можете идти... Мне кажется, что на этот раз я ошибся...

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1933. № 50.

ДОЛИНА ОСВОБОЖДЕННЫХ ДУШ

Интервал между моей первой и второй встречей с Крыжаничем исчислялся в двенадцать долгих лет. Первая встреча была в Чите, в годы революции. Вторая – в Харбине, среди мелочного быта людей, придавленных жизнью, катящихся по наклонной плоскости.

Тогда, в Чите, я видел его в темно-зеленом френче, кожаных галифе и желтых крагах. У пояса его, в кобуре, висел наган, от которого тянулся красный шнур с кистью. Лицо Крыжанича – моложавое, костистое, с темными щетинистыми усиками, казалось энергичным и крепким. Твердый подбородок выступал резко вперед. Над бровями – четкая и решительная морщинка. Серые глаза смотрели твердо.

В момент моей второй встречи с Крыжаничем я увидел совсем другого человека... В людном ресторане, где звенела посуда, оглушительно гремела электрола и перекликались люди, ко мне подошел высокий человек.

— Здравствуйте, – сказал он, без приглашения садясь за мой столик, – я вас сразу узнал. Вы почти не изменились, честное слово.

Что-то знакомое на короткий миг мелькнуло в глазах странного субъекта и тотчас же исчезло снова. Я определенно не видел этого человека ранее. Узкое и худое, обтянутое желтой кожей лицо... Глаза – какие-то выцветшие и потухшие... Редкие волосы, сквозь которые просвечивала сухая, желтая кожа черепа. Тонкие губы, очерченные резкими и глубокими складками. И руки – ужасные руки скелета – желто-серые, худые, с длинными, крючковатыми пальцами.

— Я не знаю вас... – почти с испугом вырвалось у меня.

Он улыбнулся. Вернее, скупобно обнажил желтые зубы. Улыбка была мертвой гримасой, без выражения, без намека на выражение.

— А я вот вас сразу узнал, – заметил он. – Вы почти не изменились. Я, напротив, очень... Моя фамилия – Крыжанич. Теперь помните?

Я вспомнил мгновенно, но вспомнил того Крыжанича, с которым я встречался в Чите... Это воспоминание наплыло так, как бывает на экране. И мой собеседник, видимо, почувствовал это.

— Не похож? – спросил он, криво улыбаясь. – Я знаю. Конечно, не похож.

Я поспешил уверить, что узнал его сразу же после того, как он назвал

фамилию. Вероятно, он не поверил.

— Что вы здесь делаете? – спросил я, чтобы сгладить впечатление момента.

Он пожал худыми плечами.

— Я здесь обедал, – равнодушно сказал он. – Знаете что... я очень рад, что вас встретил. Пойдемте сейчас со мной.

— Куда?.. – невольно спросил я. На миг мне показалось, что передо мной сумасшедший.

— Мы пойдем в курильню опиума, – спокойно заметил он. – Там я расскажу то, что покажется вам интересным.

Не знаю, почему я согласился. Но то, что он рассказал, действительно оказалось интересным. Мне не пришлось жалеть о нескольких потерянных часах.

В узкой кабинке с циновочными нарами пахло удушливо и терпко. Мой собеседник склонился над маленькой спиртовой лампочкой с круглым стеклом. Между двумя иглами в его руках шипел и пузырился комочек темно-коричневого теста. От этого комочка шел удушливый, дурманящий запах.

— Вы будете?.. – спросил он, кивая головой на комочек опиума.

Я отрицательно покачал головой.

Крыжанич взял трубку. Продолжая лежать, он приблизил трубку с широким наконечником к лампочке и взял в рот мундштук. В трубке прерывисто и часто захлюпало. Из ноздрей Крыжанича тяжело и густо поплыли струи молочно-белого дыма.

Несколько мгновений спустя он отложил трубку. Глаза его, бывшие до сих пор пустыми и тусклыми, заблестели. На обтянутых желтой и сухой кожей щеках загорелся темный румянец.

— Сейчас я вам расскажу, – проговорил он. – Сейчас, только выкурю еще одну...

Снова из ноздрей моего странного собеседника заструился тяжелый, удушливый дым. В кабинке стоял приторный запах опиума. От этого запаха у меня начинала кружиться голова.

Тогда Крыжанич отложил трубку в сторону, отодвинул лампочку и опустил голову на соломенную высокую подушку. В облаках тяжелого наркотического дыма тяжелыми каплями падали его первые слова.

Он говорил медленно и тяжело. И в каждом слове, в каждой фразе рождались какие-то неясные образы, может быть, вызванные влиянием дурманящего белого дыма. Крыжанич говорил тихо, придыхая, с глухим свистом. Так дышат чахоточные в последней стадии. И слова его, падая одно за другим, сплетались в фразы, рождая какой-то невероятный, необычайный по своей фантастичности рассказ.

– Мы с вами впервые встретились в Чите, – начал он. – Вы помните... Мы бывали вместе у Звягиных. Помните этих двух девушек? Они были такими наивными и мечтали о замужестве. Интересно – вышли или нет?.. Впрочем, это не важно. Я скоро умру, а они будут жить, как и вы... Понимаете, вы будете жить, а я умру...

Это случилось несколько месяцев спустя после того, как я выехал из Читы... Не знаю, известно ли вам то, что я был не только летчиком, но и художником: средства у меня были – я являлся наследником владельца каменноугольных копей в Сибири. И я – должен сознаться – дезертировал из Читы для того, чтобы пробраться за границу и осуществить свою мечту... В России у меня не осталось семьи. Отца расстреляли большевики. Мать, сестра и два брата пропали без вести. Меня не задерживало ничто...

Крыжанич закашлялся сухим прерывистым кашлем. Его руки, сухие и желтые, снова потянулись к трубке. Рука, державшая трубку, дрожала.

– Сейчас... – заговорил он. – Сейчас я буду продолжать. Извините – это только временная слабость...

Он отложил трубку на соломенный кан и снова опустил голову на подушку. Глаза его были закрыты. Веки казались синими и прозрачными.

Крыжанич заговорил еще медленнее, но уже более связно, более планомерно. Он словно читал по книге. Читал необычайный, яркий и фантастический рассказ...

– Я буду говорить как можно короче, – снова начал он. – Я уже сообщил вам о том, что дезертировал из Читы. Я предполагал пробраться в Маньчжурию. По железной дороге было невозможно. Тогда я предпринял путешествие в Монголию с товарным обозом.

Была весна. Степь покрылась зеленым ковром с красивыми узорами из цветов...

Я не буду рассказывать подробностей нашего путешествия до того памятного дня, когда все случилось. Я ехал в засаленной монгольской одежде, не брился, не умывался, а в подкладке халата были зашиты алмазы – на несколько десятков тысяч рублей.

В тот день, когда произошел налет, в степи бушевал тайфун... Тучи пыли взметнулись с земли... Склонилась ниже свежая молодая травка... Пыль била в глаза, скрипела на зубах, скрывала небо плотной серой завесой... Наш караван вынужден был разбить становище... И вот в этот момент, в страшном реве бури, защелкали выстрелы: на нас напала орда... В облаках пыли я видел, как заметались туманные силуэты...

Я нащупал под халатом браунинг... В тот же момент (все это

происходило с невероятной быстротой) прямо в лицо мне ударила горячая конская морда. Я рванул браунинг. Мой выстрел почти слился с другим выстрелом. И, видимо, тот был раньше... Тупая боль в груди заставила меня согнуться. И, вместо дыхания, у меня хлынуло что-то горячее, соленое, липкое... Это горячее захлестнуло меня, качнуло и толкнуло куда-то в темный провал.

Над моей головой выплыло туманное серое пятно. Оно то светлело, то снова исчезало в какой-то мути. Иногда, силясь разглядеть его, я улавливал какие-то рисунки, орнаменты. Потом все снова сливалось...

Постепенно я стал улавливать методичный звук, повторяешься беспрестанно и долго. Звук этот почти убаюкивал. Я снова потерял способность чувствовать и понимать.

Пробуждение стало сразу четким и ясным. Я лежал лицом вверх. Над головой у меня находился потолок с цветными орнаментами в восточном вкусе. А звук – звук был человеческим голосом. Кто-то невидимый, находившийся вне поля моего зрения, монотонно и глухо бормотал.

Я прислушивался. Вскоре я уловил в бормотаньи части членораздельной речи. Невидимый голос раз за разом повторял одну и ту же фразу.

– Ом... Мани-падме-хум... Ом... Мани-падме-хум...²⁰

Мне захотелось увидеть того, кто производил звук. Я хотел встать, но не смог. Резкий укол в груди почти заставил меня потерять сознание. И в этом полуобморочном тумане, в полубредовых видениях, я запомнил женское лицо... Оно склонялось ко мне совсем близко. Я видел изогнутые брови, яркий рот и глаза, зеленые, как морская вода под солнцем. Ее голос повторял:

– Лежи. Лежи, не шевелись... Еще день, еще один день...

Снова нахлынули ужасные химерические маски, мучившие меня своими нечеловеческими гримасами. Мне казалось, что я все глубже и глубже опускаюсь в какую-то темную воду. Вокруг меня колыхались водоросли. И они, эти водоросли, были живыми. Их щупальца шевелились вокруг меня, я видел липкие присоски, ощущал их жадные спазмы на своей шее... В грудь забиралось удушье. Я куда-то метнулся, что-то рванул и снова потерял способность сознавать свое существование.

Потом вдруг сразу стало спокойно. По телу разливалась мягкая теплота. Я открыл глаза. И снова женское лицо (я сразу узнал его) склонилось ко мне близко. Ее голос, немного глуховатый, низкий, сказал:

– Теперь ты будешь жить... Спи сейчас, спи...

Я закрыл глаза... Погрузился в сон.

²⁰ Молитвенная формула монгольских лам.

Я не знаю, какая колдовская сила может залечить рану в сердце...

Во время памятного нападения в степи я получил смертельное ранение в сердце. И сейчас, всего две недели спустя после того, как это случилось, я был здоров...

И еще другое – я встретил женщину, которую должен был когда-нибудь встретить. Она сидела передо мной, слушала мои слова, смотрела на меня и говорила со мной. И ее глаза были как море под солнечными лучами, ее косы горели красной медью, яркие губы улыбались...

Так странно – прежде я никогда не поверил бы в существование каких-то потусторонних сил, заложенных в человеке. Теперь я видел их сам. И я не удивлялся...

Я видел, как волк, дикий и озлобленный, только что пойманный на аркан и огрызавшийся в бессильной злобе, вдруг, увидев эту женщину, прижался к земле и полз к ней... Я видел, как исцелялись кровавые раны, последствием которых могла быть только смерть. И в тот монастырь, куда привезли меня раненого, приходили слепые, больные и умирающие. Они уходили оттуда здоровыми и бодрыми – я это видел сам...

Я до сих пор не могу понять, кто доставил меня в глубину Монголии, в это странное убежище монахов с серыми лицами. Я пробыл в дацане около месяца. Там я встретил Харго, – эту женщину, – там же я расстался с ней. И там же, в этом дацане, я встретился с бароном Романом Федоровичем Унгерн-Штернбергом.

Я не могу подробно нарисовать вам ее облик. Я сам не помню его. Она всегда останется в моей памяти какой-то туманной, фантастичной. Впрочем, она и должна остаться такой, она – женщина из Долины Освобожденных Душ.

Даже ее слова запомнились мне не ярко. Я запомнил на всю жизнь, запомнил четко только ее рассказ о странной Долине, где есть только жизнь, где небо всегда голубое, а в тени огромных деревьев с широкими зелеными листьями расцветают чудесные цветы...

В ту Долину есть только один вход. И вход этот видят не все. Его могут найти только люди, отрешившиеся от всего земного, от мелких страстей, от эгоистических стремлений, от того, что существует и ценится на земле.

И в этой стране, где только светлое живет и существует, нет смерти... Тела там легки и почти прозрачны... Там с легким звоном падают ручьи с коралловых скал, а золотые рыбки – с такими большими и выпуклыми глазами – подплывают близко и плещут на берег алмазные брызги...

Я не знаю – может быть, это только красивая легенда. Но я верю, верю до сих пор в то, что эта долина есть, что она существует и что там – ждет

меня женщина с медными косами и высокий хмурый человек с сумасшедшим лицом и сердцем средневекового рыцаря.

Однажды под вечер к воротам монастыря приблизилась кавалькада. Впереди – на черном коне – ехал высокий человек в монгольском костюме. За ним – четверо казаков в мохнатых папахах.

Я видел, как упали перед ним ниц монахи. Видел, как он сошел с коня и быстро, крупными шагами, прошел в храм. И я услышал, как глухо и призывно прогудел в храме гонг, призывая богов принять молитву смертного.

Сначала я не знал, что этот высокий человек с дергающимся лицом и светлыми усами – знаменитый барон Унгерн, «бог войны», черный генерал – человек, перед которым преклоняются монголы, которого боготворили и считали перевоплощенным Чингисханом. Я не знал, что это – одно из обычных путешествий барона, когда он, внезапно исчезнув из своего лагеря, скакал чуть ли не сотню верст верхом для того, чтобы добраться до какого-нибудь полуразрушенного дацана и там, ночью, склониться в молитве перед исчезающим в тени изображением божества.

Высокий человек исчез в храме. Я видел, как сопровождавшие его казаки рыскали по монастырю. Видел, как один из них, раздобыв где-то баклагу с водкой, здесь же, во дворе, пил прямо из горлышка.

Небо темнело. Вскоре выплыли звезды. Высокий человек вышел из храма и прошел по двору. И тогда произошло то, благодаря чему мне пришлось узнать этого человека ближе.

Казак, – тот, что пил водку, – шатаясь, брел вдоль ограды. Он был пьян. И высокий человек видел это... Быстро пройдя несколько шагов, отделявших его от казака, он наотмашь ударил пьяного бывшим у него в руках ташуром...

Тот покорно согнулся, защищаясь руками. Но как только высокий человек отошел, я увидел, как казак, оглядываясь вокруг, снимал с плеча винтовку...

Я невольно крикнул... Высокий человек в монгольском халате оглянулся. Я хотел крикнуть еще раз, хотел обратить его внимание на казака. Но в этот момент казак, видимо озлобленный моим криком, повернулся ко мне, и я увидел направленное на себя дуло. Выстрел и ощущение удара в бок последовали почти в один и тот же момент... Я потерял сознание...

Однако на этот раз я оказался счастливее. Пуля только скользнула по мне, задела серебряный портсигар... Я пришел в себя несколько секунд спустя. А надо мной стоял, склонившись, высокий человек с светлыми усами. Монах расстегивал мне халат.

– Не задело, – внезапно сказал высокий человек. – Ну, вставайте. Я –

барон Унгерн-Штернберг...

Конечно, я сам виноват в том, что не сказал барону сразу про Харго – про женщину с медными косами и зелеными глазами. Может быть, тогда все было бы иначе.

Я поехал с бароном, не сказав ему ни слова про нее... Вероятно, вы знаете, что я в продолжение нескольких месяцев служил в частях барона Унгерна. И однажды...

...Крыжанич снова закашлялся сухим и прерывистым кашлем. Снова протянул к трубке дрожавшую худую руку. Снова тяжелый дым заструился у него из ноздрей, сопровождаемый методичным хлюпаньем в трубке...

– Однажды я решил дезертировать снова... – продолжал он. – Я не мог больше ждать... Я должен был найти ее, должен был добраться до того старого дацана, куда меня привезли раненого и где я увидел ее... Кто была она? Что означала ее легенда о Долине Освобожденных Душ, откуда она будто бы явилась?.. Я должен был это узнать, должен был снова найти ее...

Но мне не пришлось. Мою попытку к дезертирству обнаружили. Я знал – конец может быть только один – расстрел. И поэтому, стоя перед бароном, я решил рассказать ему все, как было, всю правду...

Я начал с момента моего ранения. Барон слушал хмуро, изредка дергая углом рта.

Я заговорил о ранении в область сердца, о чудесном исцелении, о странной женщине и, наконец, о Долине Освобожденных Душ – о том, что говорила мне эта женщина...

После первых же моих слов о легенде барон вздрогнул. Его глаза буквально впелись в меня... И, когда я кончил, он хрипло спросил:

– Вы говорите правду?

Я кивнул головой.

– Мы сейчас едем в тот монастырь, – сказал барон, вставая.

Теперь остается досказать немного. В монастыре мы ее не нашли...

На расспросы барона монахи падали ниц и молчали. Они не знали эту женщину. Она приехала внезапно и привезла с собой раненого (этим раненым был я). Потом она исчезла – так же внезапно, неизвестно куда. С ней было несколько спутников... Может быть, монголы, может быть, нет, а может быть (монахи пугливо озирались), может быть, эти люди той страны, которая находится за горами, в которую не может пройти никто из

земных и в которой жизнь так прекрасна, как нирвана...

Меня не расстреляли. Барон отпустил меня. Отпустил с условием, что если я узнаю что-нибудь о той женщине или о той дальней стране, куда нет входа для смертных, – я должен известить его...

Остальное вам известно – барон умер. Я пока живу. И вот, из года в год, я ищу эту Долину Освобожденных Душ, где нет смерти, где всегда голубое небо, а ручьи звенят, как музыка...

Только теперь мне кажется, что я понимаю сущность этой страны... Иногда я даже вижу ее... Вижу коралловые скалы, с которых падают ручьи из хрусталя, вижу голубые, как небо, озера, вижу чудесные цветы и среди них – людей с телами почти прозрачными, легкими, как тени...

И я знаю, в той стране меня ждут – ждет женщина с зелеными глазами и медными косами – жительница той страны – и ждет высокий человек в монгольском халате, ушедший в ту страну, где нет смерти, потому что эта страна – сама смерть...

...Крыжанич закончил рассказ и опустил голову на высокую соломенную подушку. На его лице появилось каменное, почти мертвое спокойствие. Он дремал.

Я приподнялся и посмотрел в окно. За окном шел дождь – предутренний, зябкий. Чуть синел рассвет на востоке.

– Пойдемте, – внезапно сказал Крыжанич, поднимаясь. – Вы сейчас домой?

Мы вышли на улицу. Мелкий и частый дождь шел непрерывно, гадко. Блестел мокрый асфальт. Отражались на асфальте желтые, утренние фонари.

– До свиданья, – сказал Крыжанич, протягивая мне руку. – До свиданья, больше не увидимся...

Я машинально попрощался с ним. Он повернулся ко мне спиной и быстрыми шагами пошел в темноту, в частую сеть дождя, в туман...

Дождь понемногу освежил мою голову. Я вдохнул свежий предутренний воздух. Шел рассвет...

И в этот миг мне показалось, что я проснулся после какого-то дикого и бредового сна, что Крыжанича нет и никогда не было и что все это я увидал в каком-то кошмарном, химерическом сне...

Впервые опубликовано и печатается по: Луч Азии. 1935. № 14. С. 17-20.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОЖИ ЦАЙ

Эту историю мне поведал старый китаец за чашкой золотого цветочного чая. Он рассказывал обстоятельно и витиевато, жестикулируя длинными желтыми пальцами. Изредка он подносил к губам чашку и с длительным хлюпаньем втягивал в себя горячую душистую струю. Затем он ставил чашку, поднимал глаза и продолжал свое повествование.

К сожалению, рассказчик далеко не в совершенстве владел русским языком. Я тоже далек от полнейшего знакомства с китайским. И поэтому мне пришлось изложить этот рассказ моим собственным слогом, лишь изредка вставляя особенно характерные фразы и пояснения моего любезного собеседника.

Почтенный господин Цай курил опиум в продолжение более чем пятнадцати лет.

В первый раз он зажег свою лампочку и поднес ко рту трубку на следующий день после того, как покинула этот мир душа его первой и единственной супруги, госпожи Цай Цзи-шень.

В те дни господин Цай ощущал острую боль в сердце от невознаградимой утраты. И он знал, что густой белый дым опиума может сделать эту боль не столь сильной, не столь мучительной.

Старый господин Цай выкурил свою первую трубку, вспоминая яркий летний день на берегу реки в благословенной провинции Шаньдун. В тот пропитанный золотым солнечным соком день небо было ярко-голубым, как на картине художника, река сияла так, что болели глаза, и над рекой белело цветущее дерево груши. Под этим деревом, белым-белым от цветов, господин Цай, тогда еще молодой, стройный и смуглый, встретил юную девушку в розовом шелковом халате. Щеки девушки были нежны и теплы, как персик под солнцем. Девушку звали еще детским именем – Хай-Лу. А позже она стала госпожой Цай Цзи-шень, любимой и единственной супругой уважаемого и достойного господина Цай.

Перед похоронами супруги старый господин Цай курил трубку за трубкой и думал о первых встречах и днях счастья под солнцем провинции Шаньдун. И еще господин Цай думал о том, что скоро белые бумажные кони, которых сожгут в день похорон, понесут душу госпожи Цзи-шень в золотое просторное небо. Белые кони умчатся с дымом в пляшущих языках огня, а визг пищалок и грохот литавров будут веселить звонкой музыкой освобожденную уходящую душу...

С тех пор прошло пятнадцать лет. Господин Цай курил опиум. Но ни разу за то время, как пятнадцать раз цвели грушевые деревья, он не посетил даянь-гуан²¹. Он курил дома, зажигая на своем кане маленькую лампочку с круглым стеклом и переворачивая над огнем серебряными иглами пузырящийся комочек коричневого снадобья. Опий поджаривался, пальцы господина Цай методично вращали иглы, а в торжественном

²¹ «Даянь-гуан» – курильня опиума.

выражении его лица таилась великая философия малого спокойствия жизни.

Поджарив опиум, господин Цай готовил из него аккуратные темные шарики и начинал курить.

Трубка, принадлежавшая ему, была старой и ценной. Из нее курили чьи-то деды и прадеды, и она имела вид человеческой руки, сжимавшей пальцами темную обкуренную чашечку. Наконечник был из мягкого камня и приятно ласкал губы, когда в чашечке курился и булькал темный плавящийся шарик.

Лао-Цай – что означает «почтенный Цай», как звали его знакомые, – имел на краю города маленький дом с садиком и голубятней. В этом домике с черепичной крышей скончалась любимая Цзи-шень, и ее живой памятью было грушевое дерево в саду – с такими же белыми цветами весной, как то, что стояло на берегу реки в благословенной солнечной провинции Шаньдун.

В голубятне жили голуби. Они были самых разных окрасок, и каждое утро господин Цай выходил кормить их в маленький утрамбованный дворик. Он бросал на землю горсти гаоляна, и голуби падали вниз пестрым каскадом. Потом они взлетали на крышу и на верхушку стоявшего посреди двора деревянного, беленого известью щита с большим черным иероглифом «Фу», что означает «Счастье».

Господин Цай курил опиум непременно в одно и то же время дня. Почтенный Цай был мудр: он курил опиум очень долго и отлично знал, что такое «фа-ин»²².

В час, когда летнее солнце начинало клониться к закату, старый господин Цай чувствовал, как приближается фа-ин. Появлялось недомогание. Прежде всего приходила зевота. Господин Цай зевал, жестом руки отгоняя от рта нехороших духов, и шел к сундуку, где хранились трубка и лампочка.

В тот день, с которого начинается эта история, старый господин Цай лег в обычной позе на кан и поправил серебряной иглой фитиль лампочки, горевшей длинным языком огня.

Он воткнул иглу в комочек липкого опиума и, придерживая его другой иглой, собирался поднести к лампочке. Сейчас должен был поплыть по комнате густой аромат мака.

Но в это время господин Цай услышал шорох в углу, там, где стоял большой сундук и где обои отставали от стены отсыревшим лоскутом бумаги.

Господин Цай опустил иглу с опиумом и посмотрел. То, что он увидел, было немного удивительным, и господин Цай продолжал лежать

²² «Фа-ин» (точный перевод – «штраф за курение») – реакция, выражающаяся в потребности новой порции опиума.

неподвижно, наблюдая, как в углу появилась и села на лапки огромная рыжевато-серая крыса с острой хитрой мордочкой и блестящими бисеринками-глазами.

Крыса сидела на задних лапках, приподняв передние. Она наклонила голову набок и внимательно смотрела прямо на господина Цай. Вероятно, это была очень старая и мудрая крыса – она превосходила величиною всех крыс, которых когда-либо видел господин Цай, и выражение ее острой мордочки было осторожным и выжидающим.

Смотря на крысу, господин Цай думал, не оборотень ли она, явившийся, чтобы смутить спокойствие его души и заставить совершить злое дело. Он знал, что оборотни часто принимают облик лисицы, но могут ли они превращаться в крыс – об этом ему ничего известно не было.

Продолжая смотреть на крысу, господин Цай приподнялся на кане. Крыса повернула голову, по-прежнему не спуская с него блестящих бусинок-глаз. Когда же господин Цай сел и протянул руку, чтобы взять тубу, крыса медленно опустилась на передние лапки и нехотя скрылась за оторванным куском обоев.

На следующий день, снова в тот момент, когда господин Цай зажег на кане лампочку, из угла появилась крыса. Теперь она была посреди комнаты и сидела как прежде на задних лапках, поблескивая живыми и острыми глазками. Все время, пока господин Цай курил, крыса сидела, приподняв передние лапки и склонив голову набок. Когда же кончилась последняя трубка, крыса скользнула в угол, зашуршав обоями.

И так стало повторяться каждый день...

Господин Цай больше не опасался того, что крыса может быть оборотнем. Напротив, ему казалось теперь, что в умном взгляде зверька таится доброжелательство. Один раз старый господин Цай подумал даже – не вошла ли душа госпожи Цзи-шен в тело этой крысы, так настойчиво и выжидающе сидевшей перед ним?..

А однажды, когда господин Цай надолго задумался за трубкой, он увидел, что крыса сидит уже на кане. Она совсем не боялась его, и острая мордочка ее тянулась к трубке, над чашечкой которой струился тонкий дымок опиума.

– Когда небо посылает нам гостя, мы должны встретить его достойным образом... – произнес господин Цай. И, дунув на крысу дымом опиума, сказал: – Кури, и пусть мысли твои станут светлыми и легкими!

Крыса вдыхала тяжелый белый дым, шевеля острой мордочкой и поблескивая глазами. Когда же господин Цай кончил курить, она спрыгнула с кана и скрылась в углу.

Теперь она стала приходить ежедневно, в одно и то же время дня. За несколько минут до начала курения крыса садилась на кан и нетерпеливо

перебирала передними лапками. Пока жарился опий, она нюхала воздух и крутила головкой.

Иногда господин Цай разговаривал с крысой. Он говорил ей о том, что теперь крысе придется приходить к нему ежедневно, так как сейчас ей будет, наверное, очень трудно провести хотя бы один день без опийного дыма.

Крыса слушала внимательно, и часто господину Цай казалось, что она понимает его слова, настолько светились рассудком блестящие черные бусинки ее глаз.

Так проходили дни... Зацвело белой пеной и опало дерево груши в саду, и снова цвело и опадало. Сам господин Цай стал сутулее и как будто бы меньше ростом, а сухая кожа на его лице резко обтягивала желтые скулы. Крыса стала еще больше и словно поседела – вокруг ее мордочки появились серебряные шерстинки. А глаза ее стали еще умнее и понятливее, и она с вниманием вслушивалась в каждое слово. Теперь господин Цай был уверен – иногда она понимает его. И говорил с ней подолгу, как говорил бы с самим собою.

А весна сменялась летом, за которым шла осень и подходила зима. По утрамбованному дворику важно ходили пестрые голуби, которых господин Цай кормил гаоляном. Дожди омывали и солнце сушило стоявший во дворе большой деревянный щит с тускнеющим черным иероглифом «Фу».

И однажды пришло несчастье.

Уже несколько лет, как был заложен маленький домик на окраине города с грушевым деревом в саду и утрамбованным двориком... Старый господин Цай знал: нужно заплатить пять тысяч, а иначе люди заставят отдать и домик, и удобный нагретый кан, и большие часы, что на столике, и картину на шелку, изображавшую реку, и все, все...

Знал он и то, что у него нет пяти тысяч. Если бы они были – разве заложил бы он тот домик, в котором столько лет прожил и который связан с священной памятью госпожи Цзи-шень?.. В этом домике она умерла, в этом домике должен умереть и он, старый Цай, – и не все ли равно, если он умрет на три или четыре года раньше?..

В тот день, который принес несчастье, старый господин Цай зажег свою лампочку со стесненным сердцем. Его не радовал огонек, охвативший масляный фитиль, не радовали голуби, ворковавшие на подоконнике.

Крыса сидела на кане, как обычно. Она с нетерпением крутила головкой и блестела глазками.

Когда поплыли первые белые облачка и господин Цай подул на крысу густой струей дыма, он почувствовал, как печаль влилась в его сердце и переполнила его до краев.

– Сегодня мы курим в последний раз... – сказал крысе господин Цай

и опять подул на нее дымом. – Завтра мы уже не будем курить... Мне жаль, что тебе придется чувствовать болезнь несколько дней, но что же я могу сделать?..

Крыса слушала, внимательно посматривая на него черными блестящими глазками. Снова господин Цай прочел в этих глазках понимание и, вздохнув, рассказал крысе все.

– Небо видит, у меня нет пяти тысяч... – с грустью закончил он. – Поэтому сегодня мы курим в последний раз, а вечером я засну тем сном, который дает опиум, и больше никогда не проснусь.

Закончив, господин Цай посмотрел на крысу. Она пошевелила передними лапками, закрутила головкой, и господину Цай показалось, что крыса хочет что-то сказать.

Но она не сказала ничего, только покрутила головкой, опустилась на передние лапки и соскользнула с кана на пол.

– Больше я не увижу тебя, – сказал господин Цай и стал думать о том, что скоро его душа встретится с душой незабвенной Цзи-шень, встретится там, куда уходят после смерти все человеческие души.

И наступил вечер. И ушло солнце за зубчатые крыши города. И стал приближаться последний час жизни господина Цай на земле.

В маленькой фаянсовой чашечке господин Цай поставил на кан теплую воду. В промасленной бумаге лежал кусочек сырого опиума. Теперь нужно только проглотить этот кусочек, запить его теплой водой, и придет сон, крепкий и могучий, как смерть.

Господин Цай воткнул курительные свечи в горку пшена перед алтарем домашнего бога. Аромат курений распространился по комнате; старый господин Цай молился в последний раз...

Внезапно шорох у стены рассеял его внимание. Господин Цай обернулся. И увидел...

На полу сидела крыса, смотрела прямо на него, а во рту она держала граненый, ослепительно вспыхнувший при электричестве камешек.

Крыса наклонила голову и положила камешек на пол. Затем вновь скользнула за оторванный кусок обоев. И, пока господин Цай изумленно рассматривал большой, волшебным сиявший, неоправленный бриллиант, крыса вернулась и положила на пол второй точно такой же...

Только тогда господин Цай понял, понял насколько ценны эти бриллианты, понял и то, что крыса чудесным путем спасла его от смерти, сохранив ему домик, а вместе с ним и жизнь.

И старый почтенный господин Цай заплакал, как мальчик, и слезы потекли по желтым сухим щекам. Господин Цай плакал перед крысой, гладил ее рукой говорил:

– Теперь я знаю, кто ты! Ты – душа моей верной, возлюбленной Цзи-шень, и ты пришла для того, чтобы быть со мною всегда и помочь мне в

минуту несчастья!..

Крыса смотрела на него, и в ее бисеринках-глазах господину Цай почудились светлые слезинки.

— Ты снова вернулась ко мне!... – повторил он. – А помнишь тот солнечный день у реки в Шаньдуне, когда мы встретились в первый раз? Ты была в розовом халате, и у тебя был шелковый зонтик. Тогда цвела груша над водою, и ты сбивала зонтиком белые цветы, а я поднимал их с земли и думал о том, что твое лицо белее, чем цветы груши, а улыбка яснее, чем небо над рекой!.. А помнишь, был вечер, чуть плескалась вода, плыла огромная желтая луна над рекой, пели цикады, и в саду старого Као играла флейта... Помнишь ли?..

Так прошла ночь. На кане сидела большая седая крыса, а старый господин Цай лежал перед нею и говорил, говорил до самой утренней зари.

Конечно, господин Цай продал бриллианты и заплатил выкуп за домик с грушевым деревом и утрамбованным двориком с голубями. Он не интересовался, откуда взялись бриллианты, считая все это чудом, на что и было похоже, – не правда ли?

А три года спустя он умер. Умер ночью, во сне, и на следующий день его нашли мертвым соседи.

Когда же были совершены похороны и белые кони умчали с огнем душу старого господина Цай в вечернее звездное небо, соседи, пришедшие в его опустевший домик, нашли на кане громадную седую мертвую крысу.

Крыса была очень большая. И соседи невольно подумали, что это был, может быть, добрый дух дома, охранявший хозяина, и теперь, когда старый Цай умер, покинувший землю для того, чтобы вернуться в свои небесные края.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1937. № 28.

СЛЕД ЛИСИЦЫ

Женищина, умершая нехорошей смертью, превращается в лисицу с волшебными и злыми свойствами. Она может казаться живой женщиной, может говорить на языке людей. Но человек не должен верить ей, как бы прекрасна она ни была: мертвая женищина отравит его душу и выпьет его жизнь для того, чтобы продолжать свое существование в образе оборотня-лисицы.

Китайское поверье

1

К вечеру Самарин понял, что заблудился.

Сгущались сумерки, и снег на склонах сопок стал синим. На западе, где опускался зеленый занавес зимнего заката, ряд лиственниц резко

вырисовывался на вершине скалистого гребня, кустарники выступали темными пятнами.

Самарин устал. Убитая коза, притороченная спине, замерзла и приобрела деревянную твердость. Веревки резали плечи сквозь ватную куртку. А винтовка как будто бы стала весить вчетверо больше, и правое предплечье ныло от длительного напряжения.

Он остановился и отцепил ледяные сосульки с подстриженных усов. Местность была незнакомой. Вероятно, он ушел слишком далеко. А во всем виновата эта проклятая лисица – подстреленная лисица, по следу которой он шел столько времени, не замечая ни усталости, ни даже, самое главное, направления, по которому шел.

И, пожалуй, он слишком поздно спохватился, когда повернул и пошел по следу обратно.

След терялся в серых сумерках. На расстоянии трех-четырех шагов его уже не было видно. Иногда Самарину казалось, что он проходит вторично по тому же самому месту, и тогда им овладевало подозрение: может быть, он запутался, сделал петлю и снова подвигается вперед?..

Видимо, лисица была ранена легко, если смогла пробежать такое расстояние. Крови на снегу не было видно уже давно – по всей вероятности, рана застыла и затянулась на морозе. А след был ровный и четкий.

Самарин вторично проклял свое упрямство, побудившее его отправиться на охоту в одиночку. Ведь местность была почти не знакома ему, а сильные впечатления кажутся заманчивыми только тогда, когда они впереди.

Он нащупал в кармане коробку спичек. Как странно думать, что от такого пустяка как эта маленькая коробка может зависеть человеческая жизнь!.. Не будь ее, впереди ледяным призраком стояла бы смерть. Постепенный переход в небытие под колючим мерцанием зимних звезд. Говорят, что замерзающим в последний момент грезится лето, горячее солнце, берега, опрокинутые в голубых озерах...

Интересно, как восприняли бы известие о его смерти знакомые? Что могла подумать Леля?.. Вероятно, она решила бы, что это не случайно и что причина этого – ее отказ. Наверняка она подумала бы так!.. Вспомнив о ней, Самарин на короткое время почувствовал пустоту, открывшуюся в сердце, как четыре месяца тому назад после решительного объяснения с Лелей.

– Мне очень жаль... – запинаясь, сказала она тогда. И, отстраняясь от него, отнимая руку, которую он взял, опять повторила, словно заученное, что «ей очень жаль, но...».

– Я не знал, что был неприятен вам! Простите... – выпрямился он, принимая вид оскорбленного благородства. – Всего хорошего!

– Ах, Дима!.. – порывисто метнулась к нему она. Но, увидев на его

лице кривую деланую усмешку, сжала губы и медленно отвернулась к окну.

Именно в этот день он, спасаясь от острой тоски, бросил малоодоходное место страхового инкассатора, сменив его на солдатскую винтовку и полицейский мундир. И вот уже четыре месяца, как он на небольшом посту русской лесной полиции, в семидесяти верстах от ближайшего города и в двенадцати – от маленького русского поселка, заселенного охотниками-старообрядцами...

Звезды выступили ярко, небо потемнело, и снег окутался фиолетовой вуалью. Лисий след потерялся в темноте. Только на западе небо еще отливало зелено-бутылочным отблеском, и на этом фоне вырисовывался гребень с мохнатыми лиственницами.

Самарин поправил винтовку и начал подниматься вверх по склону. Там, на вершине, были деревья, там можно развести большой жаркий костер...

Ближе к вершине снег был менее глубоким. И наконец деревья обступили Самарина сумрачными туманными колоннами. Морозный ветер взвил из-под ног сухой, невидимый в темноте снег. Самарин дошел до гребня, перевалил его и стал медленно спускаться вниз. Этот склон был под ветром. Треснул под ногой валежник. Вот еще немного спуститься и можно собирать хворост для костра.

И тогда Самарин увидел огонек. Он мелькал и погасал по мере движения Самарина, прячась за деревьями и снова показываясь из-за них. Огонек был внизу, приблизительно у самой подошвы сопки. И это не был мигающий отсвет костра – это был ровный огонек в окне человеческого жилья, может быть, фанзы китайца-зверолова, ставившего здесь свои западни. Огонек манил. Там было тепло и ночлег под крышей. И Самарин решительно двинулся вниз.

2

Фанза стояла у подошвы сопки, а за ней темной массой намечался лес. Свет проходил сквозь промасленную бумагу, которой было заклеено окно. Самарин снял с плеча винтовку и, на случай держа ее наперевес, отыскал дверь. Распахнув ее, он остановился на пороге.

В фанзе горела подвешенная к потолку керосиновая лампа. Человеческая фигура медленно поднялась с нар навстречу Самарину. Это был высокий старик-китаец в стеганом халате. Он, прищурившись, старался разглядеть неожиданного гостя.

– Ламоуза?.. – внезапно сказал он с оттенком удивления.

Вслед за этим с покрытых циновкой кан поднялся другой китаец – молодой, рябой, с ястребиным лицом и подстриженными ежиком волосами. Он, видимо, спал и только что проснулся.

Самарин продолжал стоять у порога, вглядываясь внутрь. В углу от

котла, вмазанного в низкий очаг, поднимался густой пар. Влево, за перегородкой, послышался шорох, и женский голос что-то гортанно спросил.

Закрыв за собою дверь, Самарин опустил винтовку. Старик, щурясь, смотрел на него. Самарин указал жестом на дверь и, стараясь говорить как можно понятнее, объяснил, что замерз и пришел согреться.

– Сегодня очень холодно... – в тон ему отозвался по-китайски старик и отстранился, давая дорогу. Указав на кан, он предложил садиться.

Самарин, не расставаясь из предосторожности с винтовкой, снял со спины замерзшую козу. Она упала на земляной пол с костяным стуком.

– О-о-о!.. – почтительно протянул старик. И, опять указывая на кан и кланяясь, вторично предложил садиться.

Самарин сел, поставив винтовку между колен. Тело охватывало теплом, шедшим от нагретого кана. Старик-китаец смотрел с добродушным любопытством, и постепенно мысль, что он мог попасть в становище хунхузов, стала покидать Самарина. Это были, вероятно, звероловы, как он первоначально предполагал. Тем более, что здесь находилась женщина.

Он обернулся к перегородке, откуда слышался ее голос, и увидел ее. Она стояла, придерживая рукой синюю занавеску, заменявшую дверь. Ее длинный ярко-голубой халат переливался шелком в свете лампы. И в ее жесте – поднятой руке, откидывающей занавеску, – было столько изумительной грации, что она представилась Самарину воплощением фантастического сна. Он долго смотрел на эту точеную узкую фигуру, окутанную голубым шелком, и только затем перевел взгляд на ее лицо.

Сначала ему показалось, что это – обман зрения, что это свет лампы придает лицу такие очертания... Но вот женщина сделала два мягких шага вперед, тени на лице переместились, и Самарин увидел, что очертания его таковы же и сейчас. Он никогда не встречал таких черт среди китайских женщин. Это лицо было удивительно правильным и красивым почти европейской красотой. И только широкие скулы и глаза – большие, но по-азиатски удлиненные – выдавали в женщине ее расу. Однако несмотря на это, Самарин сразу же подумал, что такой красоты он не встречал нигде и никогда.

Женщина медленно подошла ближе и вошла в круг света от лампы, а шелк ее платья замерзал голубыми блестками. Она пристально смотрела на Самарина, потом опустила ресницы и поклонилась ему.

До сих пор Самарин никогда не жалел о том, что не знал в совершенстве китайского языка. Но теперь это показалось ему непростительным упущением.

Они – хозяйка фанзы и Самарин – сидели на кане перед низеньким столиком. С трудом объясняясь на ломаном языке, Самарин разобрал, что молодой китаец и девушка – дети старика. Зимой они ставят западни, а летом сеют кукурузу. Вот и все.

Странно, он испытал огромное облегчение, когда узнал, что эта женщина не жена молодого рябого китайца, а его сестра. Поймав себя на этом чувстве, Самарин искоса посмотрел на нее. Она ставила на стол посуду – маленькие низкие чашечки. Ее ресницы были опущены, придавая мистическую загадочность удлинненным полузакрытым глазам. Один раз он встретился с ней взглядом. Глаза у нее были ослепительно черные, и, уловив их взгляд на себе, Самарин покраснел.

Молодой китаец угрюмо молчал. Его глаза казались неподвижными, немигающими, кругло-желтыми, как у ястреба или другой хищной птицы. Старик держался более общительно. Он с охотой отвечал на все вопросы Самарина, кивая головой. Русский полицейский пост?.. О, это далеко, целый день пути! Хунхузы?.. Нет, здесь их не было давно! Они боятся, они теперь ушли отсюда!..

На столике появилась большая миска с мясом. Китайка взяла чашку Самарина, положила ему мяса и подвинула котел с рисом. Потом она налила чего-то из жестяного чайника в маленькую чашечку и тоже подвинула к Самарину. Он почувствовал запах горячего ханшина. Китайка улыбнулась и знаком предложила выпить.

Он выпил одну чашечку, а вслед за ней другую. По жилам разлился огонь. Самарин погрузился в приятное безразличие. В мозгу поплыл легкий туман.

Потом он хотел что-то спросить у старика, но, обернувшись к нему, увидел, что старика уже нет, а молодой рябой китаец поднимается и выходит из-за стола. Только китайка была здесь – сейчас она сидела на краю кана, странно улыбаясь Самарину.

От ее взгляда, от этой улыбки его словно обдало огнем. Он приподнялся и склонился к ней.

– Как тебя зовут?.. – настойчиво зашептал он. – Как тебя зовут?..

Она легко отстранилась гибким змеиным движением и, полузакрыв глаза, покачала головой. Ее пальцы, тонкие, изумительно изящной формы, придвинули к Самарину чашечку с ханшином. Он выпил залпом и снова почувствовал, как жидкое пламя разлилось по всему телу.

Женщина теперь сидела совсем близко. Осторожно, ожидая, что она вновь ускользнет, Самарин наклонился ниже. Но она не ускользнула. Ее руки вдруг сильно и цепко охватили его шею. Перед самым своим лицом он увидел до невозможности черные, вдруг заблестевшие глаза и алый, как свежая рана, рот. А когда женщина, с силой сомкнув пальцы на затылке Самарина, припала ртом к его рту, огненный вихрь захлестнул его мысли, а туман окутал голову, словно приподнял тело и понес куда-то на мягких

колышущихся волнах...

4

Самарин очнулся от ноющей боли в ногах. И сразу увидел: он лежит связанный на кане, с руками, прикрученными к туловищу. Ноги были стянуты тонкой веревкой. Веревка впивалась в тело, и ноги немели.

А в фанзе происходило что-то необычное. Кроме старика, его рябого сына и китаянки там был еще один китаец – молодой, в меховой куртке и шапке с ушами. Он что-то торопливо рассказывал, сопровождая свои слова резкими жестами.

Самарин повернул голову, отыскивая взглядом женщину. Она стояла у противоположной стены, нагнувшись над каном. В руках у нее был маузер, в который она движением опытного стрелка вкладывала боевую обойму...

Видимо, обитатели фанзы торопились уходить. Женщина была в короткой стеганой куртке и кожаных улах, прикрученных к икрам тонкими ремешками.

Самарин слабо застонал, стараясь перервать веревку. Снова почувствовалась боль в ногах. Китаянка обернулась к нему. Ее глаза пристально остановились на его лице, а рот искривился насмешливой и злой улыбкой. Теперь она казалась олицетворением торжествующей мести. Но, несмотря на это, она была так прекрасна, что Самарин на миг забыл об опасности, грозившей ему, и, как замороженный, смотрел на угловатый излом из бровей и искривившийся в злой усмешке яркий рот.

Старик крикнул что-то, показав рукой на дверь. В руках у него была винтовка. Рябой китаец и другой, в меховой куртке, быстро вышли из фанзы. Старик последовал за ними, оставив дверь открытой.

Теперь в фанзе, где лежал Самарин, осталась только женщина. Она, изогнувшись, как большая кошка, стала медленно приближаться к Самарину. На одно мгновение у него появилась надежда, что она освободит его, перережет веревки...

Вот она наклонилась над ним и, блестя глазами, провела рукой по его лицу. Так кошка играет с мышью... Потом, вдруг выпрямившись, подняла руки вверх, прямо к висевшей на крючке керосиновой лампе. Резкое движение рук сверху вниз – и перед глазами Самарина метнулось падавшее пламя. Вслед за этим он услышал дребезг разбитого стекла, и струя пламени взвилась кверху, разливаясь рекой вспыхнувшего керосина... Силуэт женщины скользнул к выходу из фанзы, и до ушей Самарина долетел тихий смех.

Керосин горел, разливаясь по полу огненным потоком. Пламя быстро переходило к кану, и Самарин уже начинал чувствовать бившую от него струю жара. Вот огонь уже подбирается к ногам... Как жжет ступни, какая невыносимая боль!!! От боли плывут перед глазами красные пятна.

Самарин напрягает последние усилия, хочет порвать веревки и

видит: на краю кана сидит, свесив по-человечески ноги, лисица. Она искоса смотрит на него и хихикает. Потом начинает смеяться все громче и громче, взвизгивающим, лающим смехом... Пламя пышет и поднимается выше... Красный хвост лисицы взметывается перед глазами. Он метет сквозь огонь снежную пургу... Ноги жжет нечеловеческой болью. Где-то слышится выстрел, затем другой, потом залп и частый винтовочный треск. И огонь, нахлынув сумасшедшим потоком, покрывает все, заливая сознание жгучей кровавой волной...

5

В короткие моменты, когда к Самарину возвращалось сознание, он чувствовал, что его куда-то везут. Он видел склонявшиеся над ним русские бородатые лица и слышал отрывочные фразы разговора. Один раз чьи-то руки заботливо поправили на санях овчинную шубу, которой он был прикрыт, а голос рядом сказал:

– Кажись, очнулся?..

– Пущай лежит, не тревожь... – произнес голос с другой стороны, и снова стало слышно только поскрипывание полозьев по снегу.

Открывая глаза, Самарин видел над собой дневное голубое небо с редкими облачками, а впереди – круп гнедого коня, запряженного в сани. Потом начинало пульсировать в висках, голову охватывало жаром, и перед глазами вспыхивали пляшущие языки огня. Рыжий лисий хвост взметал снежную вьюгу... Хохотали визгливые голоса... И горячий, как кровотокающая рана, рот тянулся к его губам...

Окончательно он пришел в себя значительно позже. Открыв глаза, увидел перед собой маленькое окно русской избы и угол с почерневшими старинными иконами, под которыми висело вышитое полотенце. У окна сидела молодая женщина в пестром ситцевом платке и таком же сарафане.

«Вероятно, я в старообрядческом поселке...», – с усилием подумал Самарин и, обращаясь к женщине, тихо позвал:

– Послушайте!..

Женщина вздрогнула и, отложив шитье, быстро поднялась с лавки.

– Погодьте, я мужиков позову... – боязливо сказала она, направляясь к двери.

После этого Самарин долго разговаривал с плотным рыжебородым старообрядцем-охотником. В ответ на бессвязные расспросы Самарина тот тряс головой и упрямо повторял:

– Никакая фанза не горела. Потому эту фанзу еще в прошлом году ваши охранники нашли. Тогда она и сгорела...

Самарин раздраженно доказывал, что фанза была целой. Она сгорела именно в эту ночь. Что за смысл говорить ему небылицы, когда он отлично помнит, как огонь жег его ступни, когда он связанный лежал на кане!..

Старообрядец удивленно посмотрел на него.

– Ноги-то вы обморозили, а не пожгли... – наконец сказал он, чуть усмехаясь. – Кабы не мы с зятем, так вы совсем бы кончились там! В этой горелой фанзе мы вас и нашли...

Он помолчал, погладил бороду и, подумав, заметил:

– А в этой фанзе, верно, тогда китаянка была. Только ее убили ваши же охранники. Она с главарем у хунхузов жила. Им тогда кто-то сказал, что русские близко, они фанзу подожгли и уйти хотели. Только не ушли – самого главаря убили, еще одного хунхуза и китаянку. Говорят, она тоже отстреливалась. Из маузера...

Самарин умолк, пораженный. В мыслях возникала какая-то путаница. Женщина из тайги с ослепительной яркостью вспомнилась ему. Но кто же она тогда?.. Ведь он видел ее, говорил с нею, чувствовал прикосновение ее губ...

Рыжебородый охотник снова покачал головой. Он долго смотрел на Самарина, затем сказал:

– А вы бы лучше не думали об этом. Мало ли какие наваждения бывают... Вот застудились, заболели – и примерещилось. Думать не надо...

Самарин растерянно молчал. Потом тихо и покорно согласился:

– Хорошо, я не буду...

6

У него оказалось воспаление легких. Кроме этого, были обморожены пальцы на ногах... По узкоколейке, проложенной на лесную концессию, его довели до железной дороги. Через сутки он был в Харбине.

В больнице он лежал в большой общей палате. Два пальца на правой ноге пришлось ампутировать, и Самарин, неподвижно лежа на спине, ощущал как бы зуд на самом конце отнятого большого пальца. Кажется, вспоминал он, так бывает всегда после ампутации.

А в один из тех дней, когда в больницу допускались посетители, он, безучастно смотря в дверь, вдруг увидел среди входивших Лелю. Да, он не ошибся, это действительно была она!.. Но как, каким образом она могла узнать, что он здесь?.. У нее было печальное лицо, и в глазах отражалась тревога, когда она подходила к его койке. Видимо, она не знала, как начать разговор, и безмолвно остановилась у изголовья.

Самарин хотел приподняться ей навстречу, хотел сказать, что бесконечно рад ее приходу.

Но, уже готовясь заговорить, внезапно понял, что это будет неправда. Он видел сейчас перед собой чужую, малознакомую девушку и с изумлением чувствовал, что ее появление стесняет его. Так бывает при визите случайного знакомого, с которым совсем не о чем говорить...

«Зачем она пришла?.. – скользнула неприятная мысль. – Что ей

нужно?..».

Леля стояла перед койкой, опутив глаза и перебирая пальцами ремешок сумочки.

– Дима... – наконец проговорила она. – Дима, я не хочу, чтобы ты думал обо мне так...

– Как? – коротко переспросил Самарин, и сам, услышав свой голос, удивился, что он звучит безразлично и сухо. Раньше он никогда не говорил с Лелей таким тоном.

– Ведь ты уехал из-за меня? Да?.. – неуверенно спросила она полупшепотом. – Знаешь, я хотела сказать тебе, что была тогда глупой, что я...

– Ну, вот еще!.. – как-то развязно перебил Самарин. И равнодушно добавил: – Пожалуйста, не надо об этом.

Может быть, Леля ожидала пылких фраз, признаний и клятв. Во всяком случае этого тона и того, что сказал Самарин, она не ждала. Ее глаза широко открылись, и в них появилось выражение крайней растерянности.

– Извините... – после короткой паузы сказала она, овладев собой и нервно кусая губы. – Тогда я пойду. До свидания...

– До свидания, – отозвался Самарин и отвернулся к стене, чтобы не видеть, как она будет уходить.

Лежа неподвижно, с закрытыми глазами, он старался объяснить себе свой поступок. Леля стала ему чужой... Но почему?.. Ведь еще недавно он думал о ней совсем по-другому. Отчего же сейчас случилось так? Что заставило его оттолкнуть ее сегодня?..

И вдруг в мозгу сверкнула яркая, как блеск стали на солнце, мысль. Словно он долго и безуспешно старался что-то вспомнить и вот теперь наконец вспомнил!

В памяти мгновенно встала картина: желтый свет керосиновой лампы, и в этом свете – гибкая фигура, закованная в сверкающий голубой шелк, как в латы, стоящая с поднятой рукой у откинутой занавески...

Нет, он не только сейчас вспомнил ее! Он не забывал ее никогда!.. Но только в этот момент он понял, что подсознательно думал о ней все о время. И именно эта подсознательная мысль толкнула его на сегодняшней поступок.

Так что же, в конце концов, случилось с ним тогда, в заброшенной фанзе?.. Ведь он ясно помнил огненный поток, разлившийся по полу и быстро подбирившийся к кану, на котором он лежал. Помнил даже ощущение боли от ожогов...

Или, может быть, это был бред?.. Может быть, та, о которой он подсознательно думал все эти дни, только плод его разгоряченной бредом фантазии? Или призрак женщины, убитой около этой фанзы, как говорил рыжий староввер?.. Значит, тогда ее нет? Но этого не может быть – она живая, она существует!.. Нужно найти ее, увидеть ее снова и убедиться, что

все это было наяву! Рыжебородый охотник что-то от него скрыл. Нужно узнать, нужно разгадать эту загадку...

К вечеру у Самарина поднялась температура. В жару он снова шел по следу лисицы, видел огонек в фанзе у подножья сопки и открывал дверь... Старик-китаец что-то говорил ему, кланяясь и беспрестанно кивая, как глиняный болванчик. А она медленно приближалась, улыбаясь ярким ртом, и глаза ее мерцали, как черные звезды...

7

На маленький охранный пост он вернулся месяц спустя. Вернулся похудевшим и угрюмым. Иногда среди разговора он вдруг умолкал и пристально останавливал взгляд на одной какой-нибудь точке... Но все это вспомнили и отметили уже потом. Сначала это никому не показалось особенно странным.

А однажды утром Самарин неожиданно исчез... Он не вернулся к вечеру. Не было его и на следующий день.

И только значительно позже на пост явился китаец-зверолов. Он долго кланялся и наконец рассказал о том, что видел.

В этот день он возвращался от поставленных западней домой, в деревню, и увидел в снегу лисий след... Но он знает, что на закате солнца никогда нельзя идти по лисьему следу. Того, кто пойдет, ожидает плохое... Конечно, не пошел и он. Но, возвращаясь, он увидел след человека. Это был след русского – китайцы не ходят в сапогах. След шел за большой перевал. А вместе с этим следом тесно переплетался уходивший туда же крупный след лисицы.

*Впервые опубликовано: Рубеж. 1939. № 19.
Печатается по: Рубеж. 2004. № 5. С. 165-170.*

БАГУЛЬНИК

Мы – Измайлов и я – сидели в занавешенной кабинке китайской харчевни и медленно пили горячее желтое пиво, подмешивая в него сахар. Я задумался, смотря через окно во двор, где топтались привязанные кони, бродили между ними куры и лежала в грязи большая черная свинья.

Видимо, Измайлов долго наблюдал за мной. Затем, не выдержав, спросил:

– Что – ищите тему?

Я обернулся к нему.

– Пожалуй, вы угадали: нужно тему... Для пасхального рассказа.

Измайлов пробарабанил по столу костлявыми пальцами и опустил глаза. Он был высок и худ, но с широкой костью, а лицо у него было длинное, насмешливое, с большим лбом и прищуренными серыми

глазами. Должен сознаться, я не всегда понимал его. Измайлову казалось не более тридцати лет. Но он был циничен, как старый миллиардер, испробовавший все в жизни. И при этом, кажется, не верил ни во что.

Итак, я сказал:

– Да, мне нужно тому.

Измайлов перестал барабанить, поднял глаза и важно проговорил:

– Я дам вам тему. И именно – пасхальную.

– Лучше не надо... – усмехнулся я, зная Измайлова.

– Нет, кроме шуток! – сказал он и прислонился к стене, вытянув крест-накрест длинные мефистофельские ноги. – Вот, скажем, такая вещь... Вы верите в Высшую Справедливость?..Если хотите – с большой буквы?

– Допустим, верю, – согласился я.

– Вот об этом и будет рассказ... Это случилось в самом деле. И я до сих пор ломаю голову: случайность это или Высшая Справедливость? Только, прошу принять во внимание, что это было давно. Я уже шестой год в таежных отрядах. К городскому труду, виноват, я не приспособлен! И вот, в ту пору я был еще не такой, как сейчас, и не знал, что девушки не похожи на звезды, что они тоже едят, переваривают пищу и болеют несварением желудка, только делают вид, что им об этом ничего не известно. Ну, и настроения у меня, конечно, были несколько другие – сами понимаете... Так вот, если хотите...

– Да, пожалуйста... – сказал я.

Измайлов еще дальше вытянул ноги и стал рассказывать.

Главных действующих лиц было трое: я, Лавров и Зина. Четвертое лицо – Косицын – случайного и прямого отношения к действию не имеет.

Случилось это в первые годы возникновения лесных полицейских отрядов. Хунхузы не хотели даром уступать своих владений. Мы с боем проходили по тайге, сжигая хунхузские бараки. Очень часто приходилось приносить домой одного, а то и двух раненых или убитых. Мертвых хоронили, а через несколько дней выступали в другую сторону, и снова поднимались над лесом черные столбы дыма, и металась в дыму потревоженные птицы. Это было самое жаркое время в жизни отрядов. Вероятно, многие помнят его. Хунхузы иногда даже сами рисковали нападать на русские посты. Но каждый раз их отбивали с уроном.

Наш отряд стоял на большой железнодорожной станции и вдоль по ветке. Мне пришлось находиться на самой станции. Каждый день мы по три человека поочередно ходили в разведку. Уходили утром, осматривали местность и часам к трем-четырем дня возвращались.

И вот, в этой обстановке разыгрался наш роман втроем: мой, Зины и Лаврова.

У Зины были глаза как ирисы – темно-фиолетовые и бархатные. Когда Зина хмурилась, глаза становились почти черными. Зина служила в аптеке при больнице, и ей удивительно шла белая косынка, из-под которой всегда нечаянно падал на лоб черный локон.

Однажды вечером, в парке, я поддался веянию наступающей весны и сделал Зине официальное предложение.

Зина не притворилась смущенной или испуганной, как, вероятно, сделала бы другая. Она приостановилась около скамейки на берегу реки и спокойно сказала:

– Давайте сядем и поговорим.

Мы сели. Зина подняла воротник пальто – от реки шла сырость – и заметила:

– Это, конечно, невозможно, Сергей. Если бы даже я вас очень любила...

– Почему? – сухо спросил я.

– Видите ли... Вы – охранник, и получаете тридцать с чем-то гоби. Допустим, я выйду за вас замуж и нарожу вам детей. Они будут всегда оборванные, грязные, слюнявые. Я буду стирать белье, мыть полы и ходить в засаленной хламиде, косматая и вечно злая. И тогда вы сами скажете: «Какой я был дурак, что женился!» Разве не правда?.. Подумайте сами.

Я подумал и сказал:

– Это трудно решить сейчас.

– Вот видите... А мне этого не хочется. Я училась на фармацевтку. У меня мать и братишка, я должна их содержать. Ведь я не ребенок, чтобы не отдавать себе отчета...

Я проводил ее и ушел, подавленный ее здравым смыслом.

Прощаясь, Зина высказала предположение, что на прежние дружеские отношения все это не повлияет. Я, конечно, подтвердил. В сущности, она была права. На меня просто подействовала весна, и я сделал глупость.

На следующий вечер я случайно встретил Зину в парке. Она была одна и шла задумчиво, свивая жгутиком два травяных стебелька. Я поздоровался и пошел с ней рядом, не упоминая о вчерашнем ни слова.

– Извините, мне нужно повидать подругу, – сказала она минут через пять.

Мне стало немного тоскливо. Я закурил сигарету и пошел в аллею потемнее. И, дойдя почти до края парка, вдруг заметил пару, шедшую впереди меня. Когда я подошел ближе, то увидел, что это были Зина и Лавров.

Я сразу остановился, чтобы они не подумали, будто я слежу за ними.

Подул пьяный весенний ветерок. Кричали за рекой лягушки.

«Нужно повидать подругу...», – вспомнилось мне, и я с силой бросил на землю сигарету, рассыпавшуюся рубиновыми брызгами. Зина и Лавров шли очень близко друг к другу. Мое уязвленное самолюбие заныло. И так, причиной отказа был вовсе не здравый смысл Зины. Она хитра как всякая женщина. И теперь мне остается только делать вид, что я совершенно равнодушен к Зине и забыл о прежнем навсегда.

Лавров был таким же охранником, как и я. Он только принадлежал к категории «семейных». Семейные жили не в казарме, а на частных квартирах. Отец Лаврова служил мастером на лесопилке. А сам Лавров по внешности был почти красавцем – высокий кудрявый парень с веселыми глазами и подкупающей улыбкой. Таких женщины любят всегда.

Весна шла властно и буйно. Уже поднялась молодая трава, и реки текли гладкой серебряной полоской под горячим солнцем. Давно прилетели утки, а ночами в темном небе перекликались последние косяки возвращавшихся гусей. Деревья распустились и звенели молодыми листьями.

Пасха была поздняя, и до нее оставалось два дня. В Страстную Пятницу я встретил Зину; она остановила меня с обычной улыбкой и попросила:

– Знаете что, Сергей? Если вы пойдете в сопки, нарвите мне, пожалуйста, багульника. Он уже расцвел. Я люблю, когда живые цветы на Пасху...

– Хорошо, – сказал я.

– Вы на меня не сердитесь? – спросила она, кошечкой заглядывая мне в глаза.

– Нет, за что же? Я уже забыл.

– Так скоро? – протянула она, и в ее голосе мне послышались нотки разочарования.

Я пожал плечами.

– Так не забудьте про багульник! – сказала она, подавая мне руку. – Не забудете?

– Конечно, нет!

Вечером, когда я пришел в казарму, мне сообщили, что завтра моя очередь идти в разведку. Должны идти трое – Лавров, Косицын и я.

Я решил при встрече с Лавровым не говорить с ним о Зине ни слова.

Мы вышли утром в Страстную Субботу. Утро было золотое и прозрачное, как спелый персик или тонкая корочка апельсина. Таким золотисто-прозрачным бывает еще варенье из абрикосов с густыми, как расплавленное золото, каплями или свежий, только что взятый мед.

Поднимался легкий пар от реки, а распутившиеся деревья звенели листьями, роняя хрустальные капли росы.

Лавров шел впереди, за ним – Косицын, последним я. Косицын был тяжелый молчаливый парень с бычьим взглядом и длинными руками. Мы шли по тропе, не разговаривая. Перевалили сопку, посидели и пошли по берегу реки.

Впереди я видел широкую спину Лаврова, его тугой затылок над воротником мундира и руку, слегка придерживавшую приклад винтовки. Меня постепенно стало охватывать раздражение, и я забыл о том, что решил не говорить с ним о Зине. Мне захотелось сказать ему что-нибудь неприятное.

– Лавров! – позвал я.

Он остановился и посмотрел на меня. Солнце золотило его лицо и волосы, выбившиеся из-под кепи.

– Мне надо с тобой поговорить. Подожди немного... – сказал я.

Лавров пропустил Косицына вперед, и тот медленно пошел по тропе. Мы остались вдвоем.

– Правда, что ты женишься на Зине? – с неожиданной резкостью сказал я.

Он помолчал, потом нахмурился и спросил:

– А тебе какое дело?

Злость охватывала мне все сильнее. Я уже забыл о том, что хотел только позлить его.

– Ну женись, посмотрим... – сказал я, нехорошо усмехнувшись.

– А что такое? – сверкнул он глазами.

Тогда я засмеялся и сказал ему невероятную гадость...

Сразу же вслед за этим удар в лицо ошеломил меня, и я, не удержавшись, упал в траву. В следующий миг мы уже стояли друг против друга с винтовками в руках, и почти одновременно металлически лязгнули два затвора, досыпая патрон.

Мы стояли около речного берега перед густой стеной тальника. Лавров был бледен, только глаза его горели. У меня дрожали руки. Где-то за кустами шумела вода.

Эта тишина и шум воды отрезвили меня. Мне стало стыдно. Но не хотелось уступить, чтобы не заслужить обвинения в трусости.

– Ну?.. – хрипло сказал, наконец, Лавров.

– Что «ну»?.. – переспросил я.

– Чего же не стреляешь?

– Я жду, когда ты...

– Я не собирался. Ты первый...

– За что ты меня ударил?..

– А зачем ты так сказал?

– Дурак! – сказал я. – Шуток не понимаешь.

Лавров засмеялся. Я опустил винтовку. Он сделал то же.

– Ну, извини, если ты в шутку... – пробормотал он, сдвигая кепи с потного лба. – Я здорово рассердился.

Мне было стыдно за свою глупость и полученный удар.

– Ладно, все пройдет! – сказал я. – Пошли дальше.

Мы догнали Косицына и пошли, как будто бы ничего не случилось.

Солнце перевалило за полдень, и тени снова стали длиннее. Мы уже обошли назначенный нам район, когда я вспомнил о багульнике. Невдалеке, приблизительно около версты от нас, поднималась крутая скалистая сопка. Там багульник должен был расти обязательно.

– Вот в чем дело, ребята... – сказал я, замедляя шаг. – Мне нужно нарвать багульника.

Лавров вдруг резко остановился и странно посмотрел на меня.

– Мне тоже нужно нарвать багульника! – с вызовом проговорил он, делая ударение на слове «тоже».

– Ну и рви... мне что за дело? – отвернулся я.

Косицын взглянул на нас обоим, потом сказал:

– Вы идите за багульником, а я схожу в тот распадок, – он показал рукой. – Там должны быть козы. Ладно? Встретимся здесь, около камня на тропе.

– Идет! – согласился Лавров. Он повернулся ко мне и, не глядя в глаза, бросил: – Пошли, что ли?

Я шел, и с каждым шагом ко мне возвращалось прежнее раздражение. Я ненавидел Лаврова. Видимо, и он догадывался, для кого я хотел рвать багульник, но старался сдерживаться.

Мы обошли сопку и, закинув винтовки за спину, стали взбираться. Друг с другом мы не разговаривали. Подъем был крутой, скалистый, и приходилось помогать руками. Выше, между скал, ясно были заметны кусты багульника с ярко выделяющимися среди зелени и камней цветами.

Недалеко от вершины громоздился огромный камень, повисший над крутым склоном. Он оказался пестрым от коричнево-зеленых ползучих лишайников, а из трещины поднималось свежее молодое деревцо. Мы, словно по уговору, разошлись: я стал взбираться по левую сторону камня, Лавров – по правую. Друг друга мы теперь не видели.

Я уже наломал огромный пучок багульника и хотел взобраться на вершину, чтобы спуститься по противоположному склону, более пологому. Когда до меня донесся негромкий отрывистый крик.

Я остановился и прислушался. С полминуты была тишина, потом справа (мне не было видно из-за скал) голос Лаврова позвал:

– Измайлов!

Я продолжал сидеть неподвижно, ожидая, что будет дальше. Лавров подождал еще минуту, потом крикнул громче:

– Измайлов, я сломал ногу!

Меня вдруг охватила злобная радость. Вот великолепная возможность отомстить! Завтра – первый день Пасхи, и, если я уйду, ему придется пролежать здесь ночь и половину завтрашнего дня, а может быть, и до вечера, пока его не найдут. Я смогу отговориться тем, что ушел от него далеко и не слышал. Вот разве только он начнет стрелять? Но, может быть, не догадается?

Я осторожно перебрался на другой склон и стал спускаться в узкую падь. Еще один раз до меня донесся крик Лаврова, но он звучал уже далеко и чуть слышно.

У камня около тропы сидел Косицын и свертывал «собачью ножку».

– Пошли! – бросил я на ходу, махнув пучком багульника.

– А где Лавров? – вяло спросил Косицын.

– Рвет багульник, – ответил я, смотря под ноги. – Сказал, догонит потом.

Я быстро шел впереди, боясь, как бы Лавров не догадался открыть стрельбу. Но было тихо. Я представил себе, как Зина сегодня будет ждать Лаврова у заутрени и не дождется. Дома тоже будут ждать.

Мне вдруг стало неприятно, и я почувствовал маленький укол стыда. Вспомнилась семья Лаврова, и представилось, как будут ждать его и что подумают, когда узнают, что двое из разведки вернулись, а третий нет. Будет страшная бессонная ночь, всю ночь будут светиться окна, и будут метаться взад и вперед на занавесках беспокойные тени. И это – в Пасхальную ночь.

Я вдруг остановился.

– Послушай... – неловко сказал я Косицыну. – Я забыл на камне карманный нож. Срезал багульник и забыл. Придется вернуться... Ты иди, мы придем с Лавровым.

Он кивнул головой и пошел по тропе по направлению к маленькому лесу. Я повернул обратно.

Лаврова я нашел на крутом склоне сопки, среди камней. Он сидел бледный, придерживая руками сломанную ногу, и кусал губы от боли.

– Почему не стрелял? – спросил я, когда он рассказал мне, каким образом сломал ногу.

– Боялся, что на выстрелы подойдут хунхузы... – морщась от боли, сказал он. – Было бы еще хуже...

К вечеру я на своей спине принес Лаврова кратчайшей дорогой домой. Когда я пришел, мне сказали, что Косицына еще нет.

Вот здесь и заключается загадка, которая мучает мне до сих пор: случайность ли это была или Высшая Справедливость проявленная по отношению ко мне?

Косицын, расставшись со мной, пошел по тропе через маленький лес. И там, приблизительно за версту от того места, где я повернул обратно,

ему встретились два хунхуза-маузериста. Они засели в кустах, пропустили Косицына и аккуратно всадили ему две пули в спину. Одна из этих пуль предназначалась мне. Через несколько дней мы наткнулись на двух этих хунхузов и убили их, когда они пытались бежать... Вот и все.

Измайлов подобрал ноги и налил себе пива из высокого жестяного чайничка.

– Хорошая тема? – спросил он.

– Да, – сказал я. – Все это совсем не похоже на вас.

– Это случилось под Пасху... – проговорил Измайлов. – Говорят, под Пасху и на Пасху часто случаются странные вещи.

– А Зина вышла замуж за Лаврова? – спросил я.

Измайлов приподнял брови, усмехнулся и стал похож на фавна.

– Нет, – покачал он головой. – Ни за Лаврова, ни за меня, слава Богу! Я после той Пасхи и не видел ее. Меня ранили, а потом я поступил в другой отряд. Впрочем, все это не важно.

Он вылил остатки пива в мою стопку и заказал еще чайник.

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1941. № 19. С. 1-4, 6.

ШУТКА

Когда тело Щербинина с разрубленной головой было найдено недалеко от проруби и принесено без признаков жизни в казарму лесной полиции, все подозрения сразу упали на Пушкаревича.

Щербинин был убит ночью, во время пожара маленького маньчжурского поселка, стоявшего у реки. Поселков было два. Один большой у подножия сопки, где находились лавки, харчевни, постоялый двор и прочие предприятия. Другой поселок, известный среди русских охранников под названием «Нахаловка», стоял у берега реки и был выстроен из ломанных досок, горбылей, брусьев и прочего брака. Крыши были деревянные или соломенные. Жили здесь исключительно лесные рабочие со своими семьями. Они и выстроили этот поселок из бракованных лесных материалов. Маленькие, как коробки, фанзы вплотную лепились одна к другой. Потому, как только огонь вырвался наружу, сразу запылало несколько соломенных крыш.

И вот во время этого ночного пожара труп Щербинина был найден в снегу, недалеко от проруби.

Он лежал лицом вниз, вытянув вперед правую руку. Рядом с ним валялась банка из-под бензина, заменявшая ведро. Вода из нее вылилась на

снег. Брюки Щербинина и его ватная куртка также обледенели от воды.

Когда труп внесли в казарму и положили на скамейку, все почти одновременно вспомнили о Пушкареве. И вспомнили вот почему.

Щербинин и Пушкарев оба служили в лесном охранном отряде. Оба были завзятыми охотниками. Пушкарев, более хозяйственный и положительный, даже держал двух лохматых собак, из-под которых он не раз убивал загнанного зверя. Летом он устраивал в сопках искусственные солонцы и проводил свободные дни на «сидке», в замаскированном шалаше, выжидая появление изюбря.

Пушкарев – небольшой белесый человек средних лет – был аккуратным, методичным охотником. Щербинин, напротив, надеялся исключительно на слепую удачу. Ему везло. И как раз за два дня до пожара собаки Пушкарева выгнали в тайге прямо на него громадную дикую свинью. Когда Пушкарев, запыхавшись, подошел на звук выстрела, все уже было кончено. Восьмипудовая туша лежала на снегу, а Щербинин с засученными по локоть кровавыми руками вытаскивал внутренности, от которых густо шел пар. Собаки сидели рядом и облизывались.

Услышав шаги Пушкарева, Щербинин поднял голову и усмехнулся, скаля белые зубы под черной щетинкой усов. Пушкарев остановился. На его плоском, бесцветном лице выразилось недоумение.

– Ты что же это? – как бы не веря себе, сказал он. – Потрошишь?

– Потрошу! – снова блеснул белыми зубами Щербинин. Потом вывернул окровавленную руку и почесал нос об чистое место около локтя.

– Как же так? – с прежним недоумением проговорил Пушкарев. – Ведь собаки...

– Собаки?.. – прищурился Щербинин. – Ушла бы она к чертовой матери с твоими собаками, если бы не я! Ты пока помогай! Дома будем разговаривать.

– А это мы посмотрим! – внезапно наливаясь злостью, сказал Пушкарев. Его невыразительные оловянные глаза зажглись тусклой яростью. Он рывком забросил винтовку за плечо, круто повернулся и, не сказав больше ни слова, пошел в чащу, треща ломкими мерзлыми ветками.

Дома, когда вопрос о праве добычи был поставлен перед всей казармой, Щербинин нехотя сказал:

– Половину отдам, черт с ним! Хотя и не по правилу... Если бы не я – угнали бы собаки!

Но Пушкарев упорно требовал всю добычу, соглашаясь возместить выстреленный патрон. Его обычно спокойное, слегка вялое лицо, теперь побледнело от злости. На лбу появились капли пота, в углах губ пузырьками выступила слюна, а глаза словно обесцветились и прыгали как два тусклых оловянных мячика.

– Собаки были мои? – в десятый раз высоким голосом повторил он,

обращаясь к собравшимся. – Мои, да? Тогда зачем он стрелял? Зачем стрелял, я спрашиваю?

На половинную долю Пушкарев так и не согласился.

– Не надо, я не нищий! – уже спокойнее бросил, смотря исподлобья. И, отворачиваясь, негромко добавил: – Подожди, вспомнишь меня!

Если бы не угроза, может, никто и не подумал бы на него. Но через два дня после ссоры Щербинин был убит. И все знали, что Пушкарев угрожал ему отомстить.

Пожар начался около полуночи от загоревшейся деревянной трубы. Сначала огонь, видимо, таился внутри дымохода, а потом вдруг вырвался и сразу охватил половину крыши. Снегу было мало, и на крыше щетинилась голая солома. Часовой, стоявший у ворот, увидел взвившийся в темноте огненный столб и, выстрелив два раза подряд, заполошно кинулся под окна казармы, стуча в стекла. В казарме залился трелью свисток. Сонные люди вскакивали с коек и с молчаливой поспешностью одевались.

– Что случилось? – быстро спросил кто-то из угла.

Дежурный махнул рукой в сторону окна:

– Пожар! Нахаловка горит.

А за окном поднималось багрово-золотистое зарево. Пламя уже перекинулось с одной соломенной крыши на другую. Был ветер, и огонь, словно торопясь и пригибаясь, бежал по крышам. Рухнула подгоревшая деревянная труба, и сноп искр взлетел в темное небо. Весь маленький поселок сразу осветился фантастическим, мечущимся светом. Послышались первые вопли ужаса. На улицу выбегали полуодетые люди и, крича, беспорядочно размахивали руками. Снег, лежавший вокруг, отсвечивал красным отблеском.

Когда из казармы стали выскакивать одетые охранники, горела уже четвертая фанза. Из барака, где жили холостые рабочие, тоже торопились на помощь. А зарево ширилось, освещая теперь уже и крышу казармы, и двор, и сторожевую будку у ворот. Испуганным лаем залились вокруг собаки.

Вскоре стало ясно, что при таком ветре удастся спасти только несколько крайних фанз. Кроме того, искры летели всюду и угрожали толевой крыше казармы. На крышу забрались двое людей в зеленых мундирах лесной полиции. Они подтягивали на веревке банки с водой, и мокрая крыша заблестела багрово-красным лаком.

Из большого поселка тоже бежали люди. Таежный закон обязывает: «Помогай в момент несчастья соседу, если хочешь, чтобы помогли тебе самому». Многие бежали, гремя ведрами. Вода была в колодце, во дворе рабочего барака. Кроме того, недалеко протекала речка. В двух местах на замерзшей речке застучали топоры, прорубая лед.

Ведро воды выплескивались прямо на огонь. Пламя сбивалось, шипело, но затем вырывалось с новой силой. Маньчжуры и корейцы, работавшие летом на сплаве, прибежали с крючьями на длинных палках. Этими крючьями они растаскивали с крыш горевшие доски и солому.

В узком проулке, между фанзами, беспорядочно сустились люди. Их возбужденные лица казались окровавленными в свете пламени. Визжа, метался под ногами поросенок, которого пинали бегущие. Из фанз вытаскивали вещи. Полуодетая китайка, завернутая в ватное одеяло, стояла, выпучив безумные глаза, и ее толкали то с одной стороны, то с другой. Пронзительный женский голос визгливо и истерически кричал: «Цай!.. Цай!.. Цай!..» Два китайца выкатывали на ребре огромную кадущку с «цаем» – квашеной китайской капустой. Вопили и плакали дети. Маньчжур-полицейский, увидев кадущку с капустой, свирепо закричал на кативших. Кадущку бросили, и она так и осталась стоять посреди узкого проулка в толпе бегавших и кричавших людей.

Воду таскали из колодца и двух прорубей. Теперь поливали те фанзы, которые еще не успели загореться. Только так можно было спасти хотя бы часть поселка. То, что уже загорелось, оставили догорать.

И тогда-то наткнулись не遠далеке от проруби, за темной массой голых кустов, на лежавшее на снегу неподвижное тело Щербинина. Может быть, он лежал здесь уже давно. После яркого пламени глаза с трудом могли различать его в темной тени кустов. Щербинин был мертв. Он еще не застыл от мороза, но лицо его уже стало холодным, как камень.

Его внесли в казарму и положили на скамейку. Голова была рассечена сквозь меховую солдатскую шапку. Когда шапку, покрытую замерзшей кровью, сняли, все увидели, что череп разрублен почти пополам. Белели в загустевшей крови кусочки мозга. По всей вероятности, убийца действовал острым топором. Другим оружием трудно было нанести такую страшную рану.

Мертвец лежал на скамейке лицом вверх, словно щурясь остекленевшим, полузакрытым глазом. В снегу он был найден ничком, и теперь в складке его губ, подстриженных усах и глазной впадине осталось немного снега. Казалось необычным и страшным, что снег лежит и не тает на человеческом лице.

В этот момент кто-то неуверенным шепотом произнес фамилию Пушкарева. Потом слышались другие голоса. Прозвучала отрывистая фраза: «Конечно, он! Кто же еще мог?» И подозрение стало переходить в уверенность.

Когда к убитому подошел взводный, капитан Ещенко, ему быстро объяснили положение. Как нарочно, Пушкарева в казарме не было. Он остался на пожаре. Капитан Ещенко встопорщил усы, обвел всех взглядом из-под густых бровей и, поправляя ремень на солидном животе, сказал:

– Это, господа, дело серьезное! Кто-нибудь видел?

Ему немедленно сообщили о сцене в казарме после охоты, упомянув про угрозу Пушкарева. Ещенко морщил лоб, отдувался и, наконец, сказал:

– Позовите его сюда!

Пушкарев явился через несколько минут. Группа расступилась, открыв лежащего на скамейке мертвеца. Все смотрели на Пушкарева. И он каким-то внутренним чутьем вдруг сразу понял создавшееся положение. Лицо Пушкарева, красное от мороза, внезапно стало таким же белым, как лицо убитого. И, когда взводный наружно спокойным голосом спросил его: «Ты не знаешь, Пушкарев, кто бы это мог?», – он только шевельнул белыми губами и едва слышно прошептал: «Не знаю! Не я...»

– Что же ты так испугался, Пушкарев? – все тем же спокойным голосом сказал капитан Ещенко.

Пушкарев молчал.

– Ну, что же ты? – повторил капитан.

Пушкарев хотел что-то сказать. Его губы шевельнулись. Но вдруг он пошатнулся и сделал шаг назад, ища руками опоры. Ноги подкосились, и он тяжело опустился на скамейку. Ни один из стоявших не сделал попытки его поддержать.

А чей-то голос со злостью, негромко сказал:

– А с виду тихоня, сволочь! Вот такие всегда...

Из чулана, где хранилось старое обмундирование, вытащили все вещи и посадили туда Пушкарева, сняв с него ремень и обмотки, чтобы не удавился. Он, по всей видимости, мог решиться на это. После первых вопросов капитана Ещенко, Пушкарев упорно молчал. И только, когда Ещенко в десятый раз спросил его, почему он не хочет отвечать, Пушкарев поднял бледное, перекошенное лицо и тихо сказал:

– Чего тут говорить? Ведь я знаю, все на меня думают! Никто не видел! Только Бог свидетель – я не убивал.

– Ну, пускай начальник сам допрашивает! – безнадежно махнул рукой Ещенко. Ему не по душе была вся эта процедура, и он добавил: – Если не выяснится, пускай везут в уезд! Там разберутся.

На утро после пожара там, где был поселок, осталось всего несколько целых фанз. Взамен остальных торчали обгорелые стойки, валялись головешки, а женщины, копаясь в сгоревших остатках, вытаскивали то, что еще не погребло в огне. Стоял мороз, и у часового около ворот виднелись из-под заиндеветшей заячьей шапки только нос и глаза.

Капитан Ещенко составлял телефонограмму в штаб. Убитый лежал в холодной кладовой. Кто-то прикрыл его изуродованную голову полотенцем, и под белой материей каменно обрисовывались очертания лица.

После обеда взводному доложили, что с ним хочет говорить

арестованный. Ещенко, отдуваясь в усы, подошел и открыл дверь чулана. При его появлении Пушкарев, сидевший прямо на полу, встал.

– Ну? – сказал капитан, окидывая взглядом совершенно пустое помещение и удивляясь, почему не дали скамейки.

У Пушкарева лицо было по-прежнему бледное, но теперь почти спокойное. Казалось, он уже свыкся со своим положением и примирился с судьбой.

– Я хотел к вам с просьбой обратиться, господин капитан... – заметил он тихим, безразличным голосом. – У меня деньги есть, сто тридцать гоби... в ящике, под койкой... Так, чтобы вы их взяли и потом дочери... Она в Харбине, в патронате. Я адрес дам...

– Хорошо! – сказал Ещенко, хмурясь и испытывая какое-то неприятное состояние.

– Напишите, что, мол, убили хунхузы... – с усилием сказал Пушкарев и замолчал.

Капитан Ещенко почувствовал, как его будто царапнули по сердцу кошки. Он поднял глаза и встретился взглядом с Пушкаревым. Они смотрели друг другу в глаза секунд пять, а потом почему-то отвел взгляд капитан Ещенко, как будто убил человека не Пушкарев, а он.

– Вот видишь, Степан... – неловко заговорил он, в первый раз называя Пушкарева по имени. – Вот видишь, у тебя ребенок... Воспитывать надо. Ну скажи сейчас мне – зачем ты его убил?

Пушкарев чуть нахмурил брови. Лицо у него стало такое, как будто он хотел перекреститься. И снова капитан Ещенко услышал тихий ответ:

– Я не убивал, господин капитан.

– Однако упорный ты, братец! – раздраженно сказал Ещенко, выходя и закрывая дверь чулана. – Черт бы все это взял! Я не ясновидящий, насквозь видеть не могу.

В глубине души капитан Ещенко ощущал неприятный осадок от того, что вот, по его докладу, Пушкарева повезут в уезд и посадят в тюрьму. Если бы он сознался сам, или кто-нибудь видел... Но ничего не сделаешь, все утверждают. Глас народа – глас Божий!

Проходя через двор мимо кладовой, где лежал убитый, капитан еще сильнее нахмурился и встопорщил нависшие моржовые усы.

Вечером в окно к капитану Ещенко постучал дежурный. Он доложил, что пришел старик-маньчжур и дожидается в казарме.

– Какой еще маньчжур? – хмуро спросил Ещенко, одной рукой придерживая открытую форточку, а другой застегивая воротник мундира.

– Огородник! – крикнул из темноты за окном дежурный. – Говорит, по важному делу. Обязательно с вами.

Капитан Ещенко прошел в казарму. Там около железной печки сидел старик-маньчжур со сморщенным, как высохший лимон, лицом. В руках он держал шляпу и при появлении взводного встал, подобострастно осклабясь и показывая единственной коричнево-желтый зуб на голых деснах.

– Чего? – не особенно любезно осведомился Ещенко.

Маньчжур кланялся, держа шапку в руках.

– Спросите его, чего ему надо? – повернулся Ещенко к группе охранников.

Кто-то обратился к огороднику по-маньчжурски. Старик кивал головой, скаля желтый, как у старой лошади, зуб. Наконец переводчик повернулся к взводному:

– Он говорит, что видел, господин капитан... Убил кореец Чин, тот, что летом был старшиной у сплавщиков. Ударил сзади топором, а потом бросил топор в прорубь. А он, старик, случайно увидел и спрятался в кустах, чтобы кореец не убил и его. Он говорит, что хорошо узнал Чина...

– Что за черт! Не может быть! – озадаченно сказал капитан Ещенко и сел на скамейку. Он немного подумал и с недоверием повторил: – Не может быть! Для чего корейцу нужно было его убивать?

Никто не ответил. Капитан Ещенко с хрустом почесал пятерней голову. Он был ошеломлен. В самом деле, для чего Чину нужно было убивать Щербинина? Летом Чин был старшиной у сплавщиков. В поселке у него имелась своя фанза. Это был невысокий молодой кореец с интеллигентным лицом. Он отлично, почти чисто говорил по-русски и даже одевался по-европейски: носил пиджак, галифе и сапоги. Ещенко всегда относился к Чину с некоторой симпатией. И вот теперь оказывается, что Чин – убийца.

– А он не врет? – посмотрел Ещенко на огородника.

Старик на вопрос переводчика ожесточенно затряс головой. Он повернулся к взводному, ткнул пальцем себе в глаза, а потом жестом показал, как Чин убил Щербинина топором.

Тогда капитан Ещенко повернулся к стоявшему вблизи и сказал:

– Идите двое, приведите Чина!

Чин жил почти по-европейски. У него даже имелась виолончель, а по стенам были развешаны картинки из американских киножурналов. Жил он с матерью и братом.

В этот вечер он только что вернулся и еще не успел поужинать, когда в дверь постучали. Старуха пошла отворить. Она думала, что вернулся старший сын. Когда же дверь распахнулась, и на пороге появились двое русских охранников с винтовками в руках, Чин вдруг стал изжелта-бледным и встал, опустив руки.

– Собирайся, Чин! – сказал один из охранников, окидывая помещение быстрым взглядом.

– Куда? – спросил Чин неуверенным голосом. Он попытался улыбнуться и проговорил: – Очень поздно...

– Ладно, нечего разговаривать! – хмуро заметил другой. – Собирайся, там ждут.

Чин долго старался попасть трясущимися руками в рукава пальто. Вышли все втроем. На улице шел снег, и шаги мягко тонули в белом пушистом ковре.

Когда пришли в казарму, Чин увидел перед собой столпившихся людей в зеленых мундирах и насупленные брови капитана Ещенко. Он вздрогнул и побледнел еще больше. Его глаза забегали по сторонам.

– Ну, теперь рассказывай! – сказал Ещенко, не сводя с него пристального взгляда. – За что убил?

Глаза корейца метнулись вниз. Руки задрожали.

– Я не... – начал он хриплым голосом.

– Брось, брось! – резко повысил голос Ещенко. – Уже и топор из проруби вынули. Ты лучше скажи, за что убил?

Чин совсем низко опустил голову. Он понял, что упираться бесполезно.

– За письмо... – сорвавшимся полусшепотом сказал он и плотно сжал губы.

Это была обычная глупая шутка. Беспричинная издевательская шутка, которую Щербинин позволил себе над Чином без всякой злобы, ради нелепого «просто так». У него появилась мысль, и он выполнил ее, не отдавая себе отчета.

У десятника Фролова была дочь. В эту девушку, приехавшую в поселок недавно, Чин неожиданно влюбился. Она вовсе не была красавицей. Но для Чина ее внешность казалась идеальной. И, когда девушка кокетничала с ним, Чин был на высоте счастья.

Чин отлично объяснялся по-русски. Однако, хотя он и носил европейский костюм, у него не хватало достаточного количества смелости для того, чтобы решительно предложить Зине выйти за него замуж. Чин немного боялся этой насмешливой девушки. И тогда он решил написать ей письмо. Но писать сам Чин не умел. Нужно было кого-нибудь попросить.

Его выбор пал на Щербинина. Тот без отговорок согласился. Чин диктовал, а Щербинин писал аккуратным почерком, и строчки ложились на бумагу удивительно ровно и хорошо.

Письмо Чин передал Зине сам, увидев ее на улице. А через два дня он встретился в лавке с ее братом. При виде Чина тот вдруг покраснел и,

вынув из кармана письмо в знакомом конверте, спросил:

– Это ты писал?

– Да, – немного смущаясь, сказал Чин. Он не видел в письме абсолютно ничего плохого. Напротив, он даже просил Щербинина, чтобы он написал как можно вежливее.

Брат Зины резко смял письмо, сунул его в карман, а потом двумя ударами сшиб Чина с ног.

– Я тебе покажу, как писать пакости! – сказал он, уходя из лавки и повернувшись на прощание в дверях.

После этого Чин понял, что Щербинин написал в письме совсем не то, что было нужно. Это случилось месяц назад, а на прошлой неделе Чину рассказали, что было написано. И тогда он в душе поклялся отплатить Щербинину.

– Я ему ханы покупал! – глухо сказал Чин. – Консервы покупал... Зачем так писать? Разве хорошо? Разве можно так?

Капитан Ещенко барабанил пальцами по столу. Охранники молчали, сгруппировавшись вокруг. В углу притаился маньчжурский огородник.

Чин поднял голову. Свет висячей лампы упал на его бледное, обострившееся лицо.

– Меня сын Фролова бил в лавке... – проговорил он все тем же глухим голосом. – Зуб выбил! Разве можно так писать?

Капитан Ещенко, не отвечая, повернулся к дежурному:

– Выпустите Пушкарева.

Дежурный пошел в дальний конец казармы. Ключ лязгнул в висячем замке. Открыв дверь чулана, дежурный негромко сказал:

– Выходи, Пушкарев.

В чулане стояла тишина. Никто не отозвался.

– Выходи, Пушкарев! – громче повторил дежурный, стараясь заглянуть в темноту.

В казарме вдруг стало тихо. Люди смотрели на темную дверь чулана, и ожидание в их глазах начало постепенно переходить в страх. Все вдруг подумали об одном и том же.

В этот момент в чулане послышался шорох, и на пороге появился Пушкарев. Он, видимо, спал. Его глаза щурились от света, и белые ресницы вздрагивали.

Капитан Ещенко грузно поднялся со скамейки и пошел навстречу. Пушкарев стоял, моргая, смотрел прямо на него. А капитан приближался к Пушкареву, и лицо у него было какое-то сконфуженное, виноватое.

– Вот видишь, какая вещь, Пушкарев... – сказал капитан Ещенко. Он запнулся и, сморщив кожу на лбу, повторил: – Вот видишь, какая вещь...

За ними следили три десятка глаз. Пушкарев с удивлением смотрел на взводного. А тот, остановившись, хотел еще что-то сказать, но вдруг отчаянно тряхнул головой и, протянув ему руку, пробурчал:

– Чего тут говорить... Ошиблись, брат, прости!

Чувствуя пожатие медвежьей лапы капитана, Пушкарев понемногу начал осознавать, что к нему возвращаются жизнь и свобода. На его белесом лице расплылась улыбка. Глаза часто замигали.

И в ответ на эту улыбку вдруг сразу заулыбались и засмеялись люди, стоявшие в другом конце казармы, под висячей лампой у стола. А капитан Ещенко все еще неловко топтался на одном месте и тряс в своей огромной лапе податливую, холодную руку невысокого белобрысого человека.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1941. № 51. С. 1, 4-6, 8.

ТАЕЖНАЯ СКАЗКА

Такой грозы лес не видел десятки лет. Черную таежную ночь разрывала непрерывная белая молния. Гром сотрясал землю. А потом вдруг хлынул ливень. Потоки дождя пробивали хвою и сшибали листву. Деревья зашуршали дробным шорохом. А под ними, с каждой минутой грознее, заворчали потоки воды.

Медвежонок Хыся в эту ночь впервые увидел страшный мир. До этого он всю жизнь прожил в большом дупле, в корневищах старой липы. Берлога была большая и прохладная. Сверху и по сторонам в ней перешлетались узловатые лапы корней. В отверстие бывало видно днем качающиеся верхушки деревьев, а ночью – кусочки темного неба с золотым бисером звезд.

В эту ночь Хыся проснулся от удара грома. Что-то огромное непостижимое перекатывалось над ним и страшно грохотало. Мать, старая медведица, тоже проснулась и приподняла голову. Потом в отверстии берлоги вдруг блеснул и замелькал белый свет, при котором на мгновение стало светлее, чем днем. Хыся испуганно уткнул морду в лапы, но страшный блеск проникал и туда. И снова земля содрогнулась от могучего громового удара.

Вслед за этим зашумел дождь. Он хлынул сразу. Забурлили мутные потоки, устремившиеся по пологому склону. Несколько минут спустя вода стала заливать берлогу. Медведица недовольно заворчала и поднялась. Хыся забился в дальний угол, но вода оказалась и там. При новом ослепительном блеске Хыся увидел, как мать выходит из берлоги, загораживая отверстие. Тогда он заскулил и, поджимая лапы, стал карабкаться вслед за матерью. Он добрался до края отверстия, перевалился через толстый корень и оказался в огромном и страшном мире.

Потоки воды устремились на него сверху, пронизывая холодными струями. При очередной вспышке молнии он увидел мать и бросился к ней, весь дрожа. Мать, заворчав, отпихнула его мордой. После вспышки

стало еще темнее. Сверху хлестал ливень. Внизу текла вода. Хыся сунулся туда, где стояла мать, но там уже не было никого. Он кинулся в другую сторону, натываясь в темноте на деревья. И вдруг все небо раздвоилось новой ослепительной полосой белого огня. Совсем близко раздался глухой удар, и полыхнуло багровым пламенем. Треск падающего дерева оглушил медвежонка. Около него затрещало, зашумело и дрогнула земля. Громадный кедр, тяжело падая, чуть не задел его ветвями. И инстинктивно отступая все дальше от этого места, Хыся так и не узнал, что его мать была убита поваленным деревом и он остался совсем один в страшном мире.

Реки текут в море. К устью они становятся шире. Юность идет к зрелости, и с каждым днем накапливается опыт.

Через три дня Хыся уже знал немного о жизни. Правда, ему значительно помог в этом Дранный Нос – непутевый полувзрослый медвежонок, не желавший выступать в роли пестуна младших братьев и отбившийся от своих. У Драного Носа был большой жизненный опыт. Доказательством могла служить хотя бы откушенная ноздря – результат недоразумения со старым енотом. Дранный Нос учил Хысю жить. И Хыся безусловно ему подчинялся.

Сначала новый мир пугал его. Он вздрагивал от каждого звука и шороха. Позже он узнал, что белый заяц – Тууза – совсем не страшен, и его не нужно бояться. Потом однажды из соседнего кустарника при его приближении с треском бросилась в сторону козуля, перепрыгнув через яму. Мелькнуло белое пятнышко на ее заде. Вслед за ней разом кинулось несколько. Хыся взвизгнул от неожиданности и присел. Сразу за кустарником был небольшой безлесный распадок, и он видел, как козы мчались прыжками, рассекая траву и словно взмахивая белыми платочками. С этого момента он понял, что Поу-цзы – дикие козули – безопасны и пугливы. Но, увидев их в первый раз, он сам испугался не меньше, чем они.

Ночами его сначала пугал жуткий крик филина. Но вскоре стало понятно, что филин – надутый старый меланхолик – не сможет причинить ему никакого вреда, так же, как и деловитая носатая ворона Уаза, которая громко каркала и посматривала с дерева одним глазом.

К счастью, Хыся был уже достаточно большим для того, чтобы обойтись без молока матери. Дранный Нос научил его выкапывать из земли коренья и объедать молодые побеги. Когда Хыся брался не за то, что следовало, Дранный Нос молчаливо и солидно давал ему затрещину. Хыся отлетал в сторону, скулил и закрывал голову лапой.

Однажды ему пришлось узнать, что не все обитатели тайги безопасны. Это случилось, когда они наткнулись на труп самки изюбря. Старая Лу пала от какой-то болезни и лежала в маленьком каменистом

овраге уже два дня. Драный Нос почуял запах, и в этот день Хыся впервые отведал мяса. Драный Нос завалил тушу ветками и отправился искать место для сна.

Перед вечером Хыся вспомнил о мясе и встал. Он подошел к туше и стал отворачивать ветки. Но прежде чем он успел довести свое дело до конца, на него стремительно бросилось что-то красное и гибкое. В его шею вонзились острые зубы. Хыся завизжал и замотал головой. В тот момент ему показалось, что Ху-ли – красная лисица с пушистым хвостом – вся состоит из зубов. Зубы почти одновременно, с молниеносной быстротой впивались в разные места его тела. Мгновение спустя лисица нырнула в камни так же стремительно, как и появилась.

Ночью он плакал во сне илизывал укусы. Драный Нос просыпался, смотрел на него и недовольно ворчал.

Чжан «Маза» (что значит – корявый) был одним из немногих хунхузов, занимавшихся охотой. Его винтовка была отлично. И он, кроме славы главаря шайки, имел еще славу охотника.

В шайке Чжана было семнадцать человек. Собственно говоря, это были остатки шайки. Источником существования им служили две соседних деревни. Старосты, опасаясь воздействия, покорно предоставляли хунхузам продукты. К праздникам Чжан получал свинью и банку ханы. Когда ему требовались деньги, их тоже должны были доставлять деревенские старосты.

Чжан был осторожен.

Два года назад ему привелось получить пулю в ногу. Поэтому теперь он постарался обосноваться как можно дальше от того пункта, где помещалась лесная полиция.

Место было хорошее. Глухая, каменистая звериная падь. Завалы из мертвых подгнивших стволов. Мох и радужные лишайники на камнях. Вывороченные корни, похожие на щупальца подземных чудовищ или руки мертвецов с неотрясенной могильной землей. Только одна узкая тропа, едва приметная для человеческого глаза, вела к полуземлянке среди камней и гигантских валежников.

В тот день, о котором идет речь, Чжан возвращался с охоты. На этот раз охота не была удачной. Чжан беззвучно шевелил губами, вспоминая про бесцельно истраченный патрон и мелькнувшую в зелени красноватую козью спинку.

Он был уже совсем недалеко от становища, когда внезапно, благодаря какому-то свойственному обитателям тайги инстинкту, вздрогнул и быстро взглянул направо. То, что он увидел, заставило его сразу вскинуть винтовку и сделать шаг назад.

Шагах в тридцати от него стоял медведь. А рядом с ним, слегка держа

на весу передние лапы, стоял в полунаклонной позе совсем маленький, головастый и ушастый медвежонок.

Дранный Нос никогда не видел человека. Но он с детства был любознательным. Эта последняя черта и погубила его при встрече с необычным и загадочным двуногим зверем.

Чжан быстро перевел предохранитель, прижал винтовку к краю древесного ствола и, после короткого замедления, выстрелил. Дранный Нос чуть подпрыгнул и без звука ткнулся мордой в муравейник, около которого стоял.

А затем Чжан увидел, как маленький медвежонок, взвизгивая от ужаса, быстро вскарабкался на тонкий ствол черемухи, которая стала гнуться под его тяжестью.

У каждого уважающего себя охотника всегда бывает веревка. Была она и у Чжана. Три раза он набрасывал петлю на взвизгивавшего и дрожащего медвежонка. Наконец, она упала на его голову и скользнула по телу. Тогда Чжан безжалостно стащил Хысю вниз вместе с вершиной надломившейся черемухи, в которую медвежонок вцепился из последних сил отчаяния. Упав на землю, Хыся вскочил и, как косматый клубок, покатился в сторону. Но тотчас же невидимая сила рванула его назад так могуче, что он жалобно рявкнул от толчка и перевернулся.

– Эй-я!.. – неодобрительно протянул «Маза» Чжан, тоже подавшийся на шаг от толчка. Потом, привязав веревку к дереву, он снял с себя курму и, боком подойдя к барахтавшемуся по земле медвежонку, ловко накинул курму ему на голову.

Около становища Чжан привязал медвежонка к дереву на недлинную проволоку.

Первые три дня Хыся шарахался и даже пробовал защищаться. От пищи – кусков застывшей студнем чумизной каши – он упорно отказывался. Но на третью ночь голод властно потребовал свое. И Хыся, озираясь на темный корпус фанзы, около который медленно расхаживал часовой, подобрался к кускам и стремительно проглотил их один за другим. Так он впервые прикоснулся к пище, которая пахла человеческими руками.

Еще через несколько дней он позволил Чжану прикоснуться к себе. Потом один из шайки, одноглазый Ли, слишком фамильярно похлопал медвежонка по загривку. Правда, Ли тотчас же был укушен за руку и, разразившись невероятными ругательствами, устремился в фанзу за винтовкой. Однако Хыся был спасен: неизвестно, какие доходы предполагал извлечь Чжан из медвежонка, но он не позволил убить его. А еще через неделю Хыся совершенно перестал кусаться и стал брать пищу

из рук.

Затем однажды Чжан для развлечения проткнул ему ухо и вддел туда небольшой браслет из мягкого китайского серебра, согнув его наподобие кольца. Хыся жалобно заурчал и замотал головой, пробуя освободиться от мешавшего предмета и стараясь сбросить его лапой. Но ухо от этого болело сильнее. Так браслет в ухе и остался.

А вскоре после этого все планы Чжана относительно медвежонка и относительно всего вообще прекратились благодаря одному постороннему обстоятельству.

Это случилось рассвете. Вероятно, Чжан не предполагал, что о расположении его становища стало известно в том месте, которого он боялся больше всего. Старосты двух деревень, служивших для шайки источником существования, в конце концов собрали сходку. А вслед за этим на ближайшую базу русской лесной полиции, находившуюся верстах в сорока, было отправлено соответствующее посольство.

Когда ночной мрак только чуть-чуть стал переходить в синеватые тона рассвета, часовой, борющийся с дремотой и присевший на камень около фанзы, услышал в стороне шорох. Приподняв нависший над бровями козырек войлочной шапочки, он лениво повернул голову и хотел привстать. Но тут произошло неожиданное. Выстрела часовой так и не услышал. Он, не успев приподняться, рухнул на камень и перевалился через него спиной, роняя винтовку. А сразу вслед за этим послышалась негромкая команда по-русски, и предутренняя тишина разорвалась от резкого залпа. На крыше полуземлянки взлетели два кусочка кедровой коры, а со стен посыпалась пыльная глина...

Повар Ли, выскочивший первым, повалился у самого порога. В заклеенное промасленное бумагой окно, на одном уровне с землей, высунулся винтовочный ствол. Но владелец винтовки так и не успел выстрелить. Ствол остался в окне, покосившись и упершись вверх.

Чжан «Маза» чуть-чуть не избежал общей участи. Его погубила алчность. Уже почти выкарабкавшись из землянки через заднее окно, он вдруг вспомнил о пачке десятирублевок, лежавшей в железной коробке из-под печенья под каном. Та минута, которую он потратил, чтобы трясущимися руками вытащить ее и сунуть за пазуху, стоила ему жизни... Чжан рассчитывал на предутренний сумрак, мешавший точности прицела, и ему даже удалось пробраться в кустарник, когда гулко залаял с другой стороны ручной пулемет. Пуля ударила Чжану в щеку, и он повалился лицом в мокрые от росы папоротники, а ненужный маузер отлетел далеко в траву.

Через полчаса, когда оставшиеся в землянке убедились в бесполезности сопротивления или бегства, они с криками «пе-та» стали один за другим выходить с бледными перекошенными лицами и

поднятыми кверху руками. Их вязали и отводили в сторону.

Гродковский, молодой командир экспедиционного взвода, считал вынесенное из землянки оружие, когда к нему с широкой усмешкой на сияющем, как самовар, потном лице приблизился отделенный Бурдин. На проволоке Бурдин тащил упирающегося перепуганного медвежонка с большим серебряным кольцом в ухе.

— Еще один противник, господин взводный!.. – усмехнулся он, подтаскивая медвежонка ближе. – Боевая добыча!..

Гродковский сдвинул на затылок кепи и махнул с лица начинавшую наседать утреннюю мошку. Он сначала равнодушно взглянул на медвежонка. У того, перепуганного и дрожавшего, но вместе с тем и заинтересованного, был такой комичный вид, что Гродковский невольно рассмеялся. Хыся слегка шарахнулся от его смеха. Кто-то из охранников присел на корточки и дунул ему в нос табачным дымом. Хыся удивленно чихнул, фыркнул и недовольно затряс головой. Серебряное кольцо замоталось на круглом мохнатом ухе. Тогда Хыся принял такую комичную позу и так жалобно, по-ребячьи, заскулил, что вокруг него грянул настоящий взрыв смеха. Это перепугало его окончательно, и он, зная, что с проволокой все равно не убежать, ткнулся носом в землю и закрыл голову лапами.

Так начался второй период его детства.

Теперь он жил под навесом у большого дерева, во дворе беленого мазаного домика, который занимал взводный командир лесной полиции Гродковский.

У Хыси была выкопанная и устланная соломой яма, где он спал. У него было собственное деревянное корытце, в котором ему один раз в день давали порцию чумизы с тыквой. Он вырос, поправился и стал лосниться. Теперь уже он не казался нелепым головастым комочком с торчащими ушами и заплетающимися лапами. Шерсть стала гладкой и черной. И даже серебряное кольцо в ухе, вросшее навсегда, придавало его плутоватой физиономии что-то солидное.

После памятной экспедиции Гродковский, откупив медвежонка у взвода, подарил его жене.

Это лето было самым счастливым в жизни Максима Гродковского. Он в двадцать семь лет сумел дослужиться до командира взвода. У него был собственный домик в поселке при лесной концессии – правда, маленький, как скворечник, но удивительно чистенький, весь белый на солнце и, главное, выстроенный им самим. И только этой весной он женился на изумительной девушке, похожей на которую, конечно, не было и никогда не будет на свете...

У Гали были золотые волосы и смех, как серебро. Когда она смеялась,

казалось, что это звенят хрустальные переливы горных ручьев, пробегая по белому, вымытому кварцу. В маленьком белом скворечнике на окраине поселка, они жили втроем: Максим, Галя и Галина мать. И жизнь была такая же яркая и солнечная, как белый домик...

Этим изумительным летом им каждый день пели за белой занавеской окна три птицы: звонкая, золотая – утро, серебряная, тихая – вечер, и синяя, с звездами-глазами – ночь.

Хыся жил под деревом во дворе. Понятно, что он давно перестал дичиться. Он даже любил, когда Галя подсаживалась к нему и перебирала пальцами его уши и пушистый загривок. В такие минуты он жмурился и урчал от удовольствия. Иногда его даже отпускали на свободу и брали купаться к реке. Купаться он не любил, но делал вид, что очень любит.

После купанья ему иногда давали ломоть хлеба, а однажды хлеб был с чем-то невероятно вкусным и незабываемым. Конечно, он не знал, что это был мед!

Здесь, на окраине поселка, он видел и слышал многих прежних знакомых. Ночью, когда все засыпало, во двор осторожно выходила старая жирная крыса Хоза и смотрела издали бисерными глазками. С ближней сопки Хыся слышал по ночам крик филина и отрывистое лающее блеяние дикого козла. На дерево, под которым он жил, часто садилась любопытная ворона Уаза. Ей страшно хотелось слететь вниз, но удерживала боязнь.

Во дворе бывало много людей. Это были и охранники в зеленых мундирах, и рыжебородые старообрядцы с жесткими густыми бровями и степенными лицами, и маньчжуры, с интересом разглядывавшие медвежонка. Но лучше всех была Галя.

Вскоре неожиданно стало холоднее, и появился курчавый иней на траве в углу двора. Хыся не знал, что он прожил здесь уже два месяца. С наступлением холодов его стали кормить больше. И ему часто хотелось спать.

Однажды, когда ему вырыли у забора глубокую берлогу и застелили ее соломой, он вошел туда и заснул глубоким сном. И в этом сне – тяжелом и беспамятном – к нему пришла вторая пора жизни: юность.

Совсем не нужно рассказывать, как наступило его пробуждение. Сначала он попытался встать, но было еще холодно. Второй раз оказалось немного теплее. И только в третий раз он понял, что тепло возвратилось и больше не уйдет.

И снова настала та жизнь, которая была прежде. Но Хыся не знал, что он стал гораздо больше и солиднее. Он уже не казался забавным и безобидным. Теперь он был в таком возрасте, в каком когда-то был его неудачливый учитель – Дранный Нос.

Но Галя и все прежнее осталось. О том, что в маленьком белом

скворечнике теперь жило не трое, а четверо людей, – он не догадывался. Галя и Максим были веселы и счастливы. А это – самое главное.

Но иногда на него напознала глухая, как ночь, тоска. В такие моменты он не находил себе места и, переступая с лапы на лапу, качал опущенной головой долго и тупо. А однажды, взбивая тучи пыли и ворча, он стал рыть у дерева большую яму. Максим, обнаружив его новое занятие, выскочил на крыльцо.

Этот день был памятным для Хыси. Его тогда впервые били гибкой кожаной плеткой. Бил Максим, причем Хыся старался спрятать морду в лапы и урчал, а Галя стояла на крыльце и умоляюще повторяла:

– Довольно, Макся!.. Пожалуйста, довольно!.. Он больше не будет, я тебе обещаю!..

Максим поправил упавшую на лоб прядь волос, взглянул на Хысю и неожиданно рассмеялся – так же, как год тому назад, когда он впервые увидел медвежонка у разгромленного хунхузского становища.

А дня через три во двор, потихоньку от Гали, пришел артельщик отряда, Митрошенко. У него была блестящая, кофейная от загара лысина и закрученные толстым кренделем усы.

Митрошенко деловито осмотрел Хысю и, качнув головой, сказал:

– Окорочка будут добрые! И сала тоже богацько!..

– Так, значит, осенью!.. – оглядываясь на окна домика, вполголоса сказал Максим. – До осени пусть живет!..

А в середине лета у Хыси неожиданно появился враг.

Это был белый, с несколькими черными подпалинами, длинноухий лаверак Кэри. Он был прислан от кого-то Максиму в подарок.

Кэри оказался самым заклятым и беспощадным врагом. Сразу сообразив, что Хыся может отходить от дерева только на небольшое расстояние, он стал наглым до последней возможности. По всей вероятности, боязливая ненависть к медведю была продиктована ему из туманной дали его собачьей родословной. Но проявлял ее Кэри слишком не по-рыцарски.

Сначала, пока Кэри не отгадал тайны цепи у дерева, он только визгливо лаял на медвежонка издали и был всегда готов скрыться на крыльцо. Но затем Кэри понял – и тогда все пошло по-иному.

Когда Хыся, наклонив морду над своим корытом, самозабвенно погружал нос в варево, Кэри неслышно подбирался сзади, кусал его в самое уязвимое для медведя место – туда, где у большинства животных имеется хвост, – и тотчас стремительно отскакивал за черту досягаемости. Хыся, наклонив голову, с раздраженным урчаньем кидался ему вслед, гремя цепью, но последняя сразу натягивалась и предательски откидывала его

назад. Иногда, при сильном толчке, он даже падал на спину, и тогда Кэри успевал подскочить и укусить его еще раз. Эти моменты отравляли Хысе всю прелесть существования. К тому же Кэри всегда выбирал для нападения такой момент, когда Хыся ел и там ослаблял свою бдительность.

Кроме существования врага, было еще нечто, делавшее пребывание на цепи у дерева томительным и раздражающим. Было в воздухе что-то такое неуловимое, особенно ночью, когда он не мог заснуть, внюхиваясь в дыхание ветра с сопок и вслушиваясь в ночные голоса тайги.

Но главное – все-таки Кэри. Хыся долго придумывал, каким образом можно было отомстить врагу. И, наконец, план мести выработался.

В первую очередь Хыся сознательно сократил линию действия цепи. Когда Кэри, припадая на передние лапы, лаял издали, Хыся наступал на него, раскачиваясь и урча, а затем внезапно останавливался. Он мог пройти еще на сажень дальше, но нарочно не шел. Кэри знал, что схватить его медведю мешает цепь. Он даже точно изучил черту безопасности и лаял на Хысю перед самой его мордой. Теперь сеттер немного удивился, обнаружив, что линия фронта отодвинулась назад. Но Кэри был осторожен, и понадобилась целая неделя, чтобы его убедить.

И вот однажды...

Это было так. Хыся ел. Он уже доедал свою порцию, когда предательский укус сзади заставил его поджаться от боли и затрясти головой. Затем он засопел и двинулся на противника.

Достигнув своей ложной линии, Хыся остановился и сделал попытку достать собаку лапой. Кэри отскочил, но тотчас же снова приблизился, лая и припадая к земле. Хыся загреб воздух другой лапой и с деланным разочарованием заворчал.

Кэри только чуть-чуть подался назад. Он уже понял, что опасная зона уменьшилась. Он торжествовал в своей недосыгаемости. Он яростно встряхивал длинными лохматыми ушами. Он издевался.

И тогда вдруг Хыся с неожиданной для неуклюжего медвежонка ловкостью и стремительностью подался вперед. Его лапа кривым загибающимся движением упала на спину не успевшего увернуться сеттера. Послышался дикий пронзительный визг. Кэри мячиком бросился в сторону, а на его белой спине повис кровавый лоскут содранной кожи.

В этот момент с крыльца прозвучал громкий, испуганный крик:

– Боже мой!.. Максим!.. Кэри!..

Хыся сразу поднял голову. На ступеньках стояла Галя. Она, видимо, куда-то собиралась – на ней были желтые галифэ и сапоги, а в руке она держала белую панаму. И, поднимая обе руки к лицу, она еще раз в ужасе вскрикнула:

– Боже мой!.. Мама, Максим... Идите скорее!..

Максим только выглянул в окно и пружинно вскочил на ноги.

– Пристрелю!.. – хрипло сказал он и, перекосив от ярости рот, потянулся к стене, где висел маузер.

– Максим, не смей!.. Максим!.. – вся бледная, закричала Галя и бросилась к маузеру, поднимая руки.

– Это что же такое?.. – внезапно резким жестом отодвинул он от себя жену и посмотрел на нее злыми глазами. Таким голосом он никогда не говорил с ней, и Гале невольно почудилось что-то чужое в его диком, перекошенном лице.

– Макся, милый!.. – быстро заговорила она, загораживая ему путь к двери. – Прошу тебя, не надо сейчас! Пожалуйста, прошу!

Максим, убирая руку с маузером за спину, раздраженно сказал:

– Все равно его к зиме убивать надо! Я уже Митрошенке говорил...

– Только не сейчас, Макся, только не сейчас!.. – беспомощно повторяла она, чуть не плача. – Потом можно, когда я не увижу... Но только не сейчас!

– Ну хорошо, пусть так! – недовольно сказал он и повесил маузер на прежнее место.

Над белым домиком неслышно пела синяя птица – ночь.

Уже ушла луна за зубчатый край дальней лесистой сопки. Было совсем темно, когда Галя босиком осторожно спустилась с крыльца.

Хыся проснулся от прикосновения и фыркнул.

– Молчи, пожалуйста, молчи!.. – сдавленным шепотом быстро проговорила Галя и невольно улыбнулась сама себе. Ей показалось, что она выпускает из замка закованного в цепи пленника, которого завтра утром будут напрасно искать сторожа.

Хыся поднялся на ноги и засопел. Он понял необычность происшедшего и понюхал воздух. Ветер дул из тайги, и снова, как часто бывало в последние дни, повеяло странным зовущим запахом.

Галя вспомнила о Максиме и сделала смешную гримаску. Он, конечно, будет злиться завтра весь день. Но эта короткая ссора – только маленькая облачная тень на стене белого домика. Она наплывет и пройдет.

Галя вывела Хысю за калитку.

– Иди, пожалуйста, милый! – зашептала она, толкая его в сторону сопки. – Пожалуйста, скорее иди!

И вдруг, нагнувшись к нему, поцеловала его косматую морду.

Хыся удивленно фыркнул и поднял голову. Станный запах из тайги звал его. И он пошел. И на этом кончилась его юность, а потом наступила зрелость и с ней пришла дальнейшая жизнь. Как у всех и всегда. Но о ней

мы ничего не знаем.

Год тому назад один русский охотник рассказал мне странную вещь.

В маньчжурской тайге, верст за десять до ближайшего населенного пункта, он присел отдохнуть у маленького ручья и закурил.

Неожиданно ему послышался шорох. Он поднял голову. И увидел: через ручей, недалеко от него, медленно переходил, шлепая тяжелыми лапами по воде, большой медведь.

Охотник схватил винтовку и торопливо достал патрон. Медведь остановился, взглянул и стал уходить в кусты неторопливой походкой, не выказывая никаких признаков страха. И охотник, растерявшись, не выстрелил.

– Может быть, – говорил он, – не выстрелил еще потому, что ясно увидел в тот момент, когда медведь повернулся, – у него в левом ухе тускло блеснуло большое кольцо белого металла, и это поразило охотника больше всего.

Он клялся, что явственно разглядел это кольцо. И у меня не было оснований ему не верить.

Сейчас, год спустя, мне вспомнился этот короткий рассказ. И вспомнилась тайга. Хрустальные переливы горных ручьев. Голоса птиц на рассвете. Звонкий – именно звонкий! – аромат кедровой смолы. Вспомнился грибной запах сырости под лапчатыми веерами папоротников. Солнечная рябь, дробящаяся в маленьких таежных озерах. И захотелось написать, что могло бы быть до этой странной встречи охотника с медведем, у которого в ухе было вдето человеческою рукою кольцо.

Опубликовано и печатается по: У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских поэтов и беллетристов. Харбин, 1942. С. 16-32.

ГОСПОДИН ЛЕСА

Это был огромный кедр, около двух аршин в диаметре, с могучей кроной и узловатыми, как руки циклопов, ветвями. В середине его, на расстоянии приблизительно аршина от земли, было углубление – род ниши или дупла. Оно не было естественным – его выдолбили человеческие руки. Внутри этого углубления стояла маленькая китайская кумирня, какие можно сотнями встретить в тайге: деревянный домик с табличками на задней стенке и кружевными занавесочками из бумаги снаружи. Красные бумажные ленточки украшали фасад домика. А перед кумирней стояли чашечки с чумизой и рисом. В них иногда пахуче курились тонкие жертвенные свечи.

Кедр стоял на широкой вырубленной поляне, как раз перед баракom,

где жили рабочие. Вокруг него толпились низкие пни. И кедр среди них казался гигантом, собравшим вокруг себя армию приземистых коренастых гномов.

Общая судьба не постигла его только потому, что при начале работ он был избран хранителем алтаря. Китайские рабочие суеверны: для защиты от злых духов они ставят маленькие кумирни везде, где возможно. А здесь, в тайге, злых духов было больше, чем где-либо в другом месте. По ночам лаяли лисы, которые, как известно, губят человеческие души. Мелькала среди красных стволов косолапая тень барсука-оборотня. И шелестели в густой хвое обреченные тени бурно умерших людей...

В стволе кедра выдолбили углубление. Несколько дней китайцы молились перед кумирней, кланяясь и зажигая свечи. Потом работы передвинулись дальше. Вместо деревьев появились унылые пни. А кедр остался одиноким стражем, около которого в дни праздников клали белые манту и отвешивали почтительные поклоны. И рабочие, упоминая о кедре, называли его «Господин Леса».

Низенькая фанза, в которой жили мы, русские охранники, помещалась недалеко от рабочего барака. И ночью покой уснувшей тайги сторожили двое – наш часовой, стоявший около фанзы, и неподвижный лесной великан, упиравшийся в звездное небо косматой вершиной.

Бату Фу был низенький упитанный китаец с хитрым, рябым от оспы лицом и бегающими мышьями глазками. Нельзя сказать, чтобы он пользовался особенным уважением среди своих подчиненных. Несколько раз нам как блюстителям порядка приходилось улаживать прения, возникавшие между ним и рабочими из-за денег. В конце концов Фу, конечно, платил, но при этом морщился, вздыхал, и заметно было, что эта обязанность для него далеко не из приятных.

Уже давно работы передвинулись на порядочное расстояние от одинокого Господина Леса. Скрипели пилы, с шумом валились деревья, и звучали топоры, рубившие сучья. А кедр все стоял.

Но однажды случилось так.

Утром к нам зашел подрядчик Кащеев. Он долго сосал махорочную «собачью ножку», потом бросил ее на пол, растер ногой и задумчиво спросил:

– Как вы думаете, что, если свалить этот кедр?..

Кащеев был коммерсантом до кончиков ногтей.

Может быть, поэтому его вопрос не вызвал особенного удивления.

Кто-то равнодушно отозвался:

– А китайцы? Разве они дадут?..

Кащеев прищурился.

– Этот вопрос мы, пожалуй, уладим... – сказал он. И снова повторил:

– Да, этот вопрос мы уладим...

Позже мы забыли об этом. Когда же встало рыжее осеннее солнце и вереницей потянулись из барака рабочие, несколько человек осталось. Не пошел и Бату Фу. Он ходил между рабочими, что-то им толковал, возбужденно жестикулировал, и его мышьи глазки бегали быстрее обыкновенного.

Кащеев стоял около барака, сунув руки в карманы галифе и посасывая неизменную «собачью ножку». Он выглядел как полководец перед сражением.

Бату Фу подошел к нему и что-то спросил. Кащеев кивнул головой. Тогда Фу с несколько нерешительным видом приблизился к Господину Леса. Видимо, должно было произойти нечто необычное: группа рабочих смотрела на своего старшинку с напряженным любопытством.

Фу на одно мгновение замялся. Потом наклонился к стволу кедра и осторожно вынул из углубления маленькую деревянную кумирню. Красные бумажные ленточки запорхали от ветра. К нам, по-журавлиному шагая, подошел Кащеев.

– Будем валить, – заметил он, кивая в сторону кедра. По губам его скользнула довольная усмешка коммерсанта, сделавшего хорошее дело.

– А что же рабочие? – спросил кто-то из нас.

– Рабочие?.. – Кащеев посмотрел в сторону барака. – Что ж, они ничего. Это стоило мне две четверти ханы и фунтов пять кабанины... Фу – хитрая лиса. Он не прочь выпить. И он сказал рабочим: «Разве богу не все равно, где стоять? Сейчас мы свалим дерево, а завтра сделаем на том месте хорошую крышу...» Они подумали и огласились.

Между тем Фу отнес кумирню в барак. Двое рабочих с пилой подошли к Господину Леса.

– Вот видите? – сказал Кащеев. – Они молчат.

Они действительно молчали. Но молчание было настороженным, словно люди чего-то ждали.

Зубья пилы вонзились в кору, и послышался первый скрежещущий звук:

– Р-р-р-з-з-з...

Пила заработала равномерно и часто. Группа людей в молчании ожидала, когда качнется вершина лесного гиганта.

Фу вышел из барака и остановился. Он прищурился, прикидывая опытным взглядом, куда падет дерево.

И вдруг раздался негромкий треск. Потом еще. В стволе кедра что-то глухо крякнуло. Крона колыхнулась и стала медленно наклоняться...

Рабочие, бросив пилу, отскочили, в страхе глядя вверх.

Господин Леса падал. Но он падал не в ту сторону, куда должен был упасть. Выдолбленное углубление в стволе и большое дупло, уходившее вверх, ускорили развязку и изменили направление.

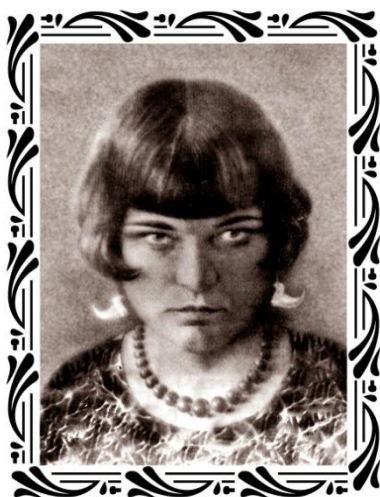
Кедр падал прямо в сторону барака, где группировались рабочие и где стояли мы.

Падение все ускорялось. Со свистом валилась огромная вершина. Ее тень, со страшной скоростью несшаяся к нам, метнулась у меня в глазах. Мы, сталкиваясь с рабочими, бросились в сторону. Вот, как струна или тонкий стеклянный волос, лопнула пила, и ее слабый звон затерялся в грохоте и треске падающего гиганта...

И сразу наступила тишина... Оглянувшись, я прежде всего увидел бледное, почти позеленевшее лицо Кащеева. Он в ужасе смотрел на повалившуюся вершину кедра. Переломанные ветви громоздились как раз в том месте, где только что стоял Бату Фу. Я оглянулся, отыскивая его среди рабочих. Но Бату не было нигде. А бледное, перекошенное страхом лицо Кащеева и его прыгающие губы подсказывали остальное.

Рабочие в немом ужасе столпились вокруг громадного кедра. Их взгляды – все, как один, – устремлялись к вершине. А двое из них, с топорами в руках, стояли в каком-то столбняке, опустив руки и не решаясь коснуться узловатых, протянутых к небу ветвей поверженного Господина Леса.

Печатается по: Рубеж. 2004. № 5. С. 159-160.



**Виктория Юрьевна
ЯНКОВСКАЯ**
(1909-1996)

Поэтесса и писательница Виктория Янковская родилась 18 февраля 1909 г. в имении Сидеми (около Владивостока) в семье пионера Дальнего Востока, прославленного охотника и предпринимателя. В 1922 г. вместе с родителями эмигрировала в Корею. Первые учебные годы провела в школе при католическом монастыре в Кобе (Япония), окончила гимназию в Харбине. Стихи и прозу писала с 8 лет. Участвовала в работе литературного объединения «Молодая Чураевка». Печаталась в харбинских и шанхайских газетах и журналах «Рубеж», «Понедельник», «Прожектор», «Врата» и др. Лауреат первой премии конкурса рассказов газеты «Слово» в Шанхае за рассказ «Без бога, без веры и без обычая» (1931). В 1935 г. выпустила книгу прозы «Это было в Корее». В 1945-1952 гг. жила и работала в бывшем имении арестованного брата «Тигровый хутор». В 1952 г. В. Янковской удалось выехать в Гонконг, затем в Сантьяго (Чили); в 1961 г. она эмигрировала в США. Жила в Калифорнии. В 1978 г. в Нью-Йорке вышел сборник ее стихов и рассказов «По странам рассеяния». Скончалась в Санта-Роза 6 апреля 1996 г.

Ист. и лит.:

- Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Сост. Ю.В. Мухачев. М., 2006. С. 596-597.
 Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд. М., 2001. С. 701-702.
 Смотр женских литературных сил эмиграции Дальнего Востока // Рубеж. 1935. № 47. С. 25.
 Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 355.
 Янковский В. От Сидеми до Новины. Дальневосточная сага. Владивосток, 2011. 608 с.: ил.
 Янковская, В.Ю. По странам рассеяния. Стихотворения, проза. Владивосток, 2012. 640 с.: ил.
 Янковский М. Остров Аскольд. Полвека охоты на тигров. Нэнуну. Корейские новеллы: очерк, мемуары, повесть. – 2-е изд., доп. и испр. Владивосток, 2012. 638 с.: ил.
 Янковская М.М. Шорохи прошлого: дневники, мемуары, письма / Маргарита, Муза, Виктория Янковские; сост., вступ., комментарий Е.Н. Сергеевой. Владивосток, 2017. 632 с.: ил.

БЕЗ БОГА, БЕЗ ЗАКОНА, БЕЗ ОБЫЧАЯ

Широко расставив ноги, стоял Фомка в кунгасе и в последний раз перекрикивался со своим заказчиком на сельдь, японцем, уезжавшим по делам в Хакодате.

Огромный, светловолосый, в драной рубашке – Фомка резко выделялся среди рыбаков-корейцев, также круживших в своих лодках возле отходящего парохода.

– К сроку возвращайся! Не надуй! – гаркнул Фомка и так и замер с задранной вверх головой и открытым ртом: у борта стояла женщина, – «белая женщина!», – а их, кроме сестры, невестки и давно умершей матери, он никогда не видел, потому что бежал из Сибири маленьким.

Высокая, с развевающимися черными волосами, женщина, склонившись вниз и улыбаясь, смотрела на него:

– Ну, что замолчал, красавец? – крикнула она. – Или меня испугался? Точно, кроме азиаток, других не видел!

– Сама красавица и... на ведьму похожа... ясно, не видал! – неожиданно для себя отозвался парень.

– Хочешь, к тебе прыгну? Хочешь?

Женщина ловко изогнулась и прыгнула через борт к нему, на лету хватаясь за его плечи. Кунгас закачался, и ему осталось только прижать ее гибкое тело к себе и так балансировать несколько мгновений.

– Дурная! Чума ты задави! Опрокинула, было!

– Пустяки, беги за вещами, видишь, якорь поднимают!

Не раздумывая, Фомка кинулся по убегающему трапу, и скоро они остались вдвоем на чемодане, а кунгас бешено раскачивался на зелено-пенных бурунах, взбитых винтом отошедшего парохода.

– Куда тебя? – недоуменно спросил Фомка, стискивая руку женщины.

– Я? С тобой! Или меня не хочешь? Где твой дом? – отвечала и спрашивала она, заглядывая в его голубые глаза.

– Фанза? Во-он, за теми мысами, в деревне... – он протянул большую руку и ткнул ею в синее пространство.

Она увидела зеленые хребты, идущие извивами к горизонту, а там беляки – это они круто обрывались в море.

Потом женщина обернулась к приближающемуся молу, за которым мелькали разнообразные постройки.

– А это – какая деревня?

– Это? Это – порт Ченг-джин. Это – город. Мы сюда рыбу сдаем, закупки здесь делаем. Да сиди смирно, чего елозишь? Думаешь, легко юлить-то? Мы сейчас на мою шаланду и, значит, домой.

– Да, да! Куда хочешь вези, что хочешь делай!

– Так ты в жены мне пришла? – через плечо любовно спросил он, продолжая раскачивать весло. – Вот это ладно. А то отец в Харбин хотел меня за бабой-то гнать – да это, вишь, дорого, и не знаю я, как...

– А ты холостой? Прекрасно. Да, как твое имя?

– Как звать? Фомкою. А тебя?

– Фомка... Фома... Том, «Фома Гордеев» – это интересно! – «примеряла» женщина, не отрывая своих зеленых глаз от его мокрой мускулистой спины.

– Чего смотришь так? Змеиные у тебя зенки! Не замай! Ведьма ты, впрямь, что ли? Имя свое что не говоришь?

– Разве это важно? Может быть, я – ведьма или змея – сам назвал, так и зови... как хочешь.

– Не балуй! Должон я знать – коли в жены беру...

– Имя мое – Факел Пылающий – я – Елена, Елена Прекрасная... Из-за меня погибла Троя... Понял?

– Трое? А я что ж? Значит, четвертый буду? Н-но, не бахвалься! Больно много сразу не говори... Не привык я...

Позже, когда Фомка справился с парусами и пахнувшая рыбой

шаланда понеслась по ветру, пересекая залив, Елена стояла задумчиво у мачты и глядела на чаек. Волосы она распустила, и они трепались в воздухе, покрытые солеными брызгами, отражающими солнце.

Может быть, она думала о своих вольных шагах, когда Фомка, беспокойно покосившись на нее, крикнул:

– А хлеб работать умеешь?

– Что захочу – все могу: и работать, и любить! – отвечала она, протягивая вперед руки.

Фомка кинулся к ней, грубо стиснул и повлек в низкий и душный трюм...

Шаланда попала в штиль, но Фомку это мало беспокоило.

Они валялись на соломенных циновках под скрипящей мачтой, и он всем своим существом приковывался к странной, «прыгнувшей» в его жизнь женщине, которая, глядя в яркое звездное летнее корейское небо, говорила точно не ему, а кому-то другому, красивые, малопонятные фразы.

Булькала вода, а он слушал свое счастье, у которого были сухие горячие губы и цепкие, душистые волосы.

Неожиданно налетевший предрассветный бриз заставил его укутать женщину в появившийся откуда-то плед, а самому подумать о предстоящей взбучке от отца и большака, потому что шаланда уже вошла в скалистую бухточку, где был расположен их рыбачий поселок.

Град национальных приветствий осыпал его, когда был пойман конец, и шаланда встала у шатких мостков.

– Чего лаешься, старик? Ну, опоздал, опоздал, велика важность!

Елена увидела плотного, крепкого мужчину с курчавой седой бородой.

– Не сердись, батя, – крикнула она. – Сынок ваш недаром опоздал, он жену привез – глядите, какая я! – и, сбросив плед, Елена встала перед удивленным стариком в своем ярком коротком платье. Рассветный сумрак делал лицо ее бледнее, а фигуру выше и стройнее. – Благословляйте же нас, батя!

– Какое там благословение, – проворчал дед и плюнул. – Думаешь, овенчаться пошлю? Нет, брат! Церковь православная есть только в столице – Сеуле, а туда ехать сколько стоит? Мы в церкви не нуждаемся, мы без этого живем, у нас вокруг березки венчаются; а вы, поди, и вокруг мачты успели... – заготовил старик и сурово добавил: – Ну, Фомка, забирай бабу – пошли! И большак ждет новостей, и баб удивишь!

Друг за другом пробирались по мосткам, а потом – кривыми вонючими проулками, извилистой тропкой между пашен, и пришли, наконец, в большой, грязный двор, заваленный сетями; посередине стояла ободранная фанза, а в лужице от протекавшей речушки полоскался тоненький кореец в одних штанах.

Уже совсем рассвело, и Елена тогда же обратила внимание на его хрупкое, полудетское сложение, на гладкую, безволосую грудь и плечи, точно обтянутые смуглой лайкой. Юноша привстал, откидывая мокрой рукой длинные пряди волос со лба, и взглянул на Елену испуганными черными глазами: лицо было на редкость хорошеньким, хотя черты были мелки.

— Это что за туземчик? — обернулась она к мужчинам. — Он миленький, я таких еще не видела, кто он, Фомка?

— Зятек, — недовольно отвечал тот. — Сестру выдали, вот и фанзу за им взяли, и пашни эти, раньше хуже жили...

— Распелись... — ворчал старик, дергая раздвижную бумажную дверь.

— Батька не любит, когда много разговаривают, — пробасил насмешливо Фомка.

В фанзе Елена увидела трех последних членов семьи: большого — на вид угрюмого мужика — Данилу, в нем она сразу узнала старшего брата Фомки; его жену — болезненную беременную бабу и другую — не менее жалкого вида — Любку — сестру, выданную за корейца.

— Чего оглядываешься? Али хоромы не по вкусу и родня не в шелку? — опять прогремел старик, усаживаясь за грубый стол. — Чего раззевались? — крикнул он и бабам. — Собирайте на стол!

Бабы метнулись к полкам, и скоро на столе появилась сборная утварь: в медных чашках — чумиза, на оббитой эмалированной тарелке — вяленая рыба, в фарфоровых плошках — вонючая, мелконарезанная редька, посыпанная красным перцем; огромные ломти серого хлеба лежали прямо на столе. Все начали есть корейскими плоскими ложками.

Елена ко всему относилась с интересом, пробуя всего понемногу: отщипывала длинными шлифованными ноготками маленькие кусочки хлеба и запивала жидким горячим чаем из кружки жгучий салат и пресную чумизу.

Она любила жизнь в ее общем размахе и хотя подумала сейчас мельком, что не хотелось бы питаться так постоянно, но, в общем, ей всегда было безразлично: что есть, как одеваться, как спать, — она брала только то, что было под руками: мелочи жизни никогда не поглощали всего ее внимания.

Старый Терентий Пахомыч, быстро работая крепкими желтыми зубами, не переставая, разглядывал новую невестку, и глаза его, под нависшими седыми бровями, поблескивали.

Вспоминалась ли ему другая, добровольно оставленная жизнь, где ему доставались «и не такие женщины», только он вдруг саркастически произнес:

— Что думаешь, Фомка? Ты работницу в дом привел? Разве «такая» работать может? Мощи в ей нету: ни грудей, ни заду, руки — как плети!

Такая и родить не может! – Он захохотал.

Фомка как-то по-новому покосился на Елену, и сам удивился тому, что она его так влечет: она вся была противоположна тому представлению о молодухе, которое он и его «круг» имели с детства.

– Не бойтесь, батя, – ответила за Фомку Елена, смело взглянув на старика. – Я все могу, он это знает, – и она ободряюще похлопала Фомку по щеке.

– Что баловать умеешь – это я сам вижу, – как-то приосанившись и крякнув, процедил Терентий Пахомыч.

– А вы – красивый, – выпалила Елена и, поддаваясь внутреннему импульсу, ласково взяла старика за бороду и стала обматывать ее седым шелком свою тонкую, породистую руку. – Красивый, как пророк, – восторженно добавила она.

Окружающие смущенно замерли с кусками у ртов, ожидая грозы, а Фомка даже ущипнул под столом ногу Елены. Но ни отец, ни она ничего этого не заметили – точно по-иному и быть не могло.

Молодо сверкнули глаза Терентия Пахомыча, когда он отвечал, тихонько подергивая бородой в ее руках:

– Пророк – не пророк, а здесь я – царь и бог, твоя правда!

– Вы что, только в себя, видно, и верите? – Елена спросила, неохотно выпуская бороду из рук и оглядывая низкие стены и куполообразный бревенчатый потолок. – У вас и иконы не видно.

– Да. Мы без «этого» живем – я же тебе еще давеча сказал, – гордо ответил старик. – Нам и без «этого» хорошо, нечего время тратить на пустое.

– Вы как будто умный, а такие глу... страшные слова говорите! Разве нет у вас потребности верить в Бога? И зачем тогда бежать вам было? Жили бы с большевиками...

– Я и не беженец. Я сам по себе уехал, потому, так и этак, жить мне там не захотелось: я свою торговлю имел, ни от кого будто не зависел, да люди и Закон меня обидели. Ну, людей-то и я пообидел, а Закон – не смог, вот и ушел... Да это длинная история, и не твоего ума дело! – вдруг рассердился он и, понижая голос, прибавил: – И при них, – он покосился на свою семью, – про «это» говорить не годится: они маленькие были, что знали, забыть успели. Приучил жить без глупостей. Так мне способней.

– Ну и «способней»: посмотрите, разве при Боге так живут? Изба у вас – не изба, внучат нет, вас боятся, а ругают, будто вы и не отец им, дочь за азиата отдали...

Но старику надоели серьезные разговоры, а может быть, и померещилась правда в речах Елены, только он крикнул:

– Будет тебе, девка, не каркай! – и треснул жилистым кулаком по столу.

Мужчин уже не было в фанзе, и старик заторопился к выходу.

Оглядев молчаливых женщин, возящихся с посудой, Елена поняла, что не сможет присоединиться к ним, и последовала за стариком.

Скоро она разыскала Фомку, починявшего сети на низкой узкой верандочке, окружавшей фанзу. Она стала помогать ему, и как-то так с первого же дня вышло, что она стала помощницей мужчин, а не женщин.

Вечерами приходил в бухточку маленький катер и, нанизав десятка два шаланд на буксир, уводил их в открытое море. Как огненная гирлянда, тянулись за ним шаланды, отражая желтые бумажные фонари в темной воде. На одной из них всегда ездил Елена с Фомкой на ночной улов сельди. Катер разбрасывал их в море на ночь, а утром вновь уводил к берегу.

Елена бодрствовала ночами, взяв на себя обязанность следить за расставленной сетью. Ее удивляло, что Фомка утомлялся работой и ее ласками и всегда засыпал, а не любовался этой изумительной обстановкой.

Сначала она его будила:

– Не спи ты, дубинушка! Взгляни, как фосфорится море, ведь это Японское море, значит, почти Великий океан?.. А звезды, а рыбы – все живое вокруг. Да взгляни ты!

– Вида-ал... – зевал Фомка, моргая сонными глазами и тотчас же засыпая. И к этому она скоро привыкла.

Как-то, за едой, она в шутку пожаловалась отцу на сонливость Фомки, а тот и ответил:

– А ты со мной бы поехала! Я б тебе не дал скучать...

Но Фомка неожиданно огрызнулся:

– Не заигрывай, старик! Мало, что мать уморил до смерти! Думаешь, и свою бабу тебе дам?

Дочь Любка, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты.

– Зачали опять... – прошептала невестка.

– Что с ней? – спросила Елена.

– Да не мог же весь век с одной бабой жить, на то и не святой! Ходил от своей старухи к корейкам, а она с горя и окочурилась. Вот Любка и жалеет, да и плачет, что могилы ейной найти не может... А что падаль беречь? Велел зарыть где-то, да и забыл... Он тоже, – указал старик на молчаливого зятя-корейца, – пробовал духам своим молиться, расставил камешки под сопочками: на восток, на юг – чертям своим горным ходил кланяться! Да ни к чему все это. Мы с сынами разнесли его причуды вдребезги, затоптали все тропинки – отучили... – и старик засмеялся.

Жутко стало Елене, и она передернула плечами, но ничего не ответила, зная теперь, что это бесполезно.

А старик, как ни в чем не бывало, продолжал:

– Да, Фомка, тебе нужно в город съездить, ты лучше по-ихнему говоришь: рассол в чанах кончается, сам знаешь, нужно вовремя добавить.

Собирайся. Соли да еще веревок прихвати, да муки... Чего там еще нужно по хозяйству? – крикнул он бабам.

Раздалась знакомая сирена пришедшего катера, по которой, как по часам, распределялся их день.

– Вот и валяй на этом катере, быстрее будет, – приказал старик. – А шаланда лишняя нам и здесь пригодится! – и он подмигнул Елене.

Вяло взобрался Фомка на катер. Нехорошо было у него на душе. Видел он, как отец и Елена устроились на одной из шаланд, взятых на буксир его катером.

Собрав в руки концы своих черных волос, Елена помахала ими Фомке и крикнула:

– Не забывай меня! Другую, смотри, не найди в Чонг-джине!

Он-то не забудет – и другой такой не найти.

Ни на другой, ни на третий день не вернулся Фомка, и только в конце недели рыбаки передали его замусоленную, корявую записку, в которой он писал, что сломал ногу, завязнув в сходнях, и теперь отлеживается у рыбаков в Чонг-джине.

– Вот и нечего тебе беспокоиться, – сказал старик Елене. – Еще со мной поездишь... Ведь нравится?

Да она и не беспокоилась. Ей действительно нравился на глазах помолодевший Терентий Пахомыч: все нравилось – разговоры с ним нравились, хотя и пугали.

Но постоянною она быть не могла ни с кем и все чаще украдкой взглядывала на юного корейца-зятка, глядевшего на нее с преданным немым обожанием собаки.

– А как еще этот умеет любить? – задавала она все чаще себе вопрос.

Несколько дней сряду гремел тайфун у берегов Северной Кореи. Семья теснилась в фанзе: стенки были тонки, и, казалось, никуда нельзя скрыться от стонов беременной невестки, от ревнивых взглядов старика.

Целый день носилась Елена по пляжу. Хотя дождь и прекратился и волны реже гребнились, но катер не пришел за шаландами.

Елена отогрелась и обсохла на горячем полу фанзы, и ей захотелось перемены. Потягиваясь, как кошка, она подползла к молодому корейцу и тихо попросила свезти ее к Фомке – в Чонг-джин. Он радостно закивал лохматой черной головой и стал красться к выходу, хотя уже надвигались сумерки – и безрассудство ее просьбы было явным.

И тут Елена заметила напряженный взгляд большака, которым тот провожал ее. Она лукаво улыбнулась ему, скрываясь за дверь.

Все кунгасы предусмотрительно лежали на берегу вверх днищами, так как никто из рыбаков не выходил в море, но Елена еще во время дневной прогулки столкнула к воде самый маленький, и в него они теперь вскочили.

Оттолкнулись... и взнеслись на подошедший гребень, и другой, и третий...

В этот миг на берегу появился Терентий Пахомыч: дико маша руками, он что-то кричал и бежал к воде. Обрывки фраз донеслись до Елены:

– Мало, что двух смутила, стерва! Дом из-за тебя вверх дном! Не уйдешь ты так! – и он кинулся в воду.

– Вы на морского царя похожи! – восторженно отозвалась Елена, глядя, как он фыркает и как вода струится по его седой бороде. А корейцу Елена шептала:

– Греби, греби, теперь тебя любить хочу...

Волны и сумрак спрятали маленький кунгас; и взбешенный старик потащился домой и расслабленно плюхнулся на пороге.

За дверью слышался плач дочери и причитания невестки. Но это ему было безразлично, а войти он не мог, потому что стыдно было показать им свою впервые осмеянную седину.

А баба все громче кричала.

– Изверги-мучители! За что меня-то, чужую, завезли на эту проклятую сторону! Бога вы не боитесь, сраму не знаете... Черна, как галка, суха, как палка, краля ваша... И что далась она вам? Присушила, разлучница! Думала – в ребеночке счастье найду, к чему он теперь... Отец, вишь, до родин за первой сухой погнался.

Старик понял, что и Данилу заела та же болезнь, и попробовал раздвинуть двери. Но чье-то тяжелое тело изнутри давило на них.

Вдруг грубый сапог прорвал бумагу, треснули решетки, и вылетела дверь на середину двора; а за ней хряснулась на спину невестка, получившая удар сапога в живот. С проклятиями перескочил Данила через потерявшую сознание жену и ринулся в ночь.

– Что бу-удет, что бу-удет!.. – неся вслед ему плач Любки.

Сначала Данила, как и старик, кинулся в воду и даже поплыл, борясь с сумасшедшим морем. Но потом понял всю необдуманность этого поступка и выплыл на берег. Он соображал:

– Далеко они уплыть не могли; кореец – трус; причалили они где-нибудь к берегу – не дальше скалистого мыса... – и Данила побежал по плотно убитому песку пляжа, а волны зализывали за ним его следы.

Бежал, останавливался и снова бежал, пока не увидел вдали какой-то огонь. Тогда он начал красться, хотя было еще очень далеко.

Он увидел Елену сидящей у огромного костра, сложенного из нанесенных тайфуном больших коряг. Она задумчиво глядела в огонь, подперев подбородок одной рукой, а другой держала палку, которой ворошила угли, взметая к небу искры. В стороне, скорчившись и посинев, лежал кореец, совсем голый.

– И ты тоже пришел – я так и знала, – протянула Елена, не отрывая взгляда от огня. – Я тебя давно жду. – Потом она засмеялась: – А этот – не выдержал! Смотри, на кого похож! Недаром казался таким беспомощным, – и указала на корейца. – Убрать бы эту пададь... – пробормотала она и испуганно почувствовала, что говорит уже словами Пахомыча.

А Данила, не долго думая, пнул ногой зятя и, когда тот не издал ни звука, только как-то судорожно потянулся, Данила схватил его за влажные ноги и, раскачав, закинул в буруны.

– Что ты делаешь! – крикнула, поднимаясь, Елена, а потом вздохнула. – Туда ему и дорога, бедняжке! Разве стоит жить такому?

Высокий и сильный, стоял перед ней Данила.

– Покажи и ты себя! – вызывающе произнесла женщина, хватаясь за ворот его рубахи и разрывая ее до низу.

– И покажу! – отвечал мужчина, хватая ее на руки и сжимая так, что захрустели тонкие кости.

– Люблю тебя! – простонала Елена, прижимаясь к его голой широкой груди...

Песок впивался в ее острые голые локти, но она этого не замечала, лежа на животе и глядя куда-то мимо Данилы.

Она говорила.

Данила узнал, что она артистка, что она скопила немного денег, чтобы попутешествовать летом, когда у них нет работы, что она благодарна им всем за необычайно проведенные недели, но что теперь ей пора уезжать... Она много говорила и того, чего он не мог понять. А звездная осенняя ночь шла к концу.

Равномерно мигал маяк над морем; скалы надвигались странными фигурами, неся аромат запоздалого шиповника; и метались над ними искры и брызги. Море шумело.

Данила слушал и не верил. Когда она умолкла на мгновенье, он спросил:

– А на самом деле кто ты? Так просто все быть не может...

Ее глаза загорелись:

– Ты прав, наверное, все «это» мне сейчас показалось! Я тоже так думаю. Неправда все, что я говорила. Я – Леда, я белая Леда, я – мать красоты! – продекламировала она, порывисто вставая.

– Какая же ты белая? – запротестовал Данила, приподнимаясь.

– Глупый, – пропела женщина. – Это же стихи такие, песня, понимаешь? А сочинил ее поэт, господин такой, – поправились она, – Дмитрий Мережковский.

– Про тебя? Значит, ты и с ним блудила? – спросил ревниво Данила. – Значит – не у нас только ты была такая? И уйдешь теперь, может, опять к нему?

– Глупый, – повторила она, – уйти-то уйду да не знаю к кому! Кто понравится, к тому и уйду!

– Ан не уйдешь! – хватил себя по колену Данила.

– Как не уйду? – восторженно спросила Елена.

– А вот так: или со мной останешься, или ни к кому!

– А поймай! – вдруг крикнула женщина и понеслась к кунгасу.

Мужчина быстро настиг ее и, схватив за длинные волосы, пригнул к песку.

Волны разбивались теперь вокруг них.

Данила, не отпуская Елены, толкнул ногами лодку и прыгнул в нее, втащив за собою женщину.

– Вот тут и поговорим, – накручивая, как жгут, ее волосы вокруг мускулистой руки, пробормотал он. – Уйдешь?

– Уйду, – процедила сквозь стиснутые зубы Елена.

Он ударил ее по спине.

– Уйду, милый! – улыбнулась она.

Он стал бить ее тяжелыми частыми ударами, а она повторяла:

– Еще... бей еще! Меня еще никто так не бил! Бей же, – и она стала хохотать.

– Ну, змея! – крикнул испуганно Данила и, отбросив ее на дно лодки, взялся за весло и повел кунгас прочь от берега.

– Что не бьешь? – подползла к нему Елена.

– Больно люблю тебя, – простонал Данила, притягивая за руки избитое тело.

– Лови часы моей любви,

Лови, пока они твои,

Но не кляни потом меня,

Когда другой сменил тебя!

– И ловлю, – проскрежетал он, зажимая ее рот поцелуем. – А если поймать не смогу...

– Тогда? Тогда что?

– Тогда – утоплю тебя! – крикнул он. – Утоплю, как давеча корейчонка, таким тоже жить не надо!

И, снова сгребя ее волосы, он пригнул к воде через борт ее голову:

– Шея-то какая белая... лебединая у тебя шея!

Зарилось розовое море, и заплескали вдали серебряные дельфины.

– Хочешь к ним или со мной? В последний раз отвечай!

– К новому хочу, к новому... – сдавленно прошептала Елена и улыбнулась сквозь боль.

– Так иди ж к новому! К свиньям морским, к рыбам! – и бросил Данила ее в волны и, не оглядываясь, погнал кунгас.

Несколько черных прядей застряло в ключине...

А дома рыдал в горячке привезенный рыбаками Фомка; истекала кровью невестка; плакала Любка над выброшенным трупом корейца.

На четвереньках полуразбитый параличом Пахомыч подползал к самому морю; перекосило грешный рот на сторону, и съехала серебряная борода за правое ухо.

Рычал бессвязно:

— Снохач... Кто? Кто это сказал? Ты видел? Настиг... Не мог укрыться, пришиб меня Бог...

Корея. Новина. 1930 г.

Опубликовано и печатается по: Янковская В. По странам рассеяния.

Владивосток, 1993. С. 34-44.

ПОЛОСАТАЯ ПИЛОТКА

Из серии «Запретные плоды»

Быстро, но бесшумно пробираюсь по скалистому сосновому хребту – моментами он так узок и остр, что кажется, на нем можно ехать верхом, как на сказочном драконе. Слева и справа – его ребра – глинисто переливчатые оползни косогоров, где должна идти цепь нашей облавы. Но ее что-то не видно... Должно быть, боясь опередить, я отстала.

– Бах, бах-бах! Бах-бах! Бах-бах! – раздается гулкая пальба где-то впереди. Это мои братья отсаживают по ком-то из своих десятизарядных английских винтовок.

Стремительно несусь по хребту, выбирая чистое место для наблюдений. Вдали повторяется учащенная пальба.

Замираю на складе над крутыми глубокими промоинами.

Взвожу курки своей старой двустволки. Жду напряженно, до дрожи.

Шорох в желтых не облетевших крупнолистных дубняках... и... Господи! Подо мной, шагах в сорока, появляется коза. Скачет упруго, не быстро, отрываясь от земли всеми четырьмя тонкими ногами...

Вскидываюсь и целюсь, стараясь не волноваться. Время для меня остановилось.

Подлетая, уже удаляется белая салфетка... а я только сейчас набралась уверенности.

Но за первой козой появляется вторая, такими же вкрадчивыми прыжками. Ясно вижу ее на мушке и нажимаю на собачку...

– Чак! Чак!

Ничего не понимаю!

А за второй салфеткой, мелькнувшей над увалом, летит третья – и... тоже исчезает.

Горячей рукой хватаюсь за мокрый лоб, срываю шапку, лохмачу

волосы. Мне кажется, что меня тошнит и что внутри все упало, сорвалось куда-то... Точно навсегда кончена жизнь... И я шиплю:

– О-ссс-е-ч-к-и...

Потом почти кричу:

– Осечки! Осечки!

Открываю затвор. Вынимаю две предательских красных гильзы: пистоны сбоку вдавлены ударом бойка. Поворачиваю: на белом кружке цифры: 24. Двадцать четыре картечины на заряд! На сорок шагов. Вылети они – и одна коза в серой зимней шерсти лежала бы там, внизу... А я? – Я бы скакала вокруг в индейском безумном танце!

– Моя коза! Моя! Собственная! Счастье, усколавшее на тонких изящных ногах...

Ясно, что стрельба была по кому-то другому, иначе мои козы не скакали бы так спокойно, только чуть настороженно. Они, как и я, только слышали «канонаду» и спешили уйти от нее... И ушли! Ловко пробравшись сквозь цепь, увлеченную чем-то иным...

Вяло устремляюсь вперед, чтобы узнать в чем дело; вяло ругаю себя: давно надо перейти на пульное! И что дался мне этот дробовик!

Кончатся сосны. Подо мной крутой скалистый спуск в ложбину, а там – стоят два моих брата и рассматривают большую рыжую лису-огневку. Они совсем близко от меня – сразу под скалой.

– Кто убил? – спрашиваю.

Отвечают:

– Компанейская!

Холодно иронизирую:

– Как же поделите? Ведь у вас нет «компанейских» симпатий?

Они не замечают моего унылого тона и, переглядываясь, смеются намеку:

– Потому и палили так бессовестно, что каждый обещал эту лису подарить своей даме. Скоро по лисам да горалам Шанхай и Харбин смогут определять – кто проводил лето в Корее...

Я молчу.

– Да что с тобой? – вдруг спохватывается один. – Зеленая какая-то!

– Что? – взрываюсь я. – Вот что! – и бросаю на рыжую, тронутую сединкой спину лисы два злополучных патрона. Они скатываются в сухо шелестящую траву.

– По ком стреляла?

Каким-то заводным голосом роняю:

– От вас бежало три козы... в сорока шагах от меня...

– Экое невезение сегодня! – реагируют они. – Говорили – ходи с пульным! Ты и берет, должно быть, потеряла? Ну, вот, три несчастья, по твоим суевериям теперь будет хорошо: шины утром лопались, осечка,

берет...

– Какой берет? – я трогаю взвихренную голову, хлопаю по карманам. – Неужели я ее потеряла? У меня сегодня был не берет, а памятная мне полосатая пилотка...

– В которой ты хулиганила в Харбине? – вспоминает брат. – Зачем ехала именно в ней?

Я уже совсем зла:

– Ваших же пойнтеров не хотела волновать и схватила в полутьме что попало. Они же думали, что мы едем за фазанами, и начинали уже подвывать. А зачем было будить так рано весь дом?..

Тем временем подошли к нам остальные охотники и «морикуны» – корейцы-загонщики. Они затолкали лису в сетчатый мешок, висящий на спине одного из них. Мальчики стали тянуть жребий на соломинках, чтобы распределить новый порядок цепи...

Но я на этот день уже «потухла». Не иду, а как-то слоняюсь, любуюсь зимними, но еще бесснежными горизонтами: в телесно-синих очертаниях хребты – колючие, резкие, специфически северо-корейские, уходящие своими смелыми зигзагами в неистово-яркое море.

Сосны щекочут лицо и шею. Я вспоминаю о своей пилотке и ясно вижу ее висящей на голом кусте азалии над глинистым оползнем... Я не пойду за ней – пусть висит. Это ее маленькая судьба. У каждой, особенно потерянной вещи, – есть история. Значит, для вещи хорошо, что ее потеряли, – иначе не было бы «истории». А потому не было бы, что пока она – эта вещь – есть у меня, я ее не замечаю и не думаю о ней, иногда даже ненавижу ее. А почему это так, я сама не знаю.

И сама того не сознавая, я рассказываю себе историю «полосатой пилотки». Я часто себе рассказываю разные истории, когда не хочу думать о чем-нибудь неприятном. И бормотанье мое сливается с шелестом сухих листьев – «шорохом прошлого», как называет это мой маленький, начитанный брат, влюбленный в Манилова...

– Так я и не попала в этот паршивый бар, – говорю я, рассеянно укладывая последнее платье в крышку большого раздутого чемодана.

Хорошенькая Тася, моя полунинтеллигентная полька-горничная, с искренней печалью вздыхает:

– Мне все не верится, что вы уезжаете завтра! Тоска будет. Тишина...

Мне и самой не кажется, что я уезжаю, несмотря на все «проводины» и абсолютное недосыпание этой недели...

Да, этот большой, строго-холодный, красивый дом, пожалуй, действительно замрет с моим отъездом. И маленькая Тася, с которой я за вечным неимением подруг делилась своими похождениями, совсем осиротеет среди этих ковров, темных багетов и редких безделушек под стеклом. Может быть, она даже онемее?

– Барышня, – таинственно произносит она.

Я удивленно распрямляюсь и рассеянно решаю: «Уже начинает неметь».

Тася тихонько, но печально смеется:

– Вы уже уехали от меня!

Меткость замечания заставляет и меня улыбнуться:

– Да, да. Но и мне грустно, Тася. Я обожаю процесс самой езды куда угодно, но не люблю уезжать.

С минуту Тася смотрит на меня нерешительно, видимо, что-то обдумывая.

Снимаю с вешалки свой спортивный мужской костюм и собираюсь складывать. Из кармана жакета торчит полосатая – синяя с красным – шапочка-пилотка. Купила зачем-то, но ни разу не надела.

А Тася тем временем берет из моих рук костюм и говорит, продолжая свою мысль:

– Зачем вам был смокинг, когда у вас есть этот костюм и пилотка, которую никто не видел... Раз все ваши «хавалеры» отказались пойти с вами в этот «низкопробный бар», и все ваши барышни не рискнули одеться в смокинги и пойти с вами без мужчин...

Я поняла, в чем дело, и, подскочив вверх, закричала:

– Молодец, Таська! Вы правы! Мы отпразднуем этот вечер вдвоем с вами!

Тася вся вспыхнула и прошептала:

– Тихше! Хозяева «наши» еще не спят... И зачем вы отдали назад свой ключ от парадного? Даже они не верили, что вы высидите последний вечер дома.

А я уже горела своей давней идеей – посетить эту подвальную дыру с надписью по-русски «Джэсс по средам и пятницам»... Я проходила мимо этой надписи каждый день (она была по соседству с этим красивым домом) и каждый день неизменно повторяла: «Ведь я никогда не была в русском баре!». И, может быть, я забыла бы об этой дешевой вывеске, если б мне не «запретили» думать о его посещении: «Пойти с вами туда? За кого вы нас считаете?». О, я отомщу этим «пингвинам» и словом и делом!

Я быстро надеваю широкие «гольф», пиджак, пилотку и... задумываюсь над обувью... А Тася драпируется в мою китайскую курму. Она говорит:

– Наденьте атласные балльные туфли и даже подмажьтесь. Все равно вас не примут за мужчину, а будет изящнее...

– Вы правы, и недаром я вас люблю, – восторгаюсь я. – Нужно выглядеть как можно нелепее, чтобы на нас все обращали внимание – иначе зачем идти? Ради посторонних наблюдений? Нет! Мы кашу заварим! Мы, знаете, будем сегодня «играть»! Я буду иностранкой-

журналисткой, а вы – моей компаньонкой! Я буду говорить с вами и, вообще, только по-английски, а вы что-нибудь мычите или отвечайте шепотом...

Когда тухнут в квартире огни, мы выползаем на черный ход. Три этажа в скользко-грязной темноте. Я никогда и не подозревала, что у такого барского дома – такие задворки! И Тася здесь ходит постоянно и не удивляется! Да ведь это красота! Трущобы! Крестовский! Целая хима бок о бок с нами, а я и не подозревала! Ради одного этого открытия стоило ползти...

Шепот Таси перебивает мои мысли:

– Там – такие правила: вход по полтиннику с человека, а потом в зал; «дамы» могут приходиться одни и мальчишки тоже, и приглашают, кто кого хочет, потому и поганое место, что со знакомыми никто туда не ходит; девчонки «подпирают стены», пока их не пригласят танцевать, а мальчишки большей частью пьют сначала, а потом выбирают себе дам и часто хамят, если окажется, что плохо танцуешь. Мою подругу одну уговорили туда пойти... так она убежала, оставив свое пальто! Потому что там раз выскочишь на улицу – потом нужно снова покупать билет. Трудно им уследить, чтобы «зайцем» не входили... За ней погнался один, а она не знала и выскочила безо всего на улицу, а назад ее не пустили, так как у нее не было второго полтинника... Ей было стыдно объяснять, и она так и ушла... пропало пальто...

Я отвечаю:

– Вот и отлично, что мы пошли без пальто. Холодно, правда, но ведь два шага... Вы курму тоже не снимайте. Кроме того, у меня в кармане кастет – чуть чего – в зубы! – подогреваю я Тасю, потому что слышу, что она начинает волноваться. – Деньги я скомкала и без портмоне сунула в карман, вы увидите, как я буду «хамить» по-настоящему.

Тася шепчет совсем нерешительно:

– Лучше не показывайте своего кастета! Может быть, у них есть револьверы?

– Глупости! Знаете, это хорошо, что мы идем по черной лестнице. Это мне создает настроение...

– А мне наоборот, – бормочет Тася. – И я так боюсь, вдруг пригласят незнакомые... Я не хочу танцевать с незнакомыми...

– Милочка моя! – уже начинаю возмущаться я. – Именно незнакомые: у нас там не может быть знакомых! Тогда было бы совсем неинтересно! Хулиганить – так до конца! И не вздумайте упираться! Ведь мы с вами никогда не танцевали, и, может быть, у нас ничего не выйдет, а если нас разделят мужчины, так уж мы сможем подделаться.

Выскользнули во внутренний двор. Морозом сдавило дыханье. Где-то пробило час.

Скользнули в калитку в больших воротах...

– Смотри, караулка, не запирай! – крикнула Тася.

Квартал бегом мимо запертых механических мастерских. Тася шепчет:

– Вот отсюда-то вся шпана собирается... Самое хулиганье! И место-то паршивое – темнота, скользко...

«Темнота-то она руку, – решаю про себя, чтобы не пугать Тасю, – удирать легче будет...».

Я заботливо подставляю Тасе стул и решительно занимаю у самой двери грязный столик.

– Бой! Пиво! – бросаю грубо по-американски.

Тася вся сжалась, а мне смешно и злобно. Ведь меня уже нет, а есть какая-то экстравагантная американка. В мутном зеркале прихожей я видела ее резкое угловатое лицо с длинным ярким мундштуком в зубах. Она закидывает ногу на ногу, и странно бросается в глаза светлый шелковый чулок, видный почти до колена в складках широких штанов.

Оглядываю комнату: низкая, сальная какая-то, со столиками вдоль стен – скатерти грязные, сероватые. А дальше дыра в стене и за ней полутьма, а оттуда выкашливаются звуки захудалого оркестра: «Ночью, ночью в знойной Аргентине...»

– Хотите танцевать? – спрашиваю Тасю.

– Нет уж, лучше выпью сначала для остротки...

Нам подают пиво.

А в это время музыка прекращается, и из темной дыры, напирая друг на друга, лезут люди: сначала пятится несколько размалеванных девиц, видимо, только наблюдавших танцы, а за ними вразвалку с громким говором – всякая шпана вперемешку: пиджачки, блузы, блузки, тужурки, платья...

Эта толпа, не успев разойтись, замечает нас. Тася сидит к ней спиной и молча багровеет, чувствуя на своей расшитой курме посторонние взгляды и видя мое лицо, в которое я напускаю максимум наглости, чтобы скрыть любопытство.

Реплики по нашему адресу не замедлили:

– Мужик или баба?

– Вот чучелы-то!

– Наверное, не русские...

– А вот узнаем! Федька! Ты в Тяньцзине чему учился? Поговори с ней! – и какой-то хамоватый парень указывает на меня пальцем.

Но из темной дыры начинает кашлять новинка сезона: «У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно...».

Сдерживаюсь, чтобы не подпевать, и, беря Тасю под локоть, сквозь расступившуюся толпу прохожу в «зал». Тася вся дрожит и шепчет:

– Приказчик от Чурина, у которого мы сегодня в гастрономическом...

– Тс-с! – останавливаю я ее, переходя на фокстрот.

– Назвал вашу фамилию, – продолжает она.

«Это уже хуже», – думаю я, стараясь понять, к каким «па» привыкла Тася.

Слава Богу, здесь почти темно. Таська танцует отвратительно!

Пары напирают на нас со всех сторон, грубо и беззастенчиво пытаюсь разглядывать.

Проходим мимо оркестра. Там светлее. Я присматриваюсь к музыкантам и – о, ужас!

Один из них подымает рупор, взмахивает им, и на минуту замолкший оркестр выводит старую знакомую мелодию, но как!.. И чуть не в самое лицо мне «рупорист» выкрикивает:

– Ю! Ю, драйвинг ми креси-и! Чу-ра-ев-ка! Чу-ра-ев-ка!..

Таська щиплет мое плечо:

– Говорила, говорила вам, что вас везде узнают! Вы так часто выступали этой зимой...

Но я уже успокаиваюсь. Что из того, что какой-то музыкант вспомнил, что слышал меня в Чураевке или в Комсобе? Фамилия моя ему, видимо, не запомнилась, а слово «Чураевка» неизвестно местной «публике», иначе она по-иному бы реагировала.

Таська, несмотря на мое умение «подделываться», оттоптала мне все ноги, и у дыры, носящей, видимо, название арки, я заворачиваю ее и веду к нашему столику.

Но, оказывается, о нас не забыли, и пять-шесть рослых парней, сидящих поодаль, при виде нас начинают ехать к нам вместе со своими стульями и столами. Скоро мы «забаррикадированы» ими с трех сторон – только к двери небольшой проход. Сели мы все-таки удачно!

– Ты откуда? – кричит один парень другому.

– Из лечебницы Фиалковского! – подмигивая в нашу сторону, отвечает вопрошаемый. – А ты?

– С Модяговки! – нарочито грубо отзывается кто-то.

– А ты?

– Я?.. С Марса! – острит очередной.

– Эй! А который будет с Нахаловки? – продолжается переключка. – Узнай, откуда «эти»?

– Вы откуда? – обращается ко мне на недурном английском тот, кого звали «Федька». У него нагло-миловидное лицо.

– С Филиппин! – не задумываясь, бросаю я.

– А она? – указывает на Тасю.

– Здешняя. Моя подруга.

Другие перебивают, требуя перевода. Потом хохочут:

– Подруга? А может, жена? Спроси, почему в штанах?

У меня с этим Федей завязывается беседа. Он отрывочно переводит друзьям:

– Говорил – журналистка – и был прав... бытом интересуется... русскими апашами... объехала полсвета... – и т. д., всякую мою околесицу.

Его перебивают:

– Проходимка – ты говорил, а не журналистка...

За спинами этих заинтересованных нами мелькают злые лица девиц, которым хочется танцевать. Оркестр снова играет.

– Не хотите ли потанцевать? – спрашивает Федя.

– Да, но не прежде, чем кто-нибудь пригласит мою даму, – отвечаю я.

– Ну, ребята, приглашайте «китайнку»! – кричит Федька.

Тася глядит на меня умоляющими глазами. Но я не обращаю внимания и, подталкивая ее, встаю.

С Федькой у меня выходит отлично, и мы танцуем подряд несколько фокстротов, возобновляя музыку требовательными хлопками.

Я узнаю, что он учился там же, где и мои кузены. Радуюсь, что он явно приличнее всей местной публики. А ему импонируют негодующе-завистливые взгляды, и он дает мне совет не оставаться здесь долго, так как здесь есть несколько хулиганов, которые обязательно напьются к трем часам, то есть к закрытию этого учреждения, и могут нам надерзить.

– «Нитчево!» – смеюсь я. – У меня есть...

– Кастет, – кончает он, ощупывая мои карманы. – Это еще хуже! Лучше не показывайте его, иначе они будут считать себя вправе делать что угодно.

Тася машет мне рукой, и мы снова принимаемся за пиво.

Другие столики со скрипом ползут к нашему уголку. На них водка и огурцы, а над ними багровые рожи.

– Постановляю! – орет одна. – Разделить девочек! Да и катнем дальше! Здесь скоро конец. Федька! Спроси их! Согласны они? Поди, друг другу-то осточертели?! – рожа грубо хохочет и подмигивает.

Тася шепчет:

– Уйдем, уйдем...

«Подальше-то» я, конечно, не рискну поехать с ними, а что здесь будет «дальше», мне интересно, и я не спешу. Украдкой гляжу на часы: недурно! Уже без четверти три...

Видя нерешительное молчание Федьки, «рожа» продолжает:

– Айда, ребята, за польтами! Что их спрашивать? Загр-р-ребем, да и баста!

Рожа хватает мой пивной стакан, наливает в него водки и пьет залпом.

Брезгливо морщусь.

– Ин-н-ностранке не ндравится! – орет рожа. – А не суйся, куда не звали! Теперь не уйдешь!

– Брось, – беря за плечо приятеля, примирительно говорит Федя. – Мало ли что может выйти – у иностранцев свои консула – будет тебе!

– А может она ломается? – рычит рожа. – Не тебя зовут, тяньцзинский консул! Ну и не езжай с нами!

И, пошатываясь, ухватив за руки еще нескольких, «рожа» идет к раздевалке, находящейся в конце прихожей.

Этого я и ждала. Хватаю Таську за руку, кидаюсь в коридор и в дверь, которая тут же, под боком.

Скользкие ступени вверх; хлоп! – одна дверь; бац! – вторая – и мы на улице.

Не разжимая рук, летим, как сумасшедшие, к своим воротам, но... калитка в них заперта. Скользя и задыхаясь, прижимаемся в затененный угол палисадника.

В этот миг какая-то запоздалая машина быстро проходит мимо и скрывается за противоположным углом.

Ей вслед несется вопль:

– Уехали, чертовки! – и несколько черных фигур пробегают за тот же угол.

Таська всхлипывает:

– Балда я! Дура, ничего интересного – один страх! Хозяева узнают – влетит! Зачем вас научила?..

– Никому я не скажу! – отрывисто бросаю я, начиная постукивать в калитку. – И совсем не страшно, и я очень рада... и не вы научили...

Мы успеваем совсем заледенеть, пока сонный караулка пытается попасть ключом в невидимую скважину замка.

Утром Таська с визгом врывается в мою спальню:

– Телеграмма! Телеграмма! Может быть, останетесь?

Вскрываю.

– Да. Кое-какие поручения из дома, которые в один день не исполнишь.

– Вот хорошо-то, – радуется Тася. Затем понижает голос: – Только, Христа ради, не проговоритесь...

Я поспешно одеваюсь. Нужно успеть застать кой-кого.

На стуле валяется полосатая пилотка. Задумчиво беру ее в руки.

– Бросьте, бросьте! – говорит Тася. – А ну ее!

– Нет уж. Значит, судьба ходить в ней, раз уж остаюсь, – неожиданно для себя заявляю я, натягивая дикую полосатую штучку на самые брови.

Жду на углу такси.

Вдруг останавливается передо мной блестящий шоколадный бьюик, и один знакомый – представитель иностранной фирмы – удивленно приветствует меня:

– Так рано и уже гуляете? И прямо бросаетесь в глаза! Давайте уж «бросаться» вместе!

– С удовольствием. У меня дело в японском консульстве, – улыбаюсь я, усаживаясь на мягкие подушки.

– Подвезу! Подвезу! Хотя вам больше подошел бы аэроплан! – отвечает знакомый. – Но сначала разрешите в одно местечко заглянуть?

– Конечно. Пожалуйста.

Сажусь одна в машине у какого-то большого подъезда.

Вынимаю свой длинный мундштук, закуриваю и, открыв дверцу, кидаю спичку...

До меня долетает недоуменный возглас:

– Смотри! Не врала! Машина-то иностранная! Флажок на крыле, гляди! Чехословачка, что ли?

Скашиваю глаза на тротуар.

Там остановились две вчерашних «рожи» в замызганных рабочих робах.

Глядя друг на друга, продолжают:

– Вот бы вляпались!

Меня душит смех от этого удачного финала. А «рожи» поспешно и деловито удаляются.

Над вечеряющим синим морем красная линия заката – ярко и дико умирает день.

Такая же яркая и дикая висит где-то на кусте моя пилотка, хотя мой рассказ о ней кончен. Но ноги все еще вязнут в листьях и шуршат... Шуршат только своим прошлым.

Корея, 1935 г.

Опубликовано и печатается по: Янковская В. По странам рассеяния. Владивосток, 1993. С. 51-61.

ЯСЕНЬ

Танка

Ты хочешь слышать легенду об этом красивом дереве, что стоит над рекой на крутом повороте шоссе? Или сказку?

Нет!..

Нам – рожденным на Дальнем Востоке – ближе поэзия этого Востока... Я расскажу тебе танку. Танку, – но по-русски, потому что я русская и потому, что восточный лаконизм тебе чужд. Я постараюсь сделать эту танку длиннее и понятнее.

Слушай же танку об этом дереве...

Развесистое и пышное. Это самый красивый ясень из всех мне знакомых. А его корни у дороги обнажились и образуют маленькие терраски, на которых так удобно сидеть. Бурлит река, и вокруг надвигаются высокие хребты этой маленькой скалистой страны. А ночью с двух сторон огни: внизу их теперь стало много и вверху вдаль тоже больше, чем прежде, – вверху они раскиданы по обрывам. Мне жаль, что нас все больше и больше. Хорошо было, когда там впервые замерцал только один – тусклый, но уютный и мирный.

Я помню то время. Ясень был тоже молод тогда, и мимо него никогда не металась автомобили. Мимо него тихонько проходили спокойные люди, и многие отдыхали на его корнях.

Последи ночью за ним. Ты ничего не видишь? Да, да, теперь ничего еще нет... Позже, позже...

И вот в одну моросистую, весеннюю ночь они опустились на эти корни. Их было, конечно, двое. Они шли к одинокому свету вверху, но спешить им не хотелось. Обычно они говорили много и о разном, но теперь все чаще смолкали и к чему-то прислушивались.

Моросило, квакали оглушительно лягушки, и бурлила река, а теплый ночной ветер – горный, душистый – заставлял поднимать лица и дышать, дышать.

В этой шумной тишине подросток вздрогнул, но не вскочил испуганно и не убежал, хотя на плечо ее легла чужая рука – рука ласковая и нежная.

Ей – смуглому подростку – показалось, что это не чужая рука, а какая-то давно-давно своя – и потому она не убежала. Рука ласкала плечи, говорила много и нежно, но человек молчал. Он боялся словом разогнать этот душистый весенний морос, приведший их под это дерево...

Посмотри! Видишь, теперь на повороте у ясеня сверкнули автомобильные фонари и погасли? А скоро они зажгутся вновь и полетят дальше... Смотри... Они – эти фонари – жмурят яркие глаза у этого дерева – они вспоминают. Вспоминают смуглого подростка семь лет тому назад... Я вижу их часто по ночам... Почему я вижу? Потому что и я вспоминаю... Деревья – мои друзья. Ночью они пробуждаются и... как же смею я спать тогда? Ведь они мои друзья. Друзья – честные и верные. Эти друзья не изменяют, не обижают и не предают, ради них можно не спать.

Ты видишь, фонари зажглись вновь и полетели дальше. Они послали свой привет ночному дереву – дереву своей судьбы.

Потому, как точно замирает у ясеня этот маленький автомобиль, я думаю, что он уже останавливается сам. Он, как ручное животное, предан глубоко своему господину, он любит его и хочет ему счастья, а счастье своего господина мнится ему в его спутнице, которую он все чаще и чаще возит.

– Знаешь, – говорит мужчина, – теперь уже скоро наш ясень облетит.

Послушай, шуршанье его листьев такое грустное. Жаль ведь, что он смолкнет на всю зиму. Как мы узнаем, что он рад нашему приближению, что он нас чувствует и помнит?

– Что же мы сделаем?

– Мы повесим на ветвях его колокольчик.

– Да, да! Колокольчик! Один из тех, что ты привез мне из Японии – темный, древний и мелодичный... Ветер будет качать голые ветви, и колокольчик будет звенеть о нас.

– И еще, знаешь, куда мы увезем один колокольчик?

– Знаю! Мы увезем колокольчик на тот горный перевал в маленькую кумирню, где мы...

– В которой мы поняли друг друга...

– Да, в которой ты сказал мне...

– Перед которой я протянул тебе руки и ты...

– Я не удивилась и...

– Ты прижалась ко мне легко и доверчиво и поняла...

– Я поняла, что старый ясень не протягивает ветвей, если не видит судьбы, а мы...

– Мы – судьба, мы – правда. Так ты считаешь?

– А ты?

– Как же я мог думать по-иному?

– Почему же, почему?..

– Девочка моя, я знаю, о чем ты думаешь: почему я не сказал тебе об этом семь лет назад? Тогда бы не было, ты думаешь, в твоей жизни этого сумбура и ты думаешь, ты была бы лучше и спокойнее?.. Нет, девочка. Я не сказал тебе об этом нарочно. Я ждал, когда ты сама поймешь о судьбе и о правде... Девочка уехала в ту осень, девочка узнавала чужих людей и чужую жизнь. Девочка не знала, что люди носят маски, потому что в той стране, где росла она и где я наблюдал ее с детских лет, – люди просты и ясны, люди настоящие. И вот той ясной девочке из-под ясеня – стало больно. Она верила во все, что видела, а когда открывалось то, что прятали люди, – она плакала. А потом, позже, она нарочно закрывала глаза на то, чего видеть не хотела, и думала, что так можно прожить всю жизнь. Но тогда правда – худая правда – вылезала сама, потому что правда – и худая, и хорошая – не может долго прятаться, – она уж так устроена с самого начала – в этом ее суть, понимаешь, девочка?

– И какая я была глупая! Я приходила к тебе и говорила все свои печали, свои горькие опыты, свои ошибки от закрытых глаз... Тебе было неприятно, раз ты...

– Нет, мне было очень приятно, хотя и больно. Но я верил, что я самый близкий друг моей девочки, что ей не придется когда-нибудь вспомнить все снова и мучиться, и мучить. Я уже все знаю и знаю лучше, чем моя девочка... Ведь моя?

– Буду, буду... потому что ты не выдумка, ты с самого начала был правдой.

– Ты на меня не закрывала глаза?

– Не успела! И, оказалось, и не нужно было, так как такую как ты правду – я могу принять, и я ее люблю.

– Любишь! Любишь? И как я любил и люблю... Понимаешь теперь, почему я молчал? Я же знал, что боги этой страны – наши боги, и нас любят – и потому мы должны быть вместе. Кто так понимает солнечное яркое утро в хребтах, когда в тени еще роса, и паутины блестят и дрожат радугой? Ведь ты бродишь много одна – ну, а со мной разве хуже? Разве тебе не радостно, что прежде, чем ты укажешь мне на висящую над обрывом изогнутую корявую сосну, – я говорю тебе о ней? Разве я не привез тебе колокольчики, которые ты видела без меня под черепичной крышей старого монастыря и о которых ты мечтала? Разве не я нашел тебе старинные, поношенные железные тифельки, которые ты без меня видела в чужом городе, но не могла купить? Все твои бредовые галлюцинации и мечты приходят ко мне, как сны, и я хочу и буду воплощать их в нашу жизнь. «Острый, стройный, яркий» – написала ты семь лет назад о шпажнике, который я принес тебе. А я повторял: «Остро, стройно, ярко», – и ты поправляла меня...

– Я спрашивала – почему ты коверкаешь мои слова, а ты грустно улыбался, но не объяснял...

– Я ждал, что ты поймешь сама, – и я дождался, девочка...

– Я не считала тебя самоуверенным, да и я была такая, что как ты мог думать...

– Я не думал, я только чувствовал и потому знал...

– «...знал-знал-нал-ал-ал-ал...», – это звенит на ясене старый колокольчик, потому что листья дерева давно облетели, и ветер, привыкший беспокойно тормозить их, напал теперь на ветки и раскачал маленький колокольчик, повешенный на самой вершинке.

А далеко-далеко на высоком горном перевале в маленькой старой кумирне шелест. Это шелестят ветви давно увядших абрикосов. Прошлой весной их положили там перед жертвенником Горному Духу. Их положили там те, кому Горный Дух открыл их Судьбу.

Ветер летает везде. Ветер много видит и слышит. Но напрасно думают, что ветер непостоянен. Ветер всегда, всегда возвращается на круги своя – потому что он силен и властен – а мало кто может удержаться и не злоупотребить своей властью. Ветер знает силу своих ароматов и звуков, он знает, как изнервить человека стуком по бамбуковому переплету бумажной двери и как согреть его душу нежным весенним порывом. Ветер капризен и любит жертвы. И больше всего он любит колокольчики, потому что эти игрушки не сопротивляются и всегда рады качаться и петь, но без ветра они – ничто. А разве не приятно быть чем-то чему-то?

И подслушал ветер, как обещали двое под ясенем – дать второй колокольчик старой кумирне. Поэтому он навестил ее зимней ночью, но жертвы ему еще не было там. С досады он хрустнул увядшими ветвями абрикосов, и зашептали старые бревенчатые стены. Это придорожная кумирня вспоминала чужие чувства и хвастала, и гордилась, что в ее далекий мир приходили двое и поняли в ней друг о друге...

Буйно цвели дикие абрикосы, и маленький автомобиль спокойно и уверенно ждал внизу своего господина. А тихая кумирня заслоняла путников своей ветхой черепичной крышей, под которой на стене и теперь четко выделялись еще весной начертанные строки:

Мы с тобой на горном перевале
В старой маленькой кумирне
У весны один рассвет урвали –
Радостный и нежно-мирный...

Мы с тобой сквозь сосны пролетели,
Сквозь цветенье абрикосов,
И хребты Кореи нам пропели
Повеленья на вопросы...

Милый! Верю в парадокс наш новый:
– Только ветер неизменен –
Ибо он всегда вернется снова
На круги свои, как змеи...

Он, как змеи, – ночью нас ужалил
В моросистый час далекий,
Мы колец его не избежали
Ярко-ласково-жестоких.

И теперь душа кумирни горной
Бережет тайфунную отраву
Встречи неизбежной и повторной,
Сделавшей меня почти покорной, –
Ибо ты – не миф в моей оправе –
Для меня впервые – ты, как правда.

И молчанье сменилось речью – сначала поспешной и неясной – из отрывков воспоминаний, из странных пояснений, – только двоим понятных и несомненных.

...Ясень, ясень и морось... Мы знали, мы ждали...
...дали-али-али-али-ли-ли!..

...Слышишь? Это поет на ясене колокольчик, потому что сам ясень теперь молча думает, и листья его давно облетели...

Колокольчики повесили... кто хочет, чтобы ясень говорил и зимой о том, что они чувствуют, что под ним они поняли друг о друге и о Правде.

Видишь, сверкнули и зажмурились фонари на крутом повороте шоссе над рекой? Это маленький ручной автомобиль, который давно останавливается сам и который верит в счастье своего господина...

Ночью деревья пробуждаются, и как смею я спать тогда? Ведь они – мои друзья. Друзья честные и верные. Эти друзья не изменяют, не обижают и не предают.

И потому не сплю и я, потому и я рада многому, и потому и я вспоминаю...

Корея, 1938 г.

*Опубликовано и печатается по: Янковская В. По странам рассеяния.
Владивосток, 1993. С. 45–50.*

СОДЕРЖАНИЕ

Елизавета Рачинская	3
Обнаженная	3
Жертва	12
Катя	20
Наталья Резникова	26
Полукровка	26
Раба Афродиты	33
Только два дня	53
Пан Теодор	63
Отец и мать	72
Пушкин и Собаньская. <i>В сокращении</i>	79
Константин Сабуров	94
Фоб-Дайрен	94
Польнь	103
Сундук магараджи	108
Павел Северный	117
Озеро голубой цапли. <i>Отрывок из повести</i>	117
Слезинка	129
Кружева жизни	134
Люди и бронза	138
Сергей Сергин	141
Яд	141
Детство	142
Ольга Скопиченко	150
Шесть коломбин	150
Смертное воспоминание	155
Неожиданный завтрак	162
Перепутанные строки	165
Устрицы	169
У врат старого храма	173
Лидия Хаиндрова	178
Отрывок	178
Две сестры	179
Альфред Хейдок	181
Призрак Андрея Бельского	181
Дэрби	185
Игра с роком	188
Зов пустыни	194
Двойной след	201
Шествие мертвых	206
Маньчжурская принцесса	208

Мария Шапиро	220
Синеглазый бес	220
Самсон Шахматов	226
Оборотень.....	226
Павел Шкуркин	236
Как я сделался хунхузом.....	236
Маньчжурский князек	243
Старая хлеб-соль.....	262
Бай-хуа да-цзян	265
Храм верности.....	268
Справедливый	277
Николай Щеголев	283
Полдень.....	283
Михаил Щербаков	285
Иринари	285
Паршивый уголь	289
Джонни, молодой мамонт.....	303
Корень жизни.....	317
Шанхайские наброски	332
Черная серия. <i>В сокращении</i>	341
Борис Юльский	366
Ошибка Шерлока Холмса	366
Долина освобожденных душ.....	372
Возвращение госпожи Цай	380
След лисицы	385
Багульник	394
Шутка	401
Таежная сказка	410
Господин леса.....	421
Виктория Янковская	424
Без Бога, без закона, без обычая.....	424
Полосатая пилотка.....	434
Ясень	443
Содержание	449

**Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1.
Проза: В 3-х частях. Ч. 3 (Р-Я) / Сост. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева.**

Дизайн – Ю.М. Гофман, В.А. Долгов.